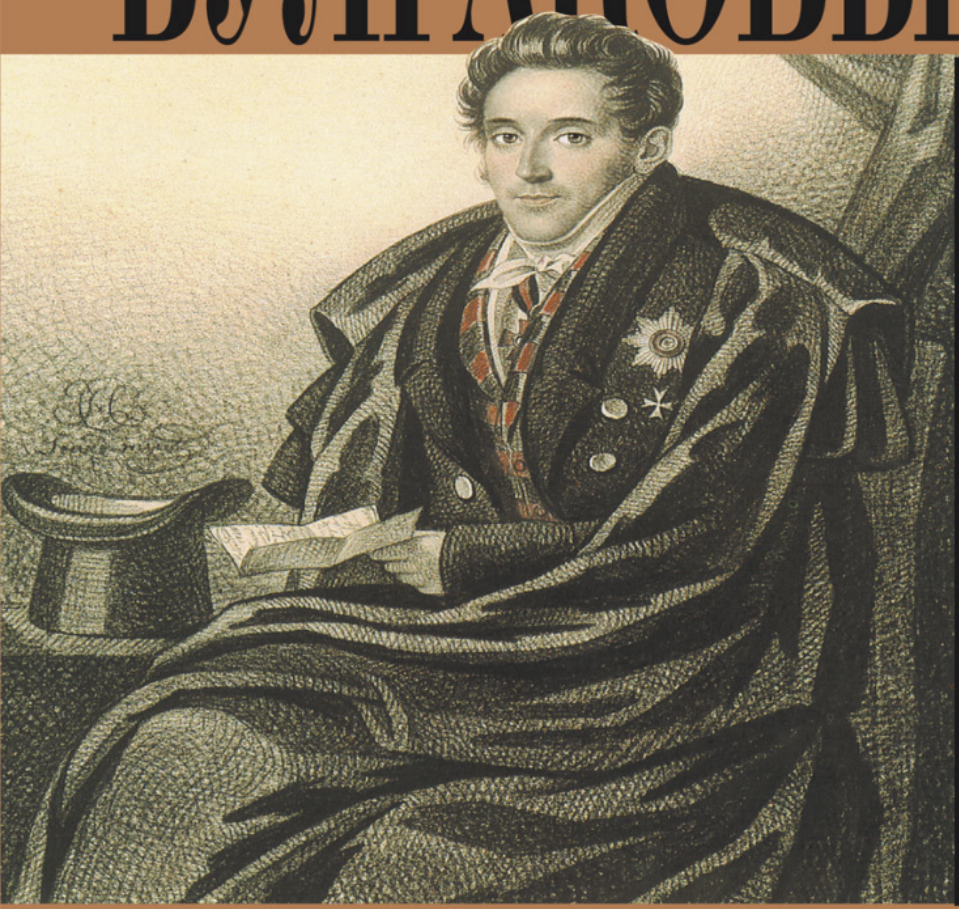
БРАТЬЯ БУЛГАКОВЫ



ПЕРЕПИСКА

ТОМ II

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Переписка Александра и Константина продолжалась в течение многих лет. Оба брата долго были почт-директорами, один – в Петербурге, другой – в Москве. Следовательно, могли они переписываться откровенно, не опасаясь нескромной зоркости постороннего глаза. Весь быт, все движение государственное и общежительное, события и слухи, дела и сплетни, учреждения и лица – все это, с верностью и живостью, должно было выразить себя в этих письмах, в этой стенографической и животрепещущей истории текущего дня. Князь П.Я. Вяземский

- Братья Булгаковы. Том 2
  - 1821 год
  - 1822 год
  - 1823 год
  - 1824 год
  - 1825 год
  - 1826 год
  - Иллюстрации
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21

- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65

- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109

- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153

○ 154
○ 155

Братья Булгаковы. Том 2
Переписка. Письма 1821—1826 гг.

1821 год

Александр. Москва, 3 января 1821 года

С Новым годом поздравляем,
Счастья нового желаем! —

говорили некогда афишники в Петербурге всякому, кто только давал им рубль меди: а я так великодушен, любезный брат, что и гроша не требую за свое поздравление. Да ниспошлет тебе Бог все благое и сохранит тебе добрую твою душу, а это великое сокровище. Ты кончил год добрым делом: Федоров в восхищении, что сын его определен в Вену; старик у меня поплакал от радости, будет тебе писать и благодарить. Святейший Синод, который в святые дела не мешается, который моим сиротам ничего не дал по сие время и который не хочет брать в образцы своего директора департамента[1], делает теперь Федорову притеснения и отнимает у него певческий дом, им устроенный после французов на собственные деньги, а он убухал тут более 3000 рублей.

Вот записка Федорова. Начни новый год, как ты старый кончил; приставь еще эту пиявку к Тургеневу, но не к спине, а к сердцу, и попроси его вступиться за бедняка, который подает в Синод просьбу. Не пишу я ему, чтобы не доставить ему лишнее чтение, в коем никогда у него не бывает недостатка, но обнимаю чрез тебя, прошу и поздравляю с Новым годом, а Николая[2] очень рад буду видеть.

Вяземского письмо для Тургенева лучше всякого лекарства. Он написал на Новый год прекрасное послание Василию Львовичу Пушкину; но все жаль, что большая часть его сочинений не может быть пущена в свет по одной и той же причине. Здесь уже, говорят, есть известие, что мой долговязый и долгоносый Фердинанд, per gracia di Dio re di Napoli, уже в Лейбахе[3]. Это вздор; мне все чудится, что его не выпустят. Парламенту нельзя не подозревать, что, коль скоро король не будет в его руках, тогда Австрия, имея руки развязанными, станет инако говорить и не станет оберегать принца-викария, который, кажется, явно и истинно берет сторону бунтовщиков по внушению, кажется, жены, которая испанская принцесса. Время все покажет нам.

Маскарад принцессы Boris[4] был хорош; жаль, что зала не по народу, а все бросились в нее, и было тесно. Урусова была черкешенкою, всех за пояс заткнула. Хоть в какой сераль – не

испортила бы! Я был в настоящем камчадальском платье, которое дали мне Пушкины; не говорил ни слова, меня приняли за Николая Салтыкова, а потом за *Давыдова,* там стали говорить, что Афросимов, а там, что это я. Я уехал, оставив всех в недоумении, переоделся у швейцара Английского клуба во фрак и опять явился, извиняясь перед хозяйкою, что опоздал, желая встретить Новый год со своими. Как сели ужинать, я уехал с Керестури.

Не могу я поймать Чумагу и узнать от него правду. В городе говорят, что какой-то восточный владыка, иные говорят – египетский бей, а другие – Али-паша, прислал будто ему сюда для продажи корону свою, оцененную в два миллиона, что Чумага намерен ее раздробить и продавать бриллианты поодиночке. Басня ли это или нет – не знаю; а другие уверяют, что *есте* сам это распустил, чтобы думали, что у него *есте* много денег, и тем дать коммерческим своим спекуляциям больше весу.

Добрый Касьян прислал мне на Новый год сибирскую нельму. Как оправится Наташа, дадим обед и попотчуем приятелей. Пишу ему, что рыбка эта дороже для меня кита. Вяземский пишет, между прочим, мне, что у англичанина одного, приехавшего в Варшаву из Парижа, спросили: «Как вы нашли Париж?» Он отвечал: «О, очень просто, я поехал во Франкфурт, а оттуда взял извозчиков, кои и привезли меня в Париж». Приезжий из Тамбова сказывал, что Ока прошла от страшных дождей. Много говорят о голоде в соседних губерниях. У нас был Озеров с Дукатом; сказывал, что князь Алексей Борисович Куракин должен был послать в орловские деревни 200 тысяч рублей для прокормления голодных своих крестьян. Степан Степанович Апраксин также едет туда, боясь, чтобы деревень его не взяли в опеку. Надобно Бога благодарить, что в нашем Велиже все обходится благополучно.

Константин. С.-Петербург, 4 января 1821 года

Насчет дня моего рождения вариантов много. Я полагаю, что родился 25-го; батюшка думал, что 27-го; маменька писала к бабушке, что 29-го, а теперь еще тетушка доказывает, что 31-го, и меня поздравляет! Кому верить? С толку собьешься. Выгоднее всего принять последнее – буду моложе. У вас все балы да балы, а здесь изрядно пляшут только у Хитровых; теперь прыгают по средам; в прошлую не мог я быть, но, если удастся, поеду в будущую.

Что Гурьевы не любят Николая Тургенева, я это также давно слышал, хотя он оставил департамент финансов не по неудовольствию.

Я сегодня смеялся анекдоту, который достоин Боголюбова.

Князь Лопухин послал свои визитные билеты, как обыкновенно, с лакеем. Приносят карточку к какому-то маленькому чиновнику, который очень удивлен, что его светлость делает ему эту честь; призывает человека и спрашивает, не ошибка ли это и точно ли князь велел ему дать билет. «Нет, сударь, князь этого и не знает; а это я, желая вас почтить и показать вам мое уважение, от себя принес билет». Каково?

Константин. С.-Петербург, 5 января 1821 года

Как бы ты думал, вчера вместо Гурьева куда я попал? На маскарад к Закревскому. Он хотел сделать сюрприз своей жене, просил нас всех маскироваться, и мы это охотно исполнили, тем более что, кроме самых коротких домашних, никого совершенно не было. Мы с ним были китайцами, совсем не смешны, а прочие все очень смешны, особливо Бунин, Коризна [управляющий имениями жены Арсения Андреевича Закревского], какой-то офицер представлял Новицкую и славно танцевал. Ноинский был кормилицей и лихо плясал по-русски. Очень было весело, насмеялись, потом сели играть в вист, я проигрался, ну, это не совсем забавно, ужинали, кроме меня, а после и меня принудили, а в первом часу, как порядочные люди, все разъехались.

Воронцов мне пишет из Парижа от 11 декабря: «Промучившись плечом три недели, я выздоровел, и завтра мы едем в Лондон».

На Новый год Калинин [предместник К.Я.Булгакова] рассылал всегда иностранные календари министрам, вельможам, дамам. И я то же сделал, все были довольны, и вчера Пашковы и Васильчиковы очень меня благодарили. Я обедал вчера у князя Дмитрия Салтыкова [князь Дмитрий Николаевич Салтыков был слеп от рождения], он очень велел тебе кланяться. Его дом – как Высоцкого: хромых, слепых, разного народа куча, превеликий заняли стол. Какой-то киргизский князь, генерал в параличе, Карла, Ивелич, музыканты, Вишневский – слободской наш сосед, да бог знает кого не было; тут же и Мельников. После обеда кто курит, кто в карты играет, кто стихи читает вслух; право, забавно, а добрый хозяин ходит и веселится, всех угощает. После был концерт, которого я не мог дождаться, пела какая-то итальянка. Этот князь предобрый человек. Его дом открыт всем бедным, всем иностранцам, одним словом, точно Высоцкого.

Александр. Москва, 6 января 1821 года

Вчера обедал я у Юсупова, где пропасть было итальянцев; его девки должны были играть оперу (то-то бы одолжили!). Князь Дмитрий Владимирович [Голицын, московский генерал-

губернатор], забыв, что сочельник, обещал быть, но потом вспомнил, прислал извиниться, и опера отложена до сегодня. Татарский князь звал опять к себе, но я обещал обедать у Лунина, где будем тесным кружком и где обед, а особливо вино, лучше; а у князя настоящая горлопятина.

Ты знаешь, что здесь заводится Итальянская опера, второй тенор и бас уже здесь; вчера пели несколько дуэтов, бас хорош и поет изрядно, тенор также. Багратион по-старому балагурил. Я говорю Юсупову: «Такой оперной музыкой можно и душу погубить». – «У меня есть кому вам грехи отпустить, – отвечал весельчак. – Вот монсеньор Барощци, он вам даст отпущение». Багратион, вслушавшись, прибавил: «Это бы хорошо; да сделайте милость, спросите, князь, у монсеньора вашего, крещен ли он только?» Это можешь рассказать Тургеневу: духовные по его части.

Народу было много: Степан Степанович Апраксин, князь Михаил Николаевич Голицын, П.И.Высоцкий, который много, много тебе кланяется, Риччи, который всех певунов за пояс заткнул, Щербатов, князь Николай Долгоруков и проч.

Рушковский[5] говорил мне вчера о ежедневном приеме[6], что было это невозможно, что чиновники на это работали, предвидя еще более работы, что это только заставило его сообщить о невозможности, что жаль, что он не знал, что это мысль Князева[7], что (будто) некоторые чиновники грозили идти в отставку, и прочий вздор, но что теперь все это будет сделано, что в Петербурге все легко сделать, а здесь – нет. Я отвечал, что, напротив, в Петербурге ты должен делать все сам, а что здесь, при этих прекрасных чиновниках, все можно сделать, и без большого труда. Просил я у него совета, как бы экономическим образом отправить людей в Петербург. Он предложил дилижансы, но и тут все будет стоить с лишком 200 рублей. Рушковский сказал, что послал бы с почтою; я это отклонил, ибо знаю, что это именно запрещено. «Да вот видите, – прибавил он, – запрещено-то и девятого посылать с дилижансом, но так как, вот видите, Константин Яковлевич, того-то, дал нам этот *дурной пример*…»

Уж тут я взбесился и сказал ему: «Послушайте! Мой брат дает вам столько добрых примеров для подражания, с коими вам было бы очень хорошо сообразовываться как в интересах службы, так и в ваших собственных интересах, и вы могли бы умолчать об этой мелочи, которая совершиться могла и без ведома моего брата!» Опять он повторил: «Константин Яковлевич должен был сказать мне словечко, что идея принадлежала князю…» – а я с насмешкою: «Но вы же само благоразумие, олицетворение усердия, и кому важно, чья идея, ежели она хороша, ежели ее

одобряет весь Петербург, ежели она смогла осуществиться?» Он видит, что дал промах, и теперь хочет свалить на чиновников. Меня провожал до сеней, до двора все оправдывался, как будто я ревизор какой.

Уваров отправился через Киев в Лейбах, однако же торопился, следовательно, не полагал, что так долго пробудут. Мы здесь отгадываем, а теперь, может быть, там все решено, и думают о возврате. Твой неаполитанский король точно в Лейбахе. Вчера курьер приехал, отправленный из-за Вены, следовательно, не мог привезть никаких известий о возвращении, что нас всего более интересует.

Александр. Москва, 7 января 1821 года

Вчера был славный маскарад в Собрании[8], и, против всеобщего ожидания, много было масок; ежели дастся другой маскарад на этом же основании, то еще более пойдут: потому что не всякий решался маскироваться, боясь быть одному в целой зале, а теперь, как это принялось, все наденут маски. Меня мучил какой-то черный капюшон в большой бороде; в голову не приходило, а вышло, что это была Бобринская[9], с дочерью, с Хомутовой, Карабановой, Крузшею. Они вскружили голову Волкову [московскому коменданту, приятелю Булгаковых], который, во что ни станет, хотел узнать, кто они, и узнал. В масках было еще множество других знакомых: Каменская, Ржевская, графиня Потемкина, вся семья княгини Boris и проч. Так как пригласили и купцов, то было даже и тесно, и жарко. Вчера записалось сто человек вновь. Я долго стоял и говорил с князем Дмитрием Владимировичем. Это его мысль давать маскарады, настоящие, разумеется; а то и прежде объявляли о маскарадах, а не бывало ни одной маски. Ему все делали комплименты на этот счет. Он сказывал мне, что сегодня поутру едет его княгиня к вам, а после обеда отправляется и Катерина Владимировна Апраксина. В воскресенье Бобринская именинница; ей готовят какую-то сюрпризу; долго меня мучили участвовать в этом водевиле, но я отступился. Это хорошо было в Вильне, а где мне теперь из Слободы ездить в край света на репетиции? Да и проходят же лета шалостей: веселее смотреть на чужие проказы. Вместо меня попал Давыдов.

Благодарю за «Русские анекдоты» трудолюбивого Глинки. Кстати, кончив теперь четвертую часть Броневского «Записок», буду еще читать в досужие минуты, ибо часов не имею. Сегодня должен опять идти в Департамент, глагольствовать о штатах.

Серапин в дураках. Он вчера просил меня велеть сшить сюртук бедному одному копиисту и, сверх того, сам ему дал в

долг 20 рублей, ибо он без штанов и есть ему нечего, а вечером присылают мне его Милорадович и Горголи при письме, что два маскарада сряду он, в непристойных масках и пьяный, был взят в полицию, первый раз сказался служащим в другом месте, а в последний – у нас. Стало, он на Серапина денежки и в маскарад ходил, и платье нанял. Этот бесится.

Александр. Москва, 10 января 1821 года

В городе балы что-то утихли, да и много что-то умерло знакомых. В семье нашей умерла дальняя родня женина Наталья Алекс. Карпова, почтенная, богатая, бездетная старушка (не знаю, кому это все достанется), да еще князь Хованский, бывший женатый на сестре Льва Яковлева [одной из теток Герцена]. Вчера хоронили бывшего батюшкинова знакомого, генерала екатерининского Бардакова; жена, говорят, в отчаянии, страстно его любила. Очень был он мотоват и игрок; бывало, нет денег, так прикинется больным, а жена, которая богата, лечила его все подарками. За маленькую головную боль давала по 5000 рублей: на, голубчик, будь только здоров.

Маскарад в Собрании так удался, сверх чаяния, что мы положили в тот вторник дать еще маскарад на том же основании.

Константин. С.-Петербург, 11 января 1821 года

Третьего дня был у графа Брея, где нашел множество народа и большое прыганье; в 12 часов, однако же, я был дома: учись! Там я слышал, что одна из дочерей Михаила Алексеевича Обрескова, назвать не умею, а которая потолще, выходит за Левенштерна, а более ничего не знаю нового.

В «Сыне Отечества» какое-то Вяземского послание, которое Тургенев очень хвалит. Прочесть не успею, прочти ты за меня. Глинка мне прислал экземпляр, прекрасно переплетенный, «Русских анекдотов». Я его письмо, где он много хвалил батюшку, вклеил в книгу; пусть останется Сашке со временем, с «Историей» Карамзина, где также вклеено письмо собственноручное автора.

Александр. Москва, 13 января 1821 года

Сегодня будет день гулевой. Надо бы праздновать государыню [день рождения императрицы Елизаветы Алексеевны]. Обед у князя, на который нельзя не ехать; я еще не знаю, буду ли от него домой или заеду к Волкову и пробуду у него до собрания: правда и то, что трудно не выйти целый день из мундира. Я было тебе напоминать о брошюрке, напечатанной в 1857 году, а ты ее и прислал. Давно обещал я ее Ивану Ивановичу Дмитриеву, коему и посылаю, не читая, ибо он очень аккуратно и

скоро возвращает книги. Как Тургеневу не прислать мне новое послание Вяземского? Это глупая отговорка, будто я не люблю стихи: когда они недлинные и хороши, я их очень люблю, в особенности же люблю Вяземского и стихи, и прозу, и рожу.

Милого Закревского благодарю за присылку книги. Это вещь очень полезная и доказывает, что типография его занимается в праздное время не вздорами. Я уверен, что ты «Русские анекдоты» будешь читать с удовольствием, особливо там, где речь о покойном батюшке. Я отыскал преславный портрет масляными красками князя Потемкина – очень похож; должно быть, Лампия. Он стоит 500 рублей, просят 100, а я даю 50 рублей; ежели бы тяпнуло в вист другие 50 рублей, тотчас бы купил. Любя князя за батюшку, я иной родне его дал бы и 200 рублей охотно: то вот и спекуляция.

Константин. С.-Петербург, 14 января 1821 года

Вчера был я на балу во дворце; народу было много, туалеты прекрасные, протанцевал несколько польских, играл в вист и даже ужинал. Во время виста и ужина императрица Мария Федоровна ко мне подходила и оба раза очень милостиво изволила разговаривать. В половине первого я уже был дома, вымыл голову, выкурил трубку и лег себе преблагополучно спать.

Вчера на балу было несколько новых семеновских офицеров, а третьего дня, говорят, новосформированный батальон был на карауле.

Александр. Москва, 17 января 1821 года

У Бобринской были театр и бал; по обыкновению, очень было весело. Играли две пьесы: «Шампенуаза» (водевиль) и «Мещанские свидания». Актеры были: Гедеонова (если она и не в моем вкусе поет, то, по крайней мере, с уверенностью и не жалеет рулад), оба Пушкина, В.А. и А.М.Гедеонов, Давыдов и Пашков. Во второй пьесе играла очень хорошо дочь Андрея Семеновича Кологривова, молодая, четырнадцати лет, прекрасная девушка; голос такой свежий, и поет без претензии, играла натурально, мне она показалась лучше Гедеоновой. Василию Ивановичу надобно было спеть при конце куплеты, он сказал: «Алексей Михайлович, поскольку у меня подагра, мой милый Бертран, поручаю вам петь куплет за меня». Он думал выкинуть острое словцо, но тот отвечал: «Охотно», – а потом, обернувшись к партеру: «Я думал, у него подагра в ногах, а выходит, что в горле». После начали танцевать, и несколько было жарко, ибо танцевали в гостиной.

У дурака П-ва вышла тут история; он, болтая о театре, хвалил

всех и говорил: «Эта мадам К. должна бы дома сидеть и не показывать свою рожу на сцене», – и кому же эта скотина говорила это? Мужу ее, не зная его. Этот ему сказал: «Я вас не знаю, сударь; но вы, должно быть, свинья и дурно воспитаны; моя жена играет только для удовольствия графини Бобринской, а не для таких тупиц, как вы; впрочем, не время о том говорить; завтра я поучу вас жить». Тот перетрусил, извинялся. Князь старался уговорить барона Крузе, но он никого не слушает и сегодня хотел отрубить длинные П-ва уши. Ништо дураку – вперед наука!

Глинке будет очень приятно, если ты ему напишешь в два слова письмо благодарное за его подарок. Он бедный человек. Приказал Жарову, его другу и комиссионеру, купить для тебя 4 экземпляра «Русских анекдотов»; ты ему деликатным образом подаришь 50 рублей.

Сейчас приезжал молодой человек Эспер Белосельский звать от матери на вечер, там опять бал; но я, право, не знаю, поеду ли, а ежели и поеду, то разве на минуточку. Я был зван сегодня на большой обед свадебный: женился сын Дмитрия Ал. Лухманова; отец дает пир и зовет, как Фавст, на целый день, к вечеру бал; будет там князь Дмитрий Владимирович, но я лишу себя всех этих почестей и удовольствий.

Константин. С.-Петербург, 18 января 1821 года

Вчера было рождение старухи Голицыной [княгини Натальи Петровны, урожденной графини Чернышевой]. Я ездил поутру ее поздравить, нашел там весь город; приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером – опять весь город и бал, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость. Там видел я московских Апраксину и Голицыну, с которыми много говорил о Москве и о тебе.

Попал я в круговорот, не знаю, как выпутаться: на все вторники звал Шувалов, в воскресенье граф Брей, сегодня должен обедать у Пашковых, к которым я наконец попал вчера с Закревским. Завтра звала на вечер Наталья Алексеевна Колтовская, но не поеду; и есть еще несколько в запасе зовов – к Уварову, Хитровым. Эдак загуляешься, а кому рано вставать, весьма некстати. Сегодня смотр новому Семеновскому полку, который совершенно сформирован. Закревский им очень доволен. Формировал Желтухин.

Зеленые крупы получил, очень благодарю милую Наташу, а Клим, который обыкновенно все навыворот понимает, сделал мне было шутку. Я велел ему ее прибрать, а он вместо того, не знаю уж почему, послал было крупу к Лонгинову. Хорошо, что тот ко

мне вчера утром заехал и спросил, что за крупу я ему прислал. Недолго у него побыла, тотчас послал почтальона выручить. Клим ждет белорусских гостей (я их называю – «гусей», за что он на меня сердится). Он девушек готовит в девушки, то есть горничные на место Насти, которая задумала идти замуж за почтальона. Я им доказывал, что глупость; но особливо мать не скоро урезонишь.

«Знаешь ли ты жениха?» – «Нет, я его не видала». – «Стало, мать знает?» – «Она слышала, что он хорош». – «Позови мать сюда». Та приходит. «Ты просишь, чтоб Настю выдать замуж?» – «Сделайте милость», – и в ноги. «Да разве ты так была счастлива со своим мужем?» – «Нет, какая моя жизнь была: всякий день меня бил, да в чахотку вогнал». – «Разве твоей дочери у нас дурно?» – «Да ей эдакой жизни век не нажить; там уж не то будет: и пол вымой, и себя обмой, и за детьми ходи, и кушанье свари, а еще как муж попадется дурной, так заколотит до смерти». – «Так что за неволя?» – «Все лучше».

С полчаса все эдакий вздор пороли. Наконец я им говорю: «Ну, бог с вами». Разревелись обе: «Да как нам вас-то жаль, отец наш!» – «Да ведь не я замуж иду; не меня бить будут». – «Правда и то!» Велел позвать почтальона, которого, точно, и экзекутор, и все очень хвалят. «Я слышал, ты хочешь жениться?» – «Хочу». – «На ком?» – «На вашей девушке». – «На которой?» – «На Настасье Александровне». – «Да где она?» – Показывает на Марицу: «Кажется, вот». А ну что с ними делать! «Теперь, Марья Сергеевна, твоя очередь, отдаешь ли за него дочь?» – Молчит. Почтальон просит: «Милостивая государыня, будьте мне мать родная». – «Делайте себе, что хотите, только смотри, Настя, живи, как я жила: меня твой отец всякий день колотил, а я все молчала, так и ты». Из всего этого вранья вышло, что надобно денег на свадьбу, на кровать и проч., и что сочетание будет еще в этот месяц. Мне жаль: жена к ней привыкла, она девушка верная, очень хорошего поведения, теперь ищи другую, пока сформируются Климовы одноземки. Но эк меня куда белорусские гуси завели!

Александр. Москва, 20 января 1821 года

Vive la lithographic!
C’est une rage partout:
Grand, petit, laide, jolie,
Le crayon retrace tout[10].

Благодарю за присланную первую тетрадь альбома литографированного [литографии тогда были еще редкостью].

Младшая из княжон Шаховских, коих старшая Полина за Муравьевым (сыном Ник. Ник.), подвержена нервическим припадкам. Доктор Левенталь ее магнетизирует. Намедни он ее усыпил, и она в сомнамбулизме проговорила словами, коих никто не понял; потом мать[11] спросила: «Что ты говорила?» – «Молитву, маменька!» – «Да по-каковски? Мы никто не поняли!» – «По-латыни» (а она отродясь этот язык не знала). Мать засмеялась, а дочь взяла перо и написала всю молитву по-латыни; мать все утверждает, что она написала вздор, но больная тотчас перевела эту молитву по-французски. Приехал доктор, княгиня дала ему прочесть латинскую молитву. «Вы это знаете?» – «Нет, но это молитва, и она хорошо написана. Очень хорошо, без единой ошибки». – «Прочтите теперь это». – «Но это, – отвечал доктор, – превосходный перевод той молитвы, что вы мне только что показывали». – «Ну, так это сочинила, написала и перевела моя дочь во время сомнамбулизма». Посылаю тебе эту молитву, то есть французский перевод.

Мне все это кажется сверхъестественно; не будь это княжна Шаховская, я было думал, что доктор с нею сговорился. За нею смотрит мамушка. Княжна в сомнамбулизме говорит, что мамушка теперь в такой-то комнате, вяжет чулок, и точно правда. Другой раз бредит; ее спрашивают, позвать ли мамушку? «Нет, не трогайте; она, бедная, устала, спит лицом к улице», – и вышло точно так. Княжна сама говорит во сне, какое ей дать лекарство, и назначает препорцию, унциями, и все по-латыни. Все это рассказывала ее мать, которая совсем не лжива. У княжны такие были припадки прежде, что она билась головою об стену, и комната ее вся обита матрасами. Она в декабре объявила, что 17-го будет при смерти (и была), что 25 января совсем выздоровеет; ей 14 лет, она очень расслаблена. Все это столь же чудесно, как и свадьба Боголюбова.

Константин. С.-Петербург, 21 января 1821 года

У нашего князя Василия был наемный лакей, прекрасный человек, служивший прежде у Воронцова. Он чувствовал себя немного нездоровым; знакомый ему цирюльник взялся его вылечить, дал ему порошок, от которого должно было его немного послабить. Тот несчастный со всей доверенностью принял лекарство, – сделались страшные колики, рвота кровью; позвали докторов, которые тотчас объявили, что он отравлен и никак жить не может. Он действительно через четверть часа и умер. В эту минуту приходит цирюльник с веселым лицом узнать о своем больном; его берут за ворот и в полицию. Нашли, что он дал ему порцию какого-то яда в 220 раз более, нежели оный

употребляется даже в лекарство, чтобы как сильное средство помочь. И все это по глупости, самолюбию и в надежде получить какой-нибудь рубль за лечение и сделать себе репутацию. Расскажи это, без последних замечаний, Попандопуло.

На сих днях застрелился Преображенский офицер, коего имя не упомню. Говорят, оставил письмо, коим просил не стараться узнать о причине. Также на сих днях умер Толстой, внук князя Кутузова, мальчик прекрасный, о коем все сожалеют. Бедная мать его теряет уже второго сына взрослого. Она в Москве. В заключение еще трагический анекдот. Молодая 22-летняя жена богатого извозчика отравила мужа своего, подложив мышьяка в чае. Он тотчас умер, а она тотчас призналась. У нее был любовник.

Вчера был сговор Настеньки, Клим – посаженый отец. Я ходил смотреть; сидят все вокруг стола как вкопанные, ничего не говорят, девушки, по обычаю, поют песни, величают, а невеста, по обычаю же, плачет.

Ну, сударь, я начинаю устраивать отделения почтовые в трех частях города, но о сем не сказывай еще Рушковскому. Так как он затруднялся первым полезным устройством ежедневного приема, то, может быть, ему и не предложат ввести в Москве отделения, а это бы там еще было нужнее, по пространству города. Какая это помощь для бедных людей! Я тебе пришлю копию с моего представления. Николай Дмитриевич мне сказывал, что князь сам сие разрешил, не отдавая в Комитет министров. У меня еще бродит в голове мысль не только отправлять письма в Москву и с тяжелыми почтами, то есть четыре раза в неделю, но и всякий день, кроме воскресенья; от этого казне убытка не будет, а как не быть ежедневным сношениям между обеими столицами, это стыдно! Но так как эта мысль еще не обработана, то прошу о сем не говорить никому. Сколько сил есть, право, стараюсь быть полезным. Когда-нибудь скажут: это завел Булгаков.

Завелось общество для вспоможения артистам. Тут Кикин, Оленин, Уваров и проч. Они составили капитал и задают работу художникам, потом ее продают, и деньги обращаются в общую кассу для того же предмета. Полезное заведение. Теперь артист всегда будет иметь верную работу, и у нас будут выходить прекрасные произведения. Портрет государев, который я тебе послал, от общества гравирован; также теперь занимаются видами петербургскими. Кикин у меня был на этих днях и сообщил весь их план. Нельзя не похвалить.

Константин. С.-Петербург, 25 января 1821 года

Из Лейбаха приехал курьер от 7 января. Ваниша [граф Иван

Илларионович Воронцов] пишет: «Мы уже две недели как в Лейбахе, красивом и прелестно расположенном городе, прогулки здесь восхитительны; но приятнее всего то, что мы наслаждаемся итальянскими погодами. Всякий день выходим во фраке, так тепло. Мы все превосходно разместились, квартиры обставлены чрезвычайно изысканно. О возвращении нашем ничего покамест не могу тебе сказать». Это бы, однако же, нас более интересовало, чем описание, от которого только слюнки текут. Я не раз был в Лейбахе и всегда любовался прекрасным местоположением.

Константин. С.-Петербург, 26 января 1821 года

Тургенев прислал ко мне при своей записке письмо к тебе Вяземского. Посылаю и то и другое, распространяя совет мой еще далее, нежели Тургенев, то есть даже не отвечать ему на глупые его рассуждения, да и вообще в письмах к нему не рассуждать, дабы не давать ему повода врать. Ну что он за ахинею порет! Где же ум? Где же толк! Я бы совсем эту переписку бросил и прошу тебя, по любви ко мне, ограничить ее, сколько можно, а не то точно можно иметь неприятность, по пословице: «Скажи мне, кто твои друзья, и я тебе скажу, кто ты».

Сюда едет наследный принц Мекленбургский, сын покойной великой княгини. 21-го должен был выехать из Берлина. Я послал навстречу офицера для распоряжений.

Константин. С.-Петербург, 29января 1821 года

Вот и молодые, Настя с мужем. Вчера была их свадьба; она что-то сегодня плохо ходит. Клим как посаженый отец захлопотался, а пуще всего издержался и бесится. Сегодня велел я им сделать ужин, пусть себе попирует Настя; а там как пойдут дети, да побои, так не раз вспомнит житье у нас.

Тургенев тебе кланяется, ему опять выпускали кровь пьявкою, опять ослабел, только меньше прежнего. К тому же открылось, что у него хирагра форменная. Я у него был в воскресенье утром, нашло пропасть народа, и все знать такая; а по вечерам у него дамы. И подлинно избалуется.

Здесь некто Рубцов, уланский офицер, дрался с Преображенским, – коего имени не знаю, но которого все хвалят, – на пистолетах, и первый был убит. Сожалеют очень о несчастном отце. Побранились за женщину.

Из Лейбаха приехал курьер, но о возвращении ничего еще неизвестно.

Я был вчера у графини Нессельроде, к ней не пустили меня именно по ее приказанию. Что за причина? У сына открылась скарлатина. Добрая эта мать нагорюется, особливо оставаясь одна

совершенно. Прочих детей тотчас отослала к Гурьевой. Это точно как чума, от которой берут самые страшные предосторожности. Теперь я ее не увижу шесть недель. Жаль мне ее очень, она измучается. Она было поговаривала ехать в Лейбах, а там в Вене дождаться весны и ехать к водам; но теперь все это расстроилось.

Александр. Москва, 30 января 1821 года

Я давно взял себе на ум то, что ты мне советуешь касательно В.[12]. Я ему даже и говорил об этом; он поуймется, а там забудет и опять принимается за вранье, но признаюсь, что не доходило до этой степени еще. Он малый очень благородный, добрый, но слишком любит рукоплескания так называемых остроумцев. Я в своих письмах никогда не касаюсь сих сюжетов и ограничиваюсь смешными вздорами и бальными описаниями. Когда будет сюда, серьезно его побраню, а до того времени вряд ли буду и писать, отъезжая отсюда. Я уверен, что он тем кончит, что наживет себе хлопот.

Я ездил после обеда к Осипову – дома нет; Шафонского[13] тоже не застал. Князь Дмитрий Владимирович поехал по четырем уездам объезжать, так они все гуляют.

Беглый Шереметев[14], которого граф П.А.Толстой не хочет более иметь адъютантом, явился. Проигравшись здесь, он улизнул в Серпухов и жил там, чтобы дать время пройти гневу матушки своей, а та было умерла.

Александр. Смоленск, 1 февраля 1821 года

Я выехал из Москвы в понедельник, в два часа утра, и поспел сюда в 37 часов, что очень скоро; зато как и лечу, и как опоражниваю Марицын кошелек, не жалея на водку! Дорога очень хороша, кибитка преславная, а о Волкове и говорить нечего: я только что ем да сплю, он делает прочее. Со мною и Васька. Ежели пойдет так же далее, то могу ужинать в Велиже.

Ваня Пушкин [граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин] так убедительно меня просил у него обедать, что я не мог отказать. Сейчас пришлет за мною сани. Здешний губернатор, барон Аш, умер; жена его едет к вам, в Петербург. Сюда приехал Кайсаров следовать по множеству жалоб, присланных на полковника Граббе [Павла Христофоровича], то есть на проказы его гусар.

Константин. С.-Петербург, 2 февраля 1821 года

Я был вчера на балу у графа Шувалова, остался там до трех часов, премного удивляясь видеть себя там столь поздно и, однако же, никак не решаясь уйти; подлинно бал восхитителен и очень оживлен. Были оба великих князя, наш добрый Закревский

со своей женою, Вася с невестою, которая скоро уж перестанет таковою быть, ибо в воскресенье свадьба, а после, в среду, большой бал у ее матери, а затем счастливая чета отправится в Москву. Хотелось бы и мне ехать с ними! По-прежнему много говорят о другой свадьбе – Николая Долгорукова с княжною Голицыной; но до сей поры, однако же, ничего не объявлено. Здешняя публика любит свадьбы не меньше московской. Наша новобрачная Настя на следующий день после свадьбы дала большой бал в нашей квартире, за который я дважды уплатил, ибо не смог уснуть до двух часов утра, и бедные мои уши!.. Как видишь, я порхаю от удовольствия к удовольствию.

Великий князь Николай приехал сюда с чрезвычайной скоростью, он мне уже говорил о своем возвращении в Берлин. Летом он едет с великою княгинею на воды, так что мы еще долго не увидим Жуковского.

Александр Велиж, 3 февраля 1821 года

Вот я и здесь, любезный брат; все ехали славно, только в Поречье настала к вечеру такая страшная метель, что я принужденным нашелся там ночевать. Поутру поутихло, но снегу столько навалило, что я ехал в кибитке с пятью лошадьми. Здесь стал я, по обыкновению, у полицмейстера и бывшего нашего опекуна Шестакова, не мог отказать у него обедать, а после обеда тотчас пущусь к себе в ближнюю вотчину Хилино. Ефим меня здесь ждал, а вчера уехал играть свадьбу другой своей дочери. Вот, стало быть, у нас и пир свадебный будет. Повезу молодой какой-нибудь гостинец.

Я, слава Богу, здоров и не устал. Заеду теперь к Алексианову, а писать тебе буду уже из Граблина. Здесь хорошее общество, стоит гусарский полк Сумский, два генерала и проч. Я тебе писал из Смоленска, где Ваня Пушкин задал мне славный обед; у него познакомился я со Свечиным – генералом, соседом по деревням Закревского. Очень боюсь, как бы Ваня мой не надсадил себе грудь, ибо он плюется при всякой встрече с жидом; а ты знаешь, однако же, редки ли тут жиды.

Константин. С.-Петербург, 5 февраля 1821 года

Рад я очень, что ты согласен со мною насчет переписки с Вяземским. Да иначе и быть не могло. Теперь я совершенно покоен и Тургенева успокою, который его за это крепко бранил, а он в ответ к нему точно то же городит.

Александр. Граблино, 7 февраля 1821 года

Вчера объездил я все фольварки; скота много, и все в

цветущем состоянии. Дойных коров одних до 400, а всего скота до 1500 штук. Навозу множество, можно будет и пашни прибавить. Дай Бог только урожай на этот год, то доход будет значительный; ныне родилось нехорошо, но все осталось и кроме семян, а ежели бы у нас было так, как в Орле или Воронеже, то не знаю, куда я бы голову девал: иные последнее продают, чтоб прокармливать крестьян своих. Наши мужики довольно зажиточны, мало таких встретишь здесь.

Положил я закон, по коему жиды, имеющие у нас корчмы на аренде, не могут продавать иного вина, как у нас купленное, и я иначе им не велел продавать, как по 4 рубля ведро: они все свои барыши найдут, а нам прибавит это доходу тысячи четыре в год. Куда их жалеть, плутов! Грозили было убраться, но раздумали: иной уже 25 лет у нас живет, слишком привык.

Какое происшествие! Слышу шум в передней; выбегаю, что же такое? Мужики недалеко отсюда видели вчера медведя, ранили его, но он ушел, а теперь его убили и притащили сюда. Страшная махина, черный самец; поставили на ноги, так выше Волкова. Мужикам велел дать вина и подарил храбрецам 25 рублей за шкуру; повезу жене: ей годится под ноги в карету. Вот каких уродов производит наша Белоруссия!

Ба! Вслед за медведем явился заседатель, коему надобно было подарить не медведя, а пенендзов; а там явился и Алексианов. «Мне, – говорит, – тоска по вам, приехал на вас посмотреть. Какие у вас планы?» – «Ехать завтра из Граблина в Городно, обедать у Марко[15], а оттуда к вам». – «Ну, так проделаем все это вместе». – «Ладно!»

Константин. С.-Петербург, 8 февраля 1821 года

Свадьба[16] состоялась в воскресенье. Перед тем мы ходили к Васе обедать, чтобы похоронить его холостяцкую жизнь; этот мальчишник был превесел и недлинен, ибо каждому надобно было приготовиться к роли, которую предстояло ему после играть. К восьми часам я возвратился к жениху, как обещал, и сопровождал его к княгине Куракиной, где уже был посаженый отец граф Головин (он весьма хорошо сделал, став *посаженым* отцом, ибо у него болели ноги), но кузена Голицына, коему должно было держать венец, еще не было. Все в нетерпении, боятся опоздать, наконец он является с целой историей про опрокинувшуюся карету. Однако же мне он шепнул, что уже на лестнице у него лопнули штаны, и дворецкий, неискусный портной, уйму времени потратил на их починку; но вот наконец все в порядке, и мы едем в дом княгини Шаховской, где часовня. Четверть часа спустя является невеста со своим кортежем.

Посаженой матерью была не Мятлева, а княгиня Вольдемар. Кортеж состоял из графа Григория Чернышева, Мятлева и молодого Апраксина с их женами. Сын Чернышев держал венец, а дворовые певчие пели.

Уверяют, будто мать не должна присутствовать, однако же нет: графиня Строганова была вчера в церкви с сестрою, невесткою и дочерьми. На невесте было белое атласное платье с кружевами, букетами, великолепная бриллиантовая диадема, и вензель на боку, полученный ею всего часом ранее. Вот она стала, в великой отрешенности, и церемония начинается да и завершается. Провозглашают ее княгиней Голицыной, все целуются, поздравляют друг друга, мы подходим к графине Строгановой и ждем новобрачную. Она тут и является.

Ты, может быть, думаешь, что мы едем ужинать? Вовсе нет, время всего лишь к половине десятого, а старая княгиня привыкла играть, и все семейство выказывает ей такое уважение, что и в сей день не хотят ее лишить ее бостона, и вот я играю с нею, графом Головиным и баронессой Строгановой, а Вася беспрестанно является мне сказать: «Играйте скорее», – я же, желая доставить ей удовольствие, делаю ремизы; партия затягивается, дважды мне приходилось бросать из-за почтальонов, кои не дают мне уже и на свадьбе погулять в мое удовольствие. Все это тянется бесконечно, наконец идем ужинать, а час спустя встаем, отводим жертву в покои, кои (в скобках) великолепны и восхитительно обставлены; ее раздевают, сажают в преизящнейшем капоте и маленьком ночном чепце в кресло возле постели; всех нас, одного за другим, зовут с нею проститься, мы целуем ей ручки, кои она нам робко протягивает, и эта жестокая церемония оканчивается в половине второго утра.

Мое скромное перо отказывается сказать тебе более про сегодняшний день. Вчера был большой бал у княгини Вольдемар, там был весь город, оба великих князя, наследный принц Мекленбургский; бал был блистательный и очень жаркий. Новобрачная со своим смущенным видом была прелестна. Весь сияющий Вася беспрестанно находил, что пора уже идти спать, и не понимал, какое удовольствие оставаться на балу. У него вид человека, не постигающего своего счастия; кажется, будто он себя щиплет, чтобы убедиться, что все это ему не снится. Ежели все сон в этом мире, то, верно, сей сон – один из прекраснейших, и, верно, он от него никогда не очнется. Его жена добра, мила, красива, нет сомнений, что они будут счастливы. Я захотел навестить их этим утром, но не могу двинуться и жду их теперь у нас. В первую неделю Великого поста счастливая чета едет к вам. Будучи на свадьбе, хотел и я было с ними пуститься, и они меня

уговаривают, однако же принужден я отказаться от того, что доставило бы мне самое живейшее удовольствие. Реляция моя окончена. Теперь идет целая череда балов, на которых я весьма удивлен себя видеть.

Константин. С.-Петербург, 11 февраля 1821 года

В городе все еще говорят о свадьбе Голицына; завистников много, но перестали хулить, как дело конченное. Молодые все с визитами разъезжают. Бал был славный! Что за дом! Что за вещи! Отыграв в вист, долго ходил я по галереям, по библиотеке и любовался. Картины есть прелестные. Старик [то есть граф Александр. Сергеевич Строганов, дед новобрачной] до всего был охотник. На балу было много, великие князья, вся знать, и я оставил его, когда еще не начинали разъезжаться. Комнаты князя Василия прелестны, соединены маленькою лестницею с жениными. Будут себе жить да поживать!

В тот же день в театре была императрица Мария Федоровна с принцем Мекленбургским и великими князьями в большой ложе. Театр был освещен, народу пропасть, играли и танцевали лучше обыкновенного.

Константин. С.-Петербург, 18 февраля 1821 года

Читал ли ты у Свиньина статью о Беннеровой коллекции? Это с досады за то, что тот не принял его протекции, которую он приходил к нему на дом предлагать. Это писатель, знаток, сам артист, редактор газеты и проч. Его еще не отучил Броневский врать глупости и дерзости. Беннер – швейцарец, не знает, что Свиньина мнение почти то же, что ничего, и сначала было этим огорчился, но я его успокоил.

Все у меня для отделений кончено, с 1 марта начнется в них прием. Я послал к князю записку, по коей нужно будет ему публиковать в газетах. Уже теперь все довольны этим проектом; что же бедные люди скажут в слякоть?

Есть у меня еще проект, точно государственный, но требует еще много соображений, расчетов и трудов, начну, однако же, понемногу им заниматься. Если этот удастся, то скажут спасибо, и сам собою буду доволен.

Теперь целое утро меня так тормошат, что нельзя ни за что приняться. Ты должен это и по письмам моим видеть. Делать нечего, надобно терпеть или запираться, как мой предместник. О возвращении из Лейбаха точного ничего еще не известно, а только граф Нессельроде писал сюда под секретом, что он выедет не позже 15 февраля, следовательно, он уже теперь в дороге. Мне кажется, что и государь недолго теперь там останется.

Каподистрия все нездоров, поддерживает себя только диетою и ваннами. Я полагаю, что он не тотчас сюда возвратится, а поедет наперед к водам. Плохо здоровье этого доброго человека.

Константин. С.-Петербург, 19 февраля 1821 года

Тургенев дал мне Храповицкого «Записки» и дозволил списать. Сегодня у себя в кабинете заставил списывать. Что, у тебя слюнки текут? Со временем, может быть, к тебе еще пришлю, или лучше приезжай сам читать. Чрезвычайно любопытны!

Константин. С.-Петербург, 22 февраля 1821 года

Я сегодня очень устал: целое утро должен был сочинять донесение князю листах на двенадцати о мемельских делах, роясь в немецких бумагах, так что, право, голова вкруг пошла, а заставить написать некого; да и не может никто, не быв свидетелем немецких наших конференций. Впрочем, Масленица кончилась, а в пост более еще обыкновенного надобно работать; я таки намерен серьезно за многое приняться, кончить, написать ответы на кучу писем и к Святой неделе совсем совершить конвенцию с Пруссией, а там уже и с Австрией.

Александр. Москва, 24 февраля 1821 года

Храповицкого «Записки» я читал, но не помню, вторую ли или первую часть; это знает Тургенев, а я бы охотно прочел то, что не читал. Вот лучшие, бесценнейшие материалы для истории, ибо все тут без прикрас и писано без намерения огласки.

Свадьбы: Михайло Орлов помолвлен с дочерью Н.Н.Раевского. Я ее знал в Карлсбаде, прекрасная, то есть умная, милая девушка; а здесь Кутайсов отдает с миллионом дочь свою за сына князя Федора Ник. Голицына, что был в Испании[17]. Кстати сказать: к Алексианову приезжал его кузен из Тульчи и сказывал мне, что Потоцкая-старшая, Софья, помолвлена за Киселева, в коего влюблена по уши; матери сказала она: «Или Киселев, или монастырь». И за этою миллион, а женитьба брата его с танцовщицею была басня.

Константин. С.-Петербург, 25 февраля 1821 года

Вчера провел я вечер у доброго Арсения[18], играли в вист с Ермоловым, много болтали, а все-таки рано домой приехал; видно, что порядочные люди.

Новостей только слышал о свадьбах. Киселева невеста имеет приданого 3 миллиона польских злотых, что значит на наши деньги 1 800 000 рублей; порядочно! Говорят также, что Зубов женится на дочери князя Щербатова, сестре покойной Юсуповой.

Проект о новых дилижансах по дороге до прусской границы пошел в Комитет министров. Я надеюсь, что сим летом еще будут в них разъезжать. То-то будет славно!

Константин. С.-Петербург, 1 марта 1821 года

Свиньин точно заврался, и видно, что сердит за то, что Беннер, к которому он приходил хвастать своим авторством и журналом, не поподличал ему. Мне Тургенев обещал и сказывал вчера, что уже и говорил с Гречем о помещении возражения в «Сыне Отечества». Не довольно Свиньину, что его отделал Броневский. Признаюсь, я бы желал, чтобы его порядком отделали и тут. Ну что такая за злоба на бедного Беннера, которому, напротив, мы все должны быть благодарны за его прекрасную коллекцию? Если у Свиньина такой большой талант, то зачем он не догадался прежде издать подобной коллекции? Но что о нем говорить! Он хвастун и больше ничего.

Опять поговаривают о скором возвращении государя; даже и Мартынов, который у меня обедал, уверял, что непременно возвратится на четвертой неделе. Увидим, не привезет ли чего положительного первый курьер. Впрочем, точно, кажется, продолжаться долго отсутствие не может: раз хорошенько поколотят карбонаров, так все попрячутся. Если бы не Пепе, так, я думаю, они бы и шуметь не стали.

Когда перепишут «Записки» Храповицкого, то пришлю обе части прочитать. Они подлинно очень интересны.

Константин. С.-Петербург, 3 марта 1821 года

Тетушка, точно, во многом судит по-старинному, то есть здраво. Старуха Голицына здесь тех же правил. Апраксина [Екатерина Владимировна Апраксина и Софья Владимировна Строганова – дочери княгини Натальи Петровны Голицыной (Усатой княгини)] когда приехала, мать ее в тот день обедала у Строгановой; что же, ведь она не прямо к Строгановой поехала, зная, что мать там, а сперва заехала к ней в дом, взошла наверх, а там уже отправилась к сестре. Первый визит – матери! Воля их, а я это люблю и нахожу, что нет счастливее матери, чем старуха Голицына. Надобно видеть, как за нею дети ухаживают, а у детей-то уже есть внучата.

Ну, сударь, между нами, получено разрешение на уменьшение таксы. На письма остается то же; за документы, в виде писем пересылаемые, брать весовые с лотов, а если в виде посылки в холсте и проч., то с фунтов вдвое против веса за простое письмо. За посылки все вообще, за серебряную и золотую монету, брать с фунта то, что с письма за лот берется. За

эстафеты брать половину того, что теперь берется. То-то публика будет довольна, а между тем и казна ничего не потеряет. Куда я рад всему хорошему. Отделения идут прекрасно, публика в восхищении, а как настанет слякоть, то и более еще будут благодарить. Я надеюсь, что не ударю лицом в грязь; остерегаюсь, чтобы никак не могли упрекнуть, что я не заботился совершенно об интересах наших. Я теперь подбиваю Гольдбека, чтоб в Пруссию почта шла скорее, чем он себе вечную приобретет славу.

Он сочинил какой-то проект, по которому в Намбург будет поспевать двумя или тремя днями ранее теперешнего. И это добре!

Кстати, о добре: жив ли Саччи, что о нем давно не слыхать? Здесь пронесся слух, что Василию Львовичу сделался удар, я не верил и рад, что неправда, а Тургенев очень горевал. Но ты поэту не сказывай, а не то от страху может сделаться беда. Сперанский выехал сюда. Мне пишет о сем сибирский почт-директор от 12 февраля. Здесь уже говорят, что граф Кочубей едет к водам (он точно был очень нездоров) и что Сперанский будет на его месте.

Константин. С.-Петербург, 5 марта 1821 года

Вчера вечером собрались мы у Лонгинова и ездили все вместе и с дамами (кроме моей) смотреть в Генеральном штабе освещение газом. Большая люстра, особливо в ротонде, где библиотека, бесподобна, освещает чрезвычайно хорошо и очень красиво. Уверяют, что есть дух. Я точно дух слышал, но это быть может и от красок, ибо только что покои отделаны, и генерал Селявин мне сказывал, что оный ежедневно уменьшается. Если нет неизвестных мне неудобств, то это освещение и выгодно, и должно во всех отношениях иметь преимущество над всеми другими.

Александр. Москва, 7 марта 1821 года

Пусть Греч отбреет Свиньина какому-то критику, называющему себя Галерным Жителем; он пишет как каторжный; ему досталось в последнем «Сыне Отечества» за глупые нападки на Жуковского, который перевел Гётеву балладу «Рыбак».

Писал тебе и повторяю, что новая княгиня Голицына очень мне по душе, но Воронцова жену я еще более полюбил с первого раза. Я к ним заезжал вчера, и Нусша меня отвела в отдаленную комнату, чтобы попросить 200 рублей взаймы; мне очень было больно отказать, но, право, нет у самого лишних. Как быть, князю дал; он что-то любит это число 200. Если будет кстати, то шепну словечко Васе: пусть он им что-нибудь подарит. Хорошо просить сыну у отца, брату у брата, но отцу просить у сына тяжело. Мне

их, право, жаль! Семья большая, дом огромный, много надобно денег. Молодые не выезжали никуда, Вася явился только к коменданту и военному генерал-губернатору, да оба были у тетушки, тотчас приехавши, вот и все.

Благодарю наперед за «Записки» Храповицкого. Волкову подлинно нельзя ехать в Петербург, а место свое решился оставить, и причины основательны; он уже объяснился с князем Дмитрием Владимировичем, который отскочил от него на два шага, но потом должен был с ним согласиться. Здоровье потеряно, 40 тысяч долгу нажито, все свое жалованье отдает подчиненным, дабы сохранить хороших людей, кои, за малыми окладами, не могли бы оставаться тут. Это уже вещь определенная, и они за Волкова жалованьем точно ходят как за своим. Вахтпарады его убивают: не бывать нельзя, испросить увольнение от них было бы одурачить себя.

Дело, кажется, решенное, что двор будет сюда, и надолго, хлопоты умножатся; не говоря о другом, одно это – 10 или 15 раз всходить 59 ступеней по лестнице комендантской – убийственно. Он дорожит хорошим мнением, которое государь имеет о нем, и не хочет его потерять; а это случиться может. Есть много других значащих обстоятельств, кои здесь объяснить нельзя. Он дал князю, впрочем, слово, что через два года, а может быть и скорее, посвятит себя опять на службу. Ужели долговременная, усердная и трудная его служба не заслуживает того, чтобы его отпустили на это время, с мундиром и с сохранением всех окладов, тогда как он военно-сиротскому отделению сделал 60 тысяч капитала? А я побожусь, что деньги эти умеет он своей ловкостью и общим к себе уважением набрать от разных лиц: они давали их точно не казне, не коменданту, а именно Волкову, любя его. Я тебе на досуге теперь все это объяснил, а ты прочти это доброму нашему общему другу Закревскому. Волкову о себе говорить неловко, да и писать много не позволяет ему больной палец.

Сим кончу ответ мой, поеду в собрание старшин; что-то доки там будут говорить? Новые старшины: Кутайсов, Ртищев, Масальский, Мертваго и Васильчиков А.В.; двое последних хороши, зато уж те! Знаю, что есть какие-то новые выдумки; стану огрызаться.

Я не ошибся: Ртищев предлагал уничтожение билетов на хоры. Я спросил, для чего хоры были построены? «Обыкновенно, для музыкантов». – «Я замечу вашему высокопревосходительству, что музыкантов бывает 40 и 50 человек, а на хорах помещаются более 1000 человек. Цель хор есть доставлять удовольствие бывать в собраниях тем, которые не вправе бывать внизу». – «Да никто не будет записываться, все будут ездить наверх». – «Да,

мещанке, купцу, служанке и записываться-то нельзя; а можно положить законом не давать на хоры тем, которые имеют право записываться в члены и бывать внизу: это дело другое». Ртищев прибавил: «Лучше ничего: *того и гляди, что хоры обрушатся*». Умора! Все единогласно отринули предложение. Тогда и генерал-сенатор сказал: «Ну, так и я с вами согласен».

Граф Кутайсов делал другое предложение, внушенное ему княгиней Белосельскою [Анной Григорьевной, урожд. Козицкой], чтобы было позволено во время концертов ставить столы в зале и играть в карты. Попав в ораторы, по несчастью, в этот день, я опять ему доказал, что это вздор: «Кто не любит музыку, оставайся дома и играй в карты; да к тому же мы будем бояться, чтобы эта *проклятая музыка* не заставила делать ренонсов и не помешала княгине Белосельской помнить козырей». Все рассмеялись, дальше прения были не нужны.

Кутайсов говорит, что это прибавит доход. Во-первых, я ручаюсь, что больше пяти столов не наберется: кто захочет обратить на себя негодование и насмешки публики? Обогатят ли 5 целковых Собрание? «Можно поставить столы под аркады, то и шуму не будет от игроков». – «Галереи сделаны для прохода; я и тонок, да не пройду, ежели поставят столы». – «Да меня Сонцов уверял, что это прежде бывало». – «Никогда, а было вот что: после кончины покойного императора Павла был траур, была запрещена и музыка, и танцы; тогда (это правда) играли в карты в большой зале, иные гуляли, другие играли, но музыки не было». Все согласились, что это вздор, и сам Кутайсов должен был признаться, что вздор. Каковы новые защитники Дворянского собрания!

На Кузнецком мосту поставлена панорама Парижа, я думаю та же, что была в Петербурге; когда ни иду мимо, всегда пропасть карет, саней и людей. Я еще не видал, а Масальский говорит: «Это подлинно Робер».

Князь Дмитрий Владимирович прислал к завтрему звать обедать, не для Сперанского ли это[19]?

Скажи Тургеневу, что я вчера писал Серафиму [тогдашнему митрополиту Московскому]; он принял лично письмо мое и сказал Евсею, чтобы меня уверил, что все сделает, что желаю, а я прошу вакантное дьяконское место у школы в Драгомилове для студента, который женился на одной из несчастных поповых сирот. Спасибо Тургеневу, ибо я пишу Серафиму: «По участию, приемлему в сих несчастных другом моим Александром Ивановичем Тургеневым, а более еще по сродному вашему высокопреосвященству человеколюбию, вы не откажете…» – и проч. Дипломатический выверт! А как ни говори, они все

Тургеневу в глаза смотрят.

Константин. С.-Петербург, 8 марта 1821 года

Не завидую ни вашему бегу на Москве-реке, ни медвежьей травле, а завидую Немецкой слободе, куда бы полетел и дал бы подписку не выезжать из нее во все московское пребывание: хотя и есть добрые друзья за Красными воротами, но они сами бы ездили ко мне, Волков и Чертков, и Егор Васильевич. Вася тебе правду сказал, у меня очень в уме бродило слетать к тебе; но как вырваться отсюда? Как проситься, когда сам вижу, что отпустить нельзя? Подумал, повздохнул, да и принялся опять за работу.

Ну, стало, началась суматоха у Голицына! Да наш Чижичек [то есть князь Сергей Иванович Голицын] запоет, как лебедь на водах Меандра, последнюю песню свою и попирует. Да после-то как быть? Плохи его делишки. Адель точно не красавица, но лучше красавицы. Лицо доброе. Кланяйся всему семейству от меня.

У вас, верно, будут говорить о дуэли между генералом Толем и Орловым-Денисовым, потому что и здесь говорили. Но этому не верь. Они поспорили и помирились. По гамбургским газетам, в Неаполе есть скандал: какого-то своего министра (кажется, военного) закололи, да и Штакельберга потревожили дорогою, между Неаполем и Римом. Вольно же ему! Тут и в мирное время небезопасно ездить; для чего не поехал морем?

В отделениях в четыре дня набрали 1000 писем, следовательно, почти на тысячу человек меньше перебывало в почтамте. Все довольны, а если и будут сердиться, то разве извозчики да сапожники, кои лишаются отчасти дохода своего. Вот в слякоть еще будут благодарнее те, кому приходилось идти десять верст.

Обедал у Голицына; были Юсупов, Апраксин, князь Сергей Сергеевич Голицын, приехавший из Петербурга, Цицианов, всех человек 12. Толковали о театре здешнем, то есть о Петровском [позднее Малом, коим оканчивается улица Петровка], который через год должен быть готов. Есть проекты славные, и эта часть города с площади будет прекраснейшая между всеми. Говорили много о театрах, о музыке вообще. Голицын рассказывал много анекдотов о вашем Тюфякине, о шведской его труппе и проч. Князь Дмитрий Владимирович едет в среду или четверг к вам.

У Вяземской есть письмо ко мне от мужа; велела сказать, чтобы я сам заехал взять; я заехал по дороге, вижу всю ее растрепанную. «Откуда вы это?» А она: «Ха-ха-ха! Я с Москвы-реки, с бега, 14 раз бегалась с Потешным и обежала его». – «Не сами ли вы правили?» – «Что за мысль! Я была с графом

Потемкиным, а его жена была с Голицыным (Александром Борисовичем)». Экая чудачка!

Наташе привезли телят из подмосковной. Я советовал послать одного Чижу, у которого завтра обед. Докладывают ему: «Прислал Александр Яковлевич теленка вашему сиятельству». Он, думая, что это, верно, какая-нибудь фарса, мною выкинутая, говорит: «Подайте сюда этого теленка!» – а все сидели у Адели. Мой Евсей развязал ноги теленку, дает ему волю, теленок бежит, слышут топот – ха-ха! – да подлинно теленок! Этот благовоспитанный юноша, не боясь ничего, идет прямо к Адели; она протягивает руку, а он, как галантный кавалер, ну ее лизать. Только начинаются оханья, как эдакого доброго, умного теленка зарезать и съесть. Столь мила и добра Адель, что и теленок отдал ей должную справедливость. Надобно было видеть, как все семейство пересказывало сие великое событие.

Ну, сударь, что слышал я нового? А вот что: княгиня Горчакова, дочь князя Юрия Владимировича Долгорукова, больна очень, и страшною болезнью: вдруг у нее брюхо вздувается на аршин и вдруг исчезает, как ни в чем не бывало. Это было уже три раза, а доктор говорит, что на четвертом она умрет; почему же не на третьем и пятом? Это мне напоминает анекдот про мужика, коему цыган сказал, что когда лошадь его, на которой мужик вез дрова в город, остановится в третий раз, то мужик умрет. Он отделался испугом.

Бывшая Боголюбова невеста Бахметева вчера была помолвлена за какого-то молодого Колтовского; порядочный малый, хорош собою и имеет 500 душ. Что-то скажет Боголюбов на это?

Митюша [то есть Дмитрий Васильевич Нарышкин, зять графа Ростопчина] сказывал, что граф Ростопчин ему пишет, что у Орлова, то есть у Гриши, то есть у графа, была в Париже схватка с каким-то попом, венчавшим какую-то его протеже. Орлов был посаженым отцом. Кюре, по обыкновению, для формы сказал: «Вы будете опорою супруге в добродетели и католической религии». – «Нет, господин кюре!» – «Как нет?» – «Нет, потому что я придерживаюсь греческого обряда». – «Да вы схизматик, хуже протестанта», – и начал его ругать, а тот отбраниваться. Свадьба чуть не разошлась, и Орлов должен был что-то заплатить.

Константин. С.-Петербург, 9 марта 1821 года

Уж какое у нас время! Ни пешком ходить, ни в санях ездить, ни в карете, а сверху прекрупный мокрый снег. Зато я вчера целый день ни на шаг из дому, хотя просбирался к Гурьеву и почти обещал Закревскому приехать к нему на вечер. Целый вечер

приводил в порядок русские книги и занимался перечитыванием «Записок» Храповицкого. Графиня Нессельроде готовилась ехать навстречу мужу; но я ей все не советую, тем более что мы не знаем наверное, когда он выехал или выедет, следовательно, она может проехать до Брест-Литовска или за дурною погодою где-нибудь сесть в Порхове или Луге. Куда как весело, да и зачем! Она, точно, препочтенная женщина, мать примерная, жена тоже, но все-таки напрасно едет.

Скажи мне, собираешь ты журналы, которые я к тебе присылаю? Мне хочется иметь все лучшие наши журналы, переплесть их, то есть иметь все выпуски «Сына Отечества». Со временем все это очень будет любопытно. Если у тебя есть какие, то уведомь: не нужно будет еще прикупать. Вообще мне хочется устроить русскую библиотеку из одних русских сочинений, ибо переводы лучше иметь в оригиналах. План сделаю, а там понемногу буду собирать.

Я целое утро баклуши бил, возился, играл с детьми; а тут вдруг записка от Фавста: просит нивесть как обедать у него поранее и ехать показать им панораму Парижа. Теперь оттуда только что приехал; надобно было им все толковать, был там часа с полтора. Сделано прекрасно, за то и денежки набирают: в неделю более 2000 рублей. Вся Москва валит туда. Кто не захочет за 3 рубля побывать в Париже? Вчера взял я у Саччи две золотые штучки в клубе и дал ему две сухие: так взбесился, что, бросив кий, разбил стекло. У нас с ним за Неаполь большие ссоры. Он все со своими фразами: «Время не стоит на месте, философия всюду входит, желания народов выходят наружу», – и другие вздоры. «Увидим, – сказал я ему, – все ли дело в нескольких мерзавцах или это желание народа; подождите, пока придут австрийцы, а там посмотрим, подымется ли народ». – «Да что же делать против силы?» – «Что делать, говорите? То, что испанцы сделали против Наполеона; посмотрим, поступит ли Неаполь, как Сарагоса, и я вам говорю, что нет, что Пепе и компания будут повешены тем же самым народом, который, по вашим словам, идет в ногу с веком». Мой Саччи рассердился, но все-таки не так, как за две сухие.

Уменьшение таксы дело славное. Рушковский мне об этом говорил, а тут и ты пишешь. Для него год будет славный: мне сказывали почтамтские, что разбор газетам удивительный, тысяч 60 получит нынешний год[20]; жаль, что все это умрет в его кармане. Какая разница, ежели его это развлекает!

Василия Львовича [Пушкина] удар есть выдумка Алексея Михайловича Пушкина. Василию Львовичу сделалось жарко, попросил испить, голова заболела, а тот так его уверил, что это

было род удара, что сам Василий Львович всем говорил здесь: «Посудите, что я и не заметил у себя удара; вот Алексей Михайлович был тому свидетелем!» Это, видно, дошло и до вас.

На меня навязал Апраксин билет на концерт мадам Данжвиль; надобно будет ехать.

Александр. Москва, 11 марта 1821 года

Право, если дамы будут ездить к Тургеневу, а мужчины посылать ему разные блюда, то он никогда не выздоровеет, не такой дурак! Сегодня обедаю я у Митюши, который угощает своего товарища мобежского Гурьева. Беда, надобно ехать в санях: лошадям пускали кровь, то есть четверым, и так имею только пару, а парою в карете не доедешь в час; авось-либо сделается потише. Третьего дня как я удивился: в эту мерзкую погоду встречаю на простом извозчике кого же? Княгиню Вяземскую с братом Феденькою, и тот, проказник, встречая экипажи, все прятался в шинель; так узнавали ее одну и, верно, скажут, что она куда-то ездила инкогнито с кем-то; впрочем, и заслуживает нарекания. От меня к Фавсту ехать – и то бы риск, а с Леонтьевского переулка это непростительно. Здесь всякие толки делают насчет ее и мужа. Я не верю ничему, но эта разлука их и разделение детей довольно странны.

Константин. С.-Петербург, 12 марта 1821 года

Уж коли дать пир, так наш князь Сергей не ударит лицом в грязь, да после-то каков будет, когда настанет четверть часа Рабле? Я тебе под секретом скажу историю браслета. Адели всегда этого хотелось. По долгой переписке между Васею и отцом, чем подарить молодую в Москве, решились на браслет, который здесь и заказали. Княгиня было мне писала о заплате за него 2000 рублей, обещая возвратить скоро, но у меня денег не случилось, и Вася взялся все устроить и заплатить ювелиру.

Орлову [графу Григорию Владимировичу] в его путешествиях все несчастье: инде осел поколотил его, а теперь в Париже опять схватка.

Александр. Москва, 14 марта 1821 года

Я видел Степана Степановича Апраксина, который мне сказал странную весть, непохожую на быль, что все греки восстали, объявили себя независимыми, что Али-паша принял веру христианскую и идет со 180 тысячами войска к Царьграду, что греки избрали себе в главу Ипсиланти и издали прокламацию, в коей ссылаются на подпору одной сильной *северной* державы. Апраксин думает, что это все подвиги Каподистрии; все это так

невероятно, что я тебе сообщаю только для смеха.

Панорама Парижа в большой моде, весь народ валит туда; а тем, которые дают концерты, плохо: мало охотников, да и таланты плохи. Каталани и Боргонди публику избаловали. Нет! О дуэли между Орловым и Толем здесь не говорили, а как заговорят, то скажу, что вздор. Здесь утверждают, что государь будет к концу месяца в Петербурге и что есть уже маршрут; не верю: ты бы всех прежде знал это. Жаль мне Панкратьева, вот уж не вовремя гость хуже татарина. Ежели Арсеньева догадлива, то сама съедет от сестры: с корью шутить не должно. Оставь и ты на время Панкратьева, а Гурьев мне сказывал, что ты всегда с ним бываешь у отца его. «Мы все озабочены, – говорит он, – составлением партии вашему брату, который играет по маленькой, а папа в таком восторге, когда он к нам приходит». Авось-либо графиня Чернышева отделается от своей желчной лихорадки; желаю это душевно.

Константин. С.-Петербург, 15 марта 1821 года

Рад я, что Василия Львовича удар – шутка, но тот Пушкин его уходит своими шутками. Он труслив и мнителен, так долго ли уморить? Прочти в «Сыне Отечества» послание к нему его племянника и другое Давыдову.

Третьего дня хотя у меня самого обедали гости, но не мог отказать Бистрому, у которого обедали Ермолов, Закревский и проч. короткие знакомые. Обед был лагерный, с музыкой, песенниками, пили здоровье, после обеда качали толстого Ветлицкого, старого нашего молдавского знакомого, играли в вист, в курочку, и я насилу в 9 часов убрался домой, где тотчас переодевшись, поехал на вечер к княгине Куракиной [Наталье Ивановне, великой любительнице художеств], где был концерт и множество народа. Тут поздравил я Левашова со скорым вступлением в наш полк. Старик Мятлев мне пенял, что я не бываю у него; поболтал я с Татищевой, с графом Марковым и другими и в двенадцать часов приехал домой, устав чрезвычайно.

Василий Степанович Попов, говорят, совсем ослеп, но скрывает сие и подписывает бумаги. Странно, что все слепые имеют ту же слабость. Граф Головин очень заболел, вчера ему было лучше, но очень слаб и желт.

Александр. Москва, 15 марта 1821 года

Здесь только и речи в городе, что о восстании греков. Всякий рассказывает по-своему, но Бубуки точно получил печатную греческую прокламацию, или воззвание, подписанное начально Ипсиланти и множеством других. Чтобы узнать правду, я просил

Волкова послать за самим Бубуки; он болен, не мог быть сам, а прислал поверенного, который это подтвердил и прибавил, что заговор об освобождении греков от турецкого ига давно сделан был; что сербы, далматы, морейцы, все жители Архипелага (вооружившие 400 судов), сулиоты, шимариоты и проч. в оном участвуют, что сблизились с Али-пашой, принявшим веру христианскую, что он идет в Царьград и находился в Салониках, по последним известиям; что все греки на флоте турецком взбунтовались и заняли Топхане; что бывший валахский господарь был отравлен за то, что не хотел участвовать в заговоре; что Караджиа, Калимахи заодно и дают деньги, что рвение столь велико, что из Одессы одной ушли 4000 греков, желающих соединиться со своими соотечественниками. Вот главнейшие статьи. Конечно, тут много прикрас и выдуманного, но что-нибудь да должно быть. Здешние греки целуются, как в Светлое Христово воскресенье; кофейные дома набиты людьми пьющими и курящими. Полиция обратила свое внимание на это, но не может еще отыскать источника. Метакса и Чумага готовятся, я думаю, один – в Эпаминонды, а другой – в Солоны. Ежели достану документы, кои, говорят, у графа Санти, то пришлю тебе.

Уложив спать жену, поехал я к Пушкиным. Софью не мог я видеть, она уже спала, но здорова, и Алеша также, завтра его крестят; родился плотен и 12 вершков, у него маленькая рассеянна на губе, но это, говорят, пройдет. Софья, брюхатая, была поражена каким-то ямщиком, едучи из Калуги, у коего губа была рассечена. Рихтер говорит, что это можно и зашить очень легко; впрочем, это ребенка не безобразит. Отец в восхищении и так был обрадован при рождении сыночка, что его выпроводили без чувства из комнаты родильницы. Москва помолвила уже дочь князя

Дмитрия Владимировича за Николая Долгорукова, прибавив, что бабушка[21] дает 300 тысяч приданого. Тебе бы это известно было. Вот все, что я слышал у соседок, которые все тебе кланяются, а Марицу целуют. Как бы она не попалась в статс-дамы к будущей греческой императрице.

Нельзя и нам похвастаться временем: везде грязь, а против греческого монастыря такая была, что принуждены нашлись пробить стену Китайскую, и вода хлынула на Моховую. Авось-либо уговоришь графиню Нессельроде не ехать навстречу к мужу, ну да как разъедутся как-нибудь! А разве это не возможно?

Константин. С.-Петербург, 16 марта 1821 года

Вчера вечером приехал курьер из Лейбаха, я получил письмо

от графа Нессельроде от 22 февраля. Вот что он мне пишет (но сие останется между нами): «Наши дела здесь окончены, но мы еще ждем результата первых военных операций. Так что мне трудно было бы указать вам с точностью день нашего отъезда; но надеюсь, что теперь уже недолго, и в течение следующей недели все прояснится. Посол Поццо покинул нас в пятницу, дабы опередить неаполитанского короля, отбывшего отсюда в субботу. Австрийцы прибыли 28 февраля в Ристи, и 3 марта должны были перейти границы Неаполитанского королевства. Следовательно, мы с минуты на минуту должны получить известие об их встрече с неаполитанскими войсками».

Ты видишь, что день отъезда еще не назначен, а послушай наших вестовщиков, так государь уже в России. Курьер ехал долго, быв остановлен за реками.

Генерал-адъютант Чернышев, ехавший, кажется, из Мюнхена, в горах был опрокинут и переломил себе плечо, то есть ключицу. К нему, говорят, послал государь Вилье.

Александр. Москва, 17 марта 1821 года

История теленка благовоспитанного кончилась тем, что его помиловали на этот раз, а что будет вперед, не знаю. Как бы ему, бедному, не досталось завтра! Я сам, как покойный Шарапов, не могу есть зверей домашних и дома убитых, ежели мне это скажут.

Очень буду я рад Беннерову приезду сюда, а ежели портрет Наташи удастся, в чем не имею сомнения, то и мне копию сделает; но прежде надобно мне оригинал откормить, как теленка, а теперь она не авантажна.

Вы ничего не знаете, а Москва решила, что кухня государева уже приехала и что государь сам будет 26 марта.

Я было собирался к М.М.Сперанскому; но, боясь, чтобы он благодарность не счел подлостью, не поехал и радуюсь тому. Его замучили так посещения, что он сам сказал, что от них уезжает в Петербург, куда отправился вчера. Губернатор, вице-губернатор, Шульгин явились к нему в большом параде; последний потащил его в тюремный замок и в яму; жаль, что не дал ему зрелища пожара. В Рязани явился к М.М.[22] Балашов; этого не довольно, давал ему обед, и Сперанский поехал на приглашение как ни в чем не бывало. Карнеев говорит, что он оплешивел весь и стал слаб здоровьем, что желание его – сохранить теперешнее место, но что ежели воля государя, чтобы он остался в Петербурге, то другого места не примет, кроме прежнего, государственного секретаря.

Константин. С.-Петербург, 18 марта 1821 года

Что у вас слышно о Молдавии? Я читал несколько прокламаций князя Ипсиланти (безрукого), который созывает всех греков восстать за отечество и для свержения варварского ига турецкого. Так как все увеличивают, так и в сем деле меня уже уверили, что у него 30 тысяч войска собрано. Чем-то кончится, а крови много прольется и турецкой, и греческой. Не мыслит ли Метакса туда пуститься? Если Бетера где-нибудь там, то не останется без действия. Я боюсь за своего старика [то есть за тестя Варлама, жившего тогда в Кишиневе], чтобы он не наделал каких-нибудь глупостей. Одесской почты еще нет, следовательно, нового ничего не знаем из тех краев. Отсюда сказать тоже нечего.

Вчера я удивился встретить на Невском проспекте, где всякое утро бывает толпа народа, Полторацкого [Константина

Марковича]. Я не знал совсем, что он тут. Ваня Пушкин едет через два дня в Витебск, чтобы быть там при проезде государя. У меня в кабинете целое утро солнце, и чрезвычайно жарко, хотя перестали топить. Там, где Серапин пишет, делаю шкафы для русских книг.

Увы, бедный Брюне, товарищ Потье, лишил себя жизни! Долго он забавлял парижскую публику, сперва своим талантом, а наконец – по привычке смеяться его роже. Мне он никогда очень смешным не казался. Он застрелился в Версальском саду. Опять заговорили в городе, что Тургенев отставлен, и опять это вздор. Я его вчера утром видел; брат его Николай возвратился.

Ну вот, стало, и до вас слухи о греках дошли. Жаль мне, что Апраксин приписывает это Каподистрии; сверх того, что это глупость, ни на что не похожая, но от него разнесется по Москве, а тому очень будет неприятно. Да! Тюря [славный игрок на бильярде] у вас? Мастер играть. Ты его обыграл, поздравляю, а я обыгрываю Балына, Молдавана, который воображает себе, что большой мастер, а все проигрывает мне и бесится на мои карамболи.

Александр. Москва, 18 марта 1821 года

Сию минуту получаю письмо от Ростопчина; говорит, что Лобанов, женатый на Безбородко, покупает все, что видит, и имеет одних книг уже 18 тысяч волюмов. Корсакова делает то же, и он прибавляет: «…и ходит от одной двери к другой, выпрашивая деньги». Это можно было предвидеть. Граф пишет еще: «Шредер исполняет должность посольскую с большим достоинством, осмотрительностью и милостью, все от него в восхищении»; это меня очень радует. У вас говорят все о подарках Левашова, а здесь – об его мазурке, которую все в городе играют или пляшут. Город все еще наполнен греческими подвигами, всякий толкует свое: иной взял уже Царьград, куда приехал уже Курута и куда ожидается Константин Павлович.

Константин. С.-Петербург, 19 марта 1821 года

Читал ли ты «Белую суму»? Весьма искусное сочинение (по крайней мере, я так полагаю), коего цель – оправдать английскую королеву. И точно, читая эту книгу и забыв последний процесс, она точно представляется невинною жертвою интриг и злости. Я дочитываю первую часть и пришлю ее тебе, а там и вторую.

Александр. Москва, 21 марта 1821 года

Я видел Софью[23]; она, мне кажется, похорошела после родов. Малютку я не видал, – он спал, но доктора все утверждают,

что отверстия на верхней губке все срастутся со временем; они очень уже убавились; впрочем, Гильдебрандт говорит, что это можно будет легко и сшить, это безделица и не безобразит ребенка. Старуха в больших ажитациях: Володя пишет, что главная квартира получила приказание двинуться, Ваня должен идти к Гродно. Даже и Толстого корпус получил приказание быть в готовности. Нейдгарт, начальник штаба, едет завтра через Могилев в Лейбах, куда вытребован. Все это делает большую тревогу в городе; всякий толкует по-своему, иной объявляет войну туркам за греков, а другой неаполитанцам за австрийцев; время все покажет!.. Кажется, – что по австрийскому манифесту натурально, – что армия наша на всякий случай должна быть в готовности действовать, а потому и подвинуться к границам. Я тебе не посылаю все греческие прокламации, полагая, что ты, верно, их имеешь; одну, однако же, я тебе доставил.

Вчера вдруг является ко мне баба, знакомое очень лицо. «Кто бишь это?» – спрашиваю. «Как же, батюшка, я кормилица вашей крестницы, вашей племянницы Софьи Константиновны; я Авдотья, я жила в Почтанниках[24]». – «Очень хорошо, очень рад!» Она у нас отобедала, посидела в детской, и я за подаренные ею мне яйца, а детям яблоки подарил ей 10 рублей, да Наташа 5 рублей. Добрая бабенка, зацеловала Сонин портрет, не только зацеловала, но даже и замуслила, повторяя: «Ну вот, словно живая!»

Давеча прислал мне Ждановский при письме портрет А.Ф.Малиновского, поднесенный ему архивскими, то есть ему, Малиновскому; любезность нового рода: тебя тебе подносят. Я отвечал также письмом и говорю, что уважал всегда душевно моих начальников и имел счастье быть всеми ими любимым, принимаю с большой благодарностью подарок и проч. Ждановский прибавляет, что тебе будет отправлен экземпляр самим Алексеем Федоровичем.

Василий Львович ко мне заезжал поутру; он в восхищении, что письмо к нему от племянника напечатано в «Сыне Отечества». Я ему говорю: «По письму этому видно, как близки дядя с племянником; это хорошо, но как бы не вообразили, будто это вы воспитали Александра и разделяете его мнения; вы же знаете, что он слывет ультралибералом». Вот мой Василий Львович уже и трусит. «Подлинно, это может меня скомпрометировать; не представляю, кто мог дать письмо это в печать; это не я! Ай-яй, как досадно, что это напечатали, ай-яй! Зачем же поставили мое имя, зачем меня назвали, а?» Большой трусишка. Сказывал, что Вяземский получил отпуск[25], княгиня ожидает его завтра или послезавтра.

У нас был здесь второй том В.С.Попова, старуха графиня Протасова: никак не соглашается, что слепа. На балу у графини Орловой ей говорят, что к ней идет императрица; она рассердилась и говорит: «Разве я не вижу это сама?» Мнимая государыня мимоходом начала говорить с графиней Толстой; между тем подходит Львова и говорит: «Я думала, графиня, что вы уехали?» – «Нет, ваше величество, – отвечает Протасова, – я здесь ужинала». Это общая слабость у всех, теряющих зрение: не хочется с сокровищем таким расставаться. Граф Головин давно уже плох; но мне жаль Чернышеву, жаль и большую ее семью. Авось-либо и отделается от бед.

Александр. Москва, 22 марта 1821 года

Я получил от графа Ростопчина письмо от 5 февраля. Собирается в Женеву, а там во Флоренцию; пишет, что Марья Ивановна Корсакова вся издержалась; у него просила взаймы, но он не дал. Ежели бы не выкупил ее граф Орлов, пришлось бы ей продать за половину цены все, что накупила сгоряча сначала. Управитель его завода Андерсон пишет мне, что по приказанию графа приведут сюда в мае для меня шесть кобыл и жеребца; прислал реестр, лошади все славные, заведем завод в Белоруссии! Авось-либо и пойдет хорошо.

Вяземская угорела, приготовляя мужу комнату, в коей давно никто не жил и не топилась; однако же ей лучше.

Константин. С.-Петербург, 22 марта 1821 года

И здесь есть греческие прокламации, и здесь много разных известий. Если им верить, то вся уже Греция в совершенном восстании, Али-паша окрестился, князь Караджиа приехал из Венеции со своими миллионами, идриоты и специоты вооружили 200 судов и проч. и проч. Не надобно торопиться верить, это всегда было мое правило, а что точно там есть большое движение, – в этом нет никакого сомнения. Благодарю тебя за присланный перевод. Прошу сообщать, что по греческим делам услышишь от Чумаги, Метаксы, сбавив, однако, несколько процентов всякий раз. Я уверен, что Бетера где-нибудь там. То-то, я думаю, в Английском клубе рассказов! Ты у меня только, мой милый, не пускайся там на рассуждения; ибо все это разносится по городу, украшается, перевирается и перевозится приезжими сюда, так приятно ли быть цитировану?

Из последнего письма ко мне графа Нессельроде ты видел, что они дожидались, чтобы ехать сюда, только известия о первой схватке между австрийскими и неаполитанскими войсками. Австрийский авангард под командою Вальдомена и был

действительно атакован 7 марта, и хотя с превосходными силами и очень горячо дрался Пепе, но был опрокинут, ретировался в Сивита Дукале и, разграбив город, выступил по дороге к Неаполю. Австрийцы взяли одну пушку, несколько пленных. Вот, стало, наши и могли бы ехать; но вышло противное. В Александрии, в Пьемонте, один полк возмутился, требуя конституции; тотчас последовал его примеру весь гарнизон, и пошло, а там и в Турине то же сделалось. Это было 10 марта. Результаты такие, что король отрекся и убрался с королевою в Ниццу, а принц Кариньяни возглавил новое правительство как принц-регент. Там, однако, две партии, одна хочет испанскую, а другая – французскую конституцию. Пока Сен-Маркан уверен в Лейбахе, что у них все спокойно и опасения даже нет, чтобы могло что-нибудь случиться, там дело начиналось, и он дорогою узнал, что его сын-полковник с полком своим один из первых перешел на сторону возмутителей. Ожидали, что австрийцы дадут генеральное сражение при Неаполе, разобьют неаполитанцев и тем кончится; но теперь, хотя и одержали при начале победу, вопрос: получив известие о Пьемонте, пойдут ли они вперед, оставив за собою войска, кои не неаполитанцам чета? Это происшествие должно переменить и план войны, и все обстоятельства, а потому и нельзя надеяться, чтобы государь возвратился сюда к празднику, как прежде мы того ожидали. Вот тебе неожиданная новость! Надобно знать, много ли войска у австрийцев в Ломбардии; чтобы там, Боже сохрани, не загорелось!

Сперанского ждут сегодня. Он будет жить в Морской, в доме Жерве.

Малиновский мне прислал свой эстамп при весьма нежном письме. Стало, его опять полюбили чиновники, что выгравировали его.

Константин. С.-Петербург, 23 марта 1821 года

Вчера видел я московского князя Голицына вечером у Татищевых. Как он любезен! Много говорили о Москве, обо всем, что там делается, сделано и что он делать предполагает. Он, кажется, очень ее полюбил. Толковали о дилижансах; хотел прислать мне разные проекты на рассмотрение, говорил о тебе, так что жаль мне было, когда он встал, чтоб ехать.

Сперанский приехал третьего дня. Поеду к нему, но не тотчас, а то подумают точно, что из подлости, а этого слова в нашем календаре нет.

Александр. Москва, 24 марта 1821 года

Получено известие, что браиловский паша, мстя за турок,

убитых в Кандии, велел перерезать всех христиан, а их было у него до 11 000. То-то пойдут мщения! Метакса перевел прозою с греческого, а Глинка переложил в стихи гимн или марш греков: это род *Allons, enfants, de la patrie* [«Марсельезы»]. Удивительно, что всему этому нет никаких подтверждений и что неизвестно, как будет это принято нашим двором.

Полторацкий хочет в новом своем доме затеять род Пале-Рояль; ему за этаж купец один дает 37 тысяч в год и берет на 4 года, но хочет, чтобы всякая продажа была бы тут позволена, даже карточная игра. Полторацкий поехал об этом хлопотать, но не думаю, чтобы на это согласились: довольно разврата и без того.

Ну, брат, какой был шум в нашей конференции субботней. От вздора вышло; но Кологривов, который давно вострит зубы на ***, начал браниться с ним за его самовластие.

Тот говорит ему: «Ну полно лаять, ты, как какой-нибудь стряпчий, говорун, мелешь все пустяки!» А тот: «Я стряпчий? Я пустяки мелю? Да ты забыл, с кем ты говоришь; я не хуже тебя, я стряпчий, положим, так, а ты дурак в полном смысле». *** струсил и, переменив тон, прибавил: «Вот ты и сердишься, и бранишься; я тебе в шутку сказал, что ты стряпчий». На это ему отвечает Кологривов: «Ну и я шучу; я ссылаюсь на моих товарищей, ну может ли быть дурак тот, у кого 22 тысячи душ?» Каковы наши матадоры: Масальский сидел ни жив ни мертв. Кончилось шумом, дело не решили, и за дрянью: положено собирать публику для баллотирования, то есть дать ли Друэ залу на другой концерт или нет. *** все сидит дома, не был на репетиции и ввечеру во вторник не был в концерте. Эк его пугнул усач!

Нехорошо, что Закревский все болен. Смотри, как он при всем том толстеет, что доказывает, что кровь густеет от неподвижности тела; небось в походах был здоров всегда. Для него не объявлять же войну? А, право, было бы кому. Пусть ходит или ездит верхом, а ты обрати себе это в урок; не будь так ленив в городе, где бесподобные тротуары и гулянье. Я всегда тебя об этом просил.

Свиньину нечего делать, как хвалить то, что очевидно полезно; а то придется ему восстать и против мостов, фонарей, пожарных труб и проч. «Белую суму» буду от тебя ожидать. У меня теперь вообще мало чтения. Постарайся достать «Переписку Наполеона», давно тебе обещанную С.-Флораном; это бы годилось ужо в деревне.

Я вчера не поехал в Собрание, но слышу, что мое предсказание сбылось. Никто не приехал, а закон велит быть по крайней мере пятидесяти членам, чтобы баллотировать. Все это

осталось нерешенным, и бедный Друэ истомился ожиданием. У *** опять схватка была с графом Толстым, тестем Закревского. Он ему говорит: «Вы, верно, нездоровы, а то бы это не говорили»; а тот татарскому князю в ответ: «Нет, я здоров, а вы, верно,.....так надселись и не выспались»; все захохотали, и *** же остался в дураках.

Александр. Москва, 25 марта 1821 года

Вот тебе и прокламация Ипсиланти, любезный брат. Она переведена с греческого молодой Мавракордато. Что-то выйдет из этого, но дело святое! Постыдно, чтобы в просвещенном нашем веке терпимы были варвары в Европе и угнетали наших единоверцев и друзей. Не имей я семьи и тебя, пошел бы служить и освобождать родину свою, Царьград.

Я видел Метаксу; он вне себя и сообщил мне еще следующее: армия Ипсиланти состоит уже из 24 тысяч и овладела Галацами неожиданно. Караджиа наименован князем и предводителем сербов. Оба господаря действуют против Порты. Это род сицилийских вечерень, ибо условлено было в первый день поста истребить турок. В Кандии перерезали их 8000, и поднято знамя Гроба Господня, в тот же день должен был сожжен быть турецкий флот; у идриотов готово 200 вооруженных корсарских судов, дабы господствовать в Архипелаге. Что-то скажет наш двор на это? Ужели отдадим на жертву бедных греков? Это не неапольская история, это не интрига четырех мошенников, но порыв целого народа угнетенного. И негров защищают все державы, разве греки хуже негров? Прокламация говорит двусмысленно: «под покровительством высокой державы», но к чему относится слово «покровительство» – к Греции ли или к Кресту? Может быть, и это умысел. Ипсиланти не бродяга, не повеса; не подумавши, не пустился бы на такое предприятие. Я очень любопытен знать, чем это кончится, но молю Бога за греков. Сегодня хочу заехать к М.М.Сперанскому, едучи в Собрание; я помню его участие в нашем деле, а он едет к вам послезавтра.

Прокламация. Перевод с греческого

Греки Молдавии и Валахии!

Феникс Греции, после стольких веков страданий, величественно расправляет крылья свои и призывает под их сень своих законных и послушных детей. Греция, наше милое отечество, торжествующе вздымает знамя наших предков. Пелопоннес, Эпир, Фессалия, Сербия, Болгария, острова Архипелага, словом, вся Греция взялась за оружие, дабы

освободиться от варварского ига. Созерцая победоносную армию христиан, драгоценный и животворящий Крест, под покровительством высокой державы она восклицает: «Этот знак нам принесет победу, и да здравствует свобода!» В обеих провинциях, союзных нам, формируется бесчисленный отряд наших доблестных соотечественников, устремляющихся на священную землю нашего милого отечества.

Пусть же те, кто хочет носить имя спасителей Греции и живет в различных областях, стекаются по дорогам, где должен проходить отряд, и пусть вливаются в ряды их мужественных собратьев; но пусть знают те из подлинных греков, кто способен носить оружие и останется равнодушен к этому призыву, что уделом их станет бесчестие и отечество сочтет их незаконными детьми, недостойными носить его имя.

Александр Ипсиланти, викарий греческого регентства,
временно установленного в Яссах.
Яссы, 27 февраля 1821.

Константин. С.-Петербург, 25 марта 1821 года

Наш митрополит Михаил вчера скончался. Был добрый, почтенный человек. Несколько уже времени он все делался слабее да слабее, наконец сделался внутри какой-то нарыв и прекратил его жизнь. О нем все сожалеют. Кто-то будет на его месте?

Ермолов едет завтра, Канкрин [он служил тогда по интендантству; может быть, тогда ближе узнал его государь и вскоре назначил министром финансов] уехал вчера; говорят также, что Дибича призвали. Все это очень вероятно. Наш Петербург уже всю армию заставляет выступать. Гвардии, говорят, дано повеление быть готовою выступить в Могилев.

Газеты берлинские упоминали, а вчера мне сказывали, что приехала эстафета из Берлина с известием, что после первой встречи австрийцев с неаполитанцами у Ристи первые совершенно разбили корпус Пепе, состоявший из 20 тысяч человек, и заняли Аквилу. Всего лучше, что после сражения неаполитанцы все разбрелись, кто куда захотел, следовательно, корпуса сего не существует. Теперь эти напуганные солдаты везде рассеют страх, и, вероятно, их примеру последуют и прочие войска. Австрийцев в Аквиле приняли как избавителей. Дай Бог, чтобы это так было! Сладив с неаполитанцами, австрийцам легко будет управиться с пьемонтанами, особливо если у них несогласие между собой насчет конституции. Авось Бог явит свою милость, и весь этот пожар скоро затушится. Что-то в Греции? Сабанеев мне пишет о своих слухах, что будто бы Али-паша при крещении принял имя Константина, что не так глупо, и что будто

султан очень болен, так что подозревают, не дали ли ему яду. Если у него доктора греки, то быть может. Ох, много прольется невинной крови. В Молдавии и Валахии сделано уже начало. Говорят также, что в Одессу пришло много судов с греческими фамилиями и имуществом из Константинополя.

Вот записка от Тургенева. Эк его напугали! Я ничего не слыхал о происшествии в Царьграде и не хочу сему верить, а боюсь, чтобы там не сделалось беды для наших. Правительство не в силах будет удержать разъяренный народ. Но неужели Строганов не возьмет своих мер? Бедная Катерина Семеновна[26] теперь, я думаю, с ума сходит, да и есть от чего. Если б ты был в Царьграде, я бы давно с ума сошел.

Константин. С.-Петербург, 26 марта 1821 года

Я слышал, что Сакен переходит только в Гродно с главной своей квартирою, а далее не пойдет. Впрочем, кому эти дела известны, те натурально об них не говорят ничего, а кому неизвестны, те слишком много сочиняют; так и надобно, не торопясь верить, ожидать, что будет? Кто пойдет? Куда пойдут? Только, кажется, вероятнее, что к Италии, нежели, как у вас толкуют, в Грецию. Метаксовым Термопилам мы также очень смеялись. У меня был вчера Тургенев вечером. Ну что граф Головин? Совсем выздоровел. Горюет все о брате своем Сергее, и резонно: с царьградскою чернью шутить нечего.

Победа австрийцев подтвердилась, корпус Пепе более разбрелся, нежели побит. Хорошо, что австрийцы отпускают пленных по домам, а те просят, чтобы в паспортах у них означали, что они обязались не служить более против австрийцев. Я уверен был, что неаполитанцы плохо будут драться: не их дело. Общее мнение и в Неаполе, что и Караскоза предпочтет драке какой-нибудь уговор. С войсками вместе и энтузиазм разбредется. Что-то будет с пьемонтцами; у тех и войска лучше. Говорят, что 20 тысяч оных пошли к Милану; но если австрийцы совсем кончат с неаполитанцами, то будет чем управиться и с теми. Греческих известий новых нет. Что-то привезет дубоссарская почта? В Бразилии тоже распространяется конституционная язва. В Генуе тоже.

Тургенев был у Сперанского, нашел, что он постарел. В городе ему уже дают разные назначения. Князь Петр его видел вчера на концерте у князя Дмитрия Николаевича Салтыкова.

Александр. Москва, 28 марта 1821 года

Апраксин сказывал, что Екатерина Владимировна приехала и привезла известие о начале военных действий в Италии; а зять

его, толстый Голицын, князь Сергей Сергеевич, набарабанил, по обыкновению, кучу новостей. Первое, что в Пьемонте революция и во всей Северной Италии; второе, что Пепе австрийцев побил, что вытребованы в Лейбах Ермолов, Дибич, Сперанский и не помню какие еще генералы. Вральман Толстой, который все гневается, что Закревский не пишет ему новостей, подходит ко мне и спрашивает, правда ли, что Ермолов едет в Лейбах. – «Да вам должно это лучше знать». – «Мне пишет зять, что Ермолов едет, но не пишет – куда; а братец что вам пишет?» – «Брат мне не говорит об этом». – «Ну, может быть, и неправда; я и спорил с князем Сергеем Сергеевичем, и говорю, что, верно бы, зять мне написал. Какой, право, этот Арсений Андреевич, как не написать мне, куда едет Ермолов, да и об Дибиче ни слова». Чудак! Как сравню его болтливость со скромностью Закревского, то не понимаю, что находит ему писать зять; ибо, кроме вздоров, что ему и писать к Толстому?

Право, стыдно Голицыну в его чине и при его воспитании так себя выставлять; ему вторит Гурко, генерал, который также, кажется, себе все позволенным считает. Такие роли хорошо играть Боголюбову, а не им.

И у нас умолкло о греках. Бедный Чумага ходит повесив голову и нездоров, не знает, что делать по коммерческим своим делам, и Христом Богом просит меня сообщить ему, что узнаю; но я тоже ничего не слышу. Ты не ошибаешься, что множество здесь рассказов. В присланном тобою «Инвалиде» вижу все подробности итальянских военных действий. Отсутствие австрийцев подало повод к молве, что их побили. Саччи уверяет, что он предвидел пьемонтское возмущение: «Это было в духе времени, – сказал он, – в прогрессе разума. Я не хвастаюсь проницанием сим задним числом, но всегда думал, что ежели австрийцы забьются в сапог Европы и возникнут неустройства в Северной Италии, то положение их будет очень критическое». Каковы же сардинцы! Как это тихо вели, и в пору все вспыхнуло! Признаться, скорее в Милане можно было ожидать беспорядка, нежели в Пьемонте. Экая каша заварилась! Хорош и С.-Марсан, это второй Блакас. Как не иметь малейшего подозрения в умыслах неприятелей правительства! Это досадное обстоятельство, ибо одно сражение генеральное все бы кончило в Неаполе. Пусть уверяют не меня, что война эта с макаронщиками есть национальная. Пустяки! Теперь война может сделаться жестокою и упорною; но правда то, что у итальянцев нет предводителя. Чем-то все это кончится? Для газетчиков теперь лафа: есть что сообщить публике.

Ты говоришь, что Сперанского ждут еще к вам, а здесь отправили его уже в Лейбах. «Белую суму» буду ожидать, но

мнения своего насчет королевы, право, не переменю. Непотребная, да и только. Между нелепыми слухами надобно включить и то, что у нас прекратятся библейские общества и уничтожится взаимное обучение, но никто не умеет дать причины. Это сказывал приезжий из Петербурга Ершов (муж своей жены).

Константин. С.-Петербург, 29 марта 1821 года

С Владимиреско, который в Малой Валахии первый собрал войска, говорят, велено снять наш крест.

Ермолов слаб, еще на диете, и я думаю, что и сегодня не в состоянии еще будет выехать. К болезни у него и горе. С ним приехал архитектор, которого он очень любит и который ему там очень был полезен. Принуждены были сделать ему операцию, и он под ножом умер. Мы точный составляли за обедом госпиталь: Бистром обрезал себе палец, а у меня нога болит по милости хирурга-педикюра.

Вчера уверяли меня, что Ипсиланти взял Браилов и Журжу, разве только сюрпризом, когда все турки спали крепко, а не то мудрено без пушек брать крепости, которые турки умеют защищать. Полторацкий здесь был и у меня был два раза, но выхлопотал ли позволение сделать из своего дома во всех отношениях королевский дворец – не знаю. Он должен был на прошлой же неделе отправиться домой.

Александр. Москва, 29 марта 1821 года

Я теперь от Пушкиных: в даль забиваться не мог решиться. Они говеют. Старуха была в постели, прочие ужинали; но, узнав, что я тут, просила меня войти к ней без церемоний, и мы поболтали о происходящем в свете. Она, имея военных в семье, все боится войны. Охала, купила 1200 червонных по 12 рублей (увы!), посылает Володе с разными другими покупками. Я сказал, что червонец еще по 12 рублей 50 копеек, и она утешилась, что не опоздала покупкою. После пошел я вниз к Софье, у которой сидел до сих пор, то есть до полуночи; она доделывала кошелек, который просит меня отправить завтра по легкой почте к мужу, который послезавтра именинник. Она очень рада, что поход, ему назначенный, был отсрочен до конца мая.

Константин. С.-Петербург, 30марта 1821 года

Прежде всего поздравляю тебя, мой милый друг, с окончанием неаполитанской войны. Вот тебе перевод из берлинских газет, который я наскоро сделал для князя. Итак, слава Богу, одно дело кончено с успехом, которого и ожидать

почти нельзя было так скоро тому, кто верил энтузиазму всего неаполитанского народа, которому, однако же, ни Дмитрий Павлович [Татищев], ни я не верили. Это большое будет иметь влияние на дела в Пьемонте и, может быть, остудит возмутителей. Ну слава Богу!

Александр. Москва, 31 марта 1821 года

Вчера играли у нас в собрании Друэ и Фильд. Концерт был прекрасный и вознаградил мяуканье Гапмейерши, коим мы все потчевали несчастную публику по милости Юсупова. Было более 600 человек. Друэ всех восхитил, но особенно меня. Я бы не думал, чтобы из пастушьей свирели можно было составить то, что флейта в Друэтовых руках. Может быть, напишу маленькую статью для «Инвалида» или «Консерватора»[27]. И ему, так, как Боргондио, сделали мы подарок – табакерку золотую с эмалью в 900. Опять зашумели товарищи на предложение сопроводить подарок письмом. «Да на что?» – «На то, что он может купить табакерку и сказать, что она ему подарена была Дворянским собранием, а это диплом для него лестнейший еще самого подарка». – «Ну что француза баловать!» – «Какое нам дело, какой он нации; мы смотрим на его талант; впрочем, вы препоручаете мне ему вручить подарок, так я сделаю это как разумею».

После первой части концерта я пошел к бухгалтеру и написал письмо, которое подписал с Сашкою[28]; тут подошли, одобрили и также подписали Мертваго, Кутайсов, Масальский, Юсупов. Друэ, право, не так был доволен подарком, как грамотою, и сказал мне: «Могу заверить ваше превосходительство, что и самый большой сбор не был бы мне так приятен, как сей деликатный знак внимания московского дворянства; кажется, я недостоин стольких милостей».

Сожалею, что ему испакостил все Кологривов; тогда закричал: залы не давать, созывай членов, баллотируй и только! Вышло, что никто не поехал, а залу так дали – как эдакому таланту отказать? Но неделя прошла… Большая часть членов, верно, на его концерт не поедет, и он не будет в барышах, а мог бы тысяч 10 чистых собрать здесь. Уж мне эти шумилы! А играет чудесно, надобно признаться. Володимир Григорьевич Орлов и все старики собрались его послушать вчера и не жалели, что поехали.

Чего же ожидать теперь доброго карбонариям, ежели главная их подпора герой Пепе тягу дал, по крайней мере войска его? Народ там не восстает, где армия не имеет успехов. Мы видели, что все усилия Наполеона в 1814 году сделать войну народною были тщетны. Желательно только, чтобы австрийцы

провозгласили всеобщее прощение и не позволяли себе мщений; а то повесят 20 карбонариев, а озлобят против себя 100 тысяч. Народ мстительный, а скрытная злоба хуже явной вражды.

Здесь все греки в таком недоумении касательно их дел, что уверены, что почта задержала все их письма. Ничего совершенно не слыхать, а что узнаю – тебе напишу. Так как и здесь носились те же слухи, что у вас, касательно Царьграда, то я дал знать К.С.Тургеневой, что это вздор и что я имею через тебя известие, что там все покойно, и чтобы она не беспокоилась насчет Сергея[29]. Со всем тем нельзя ручаться за буйную эту сволочь, и легко может последовать беда с нашими. Я бы желал, чтобы Сергея заперли в Эдикуле, что дало бы ему право на получение отличного награждения, а между тем он был бы в безопасности.

Концертам нет конца. Сегодня две шведки дают концерт на скрипках. Хотел ехать, но вспомнил расстояние Слободы от Апраксина и отложил. Завтра Друэ, в пятницу Фильд, в субботу концерт у Белосельской. Друэ будет играть, не знаю что, в воскресенье; но я в понедельник хочу начать говеть с женою. Как-то она с этим управится, но я советую ей есть скоромное: желудок ее не вынесет грибов.

Александр. Москва, 1 апреля 1821 года

Тяжелая почта еще не бывала; видно, дорогою родила; желаю, чтобы скорее оправилась и сюда явилась. Иностранных трех недостает. Царьградская, она же дубоссарская, говорили, вчера пришла, но я не верю, ибо Чумага мне обещал, что тотчас явится сказать, что пишут нового, для сообщения тебе, любезный брат. Забыл я тебе возвратить записки Тургенева вчера; вот они.

У Волкова сказывали, что король французский умер, что это известие получено с чиновником комиссариатским, приехавшим из Лейбаха к генерал-кригс-комиссару Татищеву. Ежели правда, то это большая новость. Людовику узнают цену, когда его не станет. Он царствовал мудро, и положение его было всегда критическое. Эту новость подтвердил мне Бетера, которого я встретил на улице. Говорит, что Паулуччи приглашает его к себе в Ригу, но что он ни на что не решится до возвращения сюда князя Голицына; хочет отправиться к Монтенеграм и действовать в пользу греков. Таким людям в такие минуты и играть роли.

Жена Попандопуло родила сына, у коего вместо носа – ухо на средине лица, а вместо ушей – два носа: впрочем, ребенок очень здоров и плотен. Вся семья в отчаянии, но отец в восхищении и собирается написать об этом всем ученым обществам, по совету Лодера. Он был у меня и просил приехать посмотреть на это чудо, коему не нарадуется. Каков! Прочти это нашим дамам, а там

покажи им даже, что пишу, а то подумают, что ты шутишь; а как насмеешься досыта, то объяви им, что пишу это 1 апреля. Вот тебе и апрельская рыба.

Константин. С.-Петербург, 3 апреля 1821 года

Берлинские газеты вещают, что герцог Генуэзский, брат короля Сардинского, отказал корону и протестует против нового порядка или, лучше сказать, *беспорядка* дел. Та же газета назначает Ермолова, приобретшего блистательную славу, главнокомандующим над вспомогательными нашими войсками. В этой статье в скобках прибавляют (как известие чрез партикулярное письмо, из Вены полученное), что когда узнали в Лейбахе о миролюбном окончании дел в Неаполе, то остановлено шествие нашего войска и с сим повелением отправлен курьер, уже через Вену проехавший. Но этого курьера мы еще здесь не видали, и никто из Лейбаха не приезжал. Не знаю, правда ли о Ермолове, но он сегодня отправляется в Лейбах, и я, отделавшись, поеду с ним прощаться.

Александр. Москва, 4 апреля 1821 года

Чумага, которого я просил сообщить мне греческие новости, пишет мне длинную выписку из полученных свежих известий из Царьграда от 8 марта. Вот главнейшие. Заговор греков против турок был раскрыт, прежде чем разразился, благодаря перехваченным письмам; но Диван действовал с удивительною неосторожностью. Султан вызвал к себе патриарха, с которым сам очень долго совещался, хотя сие и противно законам. Сыновья принца маниотов, удерживаемые, по обыкновению, в заложниках, убежали и спрятались на борту российских кораблей. Граф Строганов отказался их выдать и не дозволил взойти на российские суда. Оснащение турецкого флота может осуществляться только очень медленно, поскольку греки отказываются служить и делают это только по принуждению силой. В Константинополе были волнения, там царит растерянность, и Порта, видимо, колеблется. Множество греческих семейств прибывают в Одессу, между прочими князь Блансарди, брат князя Молдавского, сын Корассы (думаю, Караджиа) и другие. Поскольку американского министра не пустили в Константинополь, американские корабли, находящиеся в Ионическом море, сожгли турецкий флот, высланный против Али-паши, который близ Превезы.

И здесь куча рассказов и вещей, как у вас. Войны, верно, не будет с турками ужо потому, что Витгенштейн чрезвычайно ослаблен разными взятыми у него отрядами, а особливо корпусом

Рудзевича: мне все кажется, что до военных действий не дойдет, да и стыдно будет, ежели австрийцы не сладят и с Неаполем, и с Пьемонтом. Саччи не верит, что поколотили Пепушку, и все твердит: «Вот увидите! Увидите! Неаполитанцы делают хитрый маневр, как вы делали в 1812 году: они отступают». А я ему говорю: «Они будут отступать, пока останутся в Сицилии, а потом австрийцы вместо 30 градусов холода найдут земной рай, откуда не захотят никогда уходить». – «Вот увидите, увидите! Подождите». – «Я жду, но знаете ли, что они сделают?» – «Что?» – «Сделают себе в подштанники…»

Константин. С.-Петербург, 5 апреля 1821 года

Ожаровский наконец приехал 3 апреля. Он из Лейбаха отправился 12 марта; в тот же вечер явился фельдъегерь, отправленный 31-го. Нессельроде мне пишет: «Объявляю вам, что неаполитанские дела окончены счастливейшим образом. Австрийская армия вступила в столицу 23 марта. Там все спокойно, как и во всем королевстве. Герцог Калабрии и принцы смотрели на прохождение войск с высоты своего балкона. Гаити и Пескара сдались. Сицилия с покорностью ожидает решения короля. В стране сохраняется возмущение только против карбонариев. Шесть десятков главных вожаков, во главе с Пепе, Миничини и Рорелли, сели на испанскую эскадру, которой было более нечего делать, кроме как прикрывать их бегство. Надеюсь, что пьемонтские дела примут тот же оборот».

Мишо в восхищении, что получил повеление ехать в Лейбах, и завтра отправляется. Он бы, я думаю, умер с горя, если бы не позвали его. Почтенная старушка, мать Полетики, скончалась 1 апреля, ее хоронят сегодня, непременно поеду отдать ей последний долг вместо друга Петра; а он в последнем письме о ней говорит мне, как он счастлив будет, если Бог допустит его ее обнять еще раз. Сегодня получил я от него к ней письмо.

Императрица Мария Федоровна несколько дней уже нездорова, однако ей гораздо лучше. У нее была желтуха.

Князь Лопухин болен, и очень серьезно. У него болела нога, и прикинулся антонов огонь. В его лета трудно пособить. Граф Головин совершенно вне опасности. Чудо, как он спасся! Граф Петр Кириллович Разумовский также был очень болен, но выздоровел, а бедная Чернышева на минуту лучше. Реман положительно мне сказал, что спасти ее нельзя, но она может еще протянуть.

Вот и от графини Нессельроде записка: «Моцениго ведет себя доблестно, он спас жизнь Биндеру, которого чернь хотела растерзать. Пьемонтские дела идут, верно, к тому, что начнется

гражданская война. Я обдумываю большие планы, загляните ко мне». Верно, опять затеяли ехать, да только дорога не дозволяет.

Ну, сударь, третьего дня выбрали меня в члены Английского клуба; это большая милость, потому что обыкновенно лет пять дожидаются кандидаты. Тургенева брат был на баллотировке. Он сказывал Александру, что английские купцы тут говорили, что если бы позволено было по десяти баллов класть, то бы они все их за меня положили. Просим не шутить!

Старуха [графиня Мусина-Пушкина] хорошо сделала, что рано червонцы променяла; здесь они были уже по 13 рублей 50 копеек, но опять упали, а теперь, может, опять подымутся, ибо, между нами, гвардия выступает в поход. В отсутствие Васильчикова будет здесь войсками командовать Павел Васильевич Кутузов. Герцог Каринианский оставил Турин, с несколькими полками пошел в Новару и бросил партию возмутителей, так что теперь, кроме Турина и Александрии, никто почти не разделяет грешного энтузиазма.

Александр. Москва, 5 апреля 1821 года

Я, пробегая вторую часть «Белой сумы», нашел тут нечто об интригах Ферьери; но они вместо батюшки написали тут Обрескова, который был в Царьграде в первую турецкую войну. Ферьери был сводником у Безбородки и пакостил батюшке, но все обрушилось на нем. Батюшка писал Потемкину и самой государыне письмо весьма сильное, требуя правосудия. Ферьери был тотчас выгнан с консульского поста своего, и по бумагам видно, что батюшка, сжалясь над его нищетою, дал ему деньги на проезд. Все это нашел я в цареградских батюшкиных бумагах.

Константин. С.-Петербург, 6 апреля 1821 года

Ну, брат, я вчера порядочно устал. Приехал к Михайлу Ивановичу Полетике, живущему, как ты знаешь, у Смольного монастыря; вскоре началась погребальная церемония и вынос. Я думал, что тело покойной старушки понесут в ближайшую церковь, как это обыкновенно в Москве делается, и пошел пешком за гробом; только проходим мимо одной церкви, ну, я думаю, это полковая Преображенская, верно, тут не отпевают посторонних, там мимо другой и третьей. Спросить неловко было, иду себе да иду, час идем, все еще не приходим, наконец, когда сделали не менее двенадцати верст, показывается застава, мы за нее и очутились на Волковом поле на кладбище. Вхожу в церковь, несколько тел лежат в ожидании отпевания, всех с Полетиковою было пять. Церемония, обедня – все это продолжалось еще более часа, и я приехал домой в половине третьего чрезвычайно

уставши, но совсем не сожалея, что отдал последний долг, как должно, почтенной старушке и матери нашего доброго друга.

Александр. Москва, 7 апреля 1821 года

Ай да почта! Ай да братишко! Ай да новости! Ай да неаполитанцы! Благодарю тебя чрезмерно за скорое уведомление об окончании войны в земном раю. Признаюсь тебе, что новости такого рода люблю рассказывать, и кого ни видал, всем объявил; а милого Шатилова, которого я встретил в карете, остановил, и он очень меня благодарил за сообщение это. Как мне жаль, что не набрел я где-нибудь на Саччи; а в Английский клуб поехать не хотел, ибо там я о таких новостях говорить не люблю. Нет пяти дней, что мы спорились и я его уверял, что его неаполитанцы напакостят. Экие подлецы! От чрезмерной кичливости вдались в противоположную крайность. Как подлинные трусы взбунтовавшиеся, они истребляют тех, кого за день до того превозносили до небес. Они поняли, что австрийцы или победят, или будут побеждены. Исход военных действий нескольких дней дал восторжествовать слабейшему над сильнейшим, и здесь нет стыда; но что после всего фанфаронства такая крепость, как Байте, которая в наше время выдержала 2 года против одного Массены, открывает ворота свои перед неприятелем без единого выстрела, что гарнизон варварски истребляет своего командира – это позор!

Разве не должен был принц Калабрийский, сей знаменитый герой, первым погибнуть на подступах или, по крайней мере, отступить в Калабрию, имя которой он носит, и продолжать борьбу, добиться почетной капитуляции? Разве мы не видели Даву, который с малым корпусом отступил за Луару, занял господствующую позицию и заслужил уважительное отношение со стороны армий всей Европы; однако же припевом неаполитанского солдата всегда было не спешить. Нагляделись мы на этих удальцов с Дмитрием Павловичем; нагляделись мы и на этого принца, как он бежал из Козенцы и тогда также хвастал. Татищев так был зол, что хотел взять полк у Дамаса и подраться с французами. «Что вы делать хотите, помилуйте, – сказал я ему, – ежели бы была рота русских, так; а то связаться с этими макаронщиками!» Тогда и я было попался в полон в Lago Nero, где занемог впервые подагрою. Напомни Татищеву о don Paulo Galotte, у кого мы жили.

Эк меня на досуге куда бросило; но это все, будь сказано тебе, в ответ за неапольские известия. Теперь и Саччи, верно, скажет: «Нет, тут замешана измена; англичане дали золота, ибо при поддержке пьемонтцев неаполитанцы должны были

держаться». Теперь и с этими справятся. Мне кажется, что неожиданная сия скорая развязка в Неаполе сделает ненужным наше содействие. Я тотчас написал Софье Шаховской, чтобы ее успокоить насчет мужа; вот ее ответ. Не теперь, то хотя после доставь мне переписку Наполеона. Эту классическую книгу надобно тебе иметь непременно.

Недаром же явился Деказ в Париж. Ежели подтвердится перемена министерства, этот человек много еще наделает зла Франции; он ловок, красноречив, честолюбив и имеет непостижимое влияние над умом короля. Видно, хочет с Ришелье поквитаться и его столконуть. Министерство имело перевес в камере депутатов. Что-то будет теперь? Ультров опять по шеям; но хороши и эти гуси, ежели правду говорить. Ежели Деказ заступит место Пакье, то Поццу [то есть, нашему послу в Париже графу Поццоди-Борго] нехорошо будет: он Деказа ненавидит. Только поверь, что этот в Лондоне недаром был. Время откроет большие затеи.

Константин. С.-Петербург, 8 апреля 1821 года

Вчера нас Бог допустил причаститься. Много в нашей церкви было причастников, в числе коих Сперанский.

О смерти короля французского ничего у нас не слыхать, хотя бы, верно, уже знали, если б сбылось это; подлинно, для Франции, в эту минуту, несчастное событие. То-то бы пошла каша! Боже оборони!

Гвардия (говорят) начинает выступать 20-го по два полка вместе. Один – по Белорусскому тракту прямо, а другой – через Нарву во Псков, и будет сие продолжаться всякие три дня, пока все выступят. Великий князь Михаил Павлович также пойдет в поход. Его высочества квартира будет в Витебске. Николай Павлович поедет наперед к войскам, квартира же его будет назначена, кажется, в Луцке. Графиня Нессельроде сбирается в будущую среду выехать. Я ее не видал еще, ужо к ней поеду отговаривать. Дорога такая, что проехать нельзя в телеге, а она хочет в карете пускаться. Ожаровского коляска утонула, да так и пропала; хорошо еще, что он взял к себе депеши и на лодочке переехал. Надеюсь удержать графиню по крайней мере до будущего курьера. Уж эти женщины! И умнейшие да как вобьют себе что в голову, то не скоро выгонишь.

Константин. С.-Петербург, 9 апреля 1821 года

Я был вчера вечером у графини Нессельроде, она непременно едет, но я уговорил ее обождать еще дней с десять. Ей сказывал французский поверенный в делах Габриаки, который долго был в

Пьемонте и знает все лица, что главный зачинщик – молодой человек, прекрасный собою и так занятый своей фигурою, что бережется и нежится, как женщина, лежит утро все в постели, до часу, и притом так ленив, что, когда читает, книга лежит на пюпитре, и человека зовет, чтобы переворачивать листы. Экие проказники!

Александр. Москва, 11 апреля 1821 года

Вот известия, сию минуту мне сообщенные Чумагою из Царьграда от 15 марта. По страху, господствующему там, все греки хотели выехать, но остановлены по султанскому приказанию. Капитан судна, выехавшего оттуда 15-го, рассказывал 19-го в Одессе, что повелено поголовное вооружение, что чернь вся собралась перед домом Строганова с оружием, что он, видя опасность, уехал в дом английского посла, откуда послал Порте ноту, в коей требует причину вооружения и паспорта, ежели дом его не будет Портою обеспечен от насилия, и проч. Порта отвечала очень учтиво, уверяя в дружбе, что народ ни против кого не вооружается, а еще менее против русских, но что меры принимаемые – только оборонительные, а не наступательные, против греков. Ипсиланти идет к Бухаресту. 12-го был он в Фокшанах. Уверяют, что болгары заняли Балканские горы. Вот все, слышанное мною от Чумаги. Тебе все это передаю, не ручаясь, точная ли правда или нет.

Константин. С.-Петербург, 12 апреля 1821 года

У нас слух носится, что султан снял уже несколько княжеских голов, и между прочим у Мурузия, которого дня два перед тем сделали драгоманом Порты; что будто бы князю Кал и махи ю, господарю валахскому, сотворили то же. С другой стороны, пишут из Дубоссар, что Владимиреско из Малой Валахии пришел в Бухарест, что бим-паша [полковник] отретировался в метрополию с арнаутами и намерен был защищаться, что митрополит последовал его примеру, а Владимиреско занял город; что сей последний объявил было, что он действует не в одном с князем Ипсиланти духе, что он не возмутился против султана, своего государя, но против угнетений греческих господарей и проч., что авангард Ипсиланти взошел, однако же, в Бухарест, и оба сии начальника начинали сближаться и надеялись, что они будут действовать вместе. Но искренны ли будут? Это другое дело, верно, не в случае несчастья. Уверяют также, что у Ипсиланти 20 тысяч, и проч.

Гавриил, экзарх бессарабский, скончался в одно почти время со здешним митрополитом. Я не был во дворце у всенощной,

поберег ногу. Вдовствующая императрица не изволила выходить в церковь, но была в ризнице и там принимала после поздравления от министров и членов Совета.

Александр. Москва, 12 апреля 1821 года

Вчера был у нас превеселый и превкусный обед у Лунина: наелся и насмеялся. Есть некто М., молодой человек, сын довольно богатого тульского помещика; учился, но все понял криво, педант, режет на всех языках, полагает себя красавцем, стихотворцем, музыкантом, ну всем на свете. Врал – умора! Читал перевод свой отрывка из лорда Байрона, вместо «метеора» говорил «метафора на небе», «техническая» вместо «хроническая болезнь» и проч. Много врал и в политике защищал английскую королеву, говоря: «Надобно судить королей, но никогда – королев!» – а потом прибавил с восхищением: «Можно судить о формах государыни, но никогда – о ее действиях!» Бесподобен.

Александр. Москва, 14 апреля 1821 года

Я сейчас из-под Новинского. Славно учреждено. Всю эту площадь кто-то нанял на эту неделю за 15 тысяч и от себя уже отдавал фиглярам. Мы были везде с Фавстом. Как я удивился, увидев тут в карете с Голицыным (Алекс. Борисовичем) – кого же? Вяземского! Кричит мне: «Булгаков!» Загорел, я насилу его узнал; говорит, что только что приехал, а был уже у меня и меня не застал, и явился под качели.

Я слышал тут о несчастий, сделавшемся с Полторацким Константином Марковичем. Он ехал с женою в карете, от Сухаревой башни вниз по валу, вдруг карета и лошади проваливаются. Выходит, что тут был некогда колодезь, сделали сверху накат очень давно и вымостили, накат перегнил, вот и вышло это кораблекрушение; но, к счастью, ни он, ни она не ушиблись, только испугались, а лошадь коренная тут же издохла; а сказывают, пара эта стоила 5000 рублей.

Александр. Москва, 15 апреля 1821 года

Мы съехались у Н.И.Мосоловой, там отобедали, гулянье в двух шагах; после обеда мы марш туда пешком с Фавстом. Были, сударь, на всех комедиях. Уж подлинно в Москве не надобно торопиться ездить к штукарям, которые и дороги, и спесивы вначале, а кончится все тем, что увидишь их после под качелями за гривну серебром. Тут и славный ученик Пенетти, тут и батонисты, и фантасмагория, и проч. Зверей также тут показывали, я очень смеялся над ними. *Меняжри* африканских зверей! К дикому зверю идет слово «меняжри»; никто бы не

подумал, что это счастливый перевод «menagerie» [укрощение]. Показывают тут еще черную комнату; род камеры обскуры, это прелестно. Я ее видел в Варшаве в 1819 году, едучи к водам; на круглом столе видишь все это пространство, гулянье с движущимся народом, экипажами, качелями; узнавать даже можно знакомых. Апраксин Петруша заказал эдакую немцу этому за 1000 рублей. Народу было тьма. Мы скатились с Фавстом с летних гор, дабы комплектировать гулянье, и воротились домой в восемь часов.

Не с Константином Полторацким было несчастие от колодца, но с другим, – кажется, братом его; и теперь все ездят смотреть это место, ибо одной лошади не могли еще вытащить вчера.

Мне также сказывали, что бедному Бове, в ту минуту, что он дома выходил из кареты, кто-то пустил камнем в лицо, выбил множество зубов и изуродовал все лицо; надобно думать, что домашний, ежели все это правда.

Вчера ввечеру был я у Пушкиных, куда явился и Вяземский: кланяется очень тебе и Тургеневу, пробудет здесь недели три, а там отправится к вам на малое время, а там в Варшаву, где остались дети его, то есть старшие. Дороги очень дурны: Вяземский ехал 11 суток, не ночуя нигде, дорогою все растерял: книги, даже и деньги, в Перхушкове поссорился с ямщиками; говорит, что один грозил его убить (видно, спьяна). То-то захлопочется Рушковский, как узнает все это!

Константин. С.-Петербург, 16 апреля 1821 года

Видел я письмо Ермолова к Закревскому. Он до Витебска кое-как доехал на перекладных, а коляску его 30 лошадей (буквально) тащили по нашим белорусским дорогам. Меншиков также пишет Закревскому, что в Мессине возмущение и что Фримонт послал туда войска. Ну чего эти еще хотят? Наш Ваниша послан в Кассель комплиментировать нового герцога и, верно, получить орден Гессенского Льва. Ожаровский сказывал, что за графом Михаилом Семеновичем послано из Лейбаха. Васе придется к нему ехать и из армии, остающейся покуда в границах наших, следовать в другую. Это мать-графиню очень беспокоит. Дибич уже приехал в Лейбах при отправлении курьера, а Нейдгарт еще не бывал.

Мне кажется, Ипсиланти и Владимиреско большую сделали глупость, что пришли в Бухарест, где и драться нет возможности; им бы скорее пробираться к Сербии, так мог бы быть прок, а тут, вероятно, как покажутся турки, так все разбредутся или будут разбиты; между тем несчастные жители крепко постраждут, может быть, и город сожжен будет.

Александр. Москва, 18 апреля 1821 года

Вчера было рождение Костино, он вздумал дать пир своим приятелям. Сосед наш Демидов Павел видел детей моих у Вознесения, полюбил Костю; этот, приметив, что он часто на него глядит, хотел знать причину; тот отвечал, что глядит оттого, что его любит. «Да за что же меня любите?» – «За то, что ты мил и этого стоишь». Только Костя вдруг пишет Демидову письмо следующего содержания: «Вы мне говорили, что меня любите; докажите это, милый Павел Николаевич: завтра мое рождение, приезжайте ко мне, я вас буду потчевать вареньем». Тот явился, хотя меня знает мало, а жену вовсе не знает, привез Косте игрушку, долго сидел с женою, которая очень его полюбила, а Костя в восхищении, что все его письма подействовали, ибо и к Риччи, и к Каподистрии были написаны подобные же нежные послания.

Александр. Москва, 19 апреля 1821 года

А наш старик Чирчелло все еще жив! Добрый слуга короля. В наше время уже так мало было у них людей, на коих можно было полагаться, что я, бывало, ночи просиживал у Чирчелло и переписывал для них бумаги, которых своим секретарям вверять не смели. Мне их звезда недаром досталась. О принце Мекленбургском я много слышал от покойного его отца, с коим был я всякий день вместе в Карлсбаде; он его называл красавцем и тогда очень радовался преднамереваемой только свадьбе с дочерью прусского короля. Принц очень возвышал честь: сыну маленького наследного принца быть свояком русского великого князя.

Речь Михайлы [то есть петербургского митрополита Михаила] подарил я нашему священнику. Я ее читал уже в «Сыне Отечества», в коем также нашел любопытную статью занятия Неаполя нашими в 1799 году при помощи кардинала Руффо, коему Фердинанд дал табакерку в 60 тысяч дукатов и с надписью «вечная благодарность», а пять лет после не пускал Руффо во дворец. Руффо ворвался почти силою. Король его поцеловал, объяснились: а вышло – все придворная интрига.

Александр. Москва, 22 апреля 1821 года

Пьемонтские дела почти кончены. Пусть говорят, что хотят, а Священный союз спас Европу от больших бед, и Лейбахский конгресс важнее будет в истории многих других, и именно Ахенского. Я вчера дразнил Саччи; он все твердит, что была измена, что Филанжиеро, Каракоза, Ферделли в душе своей

всегда были преданы королю. Это-то именно и доказывает, что революция никем одобрена не была, что в ней действовали только два или три плута и что правое дело рано или поздно должно восторжествовать. Теперь твердит дурачина: «Цель патриотов достигнута». – «Какая же цель? Бежать с набитыми карманами, после того как привели страну в волнение?» – «Нет, видите ли, это заставит задуматься короля, он умерит свой деспотизм». – «Впервые слышу о деспотизме неаполитанского короля». Экое животное; только его все осмеяли.

Я думаю, что не бывало еще никогда приятнейшей войны, как эта для австрийцев: прогулка в прелестной земле, да еще и в Сицилии побывают. Стало, наши дела у Порты идут хорошо, ежели Строганову дали чин. Не слыхать, чтобы принц Мекленбургский приехал. Собрания наши хотели было закрывать, но мы положили дать еще один бал для него. Тут увидит наших красавиц. Кажется, Юсупов дает ему праздник в Архангельском.

Александр. Москва, 23 апреля 1821 года

Вяземский кланяется тебе и Тургеневу. Вчера были мы вместе у Пушкиных, которые также тебе все кланяются хором. Софьиному малютке сделали операцию, сшили губочку; все это совершилось менее нежели в минуту, так что он и кричать не успел; думают, что к воскресенью все зарастет. К нам хотели быть поутру Пушкины, чтобы ехать вместе в летний сад набирать фиалок.

Все боялись за бедную Риччи, даже бабушка сама. Вчера вечером получил я от него записку, коей уведомляет меня, что жена благополучно родила дочь Александру, чему я очень рад; также боялся я очень, чтобы не грянул сумасбродный Петр Михайлович[30] и не напроказил бы опять, как в Париже, где, чтобы испытать любовь своей дочери, он распустил слух, что он умер скоропостижно на улице, отчего дочь тогда выкинула и чуть не умерла. Ужо поеду их поздравить.

Шатаясь по лавкам без цели в Великий пост, нашел я случайно портрет масляными красками, прекрасно писанный, но несколько замасленный, князя Григория Александровича Потемкина. Просили 120, я долго волочился, ходил; наконец, бояся упустить его, купил за 90, отдал реставрировать за 15; теперь выходит, что это работы славного Вуаля, выписанного Екатериною до Лампия, и Аргунов, сам этим занимающийся, ценит мою покупку в 400 и 500 рублей. Князь в большом фельдмаршальском мундире, во всех орденах. Давно хотелось мне иметь портрет этого необыкновенного человека, бывшего другом и благодетелем покойного батюшки. Теперь закажу

хорошенькую рамку.

Александр. Москва, 25 апреля 1821 года

Сейчас был Чумага у меня, сказывал, что есть очень свежие известия из Царьграда, откуда едет Катакази, служащий при нашей миссии, коего Строганов посылает с редким собранием медалей ко двору. Греки превозносят Строганова: он своею твердостью и решительностью избавил греков и даже вообще христиан от страшного кровопролития; даже другие министры ищут его покровительства. Порта в большом недоумении, а англичане косо смотрят на влияние наше. Весь гнев черни и янычар обратился на муфтия, который в совете также противился убиению греков, говоря, что они подданные Порты, а не невольники. Султан для удовлетворения янычар сменил муфтия и визиря, но греки все были спасены. Строганов, чтобы лучше действовать, переехал жить в Перу. Султан сам ведет все переговоры, и Строганову назначена была торжественная аудиенция у султана; оною кончатся совершенно все негоциации наши с Портою, сходственно с требованиями нашими. На патриарха султан надел кафтан; видно по всему, что Порта хочет прекратить все миролюбиво, но, по несчастью, греки не так поступают: они в Морее перерезали турок обезоруженных.

Наш князь Голицын, конечно, милый человек, самого приятного обхождения, все подчиненные и адъютанты его любят как отца и брата; ожидают его сюда обратно на днях.

Качели под Новинским не снимали, комедии и все гульбище еще невредимы. Вчера было там множество. Принцу Мекленбургскому очень это понравилось. Поутру был он там в коляске, а после обеда верхом. В день своего приезда поутру явился принц к графу Толстому яко генералу Преображенского полка, коего он только полковником; странно было видеть принца с Андреевской звездою, в полковничьем мундире с каскою.

Вчера было приглашение четырем классам явиться во дворец Николая Павловича, где он живет, чтобы ему представиться. Я виноват, поленился мундир надеть; все бывшие приглашены его высочеством сегодня на обед, в том числе и Карнеев; вчера был у него обед для военных. Завтра даем ему бал в Собрании, а в среду – бал в отделении, куда и принц приглашен. Того и гляди, что завеселится и долее здесь проживет, нежели думал. Очень любит наш незавидный театр, в коем бывает всякий день; ему готовят даже и медвежью травлю. Юсупов приставил к нему Бергмана.

Константин. С.-Петербург, 26 апреля 1821 года

Вчера граф Комаровский мне сказывал, что войска получили

повеление остановиться на границе и не идти далее, что весьма вероятно. Говорят, что с последним курьером государь писал к матушке своей: «Дело начинает проясняться, и я надеюсь скоро быть у ваших ног».

Императрица Мария Федоровна поедет на сих днях в Гатчину, где даст прощальный обед офицерам. По всем обстоятельствам судя, кажется, недалеко уйдут.

Александр. Москва, 26 апреля 1821 года

Я видел дилижансы: спасибо Рудину, прислал мне один, и я насмотрелся, сидел в нем и проехал с Вяземским по улице. Прекрасно и покойно; ему так понравилось, что он княгиню отпускает в карете, а сам едет в Петербург в дилижансе. Мы обедали с ним у именинника Василия Львовича Пушкина, где много мы смеялись: все вспоминали тебя и пили твое здоровье. Дай-ка расскажу день по порядку. Пушкина велела звать к себе, что имеет нужду: стара шутка! Тут опять записка. «Приходите, милый Александр, мне нужно поговорить с вами о делах». Нечего делать, бросил перо, пошел к ней пешком, ибо лошадей отдал поповне, разъезжающей с визитами после свадьбы. Софье отдал шелка и поцеловал от тебя ручку. Графиня дала мне негоциацию к принцу или его гофмаршалу касательно ее Александра[31], коего тело похоронено в герцогском саду, и она желает, чтобы принц позволил ей сделать на том месте монумент покойному и проч. Она желала, чтобы Волков за это взялся, ибо я не представлялся; но вышло, что сегодня ввечеру я сам это выполнил. Я принцу слил пульку, что не мог представиться ему, потому что мне зуб вырвали; говорил с ним о покойном его отце, коего очень знал в Карлсбаде, о Москве и проч., потом познакомился с бароном Лютцовым, обер-гофмаршалом (человек умный и порядочный), и с ним говорил о деле графини; он очень обрадовался, что нашел случай прояснить это, обещался все сделать и просил, чтобы графиня адресовала ему прямо и человека, и памятник, когда пошлют его на место. Между прочим очень хвалил твои устройства почтовые, говорил, что все, и особенно купечество, довольны активностью и порядком, который установился в управлении почтами. Я бы его так и расцеловал!

Какой охотник принц танцевать! Урусова не промах, он и ее замучил в котильоне; открыл бал с федьдмаршальшей Каменскою, потом с Апраксиной и так далее, с нашей Варенькой Голицыной танцевал французскую кадриль, и я все ее дразнил, что она с тех пор ни на кого глядеть не хочет. Пошли ужинать, а я домой – тебе писать. Старый хрыч Юсупов, чего бы дать самому бал, вынудил бал у Потемкина, на который давеча и меня звали

графиня и муж ее. Бал завтра. Ну уж достается принцу! Обедал в Васильевском у Юсупова, потом давали ему в зверинце медвежью травлю, там была садка, он сам гонял зайцев и, говорят, лихо ездит верхом, потом был в театре, а там, одевшись, явился в Собрание, где и ужинать будет. Завтра обед для него у князя Сергея Михайловича Голицына, а послезавтра – в отделении бал, и он с бала едет в путь, очень сожалея, что не будет на гулянье 1 мая.

Александр. Москва, 28 апреля 1821 года

И сегодня день беспутный! Ты меня пожуришь, любезный брат: предаю тебе повинную голову, но каюсь, что я с бала Потемкина воротился в 6 часов и оставил там принца танцующего, многих стариков, сидящих на балконе и смотрящих на восходящее солнце, а Вяземского и других – играющих в квиндичи. Вот как дело было. Захотелось мне ужинать; по несчастью, был только один большой стол; сев за него возле Риччи, должен был дождаться конца, а ужин продолжался до трех часов с лишком. Встав, хочу ехать, протанцевав польский; идет хозяйка, я с удивлением вижу, что в конце платка висит престранный ключ. «Что это значит? Это новая парижская мода – носить на себе ключ от погреба?» Прихожу к дверям передней – заперто; швейцар говорит: «Нельзя ехать, ваше превосходительство, граф изволил сам запереть дверь, а графиня и ключ изволила к себе взять». Так вот что это за ключ! Точно, никого не пустили домой; иные серьезно сердились, между прочими губернатор, который сказал швейцару: «Отвори; я, братец, губернатор; мне пора ехать в губернское правление».

Дом великолепен, убран со вкусом, но многое мне не нравилось и походило на дом какого-нибудь выскочки; казачков с десяток в белых кафтанах с галуном и – светло-голубые бархатные панталоны. У дверей залы все девушки и дворня стояли, так что прохода не было. Принчик танцевать охотен, всех дам замучил. А бедных Вяземских опрокинули в ямской карете; он упал на нее, сделал ей шишку на лбу, которая, однако же, почти неприметна была ввечеру, но он очень ушиб ногу, и его подняли почти без чувств; хромал, но не утерпел, пошел вальсировать, разбередил пуще ногу и должен был конец вечера играть в карты. А кучер и лакей очень серьезно разбились, все стекла перебило, и княгиня головой очутилась на мостовой. Чудо, как не изуродовали себя.

И у нас были вчера две свадьбы: 1-я – генерала Игнатьева с Барышниковой, 2-я – Муромцева, Матюшина брата, со внучатною сестрою его Бибиковой. Матюша явился сюда на три дня. Я его

нечаянно встретил на Кузнецком мосту, который, между прочим, исчезает: место это ровняется, и будут дома, с одной стороны – Татищева моего, а с другой – не знаю чей. Смешно, что будут говорить: пошел на Кузнецкий мост, а моста как не бывало.

Принца здешнего берегут как девочку, а Бергман вчера возил его (видно, по внушению старого Юсупова) к Джаксону, смотреть, как случают жеребцов.

Каков Потемкин! Он обедал у принца; тот из любезности за столом послал ему штук 20 клубники свежей, а вчера для 150 персон было мороженое из свежей клубники. Адъютант принца не мог это постигать, ест и плечами пожимает.

Константин. С.-Петербург, 29 апреля 1821 года

Из Одессы пишут от 13 апреля, что в Царьграде янычары совершенно ожесточены против греков и вообще против христиан. Они сожгли 3 или 4 греческих церкви и несколько домов, убивают всех без пощады, так что султан принужден был, для укрощения их, призвать в Константинополь азиатские войска. Из знатнейших греков убиты князь Маврокордато и Мурузи. Я надеюсь, мой милый друг, что это одни слухи, и не совсем справедливые, ибо после этого и миссии нашей небезопасно бы было там оставаться.

Князь Ипсиланти, также по одесским известиям, перешел Дунай в Систове и идет, чтобы соединиться с сербами и Али-пашою. У него 20 тысяч войска и 30 орудий. Сербы дают ему 20 тысяч (не верю!), и булгары – 10 тысяч, под предводительством митрополита своего, коему турки хотели отрубить голову. В Морее все крепости заняты греками, коим их все сдали сами турки добровольно, получив обещание, что имущество их и независимость будут сохранены. За все эти известия я, однако же, тебе не ручаюсь.

Тургенев получил коротенькое письмо от своего брата от 6 апреля; он едва имел время писать, что они переехали в Перу. Фонтоново письмо от 1-го, там тогда еще все было смирно, только арестовали несколько греков по подозрениям, что они в сношении с Ипсиланти.

Александр. Москва, 29 апреля 1821 года

Ай да отделение! Задало преславный праздник принцу Мекленбургскому. Я похвастался, что рано оттуда уеду, но не тут-то было: потанцевал, захотелось есть, сел ужинать с Пушкиным. Это первый выезд Софии, которая была няней Вареньки[32], и няней очень не жестокосердою. Принц, для которого не довольно было одного котильона, до ужина, начал другой еще после. Урусова меня сама позвала, не мог я ей отказать; только я домой

приехал в 4 часа. Принц требовал, чтобы я начал греческую, и я вспомнил старину; досталось всем. Он просил меня представить его Пушкиным и сам подтвердил Вареньке все, что Лютцов мне сказал намедни касательно монумента покойному Александру.

Во время ужина директор подошел с бокалом шампанского, и пили за здоровье его высочества; он сам сделал то же и благодарил их речью, от коей чувствительнейшие из директоров плакали, а покрепче духом только прослезились. С бала должен был ехать принц. Он чрезвычайно доволен Москвою, взял на память виды города, все музыки, которые играли на балах, очень восхищался младшей Урусовой, которая, по его словам, очень напоминает ему невесту его. И он очень здесь всем понравился своей учтивостью и добротою, а уж страшный охотник танцевать. Старики, знавшие его покойную мать[33], смотрели на него с особенным чувством благоволения.

Множество было людей вчера, и все теперь в восхищении и от отделения. Множество знакомых (возвращаясь к твоему творению), бывших вчера в отделении, спрашивали о тебе: Софья Александровна Волкова, Чертков, Карнеев, Керестури, Вяземский, но где всех упомнить; а последний как ни в чем не бывало и говорит, что, кто хочет себе привить охоту к танцам и легкость в вальсе, должен велеть кучеру опрокинуть себя в карете. Видел я также Баранова: это авангард князя Дмитрия Владимировича. Он очень тебя благодарит, что ты доставил ему возможность сделать часть дороги в дилижансе, который очень хвалит.

Я тебя абонировал на «Путешествие в Туркмению и Хиву», весьма любопытная книга, коей 1-я часть выйдет в декабре. Сочинитель ее – Муравьев, один из сыновей Ник. Ник., был при Ермолове, или посылай в этот край, коего выучился языку; там его взяли в плен, много было приключений. Говорят, что это все прекрасно будет описано с видами, с разными планами и рисунками. Ник. Ник. завез мне сам наши два билета, но, я думаю, лучше твой сохранить у себя здесь до поры и времени и доставить тебе первую часть, когда выйдет. Теперь заплатил я только 25. Я трактую с Селивановским, продаю ему манускрипт трудов наших с Метаксою; я думаю, что устроил это, так и хлопот менее, а для выгоды Метаксы выговорю себе 100 экземпляров, которые и буду продавать знакомым как можно дороже.

Константин. С.-Петербург, 30 апреля 1821 года

Сегодня утром рано ходил я смотреть, как отправлялись в поход Измайловский и Московский полки. На плац-параде Семеновского полка отслужили молебен с коленопреклонением и пошли с Богом.

Строганов, точно, себя ведет прекрасно и показывает много присутствия духа. На патриарха султан надел кафтан. Немудрено – после его прокламации, где он проклинает Ипсиланти и Суццо и доказывает, что греки должны не только повиноваться туркам, но и любить их как своих благодетелей, и проч.

Александр. Москва, 2 мая 1821 года

Ну, сударь, наш принц уехал, очень доволен Москвою. Сделал много подарков, Озерову – прекрасную табакерку с шифром, Толстому, адъютанту князя Дмитрия Владимировича (сыну Сергея Васильевича), – перстень с шифром, Бергману – то же без шифра; полицеймейстерам – перстни без шифра и очень неважные; странно, что то же самое получил наш эконом Благородного собрания. Бергмана так напугали спектаклем, данным у Джаксона принцу, что он просил его светлость попросить князя Сергея Михайловича Голицына не писать об этом императрице Марии Федоровне, что тот и обещал.

Вчера к Риччи приехал Нащокин от митрополита, который рассказывал ему о полученном им рапорте касательно одного чудесного происшествия, или просто *чуда.* Девушка старая, слепая, немая и глухая видит сон, что ангел велит ей пойти в такую-то церковь; придя туда, находит в алтаре сидящего монаха; он ее благословляет и говорит ей: «Вера твоя тебя спасает, ты обременена немощами, ты не роптала, сносила все с терпением, полагалась на Бога; знай же, что в Светлое Христово Воскресенье ты будешь видеть, говорить и слышать. Знай это и молчи!» Только в праздник она встает; увидев образ свой в зеркале, столь изумилась, что осталась неподвижною. Мать входит ее поздравить с праздником, удивляется, что слепая смотрится в зеркало, говорит: «Что ты делаешь?» Дочь оборачивается, увидев мать, падает в обморок, только приходит в себя и рассказывает матери, что с нею было. Послано сделать следствие на месте, и привезли сюда и мать, и дочь. Я уверен, что для Бога нет ничего невозможного; но чудеса – события веков прошедших, а не нынешнего: люди так умны, их можно обращать к Богу рассудком, не действуя на воображение и не поражая чувства их чудесами. Ваш ипохондрик Тургенев должен кое-что знать об этом. Теперь все об этом только и говорят.

Благодарю за первый номер «Рецензента», это обогащает; впрочем, все первые номера всех выходящих журналов всегда хороши, право же. Это другая статья. Так как этот 1-й номер не что иное, как любезность «Сына Отечества», желающего ознакомить своих читателей с сим новым журналом, то прошу тебя абонировать меня на «Рецензента», да уже и доставлять его мне с письмами твоими.

Вчера было-таки гулянье. После проливного дождя под вечер разгулялось, показалось солнце, и ревностные охотники пустились часу в восьмом в Сокольничью рощу. Ко мне приехал Керестури, я велел запрячь коляску, и мы пустились туда: был час девятый, мы и видели всех, но уже возвращающихся домой по

страшной грязи; для пешеходов невыгодно было. Вечер провел я у Пушкиных, где был также Вяземский: он мне сказывал, что Тургенев едет к каким-то водам в России, а Сергей Уваров идет в отставку, но ты не пишешь ни о том, ни о другом.

Шаховская была у Бальмен, которая не могла ехать в деревню с Митюшею: больна и кашляет, точно как некогда Самарина Анна Петровна. Вчера же слышал я от П.П.Нарышкина, что Альбиния [доктора] повез Трубецкой в Ярославль, к жене Сипягина, которая опять занемогла.

Ну, сударь, этот раз Баранова точно идет замуж, ибо помолвка была, жениха хвалят: некто Шишкин, отставной улан, с именем, с фигурою и воспитанием: вчера говорили, что она его не стоит. За несколько дней перед тем она отказала генералу Засу, который, видно, ее не стоит. Свидетельство тетушкино послал я подписать Обрескову: ежели вовремя принесут – приложу, а не то уж завтра доставлю тебе с тяжелою. Да вот оно и явилось.

Теперь были Исленьевы и сказывали, что у бедной Марьи Васильевны Талызиной умерла сегодня единственная прекрасная дочь.

Кстати: анекдот. Вчера, как я писал тебе, был проливной дождь; старуха Афросимова спала и валялась целый день, под вечер видит: время хорошо, – закладывай карету, ступай на гулянье; грязно, подзывает полицмейстеров и ругает, по обыкновению: «Заставь дураков Богу молиться, так лоб разобьют; вы боялись пыли, а теперь так много полили водою, что грязь по колено». Si non e vero, e ben trovato[34].

Константин. С.-Петербург, 3 мая 1821 года

На вечер я пустился к Татищевым, у коих много было гостей, между прочим и Сперанский, с которым долго я разговаривал. В субботу я обедал в первый раз в Английском клубе; довольно было гостей. Московские и дом, и прислуга лучше. После заезжал я к Колтовской [владетельнице уральских заводов], которая три записки мне писала, имея какую-то крайнюю нужду, и подлинно просила меня дать о ее деле записку Тургеневу Николаю. Туда прискакал за мною почтальон. «Что такое?» – «Графиня Нессельроде два раза к вам заезжала и опять будут в 8 часов». Поехал к ней, – нет дома, приезжаю домой, и она вслед за мною. Вот в чем дело. Графиня Гурьева [мать графини Нессельроде] в то утро выехала, на десятой версте у форейтора лошадь спотыкнулась, он попал под колесо, и дух вон. Привезли несчастного ко мне совершенно уже мертвого. Колесо переехало через висок и раздавило лицо. Бедная графиня вся встревоженная; мать в отчаянии пишет ей, что тут делать!

Человека воскресить нельзя, а мой совет – тотчас послать эстафету к старухе-графине, успокоить ее, сказать, что несчастный не умер и останется жив, а семейству его пенсию определить. Мой совет был всею фамилиею принят; так и сделали. От старухи есть уже ответ; она дочь чрезвычайно благодарит: как камень с сердца свалился, а не то была в отчаянии.

Закревский получил письмо от Киселева, который получил приказание ехать в Смоленск и дожидаться там приезда государя; стало, приближается счастливое время видеть его здесь. Дай-то Бог! У меня был секретарь государыни Новосильцев, с поручениями. Разговорясь о дилижансах, сказывал свой разговор с императрицею, которая сожалела, что они не далее Царского Села ходить будут; ей бы хотелось, чтобы до Павловского, а у нас уже это и сделано, как увидишь из печатного объявления Новосильцев уверял, что это очень будет государыне приятно. Нет! Мы не куртизаны, это бы хоть Чернышеву.

Александр. Москва, 5 мая 1821 года

Анекдоты сабанеевские прочтя, тебе возвращу, а ты не говоришь, что делать с «Белою сумою», возвратить ли: я давно это прочел.

Только и было дурного, что 1 мая, теперь опять славная погода, хотя и холодноват воздух. О нашем отъезде еще не знаю ничего, и вот почему: Дмитрий Борисович Мертваго наговорил мне чудеса о делаемых здесь доктором Каррасом сернистых обкуриваниях, коих модель привезена из Вены; это лучше ванн для ревматизмов и всяких кожных болезней. Я видел это заведение: прекрасно, соблазняет меня. Мертваго рассказывал мне чудесные вылечивания. Граф Зотов лечился от страшной сиятики, которая не позволяла ему ни ходить, ни сидеть. Хотя, не чувствуя болей, не имею великой надобности, но хочется взять ванн с десять. Поговорю также с Пфеллером. Князь Дмитрий Владимирович все еще не бывал сюда, но я слышал, что он у Васильчикова[35], пробудет двое суток в Твери и проедет в свою подмосковную. Мне кажется, что на первый случай лучше бы дилижансы завести до Троицы, куда есть всякий день охотники, а в Нижний будут ездить только во время ярмарки.

Вчера обедали мы у Волкова. Были: Вяземский, Василий Львович, Фавст, генерал Турчанинов, наш старый знакомый, Мертваго, Озеров и проч.; был тут и Попандопуло, который вне себя: выдержал экзамен и теперь может кого хочет лечить. Просил сообщить и тебе это важное происшествие и просил рекомендовать его всем моим знакомым. Сегодня обедают те же

почти у Алекс. Павловича Афросимова; не хочется, а надобно ехать для Вяземского. Он собирается уже в свое Остафьево на три дня, и воротясь оттуда, недолго уже здесь поживет и отправится к вам; говорит, что на неделю, а забывшись, верно, и месяц проживет[36].

Афросимов задал славный пир, все было, даже песенники, насилу отделался; иные сели играть в квиндичи, другие в вист, а я отбоярился и уехал. Завтра думаем мы ехать с Волковым к Вяземскому в Остафьево; не знаю, состоится ли это: зависит от Волкова, который меня везет на своих животах; к вечеру будем опять назад. Нового у нас нет ничего совершенно. Кстати: я отыскал батюшкину собственноручную записку об нашем рождении. Вот что написано: «Александр родился в Пере 1781-го ноября 15-го в $^3/_4$ первого часа пополуночи. Константин – 1782-го декабря с 30-го на 31-е, в час пополуночи». Забавно то, что я ни того, ни другого хорошенько не знал, и о тебе был всегда спор, так вот и разрешение. Стало быть, тебя с ревельонами[37] праздновать.

Александр. Москва, 7 мая 1821 года

Победа Али-паши подтверждается письмом, полученным Метаксою сейчас из Херсона от какого-то моряка. Он дает все подробности. Сражение было у города Верна 17 февраля, турки потеряли 2000 убитыми и 1500 пленными, и множество оружия. Их совершенно рассеяли. Али-паша должен иметь к 1 апреля 40 000 войска одной пехоты. Еще достоверно то (сказывал Метакса, слышавший от приезжего из Николаева), что Грейг отправил к Царыраду бриг, в коем все матросы отборные, и большая часть из них не что иное, как переодетые морские офицеры. Полагают, что бригу велено увезти из Царьграда Строганова со всею миссиею.

Константин. С.-Петербург, 7 мая 1821 года

Письмо к Пашкову было немедленно доставлено, хотя, кажется, не нужно уже было торопиться, ибо мертвым никогда, да и живым не всегда рецепты пособляют. Если

Пашковы пекутся о здравии той Пашковой, которая умерла, то она и без того уже от всех недугов избавилась вечным покоем; но я комиссию твою исполнил аккуратно, точно как покойный князь Прозоровский, который писавши письмо к покойному же обер-камергеру Голицыну из Молдавии, в то самое время узнал о его смерти, но письмо дописал и отправил для аккуратности; только корреспондент его, обер-камергер, не следовал его аккуратности и после смерти уже не хотел прочесть письма.

Александр. Москва, 9 мая 1821 года

Жаль очень бедных Трапандосов; война эта берет кровавый оборот, и можно предвидеть, что, по согласию всех дворов вооружаться против всякого рода неповиновения, грекам не позволят быть спартанцами. Все это делается не вовремя. Мы вели с турками войну пять лет; ежели бы греки сделали тогда половину тех усилий и пожертвований, которые делают теперь, туркам было бы плохо, а теперь все это ни к чему не ведет.

Александр. Москва, 12 мая 1821 года

Обедал я у Волкова, любезный брат, нашел там страшную тревогу и бедную Софью Александровну в большом смущении. С третьего этажа так называемых кавалерских корпусов, в одном из коих, на грехи свои, жил Закревский, упал ребенок пятилетний, сын или дочь какого-то придворного фурьера, и, как можно себе представить, убит до смерти. Родители в отчаянии, но вся их вина. Как оставить ребенка одного или не сделать решеток на окнах? Один из людей видел готовящуюся беду, кричал: «Возьмите ребенка, возьмите!» Никого не было, на беду, и ребенок, играя какой-то тряпочкою, упал. Ужасно! Но это ничего в сравнении с ужасною историей, случившейся около Тулы и которую описывает Волкову подробно плац-адъютант Ефремов, поехавший в Тулу. На досуге я тебе расскажу, как можно короче. Радклифша сама выдумать бы не могла ничего страшнейшего.

Помощник тульского форштмейстера, имея препоручение объехать, размежевать или продать какой-то казенный лес, переехал туда, построил себе избушку из двух комнат среди леса, где проходила дорога, и жил там с женою, двумя детьми и двумя солдатами, из коих один бурлак и пьяница, а другой, по имени Семен, им облагодетельствованный, давно у него жил и пользовался его доверенностью. Одним утром этот помощник идет с ружьем стрелять дичь, берет с собой негодяя, а верного Семена оставляет с женою, обещаясь скоро воротиться. Уходит. Семен является к барыне. Долго спорили; наконец он ей объявляет, что она может откупиться одними деньгами, а не то он грозил ее изнасиловать, и показал спрятанный за пазухою нож. Барыня испугалась, согласилась отдать деньги и прибавила: «Иду за ними в ту комнату». Между тем, войдя туда, заперлась ключом, и ну кричать во все горло, прося помощи. Семен долго ее уговаривал отворить и молчать, но, видя, что все не помогает, стал грозить, что убьет бывшего с ним старшего сына барыни. Эта, думая, что это только угроза, продолжала кричать. Злодей сдержал слово и зарезал сына.

Немного погодя мать слышит вопли дочери, которая

упрашивала мать отворить, говоря, что Семен убил братца, хочет и ее убить. Мать, в беспамятстве, все кричала. Злодей к первой жертве присоединил и другую и стал выламывать дверь. На ту пору скачет мимо офицер; слыша крик в лесу, он остановился и послал своего денщика посмотреть, что происходит в избушке. Денщик старался обезоружить Семена, получил две раны ножом, но был очень силен, боролся еще с ним; офицер, не видя возвращения своего денщика, сам соскочил с телеги и побежал в избушку. Узнав от раненого своего денщика, что произошло, он так был взбешен на Семена, выломавшего уже почти дверь к барыне, что, выхватя турецкую свою саблю, раздробил ему череп.

В самую эту минуту возвращается с охоты муж. Видя двух убитых своих детей, плавающего в крови верного Семена, раненого денщика и офицера с окровавленною в руках саблею, он хладнокровно берет заряженное свое ружье, кричит: «Умри, изверг!» – и простреливает сердце несчастного офицера, избавителя своего.

Узнав свое несчастие, он впал в безумие, равно как и жена его. Она в бешенстве ужасном, а он не ест, не пьет, не спит и в величайшем отчаянии, видя всё тень несчастного офицера. Их, говорят, везут сюда, чтобы стараться вылечить, если возможно. Какое ужасное происшествие и сколько невинно погибших! То-то твои барыни расплачутся и напугаются.

Спасибо за приятное уведомление о скором прибытии государя. Это всех очень обрадует. Только одному государю после толиких трудов придется и дома много работать: то-то, я думаю, накопилось дел! Я надеюсь и уверен, что в твоей дирекции все будет очень исправно, а до Литовской нам какое дело! Вот ежели поедет государь в Малороссию, то тут уж другое дело.

Князь Дмитрий Владимирович приехал в город вчера. Он будет, я думаю, очень сожалеть, что не дождался государя. Сегодня у Василия Львовича прощальный вечер для Вяземского. Сейчас одеваюсь и туда еду, он уже два раза за мною присылал.

Константин. С.-Петербург, 13 мая 1821 года

Ну, сударь, с Голдбеком надеюсь конференции в три дня кончить и к приезду государя совершенно изготовить конвенцию. Кажется, в ней соблюдено к пользе России все, что только возможно; но за что, авось скажут спасибо, это за ускорение хода иностранной почты; сия (но это еще должно между нами остаться) будет сюда приходить тремя днями раньше теперешнего, также и обратно чрез Пруссию выиграет то же пространство времени, так что из Гамбурга, Парижа, Лондона и проч. ответы будет купечество получать шестью и даже семью

днями ранее, нежели теперь. Для нашей коммерции эта мера будет самая благодетельная, и сколько, ты думаешь, прибавится платы за каждое письмо? Полтора гроша прусских, то есть 9 копеек, а как 15, так и за глаза довольно.

Признаюсь, что все мои усилия клонились главнейше к склонению пруссаков на эту статью и что немало труда стоило получить успех; ибо их правительство тратить деньги не любит и весьма расчетливо в своих финансах, а тут надобно им издержать без всякой почти для себя пользы 21 000 талеров ежегодно, завести четыре новые почты по сокращенным дорогам и проч. Но наконец согласились без всякого с нашей стороны другого пожертвования, как распространение императорского порта, платившегося теперь и без того Курляндиею и Лифляндиею на петербургские и московские письма. Но ты скажешь: что такое императорский порт? Плата за расстояние между нашею границею и Мемелем, за которое они и без того все право имеют требовать платежа, ибо возят почту на своих лошадях.

Александр. Москва, 13 мая 1821 года

Вчера Василий Львович задал нам славный вечерок, а особенно ужин был хорош[38]. Многие изменили, но все-таки было человек с десяток. Малиновский приехал нечаянно; хозяин его удержал. Этот не очень ловко себя чувствовал. Во-первых, его закурили; а потом сенаторская его важность приведена была в замешательство от вольных шуток Алексея Михайловича Пушкина, у коего, как всегда, была схватка с хозяином. Алексей Михайлович без обиняков рассказывал, между прочим, как он с Яковом Грузинским и Киселевым втроем выиграли более 200 тысяч рублей у так называемого блудного сына Долгорукова, который теперь совсем гол, и жена объявила ему, что из своих 2000 душ не даст ему ни алтына, а сбережет их для детей.

Пушкин собрал все свои сочинения, перепишет их набело и отдаст Вяземскому для вручения их Тургеневу, которому предоставляет их напечатать; но тут не будет Буянова. Тол стой-Американец говорит, что это аморальное сочинение. Почему же? Потому что тут нападают на цыганок (мало, и на его жену). Мы просидели и проболтали до половины второго.

Пришли речи Фокса и Питта. Первый некогда был большим защитником России и Екатерины. Любопытно читать все эти подробности, только куда бы хорошо добиться Наполеоновой официальной корреспонденции: это еще любопытнее. Мне дал Керестури прочесть брошюрку Биньона о конгрессе в Троппау; есть прекрасные мысли, но много вздору и пустые блестящие фразы, на которые легко можно сделать возражения. Последствие

показало, что он сильно ошибся насчет всего того, что говорил о неаполитанцах.

Нижегородское чудо уступило место страшной тульской истории. Вчера Василий Львович ее рассказывал, дрожал и потел, повторяя: «Ужасно!» А Алексей Михайлович говорит вдруг, выслушав: «Как ты, братец мой, глуп!» – «Почему я глуп? Сам ты глуп!» – «Ты глуп, я тебе докажу, ничего не помнишь. Ты читал “1001 ночь”?» – «Конечно». – «Ну, там эта точно история в одно слово, только вместо форштмейстера – кади, вместо денщика – янычар и проч.». Только Василий Львович признал, что быть может, но что не помнит: читал «1001 ночь» в молодости. Ежели бы не засмеялись, он бы всему этому поверил.

Я читал в газетах объявление о собаке, нельзя было не напечатать: нет ничего кидающегося в глаза или дающего подозрение; не всякий знает, что есть человек с именем Крогера, почему собаке так не называться; только острого тут нет ничего.

Благодарю за «Рецензента» наперед. Я все журналы очень люблю. Получаешь ли ты «Вестник Европы»? Говорят, что в последнем номере опять были нападки на Вяземского. Катерина Семеновна Тургенева горюет о Сергее, фаворите своем. Мне сказывали, что ее кто-то успокоил, взяв за слабую струну, а именно, что Сергею нечего бояться, что султан их посадит в Семибашенный замок, и что по выходе оттуда Сергею дадут по крайней мере 1000 душ.

Что бы тебе сказать нового? Да, красавица моя мамзель Шиц помолвлена за Щербатова-полишинеля, будучи в бегах с адъютантом; но говорят, что он наделал пропасть долгов. Бедный Козлов Иван Иванович, бывший славный некогда танцовщик, давно лежащий без ног, ныне еще ослеп.

Константин. С.-Петербург, 14 мая 1821 года

Нессельроде мне пишет от 27 апреля: «Наш отъезд назначен на воскресенье 1 мая. Император едет в ночь с субботы, а я в воскресенье поутру. Граф Каподистрия – двумя днями позже. Так что, мой милый Булгаков, до очень скорого свидания». Стало, государь в дороге 14 дней, кроме Варшавы (и там одни только сутки), нигде не должен останавливаться, и около 20-го ожидать можно, а около 25-го уже и должно. Слава Богу! К тому времени и я свою конвенцию совсем кончу. Кому до чего, а я все брежу ею, как своим дитятею.

Александр. Москва, 16 мая 1821 года

Благодарю за сообщаемые строки графа Нессельроде; ну, кажется, идет к тому все, чтобы скоро видеть государя

возвратившегося. Третьего дня приехал сюда Нейдгарт из Лейбаха, но я его еще не видал; все, что слышал, есть то, что государь на этот год не будет в Москву (как думали); это большая новость для москвичей, но нерадостная.

Твой весь архив лежит у меня в особенной комнате в деревне. Как скоро будем там, доставлю тебе все требуемые тобою книги, отыщу и алексеевские письма и пришлю тебе тоже. Читал я в газетах подробности заговора против короля Испанского; хорош и день выбрали! Чего они хотят, и я все не понимаю, почему королю отвечать за ошибки правительства, тогда как всем ворочают Кортесы? Король выходит истукан, образ в окладе, которому все кланяются, но которому не дано могущества делать чудеса. Разве имеет король личных неприятелей, – это дело другое; нашелся пострел, который и Генриха IV заколол.

Вяземский вчера приезжал ко мне прощаться. Мы были вместе у Пушкиных; он просил быть к нему ввечеру для вторичного прощания, но я не попал, а потому нимало не ручаюсь, чтобы он выехал, тем более, что коляска его чинилась еще, и отъезд, стало быть, более зависел от каретника, нежели от нашего певца.

Володя Пушкин был послан курьером к Витгенштейну. Он пишет, что бедный Баранов, крымский губернатор, Александр Николаевич, умер в Симферополе. Жаль! Это будет большой удар для родных. Другой их сын – неважная фигура, все его достоинство заключается в простреленной на войне руке. Также пишет Володя, что Али-паша одержал большую победу над турками и что в Царьграде была сеча: истребили до 4000 греков (в том числе и других христиан). Это продолжалось двое суток, и султан должен был взять сам оружие, чтобы остановить ярость янычар.

Вчера была свадьба дочери Кутайсова, вышедшей замуж за сына князя Федора Николаевича Голицына, бывшего при миссии Дмитрия Павловича Татищева в Мадриде. У нас был Шаганов и сказывал, что бедная Сипягина умерла после родов от разлившегося молока.

Александр. Москва, 19 мая 1821 года

Очень тебе благодарен за предварительное извещение об успехах негоциации с Гольдбеком. Очень будет славное дело – выиграть 6 дней, а то, право, стыдно слышать, что письмо из Парижа, бывшее месяц в дороге, называют свежим.

Это все хорошо, но еще бы лучше – учредить почтовые пароходы до Любека или Гамбурга. Мне все хочется, чтобы князь[39] влюбился в почтовую часть. Религия и просвещение свое

возьмут: одна крепко вкоренена в русском народе, другое идет как-то быстро само собою, а почтам надо помогать; пространство одно нашего государства требует уже, чтобы сообщения не затрудняли, а делали бы удобнейшими и краткими. Эту страсть можешь ты князю привить в частных ваших разговорах.

Кстати: Рушковский рассказывал мне очень плодовито, как Вяземский дорогою растерялся и как около Дорогобужа нашли том Вольтера, между Дорогобужем и Вязьмою – несколько номеров «Минервы», под Вязьмою или Гжатью, вероятно, «Орлеанскую Девку» или «Фобласа», Ариосто, Горация, а деньги-то, 50-то целковых, их-то, вот евто-то, – не нашли: видно, князь потерял их под Варшавою или в Литовской дирекции.

Вчера мы на балконе у Пушкиных пили чай, и вся семья тебя вспоминала. Старуха, как всегда, очень высокопарно витийствовала, называла Рушковского своим сердечным другом. Я отвечал: «Так уж повелось, что все московские почт-директора всегда будут вашими ближайшими друзьями и даже немного вашими родственниками, не так ли?» Наташа покивала мне головой, а старуха на лице показывала, что поймали вора в горохе. Добрая женщина, только уж своих интересов нигде не забудет.

Александр. Москва, 20 мая 1821 года

Вареньке понравились Жуковского стихи, а ввечеру взял их у меня на прочтение Василий Львович, у коего сестра Анна Львовна очень плоха.

Итак, Петербург 23-го числа будет обрадован возвращением государя. Отсутствие продолжалось почти год. Я жалею, что Каподистрия не едет к водам поотдохнуть и полечиться. Мне кажется, что греческие дела и текущая везде кровь этих несчастных должны его мучить и отнимать последнее здоровье.

В Царьграде патриарх кончил жизнь свою мученически, несмотря на прокламацию свою в пользу турок. Тело его было привязано к лошадиному хвосту и таскаемо по городу, а там отдано жидам, которые его продали одному греку, увезшему окровавленные останки в Одессу. Ужасно! Долгоруков, служащий при миссии в Царьграде, пишет отцу своему, что житие их неприятное самое, что нельзя выйти на улицу от отвратительных зрелищ: везде трупы, повешенные, убитые греки. Иные говорят, что Строганов уже и выехал оттуда.

Александр. Москва, 23 мая 1821 года

Князь Платон[40] сыграл злую шутку со своими племянниками, кои надеялись на большое после него наследство;

но я всегда радуюсь, когда богатый человек женится на бедной девушке, а богачи обыкновенно ищут еще богатее себя; все мало! Ну, сударь, я очень рад, что ты все кончил с Гольдбеком к государеву приезду. Польза будет для публики; но надеюсь, что конвенция эта не будет без пользы и для тебя лично.

Александр. Москва, 26 мая 1821 года

Я был теперь у Василия Львовича, которого нашел в слезах. Поутру на консилиуме доктора решили, что сестре его Анне Львовне жить нельзя и что у нее водяная; она давно больна, и должно было ожидать несчастие это, но он все не может утешиться. Он любит весь род человеческий, как же не любить сестру? Просил меня его не оставлять: верно не оставим. А в случае несчастия хочет ехать с нами в деревню – милости просим! В Москве что-то много печальных известий: во многих домах умерли дети, а у бедного доктора Таненберга – трое на одной неделе; также дочь трехлетняя у маленького Голицына, что женат на Нелидовой.

Окулов сказывал, что Высоцкий продал Свирлово за 200 тысяч Кожевникову, богачу-купцу. Жаль то, что все это будет запущено, а может, и сады истребятся, потому что он хочет завести какие-то фабрики или заводы. Луниной дело наконец кончено; дом ее куплен для Коммерческого банка за 280 тысяч рублей, стало быть, и Пфеллер свой сбыл за 60 000 рублей, чего он очень желал. Я советовал Луниной нанять дом князя Сергея Ивановича, и она мне препоручила это устроить. Я надеюсь, что Чиж рад будет и не заломается, прося дорого за наем, а ему денежки годятся.

Принимаю истинное участие в скорби доброго Каподистрии. Лишиться отца есть потеря невозвратная, а особливо теперь, ибо я все того мнения, что вся эта греческая каша очень должна его огорчать. Каков же этот плут Али-паша! Всем пользуется и хотел помириться с турками на счет греков, да не удалось. Очень я радуюсь будущему возвращению Полетики. Очень благодарен я графу Нессельроде за память обо мне: я обоих их очень люблю, а особенно зная, сколько она тебя любит.

Сонету итальянскому не могу я довольно натешиться. Сожалею, что не вся Москва знает по-итальянски; читал его огорченному Пушкину, и тот принужден был расхохотаться. Что-то скажет бестолковый философ Саччи? Насилу-то мои неаполитанцы принялись за свое ремесло, то есть за буффонство. Полно им прикидываться богатырями. Пульчинеллю не идет роль героя. Знай они свои макароны, свое мороженое и гулянье по Кияйе. Какое им дело до парламентов, конституций и проч.!

Когда увидишь Вяземского, скажи ему, что стихи, помещенные в «Вестнике Европы» на его счет за подписью «200 – 1», сочинены неким Аксаковым, домашним актером Кокошкина[41] и переводчиком Филоктета.

Александр. Москва, 31 мая 1821 года

За все подробности о наших друзьях очень тебя благодарю и Тургеневу и Вяземскому бью челом, а молва уверяет, что Жуковский женится на дочери нашего историографа.

Я любовался присланными тобою образчиками походной типографии и спрятал это в свой архив с привычною надписью. Закревский оставит по себе хорошие памятники.

Намедни за ужином (у тестя), Татьяна Ивановна Киселева, сидя подле меня, все говорила о племяннике своем Павле Дмитриеве, которого очень любит. Я тотчас в дрожки и поскакал к ней сказать ей об ленте; она плакала от радости и чрезмерно меня благодарила за эту приятную новость.

Грустно видеть льющуюся в Греции кровь, и все это без пользы. Конечно, греки пропадут, их положение сделается еще хуже, но турки сами много потеряют, ежели последуют такие эмиграции в Америку; флот и торговля рушатся. Чумага все говорит, что это дурно кончится для них, но Метакса был противного мнения.

Вейтбрехт сказывал (верно, слышал на почте), что из Петербурга идут, едут и бегут все в Царское Село, чтобы встретить государя. Я очень понимаю всеобщую радость, и изъявления этой любви, верно, будут приятны государю после столь большого отсутствия.

Костя – паж! Мы все плакали от радости как дураки; он был всех умнее один. Он принял это с достоинством. Первое его движение было бежать из саду (где я твое письмо прочел) к няне наверх, а та ну плакать! А первые слова пажа были именно (и откуда взял это!): «Ну что же? Как поеду в Петербург, буду подавать государю шинель и фуражку». Ты говори что хочешь, а это твоя работа. Я и паж пишем оба и благодарим бесценного Закревского. Я в восхищении, что он может оставаться при нас, но все-таки надобно нам будет посоветоваться о воспитании Кости. Это, кажется, переменит мысли мои насчет воспитания. Ты знаешь, что я хотел его отдать Глинке[42]. О сем будем советоваться с тобою и с другом общим Закревским. Ай да пажик!

Александр. Семердино, 6 июня 1821 года

Вот третий день, что мы в деревне, любезный брат. Еще не основались, все разбираемся, учреждаемся, а потому писать к

тебе я еще не успел, да и не было оказии. Посылаю за Ильиным, которого милый Запетамандант [то есть московский комендант Александр Александрович Волков] опять мне отдает на лето. Пользуюсь сим первым случаем, чтобы начать опять необходимую для меня с тобою переписку.

Дорога была так дурна, что мы проехали 56 верст почти сутки целые, часто выходили из повозок, и чуть (хотя мы и не партизаны) не пришлось нам переходить реки три вплавь, ибо везде снесло мосты, прорвало плотины и попортило дороги. Дело в том, что мы дома! Время хорошо, но все еще холодно. Мы все, слава Богу, здоровы, большие и малые. Крестьяне нам очень обрадовались; я навез разных гостинцев и дарю мальчикам и девочкам. Маленькие подарки поддерживают дружбу. Староста меня насмешил. Это почтенный старик лет в 80, но еще довольно бодр; явился и поздравляет с царскою милостию. С какою? (Я и забыл о Косте.) «Как же, батюшка! Люди-то сказывали, что Константина Александровича нашего пожаловали государевым пыжом!» Только теперь Костю все называют пыжом.

Мы все жалеем о преждевременной кончине бедного князя Василия [это, вероятно, князь Хованский, один из племянников тестю А.Я.Булгакова]. Отец перенес это испытание, но я все-таки боюсь, что оно будет иметь для него пагубные последствия. Странно, что у Хованских (то есть у многих) есть какая-то наклонность к сумасшествию, а многие точно умерли этою ужасною болезнию. Помнишь, как князь Яков нас пугал в дворцовом саду в нашей юности? Брат его, князь Андрей, также умер в сумасшествии. Впрочем, семье остается только этим и прославиться, ибо невозможно потерять то, чего нет; но также подлинно то, что лучше сохранить свою глупость, нежели потерять рассудок. Я рад, что Хилков избавил тебя от неприятной комиссии объявить несчастному отцу о смерти сына его; но, поверь мне, на эти неприятные комиссии всегда находятся охотники.

Подлинно очень разительно обстоятельство, что Всеволожский должен был объявить Хованской о смерти ее сына, а она ему – о смерти дочери его. Это глас Божий, говорящий: очнитесь, негодные!

Здесь о бывшем славном граде рассказывают ужасы. Недалеко от нас убило им целое стадо скотины; осталась в живых одна только свинья, которой не рассудилось за благо умереть для компании.

Речи Фокса и Питта я не только получил, но и прочел первый том. Мне кажется, что Фокс красноречивее; зато Питт убедительнее. Впрочем, это переменяется, смотря по сюжету, о

коем они рассуждали.

Слышу шум, беганье, что такое? Поймали в роще ежа; дети и смеются, и трусят, особливо же храбрец наш г-н пыж: и хочется подойти поближе и посмотреть, и боится.

Ну, брат, какого быка и коров прислал мне граф Ростопчин из Воронова! И им ведется у него генеалогия, как лошадям. Бык называется Геркулесом. Я, и не знавши, догадался, что это его имя: ужасная махина и очень смирен. Желаю очень, чтобы у нас завелся такой скот. Теперь буду ожидать обещанных лошадей. Скотник, пригнавший быка и коров, говорит, что они должны быть уже в дороге, по слухам в Воронове. Буду писать графу и благодарить его.

Сегодня встал я очень рано и пошел вверх на мезонин, где долго разбирал бумаги. По твоему препоручению отыскал те, что ты иметь желаешь; буду их посылать тебе по частям со всяким письмом, а найдется здесь ящик, то я все вдруг пришлю. Твоих писем ко мне – преизрядная коллекция, я их привожу в порядок и переплету их – так, как батюшкины к Алексееву; а его к батюшке я еще не отыскал. Вообще я все бумаги хочу привести в порядок и переплесть то, что заслуживает; этим они сберегутся. [Благодаря этой заботливости сберегліись и печатаемые здесь письма.]

Александр. Семердино, 8 июня 1821 года

Ты меня сильно порадовал арендою, пожалованною графу Каподистрии. Кому давать их, ежели не тем, которые жертвуют для пользы службы всем временем и здоровьем своим и которые столь умеют хорошее употребление делать из достояния своего? Пожалуй, скажи графу мое душевное почтение и поздравление, ежели сочтешь это у места.

В Москве поговаривали давно, что Меншикову[43] не так хорошо. Ежели подлинно поедет посланником в Голландию, то сим слухи, кажется, оправдаются; но по его уму и осторожному поведению невероятно, чтобы он навлек на себя когда-либо малейшее неудовольствие.

Это не Вяземский! Записка Тургенева очень меня встревожила: я люблю очень Вяземского, он честный и добрый малый, но очень ветрен и неосторожен. Мы были на одном обеде в Варшаве, гости разделились на два мнения и спорили горячо. С одной стороны были Волков, я, Нессельроде [родственник графа Карла Васильевича, что потом был министром иностранных дел], адъютант цесаревича Моренгейм[44] и другие, а с другой – несколько поляков и Вяземский, который защищал избрание в депутаты известного режисида Грегуара. Мы и тогда говорили Вяземскому, что не место было тут (в трактире) так вольно

изъясняться, а он отвечал: «У нас бывает это всякий день безо всяких последствий». Впрочем, сообщение Тургенева довольно еще темно, и я буду ожидать от тебя подтверждения, но все это дело сбыточное. Теперь не то время говорить пустяки; ими прежде пренебрегали, но теперь хотят, чтобы и в разговорах даже соблюдаема была благопристойность и уважение к правилам, кои государь столь явно и торжественно провозглашает.

Александр. Семердино, 9 июня 1821 года

Из письма твоего № 89 вижу я яснее, в чем состоит Вяземского история[45]. Ты давно это пророчил, любезный брат; да и я ему то же говорил в последнее его пребывание в Москве, упираясь и на одно письмо его ко мне, очень вольно и необдуманно писанное; он все не соглашался и повторял: «Дай мне прочесть письмо это; там ничего нет, в чем можно бы меня упрекать!» Ты читал это письмо, кажется, и Тургенев, и оба вы негодовали на Вяземского, но все это горчица после ужина. Он не хотел вовремя остеречься и попал впросак. Я уверен, что он себя со временем оправдает, но неприятность уже сделана. Я не подозреваю ни Моренгейма, ни Нессельроде, они ребята добрые и знают хорошие свойства Вяземского. Я во всем подозреваю Байкова, он ему небольшой доброжелатель, да сверх того и рад был к чему-нибудь придраться, чтобы выжить его из Варшавы, желая основаться одному у Новосильцева. Байков большой интриган; ежели верить тому, что и прежде говорили, то он был виновником, что и посольство Головкина в Китай не удалось. Реман также был того мнения.

Я читал в газетах рескрипт, коим Меттерних жалуется в канцлеры. Нет сомнения, что Австрия выпуталась со славою из всех своих хлопот в Италии; но меня сто раз более канцлерства радует аренда Каподистрии, ежели подлинно она столь значительна. Татищев должен торжествовать, видя, что либеральные идеи и чувства не в моде; он всегда был великий их ненавистник.

Мы, слава Богу, узнали в одно время о болезни и выздоровлении государя. Я полагаю, что все произошло от перемены климата, после столь долгого пребывания в умеренном и хорошем климате. Благодарение Всевышнему!

Видно, в гвардии большие перемены, и я радуюсь, что вижу в главных лицах все приятелей Закревского: Паскевич, Бистром, Шеншин – все люди хорошие. Перед отъездом моим из Москвы слышал я, что и Трубецкой, генерал-адъютант, впал в немилость. Бутягина поздравляю с сыном, а Северину бью челом. Конечно, приятно писать, но еще бы лучше жить вместе. Зачем Честерфилд

жил в разлуке с сыном? Зачем мадам Севинье жила розно с дочерью? Зачем мы с тобою были почти 14 лет в разлуке? Зачем это и теперь продолжается? Когда это кончится? Когда будем вместе?

Александр. Семердино, 11 июня 1821 года

Слово Тургенева Пушкину очень удачно, и подлинно язык турнул его еще далее Киева. Я надеюсь, что Вяземский воспользуется уроком: могло бы еще хуже это все кончиться. Не ехать в Варшаву – еще беда небольшая, она ему самому надоела, все, может быть, к лучшему; желаю сего, ибо люблю Вяземского, а он предобрый малый и благородно мыслящий, только слишком начитался «Минервы», а она не всегда премудра и рассудительна.

Я рад, что государь увидит прекрасную Италию, прелестный Неаполь и славный Рим, ибо, верно, съездит во все эти города. Жаль мне бедного Коризну; был малый хороший, как и все, окружающие Закревского. Ты знаешь, что Волков, коего страсть делать свадьбы, женил брата покойного на дочери побочной Ник. Ник. Бахметева, девице очень милой; не знаю, правда ли, но меня уверяли, что он продул в карты все приданое своей жены. Он всегда был игроком, и брат сказывал, что он и первую свою жену уморил от печали.

Карамзин не только до меня дошел, то есть девятый том, но я даже и прочел уже его. Самое приятное чтение, и историограф не стесняется, говоря об этом тиране, который заслуживал другого титула, нежели *Грозный.* Он с большой тонкостью говорит в другом месте: «Россия 24 года сносила губителя, вооружась единственно молитвою и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра Великого, Екатерину Вторую *(история не любит именовать живых)».* Комплимент довольно прозрачен, но зато и справедлив.

Ай да Головин! Куда больно, когда бранят мертвого, а заступиться нельзя! Только я уверен, что комиссия, назначенная для исследования дел покойного графа, откроет большие злоупотребления. Головин совсем не так жил, чтобы наделать 7 миллионов долгу при таких доходах.

Завидую вашим обедам у Каподистрии и Нессельроде. Не только славно покушаешь, но славно наговоришься с людьми приятными и нас любящими. Тут добрый Закревский не последнюю играет роль. Теперь он, я думаю, уже получил грамотку моего пажика.

У меня набралась толстая связка писем Тургенева, Влодека, Ростопчина, Закревского, Вяземского, Алексеева и других; приведу по частям в порядок, а, может, и переплету. В старости

приятно будет это перечитывать. После то же сделаю с батюшкиными бумагами. Твоих писем у меня такое множество, что не перечитать их в месяц. Их бы достаточно было, чтобы написать полную твою жизнь.

Александр. Сельцо Семердино, 14 июня 1821 года

Ты знаешь, что моя мысль была отдать Костю Сергею Глинке; но пожалование его в пажи и расстройство, происшедшее в заведении Глинки по злобе, зависти и интригам, которые, заставив многих взять детей своих обратно, уменьшили тем и средства его, – все это заставило меня переменить мысли. Есть здесь пансион, составленный Муромцевым по какому-то сильному побуждению заниматься таким упражнением; тут и его собственные дети, и 25 чужих, все под его надзором. Тут и Волкова Паша, дети Волконского, зятя графини Пушкиной, Четвертинского, Ралля и проч.; все очень хвалят, и я верю; но дело в том, что это заведение началось едва год. Как ручаться в успехе? Кто кончил там свое образование? Разве Муромцев не может умереть (чего Боже сохрани), разве Ришельевский лицей не рушился от того, что аббат Николь отошел? О других пансионах в Москве и говорить не стану. К Пажескому корпусу, по всему, что мне говорили о нем, и именно Брокер, от которого я слышал, что не было недели, чтобы пажи не попадались на съезжие, не был я никогда расположен. У нас у обоих была, стало, одна мысль – то есть Царскосельский лицей. Узнав от тебя, что Вася [князь Василий Сергеевич Голицын] туда решился отдать братьев своих, я еще более держаться стал этой мысли; твое мнение, будучи то же, меня совершенно в ней утверждает.

Костя преисполнен и способностей, и похвального самолюбия. Он захочет тем более отличиться, что будет знать, что учится почти под глазами своего государя, коему может иметь счастие сделаться известным лично и с хорошей стороны, а впечатление сие остается долго и полезнее нам всех просьб, протекций и старательств родных. Лицей – творение государя, и он как человек не может не жаловать тех, кои будут ему приносить честь. Я не знаю, зачем ты думал, что Наташа этому не будет рада. Напротив, она теперь признается, что всегда этого желала сама, но не говорила, зная мое намерение вверить Костю Глинке. Она сама хотела тебе писать. Я тебе вверяю с сердечной радостью Костю, а взяв его на свои руки, ты избавляешь меня от значительных издержек: я, право, не знаю, как буду жить, когда все это подрастет. Куда бы я девался с восемью человеками детей? Сколько я горевал об умерших, а выходит, что Бог все премудро устраивает. Ежели все это устроится, как мы желаем, то

тогда два Константина будут меня тянуть в Петербург; но поселиться там мне все и подумать нельзя. Я не знаю, учат ли в Лицее музыке и танцеванию, а мне этого хочется очень; у него же большие способности к тому и другому. Танцы покидают нас с летами, но нет причины бросать музыку: это отрада большая, и мне помнится, что старик граф Вельгорский, дед нонешних, играл изрядно на скрипке и в 84 года.

Смотрели мы теперь на работу почти самую тяжелую, то есть унавоживание полей. Этот год навозу множество на скотных дворах: это обещает хороший хлеб на будущий год. Мы не в Сицилии, где без навозу на одной и той же земле собираются три и четыре разные жатвы. Когда я поехал из Палермо, плакали помещики, что голодный год, нечего будет продавать, пшеница родилась только сам-шесть, ни больше ни меньше. Но я что-то далеко заехал, из Семердина попал в Сицилию.

Вчера получил я письмо от Василия Львовича Пушкина, и он описывает мне историю Вяземского еще подробнее, сожалея, как и мы все, что это последовало. За Вяземского сердце я поручусь, но голова – дело другое. Я сказал Пушкину, что Вяземский захотел получить свою долю похвал, расточаемых в Собрании депутатов Лафайетом и иже с ним уму и опытности нынешней молодежи.

«Что с тобою? – спросила жена, видя, что я смеюсь, читая твое письмо. – Скажи же!» А я не мог не захохотать, читая рассказы о моем неапольском короле, который выезжал из Лейбаха в шестиместной карете, имея при себе все свое министерство, то есть капуцина, собаку и двух медвежат в корзинке; недоставало шута, обезьяны и попугая.

Уваров поехал в Рим! Но который, генерал или пиит? [То есть Федор Петрович или граф Сергей Семенович. В Италию лечиться поехал тогда первый из них.]

Александр. Семердино, 15 июня 1821 года

Чтобы поквитаться с тем, что сообщаешь мне от Меншикова, выписываю из письма графа Ростопчина то, что говорит он о французах, над коими не перестает подшучивать при всякой оказии: «Французы, – говорит он, – оставляют песенки и безумства только для того, чтобы заниматься глупостями. Эти господа смогут похвастаться представительным правительством, только когда научатся молчать и слушать кстати; они станут опорой монархии, только когда отбросят выражение «приносить присягу», чтобы делать это лояльно; они станут республиканцами, когда у них не останется уже 120 блюд рестораторов и они будут есть чечевицу и пить воду». Говорит,

что Корсакова уехала, промотавшись так, что не заплатила Орлову Грише, который за нее поручился у банкира. Потье переходит опять в варьете и проч. Очень хвалит Шредера, чему я очень рад.

Тесть пишет, что дочь Щербатова, князя Александра Александровича, бежавшая с кем-то из дому отцовского, с ума сошла.

Теперь и умри бессмертный Наполеон, мало будут говорить; а я помню, что в 1813 году, во время блокирования Дрездена, где он был, писали, что он опасно болен, и это произвело страшную тревогу во всей Европе. Другие времена, другое лечение. Корреспонденцию этого бывшего проказника, обещаемую тебе давно Сенфлораном[46], буду ожидать с нетерпением.

Александр. Семердино, 17 июня 1821 года

Худо жить патриархам в нонешнем веке, в коем завелась мода нападать на все, что бывало наисвященнейшего в мире. В Царьграде говорят о срубленной голове так, как у нас здесь о срубленном дереве, да еще и менее, потому что патриарха забыли; а я третий день жалею о двух деревах 20-аршинных, кои срубил у меня в лесу Филат на мостик, который мы строим в рощице, с одного берега пруда на другой. Он будет точно наподобие мостика в батюшкином саду, на островке, и будет называться *Братнин мост*. Я буду им хвалиться, как французы Аустерлицким; но этот поставлен был гордостью, высокомерием, а мой воздвигнула братская любовь.

Ай да французы! Овечки по-неаполитански – мысль пресчастливая, хотя так бывает со всеми овечками: их всех забивают еще прежде, нежели они увидят костер. Мы над этим посмеялись от всей души с моей женою.

Пожалуй, себе, визирю голову руби, но этим несчастного патриарха не воскресишь. Подлинно справедливо говорит Сабанеев, что это первый пример, чтобы сняли с виселицы тело, чтобы отдать ему всякие почести, пушечную пальбу и проч., как то было в Одессе с телом бедного патриарха.

Очень я рад, что княгиня Воронцова, моя фаворитка, родила благополучно в Лондоне. Ему и отцу его дан орден Гвельфов английским королем; но отчего также Убрию? Видно, по стараньям графа Нессельроде. Поздравь Воронцова, когда будешь ему писать. Я, признаться, не совсем был покоен насчет родин сих.

Александр. Семердино, 22 июня 1821 года

От Вяземского писем не жду. Он был ленив и в Варшаве, а у

вас едва станет у него времени разъезжать по дачам и театрам; я буду ему рад, когда приедет в Москву. Василий Львович обещал тотчас меня известить о приезде его. Твои хлопоты серьезнее моих, то есть с Чижиком, и не очень было бы забавно платить за него 5000 рублей; но я рад, что ты передал это все Васе, которому честь и слава, ежели он отца выпутает и успокоит. Не всякому дано это счастие.

Перечитывая письма батюшкины к Алексееву и к нам, вижу, как он горевал о долгах своих; но мы были в чужих краях, да и слишком молоды и неопытны, чтобы быть ему полезными. Главное зло было то, что управляющие батюшку обкрадывали, он сам об хозяйстве не имел понятия, и прекрасное имение не приносило ему никакие, или ничтожные доходы. Батюшка продал тогда барону Ашу Любашковское имение почти за ничто. Аш получает доходу 60 тысяч рублей. Азанчевский купил за 22 тысячи рублей Жельцы, которые не давали ничего; вечные были недоимки, а старый этот … выручил деньги свои на одном лесе и имеет лучшие озера в Белоруссии. Но мало ли кого обогатил наш батюшка! Утешение и то велико, что худого слова никто не произнес никогда на его счет. Он умел выслуживать, а не наживать.

Батюшка подлинно был должен Татищевой 2000 рублей. Сто раз была речь о заплате, и я не виноват, что это не кончено. Всему причиною взаимная деликатность. Я просил много раз старуху сделать счет, по коему был готов заплатить; она отвечала, что полагается на меня; мне было совестно положить, как должно, указные проценты, а она по 10% тоже совестилась, я думаю, просить. Так и оставалось все. Деньги были взяты через Фавста, коего я тоже сто раз просил переговорить; у него был один ответ: скажу! Я ему напишу, чтобы непременно хоть с Урусовым кончил бы; а по моему мнению, одно средство и легчайшее: так как уже прошел и десятилетний срок, то отдать, вместо 2000 рублей, 4000 рублей. Я раз самой старухе говорил; она отвечала: «Это деньги дочери моей; все равно, что у вас деньги эти, что у меня». Мы и не с такими долгами да честно расплатились, а для меня мать Дмитрия Павловича особа священная.

Александр. Семердино, 26 июня 1821 года

Барону Строганову пришла, как говорят, оказия. Как-то выпутается он изо всего того? Батюшке покойному и труднее еще было. Турки и режут, и бурлят теперь, – а когда мы присоединили к себе Крым, да им еще говорили: эй, турки, не шумите, а то худо вам будет, проститесь с Крымом без спору? Меня удивляет, что Англия, Франция, Швеция, бывшие всегда наставницами турок, не

унимают их дурачеств, открыв им глаза насчет последствия. Они пропали, ежели мы объявим теперь войну; а ручаться можно, что турки не найдут ни единого союзника, а мы многих. Будет что делать, всякому достанется славный кусочек: Греция, Египет, острова, Морея и проч. и проч. Да, брат, и я боюсь, что твоему бедному банкиру Данези не снести головы; а бедному Строганову будет это очень больно, ибо он без намерения предал его в руки злодеев.

Александр. Семердино, 28 июня 1821 года

Не оттого, чтобы Сережу Уварова я некогда горячо не любил, но, право, рано ему в сенаторы. Он мне все кажется мальчишкою, и довольно глупо, ежели он это прежде времени огласил. Вообще, я замечаю, что молчаливость есть качество такое редкое в нынешнем веке, а это душа дел и успехов во всяком предприятии. Умей с важностью молчать – прослывешь великим человеком. Иван Иванович Дмитриев это доказал, хотя я и не отнимаю у него всех достоинств.

Ты очень меня обрадовал известием об утверждении заключенной тобой конвенции. Не за что будет прусскому королю сделать тебе славный подарок (обыкновение сего требует, однако же); но зато государь, верно, тебе воздаст за пользу, которую конвенция эта доставит России. И я уверен, что это будет; желаю сего от всей души, а в ожидании я уже восхищаюсь и хорошим о тебе отзывом государя. Меня это несказанно утешает, а тебя и утешать, и ободрять должно. Я знаю, что ты благоволение императора ставишь выше всякого награждения.

Жаль мне, что мы лишимся нашего доброго Серафима; все его уважали, и все нападут на Тургенева, зачем Александр не сделал, чтобы Серафим остался в Москве.

Александр. Семердино, 30 июня 1821 года

Вчера праздновали мы Петров день в Балакове: там был праздник этой деревни. Отобедали мы здесь, а там целым домом отправились туда в трех экипажах. День был теплый и самый прекрасный. Потчевали мы мужиков вином, баб пивом, а мальчикам кинул я на 15 рублей пряников. В шалаше пили мы чай, потом ели ягоды со сливками, творог, простоквашу. Бабы и девки пели песни, водили хороводы, играли в горелки, в коршуна, потом выучили мы их в жгуты и сами тут же играли. Я поколотил своих двух учителей, а они мне отплатили.

Мало тебе всего этого, так знай, что, как сделалось немного темно, я стал пускать в кучки шутихи, и мы, довольно насмеявшись, напившись, наевшись, навеселившись, воротились

сюда в половине одиннадцатого.

Александр. Семердино, 2 июля 1821 года

Что значит это переименование Поццо[47] и Ферроне в звание послов? Одна ли это почесть взаимная? Я рад для Поццо, особливо ежели это прибавит его оклад, ибо слава – вещь не для всякого столь славная.

Напрасно ты думаешь, что рижские дилижансы заставят отстать от московских. Это дело нужды, а не прихоти. Кому надобно ехать в Москву, тот все-таки туда поедет; а у кого нужда до рижского какого-нибудь торгаша, тот не поедет к нашему плуту Дмитрию Александрову. Итак, все будет своим порядком.

Не удивляюсь, что Вяземская скорее поехала в театр, нежели в Варшаву, и не буду удивляться, ежели муж скорее попадет к Татищевой, нежели к Настасье Дмитриевне Афросимовой. Скажи ему это от меня при поклоне. История бедного иностранца, жившего у Греча, ужасна.

Ну, только туркам несдобровать. Они дошалятся до чего-нибудь. Сколь ни убеждены все государи блаженством наслаждаться миром, но нужда заставит взять оружие. Кроме других причин, религия то велит. Кричали о разделе Польши; а ежели сделать то же с Турциею, никто не пикнет, все одобрят.

Александр. Москва, 7 июля 1821 года

Мы сейчас из Покровского монастыря: поминали покойного батюшку с добрым Фавстом, помолились, поклонились праху бесценного отца, поскакали и воротились домой, говоря о старинных временах. Ох, зачем он не в живых! Он бы многим восхищался, а мы были бы благополучны и не имели бы многих огорчений.

Александр. Семердино, 13 июля 1821 года

Описание, Сергеем [то есть Сергеем Ивановичем Тургеневым] делаемое о Царьграде, достойно жалости; чем-то все это кончится, а кажется, туркам несдобровать. Вот что мне пишет Броневский: «Меня уведомляют из Черного моря, что в последних числах мая военный транспорт наш «Волга», стоявший под стенами Измаила, ночью взят был турками, капитан и команда изрублены. Из Севастополя отправлены в Константинополь бриг «Минерва» и шхуна «Севастополь» для спасения Строганова, ежели не поздно. Скажу вам по доверенности, что здесь (в Туле) тайно, но всем, однако же, известно, куплено для греков 4000 ружей. Отплытие всех женщин доказывает уже, какая там должна быть тревога».

Нарышкину [Кириллу Александровичу] за глупостями в карман не ходить, а будучи обер-церемониймейстером, недолго что-нибудь напроказить; тут нужен полудипломат и человек аккуратный; не знаю, заключается ли все это в Кологривове. Заставить прождать посла по недоразумению неприятно; а Голохвастов, бывший при Нарышкине в Москве, рассказывал, что он один раз, перевравши час Шелеру, заставил самого государя дожидаться более получаса. Вот какой молодец, а в извинение сказал, что его хорошие часы в починке. Слава Богу, что Ламсдорфу лучше. Много ему кланяюсь. Очень я рад, что представления твои одобрены князем; я понимаю, что нет величайшего благополучия в свете, как делать других счастливыми. Я замечу тебе только, что ты для Гана делаешь то же, что сделал для Рушковского, а обоими не имел ты повода быть довольным. Твои похвалы открыли путь Себо, и многие теперь под наказанием, а неприятный начальник есть великое бремя. Ган добрый человек, – скажешь ты. Это хорошо для общества, для семьи его, но для службы недостаточно. Комарову так хотелось креста, что я боюсь, чтобы он не сошел с ума от радости. Жаль, что я не в городе, а то сообщил бы Попандопуло о подвигах его родины; шути-шути, только котлетам «по-гречески» не бывать, они дерутся не по-неаполитански. Я всегда желал им успехов и называл дело их святым, авось-либо все устроится к их благополучию.

Я рад, что статья о Данези несправедлива. Странно было бы Строганову так горячиться за Данези, тогда как слабо, кажется, защищал патриарха несчастного! Положение бедного князя Петра самое горестное. Не стоило труда выздоравливать, чтобы впасть в такое ничтожество.

А наш Н.И.Ильин, сочинитель, поэт и мой сослуживец у графа Ростопчина, совсем с ума сошел, почитает себя Христом; Кутайсова, у коего жил, разругал фельдшером и канальей за то, что тот отказал ему внучку свою, – перевязывал черным платком голову и в колпаке потом разъезжал по городу; уверял Волкова, что он помолвлен с графинею Кутайсовой, что получит 2 миллиона, что государь пришлет ему на свадьбу ключ и 50 тысяч рублей. На улице за ним шло несколько сот мальчишек, как, бывало, за Иваном Савельичем. Полиция была принуждена в это вмешаться. Ильин Ровинского разругал и ударил даже, а тот с важным своим видом ему сказал: «Ежели вы еще раз осмелитесь ударить, то я забуду, что вы статский советник, а буду помнить, что я блюститель спокойствия в городе». На что Ильин отвечал: «Ты не что иное, как дурак! Погляди, сколько собралось народу смотреть на тебя, на дурака, я велю тебя связать!» Выходило, что

Ровинский дурак, а Ильин полицеймейстер.

Ильин был влюблен в княжну Аграфену Ивановну Трубецкую, коих дом (бюро) на Покровке, требовал ее руку, но ему отказано не только от руки, но и от дому. Теперь писал он княжне: «Милая Груша, все между нами кончено, забудь свою любовь; я помолвлен с графинею Кутайсовой. Ты мила, любезна, богата, но она милее, любезнее, богаче, ищи себе другого», – и проч. Письмо на четырех страницах и ходит, говорят, по городу. Князь Дмитрий Владимирович велел приставить к нему караул; но так как Ильин не имеет большого состояния, то хотят его поместить в дом сумасшедших в особенную комнату. Жаль его, бедного. Честолюбие и любовь погубили его. Вообрази, что в 44 года он три года посвящал на изучение римского права, чтобы быть статским советником.

Александр. Москва, 30 июля 1821 года

Зашел я к Вяземскому, долго у него сидел; болтали, я его пожурил. Он сам сознается, что был, может быть, неосторожен в разговорах, но все-таки мнения, что к нему только придрались и что вдруг так не наказывают; что Новосильцев мог и должен был прежде его предостеречь, и когда бы советы его остались без уважения, тогда только должен он был подвергнуться такому наказанию. «Я жил, – говорит он, – в городе, где все громко и очень свободно говорят; мне, конечно, больно было быть выслану из Варшавы, но утешаюсь тем, что, может быть, я один изо всех русских, заслуживающих уважение не вздорных, но благомыслящих поляков, хотя всегда с ними спорил, когда касалось до блага Польши со вредом России», – и проч. Все это хорошо, но все-таки давно туча вилась над Вяземским; то, что мог ему внушить Новосильцев, внушаемо ему было не один раз мною и Тургеневым. Он все неправ. Помнишь ты письмо его одно ко мне? Я и тогда его кротко журил и писал ему: рой себе яму, но не тащи меня туда же. Его управитель сделал ему славный сюрприз. Ничего не говоря, из сбереженных доходов купил место в Чернышевском переулке и выстроил князю славный дом, каменный, тысяч в 40. Вяземский в него может переехать месяца в два[48]. Это очень любезно для управителя. Мы пошли обедать в Английский клуб, где стол славный. После обеда трое с Иваном Ивановичем Дмитриевым начали болтать, все о блаженном Наполеоне.

Поверить не можешь, как Москва украшается. Кузнецкий мост нельзя узнать. Татищева дом растет, как гриб, и будет важный. Что нового? Кажется, ничего. Да! Вчера была свадьба или пир свадебный Вадковского, бывшего семеновского полковника, не

помню с кем. Вдова старика Собакина, полячка, молодая, прекрасная, графиня Белинская, выиграла у наследников свой процесс, и ей достанется 2000 душ. Она доказала, что ее венчали в обеих церквах, хотя и уверяли, что ни в одной, в чем все уверены. Портной один плачет и ищет по всему городу Боголюбова, который ему должен остался более 700 рублей; услыша, что молодчик уехал, бедняк (некто Матиас) сказал: «Ну и дурак же я, сам же пошил ему дорожное платье! Я должен был заподозрить его!»

Александр. Москва, 1 августа 1821 года

Итак, Дмитрий Павлович отправляется в Голландию. Ежели гора не родит мышь, это также не большое чудо; но я в восхищении, что он не остается в праздности. Он будет полезен повсюду. Это аванпост Англии, и он присмотрит за нею лучше, чем Ливен, ибо ненавидит ее от всей души. Я всегда питал слабость вообще ко всем моим начальникам, но Татищев всегда относился ко мне скорее как равный и товарищ, нежели как начальник. Хорошо, что он сохраняет мадридский оклад.

Александр Велиж, 9 августа 1821 года

Сюда приехал я вчера поздно. Бывало, становился я у здешнего полицеймейстера, бывшего нашего опекуна Шестакова; но он умер недавно чахоткою. Здесь есть очень богатый жид Шмерка, просил к себе, но я ненавижу запах жидовский, а потому и стал у исправника; человек очень хороший и во всем нам угождающий по имению. Скоро явился и маршал уездный Алексианов, другой наш опекун. Мы здесь в одной комнате. Явился сюда на мой счет, узнав от Ефима, что я должен был выехать из Москвы в первых числах августа. Здесь стоит конная гвардия, я этого и не знал. Одевшись давеча, зашел я к Алексею Орлову, который очень мне обрадовался; долго болтали, с тем отпустил домой, что приду обедать и приведу с собою Алексианова. Все перебивают, писать не дают, да скоро и обедать пора. Прощай покуда.

Я сейчас от Орлова. Славный задал обед. После обеда травил на дворе медвежонка собачкою-бульдогом, который одержал победу и так втяпался мишке в ухо, что насилу могли его оторвать. Потом играли его трубачи; музыка удивительная: я думал, что ничто не может превзойти трубачей польской гвардии великого князя, коих слышал в Варшаве, но эта еще превосходнее. Они играют все арии Каталани с ее пассажами. Офицеры и полк его обожают; он добр со всеми, но очень строг. Все разошлись, мы остались двое, очень долго болтали о всякой

всячине. Он малый благородный, здраво очень судит о вещах, любит душевно Закревского, и это большое достоинство в моих глазах[49].

Александр. Москва, 23 августа 1821 года

Фавсту читал я твое письмо № 130, и он тоже выпучил глаза на милостивые глаза императрицы, и он тоже сказал: «Вот у нас какие государыни, а поди иной наш брат командир или еще каналья откупщик и шляпы не скинет тебе». Видно из слов ее величества, какая она нежная мать; зато как и почитается детьми! Спасибо не говорю Потоцкому: по самой справедливости и, яко придворный, не мог он иное говорить. Я этого полячишку не люблю исстари, и Алексеев покойный дурно о нем говаривал, а после нашего дела в совете и в дом к себе не пускал.

Теперь кто будет говорить, что дети твои не прекрасны, когда они таковыми пожалованы или, лучше сказать, признаны именным указом! Спасибо тебе очень, что дело моего Кости улажено, и при сем случае князь опять показал свое благорасположение к нам. Повторяемые ласки государя к детям твоим часто заставляют меня думать о том и сетовать, зачем нет детей у государя. Какое бы это было благополучие для него и для целой России! Но надобно повиноваться воле Божией.

В Смоленске я не ускользнул от свиты генерала Демидова по моем возвращении. Это удивительно, как он походит на Наполеона. Уверяю тебя, что, показываясь во Франции, он мог бы делать фарсы, которые вовсе не смешили бы правительство. Он даже роста того же. Я такому сходству не завидую.

Я с большим удовольствием читал о посещении Андерсона. Ай да англичане! Но ты чрезвычайно умно сделал, что отклонил депутацию. Князю, как он ни добр, могло бы это не показаться. Ты кончил это все славно: честь приложена, и убытка Бог избавил, а господа купцы лучше бы сделали, ежели бы поднесли тебе тысяч триста. Им бы это была безделица, а нам бы годилось.

Тургенев вырвался из басурманских рук. Ну слава Богу! Когда увидишь Александра, поздравь его от меня; никто лучше меня не может чувствовать его радости. Сергей уцелел; надеюсь, что и Киев уцелеет. Здесь тотчас учинили басню, что все это штуки турков, которые положили в один день сжечь Рим, Киев и Иерусалим.

Да, брат, надобно ожидать страшную дороговизну, и наша Белоруссия очень разорится, ежели войска там останутся. Я слыхал, овес был по 45—50 копеек, а сено – по 76 копеек. Кабы как в хорошие годы, накосили бы тысяч на 25 рублей. Сожалею о бедном Голицыне. Я обедал с ним у Поццо в Париже; он мне тогда

говорил: мое здоровье требует длительного пребывания за границей.

Александр. Семердино, 31 августа 1821 года

Чрез директора Лицейского пансиона имеем мы новый опыт Князева [то есть князя Александра Николаевича Голицына] благорасположения, а польза вся обратится на Костю. Не поверишь, как он мил в мундире!

Кстати, я все забываю тебе написать, что в Москве носились слухи неблагоприятные насчет князя, что он не пользуется прежними милостями государя и проч.; иные даже уверяли, как известие верное, что князь сослан. Благоразумные люди не верили сим гнусностям, а время их оправдало. Выходит, что слухи сии распускаются по Москве каким-то Ястребовым, служившим, говорят, при князе и ныне находящимся в отставке. Спасибо князю за пособие, выпрошенное несчастным моим грекам. Признаюсь, что душевно желаю им успехов; пусть отмстят за то, что Якова Ивановича держали 27 месяцев в тюрьме. Правда и то, что заключение сделало славу и фортуну батюшкину. Что-то вам расскажет Тургенев, как будет в Питере?

Я получил письмо от графа Чернышева, а с ним и экземпляр его «Гатчинского театра»; есть и хорошее, но куда и дурного много, дурного фарса, под коим я не захотел бы поставить свое имя, разве что, самое большее, инициалы. Буду ему писать и расхваливать, ибо молодых поэтов должно анкуражировать.

Александр. Москва, 16 сентября 1821 года

Поехал я к Закревскому, который меня не ожидал и чрезмерно мне обрадовался. Сидел в шлафроке. С одной стороны душила его родственница Пашкова (ура Москве на тетушек!), а с другой – доктор Пикулин развязывал аптекарский гостинец для бока, который он ушиб, упав с коляскою где-то около Новгорода, но боли большой нет. Он приехал из подмосковной сюда на три дня полечиться.

Как Пашкова уехала: «Ну, Александр, дай же себя поцеловать еще раз на просторе, садись ближе!» Я ну благодарить за Костю, поздравлять с чином, с отдохновением, ну говорить о тебе. «Ну, ты, надеюсь, Константином доволен; я было хотел тебе привезти известие, но он не согласился: нет-нет, ты опоздаешь двумя днями, а у брата в два дня крови перепортится 20 фунтов». И тут ты пекся обо мне! Закревский взял слово быть к нему непременно в подмосковную, где хочет дать праздник Ермолову.

Вбегает Аграфена Федоровна: «Ах, здравствуйте, любезный Булгаков!» – «Здравствуйте, сударыня». Поздоровались. «А

обещание?» – «Какое обещание?» – «Обещание, данное вами моему брату». – «Ах да, конечно, – и ну хохотать. – О, я его выполню, но теперь на нас смотрит слишком много народу». Она от Петербурга без ума. Мы только что болтать, а тут то один, то другой. Хотя никого не велено принимать, явились Ренкевич, Денис Давыдов, а тут погодя и Ермолов с сестрою и зятем. «Прежде всего возле тебя другой брат Булгаков». Ермолов меня расцеловал и прибавил: «Вы имеете в Константине брата, а мы приятеля, а целый мир – человека чудеснейшего. Ты не знаешь (оборотясь к Закревскому), что последнее мое обжиранье было у Константина после твоего отъезда; поехал к нему в рейтузах и славно поел на отъезд». Я посидел до 10 часов и улизнул, тихонько сказав Шатилову на ухо, что буду завтра.

Аграфена Федоровна все та же хохотушка, только, кажется, много выиграла в обращении своем. Я ей сказал, что оттого сломалась их коляска, что сидели в ней генерал-лейтенант и генерал-лейтенантша, а делана была повозка только для генерал-майора. Она ну хохотать и побежала в гостиную всем рассказывать. «Как вы себя чувствуете в Москве?» – «Прекрасно». – «Правда, у вас много родственников, друзей». – «Да, но мой брат в Петербурге». – «Но тогда отчего вы так любите Москву?» – «Да оттого, что здесь любят меня самого. Я растроган. Вот, к примеру, какое деликатное внимание со стороны обитателей: приезжаю сюда тайком, ночью; вдруг весь город зажигается, повсюду транспаранты, повсюду буква “А”». Опять хохотать, и опять путешествие в гостиную. Я нахожу, что Ермолов постарел, обрюзг, потолстел, а умен и мил так же. И он не любит Петербург и дивится, зачем посылают людей так далеко в Сибирь; короче всего пошли в Петербург.

Весь город наполнен вздорным слухом о назначении тебя в Царьград на место Строганова, и даже Рушковский верить этому готов и думает, что я скрытничаю; я его уверяю, что быть может и что это для того делается, чтобы его перевести в Петербург. То-то бы хорош был! Он бы в сутки сошел с ума.

Александр. Москва, 19 сентября 1821 года

Я воротился от Волкова; все было хорошо, но что-то не так весело, как обыкновенно бывает. Из Москвы был я и человек восемь плац-адъютантов, много соседей, Николай Николаевич Бахметев, генерал Арапетов, Киндякова с дочерьми, другая барыня, всего человек с 30, и Башилов. Гуляли, пообедали, там качались на разных качелях, давали вино мужикам, пиво бабам, кидали пряники мальчикам, там пили чай, ввечеру пущен фейерверк славный, барышня одна играла на фортепиано,

Башилов подтягивал на скрипке, попрыгали, поиграли в вист, я в четыре роббера выиграл 37 партий по 25, там ужинали, а там на боковую. На другой день, несмотря на все просьбы Сашки, я, позавтракав, уехал в Москву. Волков нездоров, и щека у него подвязана, однако же пускался на все штуки. Кроме фейерверка, и сад был иллюминован, и в отдаленности сиял огненный «S».

Поутру была маленькая тревога. Подлиповский смотритель писал Волкову, что люди приехавшего генерала графа Гурьева сказывали, что Марья Ивановна Корсакова едет, что они ее объехали за двумя верстами и что она, верно, будет в Ямищах, когда его записка дойдет. Софья Александровна ну бежать навстречу к матери с целым домом; день был прекрасный, и мы все, даже Сашка, пошли пешком; доходим до Перхушкова, не видя ничего. Башилов кричит: «Вот они!» – указывая вдали на экипаж; вот большая карета Марьи Ивановны в 8 лошадей. Как стала она подъезжать, вот мои Волковы все пустились бегом, машут платками, кричат: «Стой, стой, маменька!» Человек, сидевший на козлах, в недоумении, что ему делать; вдруг из кареты выглядывает дамская незнакомая рожа. Я спрашиваю у людей: «Кто это едет?» – «Собакина, сударь!» – «Где же Марья Ивановна Корсакова?» – «А почем я знаю?» Вот тебе на! Наконец выходит, что все переврались. Башилова мы задразнили, принуждены посылать в Ямищи за экипажами, приехали туда измученные и обедали в пятом часу. Однако же Марью Ивановну все-таки ждут всякий час.

Я был у Закревского и очень был обрадован слышать, что нету дома: поехал с визитом к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну. После обеда опять я его не застал, он опять уехал во Всесвятское, повидаться с Сипягиным; одна Аграфена Федоровна была дома. Толстой тоже приехал, а графиня больна, у нее чирей на груди; она этим пренебрегает, но брат ее Дурасов тоже запускал, сделался карбункул, и умер.

Вот тебе на! Прислала графиня Пушкина узнать, где я, и сказать, что все желают меня видеть, что тут подъехали и Хитрова из Петербурга, и Шаховская из Калуги. Сбегаю на часочек. Трагическая смерть бедной Соловой [Анна Григорьевна Петрово-Соловово, урожд. княжна Щербатова, была разбита насмерть лошадьми в Петербурге] меня поразила, хотя я и мало ее знаю. И здесь точно так же кончила несчастно бедная Шалашникова, урожденная Мельгунова; только это еще хуже, ибо была брюхата. Как ехать на дрожках в этом положении! Лошади ее разбили, она выкинула и умерла 10 часов спустя, оставив тоже кучу детей. Наука другим; ты помнишь мою ненависть к дрожкам и упрямство не позволять Наташе в них ездить.

Александр. Москва, 20 сентября 1821 года

Как-то обойдется государево пребывание в Белоруссии? Я думаю, много будет подано и там просьб: край этот очень угнетен. Веревкина хвалят и Закревский, и Волков, и все довольны его назначением, хотя Волкова трудно заменить.

Варенька [то есть графиня Варвара Алексеевна Мусина-Пушкина, позднее княгиня Трубецкая] мне говорила с горестью о Вяземском, будто он начинает быть помешанным, что находит хандра; но Пушкин, бывший у него, того не заметил; правда и то, что Василий Львович глуп.

Александр Ивановское, 23 сентября 1821 года

Любезный друг, я здесь у Закревского и останусь еще два дня. Вчера умерла его теща [графиня Степанида Алексеевна, жена графа Федора Андреевича Толстого] от воспаления в кишках. Дочери ее не сказали еще; но она, увидав мать в беспамятстве, упала в такие судороги, что шесть человек не могли ее держать. Арсений, видя это, долго крепился, наконец тоже имел обморок, продолжавшийся три часа. Я и Шатилов не отходили от него, а Ермолов все с Аграфеной Федоровной. Дом вверх дном. Ожидают доктора из Москвы, чтобы Аграфене Федоровне объявить, но мой совет – везти ее в Москву как-нибудь: там более средств; можно уверить ее, что и мать туда увезена. У Арсения страшно болит бок ушибленный. Ну, брат, что это за картина!..

Александр. Москва, 23 сентября 1821 года

Я возвращаюсь из Ивановского, где был свидетелем сцен весьма горестных, любезнейший друг. Вчера не спал я ночь, сегодня рано лягу, чтобы взять покой; но прежде хочу тебе написать, сколько станет сил. Середа обошлась хорошо, все были веселы, а на другой день графиня Толстая, теща Закревского, бывшая только нездорова и ездившая даже смотреть иллюминацию и транспарант в саду (где, вероятно, простудилась), не существовала. Она умерла воспалением в кишках, в 9 часов вечера. По ее невоздержанной жизни можно было это ожидать. Перед кончиною еще, чувствуя большую жажду, выпила она в короткое время семь бутылок кислых щей и три меду. Эта смерть мало бы и поразила всех, ежели бы не имела влияния на дочь ее, а по ней и на Закревского. Ввечеру Аграфена Федоровна пришла с матерью проститься. Та боролась уже со смертию; увидев ее лицо, уже изменившееся, и плачущего отца у постели, у нее сделались конвульсии; ее отнесли без чувств в ближайшую комнату. Арсений держал у нее руки, но, наконец, видя ужасное ее положение и быв сам еще слаб, упал скоро без чувств; его положили мы на канапе. Тут начались явления, продолжавшиеся до четырех часов утра. Ее держали Ермолов, Пашков, адъютант Закревского Каменский, лакей Яков, полковой лекарь, Лопухина Анна Алекс, и Коризна, и насилу могли ладить. Я отроду не видал таких конвульсий! Закревского держали: за голову Шатилов, Каменский за руки, а я за ноги, кои дрожали ужасно. Пот лил с него градом, и сильная лихорадка. Однако, пришедши в себя, он жаловался только на страшную боль в ушибленном боку. Она, придя в себя и видя мужа в таком положении, опять страдала спазмами, и он тоже мучился, видя, как корчило бедную его жену. Ты не можешь себе представить этой картины.

Волков переходил из одной комнаты в другую, навещал старика, и так как люди все у них бездельники, то он все тотчас у графини запечатал. Тут была также сестра Ермолова с мужем, Денис Давыдов, Полторацкий и сосед Толбухин. Больные несколько уснули в пятом часу; прежде он, а там она. Поутру приехала тетка Аграфены Федоровны Дурасова, сестра покойной. Эта, узнавши о смерти, сказала довольно хладнокровно: сестра умерла от своего упрямства, не береглася и не хотела лечиться. Аграфена Федоровна была страшна в глазах, вздыхала, но не плакала. Увидев тетку, очень заплакала, и опять сделались конвульсии, но не такие сильные, и все с промежутками слез. Сделали все совет, что делать. Одобрили все мое мнение сказать

Аграфене Федоровне, что ее матушку отвезли в Москву, где и доктора, и все средства ей помочь, ежели можно. «Что ж, я тоже хочу ехать в Москву». Это-то мы и хотели – увезти ее, ибо тело начинало очень портиться и страшно вонять. Закревский положил остаться с тестем, чтобы похоронить тещу, по ее желанию, в деревне Царево (близ Нагорного). Нас разделили на два разряда.

«Ты не едешь от нас еще?» – спросил меня Закревский. – «Могу ли я ехать? Делай из меня что хочешь, я готов остаться с тобою». – «Нет, – прибавил Ермолов, который всем тут распоряжался, – ты, брат Александр, поедешь с нами; ты умеешь с дамами обходиться».

Итак, в карету с Аграфеной Федоровной сели Ермолов, привезенный из Москвы доктор Мухин и Каменский, а сзади в коляске – Полторацкий, Денис и я. Прочие, кроме Волкова (уехавшего на сутки в Ямищи), остались с Арсением.

Дорогою все шло хорошо. Путешествие совершено в два с половиной часа. При подъезде к дому отцовскому сделалась опять дурнота, но маленькая; на руках понесли ее наверх. Очнувшись, она сказала, вздохнув: «Боже мой, сколько вам со мною хлопот», – а о матери ни слова. Это заставило нас думать, что она догадалась, что ее обманули, и знает, что мать ее не существует, но боится в этом удостовериться. Она покойна. К Арсению послали кучера его уведомить, что все хорошо обошлось. Теперь будет еще тяжко первое ее свидание с отцом, но Бог милостив. Кроме дочери, я не думаю, чтобы многие жалели о графине; а больно было видеть, как мало скрывали радость свою люди. Она их и худо содержала, и мучила всячески; со всем этим она сделала нам большое расстройство. Много терпел бедный Закревский от ее капризов и дурного нрава. Конечно, он обеспечен на будущие времена с этой стороны, но здоровье его получило страшный толчок, и он мучается боком своим; мне не раз говорил: бок ужасно болит. Великое счастье, что был тут Ермолов, который умом своим всех утешал, ободрял и всем распоряжался. Граф оплакивает свою жену, как наши люди оплакивают своих господ, которые дают им по сотне палок всякий день.

В среду мы-таки повеселились, фейерверк был славный, иллюминация в саду и славный щит с транспарантом, шифр Ермолова. Я дал мысль Арсению (и он это сделал) написать с одной стороны: «Врагов мечом караешь», – а с другой: «Друзей душой пленяешь». Там играли мы в вист. Ермолов зашиб 100, а я 110.

Поутру в четверг мы с Волковым еще спали, к нам пришел Ермолов, сел на кровать и ну болтать; там пришел и Закревский,

и Денис. Речь была и о тебе, и о Каподистрии, о Тифлисе, о Лейбахе, и проч. и проч. Какой милый, любезный, умный человек! Он чрезмерно меня обласкал, и я очень его смешил рассказами о Москве, о Волкове и проч. Утро было чудесное. Мы все – на коней и на охоту; затравили тринадцать зайцев, двух лисиц, одного волка, а там – и медведя. Я сказал: «Мы этак кончим слоном», – а Денис: «Да и затравили-таки Степаниду» (разумеется, что звери эти были приготовлены). Это мастерил все Ренкевич. Вот, кажется, вкратце и бестолково все наши похождения, любезный друг. Я очень рад, что мог быть хоть несколько полезен милому Арсению, и радуюсь, что здоровье мое не пострадало от всех хлопот двухдневных. Лягу отдыхать. То-то засну!

Александр. Москва, 26 сентября 1821 года

Я тебя уже уведомил, что мы Аграфену Федоровну привезли сюда благополучно, а вчера привезли и его. Приезжаю туда, нахожу его только что приехавшего, и все боялись ей сказать, чтобы не сделались опять спазмы. И вздор, какие там спазмы от радости! Я взял на себя все устроить. К ней вхожу. «Здравствуйте!» – «Здравствуйте!» – «Ну вот вы и успокоились, слава Богу; ваш муж приедет, а после ваш батюшка». – «Да, но нет ни того, ни другого». – «О, у меня есть волшебная палочка, я сделаю так, что один из них тотчас приедет, кого вы хотите?» – «Посмотрим! Ну что же, мужа моего!» – «Сейчас я его к вам приведу». Тут его ведет Ермолов в комнату. Обрадовалась, целовалась, плакала, спросила об отце; этого привезут завтра. Все идет очень хорошо, только Арсений наш очень изнурен, бок болит, и рука левая все дрожит сильно. Пикулин говорит, что это следствие потрясения нервов и что с болью в левом боку пройдет все и в левой руке. Успокоясь совершенно на их счет, еду сейчас к Наташе; мне кажется, что я всех сто лет не видал. У бедного Бибикова, бывшего полицеймейстера, горячка гнилая. Вчера был он без надежды, но Пикулин сказывал мне сегодня, что ежели доживет до завтра, то он будет спасен. Дай Бог!

Александр. Семердино, 29 сентября 1821 года

Тебя оставили в покое: теперь все кинулись на Татищева, его посылают в Стамбул. Вяземский говорит: «Это для того, чтобы довести султана до отчаяния, ибо мадам Татищева отнимет у него последние иллюзии, и его жены не покажутся ему более красавицами». Я с Ермоловым долго спорил о Дмитрии Павловиче; он жалеет, что его не знает лично, а говорит: «Когда не знаю человека, то сужу по его деяниям; говорят, что Татищев умер, он этого не доказал в Испании». Но как рассказал я ему о

Неапольской миссии, то он согласился, что такой человек был бы у места в Царь-граде. О Тюфякине читал я в «Конститусьонеле»; не очень лестно, а тот, верно, хорохорился и задавал себе тоны.

Слава Богу, что Вакарескам помогли, а все от Белого Ангела; верно, хлопотал об этом добрый Каподистрия. Икалось ли ему? Как мы часто говорили о нем с Ермоловым. Он великий его обожатель. Не видав его более года, я слушаю, разиня уши, все, до него касающееся. Мы еще спали в Ивановском, а Ермолов пришел к нам, разбудил, сел на мою постель и ну рассказывать; век бы его слушал, как он говорит хорошо, умно! Я очень рад, что с ним коротко познакомился. Много у нас было смеху. Ежели бы не припадки Аграфены Федоровны, смерть старухи Толстой не произвела бы ничего. Грустно – так прожить, чтобы никто не сожалел. Люди только что не прыгали от радости. Муж для формы плакал. Священник приходил, его утешал, говоря: «Ваше сиятельство, берегите себя для вашей дочери; покойную воскресить нельзя уже». Граф, всхлипывая, отвечал: «Я знаю, батюшка, что жену воскресить не могу, да я и не хочу этого; но все мы 30 лет жили вместе!» Ермолов очень смеялся этому; я думаю, раз пять заставил меня это повторить. Закревский, при всей своей серьезности, не мог не расхохотаться также. Всего я не припомню, но много было тут анекдотов в этом роде.

На Волкова мы нападали, смеялись его страсти играть свадьбы. Я рассказывал, что он всех приезжавших в Москву офицеров тотчас сватал; он отговаривался, а сидевший тут Каменский делает мне знак, пальцем указывая на себя; далее сидел Михайло Коризна, тот делал тот же знак; я подошел к сидевшему подле Коризны полковому лекарю, спрашиваю: «Женаты вы?» – «Женат!» – «Батюшка, не в Москве ли вы женились? Не Волков ли вас также женил?» Как узнали все дело, так все и покатились со смеху, а указывание на себя пальцем было целый вечер сигналом к смеху. Волков, забывшись, атаковал Ермолова, чтобы он женился; но тот столько надавал славных резонов, что Волков должен был зажать рот. Наконец приехала Корсакова; то-то, я думаю, будет врать, то-то, я думаю, навезла! Князь Дмитрий Владимирович все болен еще желчью, однако же собирался ехать в свою подмосковную на этих днях, и прямо оттуда поедет в Петербург. Он очень мучает Волкова идти в Москву в губернаторы. Сашка настоит только в одном: сохранить военный чин с эполетами, ибо знает, что к ним имеют уважение, особливо военные начальства, не ставящие губернатора ни в грош. Я ему предсказываю, что его поймают на слове.

Зачем не быть военному губернатором? Ведь в Сенате сидят же генералы и адмиралы. А Волков рассчитывает, что будет иметь

дом и 12 тысяч оклада, что избавится от вахт-парадов и скучной обязанности всякий день ездить с рапортом; он делал это ремесло более 15 лет: ему оно надоело. Балашов его также очень уговаривал служить с ним. Волков у него было просить о Баранове, который упрямством своим и беспечностью до того довел, что не знает в субботу, что будет есть в воскресенье. Тамбовские мужики его взбунтовались и второй год ничего ему не платят, не признавая его господином, а самозванцем. Ему Озеров это давно предсказывал, но он почитает себя умнее всех и никого не хочет слушать.

Александр. Семердино, 3 октября 1821 года

Смотрите, при баллотировке владимирских кавалеров, не забудьте славного Попандопуло, который спас жизнь рейтару гвардейскому. Я очень обрадовался бриллиантовой Александровской Грейга, славный человек! Ежели дойдет дело до драки, то туркам так же будет плохо от него, как шведам было от отца его, да и турки должны его помнить. Насчет слухов о назначении тебя в Царырад Ермолов сказал: «Нет, брат, это вздор; Константин верное на ненадежное не променяет; да сверх того, кто велит ему ехать в Царьград, где турки стали бы ему мстить за все то, что с ними делал Яков Иванович? Боялись они жестоко его кулака!»

Александр. Семердино, 9 октября 1821 года

Мне жаль всегда, когда добрые люди не сходятся. Зачем не бывает у них такой же союз, как у мошенников? Эти всегда друг друга поддерживают. За честность Карнеева можно, кажется, поручиться, а Закревскому наговорили и не так дело представили. Когда буду в городе, переговорю с добрым Арсением, и ежели пойдет на лад, то и познакомлю его с Карнеевым, а писать ему было бы слишком пространно. Я точно думаю, что это наговорки старика Толстого. Он везде суется, везде неисправен, везде бранится и на всех жалуется.

По винной поставке Ренкевич, по уважению к Закревскому, избавлял его не раз от бед; в Воспитательном доме просрочил, и чем кланяться и просить льготы, поехал и перебранился с Полуденским, называя его просто грабителем; и тут было бы ему дурно без Закревского. Пустой, чванливый и бесполезный народ. Желательно очень, чтобы Арсений взялся за имение, а то старик довершит то, чего не успела сделать покойница, – то есть разорить имение совсем. Мужики по ненависти к ним два раза зажигали и суконную фабрику, и винные заводы. Старику дать тысяч 40 или 50 на прожитье без всяких хлопот, так чего же

лучше! Не время было тогда говорить обо всем с Арсением, а когда увижу, дам ему совет отложить деликатность в сторону. В Карнееве службы сделает потерю. На этом месте нужен человек бескорыстный, а то можно очень туго набить карманы. Как выпускать людей, занимавшихся одною частью 30 лет! Это второй том Соймонова, хотя я и уверен, что Карнеева везде можно употребить с пользою.

Благодарю за Шредерово письмо; не сообщаю его новостей, верно, тебе тоже пишет. Люсьен Бонапарт перебирается в Америку: видно, жил в Европе в надежде какого-нибудь происшествия, но со смертию Наполеона все рушилось, и прочие продают все, что имеют во Франции. Он говорит еще: «Может иметь место перемена министерства, выгода и слава от этого достанутся ультра».

Объясни мне, что значат слова Шредера: «Вот уже пять лет, как я тружусь, как собака, без выгоды; освободив мой Воспитательный дом, я могу спокойно думать об отставке, и ежели я получу ее с сохранением этой *так называемой пенсии*, которая была *столь великодушно удержана* за вашим братом, я стану счастливейшим человеком в мире»? Разве это дело не сладилось и пенсия не осталась при тебе? Шредеровы слова меня беспокоят. Объясни мне это. Я уверен также, что граф [граф Нессельроде. Шредер служил в Париже, при нашем посольстве], зная так хорошо Шредера, никак его не выпустит из Коллегии.

Итак, есть надежда видеть Полетику в России. Доживем ли мы до того дня, чтобы у тебя за столом сидели все те добрые люди, коих висят портреты в кабинете твоем? То-то бы был праздник! Как подумаю: их так раскидало далеко и в разные стороны, что и не скоро соберешь.

Брошюру я прочел одним махом. Это так же принадлежит Бонапарту, как мне самому, и даже стиль его довольно плохо подделан. Как ты хочешь, чтобы какой-нибудь дворецкий мог быть по правде осведомлен и иметь копии того, что Наполеон писал и диктовал; но имеются и важные подробности. Нас будут наводнять подобные брошюрки до тех пор, пока не появятся подлинные записки великолепнейшего синьора. Наполеон говорит между прочим, или же его заставляют говорить: «Союзники, пришедшие в ужас от своего положения, собирались уйти в отставку, когда Поццоди-Борго высказал мнение немедленно идти на Париж. Ему поверили, союзники были спасены, а мои надежды уничтожены». Это слышал я от самого Поццо, когда видел его последний раз в Париже; но я сомневаюсь очень, чтобы Наполеон (ненавидя Поццо) захотел обстоятельство это передать истории.

За подробности о Полетике благодарю; очень сожалею о перемене в Карле. Трудно разлюбить и расстаться с человеком, прожив с ним 20 лет ладно! Ростопчин очень огорчен смертью Головина; 7 миллионов долгу не выходят у него из головы. Самолюбие дружбы тут тронуто; они были друзья истинные, а Головин скрыл от него бедственное положение дел своих; это еще более графа Федора Васильевича огорчает.

Александр. Семердино, 11 октября 1821 года

Окончив главу одну в метаксовых записках[50], принимаюсь к тебе писать, любезнейший друг. Мне хочется, как кончу первую часть, прислать к тебе на прочтение и одобрение. Ты скажешь мне свои мысли; ежели надобно, переправим. В *Официальной корреспонденции* Наполеона нашел я многие сведения, кои включил я в статью о Корфу. Продолжение будет еще занимательнее. Неаполь и Палермо будут театрами происшествий: места и дела мне известны. Сверх того, Татищев дал мне на сохранение все бумаги бывшей нашей миссии. Все это будет полезно, и я надеюсь, что в некотором отношении записки сии не уступят Броневскому[51], хоть нашего героя нельзя равнять с его. Далеко Ушакову до Сенявина! После Ушакова наследовали два какие-то племянника; скотам этим достались и бумаги его. Они не знают цены их; есть тут множество писем Суворова, очень любопытных. Мы им писали, просили; не дают, отговариваясь, что сами издадут это в свет. На такую отговорку не только нельзя сердиться, но можно бы порадоваться, ежели бы были они в состоянии выполнить отзыв свой. Отдадут другим материалы, или пропадут, или пойдут клочками в журналы. Другая умная голова, скажу вам, Сорокин; и у него просили мы журналы его на время, но не добились. Тем хуже для него: упомянем о нем только слегка.

Опять меня оторвали от тебя. Васька вбегает ко мне в кабинет: извольте посмотреть, какой пожар! Выбегаю, и весь двор освещен. Горела деревня с версту от нас: Новленское (экономическое). Я поскорее беговые дрожки и, забрав всех дворовых и людей, поскорее туда. Это было в 10 часов вечера. По тесноте наших изб и по направлению ветра, который ужасно был силен, и подумать нельзя было спасти горевшую линию. Я не велел мужикам тратить напрасно воду и труды, а посадил их и людей моих на крыши противолежащей линии с водою, чтобы тотчас затушать падавшие балки; крыши соломенные и, раз бы одна занялась, то прощай и вся деревня. Там пробыл я до второго часа утра. Картина ужасная! Видеть вопли всех этих несчастных! И теперь еще дымится, то есть в полдень. Сгорело 12 дворов с

амбарами и овинами. К этому всему набежали еще солдаты из другого села и принялись было грабить. Я им сказал, что велю всех связать и отошлю в Москву… Одного, бежавшего с сундуком, насилу воротили. Какие злодеи!

Очень меня тронул старичок один: сидит, плачет. – «Что ты плачешь, старичок? И у тебя дом сгорел?» – «Нет, батюшка, у меня ничего не было; меня кормили миром, я всех пережил, своих даже детей; да вот, батюшка, жаль стало этого большого дуба, что горит. Мне девятый десяток, а дуб старее меня тремя годами; отец сказывал, что посадил его сам, своими руками, тот год, что женился. Дуб сгорел, знать, и мне умирать; довольно пожил, да жаль дуба-то». Я бы не думал, чтобы крестьянин мог, как говорят французы, придавать цену привязанности к вещи ничтожной, и столь нежные чувства меня очень поразили. Бедный старик!

Александр. Семердино, 15 октября 1821 года

Не знаем, куда деваться от погорелых, которые приходят беспрестанно из Новленского просить милостыню. Там много раскольников; говорят, что они подожгли, и теперь они твердят бедным мужикам, что Бог их наказывает за то, что они не хотят вступить в раскол. Раскольники тут очень богаты.

Жаль, что вас надули, что шар не полетел и что греки мои будут без субсидии. Это вещь известная: или шары не летят, или же когда летят, то ломают шеи своим спутникам. Лучше всего во всем этом твоя удачная острота. Смотри, держи ухо востро, возьми свои меры. Тут, верно, был Свиньин; в «Отечественных Записках» будет описание этой мистификации, и в утешение читателей он, конечно, передаст им твою остроту; скажет слово о тишине дня, тишине лета и угощении г-на Тишина. Надувши столько человек, подлинно, неудивительно, что нечем уже было надуть шар.

Жаль мне бедную Цицианову, или, лучше, родных ее; ибо в этих случаях оплакивающие более сожаления достойны, нежели умершие. Ну, как располагать нам, кому сколько жить? Казалась девка – кровь с молоком, лопала от живу. Кажется, у Цицианова осталась еще дочь.

Ты, кажется-таки, довольно часто бываешь у Салтыкова, да и дом приятный, бесцеремонный! Ты говоришь о певчих придворных с похвалою. Знаешь ли, что я и в Италии не слыхал ничего совершеннейшего Бортнянского сочинения, единственного в своем роде. Я ему все это сказал самому и, право, не в комплимент. Меня эта музыка восхитила.

Кронштадтского почтмейстера я помню, мы были у него с тобою; а ко мне пишет княжна Лобанова-старшая, что за

Ляпуновым [княжна Анастасия Александровна Лобанова-Ростовская, бывшая замужем за генерал-майором Семеном Ефимовичем Ляпуновым], просит меня поместить в почтмейстеры родственника одного мужа ее. Я отвечаю, что я не почт-директор, что ты был в Москве, а теперь уже в Петербурге, что по связям моим с тобой и с Рушковским я бы мог похлопотать, но что есть инвалидный комитет, и проч. и проч.

Я думаю, граф [то есть граф Федор Андреевич Толстой, тесть Закревского] теперь закурит во всех отношениях. Умно очень сделает, ежели предоставит Закревскому управление имением: всем будет лучше от этого. Я все не верю, что покойница была раскольница, а выходит, что так. Ну, брат, уж нашим женам раскольницами не бывать, а ежели бы и случилась такая беда, то уж нас от трубки не оторвали бы! И я очень привык курить, но все не прежде, как пообедавши.

Александр. Семердино, 17 октября 1821 года

Глаза разбегаются, читая подробности лотереи Головинской. Мудрено, чтобы скоро накопилась такая сумма; но ежели 50 тысяч билетов уже взято в два месяца, то прежде года разберут, верно, и остальные 120 тысяч.

И у Каподистрии есть бильярд! Прекрасно. Будем отличаться, а я к тому времени набью руку, а то здесь разучился совсем, только не в бешеную: это то же, что скороспелка в вист.

О Ермолове не знаю, в Москве ли он еще; оттуда буду тебе писать обстоятельнее об этом. Надобно будет повидаться и с Волковым, но боюсь, чтобы не был он в Ямищах. Вы так закормите Бухарского, что он, не доехав до Варшавы, лопнет.

Посылаю тебе при сем гостинца нашей экономии, то есть отборные белорусские тальки, которые жена давала белить в Хотьков монастырь монашенкам. Ежели Марице или ее окружающим (ибо сама шить не охотница) годятся нитки, то можно будет к будущему году наделать ей провизию. Вот и сестрам этого гостинца. Тоже буду ждать ответа насчет лососей, чтобы более прислать. Оно все-таки весело сказать, выпив водку: «Вот наша домашняя рыбка», – а как у гостя лопнут чулки: «Позвольте, мы вам тотчас зашьем домашними нитками».

Не имеешь ли ты средств достать мне как-нибудь копию с капитуляции, заключенной в 1799 году 20 февраля Ушаковым и французами при сдаче нам крепости Корфу? Мне это очень нужно.

Александр. Москва, 21 октября 1821 года

Москва удивительно украшается. Дом Татищева дал

Кузнецкому мосту совсем другой вид. Славное здание, и кучу будет приносить доходу, но и вскочил, я думаю, в копейку Дмитрию Павловичу! Он, кажется, тихо собирается в свою Голландию. Я надеюсь, что ты ему часто кланяешься от меня. В новопостроенном на Кузнецком мосту доме против

Собакина теперь магазин Негри, и все выставлено с большим шарлатанством, как в Париже. Петровский театр ломают, отделывают, строят не на шутку. Площадь эта будет первая в Москве; гулянье под стенами Кремля, называемое Александровский сад, прекрасно, и в полдень там весь высший свет. Одним словом, Москва просится в Петербурга, и посмотри еще, и перещеголяет, только в другом роде, и гораздо приятнейшем и разнообразнейшем.

Каково здоровье нашего князя Голицына? Он поехал к вам больной. Здесь (между нами) начинают крепко на него сетовать: дела очень запущены, он в них несведущ, да и ленив. Благородный его образ мыслей, честность и ласковое обхождение заставляли всех молчать; но теперь много недовольных, и начинают славить сюда Балашова. Говорят, что князь должен был повиноваться в первую очередь воле государя, а там матушке своей[52], и что сам того и глядит, как бы вон. Арсений мне сказывал, что Лицей отходит от князя Александра Николаевича [Голицына] прочь, что Коновницын будет или есть уже начальником; это меня не очень радует, а я было так был покоен насчет Кости.

Как же мне Леонтьева не помнить? Я ими обоими был очень обласкан, а во время оно, при покойной княгине А.П.Гагариной, Леонтьева покойная нам помогала. Я тебе скажу родство его с князем Д.Н.Салтыковым: первая жена князя (да полно, не одна ли и была) была Леонтьева родная сестра. Кто вторая жена Леонтьева? Я помню, сколько раз он мне говорил, что убьется, ежели потеряет жену! А вышло, что женился на другой. Что со временем не проходит? От чего время не вылечивает?

Александр. Москва, 22 октября 1821 года

Нового о Москве знаю только, что умер Гейм, ректор; человек был ученый и годный в своем месте; а какой-то университетский студент, коему назначено было ехать в чужие края на казенный счет, вчера застрелился; видно, он дальнему путешествию хотел предпочесть еще дальнейшее. У Закревского видел я генерала Лисаневича, который много о тебе расспрашивал и бьет тебе челом.

Александр. Москва, 1 ноября 1821 года

Записки Егорушки Метаксушки пришлю тебе, а за Али-пашу очень тебе буду благодарен; рожа его была бы кстати, а это приманка для взрослых читателей, которые в книгах ищут все не оперу и балет, – или, просто сказать, пишу не для разума, но для глаз. Очень бы ты одолжил меня Корфиотскою капитуляцией и даже донесением Ушакова. Не может ли Каподистрия это вытребовать из Коллегии нашей адмиралтейской? Ты можешь понять, что я его или Нессельроде не компрометирую; это вещь уже старая, не секретная, а явная; а Метакса изволил написать капитуляцию из головы, не понимая, что такие вещи должны быть самые точные. Но он, видимо, как аббат, писавший о взятии Родоса; ему дают документы официальные, а он отвечает: «Все это явилось слишком поздно, осада уже состоялась».

Александр. Москва, 3 ноября 1821 года

Благодарю за сообщение списка о награждениях. Я читал голос Кампенгаузена, который ходит здесь по рукам и всех против него вооружает; да и подлинно, странна претензия его положить меру монаршим щедротам. У нас есть русская пословица: на милость образца нет! Но я забываю, что Кампенгаузен – немец. Довольно странно определять на всякое министерство по столько-то крестов на год для чиновников. Оклады столь малозначащи, что ежели не будет этой приманки, никто служить не захочет, а ныне редки герои, служащие из единой любви к отечеству. Много вздору в этой бумаге, но главное то, что неприлично подданному касаться царских преимуществ и давать уроки.

Я видел Степана Степановича Апраксина у Софьи Сергеевны [Макеровской, супруги Фавста Петровича] и сказывал ему о совершении операции над графиней Апраксиной. Он удивился и добавил: «Ну что ж, мы все были убеждены, что она умерла бы и без ножа». И подлинно, надобно было иметь большую решимость.

Недолго же дали мне писать: приехал тесть с княгиней своею [мачехой жены А.Я.Булгакова, княгиней Еленой Васильевной Толстой], все не может забыть вест-индский суп и, за неимением лучшего, изволил скушать четыре ломтя нашей белорусской лососины, которую закушал большим стаканом квасу. Хотел свести меня с каким-то купцом и ручается мне в десяти тысячах рублей дохода от одной этой работы. Мы-то нашего молодца знаем, с его купцами и златыми горами. Кстати, велел тебя просить взять в лотерее билет № 26 для него, потому что в молодости его в Данциге на этот номер выиграл он в лотерее (хм!) 1500 червонных; так как он денег не отдал, то я ему через две недели отрапортую, что номер этот уже взят.

То-то посмотрел бы я приданое невесты Голицыной; я до этих тряпок дамских большой охотник.

Давеча, только что сбыл тестя, явился Василий Львович и сидел очень долго; он меня и завез к Закревскому, которого не было дома, но скоро явился из бани; он говорит, что здешних лучше разве только одни молдавские. Тут был только Волков (оставшийся здесь для Черткова обеда) и приятель общий генерал Лисаневич; ты его, верно, знал в Молдавии, человек круглый и добрый. Мне кажется, что отпуск этот невеликую принес пользу доброму Арсению. В дороге его ушибли; теща много его огорчала живая, а там и смертию – по припадкам, бывшим с его женою; между всем этим его не переставали пилить, то один, то другой.

Василий Львович в трауре по своем брате: умер ударом, но все имение укрепил жене своей. Вяземский все в Остафьеве и будет сюда к открытию Итальянского театра, говорят, 16-го сего месяца. Сказывал еще Василий Львович, что Гагарина, урожденная Глазенапша, побранилась и только не подралась с Полторацкою. Она все приставала к ней за то, что она говорила, что ее сыночек не хорош. Гагарина наскучила ей и брякнула: «Да и как бы вы могли родить порядочного ребенка, когда вы сама горбунья и уродина; никто этого не знает, но мы-то с вашим рогоносцем знаем!» Та вышла из себя, и ну ругаться; насилу мужья разрознили.

Александр. Москва, 7 ноября 1821 года

Благодарю за сообщение Поленова [Василий Алексеевич Поленов тогда служил в Государственном архиве] ответа; сожалею, что в коллегии нет Корфиотской капитуляции; но я думаю, что это скорее можно отыскать в Адмиралтейской коллегии, откуда и Броневскому сообщены были охотно многие сведения. В современных газетах можно бы отыскать; в батюшкиной коллекции недостает двух годов Павлова царствования, по несчастию.

Я очень рад, что бильярд везде заводится: это страсть моя. У Лунина преславный, и я от обеда дулся до 9 часов вечера, но зашиб только 15 рублей. У меня очень ровна игра с Риччи и Луниным. Саччи-дурака подзываю с собой. «Но видите ли, я понимаю, что зима будет суровой; надобны большие шубы, если бы Чертков поехал в хорошо закрытой карете, может быть». Саччи только что не живет в клубе. Я радуюсь снова увидеть графа Каподистрию, так же как и все наши добрые петербургские друзья. Благодарю тебя за новости. О членах совета узнал я накануне от Закревского, который получил фельдъегеря, приехавшего сутками прежде почты. Думая, что Голицын по

новому своему назначению лишится места в Москве, сюда город назначил уже Балашова. О Хованском послал я тотчас сказать сестре его, фрейлине княжне Прасковье Николаевне, которая зовет нас в четверг на вечер праздновать братову новую звезду.

По полученной мною записке от Глинки кажется, что пансион его рушится. Хорошо, что я туда не отдал Костю; все к лучшему. Прочти его брошюрку и письмо возврати. Меня уверяют, что он в жалком положении и будто с печали пить начал, чему верить не хочу.

Ну, сударь, принес мне переплетчик письма твои с 1802 по 1821 год, это составило четыре тома, вершка в полтора толщины. Теперь ничего не затеряется, и все сбережется. Батюшкины тоже переплетены. В деревне собрал я Тургеневых, Фавста, графа Ростопчина, Вяземского, Наташи, князя Куракина, Закревского. Со временем и это переплету.

Александр. Москва, 8 ноября 1821 года

Сюда приехал безрукий Бибиков [Дмитрий Гаврилович] для свидания с матерью. Он вице-губернатором, кажется, в Тамбове, нигде не бывает; но уверяют, что он, переодетый, ходит по кабакам и, зная свое дело хорошо, открыл множество злоупотреблений. Вот тебе наши московские вести: Апраксина Катерина Владимировна нездорова, вчера одною рукою принимала лекарство, а другою играла в вист. Видно, по матушке идет. Жена зовет чай пить. Добре!

Александр. Москва, 10 ноября 1821 года

Ох ты, секретник! Сам себя поддел. Ты говоришь: в городе говорят, что Васильчиков не поедет более к своему корпусу; это распускают, вероятно, потому, что он сделан членом Совета, и в этом же письме прилагаешь печатный приказ от 1 ноября, в коем сказано уже, что Уваров назначен на место Лариона Васильевича, который увольняется до излечения болезни. Ты, видно, сам не успел прочесть приказа, но я все-таки ужо с Закревским потруню над дипломатом.

Ну, сударь, вчера у нас проводил вечер Закревский, так, без церемонии; он был в сюртуке, а потому и просил, чтобы я звал только его компанию. Была и Аграфена Федоровна, граф Федор Андреевич, Озеров, Волков, Иван Васильевич Чертков, Шатилов, Коризна, Красовский (генерал, которого я, писавши тебе, прежде называл, Бог ведает зачем и почему, Лисаневичем) и Ренкевич; этот приехал сам, незваный; видно, Закревский ему сказал; впрочем, я очень ему был рад. Кстати. Глас Божий – глас народа! Предсказание свершилось: он отставлен, а Бибиков безрукий на

его место [председателя Московской Казенной палаты]. Ренкевич, хотя и взят был врасплох, скрывает свое неудовольствие и говорит, что давно просился прочь от этой каторги.

Закревский на вечера уже никуда более; будет отдыхать и собираться в путь. Он говорил мне вчера о делах Толстых, нашел их в большом беспорядке, мужиков разоренных, долгов 300 тысяч вместо наличных денег, кои полагал у покойной старухи. Я уверяю, что все это поправится. Во вчерашних газетах было уже объявление о графе Федоре Андреевиче, что он все имение свое отдал зятю своему в управление и чтобы все адресовались к нему в Петербург, а здесь, в Москве – к Коризне. Такие же объявления напечатаны от имени Аграфены Федоровны.

Ужин был хорош, по милости хозяйки; мы выпили-таки три бутылки шампанского и все были очень веселы; прежде играли в вист. Мы с Сашкою рассказывали наши путевые приключения, едучи в Карлсбад. Решено, что Волков не поедет теперь в Петербург. Он решился, по совету Закревского, искать место коменданта в Ревеле; там есть какие-то выгоды особенные, а Волков любит жить с немчурами. Хотя это еще неопределенный проект, но мне очень жаль будет расстаться с ним.

И здесь, брат, носятся давно слухи, что сын графа Ростопчина [это был старший сын графа Ростопчина, граф Сергей Федорович, не оставивший потомства в России] восприял кончину Иуды. Жаль, что этот молодой человек испортился, но он до того довел себя, что ежели подлинно умрет, жалеть о нем никто не будет, да и не должно. Я знаю черты о нем самые гнуснейшие. Я потому думаю, что это неправда, что парижские журналы не оставили бы упомянуть о таком происшествии по месту, где случилось, и по имени самоубийцы. Графа, однако же, это приключение не может не огорчить, хотя оно и последнее бы было, и короновало бы жизнь его сына. Воспитание его мне никак не нравилось; держать мальчика до 16 лет на привязи, обходиться с ним сухо, холодно, сурово – не годится. Это родит в нем желание сильное вырваться на свою волю, чтобы ее употребить во зло, в поучение родителям. Чего ждать от детей, которые нас только боятся, а не любят?

Спасибо Реману, что спас французского посла. Помнишь, как мы с ним плыли в Кронштадт на паровом судне? Не худо бы королю прислать Реману Св. Людовика, а то лучше богатую табакерку.

Александр. Москва, 11 ноября 1821 года

Есть, сударь, князь Долгоруков Александр Николаевич, под названием глухой у этого глухого – сестра княжна Варвара Николаевна, у этой княжны – закадычный друг с ребячества

княжна Прасковья Николаевна Хованская, сестра банковского вашего. Эти княжны живут как сестры или как муж и жена: у них все общее. Они построили славный дом; надобно дом обновить, показать добрым людям. Сегодня минуло 25 лет, что реченный сиятельный глухой женат; вот и оказия. Княжны и звали праздновать серебряную свадьбу моего тезки, Александра глухого. Ну, понимаешь; кажется, довольно подробно объясняюсь. Гостей было много, дом игрушка, чист, весел, убран со вкусом. Я поиграл в вист с Оболенским, вице-губернатором Долгоруковым и Луниным, зашиб 48 рублей и отретировался. Видел тут Ренкевича, который рассказывал мне прощание свое с Казенною палатой, как секретарь, читая указ об увольнении его, плакал, и проч. Сколько я мог видеть, то все одобряют выбор нового вице-губернатора и находят, что Ренкевич довольно нажился; основательно ли это или нет – право, не знаю.

Еще доложу вашему превосходительству, что на бале отличилась очень 12-летняя дочь… Да уж не твоя ли дочь?! Дочь А.Д.Нарышкиной. И мазурку, и по-русски, и французскую, что угодно; большая плясунья, не в тебя, папеньку, а вся в дяденьку – меня. Хороша мамзель, только уж слишком развязна.

Тут же, на балу, видел я сестру сошедшего с ума Н.И.Ильина, которая уверяет, что он уже совсем здоров, просила его навестить и постараться, чтобы позволено ему было выходить, куда хочет. Я отвечал, что лучше бы дождаться возвращения князя Дмитрия Владимировича, его начальника, который скоро будет сюда. Вот, кажется, и все мои похождения. Весь город наполнен вестью, что Баранов сделан полковником и полицеймейстером в Москву. Я всем говорю, что не верю: первое – Закревский говорил, что Баранов не из старших капитанов, а второе – ты не пишешь о назначении его; кажется, ты бы знал об этом, а третье – что Белкин в отставку не вышел, а четвертое – что Москва часто врет.

Где двое говорят, подойди – послушай, все говорят об одном, то есть об Итальянской опере, которая откроется послезавтра.

Ну, сударь, о Ростопчине все неправда. Брокер получил от графа письмо свежее. Блудный сын, напротив того, покаялся, признался, что должен в Париже 95 тысяч франков; отец платит за него и выручает из Сен-Пелажи [парижская тюрьма]. Я не думаю, что он исправится двухлетним заключением, и, верно, пустится на новые проказы.

Сказывал мне тесть, что у Шепелева начинается дело с тещею старухою Баташевою. Она, не довольствуясь тем, что старик отказал ей по духовной, требует из всего благоприобретенного седьмую часть. Это лишает Шепелева каких-нибудь 30 тысяч дохода ежегодного; но доки уверяют, что она не дело просит.

Шепелев прискакал сюда, ибо уездный суд сделал было определение в пользу Баташевой. Тесть говорит, что он всему этому помешал.

Вася Олсуфьев возвратился с вод, пошел на бал, разгорячился и имел неосторожность умыться родниковою водою, что ему притянуло всю жидкость к лицу, которое так испортилось, что не может он теперь никому показаться.

Жаль, ловкий малый; но авось-либо и пройдет.

Александр. Москва, 14 ноября 1821 года

Итак, Кикин тайный советник. Князь Яков Иванович Лобанов мне сказывал, что в 1818 году, кажется, выпрашивая своим награждения, он представил к этому чину и Кикина. Государь сказал: хорошо, и – в сенаторы. Но Кикин, не желая, видно, лишиться звания статского секретаря, удовольствовался алмазными знаками 1-й Анны, которые уже имел.

Вчера было первое представление итальянцев. Как можно было предвидеть, театр был полон; сбор более 4000 рублей. Весь высший свет был тут налицо. Не хочу с первого разу решительно сказать мое мнение, но отличных певцов и певиц нет, исключая Замбони, который бесподобный буфф-маска: игра чудесная; мы нахохотались. Другой буфф – Рота – тоже очень хороший актер, поет хорошо, но имел роль незначащую. Первая певица Анти – высока, стройна, ловка, хотя лицо незавидное. У нее большой голос, поет точно, но голос хриплый; тембр – вроде Филисши: к ней надобно привыкнуть; она более понравится со временем. Ты слышал Тоси, голос быка, который нуждается в обработке. Василий Львович, который в вечных экстазах, говорит, что он ничего подобного не слыхал даже в Париже. Тем хуже для него. Ба! Вяземский. Милости просим. Только для оперы и приезжал. Завтра едет в подмосковную, а в среду будет опять ко второму представлению; просил ему приискать дом в соседстве: хочет нанять на шесть месяцев, ибо его собственный еще сыр.

Вчера умер после обеда от удара толстый князь Яков Александрович Голицын, а теперь Вяземский сказывал, что умер младший Голицын, мой хозяин. Жена его не будет плакать: он ее обобрал и дурно жил с нею. То-то будет беситься Саччи: он было меня просил задержать 800 рублей, кои ему должен Голицын; но я сказал ему, что имею дело не с ним, но с княгинею, дом будучи ее.

Вчера у Закревского было пропасть народу, а особенно генералов. Ему крепко докучают до последней минуты, и чтобы иметь один день для самых своих коротких, он всем говорит, что едет завтра поутру, а выедет в среду. Завтра звал к себе на целый

день. Аграфена Федоровна не очень здорова, он и для нее остается лишний день. Однако же она с Озеровою, Наташею и Шатиловым играла в вист. Другой стол был: Закревский, Озерова, Красовский и я; третий – граф Федор Андреевич, Митрофанов, Андреевский и Коризна. Сегодня обед прощальный у Ренкевича. Надобно ехать, хотя и не очень хочется.

Я забыл тебе сказать, что в опере итальянской обратили на себя внимание публики дочери Корсаковой: на каждой было, верно, по 12 перьев пестрых на голове, такие предлинные, и не скажу, чтобы было хорошо. Еще забыл я тебе сказать, что Волкову плац-майор, плац-адъютанты и подкомандующие, в знак преданности своей и усердия, поднесли золотую табакерку. Конечно, 2000 рублей – неважное пожертвование (хотя они все и пребедные люди), но дорога любовь в этих случаях. На крышке верхней – изображение Кремля; вышедший оттуда воин (Волков) сложил с себя оружие и сидит на камне; а фигура, представляющая Истину, подносит ему лист с надписью «признательность». Вокруг табакерки слова: «Александру Александровичу Волкову», а снизу вырезаны имена Зайцева и всех плац-адъютантов. Волкова очень тронуло это подношение.

Александр. Москва, 17 ноября 1821 года

Аграфена Федоровна простудилась, вероятно, ездивши кататься в санях, занемогла, лежала день в постели. Пикулин заставил ее пропотеть, и ей стало лучше; однако же Арсений отложил отъезд свой и отправил к вам эстафету. Когда выедет, сам еще не знает. Вот что наделала наша минутная зима! Она, вероятно, помазав нас по губам, сойдет, ибо целую ночь шел дождь. Остановка эта очень расстраивает Закревского, ради жены и потому, что сделает его неисправным.

Все будут радоваться преобразованию внутренних почт, кои идут очень дурно. Только это, брат, забота не бездельная. Дай Бог тебе успеха. Все жалуются на внутреннее устройство почт, как в рассуждении писем и денег, так и почтовой езды, а платят пропасть денег за все; куда бы хорошо учредить ямы везде!

Сумароков – человек прямой, честный и большой спорщик: вот и все, что нужно, чтобы быть хорошим сенатором. Я его видел в Париже. Он со мною славную штучку сыграл: просил меня неотступно доставить дочери в собственные руки пакет довольно толстый, с манускриптами, для него очень важными. Я берег это, как глаз, доставил через тебя в Петербурге, расписке обрадовался, послал ее в Париж к Ростопчину, для оправдания меня перед Сумароковым. Вышло, что я вез, берег не манускрипты, а просто рисунки по канве. Кстати. Он написал реляцию своего

путешествия под заглавием «Прогулка в чужие края». Вели это купить и пришли мне.

Ужели у вас не говорят о наших итальянцах? А здесь нет другого разговору. Вчера было второе представление. Узнать было нельзя: пели гораздо превосходнее первого раза, и публика аплодировала немилосердно. Это большая находка для Москвы. Театр опять был полный. Извинения, напечатанные первою певицею Анти в газетах, что она в тот раз не могла повторить дуэта потому, что уже переодевалась, очень публике были приятны. Как она показывалась, долго не давали петь от рукоплесканий, и тот же дуэт был, по требованию публики, ею повторен. Замбони, актер преславный, рожа уморительная! Жаль, что разъезд препакостный, и дует даже в ложи, когда дверь отворят. Это непростительно, что от двора самого до лож нет ни одной двери (по крайней мере закрытой). Бедная Урусова занемогла от театра не на шутку.

Тесть меня очень позабавил вчера, уговаривая жену свою при моей одеваться более по моде и прибавляя: «Ведь ты одних лет с Наташею!» Княгиня захохотала, а Наташа сказала: «Ежели я одних лет с княгинею, сколько же вам лет, папенька, 80?» Тут стал он доказывать, что ему едва 60, что женился, когда еще не брился. «Да я вам покажу в святцах маменькиною рукою, когда я родилась». – «Вольно твоей матери писать вздор». – «Спросите у Петра П. Нарышкина». – «И он бредит». Тут и княгиня вышла из терпения: «Отчего же, князь, не ты скорее бредишь, нежели трое?» – и проч. Чудак! Все еще старая слабость слыть молодым.

Вчера на бедного Негри наскакали сани, повалили его и руку ему расшибли. Виновник, напакостив, ускакал.

Фавст пишет, что он читает толкование г-жи Гюон на Покалипсис; это и в Москве читать впору, а в Калуге, право, с ума сойти можно и без этого чтения.

У нашего родни Льва Николаевича Энгельгардта умерла жена Катерина Петровна, оставив четырех дочерей; младшей уже лет 18, а отец сам ходит на костылях. Жаль бедных девушек. Поеду к нему завтра.

Отделение в совершенный упадок не пришло, но идет плохо. Вчера в клубе Саччи очень бесился: его обыграл Дмитрий Дмитриевич Шепелев на счет. Саччи все твердил: «Он играет хуже меня; но, видите ли, это влияние, да, влияние, а не умение; вот так и Наполеон побеждал более сильные армии». Теперь он Наполеона называет мальчишкою, а, бывало, только что не дрался с Варламом, который свое твердил: «Ваш Наполеон бестия, вот кто!»

Александр. Москва, 18 ноября 1821 года

Мы заходили к Вейеру [московскому закладчику, к которому прибегал в 1831 году, вскоре после своей женитьбы, А.С.Пушкин] смотреть диадему Мюратши, присланную сюда на продажу. Есть тут уродов с 8 вроде Зоя Павловича жемчужины [жемчужины, принадлежавшей греку З.П.Зосиме] и более даже, но не так круглы. Просят за эту бирюльку 50 тысяч рублей; предложено было от двора нашего 35 тысяч, но не взяли. Я обещал жене купить, ежели выиграю село Воротынец [графа Головина. Это село разыгрывалось в лотерею].

Был у Пушкиных, где на этот раз не так-то было весело. Все было старье, кроме Василия Львовича и Настасьи Дмитриевны Афросимовой. Эта впилась в меня: «Сказывай новости!» – «Ничего не знаю». – «Врешь, батюшка. Ты все скрытничаешь, брата твоего в Царьград». – «Это пустяки, сударыня». – «Какой пустяки. Ему Нессельроде и другой-то, как его? – свои; ну, они это и сделали». – «Да это не милость бы была, а наказание». – «Пустяки говоришь. Он заключит с турками мир, государь даст ему 3000 душ, а турки миллион». – «Да, сударыня, государь душ не дает». – «Ну, аренду в Курляндии». Долго она меня душила подобными вздорами; наконец Варенька меня выручила, заставив играть в макао. Можно было зашибить 90 рублей, но не удалось. Варенька выиграла пулю, что очень не потешило Василия Львовича, который оставался последний и имел 7 фишек, но его сглазили все, и вдруг не стало его. Тут был Мертваго, который едет в Смоленск, где такой же голод, как был в Чернигове прошлого года. От Мертваго можно ждать доброго.

Александр. Москва, 22 ноября 1821 года

Отец тверского Всеволожского[53], не живший 29 лет со своею женою и ее даже не видавший лет с десять, вдруг с нею съехался, и уверяют, что они как два голубка и муж по-прежнему находит жену свою столь же прекрасною, как во время знаменитой карусели, устроенной Екатериной II, думаю, в году 1866-м.

Фавст очень меня просит о чине Соймонову сыну, а Яковлева – о том же для Попова. Буду просить Малиновского от тебя и себя за обоих. Вчера долго сидел у нас Лукьян; он прислал нам на новоселье калач в аршин диаметру. Дети насилу его доели в четыре дня. Сумасшедший Ильин писал Закревскому, прося его к себе. Я поехал вместо Арсения и должен был два часа у него сидеть и слушать его рассказы. Нельзя его назвать сумасшедшим, но человек с умом не станет говорить, как он. Всех ругает немилосердно, хотя и с некоторым основанием. Досталось брату, сестре, Пфеллеру, полицмейстерам, Кутайсову, князю Дмитрию

Владимировичу. Этому написал: «Я служил у трех начальников; Тормасов был хороший солдат, Ростопчин – человек государственный, а в вас вижу только вельможу», – и проч. Он в течение трех месяцев своего заключения написал более 12 000 стихов, сделал поэму «Нашествие французов». Все лица – птицы: государь – орел, Бонапарт – ястреб, Ростопчин – сокол, а там – кто филин, кто курица, и проч. и проч. И мне надобно было все это выслушивать. Просил чаще бывать. Держи карман!

Закревская все так же; только я не одобряю, что всех к ней пускают. У нее нервы расстроены ужасно, я видел это во время смерти матери ее, а всякий к ней входит, все с нею болтают, а главное для нее лекарство – покой и покой. Этого мало. Она все читает, и что же? – романы! А тут одно трогает, другое сердит, третье пугает, и все тревожит. Она себя очень расстраивает этим. Я говорил Арсению, но он отвечает: «Что же с ней делать, поди урезонь ее!» – «Отнять книги, да и полно». Я, виноват, в этих случаях обхожусь с Наташею по-солдатски. Правда и то, что она меня слушает, ибо уверена, что люблю ее.

Александр. Москва, 28 ноября 1821 года

Когда увижусь с Никулиным у Закревского, согласимся о крещении. Очень была бы это скучная комиссия для меня, ежели бы выполнял ее по твоему желанию, а то рад стараться. Кажется, без блондовой косынки не обойтись; куплю, подарю от тебя и в свое время уведомлю.

Сейчас от меня Глинка. Нельзя ли тебе сделать ему одолжение и послать письмо его французское к Шредеру, для напечатания в «Журналь де деба»? Дух, который царит в этой газете, должен заставить с удовольствием принять статью Глинки. Глинка хочет писать жизнь покойного батюшки и просит материалы.

Аграфене Федоровне вчера опять было хуже, а сегодня лучше. Я у них обедаю, по обыкновению. Ее нервы очень расстроены; как войдешь к ней, то она, увидев тебя, имеет невольное какое-то содрогание. Арсений очень уныл. Наконец решился меня послушать и всякое утро проезжается и даже пешком ходит.

Александр. Москва, 29 ноября 1821 года

Ох, дайте мне осмотреться, дайте с силами собраться! И не верится. Фавст на место Соймонова [в должность директора Горного правления в Москве]! Неужели и впрямь? Я вне себя от радости, любезнейший друг. Это, конечно, один из счастливейших дней моей жизни. Письмо мое будет бестолково: я тебе описать радости моей не в состоянии. Пишу же тебе среди

шума на столе экзекуторском, ибо домой доехать не имею уже времени. Скоро отходит тяжелая почта, а упустить ее было бы грешно.

Я от Софьи Сергеевны. Там в доме как светлое Христово Воскресение. Все целуются, все люди от радости плачут. Она еще спала. Услыша шум: «Что такое?» – «Александр Яковлевич привез вам письмо от Фавста Петровича». – «Давай его сюда, ему видеть меня в постели не новое». Вхожу – и ну ее целовать, ну поздравлять, ну вместе плакать, ну креститься, ну благословлять – то тебя, то Гурьева, а более всех ангела нашего Александра.

Я читал ей письмо твое, которое отправляю к Фавсту сию минуту, чрез нарочную эстафету, в Калугу.

Александр. Москва, 1 декабря 1821 года

Губернатор мне сказывал, что граф Кочубей прислал к нему на продажу 5000 билетов лотерейных; это тотчас разберут здесь.

Здесь есть два вояжера, англичане, приехавшие из Индии через Персию. Один полковник, а другой в службе Ост-Индской компании. Не знаю их имен; первый говорит по-французски. Они были во вторник в Собрании. Я, яко дежурный директор, ими занялся и все им показывал. Нейгардт сегодня показывал им военный госпиталь, от которого они в восхищении. Я туда тоже ездил; подлинно, заведение прекраснейшее; после мы обедали у Нейдгарта. Англичане 12-го хотели быть уже у вас. План их не знаю. Кстати. Вчера просил меня твой комендант Веревкин написать тебе, чтобы ты сделал одолжение, дал его жене, которая в половине этого месяца выезжает из Петербурга сюда, почтальона. Пошли к ней сказать, что дашь почтальона, когда она поедет; но имени ее, ни жительства я не знаю.

Учреждением ежедневной почты между столицами ты бы сделал себе вечную славу. У всех слюнки текут от одного проекта, и все тебя чрезмерно благодарят за намерение. Старайся: это славное дело!

Приехал граф Гудович Андрей, что женат на Мантей-фельше; она довольно странно одевается, на лакеях их медвежьи кивера, а на кучерах – шуба в 12 тысяч рублей. Эдак скоро убухает богатство, оставленное скупым его отцом, фельдмаршалом.

Александр. Москва, 2 декабря 1821 года

Бедные греки! Опять кровь потекла! Но снятие Калимакиевой головы может иметь дурные последствия. Это довольно противно трактатам с нами. Англичане, о коих я тебе писал вчера, из Персии прибыли и сказывали, что военные действия начались у персиян, но только с пограничным каким-то пашою. Да, ежели

турки будут драться с Витгенштейном, не значит ли это войну с русскими? Однако сам наследный принц командует войсками персидскими.

Намедни, гуляя пешком, зашел я с женою к живописцу Ризнеру смотреть славящийся портрет графини Потемкиной[54]. Великая картина, весьма прекрасная. Она сидит на стуле близ открытого балкона, который представляет вдали Симоновский монастырь. Она в белом, в великолепной желтой шали; ковер, атлас туфелек, прозрачные чулки, украшения на белом платье, словом, все чрезвычайно прекрасно. Очень похоже, хотя и не приукрашено. Подивись, этот портрет Ризнер продает за 5000 рублей, за кои он заказан, ибо граф вместо денег все предлагает вексель. Меняла один дает 3500 рублей чистыми деньгами, но Ризнер не отдает, и верно! Кто купит и за 5000 рублей, не будет внакладе. С блажью Потемкина, при первых деньгах он в состоянии заплатить 3500 рублей за этот портрет. Непонятно, как можно жертвовать своим кредитом из-за пяти тысяч рублей! Да к тому же и вещь сама по себе такого рода, что надобно бы, кажется, заложить себя самого, чтобы ее иметь и не допустить идти в чужие руки. Сказывают также, будто Потемкин велел сказать Ризнеру, что не может взять портрета, потому что в доме у него производятся исправления, и что после он ему даст 10 тысяч рублей и 100 палок за то, что посмел выставить на продажу портрет жены его. На кой же черт богатство, ежели иметь такие неприятности!

Александр. Москва, 3 декабря 1821 года

Вяземский говорит, что Кашкин посылает ко всем человека с повесткою, что Николай Евгеньевич приказал кланяться и доложить, что Бог даровал ему чин (так, как дарует другим сына или дочь). Скоро бригадиры будут редким делом, и Чижика будут показывать как диковинку.

Александр. Москва, 6 декабря 1821 года

Полковник Дойл завтра ужинает у меня. Человек приятный, был военным секретарем у губернатора Индии Гастингса. Какое богатство там у англичан: 80 миллионов подданных. В Калькутте 900 тысяч жителей. Компания, имеющая на своем коште 200 тысяч войска, платит прапорщику около 8000 рублей жалованья, а полковник имеет более 55 тысяч. В театре спрашиваю я товарища его: «Вы скоро едете?» Он: «Нет, завтра мы будем в долговой тюрьме!» Я удивился, а это выходит, что они будут осматривать тюремный замок. 12-го, однако же, хочется им быть в Петербурге. Нового не знаю ничего, кроме того, что Юсупов,

таскаясь по холодным репетициям, лестницам и театрам, занемог.

Гуляя с женою, мы зашли смотреть, по его просьбе, Позняковский дом, который он купил и славно отделывает, прикупает еще место напротив, ибо тесно для людей, а пристраивать негде. Ему хочется туда поместить Итальянский театр со временем, и для меня этот театр лучше апраксинского: для сцены, которая обширнее, для зрителей и для разъезда. Сегодня множество именинников, но я никуда не поеду, разве к Гагарину, коему должен я давно визит. Небось скряга не даст взаймы нам, но у этого и просить не стану. Говорят, что есть у Карнеева; побываю у него, а то обещают Чумага и экзекутор хлопотать. Нет, брат, и здесь трудно очень деньги находить, особливо потому, что Воспитательный дом не выдает денег по своим билетам.

Александр. Москва, 8 декабря 1821 года

Закревской все то лучше, то опять припадки. По моему суждению, которое никому не смею открыть и тебе одному говорю, у нее просто падучая болезнь. Припадки делаются вдруг, и пресильные. Кажется, и добрый наш Арсений подозревает это. Его очень убивает положение жены его. Утешение иметь детей, кажется, у него отнято. Впрочем, и отчаиваться не должно. Князь Петр страшно был подвержен этой болезни, да вылечился какою-то травою и 9 лет не имеет припадков. Как сказать им это? Как назвать им ужасную эту болезнь? Дай Бог, чтобы я ошибался. Ее прокатывают и приучают к воздуху. Обоим, и особливо ей, очень хочется скорее возвратиться в Петербург. Летом поедут к водам непременно. Она не дает себе довольно покоя. Со столь расстроенными нервами она только и читает романы целый день. Мадам Лопухина, горячая и восторженная головушка, – вот ее постоянное общество. Такая беседа не хуже любого романа. Все это нехорошо для сего рода болезни.

Слава Богу, что у тебя идет к концу с Голдбеком. Он, бедный, я думаю, прожился в Петербурге и мучился, что не мог в Мемеле принять великую княгиню М.П., которой бы, верно, проговорил речь. Теперь желаю, чтобы ты все устроил с Австриею и этих так же бы надул, как пруссаков. Как будут устроены тобою почты во внутренности России, то звезда твоя будет говорить справедливо: польза, честь и слава. С кем ни заговори, у всякого есть анекдот насчет неустройства почт. Гагарин мне божился, что письмо из деревни его зятя, князя Василия Долгорукова, лежащей близ Можайска, ходит сюда 10, 12 и 15 дней!.. Письмо посылается в Можайск, оттуда в Гжатск, из Гжатска в Торжок, где ожидает проезда петербургской почты. Ежели бы почта из Можайска в

Москву шла пешком, и тут бы на костылях могла бы доходить в двое суток. Как Рушковскому не заняться такими вещами? Не надобно тут и предписания ожидать. Разве он не хозяин в своей дирекции?

Вчера сидел у меня долго П.И.Озеров, прощался: едет на время во Владимир, по делам службы. Долго мы говорили с ним о Лицее. Он мне дал очень хорошее мнение об этом заведении. Профессоры хороши; он особенно рекомендовал мне какого-то Жаксона и Гиппиуса, или Нумерса (кажется, так). Хорошо, ежели бы Костя был у них в пансионе; а тот, о коем ты мне писал, говорят, делается придворным человеком, и у него дети князя Федора Голицына. Не знаю, как теперь, а они были большие повесы, и я бы не рад был такому товариществу для Кости.

Пикулину я говорил о крестинах. Он очень благодарил за твое и мое намерение, но ребенок его давно окрещен; честь приложена, а от убытков ты избавляешься. Он очень тебе благодарен, что ты не забыл.

Мне все хочется сообщать статьи об Итальянском театре «Инвалиду» или «Сыну Отечества». Беда та, что нельзя это делать инкогнито: тотчас узнают и, как ни будь беспристрастен, тотчас из дряни этакой наживешь неприятностей. Пусть же Вяземский один ополчается на итальянцев. Вчера граф Потемкин до того кричал «da capo» после арии большой примадонны Анти, что обратил на себя внимание целой публики, и все начали шикать. Он заупрямился, стал кричать еще громче: «Da capo, fuora»; стали шикать еще громче, и он принужден был спасовать и замолчать.

Мне славный рассказывали анекдот о преосвященном нашем Филарете. Какой-то бедный дьякон деревенский долго таскался по разным лицам, прося оставить его там, где он был. Наконец решается броситься в ноги к самому Филарету. Приходит рано, входит в переднюю, никого не было. Он далее да далее. Выходит Филарет в халате (это было рано). – «Что ты за человек?» – «Я, батюшка, хочу броситься в ноги к преосвященному». – «Да кто ты?» – «Я бедный диакон, имею большую семью, есть кой-какие выгодишки; но, батюшка, теперь хотят другого определить на мое место, а меня в другое село». – «Кого же ты просил?» – «Да многих. Меня только обобрали. Вот, батюшка, в канцелярии преосвященного дал я 50 рублей тому, 25 рублей тому, здешнего прихода Спаса дьякону 75 рублей, а все не делается. Теперь говорят, что надобно меня экзаменовать». – «Ну, это и правда. Это моя должность, я экзаменатор». Дьякон в ноги. «Пожалей меня. Вот только осталось 25 рублей, 15 мне на дорогу, а 10 рублей возьми, батюшка, и сотвори мне эту милость».

Преосвященный взял деньги у дьякона и велел ему явиться на

другой день в ту же комнату, в 9 часов. Дьякон является. Выходит Филарет одетый как должно, собирается ехать в Страстной монастырь служить, спрашивает дьякона, что он хочет. Тот перепугался и говорит, не узнавши Филарета, что он пришел по приказанию экзаменатора и проч. – «Знай, что это я. Я же вчера с тобою говорил, но не бойся ничего. Я рад, что мог узнать о тебе правду, а равно о злоупотреблениях моей канцелярии. Позовите того-то, того-то (называя всех, коих дьякон дарил)». Как пришли, Филарет сказал: «Я каюсь перед вами всеми, что вчера взял от этого дьякона 10 рублей. По словам Священного Писания, «аще дадите, воздастся вам четверицею», и вместо 10 рублей даю ему 40 рублей. Ты взял 25 рублей, дай ему сейчас 100 рублей, ты взял 50, дай 200; ты, священник, взял 75 рублей, дай ему 300 рублей. Это тебе, дьякон, за твое претерпение; ступай домой и оставайся на твоем месте, в нуждах твоих относись ко мне прямо. На этот раз на вас (оборотясь к своим) иного наказания не определяю. Радуйтесь, что наказание ваше обращается в пользу бедного человека, а впредь поступлю я иначе, ежели не воспользуетесь сим уроком. Поедемте, и кто старое помянет, тому глаз вон».

Это происшествие везде рассказывают и называют это вторым Соломоновым судом. Вообще народ очень любит Филарета, особенно за то, что служит везде, где только есть торжество какое-либо, праздник, или где приглашают. Покойный Серафим не мог это делать по слабости своего здоровья, а Августин был очень груб и горд.

Александр. Москва, 9 декабря 1821 года

Ну, дай Бог успеха в общем собрании! Кажется, справедливость на нашей стороне. Недоставало бы ко всем нашим бедам этой еще. Я не стану тебе описывать положение бедных наших крестьян. Слава Богу, что они не так изнурены, разорены, как соседние, а то пришлось бы всех поголовно кормить. Вообрази, что у других едят хлеб, сделанный из гнилого дуба. Голод ужасный. У нас, надеюсь, пойдет не более тысяч пяти на прокормление бедных крестьян. Я потому тебе говорю об этом, что последнее донесение Ефима несколько утешительнее; а то, право, и не знаю я, что придумать. Бог так к нам милосерд, что и тут, верно, нас не оставит. Есть престрогие предписания, по коим велено имения отбирать в опеки, ежели помещики не будут заботиться о прокормлении крестьян своих; а у нас такие есть варвары, что, получая до двух рублей в день за работу крестьянина, дают ему на пищу только 15 копеек в день. Меня уверяли, что Потемкина имение в Курске за такого рода поступки отбирается от него. Вот тебе и da capo!

Около Великого поста поеду в Белоруссию. Хозяева мои утешаются; все говорят, что после голодных годов бывают всегда большие урожаи. Дай-то Бог! У меня есть волшебное колечко, но и оно в этих случаях не помогает. Я вижу, что ты хочешь знать, что это за кольцо. Ну, быть так, посылаю его тебе. Я им мучил всех у Закревского, у Волкова, у Фавста. Выучись наедине хорошенько им действовать и помучь Марицу, Лизаньку и всех, кого можешь. Кольцо надевается на мизинец левой руки. Надобно все пальцы соединить так, чтобы конец шприца приходил к большому пальцу, коим пихать шприц невидимо для зрителей. Разумеется, что прежде, нежели надеть на палец кольцо, надобно наполнить оное водою, опустя кольцо в рюмку воды и вытянув насосик. Надобно приметить направление воды, чтобы знать, как показать кольцо и как становиться, чтобы брызгать в глаз, в нос, рот и проч. Между четырьмя камнями есть в середине отверстие, откуда брызгает фонтанчик. Кольцо можно давать смотреть прежде и после очень близко, но из рук не выпускать и сжимать руку в кулак. Ежели не хорошо брызгает (что может случиться, ежели насос дорогою высохнет), то можно отворить в месте А [к письму приложен рисунок] и помочить там ниточку, или новую навернуть, чтобы воздух не проходил. Желаю тебе успеха в мистификациях. Я нашел это случайно здесь в одной лавке.

Александр. Москва, 12 декабря 1821 года

Прежде всего, поздравляю тебя с сегодняшним днем, который должен быть радостный для всякого доброго русского. Я помолился за государя, вспомнил все его милости, тебе оказанные. Грешу, но я ставлю их выше всего, любя тебя более всех и всего. Петр Петрович Нарышкин звал меня в свой вдовий дом, где служил Филарет и было посвящение четырех сердобольных вдовиц. Преосвященный говорил речь, тронувшую всех; вдовицы рыдали, и он сам так был тронут, что заплакал. Как он говорит хорошо! Жаль только, что голос его слаб и что, вероятно, не все могли его слышать. Я забрался к нему поближе. Он начал историческим начертанием человеколюбивого сего учреждения, описал добродетели августейшей учредительницы, а потом делал увещания и наставления вдовицам, надел на них кресты золотые на зеленой ленте, приводил их к присяге.

Препровождаю экземпляр клятвенного обещания. Оно также сочинено им. Обязанности ужасные! Кажется, выполнить их есть вещь сверхъестественная. Я понимаю, что брату можно всем жертвовать для брата, матери для дочери, отцу для сына, мужу для жены, или другу для друга; но тут вдовица должна все в мире забыть и всем жертвовать для первого больного, для незнакомого,

стараниям ее вверяемого. Вот торжество добродетели, истинное христианство! После было молебствие за здравие государя. П.П. познакомил меня с преосвященным. Видно, что умница. После был завтрак, и попы так все обчистили, что остались одни ножи и вилки.

Вчера давали нам обедать Лунины. Славно провели день. Я возил туда Вяземского, и мы натешились, слушая обоих, Риччи и Замбони, отец и дочь. В комнате она хороша, красивый метод, хороший вкус; жаль, что голос слаб.

Александр. Москва, 13 декабря 1821 года

Несчастное теперешнее время! Чего графиня Панина [Софья Владимировна, урожденная графиня Орлова] богачка, и та сказывала мне, что принуждена будет жить в деревне некоторое время.

Вчера видел Бове в Собрании, долго с ним говорил о тебе и Петербурге. Я его было не узнал в военном мундире. Веревкин очень тебя благодарит за неоставление жены его. У него вид очень порядочного человека, его любят, а заступать место Волкова – не такая уж простая задача. Вообрази, вчера в Собрании кто был? Юсупов! Я не хотел верить глазам. «Рано вы выехали, князь». – «Скучно дома». Кажется, ему бы нигде не должно быть скучно. Его, однако же, порядочно перевернуло. Того века люди крепки, как камень, а нонешняя молодежь занеможет, так не оправится с год.

На вечер я зван в два места, к Окуловым и к графине Бобринской. Вчера в Собрании было только 600 человек, но и мы хороши! Чтобы понудить подписываться, не давали визитерских билетов, а на хоры давали; все и пустились на хоры. Не давать, так уж никуда. Меньшую Урусову вывезли. Красавица совершенная, но старшая для меня, да и всем, кажется милее. Князь Яков Иванович Лобанов называет ее королевою. Он собирается скоро к вам, тоже ждет пути. Я тебе писал вчера о славном концерте у Риччи, но признаюсь, что Риччи задавил самого Замбони, а графиня может за пояс заткнуть Ченерентолу; у нее метода и приятность, но голос слаб для театра, и только; по моему уважению, Анти будет ее счастливою соперницей. В субботу опять «Турок в Италии».

Александр. Москва, 15 декабря 1821 года

Вчера в полдень выехал Закревский. Кажется, Аграфене Федоровне будет покойно в четырехместном возке, с мужем, Лопухиною и девушкою. Карета послана наперед, и, кажется, им ее не миновать, ибо целую ночь шел дождь. Она взяла доктора с

собою для всякого случая. Я не поехал провожать, боясь, чтобы эта экспедиция не продолжалась дня три, а поехали многие, иные до первой станции, а иные и до Клину: Волков, Денис Давыдов, Ренкевич, граф Федор Андреевич, Коризны, Шатилов, Тол стой-Американец. Дай Бог Арсению благополучно доехать; но он не намеревался никак торопиться, боясь, чтобы не расстроило Аграфены Федоровны.

Я получил, любезный друг, твой № 201. Сам экзекутор мне его привез; благодарю тебя своим и его именем. Крест очень его порадует, ему очень его хочется, но он не обойдет никого: все в его чинах имеют это отличие в почтамте; один только Касиян не имеет, но ты знаешь, что этот человек не завидует, а радуется благу своих товарищей. Похвиснев человек и усердный, и благородный. Рушковский шумно согласился на мою просьбу, а ты довершай с успехом начатое. Я воображаю, как все радуются Веймарскому ангелу [великой княгине Марии Павловне] и как ему самому приятно быть со своими и в настоящем своем отечестве. Спасибо, друг любезный, за хорошее уведомление о деле нашем. Как подумаю, сколько ты наделал хорошего в Петербурге! А я только что из кожи лезу, а пользы мало. Ежели будущий год будет такой же (Боже сохрани!), то придется продавать скот, коего, конечно, у нас заведено тысяч на 60: есть, чем унавоживать. Да ведь я же не Фавст, на что же преждевременно отчаиваться?

Князю Дмитрию Владимировичу хочется иметь здесь ярославского Безобразова; его очень хвалят, но он отклонил, говорят, предложение. Князь Дмитрий Владимирович полагал себя гораздо независимее в Ярославле, а он любит много брать на себя, лишь бы делать полезное для службы. Долго сидел тесть – тоже, видно, зондировал меня: «Признайся, что едешь в Петербург за местом». – «Где же мои связи там?» – «А брат?» – «Так брат может и без меня все устроить; но я вас уверяю, что и помышления не имею». – «Я тебя не понимаю, ты упрям, помешался на своей дипломатике, тебе бы все к миссии». – «Нет, князь, на то надобно быть богату». – «Так зачем же едешь?» – «Так за безделицею: первое – везу сына в Лицей, а второе – хочу брата обнять». – «Ну да из тебя хоть жилы тяни, ты не скажешь; оба вы такие, а Константин Яковлевич еще хуже». Посидели да и уехали, а у меня отняли много времени.

Тюфякин таки добился шпицрутена. Не будут плакать о нем петербургские актеры, а здешние артисты очень рады слухам, что Майков остается в Петербурге: и его крепко не любят. Вот я тестю скажу, что мне очень хочется Майкова места. Да Багреев нонче уже не за невестами ездит, а за лентами; желаю ему успехов;

а ежели толстеет, то надобно торопиться: дамы не любят пузатых. С этой стороны я не рискую ничего. Итак, наш Американец [то есть П.И.Полетика, бывший посланником в Соединенных Штатах] к нам воротится; я очень буду ему рад. Завтра узнаем мы, вероятно, о милостях 12-го числа. К кому-нибудь да, верно, будет эстафета. Найдутся знакомые, так порадуемся, да мне кажется, приятно видеть радость и всякого незнакомого. Говорят, что Белкин, коего Шулягин гонит, подал в отставку; другие говорят, что князь Дмитрий Владимирович не выпускает его. Кому верить, не знаю, а другие два полицмейстера не думают отходить.

Я видел поутру славного жеребца, приведенного из Лондона и за которого просят 55 тысяч рублей. Имя его Бурбон. Он всех славных бегунов обскакал в Лондоне.

Александр. Москва, 17 декабря 1821 года

Бедный Алексей Матвеевич Окулов вчера скончался. Вся семья в отчаянии. Я у них был еще во вторник ввечеру, ужинал там. Он только что занемог, пренебрег болезнью. Доктор Рашка уверял за час до кончины, что нет опасности. Наконец вдруг объявил, что нет надежды. Сделали консилиум. Пфеллер взял за пульс, и в ту минуту не стало больного. Родные просят тебя усердно тотчас велеть доставить прилагаемое здесь письмо, коим вызывается сюда старший сын покойника. Сделай это, любезный друг, тотчас по получении почты или эстафеты, ежели таковая случится.

Александр. Москва, 18 декабря 1821 года

Всякий раз, что выглядываю из окошка, сожалею о бедном Закревском. Как-то он едет, или, лучше, как-то плывет и тащится? Дождь шел вчера, и теперь так, как бы летом. Не говоря уже о распутье и болезнях, весь посев пропадет, и прощай, надежда на будущий год. Бог, видно, наказывает людей.

Я вчера в манеже Апраксина, куда ездил смотреть славного жеребца Бурбона, нашел Лунина и Керестурия. Нас славно промочило в санях, заехали мы к Лунину и ну играть в бильярд. Тут явился также князь Трубецкой, брат княгини Потемкиной, моей силы точно, и прегоряченькой. Начав с 10 рублей, я наколотил на 150 рублей. Ну, давайте последнюю на квит? Я думаю себе, зачем не играть на чужие деньги. Только он такие делал ракро, а я так часто терялся на желтую, что проиграл всухую. Прощай, 150 рублей! По пристрастию к бильярду, не поехал обедать к князю Н.Гагарину, к коему был зван, послав записку, и остался обедать у Лунина; после обеда опять в бильярд, ввечеру забежал домой, отправить к тебе письмо, а там

опять в бильярд. Жену отправил одну к Пушкиным, а сам, проиграв до второго часу, домой приехал; она только что явилась. Самый бильярдный день. Да и что делать в проливной дождь?

Отделение идет к концу, имеет долгу около восьми тысяч рублей, кои не знает, как взыскать с членов. Сделал сам старшинам предложение о соединении отделения с нами, чтобы один бал был у нас, а другой у них, чтобы в простые дни ездили в отделение и дамы играть. Конечно, есть игроки до упаду, но тогда все курильщики уйдут в Английский клуб, ибо при дамах непристойно будет курить, и проч. Все это ничего не произведет. Я тех мыслей, что не только отделение, но и Собрание упадет. Не тот век. Никто не любит веселостей невинных. Ныне молодой человек лет двадцати – полковник, труды его истощили, он в ревматизмах, ничто его не веселит, ему не танцевать, а играть бы или рассуждать о политике.

Александр. Москва, 19 декабря 1821 года

В три часа пополуночи с субботы на воскресенье (с 17-го на 18-е) ощущалось здесь землетрясение. Я помню только, что я проснулся вдруг, сам не зная отчего. Приезжаю к Волкову обедать. Он спрашивает меня, чувствовал ли я землетрясение ночью. У них потрясение было довольно сильно; плотники, у него работающие, тоже сказали, да и многие другие в городе, часовые, в клубе заигравшиеся до штрафу, продавцы на рынках и проч. Немудрено: по газетам, были землетрясения в Николаеве и других городах России.

Благодарю тебя за список пожалованных в генерал-майоры. Я им очень одолжил Нейдгарта и обрадовал Варвару Алексеевну Нарышкину, сестру графини Е.А.Пушкиной: ее сын Кирилл тоже в числе пожалованных, и она от меня первого узнала. Милостей не было. Иные, слегка ожидавшие, тому радуются, другие же, наверное, надеявшиеся, нахмурены. Однако же Тургенев пишет, что даны ключи парижскому Дивову, франкфуртскому Голицыну и венскому Обрескову.

Я видел дочь княгини Софьи Григорьевны в Москве года четыре назад. Она обещалась быть хороша. Вчера у тестя явилась Афросимова, по обыкновению, с вестями, читала рапорт своего сына из Петербурга. Мне очень понравилась следующая новость; он пишет между прочим: «Дочь князя Петра Михайловича Волконского показалась в свете; говорят, что она выходит замуж за князя Лопухина *или* за молодого Демидова, сына Ник. Никитича». Мне очень нравится это *или*, то есть публика решит, кого предпочесть, и тогда родные ударят по рукам.

Жаль бедного Мишо. Мертвого нельзя воскресить; но

государь, по ангельскому своему сердцу, призирает вдову и сирот. Как не желать лишиться руки и жизни для него?

Дают две пьесы – «Музыкального фанатика» и «Счастливого простака». В первой поет мамзель Замбони, во второй – мадам Анти. Лунины и Риччи уезжают после первой пьесы, а князь Юрий Владимирович Долгоруков с Горчаковою приезжают только для второй пьесы. Это смертельная ссора. Алексей Михайлович Пушкин встречает меня на улице, оба едем. Кричит мне: «Кстати, все время забываю спросить вас: вы замбонист или антист?» Я отвечаю, как тот парижский рабочий (по поводу глюкиста и пуччиниста): «Я эбенист». Но факт, что несмотря на эти партии, театр держится, он всегда полон, и сбор постоянно около четырех тысяч рублей. Этим вечером триумф замбонистов, ибо дают Андиссо, музыка прелестна. После дадут, как сказывал мне князь Лопухин, «Клотильду» Коччиа, любимого ученика Паньелли, после «Севильского цирюльника» Россини, после «Тайный брак», а затем «Нину» Паньелли.

Иду на похороны бедного Окулова. Я был там с Вяземским. Бедная Софья, третья дочь, с самой кончины отца до этого часу все в беспамятстве; очень боятся за ее разум, а мать одно твердит, что желает лишиться всех детей и также умереть. Ужасно смотреть на них. Одна Анетта, старшая [Анна Алексеевна Окулова], воспитывавшаяся в Смольном, сохранила бодрость и за всеми ухаживает. Я не поехал в Донской монастырь, боясь простудиться и вымочить себя до костей. Тело не могло на Крымском броде переехать через Москву-реку и должно было сделать крюк по проливному дождю и ехать на Каменный мост. Только и разговору, что о бедном Окулове.

Александр. Москва, 22 декабря 1821 года

Я было писать к тебе, любезный друг, вдруг записка от Софьи Сергеевны [Макеровской, супруги Фавста Петровича]: «Ради Бога приезжай, имею крайнюю нужду». Я с беспокойством пускаюсь к ней, и вышло, что почти по пустякам. Зачем не написать? Вчера ее Фаска, осаживая карету, тронул колесом в городе, где всегда тесно, какую-то пьяную бабу; она ну кричать «караул», выхватила шляпу у лакея, ну ругать берг-инспекторшу, требовать ее имя и чтобы дала подписку, что пришлет кучера в часть. Наша бедная обер-берггауптманша 6-го класса перепугалась, подписала мир на барабане, приняла все условия и поехала домой, как на смерть осужденная. Выходит, что эта негодная баба – какая-то титулярная советница, промышляющая такими историями. Надобно было сунуть ей бумажку синенькую, и все бы кончилось. Фаска на съезжей, но все это мы устроим. Жаль только то, что

сама встревожилась, да у меня отняли золотое время.

Александр. Москва, 27 декабря 1821 года

Скажи Закревскому, что вчера делали приятелю его Василию Ивановичу Путяте [отцу Николая Васильевича Путяты, который позднее служил под начальством Закревского в Финляндии] операцию. Взял ее на себя доктор, приехавший из чужих краев с Киндяковым. У Путяты был на правом плече нарост, который его безобразил и всякий год прибавлялся; решился на операцию. Доктор надрезал плечо крестообразно, поднял кожу и вынул оттуда ужасную массу какого-то жира. Все совершилось очень хорошо и благополучно.

Сегодня обедали мы у Фавстейшего. Ужо в Собрании маскарад, на который собираются все, и все в масках. От этого маскарада записалось человек 500, ибо, кроме членов, никому нельзя быть, ни вниз, ни на хоры. Завтра обедаем у Карнеева, а в среду новая опера «Клотильда». Посмотрим. Был я вчера у Малиновского; он в восхищении от того, что ты пишешь, и я очень рад. Он, бедный, глаза потерял от этой выписки. Нужно наградить чиновников, это одобрение для переду, а ежели составятся такие выписки прочим дворам, как и турецкому, то будем иметь прекрасный исторический и дипломатический документ, делающий честь нашему архиву. Турецкая же выписка очень выходит полезна по нынешним обстоятельствам. Как ни говори, а архив, право, отличается. Я удивляюсь, что не присылают свежих бумаг, ибо последние все только до 1762 года доходят. Малиновского очень ободрило одобрение начальства. Надобно признаться, что он трудолюбив: имея Сенат, больницу [то есть Шереметевский странноприимный дом, где А.Ф.Малиновский и жил], грамоты румянцевские, успевает еще делать полезные выписки. Тут приложен алфавит (как во «Всемирном путешественнике»), поэтому все тотчас можно отыскать.

Александр. Москва, 30 декабря 1821 года

Навеселились, насмеялись, наелись, наигрались, да и ложимся уже спать, а нет еще полуночи. Вот как надобно бы делать всякий день. Дети были в восхищении, я не один раз вспоминал о твоих. Зачем не было их с нами? Костя переодевался, верно, раз пять. Большой проказник, всех смешил, удивительный ребенок, плясал по-русски, мазурку, вальсировал, и все это – не учась никогда, и все это хорошо. Был детский ужин, мы все с детьми танцевали также. Жаль, что Фавст далек, а то бы и его малюток тоже зазвали на пир. Мы играли в вист, княгиня Е.Л.,

Лунин, Керестури и я. Знай, что я выиграл 56 партий по 3 рубля, что и составило 168 рублей! Очень было это не лишнее. Поутру зашел я, гуляя, к Лунину; у него славный бильярд. Мы одной силы с князем Трубецким, братом графини Потемкиной, женатым на Бахметевой, горяченький игрок! Только от 12 рублей – 50 рублей он, дублируя, проиграл мне 800 рублей. Я сам желал, чтобы он отыгрался, и кончилось все-таки тем, что я выиграл 400 рублей.

Завтра зван на реванш. Являюсь. Выигрыш буду рисковать, но своих не проиграю ничего. Керестури, парируя за меня, выиграл тоже 600 рублей. Годится на дорогу. Он едет сегодня в ночь в Петербург с графом П.А.Толстым и расскажет тебе о нашем житье-бытье. Обедал я у Потемкина, где только и речи было, что о итальянцах. Был тут и Юсупов. Также много говорили о маске, которая мучила Завадовского и всех. Я уверял всех, что это будто француженка одна, живущая у княгини Щербатовой. «Многие думают, что это ваша жена», – сказала графиня Потемкина.

«Нет, вовсе нет, – возразил Юсупов, – думают, что это какая-нибудь иностранка, и она говорила только по-итальянски, очень хорошо». Наташа в восхищении, что удалось ей обмануть всех.

Поутру, заигравшись в бильярд, не был я в собрании. Оно было очень шумно, и блудный сын Долгоруков чуть не подрался с Кологривовым А.С. Вдруг затевают. Хотят нарядить комитет, чтобы переделать все правила и законы собрания, яко ветхие, хотят пускать на хоры за деньги, запретить туда вход членам и проч. и проч. Все это так глупо, что не заслуживает возражения. Башилов проповедовал, а проект, как говорят, С.С.Апраксина и князя Юрия Владимировича Долгорукова. Я, с одной стороны, рад, что не был, ибо, может быть, напрасно бы погорячился. Ничего не решено, и теперь хотят публиковать в газетах, чтобы всякий член прислал свое мнение поименно. Во всем этом нет никакого здравого смысла. Потемкин тоже много чего горланил. Я ему, однако же, сказал за обедом и Башилову, что всякий член – хозяин в доме, ему нельзя запрещать быть везде, где хочет; что установить цены на хоры – это сделать из них шинок, что эдак и мужик в лаптях вправе войти с кувшином вина в пазухе, лишь бы имел 2 рубля лишних. Хотят отдать на решение государя, и это глупо. Государь член, как и все, и, верно, никогда не употребит своей власти и влияния в частном обществе. Я боюсь, что все накутерьмят и все отдаляются от цели созывания, которая была найти средство поддержать отделение, до коего собранию, имеющему лишний капитал, дела нет.

Итак, с вашим «Инвалидом» будет то же, что с нашим отделением. Жаль, Пезаровиусу должно быть больно. Его трудами

и терпением «Инвалид» приобрел большой капитал и напоминал нам время своего основания: бессмертный 1812 год. Многие будут сожалеть о прекращении «Инвалида»; положим, что заменится и другим, но новый журнал не внушает большой доверенности.

Что, бишь, слышал я вчера? Да, свадьба в городе. Есть богачи Хрущовы на Пречистенке, у них 14 детей, и между прочими дочь одна, фаворитка и баловень, собою незавидна. Она замуж идет за Нарышкина, полковника, с носом полишинеля и сына полишинеля Ивана Александровича. Говорят, и сынок глуп. Кричали о миллионах; но домашний мне сказывал, что дают 600 душ, 100 тысяч рублей деньгами, приданого на 40 тысяч; правда то, что молодые будут жить в доме, избавленные от всяких расходов. Это большой пункт, но это ведь до поры до времени. Ты пишешь, что об этих Хрущовых были неблагоприятные слухи насчет бумажек; но они разбогатели от откупов.

Был я зван к Вяземскому обедать; но, предвидя по званым гостям, что заставят пить, я не поехал, а явился после, нашел их еще за столом и не ушел от двух рюмок шампанского. После в восемь трубок курили в его кабинете и такой подняли дым, что я пошел к княгине поглотать свежего воздуха, поиграть с детьми и отретировался домой потихоньку. Ввечеру, как сказано выше, были у нас гости, и время провелось очень приятно. Я отдал Керестури так называемое рекомендательное письмо к санкт-петербургскому почт-директору. Вчера являюсь к Пушкиным и очень был обрадован, найдя тут калужскую гостью, Софью Шаховскую. Приехала на три дня повидаться со своими. Они все меня атаковали: поезжай я непременно в Калугу, где 6-го будет бал у Полуэктова, а 7-го у Шаховских; туда едут Волконские и Варенька; Вяземский едет, ежели я поеду. Признаюсь, несмотря на все желание угодить моей фаворитке, не могу решиться. Хочется последнее это время быть со своими, да и не хочу упустить дело графа Каподистрии. Во всякое другое время я бы решился на приятную эту прогулку, но теперь придется отказать.

Я рад, что скоро вырвался от Гагарина, который задал нам славный обед. На столе было славное плато, привезенное ему из Парижа графом Нессельроде, а за десертом подавали венгерское вино, купленное еще дедом его. Княгиня очень грузна, насилу ходит. Спор Кологривова и блудного сына имел последствия. Последний послал первому картель, и Кологривов не постыдился этому мерзавцу написать письмо, в коем просит прощения, а Долгоруков тут же помчался показывать это письмо всем в Английском клубе. Хороши оба! Чем-то все эти прения насчет собрания кончатся? Волков, к моему удивлению, тоже мнения

пускать на хоры за деньги; я у него был вчера два раза, но не заставал все дома. Видел я у Гагарина молодого Самойлова, но не нашел той красоты в нем, о коей так много кричали. Вяземский просит тебя доставить прилагаемые письма и посылку к Гнедичу.

1822 год

Константин. С.-Петербург, 2 января 1822 года

Объездил я министров, но во дворце не был. Возвратясь домой, нашел я от своего князя [то есть от князя Александра Николаевича Голицына] письмо: «Государь император всемилостивейше соизволил, чтоб ваше превосходительство имели вход за кавалергардов, о чем я и сообщил князю Петру Михайловичу Волконскому для зависящего от него распоряжения». Это весьма приятно, доказывая благорасположение князя и милость государя; стало, год хорошо начат.

Вечером был я в маскараде, где ужасная была толпа. Приятно было смотреть на ангельского нашего государя. Так как мне прислали также билет в Эрмитаж, где был ужин, то и там я был. Театр, где ужинали, был чудесно убран и походил на некое волшебство. В тех залах только и спасения было, что танцевать польский, который обходил вокруг всего дворца по всем комнатам. Государь очень милостиво мне поклонился. Пожалованы три Аннинские ленты генералам инженерным. Князь Николай Долгоруков пожалован в должность гофмейстера. Из Парижа приехал Погенполь. Он мне сказывал, что там поручился в 6000 франков за Корсакову, без которых она не могла и ехать. Не получая денег, банкир выслал на нее вексель, но и тот возвратился протестован, и теперь с Погенполя требуют заплаты. Ему это очень прискорбно.

По Вене я знаю, что ни за кого не надобно быть поручителем; я сам был раз в дураках, а покойный князь Александр Борисович [Куракин] заплатил с лишком 100 тысяч гульденов, потому что меня не послушал и не умел отказывать. Ужасно, как после бесился, но делать было нечего. Я чаю, и умер, не получив всех своих денег в возврат.

Александр. Москва, 2 января 1822 года

Вчера встаю и нахожу в зале множество почтамтских чиновников, ожидавших, чтобы я проснулся. На свой счет взять я это не мог; но я им сказал, что тебе напишу и тебе очень будет приятно узнать, что в отсутствие твое относят они любовь свою ко мне.

Между разговоров является вдруг Рушковский, которого впервые вижу с орденской лентой через плечо. Долго разговор был всеобщий; после отвел он меня в гостиную. «Мне надобно спросить у вас совета; я в затруднении». – «Что такое?» – «Вам

известно, что, поскольку выбор моего помощника был предоставлен мне, и зная на этот счет мнение вашего брата, я объявил г-ну Трескину, что он будет моим заместителем». – «И вы очень правильно поступили». – «Да, но послушайте: вчера вечером г-н Рунич, который служит в Сенате, является ко мне и просит того же места, прибавляя, что мне надобно только написать записку князю, что он предупрежден и что мое представление будет одобрено… Что же мне делать?» – «Я удивляюсь, что вы меня о сем спрашиваете. Ваше слово должно быть неотменимо, кажется; поместить другого – значит, дать пощечину г-ну Трескину, прогнать его с почты, ослабить усердие всех служащих почты. Как можете вы делать соперником бездельника, каков Рунич, служащий в другом месте, для г-на Трескина, который 29 лет экспедитор, 16 лет коллежский советник и через чьи руки, вы сами говорите, прошли 4000 миллионов?» – «Правда, но как же князь?» – «Прежде всего, князь ничего вам не писал; можно какие угодно слова ему присвоить, а бывают и общие слова, кои принимают за согласие и истолковывают в свою пользу; впрочем, князь слишком справедлив (ежели допустить, что он обещал г-ну Руничу), чтобы не отдать предпочтения Трескину, в особенности когда узнает, что вы дали слово». – «Да ведь тогда все Руничи будут против меня». – «Лучше это, чем иметь против себя всю почту и плохо исполнять императорскую службу. Можете быть совершенно уверены, что, если вы сделаете такой афронт почтенному Трескину, все уйдут. Какая для других перспектива? Служить 30 лет и после быть помещенным под начало какого-нибудь молокососа. Поставьте себя на место Трескина».

Долго я его уговаривал; наконец он решился, что представит обоих, и князь выберет кого ему угодно. Я этого не мог одобрить никак и доказывал Рушковскому, что ежели Трескин получит место, то ему не будет нимало обязан, а князю одному, что это ни Трескин, ни все прочие экспедиторы ему не простят, что я знаю от тебя, что московский почтамт держится отличными своими чиновниками: что ежели он их разгонит, то после не сладит сам и рано или поздно сам будет жертвою. «Ну ладно, хорошо; если меня сделают сенатором и лишат места, у меня будет меньше выгоды и меньше хлопот!» – «Тогда от вас зависеть будет не иметь сих хлопот; но зачем расстраивать почту?»

Я этого человека, право, не постигаю. Он уверяет, что всему виноват Серапин: он тотчас уведомил Руничей о перемещении Кривошапкина, а то бы никто не знал о вакансии. Хотя бы и так было, все это не оправдывает Ивана Александровича. Он просил меня держать сие в секрете; я отвечал, что все сие мне известно

уже три недели и что в понедельник я буду писать тебе, разумеется, прося тебя сделаться защитником Трескина, и дать тебе возможность защищать перед князем справедливое и хорошее дело станет для тебя лучшим подарком к Новому году. Я не мешаюсь не в свои дела, но уже ежели Иван Александрович сделал мне эту честь – требовать моего совета, я не мог ему не напеть все, что было на сердце. Он ненавидит Трескина за его откровенный, суровый и несгибаемый характер. Вот тебе и все дело.

Александр. Москва, 3 января 1822 года

Вчера насилу убрался с бала в половине четвертого. Хотя и не скажу, чтобы очень было весело, но, потанцевав, захотелось что-нибудь съесть, поймал студени кусок, вина рюмку, да и ну бежать, жена уехала до ужина, голова болела. Общество было отличное, но кавалеры все что-то ленились. Матушка была в больших ажитациях и выказывала дочек Завадовскому и графу Салтыкову. Последний молодец и славно танцевал мазурку, а Завадовский, танцуя ее, вдруг упал плашмя, головою и лицом вперед. Все думали, что он себе нос раздробил на сто кусков.

Благодарю тебя очень за приказ, коим сделал я приятное Киселеву; он думал, что отставки не получит, а она вышла, и с мундиром. «Зачем идешь в отставку?» – «Очень надоел Веревкин[55]: то шляпа не по форме, то сюртук, то бранит за фуражку, к чему-нибудь да придерется. Теперь нечего будет говорить». – «Как нечего? Напротив того, сегодня бы тебя и бранить стал, ежели бы здесь был». – «За что? Нет, я по всей форме». – «Ан нет: снял бы с тебя эполеты, как смеешь отставной носить эполеты». Нехудо делает, однако же, Веревкин, что наблюдает строгость, а то скоро бы все надели фраки. Это позволяет себе Ев. Иванович Марков. Веревкин проиграл ему намедни 100 рублей в вист. На другой день дает ему пакет, говоря: «Исполняю мою обязанность». Тот отвечает: «Зачем торопиться?» – «Долг мой – такие вещи не отсрочивать», – отвечает комендант. Марков кладет бумагу в карман, но какое его удивление, найдя дома не сто рублей (кои Веревкин отдал после), но экземпляр приказа коменданту о наблюдении за военными, чтобы они одевались по форме? Наш Волков на такие финесы не пускался.

Константин. С.-Петербург, 4 января 1822 года

Вчера получил я приятный сюрприз доставлением ко мне докладной записки и подписанного указа о моей пенсии; теперь все устроено на прочном основании. Дай Бог долго пользоваться

царской милостью. О сем докладывали графы Нессельроде и Каподистрия. Государь изволил найти, что это очень справедливо, и тотчас подписал изготовленный указ. Потом отдали они копию с указа князю Александру Николаевичу, и тот мне его сообщил при самых лестных и дружеских уверениях в своем участии и удовольствии.

Александр. Москва, 5 января 1822 года

Во вторник был в Собрании славный маскарад, много масок, теперь уже 800 человек, и все еще записываются вновь: лишняя причина не соглашаться с злополучным проектом пускать на хоры за 2 рубля: то будет срам. Я много спорил со Степаном Степановичем Апраксиным и Башиловым. Немало будет еще шуму. Я решил для своей очистки подать особенный голос, который впишу в журнал, а там они делай себе, как хотят. Время определит, кто прав, а браниться с ними я не намерен. Юсупов, Масальский и многие хотят подписать мой голос, но поскольку я не стремлюсь становиться главою партии, то составлю бумагу так, чтобы я один мог ее подписать и никого не задеть. Апраксин мне сказал: «Старшины хотят быть деспотами, это не годится». – «Да вы, Степан Степанович, – отвечал я ему, – не старшина и не деспот, а подаете голос, коим требуете, чтобы законы собрания были совсем переменены; это еще хуже».

Александр. Москва, 9 января 1822 года

Меня очень порадовало извещение князево о воле государевой, чтобы ты имел вход за кавалергардскую. Ни по месту, ни по чину ты бы права сего не мог иметь; это очень лестно! Я от души порадовался, вот и год начался хорошо.

Князь бесценный человек! Отрада служить у такого начальника. Я ему все это приписываю: слишком бы велико было счастие полагать, что государю самому пришла мысль присвоить тебе лестное это право. Ай да брат, спасибо тебе за добрую весточку. Лишний раз тебя обниму. Ходи себе за кавалергардов, да и только. Милостивый поклон тоже раздался в душе моей! Кажется, вижу ангельскую улыбку, заменяющую всякую награду. Здесь ходит список наградам; но тут многие, о коих не упоминаешь, то и не очень я верю. Между прочим Шатилов сделан камер-юнкером, жена его очень обрадуется. Ей давно хочется переехать в Петербург, вот теперь и случай. Кажется, этим кончится, ибо продают свой дом. Ты ее помнишь, она красавица. Тебя затормошили обедами, а я от многих отказываюсь: хочется напоследки почаще бывать со своими. Сегодня не еду к Вяземскому, куда будут Бутенев и Дашков; последний подобрел и

стал, кажется, здоровее. У Вяземского много поят, поздно обедают и долго сидят слишком.

Поступок Корсаковой с Погенполем меня не удивляет. Римские дамы эдак не поступали, но наша Римская все себе позволяет. Здесь должна целому городу, никому не платит, а балы дает да дает. Мало у этой женщины доброжелателей. Жаль детей, коих она разоряет совсем.

Константин. С.-Петербург, 14 января 1822 года

Бал был прекраснейший, хоть не столь многолюден, как 12 декабря. Императрица Мария Федоровна очень хвалила почтовую книжку и благодарила меня за нее. Видно, Виламов, которому я послал один экземпляр, поднес ей; вообще все очень были милостивы. Во время ужина государь подзывал меня к себе (он не ужинал), долго изволил и чрезвычайно милостиво разговаривать. Я благодарил его за пенсию. Он мне отвечал: «Я был очень рад сделать что-нибудь для вас приятное». – «Вы сделали более, государь: это подлинное благодеяние». Также прибавил он: «Я пожаловал то, чего вы просили, вашим служащим». Я за это его благодарил, то есть аренда Гану и проч. Всякий раз, что с ним поговоришь, то, кажется, больше еще его обожаешь.

Танцевали между прочим французскую кадриль дочь князя Петра Михайловича, новая фрейлина Хитрово (Алексея Захаровича дочь), Бакунин и граф Моден, и очень хорошо. Купеческая зала, в которой ужинали, прекрасно была убрана и освещена; одним словом, нигде таких балов не бывает, да и средств таких не имеют. Ну, где найти три залы, как Георгиевская, Белая и Купеческая? В других дворцах и одной нет этой величины, а такой красоты, как Белая, нигде не найдешь. Во время конгресса в Вене из придворного манежа принуждены были залу сделать и присоединить к ней комнату, куда входили по лестницам. Это уже не то.

Поутру был я также, мой милый и любезный друг, во дворце, и за кавалергардскою, где гораздо приятнее, чем на прежнем месте. Тут фамилия останавливается и делает круг, а там только проходит себе к обедне. Государь пожаловал орден прусским чиновникам за конвенцию, но их должны были вручить только при размене ратификации, которую еще Голдбек не получил; вместо того рескрипт президенту коллегии был уже в последних петербургских газетах напечатан.

Александр. Москва, 16 января 1822 года

Сегодня у меня прощальный ужин для приятелей, а уже последнее время посвящу единственно жене и детям. Завтра

поспеет Костино[56] дорожное платье, кибитку уже вычинили, и пускаюсь, – я не Потемкин, на меня запрещения нет. Он выехал из города в санях в одну лошадь, под видом гулянья, и полиция имела приказание его догонять, но он догадался и выехал не в ту заставу; на днях едет графиня вслед за ним в Петербург. Какое это житье и что пользы в богатстве? Кстати: графиня делала подписку, к коей приглашала и мою жену, а именно: не носить ни блонд, ни кружев, ни перьев и проч., ездить на балы в простых креповых платьях без накладок. Деньги, кои останутся дома, отдавать бедным; но, кажется, это так и останется, несмотря на согласие многих здешних щеголих. Это слишком прекрасно, чтобы осуществиться. Как бы мадамы Кузнецкого моста не отравили графиню Потемкину за дерзкое ее намерение.

Вот письмо от Вяземского к Тургеневу. Бог даровал ему вчера (разумеется, не Тургеневу, а Вяземскому, что, впрочем, тоже быть могло с левой стороны) дочь Надежду. Вяземский пишет, что княгиня и мамзель Сперанская обе здоровы.

Александр. Москва, 17 января 1822 года

Вчера, как я писал тебе, собрались ко мне приятели на прощальный вечер, любезнейший друг. Я был в опере, куда звал меня Юсупов в свою ложу; после первого акта уехал домой, где собралось уже много православных, а после оперы наехали и остальные. Были Карнеев с женою, берг-инспекторша [то есть Софья Сергеевна Макеровская], П.П.Нарышкин с дочерьми, Озеров и Волков без жен, граф Ф.А.Толстой, от коего не мог отговориться от обеда сегодня, Осипов, Чумага, Лунин, Лунина и Риччи (а он болен горлом и не выезжает), Шатилов-красота, Брокер, Вейнбрехт, Обресков, князь Питер (а Пашенька поехала в Ростов Богу молиться), Метакса (этот готовил нам ризи по-венециански, коими мы объелись). Еще доношу тебе, что нельма была славная: как ни была уродлива, почти всю отправили, осталось только немного для Алены Максимовны [няни детей Булгаковых]; пили шампанское счастливому пути, а большая часть, кланяясь: «Я поздравляю братца с будущим вашим приездом в Петербург». Ах, забыл еще Саччи, который врал более обыкновенного. Играли в три стола в вист, я 51 рубль таки зашиб. После ужина началось маленькое курение, и мы проболтали до трех часов, вот как!

Вчера явился обоз из Белоруссии, ехал 17 дней; я почитал его пропавшим и не знал, что думать. Привезли обыкновенную провизию, которая очень будет освежать карман. Спешу скорее отправить назад: корм мужиков дорого становится, ибо даю им и завтракать, и обедать, и ужинать, да и попойку вином. Они

кормят нас целый год: можно их покормить несколько дней. Я велел привезти двух мальчиков: одного отдать учиться верховой езде, а другого – на завод конный к Муратову, чтобы сформировать из него шталмейстера. Оба годятся нам на начинающийся завод. Ефим пишет, что лошади процветают. Хорошо бы прибавить число кобыл; но где взять то, чем их достают?

Вчера получены свежие письма из Одессы. Чумага сказывал, что дела турецкие устроены к обоюдному удовольствию, что Суццу выдать, как и следовало ожидать, не согласились, но что, в удовольствие Дивана, велено ему будет выехать из России. Все это лучше должно быть известно у вас; но Чумага требовал, чтобы я тебе написал важное это, по его мнению, известие.

Константин. С.-Петербург, 18 января 1822 года

В 10 часов жена за мною заехала, и пустились на бал к княгине Голицыной, где был весь город. Поутру вся императорская фамилия приезжала поздравить ее. Император был первый, которого, вставши, она видела. Мы были также утром у нее и нашли ее в восхищении от милости государя и государынь. Потом стали валить с подарками внучата, принесли правнучат, и явилось множество дам и мужчин с поздравлениями к доброй старушке, которую нельзя не уважать сердечно.

Александр. Москва, 19 января 1822 года

Наташа, сообща с Карнеевою и берг-инспекторшей, взяла ложу на все представления до Великого поста. Обошлось всякой по 140 рублей. Я очень рад, что она будет иметь это утешение без меня. Жаль только, что заводятся большие интриги, и не у актеров, а у зрителей: все партии. И Гедеонов дурачина, коего посадили директором, вместо того, чтобы возвышать пение всякого, хулит всех, а одобряет одну Анти, в которую влюблен. Что же дирекции за выгода, что будут освистывать Замбони и что театр будет пуст, когда она поет? Худой расчет, а ежели отца Замбони огорчать станут, – все пойдет к черту, ибо им все держится. Юсупов мне предлагал директорство, но я с ума еще не сошел. Тут служат Юсупову и компании, а не государю, да не 50 тысяч жалованья, а ложа из милосердия. Негри за все свои труды и кресел не принял, а платит за них.

Вообрази себе, что подрядчики, коим граф Потемкин должен был за разные материалы, догнали его на дороге, узнав, что он поехал на Троицу; они его там настигли и цап-царап, не выпустили, покуда он не подписал, по требованию их, всех обязательств. Это много наделало ему бесславия в городе.

Александр. Москва, 20 января 1822 года

Здесь начались уже слезы: вчера Наташа и Алена проплакали целый вечер, а Костя очень серьезно спрашивает: «О чем вы плачете? Не на войну еду, а к дяденьке учиться; Волков Паша далее ездил – в Одессу». Теперь, как подумаю, то и я, право, не понимаю, как они могли решиться услать сына так далеко.

А.Я. Булгаков прожил в Петербурге у брата своего почти три месяца и с обратного пути писал ему.

Александр Ижора, 5 мая 1822 года

Пошла опять потеха писать! Но потеха быть с тобою, любезный друг, гораздо потешнее. Нечего делать. Я товарищей продержал немного в Царском, но насилу отыскал Костю в саду, был с ним у Алабова, коим очень был обласкан; но он говорит, что на вакансии вне Петербурга отпускать нельзя. Тем лучше! Костя – как розан; поплакал; оборвался, бегая, вели ему сшить какие-нибудь панталончики.

Наша карета – чудо! Чрезвычайно покойна и легка, как перо. Товарищи славные. Хочу критиковать и не придумаю что, кроме надписи: большая *карета,* а написано – почтовая *коляска*\ а на колясках напишет, я чаю, Федор Дмитриевич – почтовая карета. Совсем забыл: сделай одолжение, пошли взять в английском магазине выбранную мною у Никольса звезду Аннинскую бриллиантовую за 80 рублей и доставь ее ко мне по доверенной почте. Это для Рушковского, одолжишь.

Александр Бронницы, 6 мая 1822 года

Мы в Бронницах. Моста еще нет, мы переехали Мету на пароме. Карета опустилась: ремни слабы, надобно их поднять, чтобы не терять времени; товарищи мнения, что надобно выпить чайку; а так как это идет ладно с желанием моим тебе писать, любезный друг, то и я очень согласен с ними. Путешествие наше очень веселое. Мы себя величаем величествами вот почему: Диль называется Густавом, маленький Дашелион – Людовик, Герке – Георг. Первый слывет шведским, второй – французским, третий – английским королем, а я, разумеется, императором; забыл еще одно величество – испанское: старший Дашелион называется Фердинандом. Съестные и питейные дела славно совершаются на нашем кочующем конгрессе. На пароме гляжу, – кто же? – маленький виртуоз де-Витте; отец его едет со всею семьей в Москву, куда определен начальником над работами на место Леонтьева. Время хорошо очень, но бревешки надоели, скоро

кончатся.

Константин. С.-Петербург, 6 мая 1822 года

Занимались устройством путешествия государя, который (между нами) отъезжает 15-го в Вену и Белый Сток, а оттуда назад, так что в начале июня ожидают его обратно. Мария Павловна отправляется 20-го.

Александр Хотилово, 7 мая 1822 года

Дорога наша, как видишь, продолжается хорошо, любезный друг. Время, карета, лошади, ямщик и Никифоров – все благоприятствует нам. Ежели поедешь через Зимогорье, советую тебе у надзирателя поесть свежих сельдей с озера. Они не уступают кронштадтским ершам; а котлеты, кои готовит жена его, курляндка, стоят котлеток твоего повара. Мы все объелись и для того принимаемся за лекарство, то есть за чай и кофе. Можно надеяться, что послезавтра будем в Москве.

Константин. С.-Петербург, 9 мая 1822 года

На этих днях встретил я Сперанского с дочерью в саду. Он мне объявил, что дочь его невеста, что ожидает Багреева через две недели. Я был с детьми. Он очень любовался Сонею и всеми тремя. Третьего дня видел я Мечникова у Гурьева. Он в восхищении от императрицы, которая с великою княгинею осматривала Горный корпус и чрезвычайно была довольна. Я опять приступил к нему о вытребовании сюда Фавста. Он мне отвечал, что, кажется, это уже сделано и о сем писано; прибавил, что очень желает с ним познакомиться лично. Фавст лучше должен знать, точно ли Мечникову кажется, или он сюда действительно призван.

Император и императрица изволили совсем переехать в Царское Село, Мария Федоровна с великими княгинями – в Павловск. Нового ничего не слыхать. Мария Федоровна провожает великую княгиню до первой станции за Нарвою. Сенатор князь Николай Николаевич Хованский был вчера у меня. Он отпущен до излечения болезни в чужие края, с сохранением окладов. Государь его отпустил очень благосклонно и пожаловал 1000 рублей на дорогу. Он очень весел и доволен, поедет к водам, зиму первую, а может, и вторую, проживет в Париже.

Александр. Москва, 11 мая 1822 года

Волков оснуется на один год в Лозанне. Попроси доброго Каподистрию от Волкова, чтобы он прислал ему письмо рекомендательное к Криднеру [нашему министру в Швейцарии,

куда удалился граф Каподистрия]; это почти лишнее, но все-таки лучше Волкову не приехать туда с пустыми руками.

Напившись дома чаю, сел в дрожки и поехал к Урусовым исполнить комиссию Дмитрия Павловича. Вообрази мое удивление, когда князь, подводя ко мне Ваню Пушкина, говорит мне: «Рекомендую вам моего будущего зятя, Машенькиного жениха!» – «Ну, Ваня, ты в сорочке родился, счастлив ты, а она?» – спросила мать. И она будет счастлива. Странно, что, встретя Ваню в Петербурге на перспективе, третье мое слово ему было: «Полно тебе так жить, поезжай в Москву и женись на княжне Урусовой, она умна, молода, добра, выросла в нужде, не знает капризов, отец и мать люди добрые, ты богат, чего тебе еще?» Он по-моему и сделал, сказал это и родным, и, конечно, не будет в выборе раскаиваться. Одно мне неприятно: этот подлец Боголюбов барабанит, что он это все устроил; но это повторять могут только кумушки и завистники. Ваня поступает очень благородно и умно даже. Погрозил своим, что женится на какой-то польке. Катерина Алексеевна [то есть мать жениха, графиня Мусина-Пушкина]: «Женись на ком хочешь, только на равной себе», – и, видя, что приволачивается за Урусовою, ну его поджигать, а он тотчас старуху и за слово, и все в два дня решилось. Пушкины, кои не могли жаловаться на родство с невестой, отказались от своего единственного бога, от денег, и все довольны.

Свадьба будет в июле, и после тотчас опять Ваня с женою в чужие края. Я очень рад этому союзу. Она со своим умом будет делать из него что хочет и, верно, наставит его на хорошее. Княгиня очень обрадовалась портрету Дмитрия Павловича, и князю табакерка очень была приятна. В доме все веселы, и жених с невестой точно голубки. Ваня подарил своей будущей жене шаль в 6000 рублей, а другой сестре – другую, в 4000 рублей. Он покупает жемчужное ожерелье, за которое уже дает 20 000 рублей. Я его не узнаю, он стряхнул лень и стал щедрым. Это главная городская новость, и хромой черт поскакал в Петербург отнести ее Дмитрию Павловичу. Я чаю, тысячку-другую сорвал с Вани. Кстати: чтобы не потерять привычку, этот негодяй (сказано между нами) украл у Вяземского бирюзовый браслет. В комнате были только Вяземский, его жена, Четвертинский и он. Это вещь в 700 рублей и, к несчастью, княгине не принадлежит: придется ей за него платить. Она все еще больна. Молоко разлилось, пять ран было на груди, и она боится, что шестая начинается. Ее очень перевернуло, однако в свободное от боли время хохочет по-старому.

Тесть сказывал, что в пансионе Бибикова, столь хваленом, открыли какую-то секту: молодые люди нажигали себе кресты на

руке, с клятвою друг за друга умирать и проч. Ученики там так малы, что это не может быть как шалость какая-нибудь. Также говорят, что славное заведение Муравьева рушится, ибо он оное оставляет по какому-то неудовольствию. Говорят, что и тут что-то нашалили, и Муравьеву отказано в требовании примерно их наказать; признаться, не верю ничему, ибо источник ненадежен.

Он же вчера, отведя меня и жену к стороне, сказал на ухо: «Г-жа Афросимова, которая едет в Петербург, сказала мне давеча, что одна из дочерей г-жи Корсаковой была вчера похищена». – «Кем?» – «Не знаю, которая. И этого не знаю». «Вероятно, ни которая, ибо мы обеих видели *сегодня* у Волкова». – «То, что говорю вам, точно: ежели не увезли, то увезут, и сама мать на это настроила». Славная пулька. Кто наперед станет объявлять, что такую-то с согласия матери увезет? Но Корсакова столько делает сплетней сама, что не худо другим с нею поквитаться.

Бобринская сына простила, а Гагарина прокляла после молодых. Графиня объявила своей невестке, что будет ее любить как дочь, ежели она из мужа своего сделает порядочного человека. Полагаю это довольно трудным: он во время истории нагрубил коменданту, не хотел явиться даже к князю Дмитрию Владимировичу, который, наконец, принужден был его арестовать (князь с чрезмерною деятельностью занимается своей должностью).

Скажи Серапину, что все меня спрашивают о дилижансе; я не могу не сказать по честной совести, что выгоднее, покойнее езды выдумать нельзя, что готов бы был завтра везти в нем брюхатую жену в Петербург. Все мне одно отвечают: ежели случится ехать, непременно поеду в дилижансе. Афросимова в нем воротится из Петербурга. Советую этой Набатовой оказать всевозможное снисхождение, ибо она своим языком более может наделать заведению вреда, нежели все жители двух столиц вместе; жалею заранее о бедном Серапине.

История крестов в пансионе Бибикова точно справедлива. Их пересекли, и тем все кончилось. Я не только не жалею, что Костю не отдал туда, но радуюсь, что он под твоим крылом в Царском Селе.

Константин. С.-Петербург, 12 мая 1822 года

Сегодня в 11 часов у князя собрание Библейского комитета. Прежде должен я заехать к Дмитрию Павловичу, о втором путешествии коего в Вену очень поговаривают, а после комитета дает мне свидание граф Нессельроде.

Сказывают, что старик Пален умер, что княжна Алина Волконская выходит за князя Лопухина.

Тело Зубова привезено сюда в Сергиевский монастырь, что на Стрельненской дороге. Туда отправился первый дилижанс, который сам Серапин провожал; было четыре пассажира на разные дачи. Экипаж очень хорош, и, кажется, успех будет.

Александр. Москва, 12 мая 1822 года

Грустно быть с тобою в разлуке, любезнейший друг, но вчера я как-то живее испытал, какой отрады письмо! Твой № 1 чрезмерно меня обрадовал. Ставя себя на твое место, я писал тебе с дороги пять раз. Тому, кто едет, все как-то легче: дорога рассеивает, утешаться можно, думая о тех, к кому едешь; а у тебя ничего не прибавилось, а убыло. Как быть, давай друг друга утешать, давай писать по-прежнему. Бог велит, опять съедемся.

Вчера был я у Пушкиных, все тебе кланяются. Надобно посмотреть, как они все ухаживают за милою Урусовою, как ее хвалят, превозносят. Другие времена! Старуха мне говорит: «Она всем хороша; конечно, состояние у нее небольшое, но Ваня разделит с ней то немногое, что у него есть (не взыщите)». Княжество, начинающийся кредит Дмитрия Павловича, о коем здесь много трубят (и не знаю, право, почему), решили их выбор. Подъехал и Володя, едущий в Карлсбад: этот сожалеет, что не может жениться на другой сестре Урусовой, находя ее прелестнейшею в мире. Он говорит, что Сакен, Дибич и вся главная квартира умирают от нетерпения, чтобы была война. У Пушкиных было много народу. Множество ехало в Летний сад, хотя погода была незавидная. Василий Львович тебе кланяется. Старам стала. Вот и князь Петр не помнит ничего. – «Не забудьте же ужо на вечер». – «Да я кому-то уже обещал вчера еще на улице». – «Да это мне и есть, я вас остановил (ни слова правды), и вы дали слово». – «О, так буду непременно, а я думал, что другому обещал».

На днях вышло Муравьева «Путешествие в Хиву». Я видел у Лунина, чрезвычайно любопытно, и при книге атлас с прекрасными портретами, планами и картами. Стану доставать и пришлю тебе. Лунин все укладывает, едет в деревню и просил меня выписать ему интереснейшие журналы русские и франкфуртский журнал. Он теперь делает очень хорошие замечания на свод русских законов по военной части, напечатанные Закревским. Я уверен, что работа сия очень будет полезна. Куда жаль, право, что его не употребят деятельным образом. Он просил Гиппиуса подписать его на коллекцию портретов современников; надобно или теперь прислать всю сумму, или по мере, что портреты будут выходить? Еще просьба: когда пойдешь мимо, зайди к косметику, что над фруктовыми

лавками на Перспективной*, и возьми у него на 10 рублей курительной бумаги, коей вот образец. Ее держат на свету, и она наполняет ароматом комнату.

Так прежде звался Невский проспект.

Ну, брат, уж мостовые здесь – еще хуже ваших. Я иначе не буду ездить, как на ногах своих. До того вчера избило меня, едучи от Пушкиных, что я решился слезть и идти пешком. Вяземский звал к себе обедать, но я явлюсь только после, ибо он заставляет слишком есть, да и признаюсь тебе, что, кроме него, никого из компании его не жалую. Он догадывается, я думаю, потому что всякий раз говорит: «Приезжай, Иван Иванович Дмитриев тоже будет». Вяземский вчера меня спросил: «Что, Нессельроде и Каподистрия еще не отставлены?» – «Какой вздор! И похожего нет ничего». – «Ну уж поверь, что Каподистрией-то верно пожертвуют, чтобы сблизиться с турками». Откуда берут этот вздор[57]?!

Александр. Москва, 15 мая 1822 года

Я не знаю, почему здесь публика думает, что лотерея Головинская разыграна никогда не будет, что билетов разобрано очень мало. Я уверяю всех в противном; все твердят: да об ней что-то и говорить перестали! Не худо бы напоминать об ней частыми объявлениями, в коих видны бы были успехи продажи билетов, прибавляя анекдоты о чужестранных лотереях, а особенно о выигрышах, коими иностранные газеты наполнены. Сие обострило бы желания некоторых и жадность множества, особенно ежели это напечатается в «Инвалиде». Мне сказывали, что в мое отсутствие прошла молва, что прислали сюда последние 5000 билетов, назначенных для Москвы, и что все так и кинулись их покупать. Еще глупое уверение у всех, что выигравший Воротынец должен будет: 1-е – внести деньги для инвалидов, 2-е – что мужиков должен сделать вольными хлебопашцами.

Война, стало, начинается, и это Каподистрия ее устроил, но, как мы слышали, – на своем бильярде. Это он делит останки побежденных с Портой. Это прекрасно! Свидетельствуй ему мое почтение при каждом удобном случае: мне очень досадно, что сия воинская доблесть не проявилась в мое время. Кстати обо мне, не смейся: я видел Льва Яковлева в Итальянской опере, он спросил у меня новости о графе Каподистрии и сказал мне в весьма восточном стиле, как он предан графу и что, несмотря на весы правосудия, он склонялся всегда в сторону депеш, а не указов, что он более любит трактовать, а не судить, и предпочитает скрытого шефа (Каподистрию) явному шефу Лобанову. Еще было что-то, не упомню; в общем то, что лучше давать обеды в

чужестранной столице, нежели в своей приговаривать к кнуту, а он в Уголовном департаменте.

Шимановская давала первый свой концерт по подписке: было человек с 200, но не забудь, что по 25 рублей играла Шимановская одна и с Фильдом, в коем Манычаров имеет соперника. Она просила Фильда: «Переворачивайте, пожалуйста, листы, как я буду играть», – а он ей отвечал: «Нет, я буду пропускать, ибо буду смотреть все время на ваши изумительные плечи, вместо того чтобы смотреть в ноты».

Вчера был у меня Иван Александрович, явился в моей звезде – прелестно! – и очень доволен подарком. Не забудь дать прочесть Балабину записки Метаксы. Его мнение нам нужно, он может даже пополнить это своими замечаниями и сообщением происходившего в Риме, куда был он Ушаковым посылаем. Теперь принимаемся за вторую часть. Я вчера видел в Итальянской опере Сергея Тургенева, который все жалуется на здоровье!

Александр. Москва, 16 мая 1822 года

Посылаю тебе, любезный друг, чудесный парижский кий бильярдный, о коем я тебе говорил. То-то будут им делать клапштосы Манычар и Матушевич! Тут же особенный голубой мел для него; этого станет на очень долго. Турняк тоже особенный: поставив на бильярд белою костью, делаешь тоже клапштосный удар, а ежели кожею и ударишь шар костью, то удар скользящий. Мне его подарил Лунин. С Паулуччи Девиз, видно, так поступить хотел, как Щербатов с Зубовым; но найдет ли себе Паулуччи, как Зубов, шевалье де-Сакса? Может быть, и все это вздор; а для рижского почтмейстера, конечно, и один этот слух о главе их – большое происшествие[58].

Ай да Фонтон! Или, лучше, ай да акционеры! Лучшее доказательство, что акции идут в гору, а дилижансы процветают. Приедем в Питер, и красавица моя будет нас поить сама чаем из жалованного самовара. Не хвастайся погодою, и у нас тоже прекрасная, а княгиня Куракина пишет нам, что во Владимире и Шуе выпал страшный снег. Недаром и здесь было несколько дней холодно. Вяземский говорит, что Кривцов поехал в Москву, верно, *кривою* дорогою и очутится в Тобольске вместо Москвы. Вот 6 месяцев, что он все едет, а нанял Васильевское князя Юсупова. Как бы не пришлось ему жить зимою в Васильевском.

Вчера явилась в оперу в дорожном платье только что приехавшая из Петербурга Катерина Владимировна Апраксина, эта большая охотница! В ложе ее также сидел Ларион Васильевич Васильчиков; я не знал, что и он приехал. После «Турка», который очень меня веселил, был я у Урусовых. Шимановская тоже туда

явилась и кое-что побренчала на клавикордах.

Константин. С.-Петербург, 16 мая 1822 года

О помолвке Урусовой [княжна Марья Александровна Урусова выходила замуж за графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина] узнали мы прежде Боголюбова. Не удивляюсь новой его проказе, а удивился бы, если бы он, найдя удобный случай, им не воспользовался. О нем почти можно сказать то, что Фонвизин, не терпевший французов, несправедливо об них писал своему брату из Парижа: «Одним словом, если француз у тебя побывает и ничего не украдет, то думает, что забыл что-нибудь свое». Вот этакий-то наш хромоногий. Зачем Вяземский не потребовал браслета: он бы его отдал и отшутился бы. Но что о шалуне говорить! У Татищевых радость: третьего дня ей прислали Екатерининский бант, чем она очень довольна. Он откланялся и на сей неделе отправляется в Вену; с ним камергер наш. Ваниша также откланялся и также в четверг сбирается ехать через Вену к своему посту.

Государь отправился в четыре часа утра вчера. Надеюсь, что все у нас будет дорогою исправно. Сколько от меня зависело, устроил. Дай Бог, чтоб погода простояла хорошая, как теперь. Кутайсов сегодня отправляется в чужие края.

Александр. Москва, 18 мая 1822 года

Прошу не прогневаться: этот год не только не дарю тебе, истребую еще всякую минуту подарков от тебя. Пришли мне, пожалуй, 8 бронзовых блях на двери. Это продается у квакеров и прибивается к дверям на те места, где люди обыкновенно хватаются руками и муслят двери. Вели себе дать и нужные для прибивки гвоздочки. Штуку покупал я по 5, то 8 будут стоить 40; рисунок выбери какой тебе угодно.

Зная, что ты в Головинской комиссии, все меня спрашивают о лотерее, и я отвечаю что должно. Я уже прежде писал тебе о разных предосудительных случаях здесь, и потому не идет так успешно, как у вас, что у москвичей привычка все откладывать до самого нельзя. Всякий говорит: успею! Бог знает когда еще станут разыгрывать; а публикуй, что идет к концу, то все кинутся покупать. Я очень помню, что у нас в Собрании накануне первого бала было 113 членов, а во вторник подписалось более 500. Любят откладывать и иметь деньги в кармане на случай другого употребления.

Если Пален в самом деле умер (а было бы неудивительно в его возрасте), странно, что здесь говорят о смерти Бенигсена и что это случилось с ними обоими в одно время, что с Зубовым?!

Урусовых я вчера поздравлял от тебя в Итальянской опере; они очень тебя благодарят за память. «Севильский брадобрей» был чудесен. Я очень долго пробыл в ложе мадам Шимановской; это та самая, что прежде была бывшего директора Гедеонова. Там был Вяземский, и мы много смеялись. Она завтра дает свой второй концерт, а в понедельник возвращается (сакристи!) в Петербург в той же прекрасной карете, что привезла меня сюда.

На днях умер старик-князь Оболенский, отец здешнего попечителя университетского. Тетушка очень больна, думаю, что это род белой горячки; жаль добрую старушку, но я все надеюсь на ее редкую натуру. Молодая Бобринская должна была уехать вчера к мужу, но ее не выпустили из города за какие-то 6000 рублей, кои она должна.

Александр. Москва, 19 мая 1822 года

Свиньин в «Записках» своих не забыл и качелей; но сколько дал ему Юсупов, чтобы напечатать, что экипаж его был лучший, и зачем не упомянуть о клеенчатом халате, в коем его сиятельство изволил, сидя в карете, один разъезжать? Один из ваших алагерщиков явился к нам – Дивов, но я его еще не видал. Сегодня Сашка [то есть А.А.Волков] прислал звать нас к себе на целый день, на что я очень согласен.

Скоро пускаются они в путь. Вчера он уже оделся и ездил за паспортом к князю Дмитрию Владимировичу. Показывала мне Софья Александровна дорожную их карету, сделанную на заказ. Дорогонько, 5000 рублей, но зато бог знает чего тут и нет. Они берут с собою старшего сына Озерова, коему Волков в отсутствие свое препоручает все свои дела.

Говорят, что выдано будет белорусским помещикам по 25 рублей на душу; нам много бы пришлось, тысяч сорок, но я бы желал и то только, что мы издержали на прокормление. Благодаря Бога, у нас не так, как у большой части наших помещиков, где столько нищих, сколько мужиков.

Графиня Потемкина приехала; муж дом сломать сломал, а строить не строит, все остановилось, и графиня наняла на Пречистенке дом Облязева. Бобринский, скучая, видно, от жены, опять явился сюда тайно и живет в городе под секретом; вчера этим дразнили Обрескова, который уверяет, что без его ведома ни одна курица яйца не несет в городе. Погода была вчера непостоянная, однако же весь город был на гулянье в Марьиной роще, и певица Анти была в карете князя Михаила Петровича Голицына.

Константин. С.-Петербург, 19 мая 1822 года

Не спавши совсем ночь, я, хотя и устал, но почты не пропущу; а отчего не спал, извольте послушать, мой милый и любезнейший друг. Воронцов, простясь с матерью, приехал вчера вечером ко мне, где дожидались его общие наши приятели. Как не проводить дружка! Велел запрячь стрельненский дилижанс, то есть большую линейку, сел в нее с Воронцовым, Кокошкиным, Балыпем, Матушевичем, Шиллингом, Манычаром, и поехали в трактир, что устроен тут на Царскосельской дороге, где я наперед заказал ужин. Ехавши туда, хохотали как сумасшедшие. Балып беспрестанно обо всем спрашивал и у часовых на заставе, и у встречающихся мужиков, говорил по-русски и очень нас веселил. Приехав в трактир, отрыл скверный бильярд, на котором заставил нас играть в алагер. Мы пробыли там до четырех часов, провели время весьма весело, дурачились, смеялись, а там, погрустя и расставаясь с добрым Ванишею, и воротились домой к пяти часам. Тут уже не тоска была: явилась московская почта, а с нею и твой милый № 8. Пока мы были в трактире, проехал и Татищев, или, лучше сказать, промчался.

Ты можешь смело всем говорить и не солжешь, что лотерея [на имение графа Головина Воротынец идет прекрасно, билеты продаются как нельзя лучше; вчера еще на 27 тысяч продали в один день. Я о новом объявлении думал, оно печатается и, чтоб более дать ему веса и веры, будет за подписью членов. Из оного увидишь, что крестьяне будут принадлежать тому, кто выиграет деревню, и что ни копейку счастливец не внесет для инвалидов. Также описан образ розыгрыша, прибавлен новый выигрыш, состоящий из дома в Нижнем. Я надеюсь, что все это даст более доверенности публике. Между тем мы платим уже проценты кредиторам, и надеюсь в скором времени заплатить им половину долга. Что разыграют лотерею, в этом нет сомнения. Если к сроку, который положился самый непродолжительный, не продадутся все билеты (а я уверен, что будут проданы), то, при выдаче кредиторам половины долга, обяжем еще подпискою взять и разделить между собой остальную часть билетов. Они уже все на это согласны. Что же тогда помешает розыгрышу лотереи? Одним словом, отвечаю тебе, что все кончится как должно. Увидишь, что, когда кредиторы возьмут остальные билеты, то под конец будут еще продавать гораздо дороже. Теперь у нас здесь не более двадцати пяти тысяч, и разбирают ужасно.

Знавал ли ты барона Бюллера, который был в Вене по поручению Министерства финансов? Он недавно отсюда поехал. В день его именин семейство его ждало, по обыкновению, завтракать, но он не явился. Прошел день, его все нет, совсем пропал. Наконец, полиция отыскала фиакр, который его привез в

Аугартен и там оставил. Полагают, что он утопился в Дунае. В его бюро нашли записку: «Когда дух и тело разрушены, человек должен покончить с собою. Поручаю мою душу и семейство Богу». Жаль и его, и семейство. До сих пор причина неизвестна, а тело еще после трех дней не было отыскано.

Паулуччиево дело кончено. Нашли средство их помирить, они не дрались и оба возвращаются в Россию. Слава Богу! Оба люди немолодые и семейные.

Константин. С.-Петербург, 20мая 1822 года

Государыня и великая княгиня, отслужив молебен в Казанском соборе, отправились в Петергоф, откуда возвратятся в Стрельну, ночевать будут в Ополье, завтра завтракать в Чудлее, где и разлучатся. Императрица завтра ночует в Ополье и оттуда прямо проедет в Гатчину, где пробыв два дня, возвратится в Павловское. Гагарин поехал провожать великую княгиню до Полангена, и я послал Лихачева, коему поручил устройство тракта.

Александр. Москва, 22 мая 1822 года

Сейчас был Шафонский, тоже просидел более получаса. Говорит, что князь Дмитрий Владимирович очень трудится, вникает и приобретает опытность. Лунин очень тебе благодарен за попечение о нем. Он решительно оставляет службу, и ежели не пристроит его Закревский, куда мы думали, или не дадут хорошего губернаторского места, то решился жить в деревне. Право, жаль, что такой способный человек не употреблен. Что же касается до нахождения при князе Дмитрии Владимировиче по особым поручениям, то их тут уже дюжина; да с чином его это было бы себя унизить.

Волков, всемирный сват, тоже хлопотал о Вейтбрехте, но Хомутова отвечала: «Если уж я пущусь на такого рода безумие, надобна хоть какая-нибудь причина. Вейтбрехт ни красив, ни любезен, ничегошеньки не имеет; говорит, что может всего добиться, как любой другой, но я уж немолода, и когда он добьется чего-нибудь, я буду старухой беззубою».

У Вяземского завтра какой-то пир для Шимановской, и он тонкое, нежное, музыкальное ее ухо потчевать будет цыганками. Звал меня, поеду посмотреть. Она, мне кажется, не восхищается своею поездкою сюда, но все-таки тысяч пять собрала. Мне кажется, ты с Беннера не скоро получишь свою 1000 рублей. Немного достает он, хотя и трудится.

Одесский лицей приходит в упадок. Месье Жиле заменен каким-то саксонцем, не умеющим говорить ни на каком языке, и

заведение задолжало более 100 тысяч.

Вечер провели мы у князя Василия Алексеевича [Хованского]. Как выпили за здоровье княгини, то после К.В.Апраксина, взяв рюмку шампанского, сказала: «Г-н Булгаков, за здоровье Константина Яковлевича!», – что очень было для меня приятно, и все повторили ее поздравление.

Обресков только что было покушал, – вдруг его потребовали на пожар: что-то неважное сгорело за Мясницкою, и он явился оттуда верхом на казацкой лошади (дрожки сломались), весь в дыму и с плетью в руках, – хорошенькое ремесло! Были там между прочим Сологубы и молодой Толстой, адъютант князя Дмитрия Владимировича; он жених молодой и очень красивой девицы. Моя жена у него спрашивает: «А когда свадьба?» Он дал следующий ответ, довольно смешной: «Не могу вам сказать, здоровье матушки нас сильно тревожит, я должен поехать на воды, чтобы *укрепиться*, а невеста моя должна пить козье молоко, у нее очень хрупкое здоровье!» Вот так обещающая женитьба! Матушка, жена Сергея Васильевича Толстого, была, говорят, приговорена Шнаубертом.

Сделай одолжение (ибо я солгал и сказал, что это сделано), вели поставить деревянный крест простой на могиле бедного Керестури с литерами: *Н.К. 18-го февраля 1822.* Родные делают ему монумент, так чтобы могли тотчас его отыскать; я уверил сестру его, что это выполнено было тогда же. Тут дела на 20 рублей.

Ростопчин не велел уже писать к себе в Париж: он возвращается в Россию и зиму эту проведет в Вене. Бедная Небольсина, очень благополучно разрешившись от бремени, опять плоха. Вчера видел я мужа у тестя; ее как-то испугали в девятый день. Впрочем, я никогда не считал на ее здоровье, мать умерла в чахотке. Вот и славный Попандопуло явился, берется вылечить Небольсину; видя, что я пишу тебе, диктует мне: «Напишите Константину Яковлевичу, что я целую ручки у Марии Константиновны и у него». «Ах, батюшка, – говорит Наташа, – ведь он не архиерей». – «Ах, сударыня, знаете вы, он *больше* архиерея и не *менее* ангела». Вот у нас как, сударь!

Кривцов приехал прямо в Васильевское, где от трех часов до девяти вечера не мог добиться напиться чаю, и немудрено: чего не имеешь с собою, того в глуши той и не найдешь, и они замучают себя, ездя всякий день в город, и по дурной дороге.

Александр. Москва, 23 мая 1822 года

Ты загулялся с Ванишею [то есть с графом Иваном Илларионовичем Воронцовым], а я вчера у Вяземского пробыл до

третьего часу, арестован. Я цыганок ненавижу, а пришлось их и слушать, нечего делать. Похвали меня: не ужинал и не пил ничего, кроме одной рюмки шампанского за здравие Шимановской. После ужина ушло нас человек с 12 к князю в кабинет; подали трубки, Василий Львович начал декламировать, явился Буянов, и понесло всюду табаком. Никогда не видал Василия Львовича таким вдохновенным, как вчера; а было вчера одних Давыдовых пять: Денис, Левушка, Дмитрий, Александр и Петр Львовичи, Сергей Тургенев, Иван Иванович Дмитриев, двое Пушкиных, Шаликов, Шаховской, Чаадаев, англичанин-вояжер, который не мог надивиться на цыганок, Кривцов с женою (кстати, они хотят нанять наш дом слободский, очень бы хорошо, Васильевское им надоело), Сонцов, Тимирязев и некоторые музыканты. Комната была наполнена цветами, и все исчезли: всякий держал нарцисс перед носом, чтобы не слышать мерзкий цыганский запах.

Я, читая твое письмо, смеялся один; ты говоришь, чем-то старуха П. подарит невесту, уж не телескопом ли из Валуева? Именно так. У них Володя занемог и должен прежде здесь полечиться, а там уже ехать к водам. Князь Петр уехал в деревню, а Максим, бедный, плох: с утра до вечера читает Вольтера, спит на стуле, борода как у попа, а ногти как у кошки, и говорит вздор. Этот человек был очень религиозен; а как это основание обрушилось, он остался ни с чем, и голова у него кругом пошла! Сделался ужасным безбожником, жаль его очень.

Благодарю за косметическое курение, а еще более за Климово, которое обещаешь. Я ему взамен пришлю ваксы: у вас нет хорошей. Я тебе послал уже две арии, вот тебе и третья, сию минуту принесли. Ужо будет «Нина», первое представление, еду, само собою.

Константин. С.-Петербург, 23 мая 1822 года

Вчера был я у обедни у князя. Это последняя, ибо он начнет свою кочующую летнюю жизнь в конце сей недели и будет переезжать из Царского Села на Каменный остров, а с острова в Царское Село[59]. Мы же его будем видеть в департаментском доме на перепутье.

И у нас настоящее лето. Вчера было в саду гулянье, в котором обыкновенно купцы невест выбирают. Много было и тех, и других; а удачные ли были выборы, не знаю. Кривцов к вам поехал. Спроси его, как он у заставы просидел часа с два. Мне Тургенев рассказывал какую-то историю о корове, у которой оторваны рога, но с обыкновенными своими дистракциями, так что я ничего не понял. Тургенев что-то часто ездит в Царское Село. Шатилов мне

сказывал, что гвардейская кавалерия возвращается уже теперь, а пехота – после смотра.

Третьего дня был я на час во французском театре. Куда дурно! Говорят, что будет в оном перемена, что Дюран завозит новую труппу партикулярную и что настоящая совсем существовать не будет. Им дозволили играть на Малом театре, дадутся костюмы, оркестр и освещение; за то они обязываются играть во дворце всякий раз, что сие потребуется от них. Авось, тогда лучше будет.

Александр. Москва, 25 мая 1822 года

Я Бюллера видел, кажется, во дворце у заутрени, в сенаторском кафтане с белою Мануцевою лентою – великан. Ему надобен был Дунай: в другой реке не утопился бы. Сожалею о нем, хотя вовсе его не знал. Здесь сказали, что Паулуччи убит, а выходит, что их помирили, это лучше; зато в Саратове убит на дуэли молодой Анненков, тот, что убил Ланского год тому назад. Он послан был за ремонтом, дрался там с каким-то князем Оболенским и был убит наповал.

Итак, Грессер точно умер. Мне как больно было видеть бедную его жену в театре итальянском, тогда как за плечами ее вилась такая беда. Она хохотала, не зная оное несчастие. Князь Дмитрий Владимирович, говоря о сем со мною, находил, что это очень глупо со стороны ее родных – допускать ее ездить в театр; да и подлинно могла бы она как-нибудь в коридоре или на лестнице узнать из громкого разговора двух ее знающих, что Грессер умер, как не представляющую интереса новость.

Просьба к тебе от Луниной и Риччи. Старуха хочет зятю своему предоставить седьмую часть, следующую ей после Петра Михайловича, покойного; но он, яко иностранец, не может владеть деревнями в России, и для получения сего права желает вступить в подданство. Сказывают, что такая натурализация должна производиться через Министерство иностранных дел; они не захотели беспокоить графа Нессельроде, но просят тебя точно узнать через кого-нибудь, кого сочтешь нужным, что надобно предпринимать в сих случаях. Легкое ли это дело или надобно будет исполнять много формальностей? Не забудь дать мне ответ на сей счет, чтобы им сообщить. Это, верно, знать должны Поленов, Юдин или приятель наш Деболи.

Шереметев, сын Катерины Сергеевны Ивашкиной, бывший адъютант графа П.А.Толстого и им прогнанный от себя, женился без позволения матери на какой-то девушке, которая могла бы быть его матерью. Княжна Волконская [это мать графа Л.Н.Толстого], дочь покойного Ник. Сергеевича с большими

бровями, старая девушка, дурная собою и которая, не надеясь на сладость замужества, роздала часть своего имения жившей у нее англичанке, теперь сожалеет о своей щедрости, будучи помолвлена за графа Толстого, сына Ильи Андреевича, брата графа Федора Андреевича.

Мой глухой произвел мне аргумент, весьма меня позабавивший. «Что ты так задумчив, Евсей? Верно, жалеешь о покойной твоей жене?» – (Вздохнув тяжко.) «Ох, ваше превосходительство, топиться приходится». – «Почему же?» – «Как почему? После жены остался гардероб, вещи, платья, сот на шесть; скажу вам, как отцу духовному, продать за бесценок жаль, я положил тут все свои деньжонки. Чтобы даром не пропало, ох! – нечего делать, придется *приискать вторичную жену*: хоть поносит платья покойницы. Только жду вашего позволения». Забавно то, что мы с женой хохотали, а он плакал горючими слезами.

Константин. С.-Петербург, 26 мая 1822 года

Браво, вот и новая иностранная почта получена, то есть третья, в первый еще раз. С последнею уже Нессельроде имел в 17 дней письмо из Парижа. Кажется, идет порядочно. Дай Бог, чтобы всегда так было, а я, конечно, не буду трудов жалеть. Сейчас приезжал ко мне прощаться Перовский [Лев Алексеевич, при Николае Павловиче – министр внутренних дел], что женат на вдове Уваровой (он едет через Москву в чужие края), а вчера был у меня граф Сергей Петрович Румянцев с благодарностью за какие-то одолжения. Он мне рассказывал, что брюхатая женщина шла через площадь, где монумент его отца; вдруг ее схватило, и она родила сына на ступенях обелиска. Румянцев сам ездил в Воспитательный дом отыскать ребенка и берет его на свое воспитание. Может быть, и выйдет из него герой, и тогда это происшествие будет примечательно.

Константин. С.-Петербург, 27 мая 1822 года

Ну уж вчерашняя почта славно пришла! Привезла письма из Гамбурга в 10 или десятый день, а из Франкфурта в 13. Все удивляются, и, кажется, все довольны. Меня это истинно веселит и утешает. Купечество особливо радо. Для него разница превеликая и превыгодная. Вчера был у меня один из первейших с чрезвычайными похвалами.

От Воронцова получил письмо из Порхова; едут хорошо, экипажи не ломаются. Кокошкин здоров, все спит. Воронцов тебе кланяется. Дня через два могут быть в Вене, а Татищев, верно, гораздо ранее еще приедет. Нового ничего не слыхать.

Я полагал Ришелье гораздо старее; ему только 53 года было.

О нем все честные люди жалеют во Франции. Вот и род его прекратился. Я думаю, немало способствовал к его кончине Донадье, который нигде ему покоя не давал.

Князь Александр Лобанов 1-го числа уезжает на год в чужие края. Его очень перевернуло. Если не будет вести жизнь самую порядочную и выдержанную, то вдруг может случиться беда.

Александр. Москва, 29 мая 1822 года

Новости наши неважны. Город пуст. На днях выкинула Протасьева, урожденная Шереметева, от испугу. Мать сказала, что проклянет брата ее, женившегося без позволения на Бибиковой, ежели он жену привезет к ней; сестру это тронуло, и она выкинула. Куда много теперь молодежь своевольничает? Только и слышно, что про шалости.

Анненков не умер. Мать получила известие, что он ранен выше колена, что ногу отняли, но надеются, что останется жив. Она послала туда доктора и сама едет к нему, получив первое уведомление. Говорят, что это другой брат, а не тот, что убил Ланского. С Вяземскою все делаются чудеса. Намедни ей при мне вставили фальшивый зуб. За обедом стала она есть, сломила зуб и… проглотила его. Это других последствий не имело, но я думал, что она не вставит зуб на место… Стану ее дразнить; верно, не утерпит, покается или дурно станет отпираться. Экие чудеса!

Константин. С.-Петербург, 30 мая 1822 года

Третьего дня были мы вечером у Татищевой на даче, а потом у Гурьевых с женою. Тут множество нашел я гостей, иностранных министров и проч.; все превозносили взапуски почту и удивлялись необычайно скорому ее ходу. Теперь у меня другой проект, для австрийской почты; надеюсь, также удачливо кончится. Тогда почтовые сношения наши с иностранными государствами будут производиться как нельзя лучше, и все это станет правительству (как говорит Фирсов) ровно ничего, а пользы будет много.

Ну, брат, ваша Шимановская [известная пианистка, позднее теща поэта Мицкевича. Она ехала из Москвы]! Серапин от нее в отчаянии; всю дорогу капризничала до бесконечности, всем недовольна, то хочет ехать, то опять нет. Покрыли важу с ее платьями кожею, дабы более еще сберечь их, и это над каретою; велела снять, говоря, что воняет. На станции у смотрителя пробежала кошка; она закричала, упала в обморок и подняла тревогу, как будто бог знает что случилось. Приехав в город, хотела не заезжать в контору, а прямо проехать домой;

смотритель не мог согласиться и предложил ей заехать сперва в контору и попросить дозволения, в котором обещал, что не откажут; не захотела, опять завела историю. Скупа до крайности: в трактирах, прежде нежели съесть кусок жаркого, торговалась с полчаса, а смотрителю, которого измучила, не дала ни копейки. Да он бы сам ей заплатил, чтобы только от нее избавиться. Экая причудница! Я обещал в утешение Серапину тебе все это написать.

Ты Бюллера точно видел во дворце, но не утонувшего, а его брата-сенатора. Тот все время жил в Вене по препоручениям и приезжал сюда только по делам. До сих пор не знаем, что его побудило лишить себя жизни в 60 лет. Недолго бы, кажется, и подождать законного срока.

О Грессере меня уведомили, что он умер, но не ручаюсь, правда ли, и желаю противного. Мне все подробности даже рассказывали. Он приехал, кажется, в Вильну обедать к приятелю, где и сделался с ним удар.

В доме, где живет зять вашего Голицына [князь Николай Васильевич Долгоруков, женатый на княжне Екатерине Дмитриевне Голицыной], был пожар, загорелся второй этаж, и отчего же? У купца были козел и самовар. Козел спит возле самовара на чердаке, вывалились уголья, у козла загорелась борода и шерсть, он побежал от испуга по чердаку, зажег белье, которое сушилось, и от белья пошло драть; все комнаты того этажа сгорели, лестница деревянная занялась, и чтобы тушить, полиция принуждена была от Долгорукова проломить потолок и туда влезть. Несчастный козел сбежал еще по лестнице весь в поломе и с лопнувшими глазами, и, говорят, от него первого узнали о пожаре. К счастью, княгиня, которая брюхата, совсем не испугалась, очень хладнокровно вышла из дому и явилась к Екатерине Федоровне [то есть к своей свекрови]. У них все успели вынести, так что они ничего совершенно не потеряли. Он, говорят, перетрусился, да и есть от чего, имея жену в таком положении, и однако же, жена его не испугалась.

Государь выехал из Вильны обратно 25-го, великая княгиня доехала благополучно до Полангена; следовательно, мне, чтоб быть совершенно покойным, остается только ожидать прибытия государя. Я надеюсь, что все обойдется хорошо, хотя ранее возвратится двумя днями против маршрута, ибо не изволил ездить в Белый Сток.

Александр. Москва, 1 июня 1822 года

Я старика Дибича знаю. Как мы представлялись государю, то и он тут был; должно быть, лет во сто.

Анекдот женщины, родившей сына у подножия Румянцевского обелиска, прекрасен, и граф Сергей Петрович очень хорошо поступил. Какая странная судьба постигает этого ребенка при самом его рождении! Почему знать? Может быть, и выйдет из него другой Румянцев, и тогда, верно, скажут, что анекдот о месте его рождения выдуман.

Вчера в Итальянской опере большая крыса многих напугала, в ложе Кашкиных она одну даму схватила за ногу, та закричала, крыса вспрыгнула и бросилась на жену нашего сахара Щербатова, сидевшую возле в ложе, оттуда побежала в партер. Гриша Корсаков ударил ее палкою, и она исчезла. «Что за крыса была?» – спрашивает меня Юсупов. «Право, ни церковная, ни полевая; то была, думаю, крыса театральная». Дамы так были напуганы, что малейшее движение казалось им крысою, и я все мучил Вяземскую, которая выезжает совсем больною и не таится, что она брюхата.

Константин. С.-Петербург, 2 июня 1822 года

Государь изволил прибыть третьего дня после обеда благополучно в Царское Село. Дорогой, слава Богу, все обошлось порядочно, везде был доволен, и остановок нигде не было; теперь и я спокоен! Чиновнику моему сказал «спасибо» и велел явиться к князю Волконскому, для получения награждения.

Александр. Москва, 5 июня 1822 года

Ай да почта! Да как ее не хвалить: 13 дней из Франкфурта-на-Майне. Это прекрасно. Я с большим удовольствием читал в гамбургских газетах статью о прусской конвенции и о награждениях Владимирами, Аннами и Орлами. Это, вероятно, повторят и прочие европейские газеты. Пусть знают наших! А я очень понимаю, что чужестранные министры тебя превозносят. Для пребывающего вне отечества почта – отрада, а скорая исправная почта – благодеяние. Я чувствую эту истину, не будучи ни министром, ни вне России.

Князь Дмитрий Владимирович Голицын спросил меня вчера: «Прошу вас, скажите мне, как бы сделать, чтобы завести дилижансы и в наших краях?» – «Это, князь, зависит от вас и от г-на Рушковского». – «Препятствие не в том, я ведь с г-ном Рушковским часто о сем говорил, а дело все не двигается. Я ему говорю про выгоды сего заведения, а он мне – про одни трудности». Я отвечал, что всего бы лучше начать для пробы с Троицы. Тут вошла Катерина Владимировна (это было в ложе в Итальянской опере), и тем и кончилось. Князь не знал о пожаре и смеялся *козлу-зажи-гателю.* Я его совершенно успокоил насчет

дочери. «О! – сказал он. – Она чрезвычайно бесстрашна в таких случаях». – «Моя дочь, – сказала Апраксина, – мне сообщает то же самое, но я не захотела ей говорить, чтобы ее не напугать». – «Разумеется, – отвечал я, – если бы все вышло не так благополучно, я никогда не захотел бы первым объявить князю неприятное известие; но не случилось ни страха, ни несчастья, ни вреда!»

Теперь желаю тебе устроить все так же с австрийцами, тогда оставишь славные памятники в почтовом департаменте. По поводу Фирсова, по словам коего ты говоришь, что новое образование почт станет правительству *ровно ничего,* вот письмо от Марушкевича; прочти и помоги этому бедняку. Он один только честно с нами расплачивается; будучи уездным судьею в Велиже, он об нас всегда заботился. У него 8 или 9 человек детей; зачем не поместить его на место Фирсова, ежели тот подлинно воспарит в вице-губернаторы? А я знаю, что им довольны в Смоленске, и сам Фирсов очень его мне хвалил; сделай это.

Благодарю за сведения, кои Риччи желал иметь; мать решается следовать совету, прежде данному мною, то есть, не вступая в подданство, продать то, что ему назначила, а вырученные деньги отдать для него в Воспитательный дом. Кто знает, может быть, и поедут в Италию, а он захочет деньги эти употребить на покупку там дома, дачи или имения. У них теперь очень неприятный процесс. Петр Михайлович, покойный [то есть Петр Михайлович Лунин], купил соседственное имение за 90 тысяч, владел им 10 лет, будучи законным порядком введен во владение. Теперь какой-то Чулков доказывает, что продавец не имел права продать (зачем же правительство допустило совершить купчую?), имение взято в казенный присмотр, и до решения дела за 90 тысяч на все их прочее имение, стоящее более двух миллионов, наложено запрещение! Боже сохрани и злодеев наших от тяжб! Ничто не отнимает так здоровья.

У нас здесь много вестей из главной квартиры, но они должны быть вам уже известны. Хилков на место Левашева в лейб-гусарский полк. Новосильцев, бывший адъютант Сакена, во флигель-адъютанты; мать, говорят, в восхищении. На место Ланжерона, говорят, граф Витт. Я спрашивал князя Дмитрия Владимировича о сем. «Это, – сказал он, – весьма вероятно; ибо в своем первом письме Ланжерон мне писал, что просит дозволения ехать на Баденские воды». Какие прыжки дал Витт в эти три года: Александровская [лента], генерал-лейтенант и военный губернатор прелестнейшего края в России.

Я забыл тебе написать о кубке, но сказал Рушковскому, который, по обыкновению своему, наговорил мне пропасть фраз,

а главного не понял. Окончив ответ мой, стану тебе говорить все, что в голову пойдет. Начну с квипрокво с моей женою. Являюсь из театра. – «Кто там был?» Называю между прочим Потемкина. «Зачем это он сюда явился?» – «Да он из-за родов жены своей приехал». – «Жена его брюхата?! Как я рада: она всегда так желала иметь детей». – «Да ведь это уже третий у нее, милая моя». – «Третий? Ты вздор говоришь, она никогда не была брюхата». – «Да была». – «Но о ком ты говоришь? О Потемкиной, жене богатея?» – «Нет, жене генерал-адъютанта». А Наташа готова была уже парировать со мною.

Гуляя пешком, встретил я также пешего князя Дмитрия Владимировича. Он мне предложил пойти посмотреть на строящийся театр. Я согласился с удовольствием. Удивительно, как продвинулась работа: князь сказывал, что 30 августа 1823 года будет он уже открыт, что его покроют теперь, дабы зимою можно было внутри работать. Я боюсь только беды: ежели зимою станут штукатурить и заведется сырость, то первое: оную никогда не выгонят, второе: будет вредно для всех, третье: не будет прочно. Но театр будет глух. Страшная громада. Сцена будет пятью аршинами менее миланской «Ла Скала». К 1824 году вся эта площадь от нашего Собрания вверх до дому Дадьянова, где мы, помнишь, жили после французов, будет уже застроена, и родятся три или четыре новые прекрасные улицы и более двадцати каменных новых домов. Кстати очень пришлось, и я князю предложил наших белорусских граберов. Ефим просит о сем. Это будет выгодно для мужиков. Другие помещики сами наживают сим, но я все деньги обращу в пользу самих мужиков, не отдавая им денег (всякий может заработать рублей 60): велю на них купить им лошадь, корову и проч., и для того велю Ефиму выбрать беднейших. Князь даст мне знать, нужно ли на это лето; а ежели уже запаслись работниками, то возьмет наших на будущий год. Я, пожалуй, поставлю 200 человек; я заехать хотел нарочно к князю и рад, что это устроил.

Константин. С.-Петербург, 9 июня 1822 года

Вчера утром был я у князя Петра Михайловича. Государь был во время путешествия своего очень доволен, везде все было исправно, и чиновнику моему велел пожаловать 500 рублей. Побочный путь от Кокенгауза (где живет граф Бре, через славный Мариенбург, в котором родилась

Екатерина I) в Псков государю очень понравился. Тут живут в своих замках богатые лифляндские помещики, много развалин, оставшихся еще от рыцарских времен, местоположение прекрасное, и дорога очень хороша. У графа Бре государь

ночевал, также и в Мариенбурге у барона Фитингофа. Слава Богу, что все обошлось хорошо.

Шимановская едет, кажется, завтра в Варшаву, но уже не в дилижансе, к величайшей радости Серапина и проводников. Ну уж капризница, как всякая красивая женщина, хотя с уменьшением красоты должны бы уменьшаться и капризы. Впрочем, она сама не догадается, а кто ей скажет, что в сорок лет она уже не то, что была? Верно, не Манычар, который находит ее прелестною.

О кубке [который был поднесен К.Я.Булгакову чиновниками почтамта] ты сказал Рушковскому; да этого не довольно: надобно, чтобы чиновники изъявили свое согласие отдать в церковь и чтоб Рушковский написал о сем князю, и Егору Львовичу поручено бы было сделать из кубка сосуд, годный для церкви.

Константин. С.-Петербург, 10 июня 1822 года

Только что я сегодня проснулся, явился Доболи весь встревоженный. Что такое? Между нами будь сказано, старик Вакареско умирает, и, вероятно, его нет уже более; все голову потеряли, я там провел ночь и только сейчас возвратился. В довершение несчастия у детей корь. Одевшись, поехал я к княгине и нашел их точно в самом горестном положении, так что уже и старухина невнятица не смешна. Тут был и Реман, который меня совершенно успокоил и уверил, что могу ехать к детям, только бы переменил все платье, что корь только началась, я же не вижу больных. Старик еще не умер, но уже без чувств, и часть тела в параличе; вероятно, оставит свет этот прежде отправления моего письма. Царство ему небесное, он там будет счастливее! Он исповедовался, причастился и теперь лежит покойно в ожидании переселения из сей жизни в вечную. К жене я писал, чтобы она ни под каким видом не ездила к княгине, где и без того много женщин и есть кому за ними походить. Я и сам более не поеду, дабы не иметь ничего на совести. Реман мне сказывал, что кори теперь здесь много.

Александр. Москва, 12 июня 1822 года

Трубецкой, брат графини Потемкиной, с коим я всегда сражаюсь в бильярд, сказывал мне, что здесь кто-то под залог прекрасного имения в Нижнем, где и казна за душу полагает по 500 рублей, не может найти 17 тысяч: все разъехались, и ни у кого денег нет. У Ефима должно накопиться тысяч 13, но не шлет, а оттуда почта ходит немилосердно долго. Никогда скорее 11-ти, а часто 13, 14 и 15 дней.

Статья о театре в «Инвалиде» очень смешна. Вяземский хочет положить это на стихи. Здесь давно слышу я, что граф Аракчеев болен. Он не молод, не плотен, завален работою, мудрено ли!

Я вынул письмо варшавское из пакета и отдал-таки Вяземской. – «Что это на вас нашло? Кто вам дозволил мои письма распечатывать? Милый, смотри же, прошу тебя». А все это при «милом» было сделано в другой комнате, и «милый» (то есть муж, разумеется) видел, в каком положении пришло письмо. Тогда княгиня сказала: «О, это письмо от г-жи Кнорринг, это с ними часто случается, и тогда слуги запечатывают письма, прежде чем нести на почту». Хороша писачка!

Был я у Урусовых. Князь получил письмо от князя Петра Михайловича, который уведомляет его, что государь император, соизволяя на бракосочетание княжны, приказал выдать ей обыкновенные фрейлинские 12 тысяч рублей. Свадьба будет здесь, в городе, в домовой церкви Пушкиных; но день, кажется, еще не назначен. Меньшая Урусова, Софья, становится прелестна, потолстела, и это очень к ней идет. Князь болен флюсом, Ваня всякий день более влюблен. Насчет жениха и невесты не перестают кумушки выдумывать разные пустяки: все это действие одной зависти и злобы, а право, княжна заслуживала бы даже еще лучшего жениха. Сюда приехал Ал. Дмитриевич Балашов, но я его еще не видал. Говорят, это для того, чтобы выдать замуж дочь.

Вот и от Вяземского пакет. Он что-то перестал уже говорить об отъезде своем. Догадлив я был, что не поехал на их увеселительную прогулку за городом: приехали оттуда, проголодавшись, да еще, сверх того, их всех, и цыганок, и медведей, перемочило до костей; было за что всякому заплатить с лишком по сто рублей! Мы теперь живем два шага от Катерины Семеновны Тургеневой. Сергея вчера ожидали из деревни.

Константин. С.-Петербург, 13 июня 1822 года

Как Реман сказал, так и сделалось: старик Вакареско умер в субботу в 4 часа пополудни. Царство ему небесное! Жена и дочь хотели непременно ничего не жалеть на похороны; но мы все единогласно решили, что при их теперешнем состоянии это было бы сумасшествие, и обер-церемониймейстеру Доболи велено

устроить, чтобы было пристойно, но без излишней роскоши. Надобно ехать на похороны, а к ним все езжу со страхом пополам от кори, несмотря на уверения Ремана, что, переменя платье, не рискую перенести жестокую эту болезнь детям.

Кстати сказать, у нас свадьба. Как бы время было, дал бы тебе отгадывать, и ты бы не скоро отгадал. Александр Иванович Чернышев женится на княжне Белосельской[60]. Третьего дня сие было решено, мне сказывал Матушевич, а ему Гурьева.

Константин. С.-Петербург, 14 июня 1822 года

Я думаю, что ты очень хорошо сделал, что не был на пикнике, на травле и прочих забавах Вяземского; мог бы еще обкушаться или простудиться.

Говорят, что вместо Петергофа будут праздновать именины государыни на Елагином острову, где третьего дня освящали церковь и дворец отделан прекраснейшим образом.

Александр. Москва, 15 июня 1822 года

Во вторник утро целое простояло ясное, и я ездил с Вяземскими обедать в Васильевское к Кривцовым. Славно нас накормили; тут был и Тургенев, который собирается завтра ехать в Петербург. Что это за прелестный вид на Москву! Сидя на балконе и куря трубку, я не мог довольно насытиться зрелищем. Куда люблю я прелестные виды! Я вспомнил Неаполь, там все еще величественнее: без моря нет совершенного пейзажа; море рождает корабли, порты, острова, мысы – все живое и движется; а вид с Васильевского хотя и прелестен, но мертв. Посмотрев налево, на Воробьевы горы, вижу какие-то белые зверочки, движущиеся, гуси не гуси, не бараны, что такое? – Это 3000 работников, копающие фундамент храма во имя Спаса, взятые между мужиками, коих купил Витберг для сооружения храма. Кривцов сдает охотникам Васильевское за полцены, ибо едет в Орел, где и останется уже на все лето и, кажется, осень у матери.

Я уверен, что ты состряпаешь и с австрийцами почтовые дела, хотя и не предвижу от них той же податливости, как от пруссаков, особливо ежели наша молва справедлива. Говорят, что Лебцельтерн влюблен в которую-то *** и женится на ней; и первое, и второе невероятно. Для любви она слишком уродлива, а для замужества не довольно богата. С тех пор, как мать Трубецкого выставила и вместо золотых гор дала дочери за два года всего 15 000 рублей, не думаю, чтобы ловились на крючок и что она найдет новых дураков и зятьев. Сказывают также, что А.И.Чернышев женится на графине Белосельской-старшей; тоже неверно почти по тем же резонам [оказалось верно].

Константин. С.-Петербург, 16 июня 1822 года

Третьего дня, отделавшись, поехал я поранее на дачу, где нашел уже Карнеевых, а там приехал и Северин. День был бесподобнейший; после обеда уговорил я Егора Васильевича отпустить одну жену в театр и остаться с нами. Ты знаешь, что он ни в чем не умеет отказать. Потом сели мы все и с детьми на шлюпку и пустились гулять по островам, или, лучше сказать, между островами, вздумали пошататься по Елагину и прибыли ко дворцу в самую минуту, когда подъезжал туда Гурьев. Тотчас предложил нам видеть дворец и сам повел все показывать. Ну, брат, давно я не видал ничего прелестнейшего. Отделано все с чрезвычайным вкусом, богато и, что всего лучше, все из произведений российских. Тут между прочим люстра бронзовая превеликая, которая, право, не уступит парижской, а стоит только 9000 рублей. Живопись везде чудесная, бумажки царскосельской фабрики, вазы из сибирских каменьев, каковых никто, кроме нашего царя, иметь не может. Мы все были в восхищении. Потом повел он нас по саду, который также будет прекрасен и напомнил мне сад в Англии. Спасибо Гурьеву, без него бы, может быть, не удалось нам посмотреть дворца, ибо в него никого не пускают. Накануне перед тем собралась туда вся императорская фамилия. Государь показал дворец императрице Марии Федоровне и ей его подарил. Праздник (как мне сказывал граф Дмитрий Александрович) будет не тут, а по-старому – в Петергофе, где и заказан уже.

Карнеев без памяти от дворца и весьма доволен, что мы попали на Елагин в столь счастливую минуту. Мне кажется, ты его видел, когда был у Татищевых на даче, но тогда вряд ли были мебели. Государь перед отъездом отсюда был поутру у Юлии Александровны [жены Д.П.Татищева, известной красавицы, в первом браке Безобразовой] и ввечеру пил у нее чай.

Я читал отрывок мерзкого каталога, который вышел в Москве. Мне его показывал Лазарев, и я особливо бесился, да и все, тут бывшие, изъявили большое негодование на статью об Урусовых. Желательно, чтобы сочинителя побранили на столь злое произведение. Ну, Юсупову можно бы и не сердиться за вздор. Строганов-министр ездил в Карлсбад. Он долго был здесь болен. Сына его, что женат на Строгановой, ждут сюда. Тут было также разнесся слух, что Михаил Орлов отставлен, но из приказов сего не видать.

Константин. С.-Петербург, 17 июня 1822 года

Васю Голицына давно не видал. Они все в Марьине, где

государь проездом кушал, ехав в Грузино и в военные поселения.

Вот тебе на! Новое симпатическое лекарство от клопов, и одно слово! Хорошо, *Сургин.* Да где его написать, чем, на каком именно месте, какими словами, крупными или мелкими? Прошу на все ответить исправно и аккуратно, это не безделица. Дадим же мы клопам!

Государь дозволил мне и нам принять прусские ордена. Мне сделали славную звезду в английском магазине, но вряд ли удастся когда-нибудь надеть.

Александр. Москва, 19 июня 1822 года

Я от Тургенева, который при мне отправился в Петербург; ему хотелось еще пожить с нами, но нельзя, и брат прислал ему твою записку, в коей тоже говоришь, что отпуска его продлить нельзя. Катерина Семеновна, по обыкновению своему, плачет, что, имея трех сыновей, все с ними в разлуке. Успехи их в службе должны ей доказывать, что разлука сия имеет свои выгоды, а они довольно часто ее навещают. Теперь очередь нашего милого Александра.

Вчера был я в клубе; кого вдруг вижу там? Возвратившегося из чужих краев Меншикова Николая. Кажется, здоров, хотя несколько и состарился. Долго мы с ним болтали. Он таки достигнул своей цели. Живший шесть лет вне отечества, довольствовался малым доходом, заплатил все долги и теперь имеет более восьмидесяти тысяч чистого дохода, выиграл свой процесс с Марьей Ивановной Корсаковой), которая имела бесстыдство доказывать, что Меншиковы родились от матери, но не дети своего отца.

Вчера мне сказывали, что Васильев, губернатор тульский, так явно и бесстыдно стал жить с женою тамошнего бывшего полицмейстера Валуева, давая ей праздники и разоряясь на нее, что жена его, не могши более терпеть, его оставила и приехала сюда к отцу своему. Она дочь Кутайсова. Говорят, что он, по требованию Балашова, оставляет и место свое.

Вот тебе еще анекдот, довольно странный. Здесь есть две женщины, то есть девицы, доказавшие несправедливость мнения, что дружба между прекрасным полом не существует. Есть княжна Варвара Ник. Долгорукова и княжна Пр. Ник. Хованская, сестра генерала и сенатора. Они в связи лет 30, всегда жили вместе в одном доме, все было всегда общее, дома обе ровно хозяйничают; обе сделали завещание и отдали одна другой все, что имеют, а Долгорукова и богата. Сегодня у обедни вижу прекрасную желтую карету. «Чья?» – «Княжон». – «Каких княжон?» – «Долгоруковой и Хованской». Только, рассматривая карету, что я вижу? – На одной

стороне кареты шифр «Р.Д.» и внизу герб Долгоруковых, а на другой – шифр «Р.С.» и внизу герб Хованских; я, право, два раза смотрел, чтобы увериться, что мне не кажется, но так есть. Это смешно; но чувство, на коем основывается эта странность, достойно почтения. Наташа говорит: «Да ну же, ты шутишь!»; но я ей показал карету, которая, кроме того, прелестной работы, чуть не выписная ли. Пойди-ка найди двух таких друзей у вас или в истории! Пишу тебе, что в голову идет, имея свободное время. Теперь хотим идти погулять несколько. Прощай, любезный друг; время славное!

Константин. С.-Петербург, 20 июня 1822 года

Граф Сакен сюда приехал, присылал ко мне своего адъютанта сказать, что он был бы у меня, но никуда не выезжает, пока не представится государю, которого сегодня ожидают обратно в Царское Село. Сакен живет в Таврическом дворце, и ехать к нему надобно сегодня утром, хотя и далеко.

Генерал Раух управляет инженерною частью в Пруссии, слывет весьма ученым и хорошим генералом. Напрасно похвастал наш артиллерийский офицер прусскими пушками, весьма некстати. Княгиня Куракина едет в Вену года на два, вчера мне писала о почтальоне.

Ты сделал то с Вяземским, что я с Иванушкой Левашевым. Я вот уверил его, что дочь князя Эстергази на содержании у князя Лихтенштейна, то есть своего мужа.

Не первый раз классные дамы отправляются в дилижансе. В прошлом году императрица очень была довольна в подобном же случае; только надобно приказать, если еще время, проводнику всякое оказывать даме угождение.

Я получил от Воронцова[61] письмо из Кракова, которое меня испугало. «После того, как мы едва не погибли сегодня утром, 28 мая, мы, однако же, прибыли целыми и невредимыми в Краков. Уже при подъезде к границе Краковской республики я был убежден в том, что случится беда; но сегодняшняя могла бы стать и роковою, ибо карета уже частью ушла под воду. Мы были спасены благодаря помощи одного крещеного еврея». То-то бы беда! Как вздумаю, так мороз по коже подирает. Слава Богу, что все кончилось одним страхом. О Кокошкине он ничего не пишет; тот, я думаю, порядком испугался. Воронцов просит меня написать ему через три недели в Мюнхен. В Вене он остановится только на несколько дней. Далеко ли до беды!

Воскресенье мы провели очень приятно на даче. День был прекрасный, у нас обедали Северин, Шиллинг и Ломоносов, после обеда еще кое-кто приехал, сели мы на пристани и любовались ее

ботами, кои беспрерывно проезжали на Крестовский остров. Немного походило на Царьград. С трудом в 12 часов решился я ехать в город, где душно, пыльно и скверно.

Константин. С.-Петербург, 21 июня 1822 года

Ну уж, брат, далеко Таврический дворец! Ровно ехал туда полчаса; в это время я мог бы съездить на дачу и воротиться. Я нашел там почтенного старичка Сакена в совершенном уединении, он очень мне обрадовался, и мы с ним часа с два поболтали. Рассказывал он, как устроилась женитьба князя N. (которого завтра в Сергиевской пустыни хоронят, и меня звали на похороны, но не поеду). У него в деревне был род сераля; как скоро красавица ему надоедала, то ездил в Вильну новую рекрутировать. Будучи в Вильне за делами, познакомился он с бедною, но прекрасною молодою девушкой и стал к ней ездить. Мать ее, после нескольких посещений, отозвав его, сказала ему: «Вы, конечно, нам много сделали чести, но я должна с вами откровенно объясниться. Ваша репутация очень дурна здесь насчет женщин; все знают, что вы их соблазняете и увозите, следовательно, ваше знакомство может только повредить моей дочери. Мы бедны, но честны; у нее есть жених, который несколько дней уже не показывается; в городе также начинают говорить, а потому прошу вас перестать нас посещать. Хотя, конечно, не могу я ничего сказать о вашем с нами обхождении и в обращении вашем с моею дочерью не заметила я ничего предосудительного, но люди не так на это смотрят, а для нас репутация всего дороже». Князь уехал. Он на другой день является к Корсакову [А.М.Римскому-Корсакову, виленскому генерал-губернатору], объявляет ему о намерении жениться, берет его с собою в карету, привозит к бедному семейству и при нем, обращаясь к матери, говорит ей: «Теперь, сударыня, надеюсь, мое посещение не будет вам ни вредно, ни в тягость; я приехал просить руки вашей дочери». Натурально, и мать и дочь согласились, и тотчас дело кончилось.

Молодая вдова прекрасна собой, но воспитания отличного не могла иметь. Также сказывал Сакен, что года с четыре, как князь совсем переменился к своим мужикам, занимался их благоденствием и сделал из нищих богатейших во всей губернии. О нем чрезмерно сожалеют. Его вскрыли и нашли, что сердце весьма сжато. Богатство оставил непомерное, духовной никакой нет, а есть акт в пользу его других детей, но им не подписанный. Жена его очень любила.

Павел Васильевич Кутузов очень было занемог, ему пускали кровь, прикладывали пиявки, и теперь лучше. Вилье мне

сказывал, что опасность миновала. Петерсон также болен, но этот более воображением.

Ну, мой милый друг, наша иностранная почта все идет лучше да лучше: из Парижа получаются депеши в шестнадцатый день, а Блоом говорит, что к нему никогда курьер так скоро из Копенгагена не приезжал, как почта приходит. Он получает свои письма в тринадцать дней, из Лондона – в семнадцатые сутки. Слава Богу, что все сделалось, как я обещал.

Вчера ездили мы на тони, но не имели терпения дождаться своей очереди, то есть десятой тони. Рыба теперь начала сильно ловиться; жаль только, что с нашей пристани нельзя ездить: тут, кроме корюшки, нет другой рыбы, а пускать в даль некогда.

Александр. Москва, 22 июня 1822 года

Дождались мы наконец тепла, и не тепла, а ужасных жаров; я совсем от того не прочь. Все кричат: душно, а мне в самую пору. Вчера, после сильного дождя, прибившего несносную пыль, сделалось опять тепло, земля вся освежилась, и мы пошли, Наташа, я и дети, в Кремлевский сад, который очень мил, и по вечерам собирается много гуляльщиков. Цветов пропасть, и от дождя царствовало приятное благовоние. Тут построен и домик с прохладительными напитками всякого рода. Говорят, что тут и славный обед можно всегда найти, по 2 рубля 50 копеек с персоны, без вина. Готовит тут повар князя Дмитрия Владимировича. Надобно туда когда-нибудь собраться; но, увы, нельзя пригласить ни тебя, ни Манычара, ни Северина, ни Матушевича, ни всех прочих. Американец наш переплыл благополучно океан. Слава Богу! Знавши его в Лондоне, это как будто дома. Вот каково расстояние до Америки! Кто два раза оттуда возвратился, как будто один раз воскрес.

Итак, Елагинский дворец принадлежит императрице? Я его видел, едучи от дачи, нанимаемой Юлией Александровной [Татищевой], но тогда внутри не было ничего отделано; но снаружи представлял он прекрасную декорацию. Мысль убрать все произведениями русских фабрик и мануфактур также очень хороша. Это как национальная выставка. Теперь не так далеко будет императрице ездить; всякий год должно ей быть тяжелее ездить в Павловское и Гатчину. В имении Баташовском, где 13 600 душ и которое находится под казенным присмотром, нешуточные беспорядки. Нет сомнения, что Фавстовы меры одобрятся, а ежели не пресечь в начале этот мятеж между работниками, то распространится и по другим заводам, кои тут поблизости. Сам губернатор Апраксин очень перетрусил, ибо 500 работников пришли во Владимир к нему депутатами, требуя

пищи. Он, узнав о их приближении, поехал навстречу, заткнул им рот десятью тысячами рублей, уговорил их воротиться назад, а между тем дал предписание дело исследовать, на те 10 тысяч купить хлеба, а виновников и бунтовщиков строго наказать. Дело это нешуточное, и при случае можешь Гурьеву дать чувствовать, сколь нужно на этот счет развязать Фавсту руки и дать ему все средства утушить беспокойства сии.

Вчера еду на Кузнецкий мост, – между домами Анненковой и Хомякова – солома. Отчего? Выходит, что в последнем родила жена генерал-адъютанта Потемкина, урожденная Бахметева, и родила сына; только не Ростислава, думаю.

Сию минуту возвращаюсь от князя Николая Гагарина; столько раз отказывал, что сегодня не мог не ехать к нему обедать. Долго там засиделся. К вам поехал Иван Иванович Дмитриев. Все говорят, что он был вытребован, и всякий дает ему назначение по своим мыслям. Он мне сказывал, что давно собирался в Петербург.

Константин. С.-Петербург, 24 июня 1822 года

Сегодня именины или рождение князя Дмитрия Николаевича Салтыкова; он звал к себе на целый день, но сие невозможно, а надобно будет попасть хоть на вечер. Верно, будет огромнейший концерт. Манычар там целый день пирует. Княгиня Софья Григорьевна [Волконская] сейчас мне пишет, что у нее в деревне горит лес, и что загорелся от почт-директорской деревни, просит дать приказ посылаемому от нее человеку. Мы, точно, соседи. Сожалею о несчастий, о котором, однако же, от управителя не имею еще никакого известия. До сих пор я от этой деревни, кроме неприятностей и издержек, ничего не имею. Что-то впереди будет?

Я обедал вчера в клубе с Сергеем Тургеневым, много болтали. Он все боится, чтобы миссию не лишили жалованья с курсом, но, кажется, может быть на этот счет покоен. Я нахожу его здоровее, а Александра – того уже и поймать нигде нельзя: так заволочился. Более еще в дистракциях, нежели прежде, а почерка его уже никак читать нельзя: так торопится. Впрочем, и мне этим нельзя хвастать, испортил совсем руку.

Александр. Москва, 24 июня 1822 года

Скоро же явился наш Американец в Европу. Видно, ему кто-нибудь сказал там при отъезде: «Ну, Полетика, полети-ка!» Он и полетел. Мадам Б. сочла каламбур неудачным, как и давешний. Старуха Пушкина спросила меня на спектакле у Апраксина: «Ну как, милый Александр, как чувствуют себя Наташа и ребенок?» –

«Что вы хотите, – отвечал я ей, – ребенок в матери, а мать в тетке» (la tante = l'attente – ожидание). Она не нашла это удачным, но это зависть мешает ей быть справедливой и беспристрастной, как наш вздорный «Консерватор». Мой совет был бы Лизоньке[62] совсем не говорить о Полетике, а особливо им не шутить с нею, а то родится подозрительность, от коей родится холодность. Пусть будут на старой ноге, а там придет само, ежели быть чему-нибудь, в чем сомневаюсь очень, однако же.

Фавст помешался на цветах, я ходил к монументу Пожарского и купил там 10 горшков славных левкоев, горшок гвоздик двойных, горшок волкамерий, жасмин белый, а другой – желтый испанский. «Где ты это достал? Выписал, небось, а мне не скажешь, и я бы выписал, вон у меня ничего не вышло». Я ну над ним смеяться. Долго он все это ценил, а я заплатил за все это 17 рублей. Цветы можно теперь иметь за ничто, и их множество. Куст, на коем розанов с 20, не более стоит целкового. Опять в претензии Фавст, зачем ему не скажу, что так дешевы цветы. Чудак!

Ты говоришь, что звезда Красного Орла останется без употребления. Почему же не носить ее с Владимирскою – так, как Канкрин носит свою Владимирскую со звездою Леопольда? Получив позволение принять орден, ты теперь уже настоящий кавалер, и я поздравляю тебя официально.

Здесь говорят много об истории, которой дала повод смерть Бахметева Дмитрия Александровича, тестя генерал-адъютанта Потемкина. Бахметева сын от первого брака предъявил завещание, по коему он не только не лишается наследства после отца, но и в письме, поданном на высочайшее имя, он доказывает, что отец его был увезен к князю Егору Александровичу Грузинскому, где умер он будто насильственною смертию. Государь приказал дело это исследовать, и всякий толкует по-своему.

Жена Сергея Васильевича Толстого давно больна воспалением в груди, которую никакому доктору не соглашалась показать. Пачкали долго, никто не понимал болезни, а все предсказывали рак и осуждали несчастную на смерть; она таяла, как свеча. Наконец все кинулось назад; между спиною и боком составился нарыв, созрел, лопнул, и вытекло множество мокроты. Больная ожила, как Потоцкая, и не думает умирать, а доктора перессорились между собою. Вот все наши новости московские.

Александр. Москва, 26 июня 1822 года

Вот и письмо от Вяземского к Тургеневу. Он зовет меня очень в Остафьево к своим именинам. Ежели жена родит скоро, то

поеду с Кривцовыми: они берутся меня везти туда и обратно. Всякий вечер, а особливо в воскресенье, собирается множество гуляльщиков в новый Александровский сад, который прекрасно отделан; теперь делают и другую половину, которая идет от экзерциргауза к Москве-реке. Вчера было явление очень необыкновенное и всех очень утешавшее. Пустили в Марьиной роще большой шар, кажется, с козлом или кошкою – не знаю, только шар этот взял направление через Кремль и величественно летел над головами всех гулявших в саду, но в большой вышине; однако же, очень хорошо был виден, и приметно было, что нечто, в нем сидевшее, его колебало. Довольно забавно было видеть более 2000 человек, кои, вместо того чтобы прогуливаться, остановились, изогнулись, подтянули зады, выставили животы, смотрели в небо и следили за движениями сего великолепного шара. Я никогда не видал, как пускают шар, поеду в то воскресенье. Я очень сожалел, что в мое время не было в Париже ни Гарнереня, ни другого славного аэронавта.

Ввечеру был я в Английском клубе, но там очень мало людей бывает, и я насилу нашел себе соперника. Играл в бильярд со стариком Шаховским, у коего выиграл 40 рублей.

К вам едет князь Петр Трубецкой, брат графини Потемкиной, полковник артиллерийский, что женат на Бахметевой, – очень добрый малый; мы все дуемся с ним в бильярд; ежели встретишь его случайно, то познакомься. Охотник страшный до бильярда и играет хорошо, и в какую цену угодно. Уже половина седьмого, а в семь ровно начинается опера, дают сегодня «Севильского брадобрея»; для меня этот брей утешительнее вашего баварского Брея [то есть баварского посланника в Петербурге].

Константин. С.-Петербург, 27 июня 1822 года

Иван Иванович Дмитриев приехал и всех удивил своим приездом. Здесь уже начали давать ему разные места, по обыкновению.

В субботу был я у князя Салтыкова на концерте. Это был день его рождения, и пропасть наехало, нашло и принесло народа. Явился султан какой-то татарский со свитою, был фейерверк и проч., так что я воротился домой во втором часу. Вчера утром было генеральное собрание Библейского общества в Таврическом дворце, куда и мы с Николаем Дмитриевичем ездили. Много было народу.

Александр. Москва, 27 июня 1822 года

Я очень благодарен графу Сакену, что он меня не забыл, и мне очень приятно будет его видеть здесь; поеду непременно,

хотя бы он остановился во Всесвятском.

Подробности женитьбы князя З. не были мне известны. Мне кажется, что теща его была просто удалой парень, тертый калач. Она разочла, что сопротивление для князя вещь новая, что оно возбудит любовь, усилит желание обладать предметом, ему нравящимся. Так все и случилось. Я не видал ее никогда; но меня всегда радует, когда богачи женятся на добрых и бедных девушках. Свадьба эта расстроила чрезмерно планы наследников Князевых; так было и с шереметевскими наследниками, когда граф Николай Петрович женился.

Ты меня посадил на иголки: не велишь еще говорить старику [доктору Пфеллеру, его сын Владимир определился на службу при посредстве К.Я.Булгакова], указ не будучи подписан, а мне бы очень хотелось обрадовать его известием о помещении сына его. Что делать, повинуюсь, дождусь будущей почты, авось-либо грозное запрещение разрешится. Славное начало! Я поехал в Неаполь на 400 рублей, а ты в Вену, и совсем без жалованья. То-то обрадуется добрый и нежный этот отец! Слава Богу, что Кутузов уцелел; в этаком корпусе горячка не шутка. Не надобно умирать никому, но лучше бы пожертвовать нашим сенатором Кутузовым, нежели вашим генералом, коего все хвалят очень.

Все, что пишешь мне о почтах, очень меня радует. Ты приобретешь себе, как говорит Тургенев, европейскую славу. Все это читаю я с восхищением, особливо как подумаю, что все это делается без отягощения для казны и для публики, с прежними ничтожными способами. Я все надеюсь, что купцы сложатся когда-нибудь и подарят тебе тысяч сто; но вижу также я и затруднения. Пусть лучше будет тебе эта милость от того, который уже столько излил на тебя щедрот.

Во время театра приехала в Москву княгиня Наталья Петровна Голицына. Думали, что явится в театр, но не была, да и Апраксиных не было никого. В ложе князя Дмитрия Владимировича была Белосельская. Я ходил к ней, поздравлял и с приездом, и со свадьбою, и с шифром. Она мне рассказывала, как все это сделалось: свадьба будет через год, невеста очень молода еще, бедный Чернышев вознаградит себя за все то, что претерпел от сатаны, первой своей жены [княгини Радзивилл, урожд. Моравской]. Здесь уже говорят, что она хочет свадьбе помешать и приехать с мужем мириться. Пустяки! Поеду завтра к старушке Голицыной; я ее, право, очень люблю, и она всегда была со мною очень ласкова.

Константин. С.-Петербург, 29 июня 1822 года

О кубке как ни рассуждай, как мне самому ни жаль, а

расстаться с ним надобно. Государево повеление вышло, точно, позже; но я еще не имел дозволения принять кубок, следовательно, и не мог его получить после указа. Лавинский точно в таком же положении и два года спустя должен был возвратить табакерку, поднесенную ему виленским дворянством. О кубке государю доложено, и он одобрил мысль отдать его в церковь; так нечего и рассуждать. Поговори еще раз с Рушковским, чтоб он сие исполнил, а у меня, право, духу нет писать к нему. По крайней мере, все чиновники могут быть уверены, что письмо их навсегда сохранено будет и перейдет к Сашке [то есть к сыну], которому я и кубок назначил. Полно о сем толковать, лучше забыть.

В Головинской лотерее дела идут очень хорошо, билеты продаются как нельзя лучше. В иные дни с присыл очными деньгами сборы бывают до сорока тысяч рублей, в самые худые – здесь, в городе, продают не менее как на 5000 рублей билетов. Особливо после новых объявлений наперерыв хватают. Мы заказали колеса Берду, который очень умно их устраивает. Рад буду, когда кончится все это дело, ибо оно у меня отнимает время, а его у меня и так немного.

Александр. Москва, 29 июня 1822 года

Графиня Строганова[63] приехала. Так была мила, что тотчас прислала сказать, что видела Костю, оставила его здорового и что желает меня видеть, что могу к ней приехать в 8 часов ввечеру. Вот я к ней вчера и пустился. Она очень меня обласкала, много рассказывала про Костю, который большой ее фаворит, расспрашивала про Наташу, запретила именно ее вывозить и назначила себе аудиенцию у нее завтра во втором часу перед обедом. Как мне не любить графиню после всего того, что она мне наговорила о тебе! «Это взаимная страсть, графиня, ибо вы стоите во главе списка великих фавориток». – «Меня это очень радует, но, однако же, он не захотел посетить свою фаворитку в Марьино; сделайте ему, пожалуйста, упреки за это и от вашего имени, и от моего. Я знаю мало людей, кои имеют счастие быть всеми любимыми и почитаемыми, как ваш брат; я хотела бы для блага службы видеть его употребленным еще более полезным и выдающимся образом; но, с другой стороны, я и слишком его люблю, чтобы хотеть лишить его выгод, связанных с его местом, и кои никакое другое место не предоставит».

Долго очень говорила о тебе, и с участием теплой дружбы. Ну как мне эту милую женщину не любить? Она меня после прогнала без церемоний, узнав от меня, что может Васе писать через дилижанс. Я письмо это тебе уже доставил. «Кстати, графиня, мне

брат поручил очень срочно (хотя и не было этого) узнать у вас и вашей матушки, хорошо ли вам служили на почте?» – «Чудесно, прошу вас хорошенько поблагодарить вашего брата и сказать ему, что с нами обходились так, будто мы были из императорской фамилии. Уверяю вас, что все знаки внимания, нам оказанные, не лишены были даже изящества». Просила бывать часто, хоть всякий вечер, и начать с сегодняшнего.

У меня был на днях Гансон и часа два очень меня забавлял. «Я думаю, – сказал он мне между прочим, – когда ваша батюшка делала ваша беспримерна братца, так ваша батюшка очень хорошо покушала и все части были в большой совершенства, чтобы совершить такая редкая создания!» Потом описывал мне такими живыми красками свою любовь к сыну (это, видно, не Щербатов), что я, право, и смеяться не имел духу. «Знаете, ваша превосходительство, как я сына своего люблю, что, ежели бы я *жил во время Римской истории* (прелестная фраза!), я мог бы его и себя прославить: моя любовь такая большая к ему, что, ежели бы он был осужден на смерть, я бы все мучения готов за него терпеть, это была бы мое благополучие, я бы не испустил ни одна жалоба и умер бы доволен мыслями, что его спасаю». Каков же? А сын сделал глупость – женился на дворянке, взял 3000, кои тут же на свадьбу и убухал; служит полицейским офицером и терпит нужду; все, что отец ни выстряпает, все ему отдает. Одет очень скудно. Я ему подарил фрак, панталоны и жилет. Еще рассказывал мне следующее: «Намедни иду я на Покровка, один бедняка протягивает рука и просит у меня милостыня, а я думаю себе на уме: как наружность обманывает всех; ты у меня просишь милостыни, ты думаешь, что я большой барин, а ежели бы не моя фрак и не твоя рубища, я сам бы протягивала рука и просила бы милостыни, у меня нет одна копейка». Долго он меня забавлял, я не знаю, о чем не было речи, даже об астрономии.

Славный граф Сергей Каменский здесь и не манкирует ни одного спектакля. Говорят, у него дурной процесс на руках. Продал на своз мужиков, что запрещено, и тайно, какому-то варвару, который переселил их на Кавказскую линию; только мужики нашли как-то случай объявить все Ермолову, а он довел до сведения государя, и теперь велено это все исследовать. Будет ему Дорлиска, будет ему опера! Все деяния этого человека столь же гнусны, как и фигура его.

Александр. Москва, 30 июня 1822 года

Вчера вечером я поехал к графине Строгановой, которую уже нашел вверху у старухи. Эта очень меня обласкала. Князю Дмитрию Владимировичу, входившему в ту минуту в комнату,

она сказала: «Но, сын мой, твои ямщики не обходятся со мною так, как подчиненные г-на Булгакова; мне служили, как королеве, на дороге из Петербурга, а здесь извозчик просит у меня 650 рублей, чтобы везти меня в Калугу!» Долго она ворчала. Кажется, есть тот грех, скупенька. Я было только расположился болтать с графинею, а княгиня Татьяна Васильевна [Голицына] меня, несчастного, посадила играть в бостон со старухою. Какая скука! Да и к тому проигрался как сапожник; все, что ни было со мною, все отдал на съедение, и хотя старуха сказала мне: «Играть с вами удовольствие, вы не как князь Юсупов, он всех морит», – но мало мне в этом утешения. После партии княгиня и князь очень совестились. Дело наконец сделано. Собирались ужинать, и я ретировался; графиня Строганова подала мне руку, чтобы я отвел ее по крайней мере в столовую. Она взяла с меня слово вернуться к ним сим же вечером, торжественно обещав, что я не буду играть в бостон и что она меня сохранит для своего виста. Увижу, может быть и поеду. Они во вторник собираются ехать все в Калугу.

По милости этого скучного бостона не успел я заехать к Юлии Александровне, которую очень желаю видеть. Ох, и то мало времени: надобно еще, чтобы тесть приехал, а он охотник болтать. Звал к себе сегодня обедать, рассказывал о вчерашнем празднике в Петровском у князя Юрия Владимировича Долгорукова и продолжавшемся целый день: обед, ужин, гулянье, ярмарка, фейерверк, иллюминация, кокан [большой шест; кто на него взлезет, получает подарок], жареный бык для своих людей и другой для народу, шар воздушный и, в заключение, большой бурак; когда он лопнул на воздухе, то из него полетели 10 тысяч экземпляров катренов, коими князь благодарит за посещение и просит всех возобновлять оное всякий год и в прочие дни, когда угодно. Эта мысль мне очень понравилась.

Константин. С.-Петербург, 1 июля 1822 года

Вчера вечером приехал Воронцов[64] и был тотчас у меня, а я сейчас от него. Совершенно здоров; я нахожу, что помолодел и так же все мил и добр, как был. Он сам не знает, сколько времени пробудет здесь, а приехал только явиться и получить приказание, что ему делать. Он один здесь. Теперь поехал к Милорадовичу, а там будет ко мне. Он ожидает от Волконского из Царского Села ответа, когда ему явиться.

Александр. Москва, 3 июля 1822 года

Расскажу тебе свой день. Поутру, приняв свой декокт, пошел ходить пешком, по обыкновению, по набережной вдоль Кремля: время было очень хорошо. Воротясь домой, позавтракал. Думал

было писать графу Ростопчину, коему давно должен ответ; но не тут-то было: тесть, Обресков, Метакса, а там явилась кормилица наша, а там любезная почта; так и прошло время до трех часов.

Приехал Пфеллер. «Ну как, ваше превосходительство, есть ли у вас хорошие новости для меня?» – «Ничего еще не окончено; но дело хорошо подвигается» . – «Дай Бог!» – «Вы у нас обедаете?» – «Разумеется». – «Хотите, я вас отвезу?» – «Я жду Рушковского, который должен заехать за мною, но не задерживайтесь». – «Нет! Какая новость?» – «Как какая новость? Политическая?» – «Нет, городская. Плохая, бедный Рихтер умирает, у него икота со вчерашнего дня, и Федор Петрович Ключарев вчера умер, и посудите об истощении. Я сейчас от Бибиковых, где секретарь покойного маршала Гудовича мне рассказал одну черту Федора Петровича, которая ему не делает чести. Он был душеприказчиком маршала; между прочими распоряжениями он должен был положить в ломбард 70 тысяч золотом. Ключарев, по пословице, что милосердие начинается с самого себя, присвоил себе эти деньги, вместо того чтобы употребить их по распоряжению покойного маршала». Ну, это не прекрасная черта Ключарева, о коем я, впрочем, никогда не имел высокого мнения.

Скоро явился после и Рушковский. «А, поздравляю, ваше превосходительство, очень хорошо, Яков, Яков Иванович, очень хорошо!» – «Да не Иванович, а Александрович!» – «Га? Как? Да, Александрович[65]! Очень хорошо». Долго путал он имена, наконец началась другая комедия. Сует мне червонец в руки; поди я, отдай этот от него Наташе! «Так не делается, отсутствующие не посылают червонцев, а присутствующие сами их отдают». – «Прошу вас, передайте мой червонец сами». Меня взяло смех и горе, насилу его урезонил. Наташа захотела его видеть, повел молодца, в спальной опять дает мне червонец, положи вместо него. – «Нет, сударь, возьмите ваш червонец и положите его сами на спальный столик». Тут вдруг откуда взялась бодрость: на стол ефто-то не годится, а должно (надобно знать, что у Наташи всегда три дня ставни затворены, так что совсем темно, и мы вошли ощупью), а должно под подушку; только вместо под подушку мой Иван Александрович чуть было по соседству не засунул червонца под жену. Наташа так и покатилась от смеху.

Поехали мы обедать к доброму старику [доктору Пфеллеру], у которого была славная телятина, и мы не раз тебя вспоминали. Филипп Иванович должен был ехать на консилиум к больному Рихтеру, а потому не мог ехать с нами в оперу итальянскую. Он так стал шутить над Иваном Александровичем, выбравшим день смерти Ключарева, своего друга, чтобы ехать *в первый раз* в оперу,

что его брало уже недоумение: не знал, что делать. Дорогою все спрашивал, как сидеть, что делать, надобно ли застегнуть фрак или нет. Только подъехали к крыльцу, нам объявили, что опера отказана по болезни мамзель Замбони. Чтобы ее разорвало! А я с такою ехал радостью. Рушковский обрадовался отсрочке, отвез меня домой и поехал а ля пост! Дал мне рандеву на будущую субботу.

Время было прекрасное, я велел детям одеться, посадил в карету, мы поехали гулять в Александровский сад. Тут нашли мы княгиню Наталью Петровну, с Апраксиной), князя Дмитрия Владимировича с женою и графиней Строгановой. Старушка подошла к нам, обласкала детей, мы с ними продолжали гулянье. Они сели отдохнуть, а графиня пошла еще ходить со мною и с детьми, коих она очень полюбила; но большой ее фаворит все Костя. «Знаете ли, графиня, что моя малютка Ольга уже невеста?» – «Вот как!» А Лёлька прибавила: «Мой жених – граф Каподистрия». – «Советую вам, барышня, – прибавила графиня, – поторопиться со свадьбою, ибо жених ваш уже седеть начал». Разумеется, много говорено о тебе. Премилая это женщина; я ей сказал, что пишешь о Васе; но они уедут отсюда, не дождавшись его. Графиня тоже сожалеет, что нет оперы.

Привез детей домой и поехал к Юлии Александровне, у которой сидел часа с два. Она очень к вам торопится, боится, чтобы болезнь графини Катерины Алекс, не пошла в затяжку, просила меня уговорить Ваню делать свадьбу в Валуеве. Это покойнее было бы для старухи, скорей бы кончилось, а К.А. готова ехать в Валуево хоть тотчас. Завтра собираются они все в Новый Иерусалим; и меня они подзывали, но теперь не могу оставить Наташу. Показывал я Ю.А. статью в «Журналь де деба» о ее муже и об ней. У Урусовых такое веселие, что любо: всякий день танцы и игры. Ваня всех потчует то мороженым, то конфетами. Ю.А. мне подробно рассказывала о холодности между Дмитрием Павловичем и нашим добрым Каподистрией. Мне, право, жаль, что они не сойдутся; а судить их очень мудрено.

Я тебе писал о празднике, бывшем в Петровском у князя Юрия Владимировича Долгорукова. Я достал катрен, коих 10 тысяч экземпляров вылетело из пущенного на воздух бурака. Вот он, но незавидное сочинение. Смешно было то, что народ себе вообразил, что это летят все сотенные ассигнации, и дрались между собою, покуда стихи были еще на воздухе. В этот день князь купил 22 человека роговых музыкантов за 20 тысяч, – не помню, у кого-то; только они не лучше играют, говорит, фавстовых виртуозов.

П.П.Нарышкин просил меня достать через тебя наставление,

как делать пудинг-гляссе, коим мы объедались у Нессельроде: нельзя ли попросить рецепта у графского повара, мы бы как-нибудь попытались это сочинить.

Константин. С.-Петербург, 4 июля 1822 года

В субботу у меня милый Воронцов просидел часа три с лишком, рассказывал о своем заграничном житье, о путешествии и семейном благополучии. Вчера я у него обедал с Фонтонами; много было глагольствования о дилижансе. Воронцов со мною согласен, что надобно умножить круг действия общества, прибавить экипажи и чаще отправлять в Москву.

Чернышев тебе кланяется. Я его на скачке поздравил с будущею женитьбою. Не думаю, чтобы первая жена его искала с ним примириться: она уже вышла замуж за другого.

Добрый Каподистрия (но это еще секрет) выпросил старухе Вакареско, пока дадут земли в Бессарабии, 1500 рублей серебром содержания в год. Очень это было нужно, ибо дела плохи.

Александр. Москва, 4 июля 1822 года

Вчера в опере видел я шурина Пфеллера, который мне сказывал, что весь дом вверх дном и все вне себя от радости. Филипп Иванович ко мне приезжал два раза и все не заставал. Старик только что вприсядку не пляшет; да и нет сомнения, что не всякий отец иметь может случай такой прекрасный дать ход своим детям. Довольно об нас старались, а мы поехали в чужие края: ты без жалованья, а я на 400 рублей. У Анстета будет ему хорошо: хорошая школа. Персиянин не знает по-немецки. Пфеллер в этом отношении будет очень полезен нашему толстяку, коему и я буду писать.

Ты не знаешь еще, кого в Бразилию? Теперь верно, что Полетика не возвратится в третий раз в Америку: уже и место отдано. Тейльса я очень знал в Неаполе, мы с ним вместе работали у Лассия. Он был прислан, якобы штатский человек, дабы не дать подозрения французскому послу, но в самом деле был инженерный офицер. Вчера сказывал я графине Строгановой, что ты пишешь о Васе. Они все сегодня едут в Калугу, и я вчера в опере (которая очень ей понравилась) распрощался с графинею. Мне Риччи дал свою ложу, я возил детей; обе, особенно Катя, в восхищении. Я представил Катю Юлии Александровне, у которой во время оперы перебывали почти все москвичи в ложе; не дали ей и послушать хорошенько.

После оперы поехал я с Вяземским к Урусовым, где и провел вечер очень приятно. Скучный Филистри нас наконец оставляет и едет на днях куда-то во внутренность империи продавать свои

таблицы, кои все находят полезными, но ужасно дорогими.

Константин. С.-Петербург, 5 шюля 1822 года

С Воронцовым часто вижусь. Он пробудет дней с 10 с нами. Представлялся государю и был принят очень благосклонно. Говорят, Александр Гурьев, сын министра, назначен градоначальником в Одессу. Говорят также, что Ланжерон едет к водам и что на его место наш Иван Никитич Инзов.

Александр. Москва, 6 шюля 1822 года

Пфеллер ко мне два раза заезжал, и все не застает. В субботу, верно, будем пить шампанское у старика, и первый тост, конечно, будет тебе. Я люблю видеть ликование и благополучие целого семейства. Благодарю за сообщение письма доброго Шредера. Бедного Ришелье, видно, все сговорились уходить. Жаль его! Сколько гибнет людей от палачей-докторов! У дюка, видно, было то же, что у Лобанова, коего пиявками спасли. Кровоизлияние можно починить только кровоизлиянием.

Мысль твоя о башмаках очень справедлива; все это прихоть, и одна цель – это, протянув ногу, сказать соседке: «А вот я ношу только французские башмаки, здешние портят ногу, тогда как в парижских ничего не чувствуешь, и они так ловко сидят». Соседка скажет в ответ: «Ах, милая, как счастливы вы, что можете себе выписывать их сколько угодно!» Это-то и есть главное благополучие.

Нового у нас нет ничего, кроме истории Гедеонова – экс-директора. Он поехал к Анти, застал у нее Пашкова молодого, из ревности ее разругал, а она ему дала оплеуху; он, было, за трость, Пашков его обезоружил, а Анти пустила в него шандалом и бежала. Входит муж. Гедеонов начал мужу на жену доказывать, муж ему умно отвечал: «Это не ваше дело, вы не отец и не опекун жены моей; что вам до того, что моя жена делает, как вы смеете ее бранить; выйдите отсюда, и ежели бы не были вы племянником г-на Апраксина, я бы велел выкинуть вас в окно». Анти поехала, с мужем, к князю Дмитрию Владимировичу жаловаться, а Гедеонов – к Юсупову; этот, выслушав все, расхохотался и прибавил, что ему неприятно мешаться в дела мужа с женою, что его дело, чтобы опера шла хорошо; «Вы же, – прибавил князь, – более и не директором». Чем-то все это кончится? Говорят, что Пашков должен драться с Гедеоновым, кажется, не за что обоим; но вся эта история делает мало чести Гедеонову, коему Анти также сказала: «Это не я, а ваша жена кокетка. В городе только о том и толкуют».

Василий Львович воротился из Козельска, где гостил у старой

тетки. 12-го играет комедию в Остафьеве у Вяземского, коего в этот день рождение.

Константин. С.-Петербург, 7 июля 1822 года

Итак, Ключарев кончил свои страдания – и физические, и моральные! Если правда, что о нем рассказывает управитель Гудовича, то это черта мерзкая; но *если правда.* Может быть, управитель имел свои причины негодовать на него и мстить мертвому, не быв в силах мстить живому. Не могу поверить, чтобы он сделал подобную мерзость. Впрочем, Бог ему судья. Много этот человек перенес горя и во всем обвиняет Ростопчина.

Вижу отсюда, как Рушковский не знал, как и куда девать червонца, и как его поразило примечание Пфеллера, что в день похорон Ключарева неприлично ему ехать в театр. Он мне с великим горем описывает, что лишился старого начальника, с которым 12 лет служил.

Александр. Москва, 7 июля 1822 года

Ризнер едет во Францию. Портрет во весь рост графини – картина прекрасная, осталась у него на руках. Граф не отдает условленных 4000, а живописец без денег не дает портрета. Теперь Ризнер продает графиню за 2500 кому угодно. Князь Сергей Гагарин предлагает 1500. Куда весело будет Потемкину видеть портрет своей жены в спальной Гагарина или другого молодого человека! Именно такие черты и рисуют человека более, нежели вся биография. Он доказывает, что у него нет ни сердца, ни деликатности, ни самолюбия, ни денег (главным образом).

Александр. Москва, 10 июля 1822 года

Бедная Риччи все больна, колотья в матке, а кроме того, нервы так же расстроены, как у Закревской. Стала при мне чему-то смеяться, упала в обморок, а там пошли слезы, и насилу ее успокоили; худа и бледна как смерть. Завтра ожидают сюда Ник. Ал. Лунина; сестра его младшая[66] в горе, та, что за Савиным-заикою. Он был болен горячкою нервическою и третьего дня скончался: жена в отчаянии: они жили очень согласно, он был добрый человек и очень хороший муж. Это любимая сестра Лунина.

Юлия Александровна очень рада, что свадьба в среду. Вот ее планы: после обручения намерена она, ежели не будет обеда, тотчас ехать в Остафьево, к имениннику Вяземскому, и просила меня достать ей почтовых лошадей, на что Иван Александрович натурально тотчас согласился. Там пробудет она целый день, а в

четверг хочет уже ехать в Петербург. Я еду к Вяземскому с Жихаревым, он и везет меня, и назад привозит. Князь Дмитрий Владимирович сказывал мне вчера, что тоже собирается в Остафьево; видно, будет праздник преузорочный.

Ну, сударь, вчера мы попировали у Пфеллера. Пили: 1) твое здоровье, яко главного виновника, 2) обоих графов и 3) молодого дипломата. Я читал депешу к Фаберу, очень лестно. Все мы были очень веселы. Проголодались от Рушковского, который все не ехал; четверть пятого я подал голос сесть за стол, брал вину на себя. Иван Александрович приехал после супу. Экий хлопотун! Как будто у него более дела, нежели у тебя, а кажется, ты везде поспеваешь. Я ему это сказал. Но на этот раз он задержался, потому что делал крюк, чтобы за мною заехать, а я прождал его до трех с половиною часов. Пфеллеровы все в восхищении. Отец и мать раза три говорили о тебе со слезами на глазах. Приехал и Шафонский из деревни. Для дипломата купили уже коляску. Это нашел бы он и лучше, и дешевле во Франкфурте или Офенбахе. Рушковский захотел быть в опере. Я его повез туда. Это его дебют, и все ему надобно было объяснять. Давали «Дорвальдо и Дорлиску». После первого акта мы пошли нанести визит князю Дмитрию. Туда явился Юсупов, который спрашивал о тебе и прибавил: «Когда будете писать вашему брату, передайте ему мое почтение», – что сим и исполняю. Из театра заехал я домой, посмотреть на своих, а там поехал в Английский клуб: был в ударе и выиграл 75 рублей в бильярд у Киселева. Вот и весь мой день.

Старого приятеля Чернышева прошу от меня поздравить. Мне досадно, что свадьба отложена так надолго. Он любит брать крепости приступом, сразу, и ему будет скучно довольствоваться простой осадой на протяжении полутора лет.

Вот и Шульц сейчас от меня. Ему на Кавказ и подумать нельзя ехать. Он просит, как милости, подышать недели две свежим воздухом за городом; но Малиновский и туда не пускает, ибо архив лежит на Шульце. Приятель наш Ждановский имеет привычку попивать. Александру Федоровичу намедни, едучи в Сенат, сделалась дурнота и обморок, продолжавшиеся более часа. Последствий никаких не было, но эта сидячая жизнь ему напроказит когда-нибудь.

Знаешь, где я был вчера? Подцепил Вейтбрехта и поехал на медвежью травлю. Там было мишка напроказил: перервал ошейник и сорвался с цепи. Надобно было видеть эту потеху. Все голову потеряли, а многие женщины, бывшие в амфитеатре и, следовательно, вне могущества медведя, так испугались, что ну бежать. Мусье этот, рассерженный травлею, и хотя очень устал,

стал кидаться на травильщиков, несмотря на их дубины. Я дал совет пустить на него собак 20. Частный пристав велел это тотчас сделать, между тем люди привязали за всякую лапу по веревке, растянули его и кое-как накинули новый ошейник на шею. Долго очень это продолжалось, и я думаю, что ежели б медведь не был слеп, пришлось бы его застрелить; я зрелища сии не люблю, а поехал для шара, который после спускали, и славно удался. К низу была привязана сидящая на стуле человеческая фигура, которая после, на очень большой высоте, отвязалась и упала на землю, на Тверскую. Многие уверены были, что это живой человек. Дети из дома видели шар, ибо он пролетел через всю

Москву. Не знаю, где упал; он имел 48 аршин в самой большой окружности. Хочется мне заказать этому штукарю маленький к 26 августа, именинам Наташи. Вяземский долго у нас сидел, просил не забыть среду; не забуду.

Вяземский сказывал, что бедный Валуев Александр [отец будущего министра и графа] болен отчаянно водянкой. Это странно в его летах.

Ты хвалишь будущий праздник петергофский, а кого-то будет в нем недоставать? Татищевой, которая остается здесь на две недели.

Константин. С.-Петербург, 11 июля 1822 года

Поговаривают о путешествии государя после петергофского праздника, но еще не знают, и я, по крайней мере, не знаю еще ничего положительного. В Ораниенбауме точно будет фейерверк и, кажется, смотр войскам. Воронцов надеется, что ему довольно месяца два позаняться своими делами, прежде вступления в командование над корпусом. Он мне сказывал, что полагает графа Ростопчина в Вене, а потому я пошлю твое письмо туда, с тем, что ежели его нет, то отправили бы в Париж.

Константин. С.-Петербург, 12 июля 1822 года

Сегодня должны у нас обедать Каподистрия и Воронцов; последний едет завтра в Белую Церковь. Ему государь дозволил еще месяца с два заняться устройством своих и отцовских дел, принял и отпустил его весьма благосклонно. Сегодня также едет в Карлсбад барон Строганов.

Ничто Потемкину, если Гагарин купит портрет его жены: бросает деньги, а где честь требует, чтобы тотчас расплатиться, о том не думает. С Нессельроде поедут Северин, Матушевич, Фонтон, Миллер, Сакен и милый Кудрявский; по крайней мере, так слышно.

Государь говорил Воронцову с похвалою об иностранной

почте. Спрашивал его: «Идет ли из Одессы почта с тою же скоростью, что иностранная, чем мы обязаны заведениям Булгакова?» Это очень мне приятно; но, правду сказать, иностранная идет чудесно: Андерсен получил из Лондона письмо в 14 дней, что даже нелегко с курьером. Слава Богу, что так хорошо удалась наша конвенция.

Александр. Москва, 14 июля 1822 года

Вот как дело-то было. Я поехал к Вяземскому в Остафьево с Жихаревым, Нечаевым и моим Ваською в четвероместной карете, в час пополудни. 23 версты – неважное расстояние; но дорога дурна, и мы приехали незадолго до обеда, за которым было нас более сорока человек. Большая часть гостей явилась к вечеру. Пили здоровье новорожденного, и палили пушки. После кофею пустились с трубками по воде на ту сторону пруда, на большой луг, где были всякие качели, хороводы и народный праздник. Наши дамы качались, а я принялся за свою любимую игрушку – кидать пряники: сел на круглые качели, меня подняли наверх и держали качальщики все в этом положении, а я оттуда, то есть с полета, кидал пряники и пользовался прелестною картиною.

К восьми часам возвратились в дом, который скорее назвать можно дворцом: большое каменное здание, соединяющееся с двумя флигелями посредством колоннад. Пили чай, стало много наезжать соседей и из Москвы. Были тут: Неелова с двумя барышнями, графиня Потемкина, графиня Гудович с сестрою, Всеволожская с сестрою, княгиней Тру-бецкою, Четвертинские и проч., со множеством молодежи. Юлия Александровна, как ни спешила, не могла приехать прежде девяти часов. Как явилась с мамзель Элен и Софьею Урусовой, тотчас сигнал для театра. В первой пьесе – «Роман на час» – играли очень хорошо княгиня Вера, молодой Ваксель и мамзель Ирен, француженка, живущая у Бартеневой. Вторая пьеса была «Портной Руссо». Обе Пушкиных там были прелестны. Василий Львович играл роль финансиста, пристрастившегося к почестям, титулам и глупого. Алексей Михайлович Пушкин играл портного и сильно нас позабавил! Его ролью было мистифицировать финансиста; однако же он только это и делает в жизни всякий раз, как встречает доброго и доверчивого Василия Львовича. После спектакля спели новорожденному русские и французские куплеты.

После спектакля начали бал, который продолжался до пяти часов утра. Перед ужином был фейерверк, который не очень удался. Многие уехали после бала, но я себя почувствовал таким уставшим, да и мои товарищи также, что мы решились поспать несколько часов; а вышло, как мы проснулись, что 11 часов. Мы

позавтракали в саду. Тут стали меня мучить, упрашивать остаться еще день, но я никак не мог согласиться ради почты и Наташи. Жихарева уломали; я оставил ему вместо себя Василия Львовича, у коего взял карету, и возвратился в ней в город; написал тебе несколько строк, поехал к Юлии Александровне – с ней проститься, ее уже не нашел, – уехала к вам; воротился я домой и завалился спать. Доброму графу Каподистрии и обществу его я очень благодарен за память обо мне. История покойного Ключарева с деньгами Гудовича сделалась гласною; почтамтские мне говорили, что это правда и что Ключарев оставил более 600 тысяч долгу!

Константин. С.-Петербург, 14 июля 1822 года

Воронцов сегодня непременно едет; я еще с ним не простился. Он мне дает свой бюст и жены его, очень похожие.

Вчера позывал было он меня обедать к барону Николаи, но мне недосуг было; не очень хотелось, и притом обещал я жене обедать с нею у Вакарески.

Вечером, по обыкновению четверговому, был я в лотерейной комиссии, а потом собрался играть в бильярд, и милый Воронцов приехал с женою проститься.

Граф Каподистрия, как говорят (ибо с ним не удалось мне еще говорить о сем), воспользуется временем, пока продолжится конгресс [то есть конгресс Веронский], чтобы ехать к водам. Бессарабскому губернатору Катаказию пожалован орден Св. Анны 1 класса. Князь Лопухин сегодня едет в Порхов в свои деревни на вакантное время. Он было хотел ехать в Киев, но отменил. Барону Николаи пожалована аренда. Он вчера вечером был у меня; едет в свою деревню в Финляндию, а после – в Копенгаген.

Все ожидаю доходов из почт-директорской деревни, а она, кроме издержек, ничего мне не приносила до сих пор. Досадно очень. Отдал бы ее в аренду, но на неопределенное время кто возьмет? Положить еще на оброк, не будут выплачивать мужики; опять хлопоты, и прибыли никакой. Ох уж эти денежные дела, – крепко мне надоели. Но, впрочем, без хлопот мы слишком счастливы были бы на свете; надобно уметь их переносить.

Константин. С.-Петербург, 15 июля 1822 года

Вчера вечером был я у Салтыкова. Там был один персиянин, едущий с поручениями от шаха в Лондон и Париж, человек умный, говорит хорошо по-французски, а еще лучше по-английски, рассуждает очень хорошо и чрезмерно вежлив. Не нахвалится милостивым приемом государя. Увидев портрет императрицы Екатерины, сказал: «Так вот сия великая

государыня, которая столько сделала и так хорошо подготовила славу России». Смотря на портреты Петра I: «Какой красивый мужчина! Невозможно забыть остроумные слова, сказанные им о Карле XII: “Побив нас, мой кузен Карл научит нас, как взяться за дело, чтобы одолеть его”». Хвалит очень Мазаровича [нашего посланника в Персии].

Константин. С.-Петербург или, лучше сказать, Петровский остров, 16 июля 1822 года

Кто на место Инзова, не знаю; я бы поручил гражданское управление Сабанееву, оставив ему и командование над корпусом. Он бы управился, ибо человек умный, честный и усердный.

Воронцов вчера уехал. Он мне делает большое одолжение: при первой вакансии берет Костаки [то есть Варлама, брата жены К.Я.Булгакова] к себе в адъютанты, спасибо ему.

Александр. Москва, 17 июля 1822 года

Сегодняшний день самый беспутный для меня, любезнейший друг, и вот почему. Обещав давно княгине, а еще более в угождение моей жене, поехал я вчера поутру к тестю в подмосковную, то есть в княгинину, *Бароново* именуемую. Там пробыл целый день, удержали ужинать, а там удерживали и ночевать; но ни я, ни оба Афросимовы (на коих животах я и ездил туда) никак не согласились, и мы по весьма темной ночи пустились в двенадцатом часу в Москву, имели недогадливость не взять провожатого, немного поплутали, попали опять на дорогу, заснули все трое крепким сном и проснулись только на Поклонной горе. Сюда прибыли мы в четвертом часу утра. Как я лег спать, так и проспал до двенадцати часов.

Мне предстоит ехать обедать в слободу к Пушкиным, Варенькино рожденье и свадебный пир; а там надобно вырваться поранее, заехать посмотреть на домашних, а там в оперу итальянскую, которая закроется на месяц, да к тому же еще и дают мою любезную «Ченерентолу». Стало быть, то только и будет написано, что теперь напишу. Это мне не по душе. Я получил от тебя №№ 37 и 38. Давай-ка поскорее отвечать. Князь Дмитрий Владимирович в восхищении, что вы помышляете о распространении дилижансов; он все этого добивался у Рушковского, а этот в восхищении, что ему останется только исполнять то, что положено будет вами. Один только граф П.А.Толстой находит, что это подрыв ямщикам; но князь Дмитрий Владимирович ему сказал: «Да почему же вы думаете о выгоде ямщиков и не думаете о великих преимуществах, кои представят

дилижансы для бедных чиновников, купцов, артистов, иностранцев, слуг и вообще всего класса людей, у коих нет ни денег, ни протекции?»

Я получил письма от тетушки и всех дубровских[67]. Поздравляют с сыном, а Мавра Ивановна прибавляет: «Давно, батюшка, пора тебе догадаться и дать ребенку бесценное имя Якова», – в чем я с нею согласен, но у нас были разные обеты с Наташей; насилу из них выпутались и сработали себе Яшку. Я в субботу не мог обедать у Пфеллера по обыкновению, ибо был зван на свадебный обед к Урусовым, но явился после обеда, однако же нашел их за столом, за шампанским, и я должен был выпить рюмку. Тут обедало человек 30, и старик наш расплакался, выпивая свою рюмку, хотел говорить сыну речь или наставление, но слезы помешали.

Я читал и сыну, и отцу, что ты пишешь о них. Я также дал Пфеллеру письмо к Анстету, которое начинаю сими словами: «Вы позаботились уже о стольких за вашу жизнь; позаботьтесь, г-н барон, и об этом!»

Ко мне является (Пфеллер должен был уехать вчера) немец: «Вот цветы, кои г-жа Татищева поручила мне передать вашему превосходительству, чтобы вы ей их отправили». – «Охотно, хотя г-жа Татищева ничего мне о сем не говорила». – «Она мне также сказала, что ваше превосходительство заплатит мне 200 рублей, которые они стоят». – «Повторяю вам, что г-жа Татищева мне и слова о сем не сказала. Цветы я отправлю; что до денег, я подожду на сей счет распоряжений г-жи Татищевой и справлюсь обо всем в доме Урусовых». Вышло точно, что Юлия Александровна не уполномочивала его получать от меня деньги, а только отдать мне цветы для отправления к ней, что завтра и выполню.

Вчера были у нас, то есть у Наташи, молодые. Ваня как муж так же неловок, каков был и женихом.

Я был два раза у Сакена, все не застаю: его целый день таскают, ложится спать в 9 часов, а встает в 5. Учение у Петровского дворца; очищено место, нет никого, расхаживает только один кавалер и курит трубку. Сакен говорит Ровинскому: «Г-н полицмейстер, извольте отогнать этого человека; разве не мог он найти другого места курить, как там, где учатся и где порох есть?» Ровинский подъезжает, узнает Апраксина, требует у него трубку именем Сакена, а потом – чтобы перестал курить; но генерал от кавалерии, со свойственным ему духом, отвечал: «Скажите Сакену, что я курю и буду курить». Ровинский доносит Сакену, что курильщик хочет и будет курить. – «Да кто этот человек?» – «Это, ваше сиятельство, Степан Степанович

Апраксин». Сакен не сказал ни слова. Я нахожу, что полицмейстер глупо поступил, а также и Степан Степанович; но с ним всегда бывает то, что не случается с другими. В прочем в городе ничего нового. Князь Дмитрий Владимирович едет объезжать свою губернию. Время у нас бесподобное.

Александр. Москва, 18 июля 1822 года

Очень сожалею, что Воронцов не на Москву едет. Мы бы ему задали пирушку от доброго сердца. То, что государь ему сказал касательно почт и тебя, очень меня радует, а тебя должно поддерживать духом и ободрять.

Вчера видел я доброго Сакена в опере: говорили о тебе; он подлинно помолодел. Я ему сказал: «Мой брат прав, и я вас уверяю, что нахожу ваше превосходительство помолодевшим на десять лет». Он отвечает, смеясь: «Что мне от того, что вы так говорите? Вот ежели бы хорошенькие женщины мне так говорили и я мог бы им доказывать, что они не ошибаются». Наша опера ему понравилась. Он сидел в ложе Юсупова. Ну как его сравнить с татарским князем, который его моложе годами! «Золушка» шла славно, и я наслаждался. Сегодня большие маневры для Сакена. Кажется, будет Вриенское дело. Все туда собираются.

Александр. Москва, 20 июля 1822 года

Я так и думал, что добрый наш Каподистрия воспользуется свободною минутою, чтобы ехать к водам, но, видно, не решил еще – куда. Ежели в Карлсбад, то очень ему Волков обрадуется. Юлия Александровна должна уже быть у вас. Ты поедешь ли на петергофский праздник? А я праздновать буду 22-е в Валуеве, куда дал слово Пушкиным быть и куда еду с Василием Львовичем. Ваня что-то нахмурен. Дела его с мадамою его все еще не кончены. Никто не знает правды, а Василий Львович мне сказал на ухо яко величайшую тайну: «Я вам расскажу все это дорогою, когда поедем в Валуево». Вяземский пишет мне, что план свой переменил: едет 22-го в Калугу с Полуэктовым. В понедельник будет сюда, а во вторник отправляется в Макарьев, на ярмарку. Вот тебе и Одесса!

Александр. Москва, 21 июля 1822 года

Насилу вырвался от Асламбегова. Сели довольно поздно обедать, сидели долго за столом, ели и пили много. Попандопуло любезничал, его порядочно напоили. После сели на балкон пить кофе и курить, но гроза и сильный дождь погнали нас в комнату; принялись за другое ремесло: за вист, а в зале одна мамзель начала играть на фортепиано, а прочие пустились танцевать.

Попандопуло плясал вприсядку и показывал, какие французские танцовщики и танцовщицы делают па в балетах в Париже. В эту минуту входил в залу греческий иеромонах, он его подхватил и хотел его заставить играть роль Биготтини и Нобле. Насилу вырвался я оттуда в 9 часов: надобно было завезти домой Осипова.

Александр. Москва, 24 июля 1822 года

В субботу, как писал я к тебе, отправились мы с Василием Львовичем в Валуево. Только что мы вышли из кареты, пошел дождь, который сутки целые не переставал идти. Это помешало фейерверку, иллюминации, прогулкам и народному увеселению. Из комнат не выходили, сидели в них, как птицы в клетке, и вообще не очень было весело, да и не было никого, кроме домашних и нас двух, Четвертинского с женою (они в одной версте от Валуева) и славного Филистри. У молодой графини болела голова целый день. Ваня тут как чужой ходит, не говоря ни слова. Он более походит на генерала, приехавшего отдать отчет военному суду, нежели на молодца, подхватившего прелестнейшую невесту в России.

Обед был очень хорош. При шампанском Филистри вдруг встал и говорил французские стихи, сочиненные им тут же. Кроме сего, вот стихи итальянские – его же работы. Как прочел он стихи за столом, то я послал Ване сказать, чтобы он готовил 500 рублей поэту. Покраснел и закряхтел. После обеда я к себе отретировался курить, а там посадили меня в вист по 20: я выиграл у Хитрово 18 рублей, да у Урусова 20 рублей. В 8 часов начался род бала, но так как не клеилось от недостатка кавалеров, то созвали всех девушек, пустились играть в жгуты, кольцо и проч. игры. Потом Варенька подала хороший голос делать живые шарады. Ну, уже тут мы посмеялись, и Филистри был чрезвычайно мил. Думали его подкузьмить, а вместо того он Василия Львовича посадил в ремиз. Сперва делали Орфея. Первый акт «or», 2-й «fée», 3-й «Orphée». Тут пришел Филистри с гитарою, венком на голове, плащом из шали и запел: «Потерял я свою Эвридику», – и кончил стихами в похвалу графини Марьи Алекс.; все очень аплодировали.

Это подожгло Василия Львовича, который только и слышал: «Как он очарователен!» Но Филистри уморителен. Предлагают слово «corbeau» [ворона]. 1-е действие – играет валторна; 2-е – Ухтомский молодой является щеголем, смотрится в зеркало, поправляет галстух и проч.; 3-й акт: заставляют дверь ширмами. Вдруг из-за них является на четырех лапах чудовище, – кто же это? Василий Львович, в обыкновенном своем костюме, насилу

дышит. Ха-ха-ха! Кто говорит: «Это медведь, нет, баран! Нет, теленок!» Вдруг из-за ширм показывается милая головка Филистри, подвязанная платком, с куском хлеба во рту. Василий Львович делает ему глазки; при словах сих Филистри себя не чует от радости, разевает клюв и роняет добычу. Толстый Василий Львович, измученный своим неудобным положением, дрожа от приступа подагры, хватает добычу и с превеликим трудом выбирается за дверь. Филистри намекнул, что роль лиса полагается Василию Львовичу – как самому тонкому и остроумному человеку общества. Василий Львович был весьма польщен и согласился, прибавив: «А он будет делать ворону! Ге? Э?» Все – ха-ха! Но вышло, что Василий Львович остался в дураках, а не Филистри. Ворона обманула лисицу, это на изнанку басни. После ужина тотчас разошлись по домам; в 12 часов я бы уже спал, ежели бы не мешал мне Василий Львович своим несносным храпеньем. На другой день в 12 часов был я уже в Москве.

Видел ли ты 22-го лунное затмение? Оно здесь было видно во всей своей красоте. Я нарочно поехал в Английский клуб, чтобы не проспать: играл в бильярд с Киселевым. После полуночи стало показываться черное пятно в верхней части, все умножалось, а в два часа с четвертью луна была во тьме. Славно можно было наблюдать, ибо погода была очень ясная. Я тебе рассказываю, а ты, может быть, видел еще лучше меня.

Обращаюсь к твоему № 42, писанному с того острова, где некогда греки стояли на часах у покойного графа А.И.Пушкина[68]. Великое это будет счастье для Костаки, ежели попадет к Воронцову: этот не посмотрит на родство его с тобою, не станет баловать, а сделает из него человека. Мне Вася рассказывал, как граф был к нему строг, сначала ничего не спускал и давил работою, а там сделался его не начальником, а другом, найдя способности и добрую волю. Сию минуту прислал мне Рудин почтовую книгу для Москвы, своего сочинения. Это хорошо! И мне кажется, что этих более разойдется, нежели петербургских. Здесь есть у Пачимади и реляция греческой победы на море; я ее еще не читал, но сердце мое оною веселится. Ах! Но ведут ли сии победы к чему-нибудь окончательному? Не думаю; а все-таки лучше, чтобы греки били басурманов, нежели наизворот. Вяземский уехал в Калугу, где Полуэктов дает Сакену пир, то есть давал 22-го: сегодня должен быть назад. От меня теперь Жихарев выходит.

Просил совета. Князь Дмитрий Владимирович за ним волочится и дает ему место председателя Уголовной палаты. Я советую служить с таким прекрасным начальником. Буду его

князю рекомендовать, когда увижу.

Константин. С.-Петербург, 25 июля 1822 года

Отобедав здесь с Манычаром поранее, пустились мы в путь в 4 часа ровно и нашли всю дорогу наполненною экипажами всякого рода и пешеходами всякого пола. Мы, конечно, поехали последние из города и тут, по большей части, принуждены были следовать за веревкою экипажей. На четвертой версте Петр, который сидел у нас впереди, кричит: «Стой, стой!» Что такое? Сзади человек упал, и подлинно, так шлепнулся, что насилу подняли. Вышло, что он мертво пьян; к счастью, нашли извозчика, отправили его в город, и после того уже никаких приключений трагических с нами не было.

В Стрельне я нарядился в башмаки и мундир, напудрился и поехал далее. В Петергофе Манычар пошел тотчас в сад волочиться, а я в маскарад, куда насилу пробился. До выхода императорской фамилии успел я переговорить со всеми, с кем нужно было, как то: с князем Волконским о путешествии, с графом Кочубеем (которому переданы бессарабские дела, бывшие доселе у графа Каподистрии) о землях для тестя, с графом Литтою и Кампенгаузеном о новом обществе для перевозки вещей и товаров, с графом Нессельроде о новых господарях, назначенных в Молдавию и Валахию (в первую – Стурдза, а во вторую – дядя Марицы, родной брат покойной Афросиньи Дмитриевны, Григорий Гика), и проч. и проч. Тут было хорошо, просторно и не жарко; а как вышел двор, надели шляпы и следовали за ними, где была публика, то чуть было и я не крикнул. Народу было очень много, а залы невелики. Праздник был славный; так как главное в нем – иллюминация и гулянье в линейках, то и недолго продолжался: в 10 часов пошли ужинать, протанцевав несколько польских.

Государь, как обыкновенно, был ко мне очень милостив, доволен мною и почтами. Одесская, привезшая известие о господарях, пришла в то утро и была в пути только пять суток с половиною, что государь заметил. Императрицу Елизавету Алексеевну видел я танцующую польский, а Марию Федоровну только видел при выходе, ибо после села она играть в карты в не очень большой комнате, где всегда столько было народу, что и подумать нельзя было пробиться. Ужин же был не так, как обыкновенно здесь бывает: с одной стороны ужинала императорская фамилия с двором, и только были генерал-адъютанты, в палатке на галерее за преогромным столом – иностранные министры, все дамы и кавалеры, не принадлежащие ко двору. После сели на линейки; мне также предлагали, но я

предпочел надеть сапоги, сюртук и, сыскав Манычара, идти шататься пешком. Ходили до двух часов, несколько раз встречали линейки, любовались иллюминациею, которая была бесподобна, особливо перед Самсоном, где горел щит императрицы. Везде толпа народа, более ста тысяч человек, погода после дождя хорошая, всеобщее веселие, везде музыка. Так было все это приятно, что хотя устали чрезвычайно, но насилу решились отправиться домой. С умным Петром с трудом могли сыскать кареты; но так как все к лучшему, то и мы, искавши его наперед самого, спасли жизнь трем женщинам, у коих кучер мертво пьяный свалился с козел и лошади стали бить. Мы их удержали, его вытащили из-под кареты, их также высадили, посадили на козлы лакея и отправили благодарных красавиц; случилось ли что с ними после, не знаю. Описывать праздник предоставляю Свиньину [издателю тогдашних «Отечественных Записок»], который, конечно, исполнит свою обязанность как должно, но скажу тебе, что я очень рад, что решился туда ехать, и очень доволен, что видел это волшебство. Восемь лет ровно я там не был. К тому же нагляделся на ангельского нашего государя и удостоверился, что он продолжает быть довольным мною. Так что большая и главная цель была достигнута.

С Юлией Александровной [Татищевой] я немного успел поговорить; ей так душно было, что не до разговоров, однако же успела о тебе сказать, что ты здоров и что она еще более прежнего тебя любит. С дочерью ее несколько раз показывали мы друг другу знаками желание говорить и однажды были так близко, что рот открыли, но толпа, как волна, пришла и разнесла нас в разные стороны. За ужином же они слишком далеко сидели, и мне хотелось и отдохнуть, и есть, и поболтать о Закревском с соседом Желтухиным, потому и решился отложить разговор до удобнейшего случая. Дмитриев, едущий (как скоро откланяется) в Москву, просит к тебе комиссий. Он помолодел, мне кажется.

Возвращаясь, остановились мы в Стрельне, где нашли Добровольского с фамилиею ужинающих; нельзя было отказаться выпить рюмку шампанского за здоровье именинницы его жены и дочери, но ужинать два раза уже невмочь было. По дороге такая же процессия, как когда туда ехали, только вместо одного ряду три ряда экипажей, и несколько нашли на боку, в числе коих Серапина с Кривошапкиным; но к чести дилижансов должен сказать, что они были в другом экипаже. Домой добрался я в пять часов, переоделся и поехал на дачу, чтобы там отдохнуть, но не тут-то было: в 8 часов разбудили, привезли бумаги из почтамта, а там встали дети, и уже не до сна было.

Константин. С.-Петербург, 26 июля 1822 года

Бригадир [то есть А.А.Волков, бывший московский комендант] – плут большой: кончил-таки тем, чего давно желал, но скрывал, – Парижем. Впрочем, я с ним согласен, что, со стороны экономии и средств воспитания детей Париж более представляет удобства, нежели Лозанна, если только будет уметь воздержаться. Напишу о нем к Поццо и Шредеру.

Вчера вечером очень удивил меня на даче визит доктора Гааза московского и Фишера, вегетарианца. Этот последний возвращается из чужих краев и торопится узнать участь Гофмана и свою собственную. Я им обоим обрадовался. Гааз едет завтра в Москву, Фишер проживет здесь еще недели с две. Много говорили о Пфеллере. Гааз – один из его приятелей и субботних гостей.

Каподистрия не поедет на конгресс, а поедет к водам и выедет, я думаю, тотчас после государя.

Воронцов пишет из Мюнхена, что совсем завелся домом. Шредер прислал ему славного повара, он нашел славного метрдотеля, и все устроено как нельзя лучше; начинает уже давать обеды и веселить жителей Мюнхена. Этот не ударит лицом в грязь.

У бедного Вилламова утонул сын, учившийся в Дерпте в

университете.

Константин. С.-Петербург, 28 июля 1822 года

Записки Петра Ивановича [Полетики. Это, вероятно, записки о пребывании его в Америке] писаны по-французски и им же переведены на русский язык. Он меня просил сообщить последние Блудову, с тем чтобы он их пересмотрел и переправил. Я не успел еще прочитать их; теперь не до того: надобно устроить путешествие государя и всех отъезжающих, а там примусь за чтение. Модену лучше, но он точно очень больно ушибся. Дочь его не так. Персиянин, кажется, отправился на корабле в Лондон. Он в своем роде cosa гага [редкая вещь].

Толстый Шиллинг, купавшись, нырнул и вздумал удержать дыхание под водою с минуту, но только что вынырнул, кровь бросилась в затылок, и чуть не сделался ему удар; понесли его без чувств, приставили пьявки к шее и насилу спасли. Теперь он, однако же, совсем здоров, только слаб и невесел. Это, я думаю, отучит его нырять. Карнеева дело кончено: он назначен попечителем Харьковского учебного округа, а указ подписан, следовательно, и секрета больше нет. Он надеется, что министр финансов не оставит его при разлуке без награждения, которое наш Егор по всей справедливости заслужил, доставив много выгод казне. Будут о нем сожалеть; не скоро найдут человека, который бы соединял сведения, опытность и честнейшие правила.

Вчера я обедал у графа Нессельроде и видел приехавшего сюда одесского градоначальника графа Гурьева. Он, кажется, доволен этим местом. Граф Каподистрия также там обедал и Дашков. Оба вечером были у нас.

Сегодня смотр гвардии около Стрельны, после коего двор переедет сюда, и императрица Мария Федоровна поселится на Елагином острове. Князь Александр Николаевич Салтыков возвратился, живет на даче Уварова.

Кончу приятною весточкой. Сей же час получил письмо от Воронцова из Чернигова: «Поздравьте меня, я только что встретил за несколько почт отсюда курьера с новостью, что Лиза родила позавчера (18 июля) мальчика и что мать и ребенок чувствуют себя превосходно». Стало, вместо Амплея есть человек, который, вероятно, будет и добр, и честен.

Константин. С.-Петербург, 29 июля 1822 года

Сегодня обедаю у Каподистрии; прислал еще напомнить, как будто бы можно забыть обед у него! Он едет после государя, кажется, в Эмс; поручает мне дела свои по аренде; может положиться на мое усердие.

Александр. Москва, 31 июля 1822 года

Я обедал, по обыкновению, у Пфеллера (сегодня суббота), где много нашел немцев, и все в черном, ибо явились с похорон своего товарища Рихтера. Они были, говорят, великолепны; еще было бы великолепнее не умирать. Его было спасли от поднявшейся подагры, но он позволил себе какую-то неосторожность и опять отчаянно занемог. Оставляет, говорят, 500 душ, дом и много денег. Добрый наш Пфеллер получил письмо от путешествующего Владимира из Минска и очень был весел. Тот очень жалуется на докучливость жидов. Видно, не жил, как мы, три года в Вильне. Поутру ездил я прощаться с Вяземским, который удерживал меня обедать, но это день заветный у меня, да и последим же суббота (вероятно) до отъезда моего в деревню. Вот и Евсей явился из деревни, там все готово и нетерпеливо нас принять.

Здесь много говорят, и все разно, об истории графа Ар. Ивановича Маркова, проигравшего будто бы Майкову и Никитину 600 тысяч рублей. Иные говорят, что он, не соглашаясь на какое-то их устройство, отказался вовсе от платежа и, будучи угрожаем побоями, уехал из Петербурга; а другие уверяют, что старому игрочишке велено выехать из столицы. Все это, вероятно, очень увеличено, а может быть и совершенный вздор.

Вчера задал нам Василий Львович славный обед, прощальный для Вяземского; он сам опять в подагре и, по обыкновению, выхвалял всякое блюдо и всякое вино.

Константин. С.-Петербург, 1 августа 1822 года

Воронцова сын называется Александр, как увидишь из записки Лонгинова.

Если бы Бахметеву занять прежнее место, то б он его занял; я уверен, что не воротится более в Бессарабию. Неизвестно еще, Инзов [начальствующий над колонистами Новороссийского края], которому дано место Ланжерона на время его отсутствия (то есть, я думаю, также навсегда), останется ли и наместником в Бессарабии, или назначат другого. Поговаривают о Сабанееве, но это только слухи. Кажется, по крайней мере на время отсутствия государя, Инзов будет управлять и Бессарабией. По крайней мере, это общее мнение.

Александр. Москва, 1 августа 1822 года

Очень тебя благодарю, любезный друг, за сообщение Волкова письма, которое очень любопытно для меня. Теперь я знаю и о них, и о Закревских. Этот Сашка – большой плут, и кого это он

обманывает? Я ему здесь еще предвестил, что цель его – Париж, а не Лозанна; но он с притворным видом отвечал, щупая больное свое сердце: «С моими ли годами, недугами, скудностью и семьею ехать в Париж! Ты помнишь, что я и в 19-м году тогда с тобою не поехал». Вот тебе старость, вот тебе бедность! Да и умно делает. Умей себя ограничить мотовством только, так славно может прожить в Париже и славное дать воспитание детям: там хоть кого выучат петь и танцевать. Экий Св. Игнатий Лойола; я ему уж напишу проповедь. С Шредером, верно, они сойдутся, и Сашка, и Софья Александровна, о коей он, каналья, ни слова не упоминает: знак, что здорова. Возвращаю письмо с благодарностью. Теперь будет у нас и другой комиссионер в Париже. Графа Ростопчина уже нет там. Он пишет, что Н.Н.Демидов позволил и что сын его женится на княжне Бово, что, вероятно, отец недолго проживет, и молодца, и все имение перетащут во Францию. Сын его, живший после Сан-Пелажи в Ницце, и там наделал долги и шалости. Он говорит мне: «Сергей был возвращен свободе и пороку». Негодный мальчик!

Но возвратимся к твоему письму. Номер 47 явился ко мне в престрашный дождь, падавший более часа. Представь себе, что на нашей улице не видно было мостовой, ни тротуаров: вся была залита водою. Мне казалось, мы в Венеции; недоставало гондол. Одну несчастную курицу несло, как разбитый корабль; как ни карабкалась, верно, не спаслась, ибо течение было ужасное. Этот потоп, верно, много наделал бед, о коих узнаем после.

Желаю, чтобы на Майкова также выдумали, как он на Черткова. Я тебе писал о московских слухах насчет театрального Аполлона. Хорошо, ежели бы мог он быть с деньгами и без наказания и пятна.

Евсей наш точно женился на девушке какой-то Садыковой, обещавшей отпустить ее на волю или отдать замуж, ежели обрюхатит (разумеется, не девушка, а барыня). Узнав, что мы люди уживчивые, Варенька (имя героини) пошла, вместо воли, к нам в крепость, пленясь не красотою, но аккуратностью и денежками Евсея. Он слывет в околотке богачом. Ты помнишь, что Василий, его отец, был будочником и дворником, ходил в лаптях, и когда умер, то нашли зашитое в жупане завещание, с девятьюстами рублями ассигнациями. Мадам глухая ни уродлива, ни красива, но большая модница. Вот в двух словах история его второй женитьбы, на которую пришлось мне выложить 100 рублей.

Очень благодарю Матушевича за деньги; вот бы очень годились, ежели бы не осталось в Питере этих хвостиков. Хоть это заплатил не своим карманом, а денежками баварца. Кланяйся

очень Ванише, когда будешь ему писать. Ежели выиграю Воротынец, повезу Наташу в Париж месяца на четыре, и заедем в Мюнхен. Кстати, о лотерее: губернатор чрез предводителей посылает билеты в уезды, для продажи; но в уездах не имеют понятия о сей лотерее. Многие и здесь спрашивают часто, что есть еще, кроме Воротынец; какие тут примы? Ты прислал мне 10 французских объявлений о плане лотереи, их тотчас у меня расхватали. Велите это опубликовать в «Московских Ведомостях» еще раз пять. Право, читая, охота возьмет того, кто бы и не думал брать билета. Здесь печаталось раз 20, что билеты там-то можно иметь; что пользы в этой публикации, когда не знаешь, что именно можно выиграть и сколько каких призов. Ты увидишь, что это очень подействует.

Жаль бедного Вилламова. Ставлю себя на место несчастного отца. Говорят, что сын малый прекрасный и отличный стихотворец. Ты помнишь Вилькеса-старика, жившего у князя Федора Ник. Голицына? У него был сын или мальчик, коего он усыновил, и воспитывавшийся в Геттингене. Вилькес, умирая, завещал ему 100 тысяч рублей. Молодой человек недавно стрелял в себя и убил наповал. Говорят, старик Голицын в горе. Никто не догадывается о причине сего отчаянного поступка.

Константин. С.-Петербург, 2 августа 1822 года

На место Карнеева бывший директор Мануфактурного департамента Серебряков, а на место сего последнего Сергей Семенович Уваров, который остается также президентом Академии наук. Болгарский по прошению уволен от директорства Департамента государственных имуществ, коим будет покуда управлять Дубенский. Болгарский так принялся усердно, что ночи просиживал за делами и совсем было ослеп.

У нас в почтовой церкви в воскресенье была свадьба французского генерального консула Мальреде с дочерью Свистуновой. Весь дипломатический корпус там был.

Александр. Москва, 3 августа 1822 года

Известие, полученное тобою от Воронцова, очень меня обрадовало. Надобно, чтобы порода таких людей, как он, не переводилась, а умножалась. Я тотчас дал знать это Мите Нарышкину, который его любит как отца и который сегодня должен был уехать в деревню, не дождавшись также шести недель после родов жены. У него теперь два сына.

Уж этому толстому Шиллингу несдобровать; не его дело ни порхать, ни нырять; будет с него, что и повальсирует иной раз.

Не знаю я, что будет с Горенками, только отсюда все продают

поштучно, как из лавочки: померанцы, груши, лавры, все это в деревьях. Можно все это очень дешево иметь. Девиз наследника графа Алексея, кажется: деньги из всего.

Константин. С.-Петербург, 4 августа 1822 года

Главным начальником Манычара сделан принц Александр Виртембергский; не знаю, останется ли Бетанкур или нет, но, вероятно, нет. Шепинг (флигель-адъютант) женится на Чертковой, сестре того, что адъютантом у князя Волконского, и дочери богача. Другая еще свадьба, которую, вероятно, не ожидаешь: Лебцельтерн женится на дочери графа Лаваля. Наконец Каподистрия сдерживает свое слово и дает списать с себя завтра портрет для меня. Здесь есть некто Соколов или Соколовский, академик, который в полтора часа кончает портрет, и чрезвычайно похожий. Он писал всех Фредровых приятелей, Матушевича и проч.; говорят, удивительно, как похожи.

Александр. Москва, 4 августа 1822 года

Не беспокойся: Ваня не дал Филистри 500 рублей за стихи; не знаю, подарил ли что-нибудь и за эпиталаму, коей напечатание довольно стоило денег берлинскому придворному поэту. Княжна училась у Метаксы по-итальянски; она, зная его бедность, просила Ваню что-нибудь ему подарить. Он обещал, и княжна объявила это с радостью своему бывшему учителю. Тот ну себе заказывать фрак и панталоны, обмундировался. По приказанию княжны является к Ване поутру. Этот, весь сконфуженный, сажает его возле себя, показывает ему счета своих издержек: карета дорожная 7000, ливрея, лошади и проч. и проч., и оканчивает словами: «У княжны ничего нет, я был принужден восполнять все из своих денег, и должен вам признаться, что теперь, когда надобно мне ехать за границу, мне остается только 90 тысяч рублей». Наш грек очень тонко ему возразил: «Но, господин граф, зачем вы входите во все эти объяснения! У меня нет права требовать, я ни о чем вас не прошу и пришел только потому, что княжна сказала мне: “Приходите утром к графу Ивану, ему надобно с вами поговорить”. Я совершенно не знаю, зачем вы меня звали». Ваня пришел в страшное замешательство, но все кончилось тем, что он бедному Метаксе не дал ничего. Экая скряга! Хоть бы перед невестою блеснул!

Константин. С.-Петербург, 5 августа 1822 года

Государь изволил выехать вчера утром и в девять часов с половиною проехал через Гатчину. Дай Боже совершить путешествие благополучно и скорее к нам возвратиться.

Лебцельтерн точно женится, но еще не объявляет о сем, пока не получит дозволение от своего императора.

О Дмитриеве все слухи кончатся его к вам возвращением. Москва точно не верит никогда, чтоб человек ехал или по собственным своим делам, или посмотреть на своих друзей в Петербург; всех подозревают в видах. О Маркове [престарелом графе Аркадии Ивановиче] я как-то тоже слышал, что он проиграл тысяч сто, но это, кажется, пустые слухи. Он точно едет в деревню, как и сам мне сказывал, но еще в сентябре, а по первому пути сюда возвратится, следовательно, тут высылки нет; да чего не врут на сем свете!

Вчера был у меня Ротшильд, маленький человек и фигура неважная, но, кажется, добрый малый. Через две недели поедет полюбоваться Москвою. Он мне привез письмо от Шредера. Куда богат! Я к нему посылаю Беннера с его живописною коллекцией; авось купит. Послал бы Мартынова, но боюсь его глупости. Нового у нас нет ничего, да теперь нечему и быть. Государь, как полагают, будет в Вене к 26-му августа. Поццо, верно, туда приедет, а наш Шредер опять останется поверенным в делах.

Были у Каподистрии, нельзя сегодня писать: он должен был ехать откланяться к императрице Марии Федоровне. В понедельник еще обещался обедать у нас на даче, а в среду, я думаю, отправится. Без портрета я его не отпущу, а я уже и тебе сулил копию.

Александр. Москва, 7 августа 1822 года

Вот и Филипп Иванович сейчас от меня. Давал мне инструкции, как целый день поступать в деревне, куда гонит нас без пощады; мы сами торопимся: время прекрасное второй день, барометр поднимается. Там примусь опять за декокт и, кроме того, буду брать всякий день ванны какие-то с солью; того и гляди, что сделаюсь ветчиною или, по крайней мере, солониною. Так хочет наш славный старик, я повинуюсь.

Меншиков был здесь на сутки, поехал к жене также на сутки, а оттуда в дальний путь. Рушковский таки явился к нему, но слушал уроки не совсем приятные. Князь хвалил почтовый департамент вообще и особенно почту петербургскую. «Вы можете быть уверены, – говорил он Рушковскому, – что в Петербурге через пять часов после того, что почта придет, всякий имеет свое письмо». – «Да и здесь я, ваше сиятельство, также, вот ефто-то, эту минуту письма доставляю». – «Нет, это не то; в Петербурге протекция не действует, последнему мещанину письмо так же скоро доставляется, как министру, не частная услуга там в виду, а общая польза: мне могут писать вздор мои родные, а часто вся

фортуна купца зависит от получения раньше или позже пакета. Нет, в Петербурге все это делается очень и проворно и исправно». – «Очень хорошо, да знаете ли вы, что это все делают наши московские почтальоны?» – «Какими же судьбами? Почтальоны везут почту, а разбирать почту – не их дело; это делают чиновники. А у вас почтальоны почту разбирают? Так от этого так медленно и раздаются письма здесь. Надобно правду сказать, Константин Яковлевич заслужил всеобщую благодарность. Знаете ли вы, что письма скорее приходят в Петербург из Одессы, нежели из Тамбова и Пензы в Москву!» Надо было видеть смущение нашего милого друга. Мне все это рассказывал Н.АЛунин, который был свидетелем разговора.

Потеря лишнего и бесполезного жира есть уже доказательство, что воды Закревскому помогли, чему я очень радуюсь. Всякий русский должен желать здоровья человеку, столь полезному службе и доброму.

Князь Цицианов обещал взять в феврале наших граберов белорусских на здешние работы, а между тем мне советовал (радея о нашей же пользе) поговорить с Витбергом, которому также оные нужны; а у него, говорит он, плата лучше и работа чуть ли не легче. Узнай это от Витберга, так лучше ему отдать наших мужиков. Спроси, сколько он платит каждому, на какое время и какое число ему нужно? Не останавливая наших сельских работ, мы можем уделить человек 200. К какому времени они ему нужны? Я этими работами в Риге поправил много наших крестьян; а теперь в Ригу более не требуют, за неимением в них надобности.

Метакса говорит, что приехала взбалмошная роденька Каподистрии Сумарокова. Собирается в Петербург, но я уверил Метаксу, что она графа не застанет.

Константин. С.-Петербург, 8 августа 1822 года

Я сам точно был уверен, что Волков плутует и что с самого начала его намерение было побывать в Париже; впрочем, что тут хитрить? Лучшего он ничего не мог бы придумать и для своего кармана, и для воспитания детей. В Лозанне бы он разорился, ибо в маленьком городке русскому человеку нельзя так спрятаться, как в Париже, где он может жить скромно и весело. Ты говоришь, что он с Шредером сойдется, да мне кажется, он с ним знакомый. В мою болезнь они оба были в Петербурге.

Демидов глупо делает, что сына женит в Париже; будто нельзя ему здесь найти невесту. О сыне Ростопчина и говорить нечего, разве пожалеть, что он кончил, как блудный сын. Выиграй Воротынец, а там согласен и я, чтоб ты повез Наташу в Париж. У

меня тоже есть кое-какие проекты в случае выигрыша, но они не касаются до путешествия за границу: довольно пошатался. На всякий случай я взял четыре билета за 9 рублей в шведскую лотерею, в коей разыгрывается какое-то именьице, стоящее 9 тысяч талеров. Где-нибудь да выиграю. И подлинно, чаще надобно печатать в газетах о лотерее, хотя, впрочем, дела наши идут порядочно.

Сакена главная квартира будет здесь на время отсутствия государя, так как гвардейский корпус считается в первой армии. Его ожидают, и дом ему уже нанят. Панкратьев едет сегодня в Москву.

Александр. Москва, 8 августа 1822 года

Уваров из ученых попал в фабриканты, а Карнеев бросил сукно и принялся за перо. Последнего вели к сему обстоятельства, но Уварову – не понимаю, что за охота взяться за эту сухую материю, разве для того, чтобы титул его прибавился одною строчкою. Недолго же побыл Болгарский на своем месте. Ай да Берд! Уж никому не было так весело от петергофского праздника, как ему: шутя взять 60 тысяч рублей! Но дал ли он хоть 100 рублей тем несчастным, изжаренным, закоптелым, которые в адском жерле переменяют дрова и здоровье свое теряют, тогда как Берд наживается. Я не могу забыть фигуру несчастного того истопника, которому ты, не будучи ни Бердом, ни Шереметевым, дал 25 рублей в поездку нашу в Кронштадт на паровом судне.

Контора частных должностей – учреждение хорошее, и со временем, конечно, это распространится. Меня уверяют, что это здесь когда-то существовало и рушилось. Я очень благодарен Воронцову, что он меня помнит, а я его всегда душевно любил, милый человек. Жена его – моя большая фаворитка, и я очень разделяю благополучие их иметь сына, да еще и Александра [этот сын умер в младенчестве].

Какова же моя хозяйка! Завела в Балакове один стан, выучила одного ткача у тестя, и теперь делается у нас из белорусских талек очень порядочное полотно, которое отдает мастерам белить и складывать на манер голландских полотен. Дети носят у нас рубашки из этого полотна, идет и на простыни, наволочки и проч. Посылаю тебе в четырех штуках 68 аршин; по мере, что будем выделывать, будем с тобою делиться. За это, надеюсь, Клим не будет ворчать, а скажет спасибо. Я все смеялся над Наташиными затеями, ожидал все пустяков, а теперь делаю публичное покаяние.

Константин. С.-Петербург, 9 августа 1822 года

Третьего дня, как я тебе сказывал, обедал у нас добрый Каподистрия, мой милый и любезный друг. Я позвал обедать живописца, и после обеда охотно Каподистрия сел и дал ему списать с себя портрет, который, хотя сделан скоро, в полтора часа, но чрезвычайно похож. Живописец взял его, чтоб отделать. Для тебя будет копия. В девять часов граф с нами простился, но не сказал, когда едет. «Когда я вас увижу?» – «Не могу вам этого теперь сказать, мой милый друг, но будьте уверены, что будете одним из последних, кого я вижу в Санкт-Петербурге и кого покидаю я с наибольшим сожалением». На другое утро в пять часов (то есть вчера) он отправился в путь, и я узнал о сем только от Доболия, который у нас обедал и привез от него поклон и поручение сказать, что он прощаться не может, но нас сердечно любит и уверен, что и мы его любим и не забудем. Он отправился через Поланген. Вечером приехал Реман, и мы с ним пустились к графу Нессельроде – поздравить его с новорожденным, то есть я поздравил, а Реман был при родах. Все обошлось как нельзя лучше, графиня и дитя здоровы. Граф отправится, вероятно, послезавтра.

Вчера спускали корабль 84-пушечный; я поспел еще, чтоб видеть прекрасное это зрелище, нанял шлюпку и катался по Неве. Корабль сошел величественно и прекрасно; на нем гремела музыка и множество было народу, берега Невы наполнены зрителями, а река – шлюпками.

Константин. С.-Петербург, 12 августа 1822 года

Вчера у Блоома, как обыкновенно, был обед преогромнейший. Я сидел возле Фредро и Ал.Гурьева. Первый уверял меня, что Марков проиграл 600 тысяч и что в 400 тысячах сам признался и едет в деревню, чтоб устроить свои дела; хорошо еще, что об этом думает. Он отправляется 20 августа, и прямо в Подольскую губернию, не проезжая через Москву. Там обедал также Ротшильд, который мне сказывал, что он покупает у Беннера коллекцию живописных портретов. Я очень рад: Беннеру деньги нужны, да пора ему и со мною расплатиться.

Константин. С.-Петербург, 15 августа 1822 года

Зачем, ты думаешь, княгиня Софья Григорьевна присылала за мной? Долго совестилась сказать, наконец просила меня взять на себя во время ее отсутствия главное управление ее делами. У нее есть управляющий, человек верный; но она хотела, чтоб он был под моим руководством, чтоб я взял доверенность на продажу имения, покупку другого, за плату долгов и проч. и проч.,

наговорила мне много лестного, дружеского. Ну как отказать внучке князя Николая Васильевича, друга батюшкина? Не только я тотчас согласился, но еще рад, что могу оказать ей услугу, и, конечно, буду ей служить с усердием. Вот теперь я поверенный двух особ – ее и графа Каподистрии.

Дай Боже вам веселиться и наслаждаться прекрасною деревенской жизнью, которая всегда была одним из моих величайших желаний. А вот как выиграем Воротынец, так и это устроим. Сейчас был у меня Багреев; в среду, то есть завтра, его свадьба в домовой церкви графа Кочубея[69]. Просил певчих. После проживет здесь с месяц и поедет через Москву в свою губернию.

Каков же Рушковский! Прислал жене ананасы на именины. Спасибо ему, что не забыл ее именин и вспомнил, как веселились в Свирлове.

Александр. Семердино, 16 августа 1822 года

Я точно читал печатное сообщение графа Кочубея о хлебе из моху. У князя Дмитрия Владимировича спекли такой хлеб, я его отведывал, на вкус хорош; остается решить, не вреден ли он для здоровья и так ли насыщает, как обыкновенный ржаной? Я достал образец этого мха и повезу его с собою в Велиж.

Я дочитываю теперь речи Фокса. Какая разница между ними и тем, что г-да французы врут в своих заседаниях!

Только коллекция эта не полна, ибо я не нашел достопамятных речей Фокса во время заключения батюшки в Эдикуле, когда Фокс отвратил от нас войну с Англией. Граф Семен Романович сделал тогда неожиданный поступок. Видя, что все его старания привести в рассудок министерство британское были тщетны, он обратился к оппозиции и отдал ей все бумаги и переписку свою с Петербургом, показывавшие ясно умеренность и миролюбивые чувства государыни. Фокс тогда одержал победу в парламенте, и Екатерина, выписав его бюст мраморный, поставила оный в Царском Селе между Демосфеном и Цицероном. Впрочем, может быть, я еще и не дошел до этого. Для столь великого оратора, каков был Питт, нужен был и соперник, как Фокс.

Пишу Метаксе, чтобы присылал скорее вторую часть «Записок»: теперь у меня много досужного времени. Балабину скажи, чтобы он не церемонился и делал какие хочет замечания, прибавления, перемены к первому тому и присылал назад. Надобно приняться за печатание. Кому же посвятить? Имею в виду не fumo, a arosto, не честь, а деньги.

Я был теперь в Балакове. Прислали туда из Дмитрова солдата

с повесткою о дорогах; этот бедняк, сидя в избе, вдруг упал с лавки и умер. Послали тотчас за попом, и хотя церковь очень близко, священник не нашел уже солдата в живых. Этот бедняк – из Балакова, сам имеет тут родных и радовался, что в сентябре получит отставку и приедет поселиться к родственникам своим в Балакове. Поди, делай проекты! Меня это тронуло, но я не мог не засмеяться. Подъезжаю к избе, вижу тут человек с 50 у ворот. «Что вы тут делаете?» – «А вот, батюшка, *караулим* покойника!» – «Кажется, нельзя опасаться, что уйдет». – «Наше дело мужицкое – как нам знать, а лучше покараулить: на нем амуниция государева». Есть в народе инстинкт, заставляющий его беречь все казенное, – тот же инстинкт, что существует и в более высоких классах и там заставляет их воровать все, что принадлежит казне. Моя мадам в большом гневе, изобличила старосту балаковского в покраже шести четвертей хлеба; он признался, и она его отрешила от министерства внутренних дел; теперь выбирает другого. Крику было, шуму! Это не то, что выборы в Вестминстере.

Александр. Семердино, 18 августа 1822 года

Вчера возились мы с беспокойными городскими гостями; они явились, как тело умершего в Балакове солдата (о коем я тебе писал) так испортилось, что подходить нельзя было к нему. Лекарь отказался вскрывать благовонное тело, полицейские и заседатели отказались подходить к оному, поп без денег отказался хоронить, однако ж, по долгом споре, покойный предан земле, и вся эта мелюзговая команда почла себя обязанною заехать к нам с почтением своим. Мы их потчевали кого чаем, кого водкою, кого трубкою. Все это так бедно, служит на таких окладах, что, право, нельзя их слушать без жалости. Офицер признается мне, что, ежели бы жена его не шила башмаки женские, нечем было бы детей кормить; офицер инвалидной команды также сознался, что взял у приятеля сапоги, чтобы ехать сюда. Этот, хоть и был уже в кураже, захотел довершить дело, все отказывал, что я ему ни предлагал, и наконец воскликнул: «Вы всех нас утешаете, вы так добры, великодушны, ваше превосходительство! Простите мою дерзость и дайте мне *вина,* не виноградного, а хлебного, просто сказать, сивухи».

Подали ему стакан пенного, и он, это осуша, начал рассказывать свои походы. Служил при Екатерине в гвардии солдатом; красотою своей и протекцией Иосафа Арбенева сделан сержантом; служа хорошо, выпущен офицером, во многих был походах, за раною и бедностью определен на инвалидное содержание.

Наш оратор вдруг исчез, куда девался? А он забрался к Ванюшке. «Нет, брат, – сказал он ему, – посижу с тобою; боюсь, как бы там при барыне твоей не провраться! Ты, должно быть, род фаворита, на тебе фрак из тонкого сукна, и ты ходишь в усах. Ежели я угадал, то сделай же доброе дело: внуши барину, чтобы пожаловал нам что-нибудь на нашу бедность». Нельзя было бедному Алексею Клюеву не подарить красную бумажку.

Лекарь, по имени Соколов и на коем передняя половина парика была русая, а задняя рыжая, долго все отмалчивался и про себя шептал; наконец, воспользовавшись минутою, что все умолкли, он встал и начал свою речь: «Осмеливаюсь вашему превосходительству доложить, что я имел счастье воспитываться в доме вашего дедушки Ивана Михайловича Булгакова. Ныне порода таких людей перевелась: он имел силу Орловых, а ум Паниных, был бел, свеж, имел вершков 12. Московские градоначальники – и Еропкин, и Измайлов – ездили к нему на совет. О батюшке вашем говаривал: «Это будет человек. Бог ему все дал, от меня имеет только благословение и любовь мою». Петр Иванович [брат Якова Ивановича Булгакова] был тоже у меня; но, осмеливаюсь доложить, простите меня (и посмотря на Клюева), придерживался горячих напитков; более причиною в этом был его шурин, человек нетрезвый» (это, полагаю я, Сивастов), – и проч. и проч. Все тебе рассказывать было бы очень долго, а признаюсь тебе, что разговор сей и подробности о дедушке и молодости батюшкиной были очень для меня приятны. Соколов уверен также, что Мавра Ивановна *неблаговидна* и что заключение батюшкино в Эдикуль было причиною преждевременной кончины дедушки. Вся эта шайка разбрелась, и почти всем надобно было подарить что-нибудь из жалости.

К нам явились на житье учителя: русский Ильин и французский Мерсан.

Ты мне даешь прекрасную весточку. Итак, и я буду иметь похожий портрет доброго Каподистрии! Это меня очень радует. Сделаю славную рамку и повешу у себя в кабинете. Вам и без портрета хорошо: вы его видаете часто. Ожидать буду подарка с нетерпением, а ему желаю от всей души возвратиться здоровому в Петербург. Я уверен, что мы имеем в нем истинного друга, а зная хорошо его душу и чувства, нельзя его не любить и не уважать.

В воскресенье поехал я обедать к Брокеру[70]. Только что велели было идти за кушаньем, является к нему Филипп Иванович Пфеллер с Аленою Ивановною и Шафонским со свитою. Для неожиданных приятных гостей надобно было лишнее велеть приготовить, о чем я не жалел, – есть не очень хотелось. Мы погуляли в саду и около пруда, а там принялись и за чавканье.

Поели плотно, пили, между прочим, за твое здоровье – по приглашению старика: «За здоровье моего благодетеля Константина Яковлевича!» Высушили две бутылки «У.С.Р.» [марка шампанского], а там стали мы курить, а там в вист сыграли 12 робберов, ровно все вничью, а там чай пить, а там опять в вист, а там ужинать. Но я не остался и убрался домой засветло. Филипп Иванович читал мне письмо, которое получил от сына из Дрездена, где его Ханыков очень обласкал, а Струве показывал все достопамятности города. Министр дал ему депешу к великой княгине в Веймар, а 5 августа Владимир Филиппович должен был быть во Франкфурте. Он описывает все, что видит, очень подробно отцу, а тот до сих пор еще не может умерить своей радости, что сын так хорошо помещен, а тебе душевно благодарен.

Константин. С.-Петербург, 18 августа 1822 года

Слушай, мой милый и любезный друг, важное, ужасное и неожиданное известие, полученное со вчерашнею почтою из Лондона от 13 августа. Весь город был там в движении от известия, привезенного эстафетою, о смерти маркиза Лондондерри. Сперва сказали, что он умер от поднявшейся в желудке подагры, но вскоре узнали, что он перочинным ножичком перерезал себе в горле пульсовую жилу. С некоторого времени приметили в нем необыкновенную молчаливость и уныние; особливо заметили сие друзья его, когда он с королем простился. В тот же день его домовой доктор вечером нашел его в лихорадке и с большою головною болью. Ему пустили кровь (посредством банок). Получив облегчение, маркиз отправился в тот же день с женою своею в загородный свой дом. Доктор его посетил на другой день, нашел его лучше, но не велел вставать с постели. В воскресенье сделались признаки помешательства в уме; удалили все, что могло испугать больного. На другой день в семь часов утра один из камердинеров пришел сказать доктору, что маркиз желает его видеть. Доктор тотчас пошел к нему и нашел его стоящим в уборной своей в халате. Он сказал доктору несколько слов, но в ту же минуту упал мертвый в его объятия, и доктор тогда только заметил, что перочинным ножичком маркиз перерезал себе пульсовую жилу. Он умер немедленно, без всяких конвульсий и без страдания. Ножик принадлежал к карманной книжке, которую забыли прибрать. Вот подробности, заключающиеся в гамбургской газете. В них нет никакого сомнения. Он уже простился с королем, чтоб ехать в Вену, вместо того предпринял дальнейшее путешествие!

Кого-то изберут на его место? Английские газеты назначают

уже ему несколько преемников, а именно: Каннинга, г-на Пиля, Стюарта, что послом в Париже, Гренвиля. Между тем любопытно знать, кого пошлют в Вену. Кто б мог этого ожидать? Он был человек очень хладнокровный, но правда и то, что в безумии себя убил. Для Англии потеря превеликая, а особливо для короля и министерства. Лондондерри был славный оратор, постоянно умно останавливавший оппозицию во всех ее приступах. Она восторжествует, но недолго, если Каннинга сделают министром-статс-секретарем по иностранным делам.

Лондондерри родился в 1769 году. Он умер 12 августа. Он был ровесником Бонапарта и Веллингтона. Берлинская газета дает еще больше подробностей (третья почта сейчас получена). Его физические силы с некоторого времени уже чрезвычайно опустились; но сон, аппетит были хороши, так что никаких лекарств он не употреблял. Газета примечает, что он хотел лишить себя жизни. В этом я с нею совершенно согласен: иначе бы он не зарезался.

Александр. Семердино, 23 августа 1822 года

Как ни была вчера дурна погода, желая сделать приятное Шафонскому и заплатить за визит его и доброго старика Пфеллера, я поехал в Сергиевское, где меня оба встретили у крыльца при пушечной пальбе. Жаль, что дождь не позволял выйти из дому; но местоположение прекрасное, на горе очень большой дом, из коего видны деревень 20 и Троицкая лавра; внизу протекает река, на косогоре Шафонский разводит английский сад. Мы, нимало не мешкав, принялись за обед. При жарком не забыто было шампанское, а при шампанском вывели на сцену не только тебя, но и Кубышку [прозвище одного из детей Константина Яковлевича Булгакова]. Все были очень веселы. После обеда хотел тотчас уехать, боясь темноты и дурной дороги, но принудили сесть за вист. В 6 часов так сделалось темно, что надобно было подать свечи. После я тотчас уехал. Спасибо, что дали верхом проводника, который указал нам новую хорошую и кратчайшую дорогу; только со всем тем я ехал два часа и очень обрадовался лаю своих собак, которых мог слышать, а не видеть. Чтобы не так было скучно, я взял с собою нашего проворного шута Момку, Титова сына; но его до того поили там, что он был пьян; его рвало, и я всю дорогу держать должен был его на коленях спящего. Теперь я до 26-го не ездок никуда.

Цена, даваемая Витбергом, неважная. Комиссия для строения Москвы платит по 45 рублей в месяц, но я это все лучше разведаю в Москве; когда там буду, переговорю с Витбергом, а высокоблагородного очень благодарю за его попечение; ответ его

дипломатический доставлю графу Риччи.

Прощаю очень голышу выиграть 400 тысяч; но богачу, как Маркову, проиграть такую сумму – это довольно глупо. Вот жадность, жестоко наказанная. Спасибо Ротшильду, что берет у Беннера коллекцию царских портретов; я надеюсь все, что это та, которую он было приготовил для Потемкина. Она очень великолепна.

Белоруссия в самом жалком положении. Помещики опять подают прошение, требуя помощи и отзываясь невозможностью вносить пошлины. Рожь, сено, вино – пропали; вся надежда на яровые; ежели и тут неудача, то бог знает, что и делать и как извернуться! У меня бродит в голове проект ехать весною, поселиться там месяцев хоть на шесть и видеть все это поподробнее своими глазами, сделать последнее испытание: проклятое вино бросить (там винокурен 15 закрылось уже), посуду медную, столько стоившую нам денег, продать и проч.; а всего бы лучше продать все, иметь меньше дохода, а более покоя. Вот четвертый год, что не родится. Скота множество, мужики поправлены, наши перед прочими славятся, а все мало пользы. Ежели, как уверяет и сам Пфеллер, хлеб из мха точно питателен и здоров и приуготовление оного не влечет большие издержки, то это находка для нашего несчастного края. Я послал Ефиму этого мху на образец, велел его набирать запасы, послал и хлеб один на пробу, велел испечь им самим. Дай Бог, чтобы удалось – для бедных мужиков и для бедного нашего кармана! Не забудь, любезный друг, прислать мне печатанное описание этого хлеба, студеня и проч. из мха; это можно достать у графа Кочубея, ибо им было сообщено циркулярно всем губернаторам.

Константин. С.-Петербург, 23 августа 1822 года

Киселев мне пишет, что он будет в Москву в сентябре, в конце, и меня подзывает. Костаки [Варлама, брата жены К.Я.Булгакова, который вскоре затем был убит на поединке Н.В.Сушковым] хвалит, он отличается нравственным и исправным офицером. Дай Бог! Пишет: Инзова к смерти приговорили новым его назначением, а Ланжерона – согласием на просьбу. Сообщает известия из Молдавии и Валахии. 18 июня был в Яссах сильный пожар, весь почти город сгорел, едва ли пятая часть осталась. Время управления князьям не определяется, а зависеть будет от их поведения; по смерти князя бояре собираются, и предоставляется избирать им сына его или другого бояра, и представляют его в Царьград с просьбою об утверждении его. Грекам не только не велено давать никаких должностей, но и пристанища. Вот главные новости.

Александр. Семердино, 27 августа 1822 года

Я поехал на маленьких беговых дрожках к обедне в наше ближнее село Иевлево. Оттуда воротился, нашел жену расплаканную: дети, особливо Лелька, очень ее тронули приветствиями, сказанными ей, как она встала с постели. Чай меня ожидал, я проголодался и плотно позавтракал. Собираемся все идти в рощу, слышим колокольчик, дождались, и явились Вейтбрехт и экзекутор, коим мы очень были рады; с ними почтальон Буренин, нашей Машеньки брат родной, и ей праздник. Очень хорошо! Московские гости кто мыться, кто бриться. Я собирался гулять, и у меня был в руках мой обыкновенный посох простой. Наташа говорит: «Ты так любишь бильярд, что тебе всегда надобно держать кий в руке». – «Кстати, насчет хвостов[71]: ступай-ка лучше к себе в комнату», – а тут на ее постели положено было платье с надписью «парижская блуза». – «Ах, как красиво, откуда это?» Ну целовать меня. «Вот столько же поцелуев причитается и моему брату: это он прислал тебе это платье». А мы все думали и толковали, как бы по журналу эдакую блузу сочинить. Она тотчас надела и ну хохотать, и подлинно: покуда не подпояшешься, это очень смешно, а там очень полюбилось, но несколько коротко. Ежели есть у Анжело остатки этой материи, то попроси у нее. Наташа походила в обновке, но там стало жаль, и она ее скинула: хочет поберечь до Москвы.

Явились потом Николай Петрович, лекарь, с женой (он привьет вакцину Кокоше) и наш глухой с молодою женою. Явились наши верноподданные, коих Наташа на лугу перед домом угощала обедом: щи, говядина, солонина, каша, вино, пиво и пироги. Ну, брат, уж покушали, весело смотреть было! Дети сидели напереди, за ними бабы, а там мужики стоя. Эти три яруса чавкателей составляли прекрасную картину. Мы, не дождавшись конца их обеда, пошли да принялись за свой. К бывшим уже тут гостям прибавились еще священник иевлевский и дьякон, которых мы подпоили. Как стали пить шампанское, слышим выстрел из пушки; это было неожиданно, и мы все перепугались. Что же вышло: Ванюша из двух старых пистолетов сделал две пушчонки, поставил их на лафеты и ну стрелять под носом нашим.

Теленок был чудесный, и мы не один раз тебя вспомнили и тут, и в течение этого дня. После обеда сели мы на балкон с трубками. Тут пошла потеха для ребятишек. Мы кидали в толпу большой мячик, и кто его принесет, тот получал подарок от Кати, а девчонки – от Лельки пряник. Эта забава продолжилась до

самого чаю, а бабы все пели песни и водили хороводы. Как сказала Наташа: не идти ли нам на ту половину к саду пить чай, я догадался, что надобно меня удалить подальше от залы. Натурально охотно согласился, и мы там были до девяти часов. Вдруг является жена и приглашает идти в залу; тут и Брокеры явились от Шафонского, очень обрадовали и умножили число наше. Представь себе, что в два часа времени зала превратилась в театр, оркестр гремит, занавесь поднимается, и представляют в лицах сказку Ивана Царевича, Яги-бабы (эту представлял Ванюша), Тарабара – учитель Ильин, Царь-девицы – сирота одна, у нас живущая, дочь бывшего духовника Наташи. Было сражение царевича с чудовищем, изрыгавшим пламя изо рта. Ну, право, все это было сделано прекрасно и очень нас позабавило. Все это составил Ванюша в три дня, и стоило все 50 рублей: великолепно и совсем не дорого. Этот малый, право, удивительный на все эти штуки.

После сели мы играть в другой комнате в вист. Вдруг являются масок с 30. Жена весь дом перерядила и достала от театральной дирекции разные костюмы. Сама была она швейцаркою, продававшею пирожки в корзине, дети – турчанками, все девушки и весь дом в масках – кто гусаром, кто старухою, кто туркою и проч. Танцевали, разошлись.

Потом спрашивает Елена Максимовна: позволю ли я войти цыганкам, приехавшим из Москвы. Я было с досадою бросил карты: кто прислал этих дьяволов, я их не люблю, особливо в комнате. Брокер прибавил: «Неужто вы в самом деле думаете, что это цыганки?» И подлинно так, а я сглупи и поверь. Цыганки вышли Наташа с детьми, девушками, и ну плясать! Это было очень мило. Наташа в это вмешалась, делали репетиции, и все было восхитительно. Ольга исполнена изящества, а мадам Наталья была прелестна. Дело-то было уже за полночь, стало уже 27-е число, тут хор всех людей запел нам прилагаемые куплеты работы Ильина. После спущен был фейерверк, который очень удался, особливо «N» в сиянии, народу сделалось бездна отовсюду. После того, покуда с одной стороны горел фейерверк, с другой зажигалась иллюминация в саду – в конце трех аллей были щиты с транспарантами. Средний, ведущий к роще, представлял такую прекрасную арку, что я его оставлю тут навсегда; аллея и роща вдали сквозь эту арку прекрасно представляются. На другой стороне был щит Наташиной работы: тут два «К» с надписью: «Далеки от глаз, но оба близки к сердцу».

Но эти два «К» даю отгадывать всем вашим мудрецам. Я велел детям сделать Косте описание этого праздника: его это утешит. Не было минуты, право, чтобы мы вас обоих не

вспоминали. Вот и гости наши воротились из рощи; я рад, что успел тебе это намарать. Экзекутор остается еще сегодня с нами, спасибо ему. Вообрази, что мы вчера легли в три часа почти что, балкон был все отперт, и не было холодно. Июльская ночь, и месяц светит так светло, что Брокер не захотел ночевать у нас, закурил трубку и поехал домой, а завтра собирается опять в Сергиевское к Шафонскому. Филипп Иванович там занемог флюсом, подвязана щека, и не выходит из комнаты; собирается в Москву в понедельник: Рушковский его требует для этих подписок о масонстве, также выписал Трескина и Одинцова, а те было поехали подышать деревенским воздухом. Все начальники очень круто это дело [присяга о непринадлежности к тайным обществам] повели в Москве. Юсупов кончил это в три дня, и наш Рушковский не отстает от него. В Москве только и разговору, что о масонах: те, кои за них распинались, теперь их ругают немилосердно, против пословицы, что лежачего не бьют.

Александр. Семердино, 28 августа 1822 года

Известие о смерти Кастельрея и речь Лондондерри [первый министр Англии Кастельрей зарезался][72] очень меня поразили. Он, кажется, был человек, желавший не только благоденствия Англии, но и спокойствия целой Европы, и какой ужасный конец! Это потеря для всех, и теперь всем дипломатам не так ловко будет иметь дело с новым лицом на конгрессе: с покойным все были в тесной связи. Мне в Париже один старый англичанин, человек очень умный, сказал, и, кажется, это правда: «Обязанности, заботы и труды главного министра в Англии столь тяжки, что человек не может долго выдержать и либо с ума сходит, либо умирает преждевременною и насильственною смертью». Это довольно правда. Один Шатам умер стар и министром. В газетах, кои мне прислал вчера Рушковский (которые, однако же, всегда позже твоих писем меня извещают о происходящем в Европе), пишут, что вдова маркиза лишилась ума от горести.

Вчера я сделал фарсу с ребятишками: войдя один в баню, спрятал там мячик, потом объявил, что, кто мячик тот найдет, тот получит 10 копеек серебра. Надобно было видеть эту комедию; я все стоял у окошка и смотрел. Баня премаленькая, а набилось туда мальчиков 40. Многие влезли даже в печь. Мячик был на печи; одному только пришло в голову там посмотреть.

Константин. С.-Петербург, 1 сентября 1822 года

Третьего дня возвратился поздно из Невского монастыря. Императрицы Марии Федоровны там не было: проведя ночь с

великою княгинею, она устала. Императрица Елизавета Алексеевна была одна. После обедни изволила быть у митрополита на завтраке (на котором Тургенев сильно отличался), а потом поехать в парадной карете в Таврический дворец, где был обед. Новая парадная карета, которую иные ценят в 80, а другие в 30 тысяч, прекрасна, вся вызолоченная, внутри обита вышитым бархатом. Народу, как обыкновенно, было очень много, и давка препорядочная; в церкви даже чуть не задавили полковника, командующего Семеновским полком. С трудом его вытащили из-под ног. Дождь разогнал часть любопытных, но все еще много осталось до самого отъезда государыни.

Встретил я там Сакена. Он пробудет несколько дней еще в Таврическом дворце, а там переедет поближе к нам. Не знаю, Дибич приехал ли; я его не видал. Выходя из церкви, были мы в затруднении, как пройти к митрополиту, – не для нас самих, но для наших мундиров, ибо шел дождь. Мой Тургенев нашел человека с плащом и зонтиком. «Чей ты?» – «Такого-то». – «Он, братец, прошел к митрополиту; дай-ка нам шинель и зонтик», – под которым мы и дошли сухо. Хозяин, я чаю, порядочно поругал дежурного камергера, коим он сказался. После завтрака опять дождь; как дойти до кареты? За воротами монастыря стояла, и очень далеко. Мой и тут нашелся, видит придворную парадную пустую карету. «Постой, отворяй!» – сели мы; а как доехали до ворот – «Стой, спасибо, братцы, что довезли». Как бы то ни было, но мундиры наши спасены.

Вчера ездили мы все-таки с Тургеневым в Таврический дворец, где был молебен и поздравление императрицам и великому князю с новорожденною [великой княжной Ольгой Николаевной]. К руке не подходили. Императрицы только прошли мимо нас и мне очень милостиво поклонились. Тургенев обедал у меня, был очень весел при весьма хорошем аппетите.

Коновницына будут хоронить в его церкви, а где – не знаю. О нем все генерально сожалеют; между тем несколько назначают ему преемников: кто Меллера, военного министра, кто Павла Васильевича Кутузова.

Вестей у нас никаких нет. Из Варшавы есть известие от государя. Он изволил выехать так, как предполагал, – 20-го. Вчерашние газеты подтверждают известие об успехах греков и о победе, одержанной над турецким пашою; одна статья даже полагает его в числе пленных пашей.

Наконец Воейков напечатал в своем «Инвалиде» карту Ермакова похода, которую я ему давно дал. Она очень любопытна. Свиньин у меня ее выманивал, и я бы ему охотно дал, но было поздно: она была уже в руках у Воейкова.

Завтра у купечества большой пир, на который и я зван. В три часа будет открытие бюста государя в Биржевой зале, а потом обед в доме Коммерческого общества. Говорят, всякий член положил по 50 рублей, и готовит гурьевский повар. Надобно ехать, хотя и боюсь потчевания. Чтоб позвать Тургенева!

Константин. С.-Петербург, 2 сентября 1822 года

Подписки о масонстве от меня также доставлены князю. У меня их немного было в почтамте, всего человек пять, и то не очень усердные. Вижу отсюда ажитации Ивана Александровича [Рушковского, московского почт-директора]. Пфеллер все его самого уговаривал идти в масоны, но он никогда не хотел и слышать об этом.

Александр. Семердино, 3 сентября 1822 года

Ай да Трапандосы! Желаю им душевно еще важнейших успехов. Случился у нас священник наш приходской; я ему прочел статью из «Консерватора»; он встал со стула, обернулся к образу и стал креститься. – «Как, батюшка, разве вы объявили войну туркам?» – «Это дело нашего государя, – отвечал он, – но мое дело – молиться, чтобы не было войны вовсе, а ежели ей быть, то чтобы победителями были христиане, а кольми паче наши единоверцы». Я думаю, что мало найдется людей, кои бы не так думали, как наш поп. Дело это нешуточное и может иметь важные последствия; да и это уже много, что возвысит дух греков, а турок приведет в робость. Воскресли и Фермопилы! То-то, я думаю, Деболи доволен. Он никогда не верил новостям, невыгодным грекам, и повторял пророчески: «Вот увидите, вот увидите! Подождите-подождите!»

Записки Метаксовы я получил; он что-то не шлет мне новых материалов, а теперь у меня свободного времени довольно.

Александр. Семердино, 5 сентября 1822 года

Я все боюсь, чтобы живописец не сплутовал и не наделал множества копий портрета Каподистрии; пожалуй еще, пополам с плутом Шиллингом, и слитографирует, а охотников на это изображение найдется много.

Так Лазаревы не около одних только больших бояр ездят? Я вижу, что они пускаются и около всего мира. Очень хорошо.

Я не вижу большой пользы, ни вещественной, а особенно моральной, от обрезков от окладов чиновников, кои и так очень бедны. Казне будет мало пользы, а много будет ропоту. Это бы еще ничего, но с ропотом будет и слез много. Это пустяшная спекуляция, это экономия богатея, который урезает сало на

свечах своих людей и ничуть не экономит на своем токайском. Злоупотребления, злоупотребления! Воровство – вот, что надобно принимать в рассмотрение; но я не вижу никакого добра, кое может воспоследовать из того, что два миллиона переведут в 300 и лишат бедных людей драгоценного клочка их жалованья. Ежели я и вру, то будешь знать про это ты. Я уверен, что ты жалованья не убавишь ни у кого, а Себо [то есть Рушковский, который любил повторять «C'est beau» – прекрасно] убавки сделает важные на бумаге, чернилах и перьях.

Картинный купец, о коем ты говоришь, должен быть Фузи; у него жена точно красавица. У него-то Ваня купил Рафаэля, принадлежавшего покойному королю Польскому.

Бедной графине Чернышевой несдобровать. Ей бы надобно себя приготовить совсем к дальнему путешествию и устроить дела, ибо от незнания в сем и беспечности графа Григория и ждать нечего[73]. Жаль мне очень детей, то есть эту кучу милых дочерей. Ни одна еще не пристроена.

Я знаю и верю, что графиня Нессельроде любит мужа; но поверь мне, что Веронский конгресс эту нежную любовь еще более умножает.

Благодарю за печатное наставление об исландском мохе. Посылаю оное Ефиму и приказываю ему оным запастись на зиму, сделав наперед опыт печения. Эти три года разрушили все, что я сделал в пользу уменьшения долга прежде; но два хорошие года все бы опять поправили. Наташа непременно хочет со мною и детьми ехать туда весною. Авось-либо счастье принесет!

Константин. С.-Петербург, 5 сентября 1822 года

В субботу был я в Биржевой зале при открытии бюста государя. Я было приехал туда во фраке, но, видя всех матадоров в мундирах и лентах, тотчас поехал и, переодевшись, возвратился. Очень рад, что не опоздал. Свиньин, верно, даст подробное описание сего торжества; а я тебе скажу только, мой милый и любезный друг, что бюст колоссальный, из белого мрамора, бесподобный и большую честь делает Мартосу. Сколько ни видал я портретов и бюстов государя – или не схожи, или сходство неприятное; даже и славный портрет, который в Эрмитаже, имеет нечто суровое. Этот бюст, напротив, самым приятнейшим образом похож. На голове лавровый венок, а на пьедестале, который из гранита, надпись бронзовыми литерами: «От благодарного купечества». Я нахожу, что поставлен не на месте; заклали дверь, сделали грунт из фальшивого мрамора и поставили монумент, так что в этой впадине нельзя почти видеть профиль, а зал совсем не виден, хотя отделан также хорошо. Граф

Милорадович мне сказывал, что он не будет покоен, пока это не переменят. Монумент стал безделицу, весь, как он есть, стал 39 тысяч. При открытии пели стихи, которые при сем к тебе препровождаю, закричали «ура», и видно, что все были сим довольны и тронуты. После того поехали в Коммерческий клуб, где был обед на 180 кувертов, и, несмотря на это, прекрасный. Гремела музыка, пели певчие, да еще и почтовые, пили здоровье и встали поздно из-за стола. Я рад был, что добрался домой. Утром в субботу были препышные похороны Коновницына.

Александр. Семердино, 8 сентября 1822 года

Я здесь на досуге разбираю батюшкины бумаги. Я не думал, чтобы любовь моя к нему и почтение могли умножиться тогда, как его уже не станет. Скольких он был благодетелем, часто о них говаривал и никогда не упоминал о добре, которое им делал! Никогда дурного не говорил о тех, которые старались ему вредить. Я перечитывал письма к нему: все наполнены просьбами, изложением нужд. Один просит денег, другой – защиты, покровительства, третий – открывает свои горести, требует совета, а остальные благодарят за пособия, благодеяния. Сколько сделал он добра на своем веку! Как любил он государей своих, отечество, родных и ближнего! Какая нежная попечительность о старом отце! Мне кажется, что я, читая сии бумаги, сокрушился, ежели бы чувствовал в совести моей малейший упрек, что недостоин был его милостей. В брульонах писем его видно, как он нас любил и всегда о нас пекся. Такой человек не мог не иметь истинных друзей, умевших его ценить. Друзья – сокровище, коим пользуются только добродетельные люди. Какой был также редкий человек

Василий Андреевич [Приклонский, муж Мавры Ивановны, сестры Я.И.Булгакова]! Читая их письма, часто не знаешь, кому более удивляться. Во мне родилось сильное желание написать жизнь батюшкину. Как для домашнего житья, так и для служебного поприща найдутся богатые материалы. Когда буду в Белоруссии, займусь сим. Прочти-ка прилагаемые здесь два письма. Я помню до сих пор и библиотеку, и пуговицы, нам тогда из Варшавы присланные. Прочтя, возврати; я опять спрячу.

Константин. С.-Петербург, 9 сентября 1822 года

Горенки достались старшему сыну Разумовского [графу Петру Алексеевичу]. Фишер был здесь и мне сказывал, что Кочубей поручил ему торговать оранжерею для казны. Намерение очень хорошее – все это перевезти и устроить в Аптекарском саду порядочное заведение под руководством и управлением Фишера.

Он берется в год перевезти. Увидим, сойдутся ли в цене, и весьма бы желательно было. Фишер восхищается этим проектом. Ему, кажется, позволено давать до 150 тысяч. Сад назовется уже не Аптекарским, а Ботаническим, и нет сомнения, что Фишер сделает из него один из первейших в Европе. Он уже дней с десять как отправился в Москву.

Александр. Семердино, 10 сентября 1822 года

Всякий занимается своим, а наш Тургенев всегда первый, когда идет дело о штурмах на обедах или завтраках. Люблю! Очень я восхищался его военными хитростями для избавления тебя и себя от дождя. У него не одна челюсть похвалы достойна: как накушается, то голова у него еще более делается способна на разные выдумки.

Мне почти уже и жаль становится Бальша. Что хуже вы все играете, то более он вам всем проигрывает. Не знаю, как это дело делается. Пусть копит червончики, когда-нибудь и мы доберемся до золотых его руд. Отказался бы, кажется, и от выигрыша, лишь бы только попасть в Петербург!

Константин. С.-Петербург, 19 сентября 1822 года

Я получил твои № 72 и 73 по возвращении из театра, где играли Озерова «Поликсену». Хотелось видеть Семенову старинную и Каратыгина, о коем столько слышу похвал.

Семенова играла, как всегда, хорошо, с большим чувством; только мне не нравится то, что они всегда будто ноют, и все актеры и актрисы все говорят тем же тоном или, лучше сказать, напевом. Каратыгин еще очень молод; фигура хороша, лицо дурно и в беспрестанных гримасах, а голос, от напряжения или натурально, хрипловат, так что многого понять нельзя. Я бы его послал посмотреть на Тальму и Лафона, а то здесь он совсем испортится. Всякому его слову без всякого разбора ужасно аплодируют, а он не все равно хорошо представляет. Брянский в роли Агамемнона имел прекрасные минуты; видно, что знает театры и имеет чувство. Я провел вечер очень приятно. Пьеса прекрасная; много стихов, кои заслуживают, чтобы их удержать в памяти.

Константин. С.-Петербург, 20 сентября 1822 года

С душевным любопытством читал я, милый и любезный друг, все, что ты пишешь о батюшкиных бумагах, в которых ты находишь новые доказательства любви его к нам и добра, которое он всем старался делать. Мысль напечатать его жизнь очень хороша, но есть ли у тебя или найдется ли вообще в бумагах

довольно материалов для сего? Так с Богом! Всякий раз, что о нем думаю, а это, право, случается очень часто, кончаю сожалением, что Бог не продлил ему века. Как бы мы все были благополучны, а Анна Петровна избавилась бы от тяжкого греха. Письма наши к батюшке к тебе возвращаю, насладившись ими. Библиотеку я также очень помню; а пуговицы, если это белые со звездочками стальными, то также помню. Памяти моей спасибо: она сберегла мне многое, что еще в Царь-граде с нами происходило, начиная от Буюкдере, после, когда мы жили у Гонфриса, путешествие морем, карантин триестский и так далее. Куда давно этому!

Имел я очень длинный разговор с графом [Гурьевым, министром финансов] о многом, и между прочим – о лотерее. Он совершенно со мною согласился, что надобно дело это кончить, и просил меня написать план, сообразный с тем, что мы тут положили. Как скоро найду свободную минуту, то этим займусь. Между нами, вот он в двух словах.

Как скоро у меня будет в Воспитательном доме 5 миллионов с половиною (а это, надеюсь, не позже как через месяц будет), то заплатить кредиторам половину долга с тем условием, чтоб они согласились через два месяца взять все билеты, которые не будут еще проданы. Эти два месяца будем еще продавать. Комиссия и продаст ежели не все, то очень много, ибо публика, увидев, что уже располагаем сами деньгами, поверит, что приближается срок к розыгрышу. Тут же надобно назначить и день розыгрыша непременно, что и можно будет сделать, ибо в комиссии все билеты будут сданы публике или розданы кредиторам, одним словом, их не будет более. С того времени, как разделятся между кредиторами деньги, вновь накопившиеся и остальные билеты им отдадутся, через два месяца непременно назначить розыгрыш. Между тем они могут продать остальные билеты сами или оставить за собой: это их дело. Иной продает дешевле 50 рублей, но все выручит деньги, и если получит не весь долг Головина, то без малой разве части, между тем, что без лотереи бы он не имел и двадцати процентов всего. Так могут быть довольны, и я уверен даже, что ничего они не потеряют. Впрочем, нельзя же нам оставить публику, которая внесла уже миллионов пять в комиссию, в безызвестности, и, по всей справедливости, мы должны принять меры к удовлетворению ее, особливо же когда кредиторы уже почти спасены от совершенного разорения. Когда придет назначенный в объявлениях срок, то тут уже все наши переговоры с кредиторами должны быть кончены и день непременно быть назначен, когда лотерею разыгрывать. В Великий пост и дни далее всякий как-то свободнее, так и

назначить в пост розыгрыш. Граф совершенно со мною согласен. Я уверен, что и прочие не станут спорить. Как ты думаешь?

Ну, брат, был я вчера у Ламсдорфа. Он все эти дни очень страдал. Я нашел у него доктора Миллера, возвратившегося из чужих краев, человека очень искусного. Выйдя с ним, я его расспрашивал и с душевною скорбию получил от него очень дурное известие. Это органическая болезнь, противящаяся всякому лекарству и от коей вылечиться он не может. Сердце его, из-за сего недостатка, получает очень мало крови, и вот почему порою он почти не чувствует, как оно бьется. Никакая операция не может эту болезнь исправить, ибо части, сердце окружающие, приобрели расслабленность, от коей нет лекарства. Он может еще долго страдать, но может вдруг скончаться, и скончается за разговором, не подозревая, как близок он к смерти.

Услыша это, меня покрыло холодным потом. Любя душевно доброго, честнейшего этого человека, несносно видеть его в таком положении, тогда как я полагал, что есть надежда и что, наконец, пробуя, доктора найдут средство ему помочь. Ламсдорф мне истинный друг. Никто его не знает так коротко, как я, от которого не имел он ничего скрытого, и я питаю к нему, кроме дружбы, необыкновенное уважение. Лишиться его будет очень для меня чувствительно. Редко встречается такая чистая, благородная, ангельская душа. Какой удар это будет для почтенных старых родителей, – думать о сем не смею. Буду к нему ходить как можно чаще, пока Бог его нам сохраняет. Твердость духа у него чрезвычайная. Любя жизнь и имея столько причин любить ее, он о смерти говорит без страха и как истинный христианин. Так же переносит и боль, которая держит его год в постели и причиняет ему ужасные мучения. Когда он наиболее страдает, то не пускает к себе никого, хотя и утешительно бы для него было видеть людей, сестер, друзей, которые искренне принимают в нем участие, – именно чтоб не причинять им скорби. Умен, честен, добр, – я, право, не знаю в нем порока, разве назвать пороком живость его, в которой тотчас раскаивается. У меня он с ума не идет.

Константин. С.-Петербург, 23 сентября 1822 года

Видел я Дашкова, который получил известия из Одессы, где получены оные из Царьграда. Турки сами признаются в некоторой потере, но разглашают, что после исправились и дело кончено; но так как не привезли из Морей ни одной головы, ни пары ушей, то им нельзя верить. Все, что, мне кажется, извлечь можно из этих разных, одно другое уничтожающих известий, – это то, что дело не кончено. Турки между тем в больших хлопотах со стороны

персиян, которые, как мне сказывал Дашков, сильно на них напирают. Ужасное было землетрясение в Сирии: Алей, Антиох почти не существуют. Тысячи погибло людей (говорят, десятки тысяч). Дашков мне показывал фальшивую золотую монету, которую делает Порта, величиною с золотой червонец, и альяжу [сплава металлов различного достоинства] в них на четыре пиастра более, нежели в прежней, а и та никуда не годилась. Надобно ждать, не торопиться верить; последствия должны же показать, наконец, чья возьмет.

Вчера хоронили здесь старуху Рибасову [Настасью Ивановну, дочь И.И.Бецкого]. Ей было 89 лет, а все еще была бодра, жива и одевалась, как щеголихи за 50 лет одевались. Деревень, говорят, не оставила, а дом и деньги. Та часть, где живет Блоом, досталась Горголи, а другая, на Марсовом поле, – князю Долгорукову [деду княгини Юрьевской. Дома эти позднее – дворец принца Ольденбургского]. Впрочем, это два дома. Я рад за доброго приятеля Ивана Саввича, которого расстроенные дела во время обер-полицмейстерства сим поправятся.

Вчера была свадьба Шепинга в домовой церкви Гурьева.

Вот тебе комиссия, или передай ее Фавсту или другому кому-нибудь аккуратному пану. Воронцов продает имение, о котором подробнее узнаешь из приложенного при сем письма его и ведомости. Мне нужно знать, чего может стоить это имение, какую можно будет пользу из него извлечь. Можно ли их посадить на пашню? Каковы мужики? Одним словом, все сведения, обыкновенно требуемые и собираемые при покупке. О фон Цур-Милене можешь узнать в доме Воронцова, графа Михаила Семеновича. Но сего не довольно; надобно кого-нибудь сведущего послать посмотреть имение на месте. Мне очень нужно все сие узнать, и чем скорее, тем лучше.

Константин. С.-Петербург, 26 сентября 1822 года

Какой граф Толстой умер? Не тот ли, что все ездил в театр с Юсуповым? От французов ускакал хоть верхом, а от смерти не уйдешь! Вчера и третьего дня был я у Ламсдорфа. Ему немного легче, то есть меньше страдает; но после приговора Миллера все это ничего. Реман был у меня, с ним Миллер советовался, и он подтвердил, что делать нечего. Ламсдорф мне пересказывал слова Миллера: «Я вижу, что с вами можно говорить откровенно. О вашем выздоровлении могу сказать только две вещи: *вероятно* и *возможно*. Последнее существует, первое – куда менее». Ламсдорф принял это как должно, без страха, и прибавил мне: «Видишь ли, мой милый друг, это не вероятно, что я вылечусь, но это еще возможно; так что я этим и удовольствуюсь. Впрочем,

будет, как Бог пожелает».

Четвертого дня его так схватило, что он думал, что уже пришел конец. Ужасно, как все это меня огорчает. Его отец и мать скоро будут. «Это, – сказал он, – самая плохая новость, какую я только мог получить в такую минуту, ибо мои страдания слишком велики, и подобные свидетели сделают их еще мучительнее». Ужо опять к нему зайду.

Каннинг, по газетам, точно будет министром. Я получил письмо от Ваниши. Он в восхищении от государя: будет в Тегернзее, в Баварию. Он поехал к нему навстречу в Зальцбург. Государь, вероятно, выедет 29 сентября. В Вене будут дожидаться Веллингтона до 25-го. В Верону будут также неаполитанский и сардинский короли.

Вчера на гулянье, то есть на Невском проспекте, который очень наполняется, видели мы молодых Шепингов. Экипаж, лошади, шаль славнейшие, одним словом, все – как следует.

Невский проспект будет освещен газом, везде копают, проводят трубы; говорят, что это делается акциями; но не знаю, какие у компании условия с правительством.

Константин. С.-Петербург, 27 сентября 1822 года

Нессельроде пишет ко мне несколько строк, а Северин – длинное письмо от 9 сентября. Сообщаю тебе содержание оного, мой милый и любезный друг: «Закревский собирается ехать и передаст вам наши новости. Мы ограничиваемся ожиданием, с одной стороны, Веллингтона, с другой – лорда Странгфорда. Нам дают иной раз в Каринтийском театре пьесы Россини, кои немцы коверкают, но кои сопровождают добрые смычки и наше воодушевление. Надобно видеть, как топает граф Нессельроде, у Фонтона очки от радости вниз съезжают, и даже фальшивый слух Матушевича и недвижный галстук Кокошкина волнуются и трепещут соответственно. По средам вечером собираемся у графа Меттерниха. В ближайшее воскресенье Караман дает чрезвычайный бал. Веронский конгресс будет весьма многочисленный. Все наши итальянские министры, старые и нынешние, должны туда поехать. Но путешествия по Италии не будет, я думаю, и император ограничится прогулками в окрестностях Вероны. Воронцов будет с нами, а прежде увидит его величество в Тегернзее. Я делаю все возможное, чтобы найти Полетику. Матушевич, Фонтон и я рассчитываем пуститься в путь 1 октября. Возвращение будет определенно в декабре». Теперь, стало, все уже или на пути, или в Вероне; там наслушаются итальянской оперы. Не понимаю, как он не может до сих пор открыть Полетику и как тот не дал им знать о себе. Вероятно, в

Вероне съедутся. Наш старый Италинский тоже явится. Северин не пишет, едет ли Татищев. Я думаю, что поедет; а Головкин? Все это для нас любопытно; чтобы хоть длинному Фонтону написать, а я от него и письма не имею.

Поехал в 10 часов к графу Гурьеву, играл с ним, Кологривовым и графиней Ожаровскою в вист, проиграл 110 рублей, просидел долго и много, толковал о лотерейных и каподистриевых делах. За этим я и ездил. Ну, брат, вот теперь бы тебе поиграть на его бильярде! Освещен, как мой, шары большие, кии лучше; одним словом, достиг все степени совершенства. Я хвалил его. Граф сказал, что лампы он у меня перенял, и прибавил: «Если вы теперь находите бильярд таким хорошим, прошу вас написать об этом вашему брату, как знаменитому игроку», – что сим и исполняю. Недели через две и Арсений будет; станем у него играть. Жаль мне, что его жена едет в Италию, а если с отцом, то расстроятся его дела, так что не скоро и поправится. Тут воскреснет опять вкус к Картинели, Лараморам, Алебастрели [вероятно, так коверкал слова тесть Закревского]. Мне кажется вообще, что все эти вояжи дурной будут иметь конец, и это мне грустно. Добрый наш друг заслуживает лучшую участь.

Александр. Семердино, 29 сентября 1822 года

Ты спрашиваешь, довольно ли найдется в батюшкиных бумагах материалов для написания его жизни? Конечно нет! Ибо в 1808 году батюшка сжег множество бумаг. Кажется, Николай Богданович Приклонский спросил: «Зачем? Тут множество должно быть любопытного». Но батюшка отвечал: «Конечно, но лучше концы в воду!» Это «конечно» более касалось до других, нежели до него самого. Я от тетушки могу многое узнать и напишу ей разные вопросы, на кои буду просить ее объяснений, а особливо насчет молодости батюшкиной. Журнал, который им писан был с 1760 года ежедневно по-латыни, не полон. Ежели найду у тетушки письма батюшкины к Василию Андреевичу, это бы была находка драгоценная, ибо батюшка от него не имел ничего скрытого и писал ему очень часто. Служба его в Царьграде и заключение в Эдикуле могут быть описаны подробно по бумагам[74]. Ежели и не выйдет ничего заслуживающего напечатания, то все будет манускрипт драгоценный для нас и друзей наших.

Константин. С.-Петербург, 30 сентября 1822 года

Ну-с, вот как дело было. В половине первого приехал князь [А.Н.Голицын]. Мы, то есть я с помощником, Жулковский,

Добровольский и проч., дожидались его в присутствии, встретили, и повел я его по экспедициям, представлял ему экспедитора и помощника, толковал ему, где, что и как делается, и так как все в это время занимались своим делом, то мог он тут же и на опыте видеть, как что делается. Все это было для него совсем новое; иное удивило по огромности своей, другое забавило, например, как разбирают почты, читают карты скоро и не останавливаясь, точно как дьячки, швыряют письма по ящикам. Эта история продолжалась более часу; потом пошли смотреть госпиталь и школу. Тут показал я ему устройство всего дома, потом пошли в классную залу, где отслужили молебен с водосвятием; там первый учитель сказал коротенькую речь, которую при сем прилагаю, и началось учение в первый еще раз по Ланкастерской методе. Поуча немного, повели детей в столовую, и мы пошли. Хотя был день постный, надобно было видеть, как они улизывали. Подали им щи, кашу и пирог. С голоду они так напустились, что двое тут же занемогли, и мы принуждены были унять их стремление. Эти бедные сироты были сперва хуже нищих; теперь, надеюсь, будут из них люди, и мы точно сделали благое дело, которое Бог благословит. Тургенев был с нами, и у него обедом так расшевелили аппетит, что он не на шутку стал проситься обедать.

Пошли домой, я показал князю еще некоторые экспедиции, и потом настал желанный для Тургенева час: пошли водку пить, а там и за трапезу. Нас сидело 32 человека, ибо, угощая князя, не мог я не позвать своих экспедиторов и старших чиновников. Обед очень удался (кроме вин и десерта, стоил 250 рублей). Все, начиная от князя, были веселы, много шутили и не видали, как просидели два часа. Наконец встали, пошли в голубую комнату, где сели, пили кофе и очень долго еще болтали; потом князь уехал, жена села в бостон играть с тремя кавалерами в мундирах (надобно тебе сказать, что все были, начиная с князя и даже Тургенев, в мундирах). Явился Балып, я выиграл у него семь партий, устал, чихал целый вечер от насморка и лег спать. Вот тебе, мой милый и любезный друг, подробное донесение, как мы провели вчерашний день.

Князь был чрезвычайно всем доволен, хвалил, благодарил, сравнивал с прошедшим временем и прибавил, что и вне почтамта все так идет хорошо и исправно, как в почтамте. Чиновники мои в восхищении были, что я их пригласил и угостил порядочно. Тургенев наелся не хуже школьников моих; одним словом, все было порядочно, без претензии и хорошо. Дорогонько немного обойдется, но что же делать? Не всякий день угощаем дорогого начальника и товарищей. Московскую почту разобрали

при князе, он видел всю процедуру и обращал на все много внимания.

Вольф, брат пфеллеровой жены, прислал мне перевод свой Каменского книги о знаменитых людях царствования Петра Великого. Надобно его благодарить.

Александр. Семердино, 1 октября 1822 года

Я ожидаю со страхом развязки греческих дел и боюсь ожидать хорошего для моих Трапандосов. Видно, финансы не очень хороши у турок, ежели прибегают к фальшивой монете. Это бывало у Фридриха II; но, к несчастью турок, было у него многое другое, чего у них нет и без чего великие дела не делаются.

Я старуху Рибасову очень помню, поворотливая была старуха. Для женщины 89 лет – большие годы! А у нас здесь Мелиссино[75] все еще здорова, ей 94 года.

Константин. С.-Петербург, 3 октября 1822 года

В субботу вечером я был у графини Нессельроде. Куда она еще как слаба! До девяти часов у нее посидел. Муж ее также пишет, что 30-го все выезжают из Вены. Говорили о наших дипломатах. Штакельберг опять будет в Неаполе министром, но Убри куда? Очень поговаривают, что Татищев будет послом в Вене, но Головкин куда? Пален куда? Кандидатов более, нежели мест. В воскресенье ездил к князю на обед, благодарил его за посещение; тут был и Филарет. Князь ему очень хвалил все, что у нас видел, и вообще нынешнее устройство почт. Оттуда поехал я к Багратионовой, там нашел жену, она уговорила княгиню ехать к нам обедать, и так целый день провели дома. Мейер играл божественно Гуммеля концерт, свои ноктюрны и проч. Вечером явился Балыи, бились в бильярд; я выиграл у него четыре партии, как всегда. Как всегда, также пришел правитель дел комиссии Головинской и держал меня два часа.

Константин. С.-Петербург, 4 октября 1822 года

Дела Каподистрии понемногу устраиваю и надеюсь так устроить, что он будет доволен. Хотя бы этим отплатить ему за его дружбу и, могу сказать, милости. Многим я этому доброму человеку обязан. Князь Лопухин возвратился из деревни, где беспрестанно охотился и часов по 10 в сутки ездил верхом с собаками, а ему под восемьдесят лет. У нас с аукциона продают картинную галерею Корсакова; оценены, говорят, очень дорого, так что одна в 40 тысяч. Кажется, на эту не будет покупателя, разве возьмут в Эрмитаж. Есть вещи прекрасные. Кабы время было, то бы поехал посмотреть.

Александр. Москва, 5 октября 1822 года

Я совершенно с тобою согласен насчет нашего доброго Арсения и писал тебе уже прежде о сем: не по нем жена, а он с своим кротким нравом и по несчастной некоторой зависимости ради имения не поставит ее на путь истинный никогда, да и не время уже: это хорошо было делать сначала. Жаль, а делать нечего; я боюсь только, чтоб с ее замашкою и пустою головою, имея же теперь руки развязаны, она не наделала шалостей там. Жизнь в два дома должна расстроить и дела его. Ренкевич сказывал мне, что слышал от приезжего из Эмса, что граф Федор Андреевич был там посмешищем публики; что, ехав на осле, упал, и там спрашивалось, который осел глупее – тот, что упал, или тот, что уронил? Это бы еще ничего, и не новое; но он мотает страшно, а в чужих краях не станут церемониться. Ежели бы хранящиеся у тебя брильянты были с ним, все бы ушли.

Можно было предвидеть, что Дмитрий Павлович будет послом в Вене. Я чаю, опять станет меня подзывать к себе; но это несбыточно. Ежели бы иметь начальство в Петербурге, тогда с квартирою и тысячами шестью оклада можно бы к вам переселиться; а то, право, дойдешь до того, что нечем будет жить. Как мне хочется видеть твою школу! Ну, как из нее да выйдет какой-нибудь Румянцев или Суворов; а почему знать? Я давно собирался тебя просить о газетных выписках, и ты меня предупредил. Вот и Метакса явился в страшном восторге. Пачимати получил известие, что греки сожгли флот турецкий у Занте, что Коринф и Афины взяты у турок, коих побили, и что изменник Негр, имевший от Порты обещание быть князем Морейским, казнен диктатором Колокотрони. Дай Бог!

Константин. С.-Петербург, 7 октября 1822 года

Жаль, что батюшка сжег много бумаг, но, видно, то, что более касалось до других, нежели до него самого. У тетушки, кажется, все бумаги Василия Андреевича сгорели в 12-м году в Москве; по крайней мере, не раз она мне сказывала, что всего тут лишилась, на память же ее теперь уже нельзя надеяться. Кстати, о памяти. Василий Степанович Попов, как ты, верно, знаешь, совсем ослеп и теперь при смерти болен. У него то же, что было у старика Штакельберга. Он слышит, все понимает, но, отвечая, не находит настоящих слов, так что его никак понять нельзя, и он, бедный, это чувствует. Например, показывает знаками, чтоб дали ему платок, а говорит о лошади. Какая странная болезнь! Сенатор Биллер третьего дня мне сказывал, что он очень плох. Вот еще одним екатерининским будет меньше.

Каподистрия не был в Париже, газеты соврали, но это с ними часто случается. Я помню анекдот одного старого француза, который никогда не верил газетам. Говорят ему, что видна комета. «Кто вам сказывал?» – «В газете написано». – «Ну, милый, не верьте ничему и не поддавайтесь, это какая-нибудь биржевая спекуляция для поднятия курса». О греческих делах газеты говорят (так верить ли?), то есть об их успехах на земле, а в одной упоминается о победе на море. Авось, когда-нибудь да узнаем правду.

Константин. С.-Петербург, 10 октября 1822 года

В субботу, только что я подъезжаю к квартире Закревского, а он въезжает на двор, так что я один из первых его тут обнял. С тех пор я его всякий день видел, но не успел еще наговориться. Здоровье его очень поправилось, голова перестала болеть, и вообще стал он гораздо поворотливее. Отправляясь из Вены, он выпросился у государя на будущий год съездить в Карлсбад, где съедется с женою. Мальфати нашел, что в ее болезни доктора ошибались и не так ее лечили, что ей нужны были карлсбадские, а не омские воды. Он советовал ей ехать на зиму в Италию. Закревский хотя и кряхтит, но делать нечего. При худых доходах и излишних издержках в сем году надобно еще собирать да посылать туда денег. Граф, между тем, покупает всякий вздор, как сущий ребенок. Он остался с Грушенькою [то есть со своей дочерью, Закревскою. Говорится про отца ее, графа Ф.А.Толстого]. Ты легко посудить можешь, как ему обрадовались все его окружающие: как в Светлое воскресенье, все обнимаются, поздравляют друг друга. Уж подлинно его любят. Да и вообще все ему здесь обрадовались. Много рассказывал он о Вене; уверяет также, что государь в декабре возвратится; всех наших оставил здоровыми, но не находит, чтоб слишком было весело там, где мы в старину столько веселились.

Не знаю, что выйдет из моей школы, а между тем начало идет очень хорошо. Что-то Бог даст далее? Я не в претензии, чтоб вышли Румянцев или Суворов; хотя бы Волковы вышли, то есть не коменданты, а сопровождающий (верно) тебя славный почтальон. В воскресенье был я у графа Кочубея и с ним устроил все к четвергу. Собрание будет у него, и мы потопим головинские дела. Куда бы я рад был, если б все это кончилось: и своих дел много, а тут еще не без хлопот. Как соседу комиссии, мне более всех достается. Как-то устроим важное это дело? Если не согласятся наши господа, то пойдет в долгий ящик, и усердие мое охладеет. Пусть тогда продаются билеты понемногу, и разыгрывают, когда придется, но публика будет роптать.

Левашов[76] здесь, приехал полк сдавать и опять поедет в Италию. Кавалерийский полк сдать не безделица, хотя этот и славился исправностью.

Вчера был я в русском театре на бенефисе, уговорил меня Столыпин. Играли две новые пьесы Шаховского, довольно смешные. Дюрова играла бесподобно, из нее будет прекрасная актриса. Лицо прекрасное, много чувствительности, играет очень свободно. Кончилось в одиннадцать часов, так что я, приехав домой, не застал уже и Бальша. Вчера был у меня Ротшильд, прощался; он едет завтра. Надобно заехать к нему, да к Закревскому, а в утро у меня лишнего времени нет.

Александр. Граблино, 17 октября 1822 года

Горестно нынче брать перо в руки, чтобы описывать тебе жалкое положение наших дел здесь. Один худой и два совершенно голодные годы очень нас расстроили. Я все молчал, надеясь на лучший урожай, хотел тебя ныне обрадовать и тогда о прошедшем говорить как о сказке; но Божие наказание продолжается! Край сей сильно его ощущает. Везде видна нищета, последствие трех неурожаев, и никто на нее не обращает внимания. Бедный наш губернатор ожидает отставки как благодеяния и сказал герцогу*, что он не может более быть свидетелем несчастия сего края и видеть равнодушие, с коим принимаются все его представления. Уверяют здесь, что предводителю губернскому, который в слишком смелых выражениях отзывался о недостатках, внушено оставить свое место.

Но все это не наше дело. Станем говорить о себе самих. Наши арендаторы-жиды, из коих многие поселены со времени пожалования батюшке деревень и всегда исправно вносили кварту, все нам задолжали, а один из Хилина на сих днях бежал, задолжав нам 700 рублей, – и им делать нечего: торгу нет. Мужику не пойдет на ум вино, масло, молоко и проч., когда хлеба не на что купить. Деньги здесь так редки, что корова, стоившая прежде 35 и 40 рублей, теперь продается за 20 рублей, да и ту никто не покупает. Многие мужики, не имея сами хлеба и зная, что у нас также ничего не родилось, боясь голода, разбежались; но большая часть, вероятно, возвратится. Человек 20 пришли, узнав, что я велел нуждающимся помогать. Опыт печения хлеба из мха очень удался: везде набирают его во множестве, и я сам лично всем мужикам подтверждаю запасаться мохом, обещая дать нужное количество ржи; ибо в хлеб, 11 фунтов весу, входит 4 фунта ржаной муки, а 2 фунта этой мховой муки; делают и по равному количеству обоих, но не так хорош хлеб. Наши

белорусские дураки предпочитают хлеб мякинный, в коем одна тяжесть, а питательности никакой нет, но теперь образумливаются, и Ефим говорит, что мякины мало уже, и все принимаются за мох. Его у нас очень много, хотя и не самой лучшей доброты. До сего делали хлеб даже из гнилого дуба, отчего появились и болезни, особенно опухоли во всех членах. Несмотря на эту подмогу от мха, все надобно будет дать мужикам четвертей 600 ржи; а здесь она по 18 и 20 рублей, а в Витебске, говорят, по 28 рублей четверть. Ужасная цена! К этой беде еще и вино, которое мы должны поставить, остается только еще 4000 ведер: 1000 в подвалах, а 3000 надобно выкурить к декабрю; надобно купить ржи; бог знает, как извернемся.

Лошадки ростопчинские здесь процветают, все дали плод, и опять жеребцы. По множеству сена, здесь бы очень выгодно завести порядочный конный завод. Лошади ныне продаются очень дорого. Ежели знакомому охотнику вздумается подарить тебе жеребца, то не отказывай, или хотя несколько кобыл, хоть и не здешнего происхождения, но крупных ростом и не серых. Еще бы хорошо, прежде нежели их везти сюда, случить с какими-нибудь славящимися у вас жеребцами. Я тебе пишу все это на всякий случай. У тебя пропасть знакомых; вдруг кто-нибудь и вздумает тебе подарить, как мне Ростопчин.

Я читал отношение губернского маршала Цехановецкого к графу Кочубею относительно обеспечения на будущее время благосостояния жителей Витебской губернии. Он подробно описывает ее положение, и сколь она обременена разными налогами и повинностями. По его расчетам, всякая ревизская душа в имениях, кои заложены в Воспитательном доме (а заложены почти все), платить должна ежегодно 35 рублей. Это ужасный оброк для здешнего нехлебородного края.

Ефимом я доволен. Его труды были неусыпны, и я не имею ни единой жалобы на него, хотя мужики здешние великие охотники тревожить помещиков просьбами не дельными. Кузьма жив и все такой же пьяница; иначе не говорит, как пословицами. Я сказал ему, что велю его высечь за то, что пьет, а он отвечает: «Так и должно: где священник, там праздник, а где господин, тут гроза! И Яков Иванович покойный, когда меня не ласкал, то бивал».

Константин. С.-Петербург, 18 октября 1822 года

Закревский болен, простудился, приставлял пиявки к деснам, которые распухли, и сидит дома. Я вчера долго у него был. Он при мне получил письмо из Венеции, от жены. Тесть дорогой нашел средство и там купить три манускрипта. Хвалит, как все дешево. Дочь его удерживает от покупок; хорошо, как бы и

пример ему показывала собой, но этому мудрено поверить.

Константин. С.-Петербург, 20 октября 1822 года

Вчера был у меня Любомирский, что женат на графине Толстой. Он приехал из Каменца и где-то по Белорусскому тракту, на большой дороге, в лесу наехал на казнь. Там поймали разбойника с шайкою, и атамана секли кнутом на месте преступления, а товарищи его в цепях смотрели. Я точно слыхал, что где-то – кажется, в Псковской губернии, – шалили.

Александр. Смоленск, 23 октября 1822 года

Отчаяние всех винокуров заставило маршала нашего отнестись к графу Д.А. [Гурьеву, министру финансов] и к вице-губернатору, прося ту же отсрочку, о коей я приватно писал к Баранову, требуя его содействия и совета. Фирсов говорит, что здесь отсрочка поставщикам сделана; зачем же отказать нам, тогда как у казны недостатка в вине нет, и не пьют и того, которое у нее есть? Все, что можно было сделать в пользу мужиков, мы сделали; до моего приезда дано им было на пропитание 270 четвертей ржи, нашим хлебом засеяны их поля, а теперь для прокормления их до весны и для гонки вина нужно будет купить еще около 1000 четвертей ржи. Цены ужасные: в Велиже по 20 рублей четверть; мы посылали в Вязьму и там нашли по 13 рублей, но надобно доставить домой. Надобно это как-нибудь на своих лошадях свезти. Купили только 100 четвертей, ибо нет денег; да может, с путем будет и дешевле. Все, что только может составить доход, все употреблено нами. Поставили мы быков со 100 на корм, благо сена много; дешевле их не продадим 60 рублей штуку; по окончании поставки винной получить еще следует от казны 8000 рублей, продается немного овса, вина дома, коровы отдадутся на аренду, все это составит изрядную сумму для закупки ржи и заплаты повинностей казенных; зато до весны не можем ожидать никакого дохода из деревень. По недостатку ржи мы употребляем в хлеб одну долю ржи, одну овса и третью моха, и вышел хлеб, который я сам в присутствии мужиков ел. Вот препорция:

1 гарнец ржаной муки,
1 гарнец овсяной муки —
весу 8 $^{3}/_{4}$ фунтов;
муки мховой весу 5 фунтов
13 $^{3}/_{4}$ фунтов, из коихнапечено 4 хлеба, весом в 25 фунтов.
Солдатская препорция 3 фунта хлеба в сутки.

Стало, в неделю 31 фунт, а тут выходит 25 фунтов, то есть 4 фунта лишних; это положить можно на соль. Хорошо, что

родились еще славно редька, репа, свекла и проч. Мху мы же и набрали, да и будем набирать, да нет ни ржи, ни овса у нас: у кого нет, я буду давать. Только, так как многие лгут, то я тайно послал писарей во все части, чтобы они вдруг засвидетельствовали все закрома мужиков и сделали опись, сколько у всякого найдется хлеба, и тогда рассчитаем, до которого времени всякий может себя прокормить без помощи нашей. Тогда не будет иметь никто отговорки, и истинно бедные будут призрены. Они хотя глупы, но очень плутоваты: всякий пробует и просит, авось-либо и дадут. Я думаю, зачем бы не молвить словечка Закревскому. Во время моего пребывания в Питере в 1818 году я на одно его слово дал ему 15 тысяч без векселя и без процентов. Он тогда поехал жениться и нуждался; деньги эти он уплачивал года полтора. Конечно, это говорить ему самому нам неприлично: я от души ему тогда дал, а не с тем чтобы ему когда-нибудь напомнить. Зачем же и ему не помочь нам, не найти хоть тысяч 20 или 15? Ежели ты не берешься ему это в разговоре внушить, то я, пожалуй, ему напишу, а ты потолкуешь с ним. Видно, частые представления имели какой-нибудь успех, ибо слышно, что граф Кочубей требует сведения, какого бы рода вспомоществования можно бы сделать здешнему краю? На это отвечать нетрудно будет.

Константин. С.-Петербург, 27 октября 1822 года

Затормошили меня с комиссиею, но дело идет порядочно. Все кредиторы, с коими предварительно мы говорили, согласны на наше предложение, и многие уже подписали, даже Юсупов и Вяземская согласны. Все, кто приходили вчера в комиссию за процентами, убеждены были мною и тут же подписали. Подлинно, ничего для них нельзя придумать выгоднейшего. Мадам Калам [швейцарка, наставница дочерей графа А.К.Разумовского], которая уверяет, что ты ей жизнь спас перед приходом французов, дав ей подорожную, также там была, много говорила и подписала.

Вчера у меня обедал Броневский. Он приехал сюда сдавать кадетов на службу, сбирается литографировать сражение Сенявина при св. горе Афонской и также хочет печатать прибавление к своим «Запискам». Обещал принести новое свое сочинение, которого я еще не читал. Скоро отправляется обратно в Тулу.

Константин. С.-Петербург, 28 октября 1822 года

Фельдъегерь привез мне несколько писем, о содержании коих буду тебя уведомлять по порядку.

Полетика пишет, что приехал 5 октября в Верону, обозрев Милан, Турин и Геную. После представления государю намерен ехать во Флоренцию, пробыть там шесть недель и отправиться потом в Рим. Он еще не видел графа Нессельроде и о себе ничего не может сказать. Я уверен, что он будет очень хорошо принят.

Северин. Матушевич и Фонтон, выехав из Вены 1 октября, осмотрели Венецию, Падую, Мантую, Кремону, Милан и провели время очень весело. Канова умер в Венеции. Северин прислал мне медаль, выбитую ему в память, прекрасная. Верона малоинтересна в сравнении с другими городами Италии. Русские в ней бесчисленны. Воронцов, осыпанный милостями его величества в Тегернзее, приедет к нам через несколько дней триумфатором.

Фонтон описывает также свое путешествие. Мишо в Вероне. Он растолстел. Ждут скоро добрейшего Италийского. Театр довольно большой, но опера не из лучших. Зато в Милане она великолепна. Музыка Меркаданте призвана соперничать с музыкой Россини.

От Шредера также получил письмо, через Верону, от 16 сентября: «У меня была лихорадка, продержавшая меня в постели 9 дней, и я принужден был вернуться из Экс-ла-Шапели, не приняв всех своих ванн, потому что Поццо получил приказ отправляться в Вену и поставил меня начальником канцелярии.

Что говорить о доблести Бенжамена Констана, который только и дерется на дуэлях? Он хром, уже не может стоять и был вынужден улаживать последнюю ссору, сидя на стуле; поскольку обмен выстрелами никого не ранил, злые шутники уверяют, что под ним были убиты два стула. Впрочем, эти мелкие насмешки огорчают его меньше всего, ибо либеральная партия воодушевлена как никогда, и уже несколько месяцев положение во Франции укрепляется. Месье де Вилле, стоящий во главе правительства, с удивительной ловкостью пользуется материалами, завещанными ему герцогом Ришелье. Он разворачивает обширную деятельность, он суров и справедлив, заговорщиков более не прощают, и, таким образом, долгой безнаказанности, порождавшей все новые преступления, пришел конец.

У нас здесь уже две недели добрый Волков. Его жена позавчера родила сына. Он живет в Сен-Жерменском предместье, и я вижу его не так часто, как хотелось бы, особливо теперь, когда принужден много бывать в обществе. Князь Хованский (Ник. Ник.), который также приехал, скучает, кажется, в Париже и думает воротиться на зиму в Германию. Передавай тысячи учтивостей твоему добрейшему брату».

Константин. С.-Петербург, 1 ноября 1822 года

Юшков рассказывал, какое празднество было в Рябове у Всеволожского. Три дня пировали по поводу, кажется, его именин, и все это время беспрестанные были сюрпризы, и все превосходно. Обедало 120 человек, всем были комнаты и все нужное во все три дня. Были спектакли русские, французские, оперы, балеты, фейерверки, ярмарки, картины, шарады, концерты, одним словом, такого праздника Юшков никогда и не видал.

Сухозанет сказал нам анекдот, доказывающий, до какой степени может простираться скупость. Женщина одна, имевшая сына, которого очень любила, служившего офицером и женатого, умирает, не оставив ему почти ничего. Девять месяцев после того служанка просится на волю, ее не пускают; но она обещает, если отпустят, открыть важную тайну. Хотели от нее узнать ее, но она не соглашалась иначе. Воля обещана. Что же она сказала сыну? «Матушка ваша, чувствуя себя при смерти, призвала меня, взяла с меня клятву, что исполню ее волю и никому о ней не скажу. “Вот, – говорит, – в чем моя воля: чтобы эту подушку положить в гроб мне под голову”. Так и сделалось. Матушка ваша копила всегда деньги, я видела иногда, что она зашивала сама подушку; там, верно, деньги; иначе бы где им быть? Так вы попытайтесь». Сын точно удивлялся, что матерью так мало оставлено, пошел к архиерею; долго эта история продолжалась, наконец архиерей согласился, вскрыли гроб, вынули подушку и в ней нашли 380 тысяч ассигнациями. Это было где-то в губернии, но где – я не вслушался. Какова скупость? Не забудь, что старуха любила сына, сокрушалась о нем, но не могла, даже после смерти, расстаться с деньгами, между тем как при ее жизни он все был в нужде, а она о сем горевала.

Константин. С.-Петербург, 7 ноября 1822 года

Северин мне пишет: «Почтенный Италинский все больше окружает себя нашей дипломатической молодежью. Здесь Лев Потоцкий и многие другие. Мы ждем мадам Сверчкову. Ее муж слаб. Итальянское небо, ежели он пожелает ему довериться, восстановит его здоровье или, по крайней мере, поддержит еще надолго. Нигде более его легкие не выдержат».

Полетика пишет из Венеции, куда он поехал погулять, но должен был немедленно возвратиться: «Граф Нессельроде меня чрезвычайно ласково принял и сказал, что император очень милостиво ко мне расположен. Убедившись в том, что мое представление императору состоится еще не так скоро, и получив

дозволение графа Нессельроде, я покинул Верону, чтобы посетить этот водный город». В Неаполь не поедет и будет сюда ранее июня, как было прежде полагал, в чем и я был уверен. Тебя обнимает.

Закревский прислал ко мне письмо, что Лабзин[77] отставлен, что он указ о сем посылает в Сенат.

Василий Степанович Попов скончался. Лабзина (между нами) велено выслать из Петербурга.

Константин. С.-Петербург, 8 ноября 1822 года

Вчера после обеда был у нас Н.М.Карамзин, который очень долго сидел; все толковали о греках. Потом поехал я к княгине Авдотье Ивановне Голицыной, которая писала ко мне, что имеет крайнюю до меня нужду. Нашел ее одну, посидел, кажется, немного, но как глянул на часы, вышло одиннадцать часов, и я у нее пробыл ровно три часа. Куда как она любезна! Не видел, право, как прошло время.

Матушевич писал ко мне предружеское письмо и прислал мне славнейший в Европе эстамп, вновь вышедший, гравированный с рафаэлевой картины «Обручение Богородицы». Эстамп был в жестяной трубке, которую привезли блином; я думал уже, что эстамп совершенно испорчен, но он только измят. Славный наш гравер Уткин был сегодня у меня, им восхищался и взялся поправить. Подлинно чудесный, и, мне кажется, лучше миллеровых Иоанна и Богородицы.

Константин. С.-Петербург, 10 ноября 1822 года

Так как у Лабзина нет деревни, в коей бы он мог жить, то предоставлено графу Кочубею назначить ему для пребывания какой-нибудь уездный город [назначен бедный волжский Сенгилей, населенный староверами]. Также выслан из города отставной полковник Катенин.

Александр. Семердино, 13 ноября 1822 года

Тургенев прав: батюшка покойный дал Глазунову право только на одно издание и говорил: ежели будет у меня досужее время, я все еще раз пересмотрю, переправлю, многое изменилось и еще переменится (тогда не было еще и куролесника Бонапарта), и напечатаю сам новое издание, ежели это истощится. За право одного издания батюшка взял у Глазунова по одному экземпляру всех русских книг по существовавшим тогда каталогам. Вот что я знаю, а чего не сделал батюшка, то можем сделать мы, выписав из новейших географий все, что нужно к пополнению или перемене, а о бывшем при Наполеоне упомянуть слегка для

хронологического только порядка. Именно попроси Тургенева выбить из головы Глазунова непозволенный проект промысла. Мне уже Свешников говорил не один раз, что «Всемирный путешествователь» становится редок и зачем я не напечатаю еще экземпляров хоть 1000.

Милого Каподистрию благодарю за память. С чрезвычайным удовольствием заключаю я из его слов, что здоровье его хорошо и что он помнит о тех, кто нежно его любит. Далеко от дел, от суеты, в хорошем климате, следуя режиму, необходимому и по его возрасту, как не поправить ему здоровья своего? И ежели вместе с тем Бог защищает дело тех, кого люди покинули, то мы его увидим помолодевшим на десять лет, и тогда не будет более причины откладывать его женитьбу на моей малютке Ольге[78], которая любит его не менее папеньки и маменьки. Напиши это графу от меня. Боюсь только, чтобы этот черт Анстет не заставлял его слишком много есть.

Константин. С.-Петербург, 14 ноября 1822 года

В субботу был славнейший бал у старухи Голицыной. Жена не поехала, а я явился и до второго часа пробыл, потому что в воскресенье можно и попозже встать. Я много болтал с графиней, с Татищевой и проч. и проч. Юлия Александровна все о муже толковала. Сказала мне под секретом (а я тебе на тех же условиях передаю), что слышала, что муж ее не в ладу с Меттернихом, и что она это предвидела. Сначала, говорит, оба они подделывались друг к другу, а как дошло до настоящего дела, так Дмитрий Павлович не такой человек, чтобы мог согласиться с ним; ибо он только думает о пользе и славе России, а тот натурально думает только о пользе и славе Австрии, а невозможно, чтобы эти пользы были согласны, и проч. Муж ей пишет, что Нессельроде часто с ним говорит о посольстве в Вене, а государь – ни слова; что они ожидают нетерпеливо решения своей участи, чтобы знать, чего держаться.

Третьего дня была свадьба Донауровой. Как идти к венцу, то получила она пакет от молодого графа Шереметева, в коем нашла данную на 500 душ. Я нахожу, что это очень красиво и делает ему величайшую честь[79].

Рушковский пишет, что тебя ждет с зимним путем, а Голицын ожидает к воскресенью; ты же, который лучше всех должен сие знать, кажется, еще не собираешься; видно, хорошо в Семердине с доброю женкою и с милыми детьми. Так как на Шредера нельзя надеяться, чтобы он занялся своими интересами, то я уже несколько раз писал в Верону, чтобы не забыли о них.

Также много я писал о Полетике. О летах нечего и говорить;

и у меня глаза шалят, вечером почитаешь, так и начнет все рябить и зеленеть, а другого времени нет для чтения, как ложась спать. Князь Сергей Иванович, видно, шутит или не знает, каково заводиться в Петербурге. Старыми московскими мебелями не купить новых здесь. По-моему, они пустое затевают – переезжать сюда на житье с большими девушками: или сидеть должны дома, или разоряться на туалеты, а женихов вряд ли сыщут: они тут реже еще, чем в Москве. Я бы, право, на его месте поселился в каком-нибудь уездном городе и жил бы спокойно, например, в Киеве, где дешево и общество порядочное. Послезавтра опять начнется мученье в комиссии, выдача денег, но зато после будет хорошо, отдохну.

Говорят, папа умирает. Я думаю, австрийцы будут стараться сделать папой эрцгерцога-кардинала, если старик умрет; но допустят ли их завладеть таким образом всею Италией?

Константин. С.-Петербург, 17 ноября 1822 года

Третьего дня умер почтенный дюк Серра-Каприоли, о коем все генерально сожалеют. Кто говорит, что он повредил себе желудок, а кто – что подагра поднялась, и это кажется вероятнее. В воскресенье я видел его сына и племянников в концерте, следовательно, он не был еще серьезно болен. Добрый был старик, любил Россию и русских и ими был любим. Он еще не очень был стар, 73 года ему только что минуло. Кто-то будет на его место? Я чаю – сын его. Другая новость неприятная, о коей заговорили со вчерашнего дня, это о Ланской, урожденной Вилламовой, что *будто* она объявила себя несостоятельною. У бедного Негри, которого ты у меня видел, тут 40 тысяч, весь его капитал. У Балашова, говорят, 700 или 800 тысяч. Негри вчера был у меня и очень смущен. Он тоже слышал это, а мне сказала мамзель Калам (тобою облагодетельствованная, спасенная, но не признаваемая). Вчера более нежели на миллион выдал я денег и кругом около семидесяти человек удовлетворил. С дамами особливо хлопотливо: много говорят, долго считают, ошибаются и проч. и проч.

Сейчас получил я письмо от доброго Каподистрии от 30 октября из Франкфурта: «Я с сожалением оставил Рейнигау, мой городок, лечение виноградом и, сверх того, свое уединение. Здоровье мое сильно укрепилось, но сомневаюсь, что сможет оно продолжать в том же духе при жизни во Франкфурте. У этого города свои салоны, своя дипломатия, свои обеды, свои обычаи и все соблазны, кои из этого следуют. Так что от всего этого я завтра избавляюсь. Я еду в Швейцарию. Буду двигаться малыми дневными переходами, по 4-5 часов в день. Остановлюсь в

Женеве, а после будет, как захочет милостивый Господь, и это будет хорошо». Потом говорит о своих делах.

Константин. С.-Петербург, 21 ноября 1822 года

Третьего дня возил я жену к обедне к князю. Она говорит, что никогда так усердно не молилась. Князь просил ее и впредь ездить, когда угодно, и даст ей знать, когда у него архиерей или архимандрит Поликарп будет говорить проповедь.

Из Вероны приехал курьер. Привез письма от Полетики и Северина. Первый пишет, что представлялся государю: «У меня была аудиенция. Его величество принял меня самым милостивым образом и соизволил беседовать со мною в течение целой четверти часа. Но ничего не решено еще касательно моих дел. Ежели удастся мне получить то, что было мне обещано, я буду самым довольным человеком в мире; но не решаюсь предаваться сей надежде», – и проч. А это вот что такое, но должно остаться между нами. Мысль моя, и ей обещали последовать: сделать нашего Американца сенатором (жалованья 4000) и с сохранением 10 тысяч из Коллегии, где он и будет считаться. К его доходишку 14 тысяч прибавки; можно будет жить порядочно. Я уверен, что государь не откажет, но совершенно доволен буду тогда только, когда узнаю, что дело сделано. Французский король подарил Полетике экземпляр великолепного труда Денона о Египте.

Вчера был я на похоронах у дюка Серра-Каприоли вместе со всем городом, все иностранные и наши министры, все генералы, дамы, – одним словом, пересчитать можно тех, кои не были. Обедню служил и отпевал Сестренцевич; но все подробности, верно, будут в «Консерваторе», а я скажу только тебе, что не видел я ни одного человека, который бы не сожалел о покойнике. Я ездил с Тургеневым, и вместе сидели.

Утром я уже не ездил в комиссию, зато после обеда пробыл там до десяти часов. Немного денег осталось. После похорон ездили к Добровольскому; он на ногах, но еще слаб. Ламсдорф все так же лежит. Закревского не нашел дома, чему очень был рад, а Фонтон спала. Сегодня хоронят Сухопрудского, честного, прекрасного человека. Он был правителем дел в Комитете министров, и еще молодым. Кто-то попадет на его место? Желательно, чтобы подобный ему. Тургеневу покойник был приятель.

Константин. С.-Петербург, 22 ноября 1822 года

Глинка мне прислал, вместе с билетом на детский журнал на будущий год, в подарок письмо оригинальное князя Потемкина к батюшке. Где он все это выкапывает? Посылаю его при сем для

прочтения и хранения.

Александр. Москва, 24 ноября 1822 года

Сказанное тобою о Дмитрии Павловиче я сохраню для себя. Это я предвидел наперед, да и сам Дмитрий Павлович мне говорил: «Мы с этим господином друг другу несимпатичны». Теперь объясняется и то, что назначение его в Вену не приводится к концу. Меттерниху хочется иметь особу податливую; Татищев, по врожденной спеси и несогласию в политических видах, не льстится венским постом. Равнодушие наше к австрийскому владычеству в Италии меня удивляет. Зачем не вознаграждаемся мы влиянием в турецких и греческих делах? Впрочем, сужу я как слепой. До сих пор все оканчивалось всегда к славе и выгодам России; кормчий у нас тот же, так можем быть покойны. Я увлекаем участием моим к несчастным единоверцам. Да кто не за них?

Черта молодого графа Шереметева прекрасна. Вот, мне кажется, счастливые минуты богачей! Как весело делать такие сюрпризы товарищам детства, учения и друзьям; вот и невольно позавидуешь богатому. Спасибо тебе, что ты писал за доброго нашего Шредера. Справедливость требует, чтобы дело его пансиона было устроено.

Соболезную искренно о смерти доброго дюка Серра-Каприоли. Он имел нрав твердый, возвышенные чувства и привязчивость к своему государю, достойные почтения. Во время оно, когда все ползало пред Наполеоном, он один почти его не признавал и остался тверд в своих правилах. Король будет о нем сожалеть. Руффо потерял в нем опасного соперника.

Вот тебе и Ланская, хороша! Помнишь ли, ты мне раз говорил: вот увидишь, что и дворяне станут себя объявлять банкротами, как купцы! Вот и сбывается срам этот.

Александр. Москва, 25 ноября 1822 года

Мы очень устали все, не столько от дороги, сколько от дурного ночлега в Талицах, где блохи по нам прыгали, клопы кусали и тараканы (коих принимали в темноте за мышей) нас пугали. От этих неприятных товарищей мы проснулись все в 6 часов, пили чай при свечах, ожидали дня и пустились в Москву. Здесь, правда, квартира тесненька, но зато тепла, покойна, суха, среди города, и нет ни клопов, ни блох, ни тараканов.

На дороге также был я обрадован. Один бедный содержатель постоялого двора (мужик соседственной нашей деревни Новленской, продававший мне лес, коим дом наш семердинский выстроен) был болен отчаянно ломом в голове; мы, по совету

Пфеллера, давали ему лекарство, но положение его было таково, что отчаивались мы в его излечении, жена рыдала, плакала, все в нем теряла. Я остановиться велел у ворот и со страхом приказываю Ваське идти наведаться о Кузьме; вообрази же мое удивление и радость: Кузьма узнал от стоявших у ворот, что мы едем, вышел сам нам показываться и сказать, что ему лучше и что ждет только теплого дня, чтобы ехать к Троице отпеть молебен. Не знаю, от особенного ли расположения духа, но я был чрезвычайно обрадован и разделил благополучие целой семьи Кузьмы. Село называется Большие Мытищи, и Кузьма нанимает дом кормилицы великого князя Александра Николаевича, Авдотьи Гавриловны; баба также добрая и всегда нас обласкивает.

Константин. С.-Петербург, 25 ноября 1822 года

Чего Москва не выдумает? Князя на место Италийского! Вот я его посмешу завтра новым назначением. С Лабзиным он никогда приятелем не был и недавно еще много мне говорил о его странностях, делал ему добро, потому что расположен всем делать добро. Ошибается Москва в добром князе.

Александр. Москва, 28 ноября 1822 года

В Собрании о многом толковали: о вине, столе, разных починках; это не моя часть, я и молчал. Выбывшие старшины суть: губернатор, князь Ал. Ал. Долгоруков, князь Юсупов, граф Федор Андреевич Толстой; а вновь избранные: Обольянинов, Иван Иванович Дмитриев, Супонев, Мертваго и князь Ал. Михайлович Урусов. Хлопочут теперь об избрании шести директоров. Сами не знают, на что это. Апраксина предложения не были приняты. Он хотел предоставить всякому члену право старшин давать визитерные билеты, отнять у старшин хорные билеты, а чтобы туда всякий ходил, кто хочет, за деньги, то есть сделать шинок из благородного собрания. Этому Апраксину нельзя жить без выдумок, а все пустяки. Он затеял учреждение комитета для поправления и прибавления правил Собрания, заставил себя выбаллотировать членом комитета, а вышло, что все, им предложенное, было по большинству голосов отринуто. Стоило труда так хлопотать!

В прочих комнатах, где еще нет паркетов, из экономии сделали полы крашеные. Я князю Юсупову говорил, что вони долго не выгонят, и посмотри, как зажгут все свечи и от народу сделается жарко, ежели не будут обмороки делаться дамам. Курили-курили – не помогает; теперь станут мыть чем-то.

У Фавста был пир, музыка после обеда. Настасья Ивановна плясала по-русски, и очень не без претензии. Рукоплескание

приняла очень радостно. Скажи Лизоньке, что тут обедала Муравьева, с коей я много о ней говорил. Чижик был в духе и все тормошил одну старую дуру, которая уверена, что она наследница Шварценберга, что император Франц ей родня, а папа целует ее руки. Все это рассказывает она очень серьезно и обстоятельно. Батюшка покойный ее очень любил; она жила у Трубецкого Николая Никитича.

Третьего дня провезли здесь Лабзина. Он останавливался у Мудрова, желал видеть четыре особы: П.И.Кутузова, старика Рунича, А.И.Трескина и еще кого-то (забыл); были ли они у него или нет, они ли точно – не знаю, но вот что я слышал. Еще слышал я странную историю, похожую на сказку. Алябьев, незадолго до кончины своей, ездил отдавать 8000 рублей в ломбард, билет положил в карман, занемог; только его похоронили в том же платье, а с платьем и билет; не находя оный и добравшись до истины, должны были покойника откопать и вынуть из кармана билет, который и нашелся. П.П. говорит, что он об этом не слыхал.

Александр. Москва, 29 ноября 1822 года

У тестя теперь понедельники. Вчера был первый; пропасть народу, князь Дмитрий Владимирович, Юсуповы (ибо и сынок был), Апраксины, князь Федор Сергеевич [Голицын], комендант, множество дам, словом, весь высший свет города. Сделал я две партии в вист, зашиб 63 рубля; а жена, которую заставили силою играть, проиграла мне 15, все нет накладу, а наклад мне был от ужина, от коего хотя и спал хорошо, но теперь все кашляю.

Граф Ростопчин пишет, что множество русских, что в Париже пошла мода на аукцион и что граф Гурьев молодой покупает много, дешево и со вкусом. Граф прибавляет: в этом молодце будет прок, – у него глаза и пузо отцовские.

Александр. Москва, 1 декабря 1822 года

Жаль бедного Апраксина. С ним пошли и денежки мои на тот свет; он давал мне комиссию привезти ему из Парижа духов, крестов и лент орденских. Большой был невежда, а пресмешной.

Мне говорил Глинка о письмах князя Потемкина; только присланное им тебе не так любопытно, но я его все-таки сберегу. Странно мне, что князь, при лени своей, оставил у себя отпуск письма столь неважного. Выкрасть же у батюшки тоже нельзя было. Видно, отправлено быв, до рук его никогда не дошло. Глинка сказывал мне, что он имеет писем 100 оригинальных Потемкина и Суворова к разным особам и что достал это за безделицу. Ты ему смело можешь послать подарок (то есть

деньги) за его книгу. Он весьма не в цветущем положении, а детей множество.

Я не желаю смерти никому, но желал бы, чтобы Лебцельтерна в Царьграде поколотил народ так, чтобы его больного привезли обратно к Меттерниху. Здесь купцы и греки так ропщут и гласно жалуются на равнодушие наше и влияние Австрии на восточные дела, что Чумага со многими перестал видеться, не ездит никуда, избегая сих разговоров, и умно делает. Не их дело – судить. Я ему советовал продолжать таковое поведение.

Константин. С.-Петербург, 2 декабря 1822 года

Третьего дня ездили мы с женою к модистке заказывать ей платье к балу Кочубея. Разговорились о нарядах, после – о богатстве, а там – о нищенстве. Утром получил я письмо от одной поручицы, которая описывает мне жалкое свое положение. Так как часто обманывают, я всегда посылаю чиновника разведать и удостовериться, точно ли проситель заслуживает помощи, и с тем сообразуюсь. Он точно подтвердил ее нищету. Я хотел сам ее видеть и показать жене, что такое бедность, о коей она не имеет понятия. Прямо из лавки предложил я ей завезти меня в Коломну, где есть дело. Дорогой сказал ей, что хочу видеть бедную женщину, которая ко мне писала. Она попросилась со мною; этого-то я и хотел. Сколько я ни привык к подобным зрелищам, но сильно был поражен тем, что видел и слышал; каково же ей было? Входим во второй этаж по вонючей лестнице, в вонючую комнату, где перегородка кое из каких досок, где зимою вода мерзнет, мебелей два изломанных стула, кровать, на ней сено, и сидит женщина брюхатая, на руках ребенок, а двое возле нее, старшему сыну 4 года. Дети оборваны, но все ж на них видна некоторая опрятность; мать в самом легком платье, женщина высокая, лет 25-ти, недурна собою, приняла нас без удивления. «Вы, сударыня, ко мне писали в почтамт?» – «Я, сударь». Из выговора видно, что она немка. «Крайность меня довела до сего. Я у вас была однажды, вы мне дали 50 рублей, вы видите мое положение». – «Ваш муж под судом? За что?»

Вот ее история. Муж ее был главным комиссионером корпуса, женился на ней в Пруссии, попал под суд и семь лет сидит на гауптвахте. Она, услыша о его несчастий, все бросила и приехала в Россию, или, лучше сказать, пришла, потеряла в первый год троих детей от голода и холода. Все, что имели, у них было прежде секвестровано, и она вот уже пять лет как должна содержать мужа на гауптвахте и детей своею работою. Где нищета, там и болезни. Мужа ее иногда с гауптвахты отпускают домой. Служанки нет, квартиру дают из милости без денег, но

какая квартира! Должна родить. «Что со мною будет, что будет с несчастными детьми?!» Все это, однако же, она говорила с таким благородным видом, что более еще нас тронула. «Вы иностранка?» – «Из Пруссии, где у меня старуха-мать; вот более года не имеет она от меня писем, а меня так любит». – «Зачем не пишете к ней?» – «Как я могу заплатить пять рублей за письмо: у меня иногда хлеба нет для детей». – «Напишите завтра письмо, я за ним пришлю и берусь его доставить». Она остолбенела, и в три ручья слезы (до тех пор ни слезинки не было). «Бог вам заплатит. Я уже думала, что для меня нет утешения на свете. Сегодня же напишу письмо». – «Я вам пришлю бумаги». – «Нет, я куплю (показывая 50 рублей, которые ей жена дала): теперь у меня есть чем».

Жена спросила, что ей нужно. «Мне ничего, но дайте что-нибудь бедным деткам; у нас так холодно, что я согреть их иногда не могу». Видя, что жену это слишком трогало, сказал я ей, что пора ехать. Я обещал бедной женщине похлопотать о ее муже. Она уверена, что он не так виноват; «Впрочем, – говорит, – может быть, я не так сужу; я не могу поверить, чтобы вина его была умышленна».

Когда мы пошли, она нас проводила до двери, без всяких комплиментов, и затворила ее за нами. Дети прекрасные. Бедные, так для них странно было видеть людей порядочно одетыми; выпуча глаза, на нас смотрели, но не дики и отвечали мне тотчас.

В карете ну моя жена плакать. После этого можно ли думать о балах, о нарядах? Мы тратим сотни рублей, а бедным есть нечего. Можно, но надобно и бедных не забывать. У нас обедал Тургенев. За столом только и говорили о сей несчастной, все были тронуты. Решил Тургенев, что поедет к ней после обеда и повезет сам то, что ей пошлем. После обеда ну складчину делать. Жена платья, Оленька теплый капот для матери, дети натаскали игрушек детям, принесли свои башмаки, теплые платья, старые шапки. Ты спросишь, да что же тут Сашка? Будто играя, влез ко мне на колени и тихонько на ухо: «Папенька, у меня есть деньги; могу я им послать?» Разумеется! Побежал, потащил няню, принес свою казну и подошел к Тургеневу, ничего не говоря, тихонько, положил ему в руку и скрылся. Ну, право, всех нас тронул до слез. Костя послал изюм, который ему мать прислала, Соня – игрушки. Одним словом, навьючили Тургенева. Оттуда он возвратился к нам и привез благословения несчастной матери. Всем было легко на душе после доброго дела. Теперь станем хлопотать о муже и пособлять жене. Я велел поискать квартиру теплее; найму ей женщину, которая бы за ней ходила, и, переведя на новую квартиру, сделаю сюрприз жене, повезу ее к ней. Наши

богачи и не знают, что есть столь несчастные люди на свете.

Александр. Москва, 4 декабря 1822 года

Я был у Витберга; долго очень у него сидел. Много говорил он о храме, о всех неприятностях, кои он имеет, и о недоброжелателях своих. Я отвечал, что это натурально. Ныне век денег, этому божеству все поклоняются; поэтому и человек, имеющий в распоряжении своем большие капиталы, не может не быть предметом общей зависти и клеветы; милости же, им полученные, должны его щедро вознаграждать за все это. Он с князем Дмитрием Владимировичем в разладе, также с преосвященным Филаретом, не очень доволен нашим Тургеневым и др. Дело граберов мы уладили.

Он многим для нас отказал. Завтра пришлет он мне кондиции, и мы решительно обо всем условимся на 150 человек.

Здесь слышал я, что Лабзин будет жить в симбирской деревне Тургеневых. Правда ли это? Я и забыл о сем спросить у Сергея, у коего был я вчера, но не застал, а сидел у Катерины Семеновны; всех нас здоровее, а все кряхтит, всех нас богаче, а все охает.

Ох, надоело мне это Собрание! Третьего дня подписал я 400 билетов (в запас) для членов новых, а сегодня Иван Иванович Дмитриев прислал еще 150, им уже подписанные. В среду маскарад, и я дежурный с Кутайсовым.

Благодарю очень за веронские выписки. По отъездам дипломатов можно надеяться, что конгресс скоро кончится и наши воротятся к Новому году. Очень я радуюсь вспоможению, оказанному моему старичку Италинскому. Кому-то достанется все после него? Богатств нет, но есть книги, рукописи и другие редкие вещи. Последние годы жизни проведет в спокойствии безнуждном и будет молить Бога за государя. Авось-либо и Полетикино дело устроится. Теперь часть милостей не так плавно пойдет: Каподистрии там нет, а мы знаем, как Нессельроде медленно это обрабатывает. Как узнают все о назначении поверенного в делах в Луку, верно, станут делать всякие заключения. Князь Сергей Гагарин сказывал мне под секретом, что и о нем представление лежит в Вероне. Он представлен в церемониймейстеры, как Сологуб, чего очень Боренька Юсупов добивался для себя. А кто же будет во Флоренции на место Сверчкова?

Константин. С.-Петербург, 5 декабря 1822 года

Вчера вдруг явился ко мне Дмитрий Каменский. Приехал, кажется, искать места. С Репниным расстался, не видя для себя никакого прока от его обещаний. Просил меня поговорить о нем

Кочубею, что я вчера и исполнил. Граф о нем очень хорошего мнения – по рекомендации Репнина – и обещал, если Нессельроде не произведет его в статские советники в Вероне, то сам сие сделает по возвращении государя; ибо государь согласился на производство Каменского и велел передать дело Нессельроде, потому что Каменский считается в Иностранной коллегии.

Константин. С.-Петербург, 6 декабря 1822 года

Сюда приехали двое из московских ямщиков, коим выпросил я, три года тому назад, кафтаны; тотчас явились ко мне и рады были меня видеть. В воскресенье представлял я их князю, который пригласил их к себе к обедне и очень обласкал. Мне хотелось, чтоб они никогда Петербурга не забыли, а потому просил князя устроить, чтоб они могли представиться императрицам. Из записки его, при сем прилагаемой, увидишь, что и это сбылось. Ну уж в каком они были восхищении! Я послал их теперь во дворец с моим почтальоном и велел после зайти к себе.

Александр. Москва, 8 декабря 1822 года

Дух мой был как-то расположен к унынию, и история вашей бедной пруссачки очень меня растрогала, как и доброе сердце ангела этого Сашки. С такою душою должен он будет быть счастлив. Сколько есть богоугодных заведений, и все истинно несчастные остаются без призрения! На все надобна протекция. Никто не даст себе труда отыскивать бедных, удостоверяться в их положении, как ты сделал. Не лучше ли такой несчастной дать 500 рублей, нежели разделить эту сумму и раздавать ее праздным бродягам, просящим на улицах и обогащающим кабаки? Все это от того, что везде действует не истинное сострадание, а тщеславие.

Здесь Голицын и Шереметев хотели быть Людовиками XIV и затмить Инвалидный дом парижский; а как подумаешь, сколько добра, сколько несчастных можно было утешить, призреть, спасти от отчаянья и смерти миллионами, которые употреблены на постройку сих пышных зданий; но тогда приезжий и прохожий не стал бы спрашивать: «Кто соорудил эту великолепную больницу, кто построил столь огромный странноприимный дом?» А я ручаюсь, что в них не найдешь ни одного человека, который бы был счастливее твоей пруссачки, в день твоего посещения; а стоило тебе только 50 рублей и несколько утешительных слов и обнадеживаний. Чтобы делать много добра и как должно, одного богатства недостаточно. Надобно, кроме доброго сердца, какое-то особенное чувство нежное, научающее нас находить

чувствительную струну каждого несчастного. Дай мне, когда я болен, письмо от тебя: я выздоровею! Я уверяю, что обещание, данное тобою несчастной пруссачке – хлопотать о подсудимом, ее муже, столько же ее подкрепит, как пища, одежда, обувь, которую ты послал ей и детям ее. У чувствительного человека здоровье никогда не будет процветать, когда дух непокоен, а сердце раздираемо.

Где речь о добром деле, тут Тургенев уже готов. Комиссию дали вы ему самую приятную. Ежели бы Марицу с ребячества приучили к подобным зрелищам нищеты, она бы знала цену всему и сто раз бы более наслаждалась своим благополучием. Я очень распространился про приключение ваше, так меня тронуло это. Я прочитывал сам оное раза два и читал это детям и жене. Подобные уроки не во всех найдешь книгах, даже и хороших, а тут действующие лица все к нам близки.

Константин. С.-Петербург, 9 декабря 1822 года

Лабзин точно будет жить в Симбирске и в деревне, но не у Тургенева, а близко от него. Он с ним старый друг, а с Александром никогда не был приятелем; напротив, наш Тургенев его не любит. На место Сверчкова во Флоренции будет Сверчков же. Он сохраняет и то место.

Александр. Москва, 12 декабря 1822 года

Поздравляю тебя, любезнейший друг, с сегодняшним торжественным днем. Я знаю, как ты предан тому, кого ныне празднуют. Пусть здоровье его всегда будет таково, как любовь твоя к нему. У меня много будет сегодня работы, но я начинаю тотчас тобою. Надобно одеваться, бриться, ехать слушать обедню во Вдовий дом: звал Петр Петрович; там будет посвящение нескольких сердобольных вдов. Обедать буду у князя Дмитрия Володимировича, а ввечеру собрание; то есть не выйду из мундира целый день. Но когда же его носить, ежели не 12 декабря!

Константин. С.-Петербург, 13 декабря 1822 года

Вчера утром ездил я во дворец, был у руки у императрицы Марии Федоровны (Елизавета Алексеевна в этот день принимает поздравления только от двора, генерал- и флигель-адъютантов, министров и Сената). Дошла моя очередь, поцеловал руку. «Я очень рада вас видеть и благодарю за все радости, какие вы мне доставляете. Письма моей дочери Марии всегда приходят ко мне за двенадцать дней, так что я даже могу заранее рассчитывать, когда получу ответ. И с другими моими корреспонденциями

такая же быстрота и точность. Это подлинное совершенство, и мы вам сим обязаны». Поклон да назад. За мною шел Нарышкин Кирилл. Она ему: «Подлинно, г-н Булгаков сделал и продолжает делать чудеса», – продолжала хвалить, я – пятиться назад. Государыня, обернувшись ко мне: «Не хотите слушать, как мы плохо о вас говорим?» Вечером на балу, потанцевав несколько польских, сел я с Рибопьером, Новосильцевым, ее секретарем, и Васильчиковым играть в вист. Государыня, обходя столы, изволила подойти и к нам. «Боже, я вижу Булгакова! Я исполнена признательности к вам» – и столько наговорила лестного о моей исправности, обязательности, которую все хвалят, о всех пользах, которые я доставляю публике, что я уже начал и краснеть. Во время ужина поел я немного и пошел бродить; тут опять изволила подойти. «Я не вижу вашей жены». – «Государыня, она не смогла иметь чести представиться здесь по причине нездоровья». – «Надобно беречь себя. Зима наступила». – «Я этим особенно доволен, государыня, потому что почта не будет более испытывать таких задержек, коим она подвержена так давно». – «Это ведь не по прибытию почты можно заметить, что дороги дурны. Вы нашли средство все исправить».

Ну уж, брат, не заслужить мне никогда столько милостей. Тебе ими хвастаю, потому что точно похвалы эти очень для меня лестны, доказывая, что у меня все идет довольно хорошо. Кажется, императрице нет причины делать мне комплименты. Повторяю, что хвастаю; но далее тебя это не должно идти. Бал был прекрасный. Зала, где ужинали, убрана была деревьями восхитительным образом. Дамские туалеты были отличные, а для меня Татищева была лучше всех одета. Отгадай, кто со мной ездил? Тургенев, Ломоносов и… Журавлев. Представь себе Журку в пудре, башмаках и во дворце! Лишнего ничего он не говорил.

Александр. Москва, 14 декабря 1822 года

Мне дали из Архива польские бумаги для перевода. Скучно, но как быть? Как отказать что-нибудь Архиву, столь ко мне снисходительному! Я вчера этим занялся, а сегодня отвез туда сам.

Князь Дмитрий Володимирович сказывал мне, что государь уже в дороге и нигде не остановится, кроме Варшавы.

Собрание 12-го числа было очень блистательно. Я недолго был, беспокоясь насчет жены. Много бегали за Берлицевой женою. Недурна собою, но более привлекала по французской турнюре и по отличному туалету. Его не было; говорят, болен, так и познакомиться с ним не мог. Поеду к нему; виноват я, он у меня был раза три. Лицо ее вроде княгини Голицыной.

В этот день была уже доска выставлена. Публика приглашалась избрать на новое трехлетие новых старшин на место А.С.Кологривова, Льва Алексеевича Яковлева и Ивана Александровича Нарышкина. Очень рад буду, когда избавлюсь от лестного, но скучного сего поручения.

Был у меня поутру Вейтбрехт. Дело их журнала улажено. Князь Шаликов будет издателем *модного журнала*, коего цель и проспект очень хороши. Тут много есть хороших материалов. Издание будет щеголевато, а главные издатели и участники: барон Штейнгель, Вейтбрехт, Шаликов, князь Иван Михайлович Долгоруков. Попрошу Вяземского сообщать тоже статьи и сам буду им при случае сообщать, что случится, касающегося до дам, моды, и тому подобное. Подписчиков уже много. Сделай одолжение, постарайся, чтобы вышло скорее князево разрешение; к нему, кажется, пишут сегодня, то есть Шаликов, прося позволения на издание сего журнала. План мне очень нравится, и, кажется, пойдет хорошо.

Александр. Москва, 15 декабря 1822 года

Говоря тебе вчера об Архиве, я забыл сказать, что весь дом отделывают заново. Я не понимаю, как можно было столько наделать на 40 000 рублей, данных Коллегией; но Архив наш всегда отличался порядком. Внутри все заново: двери, полы, рамы – все хорошо расписано. В библиотеке шкафы новые, красного дерева, везде вкус и опрятность. Лестницу узнать нельзя: сделалась прекрасна, и все это мастерил Азанчевский, молодой человек, тут же, в Архиве, служащий. Будешь в Москве, так узнаешь разве один только глобус, стоящий над крыльцом, а то все ново. Хорошо сделали, что сохранили дому старинную его наружность.

Александр. Москва, 18 декабря 1822 года

Первый раз видел я обряд дворянских выборов. Сейчас оттуда. Ездили мы с Фавстом. Большая наша зала была полна, а на хорах были дамы. Для всякого уезда учрежден особый стол, а около – стулья для избирателей. Я не записался ни в Москву – по дому, ни в Дмитров – по подмосковной; следовательно, не имею избирательного голоса, но зато избавляюсь от всяких хлопот. Был я просто зрителем. На одной стороне залы стоял большой портрет государя императора с украшениями. В половине одиннадцатого явился князь Дмитрий Владимирович, стал у подножия трона и открыл собрание речью, которую произнес очень внятно и громко. В ней говорил он об обязанностях каждого, о цели, для которой съехались, давал хорошие наставления, упомянул с похвалою об

Обольянинове, о совестном судье Кашкине, о исправниках московском, богородском и рузском: не называя лиц, сказал, что некоторые, к сожалению его, не оправдали выбора дворян, заслужили нарекания и даже подверглись суду и проч. Князь уехал, а прочие поехали в собор – слушать обедню и принести присягу. Так как это долго продлится, то и положено выборы начать завтра. Ежели успею, поеду завтра, чтобы узнать. Думают, что большая часть старых предводителей будут утверждены. Говорят, что Обольянинов не остается более. Он прослужил три выбора и подлинно слаб здоровьем. Тесть в больших хлопотах: что-то с ним будет? Князь речь свою читал с бумаги; постараюсь ее достать и пришлю тебе.

Вот как утро наше прошло, а вчера не мог я не ехать на вечер к Сонцову, который два раза приезжал меня звать, и Василий Львович писал, просил не отказать ему. Было довольно народу, танцевали. Видел я тут двух невест: княжну Голицыну и Пушкину; обе живут у Катерины Володимировны Апраксиной. Первая выходит за Ухтомского, а вторая, бедная очень девушка, имела счастье понравиться молодому, пригожему Зубкову, имеющему 1500 душ. Видно, было написано на небе; а Варенька Пушкина и многие другие сидят в девках, оттого что слишком разборчивы, и кончают все старыми сенаторами.

Поди-ка, какие ныне болезни! Подагра в пупке! Когда будет она у Боголюбова в языке? Он вздор врет и вздоры пишет к Урусовыми, о Дмитрии Павловиче. Правда и то, что они не очень ему верят.

Вяземский приехал сюда дня на три с княгинею, которая брюхата. Он очень недоволен цензурою, многое конфисковавшей в статье его о «Кавказском Пленнике», помещенной в № 49 «Сына Отечества». Я с ним и Сергеем Тургеневым обедал вчера у Жихарева, где очень приятно провели время до семи часов вечера. Жихарев кланяется тебе, а сестрам велела очень кланяться жена его, бабенка предобрая и премилая.

Очень тебя благодарю за указ о Полетике. Знаешь ли, что для меня это устройство лучше сенаторства? 3500 рублей впредь до определения к месту, да 3500 рублей с курсом еще. Кто велит ему когда-нибудь определяться к месту, то есть лишиться большого оклада и нажить себе хлопот! Это и без 2-го Владимира было бы славно. Ай да Американец; меня очень это обрадовало.

Константин. С.-Петербург, 20 декабря 1822 года

О переделке архивского дома писал мне Малиновский. Хорошо сделал, что сохранил древнюю его наружность. Она идет к Архиву. Азанчевского я знаю; он также секретарем, кажется, в

Библейском обществе.

Вчера Юшков присылал звать к себе на концерт. Так как не его день, то я и полагал, что будет что-нибудь чрезвычайное, и уверен был, что он звал Гурьева. С полчаса пробыв с Манычаром у князя Салтыкова, пустились к Юшкову; точно, собралось общество, граф Гурьев и он сам. Концерт был прекрасный, пели его люди арии, дуэты Россиниевы, и очень порядочно; но что было восхитительно, это концерт, который Львов играл на скрипке.

Александр. Москва, 20 декабря 1822 года

Посылаю тебе список нашим выборам. Все старые утверждены, кроме трех предводителей: серпуховской – князь Вяземский, что женат на дочери Ростислава Евграфьевича Татищева, в 22 шарах имел 17 черных; верейский – князь Оболенский, тоже был не выбран своим уездом, а с коломенским князем Петром Ивановичем Гагариным Обольянинов имел большую схватку. Гагарин этот – миллионщик, скряга, дает взаймы под большие залоги и проценты.

Он хотел отдалить от выборов одного дворянина, говоря, что он заслужил нарекание публики. Обольянинов отвечал: «Человек может быть жертвою клеветы, время его оправдает; а я почитаю недостойными выборов только тех, которые грабят, которые берут по 20 процентов». Долго оба петушились, но, наконец, Гагарин был отринут значительным большинством. Обольянинов, благодаря за доверенность дворян, не хочет, однако же, остаться. Старший кандидат по нем (ежели подлинно он отойдет) князь Василий Алексеевич [Хованский, тесть А.Я.Булгакова]; только, между нами сказано, не очень лестно для него получить в 376 шарах 128 черных. Я думаю, что Обольянинова уговорят остаться. Завтра будут выбирать судей, исправников и прочую мелюзгу. Кашкина хотели баллотировать в губернские предводители, но он был догадлив, отказался от чести, боясь черных шаров. Народу было множество, а особенно зрителей.

Александр. Москва, 25 декабря 1822 года

Брошюрку графа Кочубея я еще не успел начать читать, а должна быть любопытна. Вчера был я зван на вечер к Сонцову; были тут: Тургенев, Вяземский, Жихарев, молодой Юсупов, Василий Львович и Александр Михайлович Пушкины; этот того, по обыкновению, дурачил и ругал. «Кто тебя просил написать ко мне глупое послание, да и напечатать еще его в твоих сочинениях, которые на всех навязываешь, и никто их не берет? Это делает другой, такой же дрянной поэт, как ты, – Хвостов; но

этот, по крайней мере, сенатор, годится при случае, а ты ни к черту не годишься». Смешнее всего, что Василий Львович серьезно все принимает и оправдывается. Вяземский сегодня опять уезжает в деревню. Приезжал с женою только для Апраксина спектакля.

Константин. С.-Петербург, 27 декабря 1822 года

Здесь есть общество поощрения художников. Меня также выбрали туда членом. Выбор этот лестен, потому что, по уставу, у кого даже один черный балл, тот уже не может быть членом. Оно составлено из людей весьма почетных и почтенных. Вчера был я вечером в заседании у Кикина, у коего собирается еженедельно по вторникам комитет.

Константин. С.-Петербург, 28 декабря 1822 года

Государь должен был оставить Верону 3 декабря и следовать в Венецию. Северин и Матушевич выехали в тот же день в Варшаву, куда я им вчера с фельдъегерем послал шубы. Граф Нессельроде – накануне. Этот мне пишет также два слова. Полетиково письмо старее, он совершенно в восхищении; вот его слова: «Мое дело окончательно решилось; указ о моем жалованье император подписал накануне отправки последнего курьера, а рескрипт об ордене Св. Владимира получил его подпись днем ранее. Все мои желания исполнились, и я горел нетерпением сообщить тебе об этом, но случилось так, что граф Нессельроде дал мне много работы, пригвоздившей меня к стулу на сутки и которую я только закончил в день прибытия курьера. Я ходил к Северину отдохнуть и провести у него вечер; и никто не ожидал, что наш курьер отправится сегодня, однако же именно так приказал император. Не могу тебе сказать, как был я раздосадован, но волей-неволей пришлось мне предоставить Северину удовольствие сообщить тебе все добрые известия, кои собирался я тебе изложить. Теперь радуюсь, что ни о чем не просил по своем приезде сюда и полностью положился на справедливость императора и его министерства.

Я счастлив и доволен всем, что касается моих дел, Провидению же теперь надлежит устроить мою будущую судьбу. У меня будет 25 тысяч рублей ренты, включая мои собственные доходы. Ежели не безумствовать, то должно этого хватать; и хватит, может быть, и на двоих (хм!), благодаря Богу, который так очевидно мне помог, благодаря министрам, кои обходились со мною с таким великодушием и добротою, благодаря друзьям, кои так усердствовали услужить мне. Милый мой Константин, мое сердце едва вмещает признательность, коей оно переполнено,

и именно ты более всех содействовал внушению мне сего чувства. Что бы со мною ни случалось счастливого в последние десять лет, это всегда было делом рук твоих прямо или косвенно. Мне остается сообщить тебе, что император самым милостивым образом осыпал меня своими благодеяниями».

Все-таки прежде мая не обещает быть здесь. Во Флоренции намеревался пробыть шесть недель, после июль в Риме и, может быть, побывает и в Неаполе недельки на две. Шредер мне пишет. Поццо возвратился. Шредер недоволен Нессельроде, и очень справедливо. Я, право, не понимаю, каким образом всякий раз, что вся миссия награждена, он, который более всех трудится, остается без награды; но прочитай его письмо и возврати мне.

Константин. С.-Петербург, 30 декабря 1822 года

Только у нас и говорят о Нарышкиной [Марье Алексеевне, урожденной Сенявиной, тетке князя М.С.Воронцова], которая, умирая, много показывает твердости духа. Со всеми домашними простилась, мужу и сыну дала наставления и так их тронула, что беспрестанно рыдают. Исповедовалась и причастилась и совершенно покойна. Вчера она начала быть в забытьи, и не надеялись, чтоб она прожила сегодняшний день. Ей 62 года, с лишком сорок лет как замужем. Бриллианты свои все отдала внучкам, дочерям Суворовой. Их более нежели на миллион.

1823 год

Константин. С.-Петербург, 19 мая 1823 года

Я не обедал у Л. и дома мог только сесть за стол в 5 часов. Он никак не мог понять, что занятия помешали *обедать с министрами.* Он понимает, что можно совсем не обедать, а не обедать с министрами, когда есть случай, – это для него непонятно. Насилу ему втолковал, что лучше прогулять такой обед, нежели должность. Угрожает еще обедом для Воронцова; авось обойдется и без пира. Граф едет в конце будущей недели. Вчера вечером, полагая, что мне невесело (в чем не ошибся), пришел играть в вист. Перетревожился, встретив меня в карете часов в девять с женщиною, полагая, что это жена, а я отвез домой Багратионшу, которая у нас обедала и сегодня едет на лето в Царское Село. Кроме графа, были у нас Балыи, Ломоносов[80], надеющийся завтра отправиться в путь, Брунов, Лазарев, Александров и Манычар. Не поверишь, какая пустота. Бильярд остался неосвещенным; поиграли в вист, и я очень рад был, как добрался до своей кровати.

Константин. С.-Петербург, 22мая 1823 года

Я все еще не могу привыкнуть без вас. Вчера целый день вы вились около моего сердца. Ну уж, брат, изрядно меня попилили! Кто не побывал в продолжение дня! Хотя я торжественно объявил, что не буду дома обедать, но мало кого удалось обмануть: явилось человек за тридцать, во главе с Реманом и Тургеневым. У последнего просил я письмо к тебе Вяземского; обещал, но вряд ли сдержит скоро слово. После обеда поехал рыскать по именинницам. Вечером набралось еще более, между прочими и милейший

Воронцов с графиней весь вечер у нас просидели, составили десятирублевый алагер. Мы с Матушевичем разделили пулю.

Воронцов третьего дня был в Царском Селе. Возвратясь, прислал мне, поздно уже, записку, которая всех нас чрезвычайно обрадовала. Прилагаю ее при сем. Костаки[81] уже спал. Я не велел его будить, а вчера прочитал ему ее вместо подарка именинного. Теперь вся его карьера зависит от него самого. Я бы душевно порадовался, если б Бог привел со временем нашему лицейскому Косте или Сашке так же счастливо начать службу. Поутру водил я Варлама к графу с благодарением и узнал от него, что государь без малейшего затруднения согласился дать его ему адъютантом и перевести в гвардию. Он будет, я думаю, в лейб-гренадерском полку. Граф также выпросил себе Казначеева,

коему предоставлено остаться полковым или быть переименованным в действительного статского советника. Он избрал, кажется, последнее, и хорошо сделал: по его здоровью, он не мог бы служить в военной службе и отнимать у других вакансию. Брунов и Марини назначены к Воронцову, первый – для бессарабских дел, а последний – для иностранной переписки. Все трое в восхищении, да и есть от чего: приятнее начальника иметь нельзя.

Александр Завидово, 24 мая 1823 года

Последний раз, любезнейший брат, писал я тебе из Торжка, откуда послал Сашке[82], яко старому подагристу, страждущему мозолями, покойные сафьянные сапожки. Нигде не нашел я такую чистоту, такой чай, кофе, стол и дешевизну, как у Пожарского в Торжке. Надобно поддержать сего славного человека, а на него делают такие гонения, что без поддержки Львова, который сам приезжал в Тверь, сии славные люди были бы посажены в тюрьму: дело это нарочно было подстроено, ибо тогда, по уставу, его лишили бы права держать трактир.

Тут останавливался князь Дмитрий Владимирович [Голицын], и мы слышали, что жена Константина Марковича Полторацкого (они тут живут верстах в десяти) приезжала и два дня жила, поджидая князя, чтобы звать к себе, но, не дождавшись, уехала и оставила письмо, ею писанное и очень длинное, что князь читал оное раза три и, наконец, сказал: «Нечего делать, надобно ехать!»

Поехал к Полторацкой [Софье Борисовне] и ночевал там ночь, о чем тебе и рапортую, ежели может тебя это интересовать.

Константин. С.-Петербург, 25 мая 1823 года

Вчера отправился Ломоносов прямо от меня; прощаясь, рыдал и в горе обнял Оленьку[83], которую целый вечер дразнили. Куда скучны прощанья! Видно, что Ломоносов немного еще путешествовал на сухом пути: ни уложиться, ни убрать ничего не умеет и, верно бы, растерялся дорогой, если б Клим все не устроил.

Третьего дня был у нас вечером Сперанской, долго сидел. Он приезжал прощаться: едет к дочери[84] в Чернигов, чуть ли не к родинам.

Александр. Москва, 25 мая 1823 года

Мы прибыли сюда вчера в десятом часу вечера, любезнейший друг. Я тотчас написал несколько строк Рушковскому, прося его, ежели еще можно, дать тебе знать, что мы в порту. Дорога

совершилась счастливо и даже скоро, как сочтешь, сколько мы теряли времени на ночлеги, обеды, чаи и прогулки по дороге пешком. Дилижансы – славная вещь; только один порок, что слишком высоко, очень неудобно лазить, особливо дамам. Скажи Серапину, что мы очень были довольны нашим проводником. Во Всесвятском наехали мы на гуляющего Осипова с компанией, остановились на минуту; а он, увидев издали дилижанс, сказал: «Ах, кабы это Александр Яковлевич!» Ан так и вышло.

Въехав в город, на Тверской остановились мы против дома Мамоновой, чтобы узнать только, тут ли она. Видим огни, кареты; только вдруг ветреница сама выбегает в легоньком платье на улицу, хотела нас вытащить к себе чай пить, говоря, что у нее тесть; натурально, не согласились; глядим – выходит и князь Василий Алексеевич, с княгиней и Обресковой Прасковьей Васильевной и давай болтать, да болтать, – насилу от них вырвались. Все они в восхищении от дилижанса, который смотреть собралась с ними куча народу.

Поехали мы домой. Люди все в восхищении от нашего возвращения. Я тотчас послал к Фавсту, который прислал вместо себя вина и целый ужин, а через полчаса и сам явился с женою и Настасьей Ивановной Мосоловой [своей тещей]. Чрезмерно мы обрадовались друг другу, и первое его слово было: «Какой ты дурак! Зачем приехал? Я прежде июля тебя не ждал». Он так мне это говорил серьезно, что я не мог не отвечать ему так же серьезно: «Оттого, что скучно стало в Петербурге». Как ни хотелось спать обоим, а особливо мне, заболтались до двеннадцати часов. Мне достался и другой дурак: зачем, видишь, не привез я ему с биржи кустарников и цветов! Все такой же странный и добрейший малый. Ну, в дураках же я встал в семь часов, чтобы запереться и к тебе писать; вместо того тесть в двери, ну болтать, да еще и перо отнял, чтобы тебе писать. Не знаю, правда ли, что он написал, узнаю, и ежели подлинно так, то лучше взять мальчика обратно и отдать другого, ежели имеешь.

Князь в красном своем кафтане в восхищении, едет в общее собрание, все добивается, что нового, чтобы, видно, рассказать товарищам своим [князь В.А.Хованский был сенатором]. Какие тут новости, – мы неделю в дороге были! Я велел жену разбудить, и теперь она с ним толкует, а я продолжаю писать. Ты меня очень насмешил рассуждениями Лазарева, который думает, что скорее можно совсем не обедать, нежели отказать обедать с министрами. Спасибо приятелям, тебя не оставляющим, а особенно милому Воронцову. Тесть говорит, что назначение его произвело большую радость в Москве, а греки давали обед, чтобы праздновать оное. Право, сладко видеть, как общее мнение единогласно отдает

справедливость достоинствам Михаила Семеновича. Обними его крепко за меня и поцелуй ручку у милой графини.

Александр. Москва, 27 мая 1823 года

Иван Николаевич Корсаков[85] бывает у нас почти всякий день. Он любит говорить о прошедшем своем фаворе, и я когда-нибудь наедине заставлю его болтать и выпрошу, ежели есть у него, какие-нибудь любопытные документы. Хандра его прошла. Наташа большая его фаворитка, и он выезжает всюду, куда только она ему велит. Вчера он показывал Наташе прекраснейший перстень с рубином, обсыпанным брильянтами, – подарок императрицы Екатерины. Он ей сказал: «Никому в свете не отдал бы этого кольца, но ежели вам нравится, почту за счастье, ежели примет от обожателя Наталья, Боярская дочь (так он ее всегда называет)». Наташа не взяла, и у них теперь ссора за это.

Забыл я тебе сказать о несчастий, постигшем нашу Александру Петровну. Они обе[86] нанимают какой-то старый каменный дом у попа. После обеда (это было на той неделе) Александра Петровна говорит сестре: «Пойдем посидеть на балкон», – сама отворяет двери, но едва вступила на балкон, как оный обрушился вдруг, тогда как другая сестра хотела ногу на него поставить. Она переломала себе все члены и, к несчастью, еще жива. Не шутка – со второго этажа упасть на мостовую. Несмотря на все зло, которое она нам причинила, я, право, о ней сожалею.

Мы не можем набеседоваться с Фавстом. Вчера обедали мы вместе у доброго Пфеллера, который очень желает видеть сына под крылом Анстета; я ему сказал, что это со временем может сделаться. Был я также в опере, давали «Танкреда», и прекрасно. Потом ужинали мы у тестя и воротились домой по прекрасной ночи пешком. Сегодня (воскресенье) званы мы обедать к Мамоновой, а на вечер – к Риччи. Несмотря на все это движение, скучно. Единообразная петербургская жизнь очень мне нравилась, и я грущу даже по спорщику Балыие.

Сказывал мне тесть, что старик Северин, отец нашего приятеля Дмитрия Петровича, женился, и на какой-то богатой, – забыл ее имя. Знает ли это сын?

Здесь много делает шуму пьеса одна, под заглавием «Мысли российского негоцианта», об упадке торговли в России и о средствах оную восстановить. Я бы очень желал, чтобы Канкрин ее прочел, тут много хорошего, а в статье о сукнах осыпают похвалами нашего Карнеева, говоря о службе его здесь.

Митюша Нарышкин скоро будет назад. Его намерение – оставить военную службу, перейти, как Казначеев, в статскую и

служить при графе, даже, как он говорит, исправником, ежели граф пожелает. Как этот Воронцов умеет заколдовывать своих подчиненных! Я заколдован без того и мужем, и женою. Редкая чета! Обними за меня вицероя полуденной России.

Александр. Москва, 28 мая 1823 года

Приезжал добрый старичок Ал. Петрович Нечаев, который любит поболтать и имеет множество всегда анекдотцев о времени Екатерины. Только что отделались от него, явился Метакса, там Строев, Похвиснев, Саччи, который похудел; говорит, что был долго болен, показывая на фрак около брюха. «Оставьте свое брюхо и свое тело, – сказала ему жена, – и подумайте лучше о душе вашей». Они сцепились, а я дал тягу; да только что стал писать, а тут Риччи приехали. Как первые дни приезда скучны! Вчера обедал я у Митюши Нарышкина и видел большую часть картин и вещей, присланных сюда графом Ростопчиным. Картин с 200, да портфелей с 10 с разными эстампами и рисунками.

Александр. Москва, 31 мая 1823 года

Вчера было рождение Катерины Владимировны Апраксиной. Все себя почитали в обязанности ехать к ней на вечер, только княгине Елене Васильевне Хованской [мачехе жены А.Я.Булгакова], коей не хотелось ни делать туалет, ни сказаться больною, что же вздумалось? Послала поздравить Катерину Владимировну и прибавить: очень, дескать, сожалею, что не могу к вам быть сама ввечеру, да у нас сегодня также рождение Александра Яковлевича Булгакова, и назвалась к нам ужинать. Очень рады! Не знаю, как это разнеслось по городу, только Апраксины присылают меня поздравить, а ввечеру накопилось человек 20 у нас, и все, что не поехало к Апраксиной, явилось к нам. Я слыл все именинником, и пили шампанское за ужином. В 11 часов разлетелась Мамонова, ей говорит княгиня: «Как ты кстати приехала, сегодня рождение Александра Яковлевича». Мамонова ушла в уборную, только хвать, – нет ее, уехала – экая бешеная! Что же вышло? Поехала домой, надела белое нарядное платье вместо своего черного и явилась опять около полуночи. Ну, ежели бы сказали вам, что я умер, вы бы опять поехали надеть траурное свое платье? Играли мы в вист, и я зашиб 75 рублей. Мы откладываем с Наташей выигрышные деньги на покупку клавикордов для деревни, и уже 205 рублей накопилось; еще бы столько, так и дело в шляпе.

Вчера я приезжаю к Гуа купить конфет. Гуа уже уехал во Францию, а лавку свою продал он или передал сыну Дублета; только мне говорят, что полиция ее запечатала, оттого что взята

была форма мороженого к Пашковым, и в компании этой занемогло от мороженого человек 20, а некоторые, между коими Василий Иванович Путята, Александра Николаевна Николева и Егор Иванович Пашков, – очень отчаянно. Вероятно, нелуженая была форма, одни не евшие мороженое остались здоровы. Вчера, шатаясь (как то бывало с нами в Петербурге) по лавкам, нашел я прелестные игрушки, наподобие продающихся жестяных у нюрнберщев, только одни очень дороги, а эти дешевы и сделаны так хорошо, что русский этот художник разбогател: иностранцы множество покупают и увозят с собою, есть в разных видах и величине; отдай это от меня милому Сашке. Кибитка и телега курьерская взяты с рисунков Орловского. Вчера расставил я всю эту коллекцию на длинном шкапе, осветил лампою, – прекрасный произвело эффект.

Был я у Витберга. На этот год не думаю я ставить работников для храма воробьевского, ибо мало осталось времени, да и плату уменьшили.

Картину Маршала я получил от г-на Мора, только ее дорогою открывали, но, к счастью, ничего не повреждено. Иван Николаевич Корсаков тоже влюблен в эту голову. Как она мне ни нравится, но, ежели пойдет на мену с его «Святым семейством» Карло Маротти – картиной, за которую охотники дадут, верно, тысяч 10, – я поменяюсь. Какие есть сокровища у этого человека! Вчера он тоже у нас ужинал.

По дружбе к Северину я справлялся об отце его; вышло вздор, да и как быть этому? Жена его живехонька; она двоюродная сестра Обресковых, а родная сестра красавицы Обресковой, Остен, что ныне княгиня Хилкова. Какую не плетут басню!

Константин. С.-Петербург, 1 июня 1823 года

Три дня сряду обедал я у графа Воронцова, и сегодня у него обедать буду на прощальном обеде. Завтра рано едет он в свое Мурино[87]; возвратясь оттуда, позавтракает и отправится в Царское Село, где намерен дня с два прожить и кончить много дел.

Граф Кочубей писал мне вчера, что он докладывал государю о десятинах в Бессарабии для тестя, на что и последовало высочайшее соизволение. Слава Богу, что это дело кончилось! Я не сожалею, что не ранее: иначе бы он их давно убухал, а теперь Воронцов его не допустит продать. Сегодня вдруг явился Бутягин из Вены. Зачем? Собирать какие-то долги, а я думаю – хлопотать об аренде жены, надеясь успеть, при перемене министра финансов, в том, на что никак не согласился граф Гурьев. Жена его осталась в Вене. У него, как обыкновенно, тьма проектов в

голове, но, я думаю, так и останутся.

Французы вошли в Мадрид 23-го, подробностей важных нет; все, кажется, обошлось спокойно. Герцог должен был выехать на другой день. Теперь самая интересная минута. Дай Бог, чтоб скорее все там кончилось и успокоилось! Великий князь Николай Павлович возвратился. Великая княгиня не очень здорова; говорят, от беременности.

Константин. С.-Петербург, 2 июня 1823 года

Корсаков, видно, подлинно чудак (но не тем, что Наташа его фаворитка, – я это очень понимаю и знаю ему даже соперника). Я бы перстенек взял, но не для цены его, а для того, кому он принадлежал[88], и жаль будет, если он попадет в другие руки.

Сердечно мне жаль Александру Петровну [Колтовскую]. Никогда не питал я к ним злобы в сердце моем, а досада давно прошла, и, право, забыл их поступок. Ты бы к ней поехал, мой милый друг. Может быть, ей нужно проститься со своею совестью и с самой собою. Если она опомнилась и чувствует свою вину перед нами и прахом батюшкиным, успокой ее: он верно ей простил, а мы прощаем от всего сердца, хотя много имели мы от нее и сестры ее горьких минут!

Александр. Москва, 4 июня 1823 года

Лухманов святил церковь в Косине, где нашлась вода святая и явленный образ. Я был зван, но не поехал от лени; был там тесть и сказывал, что обедало человек с полтораста, и очень дурно. Был князь Дмитрий Владимирович и много знати из Москвы. Охота ехать за 11 верст в этот жар! Вяземский ехал в подмосковную вчера, его на шестой версте вывалили, изломали коляску и ушибли очень ногу; я был у него сейчас на минуту; вывихнутого нет ничего, ни изломанного, но должен, однако же, лежать; говорит, что ушиб также грудь. Сгоряча-то не почувствовал.

Сказывал мне Гриша Корсаков, что у матери его пошли лишаи по телу, и она так боится, чтобы не сделалось с нею то же, что с Озеровою, что в два дня собралась и едет на Кавказ с младшим сыном.

Я ездил смотреть двух кобыл александровских, – прекрасны. Только у графини Орловой говорят, что они не имеют от Александрова приказа сдать их мне, а разве оный получат. Не велел ли он что-нибудь своему управителю? Я к нему пошлю проведать. Скажи при случае Ивану Николаевичу, чтобы он послал к графине Орловой, где сии кобылы стоят, приказание по востребованию моему сдать их. Я сперва отведу в подмосковную, а там отправлю в Белоруссию, откуда ожидаю подвод. Двух мальчиков, которые учились на Хорошевском заводе, возьму

назад; теперь, когда нет Озерова, не то уже будет радение, а они довольно уже сведущи и в верховой езде, и в случках, и всём прочем, и ежели захочешь их отдать, как ты хотел, Петровскому, то можно это и после сделать.

Бумаги, кои Метакса, по милости Меншикова, купил у пьяного Ушакова, заключают бесценные материалы, и теперь эти записки очень пополняются достоверными и официальными документами.

Константин. С.-Петербург, 5 июня 1823 года

Наконец третьего дня вечером приехал наш друг Американец [то есть Петр Иванович Полетика]. Он на два дня останавливался у старика графа Палена и оттого опоздал. Излишне тебе описывать, мой милый и любезнейший друг, сколько мы друг другу обрадовались и сколько он сожалеет, что вас здесь не застал. Мы не можем наговориться.

Слава Богу, что после пятилетней разлуки допустил Он нам соединиться, и если не навсегда, то, кажется, по крайней мере надолго. Надеюсь! Нельзя сказать, что Полетика переменился; разве немного еще стал смуглее. Он уверяет, что с дороги. Стал седее от времени, впрочем, тот же добрый малый и оригинал, как мы его или, лучше сказать, он нас в Москве оставил.

Александр. Москва, 5 июня 1823 года

Вчера был у нас прощальный обед у Корсакова. Все мы обедали у него, даже и дети. Потом потчевал он всех дам «Сорокою-воровкою». Жар был столь утомителен, что после второго акта все кинулись было домой, но вдруг сделалась ужасная гроза и такой проливной дождь, что и полиция, куда могла, скрылась; все воротились на места свои, в партере и ложах едва была слышна музыка от шуму, который делал дождь, падая на кровлю железную, и от громовых ударов. Смешно было слышать пение итальянок: соберется сделать руладу, а тут вдруг бац! – она и остановится да смотрит, цело ли здание над головою. Эта буря очень освежила воздух. Все после приехали к нам на прощальный вечер и ужин (скоро едем в Семердино). Были тесть с княгинею, Обресковы, Корсаков Иван Николаевич, Фавст, Мамонова, Осипов, Попандопуло, Саччи, Филистри, Вейтбрехт, Чумага. Играли в вист, поужинали, стали курить, да болтать; только легли мы в три часа почти, зато и проспали до одиннадцати.

Вяземский не утерпел и велел себя почти перенести в театр, чтобы послушать «Сороку», которую подлинно славно дают. Твой любимый дуэт славно пели, и мы тотчас взглянули друг на друга с Наташей, вспоминая тебя.

Ну, брат, как стал я читать приключения бедной Фонтон,

меня так мороз и подирал; слава Богу, что все обрушилось на лошадях и коляске, но я все боюсь, чтобы испуг не имел дурных последствий для моей красавицы. Я предвижу, что она долго будет ходить пешком и что на этих же лошадях ни за что не согласится ездить. Мамонова так не может добиться, чтобы ее лошади разбили. Она к вам собирается уже обратно в субботу. «Увижу, – говорит она, – любит ли меня ваш брат и придет ли меня навестить; ибо как только явлюсь в Петербург, тотчас дам ему знать», – с чем тебя и поздравляю.

Александр. Москва, 7 июня 1823 года

Вчера обедал у доброго и милого Черткова (не забудь о бумагах его племянника), а ужинал у Риччи, у коих засиделся и заслушался музыки до трех часов. Тут был Михаил Виельгорский, и они втроем пели «Gaza Ladra» и прочие оперы Россиниевы. Все разъехались, мы двое остались с Вяземским и курили, слушая прекрасную музыку. У Черткова обедали Мертваго, Саччи, Набоков, Цицианов, Петр Иванович Озеров и Фавст, коего я повез, и Иван Васильевич очень был ему рад; после обеда явился Шульгин и, по обыкновению своему, порядочно врал. Сегодня обедаем у Мамоновой. Не знаю, поеду ли на гулянье в Марьину рощу; а хотелось бы: время прекрасное, и я очень место это люблю.

Мне вчера сказывали, что Казначеев определен на место, которое Воронцов мне предлагал. Озеров пенял мне, что я не принял, и говорит: «Я бы все бросил; поверьте, что, служа при Воронцове, вы все бы свои дела лучше устроили, он вам во всем бы помог». Я и после много думал и нахожу, что нельзя было никак мне решиться ехать, при всем моем желании.

Бедный Путята и Гладкая от мороженого все еще очень больны. Никто теперь от страха не ест оного.

Вчера, говорят, точно обвенчали старика Северина, и прибавляют, что он переменил веру, ибо иначе и брак не мог бы быть совершен, потому что с живою его женою нет законного развода. Над стариком трунят, а между тем он 20 тысяч приобретает дохода. Я думаю, все это не сделалось без ведома сына, ежели и без согласия.

Константин. С.-Петербург, 8 июня 1823 года

Воронцов третьего дня отправился в путь, хотел ночевать в Гатчине. Нового у нас ничего нет; только и толку, что о лотерее. Сегодня утром у нас собрание членов, чтоб взять уже последние меры и кончить все дела. Слава Богу! Вчера Бобров нам давал обед. Пили за здоровье его превосходительства. Были только наши, Северин, Матушевич, Полетика, Манычар, Фонтон, Медем, Строганов и Поленов. Обед был изрядный.

Время сделалось вдруг холодное, после таких жаров. Как не быть больными! Сюда приехала жена господаря Гики, мы у нее были с женою; она ей тетка, то есть жена ее дяди. Была в свое время прекрасная женщина.

Александр. Москва, 8 июня 1823 года

Фавст заехал за мною, и мы ну к Мамоновой, где впятером обедали. Ходили вверх, откуда прекрасный вид, перебирали гардероб ее отца, все платье раскинуто по всему этажу и проветривается; как не сгнило, лежав лет десять в сундуках? Тут и шитые, и флигель-, и генерал-адъютант -ские екатерининские мундиры, бархатные сюртуки, пунцовые, шитые золотом, и бог знает, чего нет.

Константин. С.-Петербург, 9 июня 1823 года

Говорят, что Сперанский будет на место графа Кочубея; я этому верю. На бирже у нас все устроено. Во вторник обедаем ранее у Гурьева, потом все вместе поедем для открытия розыгрыша на биржу, где все сдадим гражданскому губернатору, Думе, полиции, депутатам, и сами уже ни во что не будем мешаться. Слава Богу, что я отделаюсь наконец от этих скучных дел! Завтра поутру поеду на биржу, чтобы все предварительно устроить.

Александр. Москва, 11 июня 1823 года

Голова идет кругом от этих сборов. Тяжелый обоз отправился вчера. Теперь иное посылаю к Фавсту, а иное – в слободский дом; самим едва есть на чем сидеть и спать; ежели ничего не помешает, завтра рано пустимся в Семердино, любезнейший друг. Следуя Пфеллеру, беру с собой все, что нужно для ванн и декокта, буду соблюдать все его приказания, надеюсь в деревне отдохнуть, подышать чистым воздухом и оправиться, а то опять что-то не так естся и спится, как прежде, то есть как в Петербурге.

Вчера наехали к нам прощаться князь Никита*, Обресков, Мамонова, Риччи, князь Василий, Иван Николаевич Корсаков и вновь прибывший Лунин; кое-как сочинили им ужин. Все тебе очень кланяются, особливо Лунин, коего сестра идет за генерала Богдановского, очень хорошего человека, служившего во Франции с Воронцовым, и коего граф подзывает к себе на службу в Одессу; кажется, он, устроя дела, поедет к милому человеку. Вяземский также подъехал, и Риччи восхищал нас своим пением. Мамонова получила от брата учтивый, но холодный ответ: он соглашается на ее предложения, и все на днях кончится. Ежели

Князь Никита Григорьевич Волконский.

бы она меня послушалась и тотчас бы ему написала, приехав сюда, то он, верно, и более бы для нее сделал; но она жила здесь две недели, после коих начала действовать чрез посторонних, что

не могло ему быть приятно. Зачем сюда приехала, – о том две недели не думала. Хорошо, что все обошлось без процесса. Она думает ехать скоро, а прежде собирается к Троице, откуда заедет к нам. Князь Василий тоже дня через три собирается ехать прежде в Дубровку, а там – в Пермь. Ему хочется купить смежные с Дубровкой деревни у Муханова, а в Перми хочет отыскивать золотой песок. Это бы дело нешуточное.

Вчера получил я, любезный друг, письмо твое № 11, возвещающее прибытие милого Полетики. Обними его покрепче за меня. Итак, мы не ошибались в догадках наших, и он намерения своего не переменил. Я и тогда находил союз с ним очень лестным для Лизоньки, а теперь еще более, ибо мы его постоянство испытали, узнав его еще лучше, а он состояние свое улучшил; кажется, тут бы нечего думать минуты, но ты знаешь упрямство и странные мысли Лизоньки. Как показать, например, мужа, который не имеет гвардейского мундира, корсета, 35 лет от роду и не носит, может быть, плаща а-ля Альмавива! Трудно будет и приступиться к этому; конечно, лучше не говорить ничего несколько времени, дать ей самой одуматься, а настроить Оленьку, чтобы она понемногу сестру готовила к этому. Мне жаль, что я не в Петербурге, хотя, конечно, и немного бы я мог сделать. Мне кажется, главное здесь – секрет, ибо ежели объявят злой шутнице Лизоньке, то чувство дружбы, кое она подлинно к Полетике питает, может перемениться и обратиться в ненависть, вот что мне кажется; всякий мужчина, а еще более женщина, имеет свою дозу самолюбия, и, польстя несколько Елене, наш друг заимел бы в ней превосходного адвоката; что же касается до Голицыных, то будь уверен, что они никогда не пойдут за Полетику, по свойственному Голицыным чванству.

Константин. С.-Петербург, 12 июня 1823 года

Ну вот настал наконец день открытия лотереи, который с таким нетерпением все ожидали. Кто-то будет счастливее 107 тысяч человек! Между тем я доволен, что избавляюсь от комиссии, сильно мне надоевшей. Жене, сестрам устроил я места на хорах, откуда увидят они все действие, а сам буду обедать у графа Гурьева, откуда все вместе поедем на биржу, где приступим к открытию. Вчера я туда ездил и все устроил так, что даже и вид будет прекрасный. У нас совершенно все готово. Завтра отправлю к тебе печатный листок о сегодняшних выигрышах, что буду продолжать во все время розыгрыша. Дай Бог, чтоб я тебе возвестил если не Воротынец, то что-нибудь порядочное. На все воля Божия!

Здесь совсем не слышу музыки, особливо с тех пор, что и у князя Салтыкова кончились концерты, и, кажется, навсегда;

говорят – по совету братьев. Лучше бы другую экономию выдумали, а лишать человека единственного его удовольствия… воля их, а я не могу этого понять! Почему бы князю Сергею, при ужасном его богатстве, не помочь ему деньгами вместо совета? Тогда бы и дела его не расстроились, и он, при слепоте своей, не был лишен единственного на свете удовольствия. Ох, братья! Да делают не по-братски.

Скажу тебе новую свадьбу. Если заставить тебя отгадать, то долго не отгадаешь. Манычару, с коим я ездил на гулянье, дал я эту задачу, но и домой приехали, а он не мог отгадать. Лашкарев женится на Свиньиной, приходил ко мне и под *секретом* мне объявил, потому что не все еще устроено. Каков! Он не очень был счастлив с той женой, она была больна и капризна, как все чахоточные; так, видно, хочет опять попытать счастья; я бы на его месте не пустился во второе плавание.

Казначеев не определен на место, которое тебе предлагал Воронцов. Он еще здесь, отправится через месяц в Одессу и, вероятно, будет у него правителем канцелярии.

Карамзин очень болен желчною горячкой. Третьего дня мне Реман сказывал, что он и Миллер были призваны, и прибавил: «Он мне не нравится, у него в лице какой-то распад, и потом у него движение в животе, которое нехорошо». Жаль очень, если он не перенесет болезни. Вот записка Жуковского, полученная мною третьего дня. Потеря для России будет и для добрых людей. Я его отменно уважаю, хотя не очень коротко с ним знаком. Притом же осталось бы большое семейство. Боже сохрани! Если до отхода почты узнаю что-нибудь, то тебя уведомлю. Тургенев, Блудов, да и все его приятели очень огорчены. Истинно будет жаль, но Бог милостив.

Константин. С.-Петербург, 13 июня 1823 года

Вчера наконец положено начало розыгрышу лотереи [розыгрыш села Воротынец, имения графа Головина]. Теперь кто счастлив, тот и может доказать это на самом опыте. Утром был я у графа Кочубея, который хотя еще и страждет от хирагры, но решился быть при открытии. Мы обедали рано у графа Гурьева и все вместе поехали на биржу; к нам пристали Блоом, Моден, Долгоруков, Рибопьер и проч. Вложили, как следовало, по поверке билеты в колеса, и пошло верченье. Первый номер (по счастью для того, кому принадлежит) выиграл 50 рублей, но премия 25 тысяч. Прилагаю при сем нумерацию вышедшим номерам. Хорошо, что Воротынец не показался в первый день, а то бы лотерея перестала занимать всех и сделала бы многих скучными. Ох, брат, как посмотреть на кучу билетов, из коих пустых около 164 тысяч, то как-то и надежда очень опадает.

Вообрази, что тяжесть одних билетов, то есть бумаги, составляет с лишком 10 пудов. Все шло очень порядочно, народу было столько, что булавки нельзя бы было проронить. Я жену с эскортом послал, место у них было прекрасное, они, сидя, все видели хорошо. В этом зрелище было что-то торжественное. Губернатор и обер-полицмейстер в лентах, прочие чиновники все в мундирах (кроме, однако же, комиссии), двенадцать мальчиков, одетых почти как дети михайловского кастеляна и проч. и проч. Полицмейстеры провозглашали выходящие номера и выигрыши, кои тотчас на телеграфе почти аршинными цифрами повторялись; а тут все записывают, справляются, не выиграл ли чего-нибудь. К тому же мысль, что занятия комиссии кончены, – все это очень меня веселило. Вчера успели только вынуть 80 номеров, да для первого раза это и довольно. Много прошло времени на приготовления.

Чего спекуляторы не выдумают! Жид один отдает билет внаймы на день по пяти рублей. Если в тот день билет выйдет, то весь выигрыш принадлежит нанявшему оный; если же нет, то на другой день билет жида. Каков! Билеты очень поднялись: сперва их можно было, третьего дня еще, купить за 35 рублей, вчера уже 40 рублей, а вечером просили 45 рублей. Сегодня, верно, по 50 рублей. Кто не торопился продавать, тот не будет в убытке.

Граф Кочубей не едет во Францию, а в Крым, и водою. Ему станет это путешествие тысяч сорок, сухим же путем дочь нельзя везти.

Александр. Семердино, 15 июня 1823 года

Блаженное житье деревенское. Мы вчера только сюда приехали, а, право, как будто все лучше, нежели в городе: пища, гулянья, сон, упражнения! Я не один раз вспоминал, любезный друг, разговор твой в карете, как мы ехали к Гурьеву, и нахожу, что подлинно блаженство было бы, соединясь вместе, жить в деревне. Да чего, и лошадки наши, кои довольно-таки устали с дороги, въехав в проспект и узнав дом, стали фыркать, шевелить ушами и чуть было нас не понесли. Ох, славно в деревне. Мужики очень нам рады все, а мы – им. Староста заплакал, говоря: «Вот, батюшка, думал зимою-то умереть, ан Бог сделал по-своему, а вот мне уж под девяносто лет, покуда ноги таскаю, все буду вам служить». Этот добрый старик ни глух, как я, ни слеп, как Фонтон, ни плешив, как Манычар. Товарищ его, церковный староста, доказывает, что наш Фролов старее его восемью годами, а ему самому 86, так выходит, что 94 года; только наружность не обещает такой старости.

Теперь унавоживают мужики поля, работа неприятная и неопрятная, но мы все-таки ходим смотреть, как делается эта

операция, без коей и выгодно, и приятно было бы обходиться. Время очень хорошо, только надобны бы дожди, земля суха. Вот и дети явились, у обеих два больших кувшина набранной ими земляники; ее очень много этот год, ужо за обедом съедим.

Метакса дал мне все бумаги, купленные у Ушакова. Тут есть предрагоценные документы. Между ними нашлось несколько фирманов. Посылаю пять при сем. Нельзя ли милому Фонтону взять на себя труд это перевести? Вероятно, касается это до дел, описываемых нами в «Записках». Ежели длинный занят слишком, то не может ли Северин сунуть это кому-нибудь из коллежских яко нужное для Нессельроде? Не может ли это перевести Меликов? Оставляю тебе это на произвол. Между бумагами нашел я переводы следующих фирманов; ежели это они, то тогда уже не нужно переводить.

Есть еще фирманов с три, кои пришлю тебе после, когда узнаю, что есть средство перевести все это. Есть тут также письма Нельсона, левой рукою писанные. Теперь придется мне переправлять опять «Записки», имея сии официальные документы. Тут и рапорты Ушакова к Павлу I. Как подумаешь, что все это куплено за 500 рублей у племянника чудесным случаем и что чуть-чуть бумаги сии не послужили обертками пирожнику, у коего этот Ушаков их оставил, начав драку и выстрелив, пьяный, по квартальному офицеру!

Меншиков дал Метаксе 500 рублей, а он выкупил все это. После покойного Ушакова остались медали золотые, ему в честь и подарены Ионическими островами. Вообрази, что вандалы сии, то есть два племянника и наследника Ушакова, не согласились в дележе, рубили медали сии на две части; медали, кои бы должно хранить в роду, яко похвальные грамоты. Больно слышать это.

Константин. С.-Петербург, 15 июня 1823 года

Богдановского я видел у Воронцова и видел славные его планы Донской земли, за которые пожалован ему орден Св. Анны 1-го класса. Воронцов его очень хвалит, а потому и не удивляюсь, что он его хочет иметь у себя.

Константин. С.-Петербург, 16 июня 1823 года

Вчера вышел Воротынец, и тем прекратились все надежды, исчезли все воздушные замки, мой милый и любезный друг. Ты увидишь из записки Гельпиха, что досталось славное это имение взявшим и купоны десятирублевые. Счастливые еще неизвестны. Дай Бог, чтоб были люди достойные своего счастия. Я очень рад, что выигрыш не в чужих краях какому-нибудь достается, это бы было и мне досадно; а теперь не досадую, хотя одной (неосновательной) надеждой менее. Конечно, и мы бы сделали хорошее употребление из выигрыша; но если Богу сие не было

угодно, то, видно, к лучшему. Одну стотысячную премию выиграли два бедных конторщика, люди семейные и из коих один был без места после банкротства Бетлинга. Теперь лотерея теряет главную свою прелесть, хотя и есть еще порядочные выигрыши.

Говорят, Калерджи дает 3 миллиона за имение. Не будет в убытке и, вероятно, получит, потому что где же пятерым делить?

Константин. С.-Петербург, 19 июня 1823 года

Вообрази, что билет, выигравший Воротынец, принадлежал Юсуповой, и она его продала. То-то, я чаю, бесится!

Константин. С.-Петербург, 23 июня 1823 года

Хитрова, Кутузова дочь, бывшая за Тизенгаузеном, здесь с обеими своими дочерьми, из коих одна замужем за австрийским министром в Неаполе Фикельмоном[89]. Говорят, обе красавицы. Я их видел тому лет девять, тогда уже они очень были хороши. Здесь я их еще не видел. Бутягин сказывал, что Татищев формально волочится в Вене за какой-то полькою. Седина в бороду, а бес в ребро! Этот никогда не исправится. Про жену его также здесь слухи (между нами), что за нею очень приволачивается граф Апраксин кавалергардский. Я ее это лето не видал.

Александр. Семердино, 27 июня 1823 года

Я о твоей ручной литографии впервые слышу, а первый опыт очень удачен. Пошлю сегодня же Фавсту его экземпляр, а детям раздал их, и они в восхищении.

Я рад, что добрый Шредер был тобою первым обрадован касательно своего пансиона. Буду ему писать, поздравлю его с барышами, с толстением и поблагодарю за башмаки. А Ломоносов осрамился. Нет, мне кажется, что он очень еще ветрен. Сиракузский, яко истинный отец, принимает живое участие в нашей и своей бедной Белоруссии. Я имею известия из трех частей наших, что должно ожидать жатву изобильную. Благодаря Богу град, истребивший все у соседа нашего Богдановича, наши поля миновал, но тучки черные еще гуляют; но старики рассуждают, что Петров день сделает этому перелом. Давай Бог!

Читал ты в гамбургских газетах статью о Канкрине и о Нессельроде? Последний, я думаю, не очень радовался слухам европейским, будто и он последует тестю своему. Канкрина биография очень полна. Теперь знаю я всю его службу. Жаль мне, что я не в Петербурге. Верно бы, Балыи меня позвал, впрочем, я приехал бы и незваный на его обед. Я на это не спесив. Дразнишь ли ты его Воротынцом? Кажется, старику Варламу не за чем спешить в Бухарест, где все еще неспокойно, как видно из ноты, поданной австрийским консулом господарю.

Конечно, хорошее к хорошему льнет. Смотри, какая колония честных людей образуется около Воронцова.

Послезавтра у нас праздник в Балакове. Поедем туда чай пить, позовем Брокера, который оттуда в двух верстах, будем кидать пряники мальчишкам, жаль, что забыл я запастись шумишками. Не отыщешь ли ты в Питере хорошую карту, которая включала бы Босфор, Мраморное море, Дарданеллы, Архипелаг с Мореею, Грецию и Ионические острова до Адриатического моря или Отрантского канала? Ежели отыщешь, пришли мне. «Записки» Метаксы будут теперь очень огромны, и много хорошего прибавится.

Константин. С.-Петербург, 27 июня 1823 года

Читал ли ты «Василек» нашего Лафонтена? Басня эта, кажется, напечатана в «Сыне Отечества»; очень хороша. Крылов был болен, и императрица Мария Федоровна приняла в нем милостивое участие, велела переехать ему для воздуха в Павловское. Милости эти составляют сюжет басни.

Остаток Кортесов увез король в Кадикс. В Португалии все кончено, король освобожден сыном своим, все покорились ему, кроме еще одного полка. В Испании также, кажется, недолго продолжится беспорядок; но дай Бог, чтоб скорее все кончилось!

Александр. Семердино, 28 июня 1823 года

Эх, пустились расхватывать большие куши головинские, теперь почти ничего не остается. Я имел терпение пробежать три таблицы и, наконец, добился одного выигрыша; верно, и ты, и вся наша компания тут участниками, а именно № 145, 361, в коем я участником за себя и Наташу в 50 рублей. Я думаю, обоим рубля два придется. Я сделал нумерацию, по коей скорее теперь буду находить, сделал 9 колонн, в первой – номера, начинающиеся единицами, во второй – цифрою 2, в 3-й – цифрою 3, в 4-й – цифрою 4, и так далее, например, № 96997 искал в девятой колонне и не нашел. Я полагаю, что Балыи заказал своему столяру какую-нибудь машину, посредством коей тотчас узнает, есть ли у него такой и такой-то из вышедших номеров. В Москве молва, что Воротынец выигран московским купцом, но, видно, вздор уже потому, что не одному досталось, а пятерым, чему я всякий день радуюсь.

Матушевич все говорил: «Когда вы уедете, милый мой Александр, я брошу бильярд»; а я думаю, что он все-таки играет, чтобы не разучиться для будущего моего приезда. Кланяйся ему в ноги. Наташа очень его любит, и мы часто говорим с нею о нем.

Она радуется успехам французов в Испании и нарочно хочет

ехать в Москву, чтобы побесить некоторых знакомых либералов. Она пренарядная мадам Ультра. Надобно нам или мне съездить на днях в Москву: первое – навестить огорченного Петра Петровича Нарышкина, второе – видеться с графиней Строгановой, которая велела звать, да третье – притащить сюда к Казанской Фавста и еще кой-кого. Пишет мне Пфеллер, что он отлучается из Москвы недели на три: хочет пожить у моего соседа Шафонского и навестить со всеми ними Брокера и нас в Казанскую, чему я очень буду рад. Ох, мой Татищев со своим волокитством, чтобы не наделал глупостей! Меттерних ему такую подпустит пульку, что хуже будет всех брандеров, коими греки жгут турок. Пора бы бросить показные вздохи и довольствоваться взаимными склонностями. Об Юлии Александровне и в мое время еще говорили, но я не верю: время страстей любовных для нее прошло, разве при этом было бы еще много денег и подарков; но я не думаю, чтобы Апраксин стал, да и имел бы, чем разоряться.

Все немного холодно. Фонвизин сказал в «Недоросле»: дворянская кровь и в Петровку мерзнет. Теперь эта острота была бы не у места.

Константин. С.-Петербург, 29 июня 1823 года

Карамзин начинает проезжаться в карете. Вчера был у меня Вяземский. Я не нашел в нем прежней веселости, а он ее не находит более в Москве. Понимаю, что обстоятельства и положение его вообще наносят ему грусть. Хотя некоторым образом сам виноват, но жаль его. С его умом и добрым сердцем мог бы он быть полезен.

Константин. С.-Петербург, 30 июня 1823 года

Воронцова Тициана переносят на холст; очистя сзади до красок, видно, что Тициан другую имел первоначально мысль. Христос лежал, а теперь сидит на коленях у Богоматери; вместо Иоанна Крестителя были кусты, а возле стоял Иосиф, которого теперь нет. Я просил Маршала, чтоб он велел списать копию. Хочу послать к Воронцову. Для него очень это будет любопытно, а уже как только переведется на холст, то все это навсегда закроется. До сих пор идет очень удачливо. Бутягин также пустился покупать картины, в коих толку не знает.

Александр. Семердино, 2 июля 1823 года

Очень буду я рад видеть княгиню [Куракину, тетку жены А.Я.Булгакова]. Как она скоро собралась! Как любишь человека, так чего не сделаешь. И я, брат, немало удивился, видя из твоего письма, что Вяземский в Царском Селе; а этого помчала в

Петербург вдруг любовь к Карамзину. Слава Богу, что все прошло, и Вяземский явился на радость, а не на горе. Я читал басню Крылова в «Сыне Отечества»; по числу и по слову «Павловское» я и до письма твоего понял аллегорию, что Крылов был васильком, а императрица солнцем.

Весело, должно быть, принцу Мигелю Португальскому, что отца посадил на престол по-прежнему; вот старухе королеве приятно будет возвратиться в Лиссабон, а король будет сам себе противоречить: не умел следовать примеру жены или, как сардинский король, сложить с себя корону. Желаю, чтобы в Испании все кончилось скорее. Видно, Кадиксу быть гробом революции, он был и колыбелью.

Знаешь ли, какое нашел я у себя чудо? Мужика 123 лет. «Сколько тебе лет?» – «Много, батюшка, не знаю». – «Мор помнишь?» Он рассмеялся: «Как мор не помнить, я помню первого императора, я был уже женат тогда. Сын мой женился при второй ревизии». Только считать, и выходит ему 123 года. Он крепок довольно, только девятый год, как ослеп, и Наташа велела его кормить, как ребенка. У него жена вторая жива, и ей уже лет около ста, и она его нянчит. Ежели бы Костаки [молодой Варлам, брат жены К.Я.Булгакова] был здесь, я бы попросил его снять портрет со старика. Забыл я записать его имя. Такой веселый, все смеется и шутит. «Не вижу тебя, батюшка, дай себя ощупать; а, да, знать, ты выше меня ростом». Просил прибавить порцию кушанья, но его жена, вышедши провожать меня в сени, просила не прибавлять ничего: «Все и так, батюшка, объедается и животом жалуется».

Константин. С.-Петербург, 3 июля 1823 года

О Воротынце все те же слухи. Купоны в Одессе; говорят, что три купил сам Фурман, коему от княгини Юсуповой поручена была продажа. Да хорошо бы было и один купон иметь, да не судьба, видно, нам богатеть лотереями. И в венской мы ничего не выиграли: имение досталось в Триесте какому-то купцу. Между тем жидок в дураках. Так как главные выигрыши скоро вышли, то никто у него билетов не нанимает и даже не покупает, хотя бы он сделал уступку. Беда невелика, он на этой лотерее много выиграл прежде покупкою и продажею билетов. Доливе пропишу рецепт, редьку, в которую я сам очень верую, ибо она или сок ее и меня вылечил в Вене, тогда как доктора присудили к дальнему путешествию.

Я уже не раз думал о деньгах, но никак не придумаю здесь, где их сыскать. Ни у кого нет, а у кого есть, никому не дают, даже под заклад имений. В Москве более еще как-то верят, нежели

здесь. Когда Бог нас избавит от этих забот! Вот скоро и в Кабинет надобно платить.

Константин. С.-Петербург, 4 июля 1823 года

Воротынец достался: 1) купон купцу Верани в Одессе, (он женат на родственнице Мишо); 2) вдове Тромпи, сестре жены здешнего Гиделлы, что на Невском проспекте; 3) шестидесятилетнему присяжному в байковой конторе, человеку одинокому, который, верно, имел не более двухсот рублей жалованья и который только желает офицерский чин; 4) доктору, также шестидесятилетнему и одинокому; он сбирается много сделать полезных заведений, и 5) Закревскому, поляку, поселившемуся в Одессе. Теперь-то пойдут зависти и анекдоты!

Я получил письмо от Воронцова, он теперь должен быть в Одессе или Кишиневе. Говорят, что отец его очень доволен его назначением: да кто не разделяет его удовольствия? Вяземский отправляется, кажется, дня через три в Москву в дилижансе. Обещает приехать осенью и тебя привезти. Услышь его Бог!

Константин. С.-Петербург, 6 июля 1823 года

Вчера я ездил прощаться к графу Виктору Павловичу, у которого очень долго сидел. Он отправляется 12-го. Говоря о Воронцове, государь ему сказал: «Я надеюсь на много хорошего от назначения Воронцова. Он большой любитель всего полезного». Весьма справедливая и прекрасная похвала.

Маршал велел списать с другой стороны Воронцова Тициана; выходит совсем другая картина, видна первая мысль живописца. Это лучшее доказательство, что оригинал. Копию пошлю к Воронцову. Ему, верно, приятно будет иметь ее. Она сделана масляными красками, и на обороте будет написан своего рода протокол, подписанный Маршалом и свидетелями. Отправлю эту картину с Костаки, который сбирается во вторник в путь.

Все ходят к Тучкову мосту смотреть суда графа Кочубея. Надобно, чтоб город чем-нибудь да занимался.

Константин. С.-Петербург, 7 июля 1823 года

Я получил от старика Воронцова портрет его сына, то есть эстамп с портрета Лоренца. Гравировано очень хорошо, но не нахожу, чтоб было очень похоже. Поставлю в рамку, чтоб сохранить. Портрет, о коем тебе говорил, пришлю; а чей, не отгадаешь, и головы себе не ломай.

Александр. Семердино, 8 июля 1823 года

Кончился праздник, гости разъехались, крестьяне и бабы

разошлись, а я принимаюсь к тебе писать, любезнейший друг. Добрый старик Пфеллер был нездоров, однако же приехал к нам, имея две шпанские мухи. Шафонского уже нет в деревне. Фавст очень был в духе и затевал всякие игры. При славном теленке и при шампанском все тебя вспомнили и пили за твое здоровье. Народу было, верно, человек тысячу; один хоровод заглушал другой ораньем, поставлено было двое качелей, было три палатки с пряниками. Я вообще замечаю, что стечение всякий год делается значительнее. Так как пряники слишком скоро расходились, то я завел четыре мячика разных калибров и цветов. Всякий мячик был приписан одному только классу; наир., красный – бабам, желтый – мужикам, полосатый – девчонкам, а пестрый – мальчикам. Кто принесет мячик, который кидал я в толпу, тот получал премию. Катя раздавала мужикам, Лелька – мальчикам, Брокеров сын – бабам, а дочь его маленькая – девочкам.

Константин. С.-Петербург, 10 июля 1823 года

Меня не удивляет приезд в Москву княгини Куракиной. У нее недолгие сборы там, где надобно помочь, утешить или разделить горе, а тут еще речь о брате[90]. Засвидетельствуй ей мое душевное почтение. Вяземского такая же почти причина привезла сюда. Карамзин был тогда очень плох, но он, слава Богу, нашел его лучше, и присутствие его много послужило к выздоровлению Николая Михайловича. Он ему чрезвычайно обрадовался. Теперь Вяземский опять у вас.

Константин. С.-Петербург, 14 июля 1823 года

Получил я премилое письмо от премилой Воронцовой. Она с мужем рассталась до начала будущего месяца. Граф теперь должен быть в Одессе, куда давно уже отправляю ему все пакеты. Государь сегодня в Ораниенбауме и, говорят, изволит быть на маневрах на флоте. О Киселевой истории[91] много говорят. Все ожидают, чем для него кончится. Очень сожалею, но, видно, избежать нельзя ему было.

Александр. Семердино, 16 июля 1823 года

Письмо Корнельяна точно ко мне. Все те, кои только один раз были где-нибудь у вод Богемских, знают этого сенатора. Однако же во время болезни моей во Франкфурте он был великой для меня отрадой. Он все ожидал важного награждения от Людовика XVIII; за что? А вот за что. «Если бы в свое время граф д'Артуа послушался бы моего совета, то революции не случилось бы, и потом, знаете ли вы, сударь, что сделал я в Дрездене, во времена

величайшего могущества этого разбойника Бонапарта, коего я никогда не признавал императором (заметь, что в каталоге эстампов, который он мне прислал, имеются все портреты Наполеона, который везде называется императором)?» – «Нет, сударь». – «Да как же, многие газеты о том написали.

В день именин этого разбойника французский посол давал бал и осмелился пригласить меня, так я отказался с негодованием, но жена моя там была, и знаете как? У нее было темное платье, заметьте, темное праздничное платье; это бы еще ничего, но у нее был букет огромных лилий, привязанных к поясу белой лентою. Весь Дрезден только об том и говорил».

Все, что я тебе тут рассказываю, чистая правда; можно было бы принять это за анекдот, выдуманный на досуге, если не знать этих эмигрантов. Что до коллекции эстампов, которую оценивает он только в 6000 червонцев из одной особенной любви к нашему императору, там есть много дряни, а многих прекрасных эстампов классических картин недостает. Кажется, лишнее – брать на себя труд ему отвечать.

Константин. С.-Петербург, 17 июля 1823 года

В воскресенье представлялись государю Убри, Полетика, Засс, Каменский. Последний должен был сегодня отправиться в Москву. По крайней мере, получив чин, недаром сюда приезжал. Третьего дня был у нас с женою и простился.

Костя [учившийся в Царскосельском лицее сын А.Я.Булгакова] нас смешил, рассказывая посещение графа Ефимовского, который здесь и приехал к сестрам.

Сегодня последний день лотереи. Вот, наконец, и окончилось это великое событие! Оно заставило много говорить о себе, принесло много добра немногим лицам, как и зла. Если бы я был при начале этой комиссии, то посоветовал бы не делать лоты в 50 рублей, ибо подобный выигрыш доставляет более огорчения, нежели удовольствия, и вовсе не вознаграждает. Кто раз уплатит 50 рублей, считает их уже потерянными и о них более не думает. Я бы начал с лотов в 500 рублей, которые всегда стоит выигрывать, и потом лотерея могла бы быть разыграна в три-четыре дня. Может быть, пойду сим вечером посмотреть на закрытие всей этой лавочки.

О Киселевой истории также много говорят. Неизвестно еще, чем для него кончится, но думают, что он не останется на настоящем месте.

Александр. Семердино, 18 июля 1823 года

Вяземский, видно, остался у вас, чтобы спорить с

Булгариным, который довольно остро отделался от критики Вяземского в своем «Северном Архиве». Я очень радуюсь выздоровлению Карамзина.

Нет, брат, это не басня: у меня точно есть старик 123 лет. Все старики одинаковы и те же имеют признаки старости, а у этого что-то особенное, детское, волосы как пух, кожа совсем не такая на теле, видна ветхость во всем. Он редко сходит с печки даже летом. Он 12 лет, кажется, как слеп. Я его видел еще давеча и не мог не рассмеяться, как он, прощаясь, сказал мне опять: «Ну, батюшка, Александр Яковлевич, простите, до свиданья».

Когда увидишь тетушку (которой также желаю в 1862 году разыскивать то, что было в царствование Елизаветы Петровны), поцелуй у нее за нас всех ручку. Слава Богу, что она здорова.

Константин. С.-Петербург, 18 июля 1823 года

Ломоносов мне пишет. Он сбирался ехать в Испанию, где будет временно при поверенном в делах графе Булгари. От графа Каподистрии я также получил письмо из Женевы самое дружеское. Он все еще не может освободиться от желчи. Доктора его посылают в Пьемонт к водам. Я тебе пришлю его письмо, как скоро напишу ему ответ. Он совсем не подает надежды видеть его скоро здесь. Письмо его печально.

Вчера кончилась наша лотерея. Я туда ездил и нашел залу набитую и часть площади, наполненную людьми, в числе коих множество дам, пришедших погребсти последнюю надежду. Картина, право, необыкновенная. Так как оставалось только 90 билетов, то в полтора часа вся операция кончилась. Теперь остается нам со всеми расплатиться и сдать имения, что также не безделица.

Реман переезжает в дом графа Кочубея, который очень его о сем просил для Загряжской. Если граф точно два года проживет в Крыму, то у нашего приятеля останется тысяч десять в кармане. Его квартиру хочет нанять Карамзин.

Говорят, французский актер Бурде с ума сошел оттого, что не выиграл Воротынец.

Константин. С.-Петербург, 20 июля 1823 года

Вчера был я в комиссии, где началась раздача денег счастливым билетам. Сто тысяч получил один из департаментов Министерства внутренних дел, где Стог директором. Двое чиновников, пришедшие получать, имели лица весьма веселые. Жена кучера императрицы Елисаветы Алексеевны получила также 10 тысяч. Я спросил: сама ли она взяла билет? «Нет, батюшка, мальчишка; он взял мне билет в лотерее, что была в ломбарде, и

там я выиграла серебряные ложки, солонки, вилки прекрасные; так я и подумала: авось и тут удастся, взяла с собою мальчика, а он мне вытащил билет этот. Бог и тут его благословил». Множество явилось для получения 50 рублей, но не с веселыми рожами, а как будто с досадою. Два раза в неделю будет раздача, а мне хлопоты. Калерджи, говорят, предлагает за один купон 250 тысяч, за два – 600 тысяч, за четыре – миллион, а за все – 1 250 000. Кажется, не быть ему помещиком Воротынца; это бы было взять даром. Между тем и для выигравших не без забот будет. Где найти покупщика? Сами же не все они имеют право владения, а на продажу законами положен срок один год. Мы завели в комиссии книгу, где вписываем пожертвования в пользу мальчиков Воспитательного дома, которые вынимали билеты. Кучерова жена с охотою дала 100 рублей, это один процент. Хорошо, если бы все последовали ее примеру, и у этих бедных был бы порядочный капитал. Колеса отдали мы в Приказ храниться. Может быть, когда-нибудь и пригодятся.

Графиня Шувалова, фрейлина[92], вышла замуж за прусского офицера, адъютанта наследного принца. Свадьба была в Павловском. Наконец жених вздумал было попробовать русских бань, забрался на высшую полку и чуть было не умер, так что после нескольких дней ему обмороки делались. Да и есть отчего с непривычки.

Константин. С.-Петербург, 24 июля 1823 года

Был я в Петергофе, и вот каким образом. Голицын было подзывал вместе ехать, но, признаюсь, в подобных случаях я люблю ни от кого не зависеть, поехать, уехать, когда сам хочу, да и гулять, где хочу, а потому и сказал я ему, что я еще совсем не уверен, поеду ли; впрочем, это и правда: все зависело от погоды, а эта обещала быть прекрасною. Поутру рано ездил я к Берду смотреть, как будут отправляться пароходы; при мне их штуки четыре отправилось, и каждый тащил одно судно, также наполненное людьми. Тут я провел более часа очень приятно с Сенявиным. Оттуда поехал к обедне к Николе Морскому, а там к Ламсдорфу, у которого часа с три просидел; между тем жена ездила к имениннице Марье Любимовне. Я предложил жене серьезно ехать в Петергоф, она была очень рада, а как нет праздника без Манычара, то и послал я звать его обедать и ехать с нами. Этот также, Костаки также, вот нас четверо и было в раскидной четвероместной карете. Сестры все еще будируют, обедали у Мартыновой.

Сидя на балконе после обеда с трубкою, от которой всегда рождаются хорошие мысли, глядел на живущих против меня

Ганов, кои грустно стояли у окошка. «Едете ли вы в Петергоф?» – «Нет: нет ни лошадей, ни экипажа». Вот тут-то и пришла мне богатая мысль дать им старую четырехместную карету, четырех почтовых лошадей, но с тем, чтоб они взяли с собою наших трех школьников. Сказано – сделано. Ганова жена запрыгала от радости, а наши детки еще пуще, все закричали, зашумели, между тем экипажи были готовы, и в шесть часов пустились мы все в путь. В Стрельне мы остановились, чтобы почиститься немного, а там и далее, приехали в Петергоф в самое время, когда музыка гремела в саду, в маскарадных залах и когда дворец окружен был тысячами людей. Множество нашли тут знакомых, пошатались, потом зажгли иллюминацию, которая была прекраснейшая; мы пошли в нижний сад, там долго ходили, сидели, смеялись, гуляли с Голицыным и Муравьевой, встретили несколько раз линейки с императорской фамилией и, устав до крайности, во втором часу, отыскав тотчас карету, отправились в Стрельну, где дали мы Генделя Гану с детьми, которых там и нашли. Тотчас сели ужинать, что очень приятно было, между прочим, Косте; подъехали Балыи с Шиллингом, провели с час почти очень весело, а там пустились все домой.

Товарищи мои похохотали да начали дремать, а я с трубкою весьма забавлялся множеством разного рода экипажей и пешеходов всякого пола. Когда мы в Петергофе пробирались к своей карете, то видели много женщин, делающих свои туалеты, или, лучше сказать, раздевающихся до рубашки; особливо купчихи, мещанки никак не церемонились. Домой приехали в пятом часу. Я прилег часа на два, а там опять начал заниматься почтами, пришедшими, как нарочно, в тот день весьма рано.

Константин. С.-Петербург, 25 июля 1823 года

Все эти дни беспрестанный мимо нас проезд был из Петергофа, сегодня возвратились последние. Двор также оттуда выехал в Павловское и Царское Село. Государя ожидают сюда кушать. Вообрази, мой милый и любезный друг, что Чернышева [графиня Елизавета Петровна] не только была во дворце с поздравлениями, но там обедала, вечером явилась в маскарад и каталась в линейке. Куда и водяная девалась! Она представила третью свою дочь. Из Берлина приехал сюда князь Антон Радзивилл.

Вчера получил я письмо от Воронцова из Екатеринославля; он отправлялся в Херсон. Пишет, что, по известиям из Крыма, там страшная засуха, и явилась злодейская саранча, – начало для него весьма неприятное.

Только и говорят теперь, что об отъезде государя. Мы еще не

имеем никаких повелений, но это оттого, что знают нашу исправность и уверены, что мы все успеем приготовить, как бы поздно ни приказали.

Константин. С.-Петербург, 27 июля 1823 года

Шредер прислал мне вторую часть «Записок» Монтолона. Прилагаю их при сем, мой милый и любезнейший друг; когда прочитаешь, то отправь прямо от себя к Воронцову в Одессу.

Новобрачная графиня Шувалова отправилась в Берлин со своим мужем. Не понимаю, как можно решиться выйти за иностранца и навсегда расстаться со своею родиною.

Александр. Семердино, 30 июля 1823 года

В городе все вверх дном от приуготовлений к государеву приезду. Невероятно, говорят, что наделали в это короткое время; а на Троицкой дороге срывают целую гору и работают до 1200 человек на малом пространстве. За это может быть от царя напрягайка вместо спасибо, ибо самая рабочая пора; помещики кое-как отстаивают своих, а экономическим зато очень туго. От заставы до Сухаревой башни передо всеми домами сделаны садики и палисаднички, улицу сузили и выпрямили.

Константин. С.-Петербург, 31 июля 1823 года

Сейчас я получил письмо от Воронцова от 21-го из Одессы. «Меня приняли с добротою и доверием, коего постараюсь быть достойным. Дай Бог мне преуспеть в делании добра и чтобы все более благословляли в этих удаленных краях имя императора, который соизволил послать меня сюда и чьи виды и намерения столь отеческие. Люди, кои знают, что я не то, что называют куртизаном, не подозревают, до какой степени кажется мне соблазнительной и занимает меня мысль увеличить любовь к императору со стороны его здешних подданных». С таким желанием, при его средствах – все пойдет хорошо. Он очень доволен Гурьевым, Комстадиусом и екатеринославским губернатором. Через несколько дней собирался в Кишинев. «К моему великому удивлению, я нашел здесь Льва Нарышкина. Его женитьба на Ольге кажется решенной или почти решенной».

Александр. Семердино, 3 августа 1823 года

Кажется, мы живем в глуши, а и здесь есть какое-то движение от будущего приезда государя. Все жители окрестные собираются к Троице бежать смотреть на царя. Меня насмешил плотник, чинивший у нас погреба. «Вот, батюшка, мне 60 лет, а я не видал сроду не только государя, да и ни одного великого-то князя!

Хочу, батюшка, идти к Троице, да боюсь». – «Чего же боишься?» – «Да не пустят, я чаю, меня; ведь много нас охотников-то, куда их всех девать!» Губернатор наш страшно куролесит, всех гонит на дорогу с подводами, а теперь самая рабочая пора; приезжал и сказал исправнику: я тебе влеплю 500 палок! А тот капитан. Иной бы и в ухо заехал за такое приветствие. К помещикам посылает повестки, за подписью сельского заседателя, то есть мужика, а между помещиками есть и генералы полные; хочет, видно, перещеголять своего братца, ярославского губернатора, который, говорят, всю дорогу устилает дерном. Говорят, что экономические так разорены, что тут же, на дороге, милостыню просят, а другие грабят, и все собираются подать жалобу государю. Князь Дмитрий Владимирович в такую нужную минуту уехал в Калугу к матери, не сдав должности, и ему все сообщается ежедневными курьерами. Вот тебе московские толки; не ручаюсь за справедливость, но так все говорят.

Константин. С.-Петербург, 4 августа 1823 года

Сегодня государь будет на Каменный остров, где останется до отъезда. У вас пробудет, как слышно, ровно семь дней. То-то Москва возликует! Стану теперь все готовить для путешествия и снаряжать Максимова для нужных устройств вперед.

Ох, беда! В южных губерниях саранча, кроме Крыма, в Екатеринославской, Херсонской губернии и даже в Бессарабии все пожирает. Чекменев мне сказывал, что их департамент берет уже меры для продовольствия сих губерний. Я слышал также, что белорусские переводят несколько миллионов на пособие краю.

Константин. С.-Петербург, 10 августа 1823 года

Парад, говорят, был бесподобный; мне жаль, что не удалось посмотреть на него; а еще более жаль, что я бы не мог этого сделать, как в последний раз, – с тобою. Государь, говорят, очень был доволен. Я слышал, что три флигель-адъютанта посылаются по России с поручениями: Мансуров, князь Лобанов и Дурнов. Первому достается объехать часть Сибири. С Анрепом, ехавшим на дрожках с Шепингом, сделался припадок белой горячки. Ему, однако же, лучше. Мне подарил Полетика талер экс-императора Итурбида[93]. Это редкость. Его бывшее величество будет жить в Италии и получать 60 тысяч талеров в год содержания, может быть, его же собственной монеты. Убри остается здесь управляющим Иностранною коллегией на время отсутствия графа Нессельроде. Указ о назначении его министром в Голландию также подписан. Родофиникину пожаловано 26 тысяч рублей.

Государь сегодня едет в Царское Село и оттуда прямо уже

изволит начать свое путешествие.

Константин. С.-Петербург, 11 августа 1823 года

Манычара опять услали на Ярославский тракт осмотреть дорогу, по которой поедет государь, и так мы паки дней на десять расстались с добрым этим человеком.

Вчера ездил с женою на Елагин остров, где был весь город, даже старухи Загряжская и Кутузова. Музыка была бесподобнейшая, несколько разных партий играли то Россини, то Паэзиелло, и всего лучше была молитва, живо мне напомнила морскую нашу зорю. На адмиральском корабле всегда эту молитву играли. Нагулявшись досыта, все еще рано приехали домой, хотя и темно было. На место Рибопьера кто? Уваров, который сохранит и мануфактурный департамент. Рибопьеру наследовать будет трудно, и я не знаю, как Уваров справится, да и как станет у него времени. Слишком много, кажется, захватывает; и та или другая часть, если не обе, должны пострадать, а у него еще и Академия. Я вчера его там видел; уверяет, что он узнал о своем назначении только третьего дня вечером, когда указ был подписан, но я ему не верю. Впрочем, дай Бог, чтоб дело шло хорошо. О Рибопьере сожалеют. Он просился совсем в отставку и сбирается ехать в смоленские деревни экономничать на несколько лет. Он не нажился в своем месте, а живши в столице, напротив, расстроился, хочет поправить, переселясь со всем семейством в деревню. Я уговаривал его послужить в другом месте, но он, показывая мне трех детей своих, отвечал: «Вот кто требует сей жертвы». На это и отвечать нечего. Говорят, что Дубенский просит избавить его от департамента, коим он временно управляет после Лавинского. Город кое-кого прочит в директоры, между прочим Николая Тургенева. Этот бы очень хорош был.

Великий князь Михаил Павлович отправляется на сих днях в Брест-Литовск. Говорят то же и о Николае Павловиче. Ожаровский туда же поедет.

Константин. С.-Петербург, 14 августа 1823 года

Признаюсь вам, мои милые и любезнейшие друзья, описание происшествия Лельки[94] с собачкою очень меня встревожило. Долго ли до беды! Вот потому-то и не люблю иметь у себя собак, кошек, обезьян в комнатах, да и нахожу, что и удовольствия от них мало. Это надобно предоставить целибаторам [холостякам], как Италинский, которые не имеют семейства, с коим бы могли позабавиться, и кои бывают часто одни. Слава Богу, что у вас более было испуга, нежели беды, но я бы бибишку разжаловал в

дворовые.

Чернышева все бодрее да бодрее становится. Третьего дня у нее, как и всякое воскресенье, танцевали, и она бодрствовала до двух часов; того и гляди, что сама пустится прыгать.

С Костаки послал я Воронцову картину его и Сашкин портрет. Пускай мой бутуз будет и в Одессе. Закревский возвращается, последнее письмо Шатилова ему послано в Красково. Он проедет прямо в свои деревни, и Аграфена Федоровна из Италии – прямо сюда к октябрю месяцу. Завтра ей отправляю 20 тысяч. Следовательно, они не в чужих краях, а здесь съедутся. Пора ей возвратиться. У меня все спрашивают, да съедутся ли они? Иные уже думают, что они совсем разлучились. Все эти вздоры прекратятся, но только когда их увидят здесь вместе. Мало ли говорят вздоров!

Слышал, что Блудову пожалован орден Св. Владимира 2-й степени, чему я очень рад. С Убри я начал уже свою работу по газетам. В субботу у него обедал и познакомился с его женою, которая очень мила. Видел напротив, на балконе, в доме, где жил некогда князь Александр Борисович, Потемкину, возвратившуюся из Италии. Полетика от нее в восхищении.

Кстати, о Потемкине: ваш московский богач, сильно, говорят, расстроился. Ему назначен опекуном наш Карнеев, не знаю, по его ли просьбе или иного. Он должен Беннеру за портреты императорской фамилии и не платит. Беннеру надобно отсюда ехать, денег нет, он писал письмо государю и вчера мне сказывал, что государь велел написать Карнееву, что ему бы приятно было, если б удовлетворили скорее Беннера как иностранца. Егор постарается. Шатилов едет в Москву на время пребывания государя.

Константин. С.-Петербург, 15 августа 1823 года

Верно, что все мужики сбираются на Троицкую дорогу смотреть нашего ангельского государя. Жаль, что губернатор мучает их работою по дорогам; но говорят, что по

Ярославскому тракту почти проезда не было. Манычара туда послали осмотреть. Он все поправит. Хорош и исправник, которому обещают 500 палок! А ведь он, кажется, выбирается из дворян. Что-то ваша полиция, с каким духом ожидает государя? Я чаю, дом генерал-губернатора у них как бельмо в глазу.

Воронцов очень рад ордену Св. Екатерины. Я от него получил письмо еще из Кишинева, но он на другой день выехал в Одессу. Пишет, что дела множество и минуты не имеет свободной. Легко верю. Вчера мы довольно весело провели вечер у князя Салтыкова. Этот персиянин непохож на своих соотечичей: говорит

по-французски изрядно, по-английски хорошо и большой весельчак.

Завтра государь выезжает, а в пятницу великий князь Михаил Павлович прямо в Брест-Литовск, а оттуда возвратится в Полангеи, навстречу к невесте. Принимать ее едет княгиня Александра Николаевна Волконская с двумя фрейлинами. Также Ласунский и князь Николай Долгоруков.

Константин. С.-Петербург, 17августа 1823 года

На место Рибопьера Уваров. После этого, кажется, не захочешь известной должности[95]. Надобно наперед посмотреть, как он дела поведет и приятно ли будет с ним служить, как то было с его предместником. Впрочем, вакансии еще нет, так что успеем осмотреться.

Мне сказывали, что Николаю Тургеневу пожаловано 1000 рублей пенсии, чему я очень рад.

Сейчас пришедшая иностранная почта привезла, между прочим, письмо к Нессельроде от Анстета в моем куверте, на котором была его записка: «Очень важные новости из Испании». Я повез письмо к Нессельроде. Анстет ему пишет, что получено телеграфическое известие из Мадрида, что 10 августа Кортесы оставили Кадикс и в нем короля, отчего он сделался свободным, и что военные действия против Кадикса прекращены. Вот еще важное известие, которое получено через почту. Курьер от 12-го не мог еще о сем привезти уведомления, ибо оно в Париже получено 14-го. Ну, слава Богу, и эта часть Европы успокоилась.

Константин. С.-Петербург, 18 августа 1823 года

Канкрин третьего дня ко мне писал, что имеет нужду со мною переговорить, и просил, чтоб я к нему приехал, когда буду свободен. Долго переписывались, наконец согласились, что я к нему буду сегодня утром. Ты, верно, понимаешь, что я не пропустил встречи. Долго толковали о почтовой смете, о расходах, доходах, о возможности и средствах их умножить и проч. Кончив все это, спросил я его, перестал ли он сердиться на Фавста? Он отвечал, что он совсем не сердит, а что правда, что досадовал и теперь досадует на Карпинского; «но я его сместил, вот и все; а что касается вашего друга, то уверяю вас, что я более не сердит на него». – «Но я боюсь, как бы у вас не осталось дурное впечатление на его счет». – «Ничуть, вовсе нет. Как вы хотите, чтобы я дурно думал о том, кого знаю мало и слабо. Я на службе беспристрастен и не делаю предубеждений; если я ему устроил головомойку, это относится только к службе, но не к личности». – «Но могу ли я сказать ему, чтобы он был спокоен?» – «Безусловно.

После удаления Карпинского надобно будет приняться за сребреников, кои настоящие мошенники; но это не повод, чтобы к ним придираться, как делал сей человек. Тут мания заводить такие дела, давать им бесконечный ход, вместо того чтобы их улаживать. Нет, скажите вашему другу, что он может быть спокоен». Так мы с ним и расстались.

Забыл сказать, что он несколько раз мне повторял, что Мечников крепко стоит за Фавста. Перескажи все это Фавсту, чтоб мне не вдвойне писать. Я надеюсь его успокоить. Он мне пишет, что все это заварил какой-то Варгин через Татищева, и удивляется, как министр меньше имел веры в моих словах, нежели к тому, что ему насказал Татищев. Сомневается, действительно ли он хорошо ко мне расположен. Мне кажется, что да: но не думаю, что он бы за меня повесился. Не удивляюсь также, если он более верит Татищеву, чем мне; но это еще беда невелика. Пусть он будет спокоен. Что за нужда, кого более любит Канкрин – Татищева или меня, лишь бы впредь ему не вредил, а этого, надеюсь, не будет. Карпинского сохранить на этом месте трудно и, я полагаю, даже невозможно; но Мечников мне сказал, что он его без места не оставит. Таким образом, все устроится.

Каков Рушковский! В одном из последних писем намекнул я ему о наших хлопотах по долгам, что и теперь надобно бы заплатить за Кабинет, да нечем. Вчера вдруг получаю от него 10 тысяч. «Позвольте мне, мой дорогой покровитель, передать при сем приложенные 10 тысяч рублей ассигнациями в ваше распоряжение. Это все, чем я располагаю в наличных деньгах, и они к вашим услугам. Я вам однажды сказал, что вы более надежны, чем главные банкиры Европы, и, повторяя эти слова, прибавлю, что имею твердое внутреннее убеждение, что, ежели случится экстраординарный случай и я возымею нужду в деньгах и обращусь к вам, вы тотчас мне их вернете». Признаюсь тебе, что он меня растрогал. Теперь, по крайней мере, будем спокойны насчет платежа Кабинету, которому тотчас внесу. То-то людей надобно узнавать не по наружности, а на самом деле. Рушковского полагали скупым, а тут он тотчас решился нам помочь. Конечно, он ничем не рискует, но, все-таки, другой бы не расстался так скоро с деньгами или, по крайней мере, ожидал бы, чтоб его просили, а он тотчас, получив письмо, и деньги послал. Я его благодарю сегодня, мой милый друг, а ты устрой с ним вексель, который надобно нам ему дать, и также сам его поблагодари. Уф, все как-то легче!

Константин. С.-Петербург, 20 августа 1823 года

Ты пишешь: хорошо, если бы вдруг упало тоже и тебе тысяч десяток десятин в Бессарабии. Я не люблю, мой милый и любезный друг, писать о делах, не совершенно конченных, но после твоего пожелания пророческого не могу умолчать; итак, прошу слушать.

За несколько дней до отъезда государя, толкуя с Тургеневым (ибо без него не может быть доброго дела) о Бессарабии, сказал я ему, что хорошо бы и мне там достать землю. «Зачем же дело стало, надобно просить». – «Да как просить? И о себе просить не умею». – «Надобно просить князя». Тургенев вслед за тем сказал князю, что я имею к нему нужду переговорить, и намекнул ему, в чем дело. Две недели (нет, меньше, во вторник будет две недели) назад князь, приехав в департамент, сам вызвался со мною говорить. Я ему, сколько умел, объяснил мое желание иметь участок земли в Бессарабии как памятник службы моей в Молдавии и на Бухарестском конгрессе. Он принял просьбу мою и милостиво и горячо, велел мне написать к себе письмо и быть покойным. Поцеловал меня при уверении в искреннем участии. Так мы с ним и расстались. Письмо мне сочинил Тургенев (сам бы я, право, не нашел, что сказать), кое-что я убавил и послал к князю в Царское Село. Перед самым отъездом государя, в третьем часу утра, он с ним работал, и тотчас написал мне записку, которую при сем прилагаю.

Я забыл сказать тебе, что князь меня спрашивал: сколько я желаю иметь десятин? Ну уж я никак не мог взять на себя определить – сколько, а сказал, что всем буду доволен, что государь по милости своей мне назначит. Тургенев и тут не дремал, шепнул князю, что Фонтону дали 5000. Как скоро князь возвратился из Царского Села, я поехал его благодарить и увидел с удовольствием, как ему самому это было приятно. Государь принял весьма благосклонно мое желание, прочитав письмо к князю, и тотчас согласился, но: *«Сколько он желает иметь?»* Князь сказал, что он от меня не мог сего добиться. Государь приказал ему снестись с Нессельроде и назначить по их усмотрению, сообразно с примерами других, коим пожалованы земли.

Князь написал тотчас к Нессельроде. Какой ответ получил, – увидишь при сем в копии, также ответ князя графу и отношение барону Кампенгаузену. Все сии бумаги можешь у себя оставить, а письмо князя возврати: я его сберегу, как новое доказательство его ко мне милости. Я не надеюсь, чтоб государь дал 10 тысяч, ибо столько же пожаловал Нессельроде; но все-таки что-нибудь да получу, а Балыи берется уже все устроить, все, что нужно в будущем моем имении. Кампенгаузен должен поднести указ к

подписанию. Ну, мой милый друг, что ты скажешь о своем вдохновении? Тут видно, что оно от сердца. Братское твое желание дошло до Бога.

Александр. Москва, 21 августа 1823 года

Сию минуту от меня Метакса. Жена его, было, умерла; Бог спас ее при этой нищете. Куда жалок этот человек! Но, однако же, не унывает. Надобно нам ему помочь, вот в чем. Он с другим греком перевел очень любопытную историю греческой войны нынешней в трех частях, другой оплачивает расходы, цензура уже одобрила первую часть, которая печататься будет тотчас; я здесь раздаю билеты подписные, а ты возьмись за это в Петербурге. Посылаю тебе 10 билетов на первый случай. Это истинное благодеяние для несчастной этой семьи; там подоспеют и другие наши записки, и тогда Метакса несколько оживет. Когда Ростопчин приедет, я его атакую, пусть даст что-нибудь бедному Трапандосу.

Рассказывал много Метакса о чудаке Балке, как он бежал было отсюда, как его полиция остановила, как он кое-как всякому должнику дал в счет сукном, ибо в ту же минуту въехал во двор обоз с сукнами. Он поехал сам 29-го, в четырех каретах, пяти колясках, трех бричках, шести кибитках и пяти телегах. Не найдя возможности поместиться у знакомых в Петербурге (уж я думаю), стал в Лондоне, где всякий день стоит ему 580 рублей! Вот сумасшедший, уж коли этот не сорвался с желтого дому, то не знаю, кого туда сажать надобно; хочет быть то министром в Голландии, то сенатором, а кончит госпиталем.

Константин. С.-Петербург, 21 августа 1823 года

Бедного Кампенгаузена вывалили из ландо, и не знаю, переломил ли или вывихнул он себе руку, только придется ему полежать несколько недель при величайших мучениях. Он послал, говорят, курьера к государю – известить его, что он в совершенной невозможности управлять Министерством внутренних дел. Кого-то назначат? Я пророчу нашему князю [то есть А.Н.Голицыну], что ему достанется, как уже это и было прежде.

Александр. Москва, 23 августа 1823 года

Приезжал к Фавсту тайный советник Александр Петрович Нащокин. Его уверил аптекарь, что в его деревнях есть серебряная руда, и представил ему образчик, мучает Фавста, чтобы послать туда чиновника исследовать, а оказывается, что аптекарь составил какую-то примесь серебряную и выманил от Нащокина

денежки.

А меня и вчера еще атаковали друзья, а именно княгиня Куракина, Нарышкин и жена: служи, да и только. Я одно все твержу: я не прочь, готов, но надобно, чтобы стоило себе связать руки и иметь что-нибудь хорошего, то есть выгодного, квартиру и хорошее жалованье; без этого, они себе как хотят, не приму я ничего.

Брошюрку о греках тотчас прочту и тебе возвращу. По таинственному слогу и духовному стилю точно надобно думать, что Стурдза сочинитель. Итак, и эта революция кончена. Это дает Франции большой вес и заслужит ей уважение Европы; но все, без надежды на наше подкрепление, так бы хорошо и скоро не кончилось. Слава нашему государю!

Я получил сегодня письмо из Теплица от графа Ростопчина от 23 июля; ровно месяц было в дороге. Граф полагает быть здесь прежде 1 сентября, заедет в Белую Церковь на двое суток, чтобы увидеть там графиню Воронцову и детей ее, по просьбе графа Семена Романовича. «Я отправлю (говорит он мне) из Киева мое прошение об отставке. Думаю, что довольно я послужил при трех царствованиях, надобно пустить вперед новые поколения, отложить дела и отдохнуть. Мне не терпится вас обнять», – и проч.

Кажется, нашим полицмейстерам несдобровать. Есть полковник Крылов, отставной сын императрицынова Крылова, государь велел ему сказать, что в Москве его не забудет, а князь Дмитрий Владимирович сказал ему: «Скоро будут две полицмейстерские вакансии в Москве, так я одну вам дам». Крылов сам это сказал Фавсту. Видно, Обрескова и Ровинского прочь. Они много себе сделали вреда этими тротуарными столбиками (я тебе писал об этом).

Видел я Федора Петровича Уварова; пожал руку, спрашивал о тебе, я отвечал: «Это мне, генерал, надобно у вас о нем спрашивать, вы только что с ним расстались».

Сегодня была генеральная репетиция маневров. Иные забрались в Петровское в 9 часов утра. Дам было бездна. Пустимся один раз с Фавстом.

Сию минуту приезжала к нам жена князя Дмитрия Владимировича с дочерью Долгоруковой; мы не приняли. Уже это не значит ли, что будут звать на что-нибудь во время государева пребывания? Под окнами страшный шум: делают щит для фавстовой иллюминации[96].

Константин. С.-Петербург, 24 августа 1823 года

Кого-то назначат управлять министерством, Сперанского или

нашего князя? А третьего, кажется, нет никого.

Кутузова дочь, Хитрова, таки уговорила меня взять на себя несколько из ее дел, как то: принятие и продажу пожалованных ей в Бессарабии десятин. Не мог отказать, помня милости ее отца. Ее племянник Толстой женат на Хитровой, дочери так называемого Северного Обозревателя, старика-сенатора; она родила на сих днях, и так несчастливо, что мертвого ребенка должны были резать и вынимать кусками. Год, как замужем, и премиленькая женщина. Слава Богу, что еще она жива осталась. Три акушера были призваны, и все трое работали.

Граф Нессельроде, Северин и Матушевич вчера утром выехали в Киев, Белую Церковь и Одессу. Первая встреча графа с государем будет в Тульчине. Манычар возвратился; говорит, что дорога славно поправлена, чем он меня очень утешил. По Ярославскому тракту большей части свиты должно было ехать на обывательских лошадях; при дурных дорогах все бы отстали, и была бы беда. Теперь уже, кажется, некуда его посылать. Рибопьер отправляется на сих днях к себе в деревню.

Александр. Москва, 24 августа 1823 года

Хованский еще не бывал, его ожидают сегодня, он станет у сестры и пробудет здесь все время, что будет государь. Я увижусь с ним не раз.

Тебя, любезный друг, удивляет поступок Рушковского, а нас с Фавстом – нимало. Пошлый был бы дурак, поступи инако. От Черткова та же черта была прекрасна, ибо действовала дружба, участие без личных видов и корысти, а Рушковский знает, что держится тобою, что нет дня, чтобы не был ты ему нужен. Чем ему заплатить за все, что ты сделал для него и делать можешь? Четыре учтивых письма в неделю – не замена за благодеяния. Он платит, как я тебе писал, ничтожные проценты за большой капитал, но все-таки спасибо ему за одолжение и ссуду 10 тысяч; увижусь с ним и условлюсь о векселе. Я думаю, надобно написать на имя нас обоих, ибо пошли деньги на уплату долга, общего нам, то есть в Кабинет. Шульгин выдумал и славную сделал штучку. Оповестил, что имеет сумму значительную для раздачи бедным, и пригласил всех нищих явиться в съезжие дома; все хлынуло, даже и полунищие, он всех их велел запереть в сибирки и содержать их там во все время пребывания государя в Москве. Теперь не видишь ни одного нищего в городе.

Полночь

Москва осчастливлена! Государь изволил прибыть благополучно в половине одиннадцатого. Так как Кремль от нас очень близко, я посылал несколько раз справляться. Теперь

воротился Ванюшка. Император прибыл при нем. Несмотря на дождь, который идет с семи часов вечера, в Кремле множество народа и карет, ожидавших его прибытия. Народ кричал хором «ура!» Император изволил сидеть в коляске с графом Аракчеевым. Из Фавстовой гостиной виден огонь в кабинете государевом. Спешу тебя уведомить о радости московских жителей, любезнейший друг. Теперь, вероятно, часто будут оказии в Питер, и я пошлю рано это письмо к Рушковскому: пусть отправит, я часто буду писать.

Стану рассказывать все, что знаю. Посланный князем Дмитрием Владимировичем адъютант его Новосильцев воротился в полдень и привез известие, что император изволил завтракать в Ростове и, следовательно, прибудет поздно, а потому и не в собор прямо, а на маленькое крыльцо в дворец, чтобы государя не встретил там никто, кроме генерал-губернатора, коменданта и обер-полицмейстера, коим изволит дать свои приказания.

Ярославский губернатор Безобразов пожалован в тайные советники. Государь ему сказал: «Твои дороги хороши, только ты много сделал лишнего». У Юсупова был сегодня обед для всех генералов, здесь находящихся. Что будет завтра, еще неизвестно, а верно, все хлынут в собор. Я видел давеча у Петра Петровича Нарышкина графиню Орлову, которая мне сказывала, что у нее не будет ничего, хотя по городу говорят, что она готовит праздник. Посмотрел бы я на Рушковского: то-то, я чаю, в жар его кидает. Он хотел ехать навстречу государю и советовался с Пфеллером, в башмаках ли ехать. Этот насилу ему доказал, что это совсем не нужно. «Да вы берите пример с Константина Яковлевича, разве он когда-нибудь так делал?» Однако же Рушковский колебался. Вот бы одолжил!

Ну, брат, что наделано в Кремле и около, – это чудо! Кремлевский сад продолжен по самую Москву-реку и прелестен. Государя это, верно, удивит, ибо все это возникло в два года[97]. От дворца до Спасских ворот, дугою по валу, сделано прекрасное гульбище. Гуляя тут, пользуешься прелестными видами, идучи к Спасским воротам на Воспитательный дом, а возвращаясь – на Воробьевы горы.

Анекдот для Тургенева. Встречаю Вяземского; он говорит: «Все бы хорошо, только досадно, я чаю, князю Дмитрию Владимировичу на дождь!» – «А что?» – «Нельзя ему будет пустить пыль в глаза государю». Без остроты ни на час. Ежели будет завтра вёдро, то дождь этот – как на заказ: все будет зелено и свежо, и сад кремлевский будет еще красивее.

Дмитрий Николаевич Каменский продал дом свой на Никитской, что был князя Лобанова прежде, обер-прокурору

Огареву за 100 тысяч.

Фавст пирует сегодня целый день у Обуховой, муж ее именинник; до сих пор еще не бывал, а бьет уже час. Я давеча встретил Трубецкого-высокого, бильярдного моего соперника. Он едет служить к Воронцову, коего не знает, однако же. Я его душевно поздравил и уверил, что он будет очень доволен своею судьбою.

Давеча был у меня Метакса. Печален и гол. Жена его очень больна. Дал ему 25 рублей, – более не могу ему помочь, – да купил билет на книгу его; буду стараться распродать ему билетов десяток. Он, бедный, жалок, но слава Богу, что не унывает.

Александр. Москва, 26 августа 1823 года

Сожалею о бедном Кампенгаузене: он и без того пасмурного нрава, а теперь еще сделается пасмурнее. У князя [А.Н.Голицына] и так дела много, а ежели он заступит место Кочубея, то тебе откроется новое поприще делать одолжения. Ты скоро будешь всеобщий поверенный. Вот и Хитрова подоспела, а дамскими делами куда как трудно и неприятно управлять.

Государь изволил прибыть поздно 24-го, как я тебе писал. Кремль был усеян каретами, в коих сидели дамы, а народ стоял на площади, несмотря на дождь, и, как показался государь, приветствовал криками «ура!»

Вчера вот что было. Государь, одевшись, пошел по Красному крыльцу в собор Успенский, где слушал обедню. Стечение на площади было ужаснейшее. Я, по милости короля Неапольского, то есть звезды, которую имел на фраке под сюртуком, мог везде пройти за веревками. Государь, сходя с лестницы, шел очень тихо, кланяясь беспрестанно то направо, то налево. В соборе было очень мало людей, я и туда вошел, и Фавста провел с собою; так стоял я хорошо и близко от государя, что когда он изволил оборачиваться на мою сторону, то я, быв во фраке и боясь, чтобы он меня не узнал, прятался за полицейского офицера, который передо мной стоял. После обедни (во время оной шел сильный дождь, а как государь стал прикладываться к кресту, то вдруг солнце проглянуло и дождь перестал) император пошел в Архангельский и Благовещенский соборы, где прикладывался к мощам. Потом ездил по городу в коляске, заезжал к Иверской Божьей Матери прикладываться. Во дворце был обед на 84 куверта; кроме окружающих, были приглашены все генералы, сенаторы и из статских два класса, губернатор, Шульгин и кое-кто еще неклассных. Государь очень был весел за столом, много очень говорил с Филаретом и Сакеном, возле него сидевшими.

Князь Дмитрий Владимирович испрашивал приказания

насчет праздников, хотел дать бал; но государь ему сказал: «Когда приближаешься к пятому десятку, можно обойтись и обедом». Однако же княгиня Татьяна Васильевна сказала нам, что во все время государева пребывания здесь она всякий вечер будет дома и принимать всех. Думают, что в один из вечеров придет император. Юсупов звал в Итальянскую оперу, но государь отвечал: «Я отвык от театра, а впрочем, посмотрим». Представлений не было никаких, а представлял только государю Обольянинов предводителей здешних.

Вчера ввечеру были мы у князя Николая Николаевича Хованского, он сказал нам: «Я не губернатор ваш, а приказчик по Белоруссии». Я ему рекомендовал Сиракузского, он мне отвечал: «Я слышал о нем столько хорошего от Дибича, Канкрина и вашего брата, что мы, верно, будем довольны друг другом». Хованский едет на днях и через Ярославль, ибо государь ему сказал вчера: «Советую тебе взять в образец Ярославскую губернию и завести такой же порядок, как там»[98]. Сегодня маневры. Думали, что откажут за дождем, но нет, а к одиннадцати разгулялось, и теперь время хорошо. Что тебе еще сказать? Васильчиков Л.В. очень болен, рожа на ноге, которую замочили, и теперь разнесло всю ногу.

Наташа именинница, все являются поздравильщики и мешают: Николай Иванович Похвиснев (Рушковский не был вчера зван на обед), Метакса, Вейтбрехт, Обресков, Попандопуло, который беспрестанно нюхает табак, чтобы виден был брильянтовый его перстень, коим восхищается, и тебя превозносит, полагая, что никогда бы без тебя не получил.

Александр. Москва, 27 августа 1823 года

Вчера праздновали мы Наташу, обедали у Петра Петровича Нарышкина, где и другая именинница была, княгиня Наталья Петровна Куракина, а ввечеру было пиршество у тестя.

Новая опера итальянская не очень понравилась публике – «Конрадин», музыка Россини, но все очень длинно, и первый акт один продолжался два часа с половиною. Я видел там Лошкарева, познакомился с его женою, которая сшибается на мать.

Государь был вчера очень доволен маневрами и сказал графу Толстому: «Я знал, что корпус твой хорош, но не ожидал такую найти перемену». Отдать изволил благоволение. Все удивляются, как государь выдержал до конца: дождь был сильный, с ветром; большая часть генералов, не действовавших, отлучались и надевали шинели, чтобы отогреться и посушить себя; государь все стоял на одном месте.

Ввечеру, часов в семь, ездил к князю Дмитрию

Владимировичу поздравить его с именинами матери, с час посидел у княгини Татьяны Васильевны; она не знала, что муж дома спит, и сказала, что дома его нет. Потом был государь у графинь Орловой и Каменской, а кушал он один с графом Аракчеевым. Сегодня тоже было что-то у Петровского дворца, войска поодиночке стреляли в цель. Мы поехали было с Наташею в дом графини Мамоновой на Тверской – смотреть, как государь поедет назад; но вместо того он воротился во дворец через Пресненскую заставу. Государь часто хвалит Ярославскую губернию и сказал Петру Петровичу Нарышкину: «Это самая благоустроенная губерния; какая чистота в городе, как дороги исправны!» О пиршествах никаких не слышно, кроме 30-го в Благородном собрании. Сегодня, после обеда, государь идет осматривать Мариинскую больницу и другие заведения императрицынова ведения.

Что тебе еще сказать? Софья Шаховская родила сына. Я видел Шульгина, который чрезвычайно переменился; я и не знал, что он посылал двух сыновей к Кавказским водам: один там умер, а другого привезли больного назад. Канцлеру Румянцову воды чрезвычайно помогли. Говорят в городе, что завтра итальянский «Танкред» удостоен будет присутствием государя. Увидим, а сегодня дают «Gaza ladra». Поздравляю тебя с возвращением Манычара и бью ему челом. Говорят, что принц его прогнал из службы генерала Апухтина и будто сказал ему: «Какой ты генерал, ты бездельник».

Как время летит: сегодня 14 лет, что я женат, а кажется, давно ли в школу ходил!

Александр. Москва, 28 августа 1823 года

Скажу тебе все, что знаю. Государь был доволен вчерашним учением, стрельбою в цель и пожаловал тут же в офицеры юнкера Толстого, сына Петра Александровича. После обеда осматривал государь институты, после был с визитом у графини Марьи Алексеевны Толстой. Ожидали в Итальянскую оперу, но не бывал; а Юсупов нас было задушил: и так было там жарко, а он велел накурить какими-то крепкими духами. Теперь ждут его к завтрему, ибо он сказал княгине Голицыной, которая ему расхваливала оперу: «Сим вечером или завтра я приду в оперу, чтобы не подумали, – прибавил он, смеясь, – что я люблю только флейту и барабан».

Москвою очень доволен государь и три раза благодарил князя Голицына за все, что наделано в городе в столь короткое время. Думают, что государь поедет ужо в Свирлово. Когда купцы поднесли ему хлеб и соль на серебряном блюде, то он сказал:

«Благодарю вас, но на что блюдо это?» Глава отвечал: «Так водится, ваше величество!» А другой умный купец прибавил: «Тут есть число вашего посещения; по блюдам сим можно узнать, сколько раз Москва была осчастливлена посещением своих государей». Государь велел взять и блюдо, и хлеб с солью.

Все только и толкуют, что о Ярославской губернии. Вот пророчили, что губернатор будет отставлен. Не тут-то было. Безобразов предупредил тучу, сказав государю: «На меня много будет жалоб вашему величеству, потому что некоторых дворян надобно было почти принудить содействовать в усовершенствовании дорог»; но государь, оборотись к графу Аракчееву, сказал ему: «Все таковые жалобы оставить без уважения».

Был я вчера у Ивана В. Шатилова, который тебе кланяется; он скоро собирается к вам обратно. Видел я также в театре генерала Эмме, приятеля Ламсдорфа, который очень тобою хвалится и благодарил меня за какие-то одолжения, сделанные ему тобою. Приехал Балашов, но я его еще не видал; теперь никого не увидишь и не найдешь. Беда, а мне надобно бы всех заставать: время уходит, придется жену одну отпустить в Семердино и остаться здесь хлопотать о деньгах. Точно все в землю зарыты!

Константин Москва, 29 августа 1823 года

Петербург, я чаю, ждет с нетерпением почты нашей, по нам писать совершенно нечего. В городе тихо, праздников и балов нет, к тому же время дурно, часто идет дождь. Вчера был и последний маневр.

Сегодня государь обедает у князя Дмитрия Владимировича, а завтра удостоит своим присутствием бал, в Благородном собрании даваемый. Жаль будет, ежели дурная погода помешает иллюминации, которая будет прекрасна. В собрании, верно, будет много, ибо старшины дают всем билеты визитарные, несмотря на то, что имеешь дом в Москве, – только поезжай; и Фавст в восхищении, что спасает 50 рублей. Вчера ожидали государя в оперу итальянскую, но быть не изволил, и после только догадались, что канун праздника. Теперь все ждут завтрашний день, и всякий ожидает что-нибудь для себя, а я думаю, что кончится одним военным празднеством.

Константин Москва, 30 августа 1823 года

Вчера государь изволил кушать у князя Дмитрия Владимировича; было человек до шестидесяти: вся свита государева, действительные тайные советники Толстой, Апраксин, князь Горчаков, Яшвиль, Балашов, Хованский,

Обольянинов со всеми предводителями здешними, губернатор, комендант, Шульгин, три полицеймейстера и все Князевы адъютанты. После обеда государь навестить изволил больного Васильчикова, Лариона Васильевича, у коего сидел более получаса; до обеда был в главном госпитале, очень там был доволен, ел щи солдатские, отведывал квас и полпиво, благодарил очень Путяту, оттуда заезжал в Лефортовский дворец к Ушакову и смотрел кадетский корпус, который строится. Жаль, что сегодня время нехорошо; однако же Кремль, говорят, набит битком народом и каретами с самого утра. Выходу сегодня не будет, а слушать будет государь обедню в соборе, куда и мы отправляемся с Фавстом, да и жене хочется ехать, что очень похвально: надобно помолиться за такого царя! Какие-то будут милости!

Вчера обедал я в клубе, сижу за обедом возле Меншикова Николая; Вяземский, меня увидев, через половину залы говорит мне: «Поздравляю!» – «С чем?» – «Как, разве брат тебе не пишет?» Встать было неловко; после обеда иду тотчас к Вяземскому, не тут-то было: я и не видал, как он встал и уехал. Экая досада! Только оставил меня в недоумении, что бы это могло быть. Он качнул уже в подмосковную; верно, что-нибудь пишет ему Тургенев. Досадно, а нечего делать. Может быть, и шутка. Главное в тоне, а не в словах. Как скажешь: поздравляю тебя! Государь сказал князю Дмитрию Владимировичу: «Я сюда приеду на следующий год с матерью и всем двором *на целый год*, ибо нельзя уже откладывать починку петербургского дворца». Вот то-то будет праздник! В соборе была бездна народу. Государь очень был весел, и народ такой поднял шум, крича «ура», что колоколов не слыхать было. Во время молебствия вдруг показалось солнце, и день настал прекрасный; стало быть, иллюминация будет хороша.

Теперь уже толпа около Кремлевского сада, который еще не освещен, но музыка уже гремит. У кого есть просьба – подавайте, государь велел принимать! Но, кажется, нет никого.

Константин Москва, 31 августа 1823 года

Итак, желание мое сбылось, любезнейший друг: тебе пожалованы земли в Бессарабии! Мы с Фавстом поцеловались и друг друга поздравили. Спасибо доброму Тургеневу; буду ему писать и благодарить его за старание, хотя за тебя стряпать немудрено: всякий возьмется, и можно ручаться за успех при таком щедром государе, каков наш ангел Александр. Хвала ему начально, спасибо Нессельроде; письмо его к князю Александру Николаевичу о тебе очень лестно. Лестно и то, что тебе дали такое же количество земли, как и ему. Теперь прошу тебя только

не церемониться, а посредством графа Михаила Семеновича или министра внутренних дел стараться о выборе самой лучшей земли в местах плодородных, иную реку большую, луга или леса; одним словом, те земли, кои в крае том признаются выгоднейшими. Десять тысяч десятин могут составить порядочный капитал. Я тебя очень благодарю за подробное уведомление, как дело все происходило. Мы читали с Фавстом и восхищались; а Наташе, которая легла спать, мог я только сказать в двух словах. Ты можешь себе представить, рада ли она. Ты видишь, мой друг, что есть случаи, в коих надобно и самому просить, отлагая всякую деликатность в сторону.

Давай теперь говорить о виновнике счастия нашего. Мы имели счастие его видеть хорошо вчера в Собрании. Он был чрезвычайно весел; отправились мы туда в половине восьмого. Наташа была очень авантажна, имела то же платье, что на балу у Голицыной, в Петербурге, и тот же тюрбан; только кушак, рукава, талия украшены были лучшими бриллиантами Ивана Николаевича Корсакова. Государь прибыл в 8 часов с четвертью. Проезд его от дворца до Собрания так был иллюминован, что он ехал как днем, и народ, стоявший в две плотные шеренги по бокам, мог хорошо видеть черты его. Бал изволил он открыть с княгиней Татьяною Васильевной Голицыной; вот с кем изволил танцевать: княгиня Голицына, графиня Каменская, Глебова, графиня М.А.Толстая, Васильчикова, княгиня Хованская, генерал-губернаторша, княгиня Оболенская, урожденная Гагарина, Наталья Васильевна Булгакова, Полуэктова, Данилевская, дочери князя Дмитрия Владимировича, жена коменданта Веревкина, княгиня Гагарина, урожденная Глазенап; кажется, что не забыл никого. Было 1237 человек в Собрании.

Наташа не любит соваться вперед, да ее же затолкали; однако же государь сперва, пройдя мимо, поклонился ей, но она не была уверена, ей ли точно; оттанцевав с Оболенскою (ибо я означил польские хронологическим порядком), государь пришел на место, где была Наташа, посмотрел в лорнет и, найдя Наташу, подошел к ней и подал руку, как делается, приглашая к танцеванию. Вот его разговор, сколько упомню; впрочем, Наташу заставлю тебе написать. «Рад видеть вас вновь, сударыня (поклон низкий); я вас очень давно не видал; вы не поверите, как я счастлив вновь оказаться в Москве» (нет, пойду лучше к Наташе, пусть диктует). – «Государь, вы, должно быть, читаете у всех на лицах, как счастливы вас здесь видеть». Тут государь, пожав Наташе руку, сказал ей: «Ну а как дела с голосом, с пением?» – «Государь, я уже давно совершенно потеряла голос». – «Вот как! А мне одна особа сказала[99], что вы поете как ангел, так что, когда я вернусь

сюда, *надеюсь услышать ваше пение.* (Посмотрев около себя и на хоры.) Сколько же народу!» – «Государь, многие приехали и за триста верст, чтобы насладиться счастием видеть вас». – «Мое теперешнее пребывание пронеслось, как молния; мне кажется, что я только приехал». – «А нам, государь, это время показалось еще короче. Если бы мы могли сподобиться счастия обладать вами дольше!» – «Я приеду сюда на год, вместе с матерью и супругой, и привезу к вам еще одну очаровательную особу, ибо надеюсь, что мой брат Михаил к этому времени женится; я вам ее рекомендую, надеюсь, что она Москве понравится». Тут, к несчастью, польский кончился, и Наташе не удалось поговорить о тебе, а это ее любимый разговор, когда удостаивается танцевать с государем. Потом взял я ее к дверям, и стали мы говорить. Государь шел мимо, подошел к ней и сказал: «Надеюсь, вы не собираетесь уже уезжать?» – «Как, прежде вашего величества?».

Я думал, не станет ли еще с нею разговаривать, но вместо того он уехать изволил. Тогда играли кадриль, заиграли польский, и государь пошел опять танцевать с дочерьми графа Толстого, с молодой Окуловой, с Толстой, женою адъютанта князя Дмитрия Владимировича, с Апухтиной, Гедеоновой; вот, кажется, и все. В половине одиннадцатого никто не приметил, как он вдруг скрылся. Фавст видел, как старшины его провожали (жаль, что я уже выбыл); он что-то сказал Ивану Ивановичу Дмитриеву, который у него поцеловал руку, но государь, вырвав ее, поцеловал Ивана Ивановича, который опять-таки руку старался поцеловать. Не знаю, о чем была речь. Смешно было то, что, как только узнали, что государь уехал, все вон из Собрания. Все хотели разъехаться вдруг, но это было невозможно, и иные должны были дожидаться кареты часа два; живущие близко пустились домой пешком в башмаках, дабы переодеться скорее и идти гулять по славной кремлевской иллюминации. Народу была бездна; я тотчас надел сапоги и тоже пошел шататься. Фавстово освещение было из лучших в городе. Говорили, что государь будет еще кушать в Москве, но в 7 часов утра кайзер-штандарт, который от Фавста виден, был снят.

Посылаю тебе приказ. Ты, верно, так же удивишься, как и я (лестному, впрочем), новому назначению Закревского. Шатилов думает, что это сделано, дабы развести Закревского с Дибичем, с коим он равен, а было бы, между тем, вроде подчиненности. Назначение Шатилова сделано в угождение Закревскому. Пожаловано много в генерал-майоры. Граббе и Шварц прощены. На место Закревского Потапов. Мне жаль, что Закревский выбудет. Членами Совета пожалованы: Юсупов, граф Толстой, Александр Иванович Татищев, Сукин, Федор Петрович Уваров и

Дибич. Филарету – бриллиантовую панагию. Государь сказал князю Дмитрию Владимировичу, что утверждает его представления, а он испрашивал (сказал мне Шафонский) 93 награды разные. Экая куча! Как скоро узнаю, тебе сообщу тотчас; более, кажется, не слышно ничего о наградах. Кстати, вчера Сакен, увидев меня, подошел ко мне, пожал мне руку и спросил: «Имеете ли известия от брата вашего?» – «Четыре раза в неделю». – «Да это как между любовником и любовницею. Знаете ли вы, что брат ваш мой *старинный и добрый друг*? Я люблю его от всего сердца». Тут подошел князь Андрей Иванович Горчаков и перебил наш разговор. Старик свеж и бодр, хоть куда! Возвращаю с благодарностью записку Князеву. Там обедал во дворце вчера. Было 246 человек, и со всем тем мало, с кем бы государь не говорил. Он изволил что-то спросить у Рушковского, но тот, говорят, оробел, замялся, и государь пошел дальше.

Александр. Москва, 3 сентября 1823 года

Как радует меня царская милость, которую удостоился ты получить, любезнейший друг! Должно быть, она значительна. Нессельроде не промах: ежели бы 10 тысяч десятин не составляли важного приобретения, он бы 20 попросил. Сверх того, Метакса, коему места сии очень известны, уверял меня, что в Бессарабии земли нанимаются обыкновенно с платою по серебряному рублю за всякую десятину; это было бы прекрасно! Метакса говорит, что брат Мазаровича, живущий там, этим промышляет, так не худо бы с ним списаться, а никак не торопиться продавать. Я вчера писал милому Воронцову предлинное письмо, послал ему книги, приказы, описал ему государево здесь пребывание и прошу его хлопотать, чтобы (ежели от него зависит) твои десятины были славнейшие, чтобы на них родились ананасы, чай, кофе, сахар и даже червонцы! Я уверен, что он твоих интересов не упустит; но ты не напишешь сам, поэтому я ему говорю без церемонии. Что-то Балыи тебе скажет также, но он врaльман.

Вчера вдруг явился к нам Мазарович персидский. Долго сидел, и много болтали; ввечеру были мы с Наташей у них. Она была в старину дружна с младшей ее сестрою, и эта женщина любезная, только собою не красавица.

Шульгину отдана благодарность, да и не может быть иначе. Кажется, и Голицын смягчается и, говорят, просил ему 2-го Владимира. Голицын представил о 93 наградах, из коих 81 словесно утверждена была государем, ожидают письменных указов. Должны были быть присланы из Серпухова[100], но не явились. Шульгин встал через силу к государеву приезду. Он меня, по обыкновению своему, уверял, что был полчаса в царском

кабинете, жаловался, что не заслужил ни одного даже благоволения от князя Дмитрия Владимировича, просился прочь, и будто государь отвечал: «Не смей мне и заикнуться об отставке».

Здесь все устрою к путешествию в Белоруссию. Надеюсь найти все работы уже конченными.

Вот тебе речь Филарета и приказ. Рушковскому сказали, что лошади где-то были дурны, а под Москвою были остановки на станциях, вот он поехал к Дибичу. «Что вам угодно?» – «Вот эвто-то, лошади и станции-то». – «Что вам угодно?» – «Это не моя вина, что лошади…» – «А это не мое дело», – прервал Дибич и бежал из комнаты. Рушковский, расхваливая всю свиту государеву, сказал о Дибиче: «О! Он очень, очень умен, но слишком быстр, и у него на все один ответ: не мое дело!» В городе нет ничего нового, кроме смерти бедного Сергея Акимовича Мальцова.

Константин. С.-Петербург, 5 сентября 1823 года

Мне рассказывали смешной анекдот о графе Толстом. Его напугали в Италии разбойниками, так что долго он не решался ехать в Рим. Ему натолковали, что воры, когда нападают на путешественников, то кричат им «Faccia in terra [лицом в землю]!», – а после грабят. В дороге видит он охотников, идущих пешком; перетрусился, выскочил из коляски, сам начал кричать: «Faccia in terra!» – и лег на землю. Те, полагая, что он разбойник, видно, были не храбрее его: тоже легли на землю. Вот все и лежат. Итальянцы, однако же, слыша, что не стреляют и их никто не грабит, встали и ну бежать, а граф, полежав немного, приподнял голову и также видит, что никого нет, только все смеются, встал и ну хвастать, как он даже разбойников испугал.

Во Флоренции он давал бал в трактире, где стоял, и прекрасные гости все к нему подходят, хвалят бал, а он по-французски учился на медные деньги, только им кланяется и повторяет: «тужур, трактир». Много еще про него рассказывают проказ. Накупил пропасть всякой дряни, картин, манускриптов и проч. Право, пора им возвратиться, а ему не быть посмешищем иностранцев. Как все это должно огорчать бедного нашего Арсения! Он чувствовал, что от сей поездки добра не будет. Он заслуживает лучшей участи. Я уверен, что жена его будет кобениться ехать в Або. Без нее бы он был и покойнее, и счастливее. Ну что ему от этого богатства? Для одного было у него достаточно, мог бы прожить благополучно, а теперь чем далее, тем предвижу ему более забот и неудовольствий. Бог да поможет ему их перенести, а на этом свете без них нельзя. Беда, если они в семье! И с сестрами не скоро сладишь, а с женою еще

пуще.

Александр. Москва, 6 сентября 1823 года

Вчера обедали мы у Шепелева; звал нас на маленький обед, а было человек 50. Говорят, что у него так всякий день; боюсь очень, как бы он не проел и это великое состояние, как все другие. Это второй том Чижика. Тут обедал Бетанкур и множество всякого сброду. Шепелев уверяет, что это все неожиданные гости. Оттуда возил я Фавста к Дау, живописцу. Шульгин только что не говорит! Есть еще портрет государя, чрезвычайно похожий; кажется, видишь его перед собою.

Я засиделся у графини Ростопчиной. Графа ждем всякий час. Лиза подлинно прекрасна. Помнишь фигуры из парижского журнала мод; так вот, она совершенно в этом роде и фигурою, и лицом, и с совершенно парижскими выговором и непринужденностью.

Константин. С.-Петербург, 7 сентября 1823 года

Скромная Наташа не хотела описать подробно разговор в танцах, а я тебе очень благодарен за сии подробности, весьма меня интересующие и чрезвычайно для меня приятные. Поздравляю милую Наташу. Я чувствую, как ей должно быть приятно, что ее заметил государь и так милостиво с нею обошелся. Видно, серьезное есть намерение в Москве провести год[101]. Изволь-ка, сударыня, готовиться петь, а вы все – наслаждаться присутствием ангельского государя и всего двора. Петербург осиротеет, но я утешаюсь за вас.

Александр. Москва, 7 сентября 1823 года

Теперь настала большая тишина в Москве. Награждения Князевы что-то не являются; как бы не отложились до будущего года. Выходит, что как князь подал представления свои, государь сказал просто: «Отлично!» На другой день изволил отказать в помещении Кочубея при князе по особенным поручениям (таких молодцов около князя 42!).

Стало быть, читал бы бумаги, так прочее б утвердил, а до сих пор нет ничего. Да и, право, уж слишком много и часто просят. И Юсупова представления что-то засели, а между тем Щербатов А.А. везде себя славит камергером.

Вчера был я у нашего пана генерал-губернатора [то есть у князя Н.Н.Хованского]. Он воротился из Ярославля, где подлинно нашел большое устройство. Город чист, улицы лучше вымощены, нежели в Петербурге и Москве, гулянье сделано прекрасное вдоль Волги; тюрьмы, приказ общественного призрения, больница

Демидова – все эти заведения в большом порядке; дороги, однако же, совсем попорчены от дождей, но будут хороши совершенно, когда укатают хорошо песок. Не видно, чтобы помещики или крестьяне были очень угнетаемы. Князь был там, впрочем, одни сутки, а в такое короткое время можно только поверхностно все видеть. Хованский едет завтра, начнет Калугою и кончит Витебском; там дом его еще отделывается, а потому княгиню свою оставляет здесь до времени.

Не помню, писал ли я тебе, что Балашова А.Д. жена умерла после 7-дневной горячки. Говорят, что государь сказал ему в Туле: «Тебе не до того, забудь, пожалуй, меня и поезжай тотчас в Рязань!» Туда повезли Гааза, но было уже слишком поздно.

Александр. Москва, 10 сентября 1823 года

Я писал тебе о дружеском предложении Ивана Николаевича N. Ныне редко одолжать любят и те, коих просишь, а он сам вызвался. Вчера был он в досаде, просил меня сегодня у него обедать и после ехать с ним смотреть головкинские вещи. Надобно потешить старика. К нему приехал сын. После всех гнусных своих поступков против отца и благодетеля он вдруг приезжает, не списавшись, прямо к нему на двор с целым домом. Ивану Николаевичу докладывают, что приехал Василий Иванович. – «Скажи, что я его поместить в доме не могу: у меня идет переделка». Человек опять является. «Василий Иванович и Софья Федоровна просят позволения к вам войти, только чтобы поздороваться». – «Проси». – «Не знаю, – сказала она, – почему вы на нас сердитесь». – «Я ничего не имею против вас, сударыня, но неблагодарность и чудовищные действия мужа вашего навсегда изгнали его из моего сердца. Я удивлен, что он осмеливается предстать передо мною и является вдруг, не предупредив меня и не спросив разрешения». – «Мы вам написали». – «Этого не может быть, ибо я получил бы ваше письмо; впрочем, я вам обо всем написал, чтобы объявить, каковы будут в будущем наши отношения». – «Мы этого письма не получили». – «Странно, что наши письма теряются; я с моего могу вам дать и дам вам копию. Я вас сюда не выписывал, вы приехали по своей воле; ищите себе дом, где хотите». – «Как же от своего дома нанимать? Это всем покажется странно». – «Никому, ибо весь город знает мои намерения на ваш счет; я писал даже в газетах о сем, я не знаю, что вы называете своим домом. Дом этот мой, а вам до всего, что мое, нет никакого дела».

Надобно послушать рассказы этого бедного Ивана Николаевича. Я еще удивляюсь его терпению; его мучили, ругали, выдавали за сумасшедшего, пьяницу, разорили его имение,

распродав вещи и всех лошадей с заводов. Изверг этот смел сказать людям во время тяжкой болезни Ивана Николаевича: «Слушайте меня, я ваш господин; разве вы не видите, что он *околевает*?» Как терпеть такие гнусности! N. по доброй душе своей дает сыну 800 душ, но лишает его всего прочего, то есть 14 тысяч душ, кои тоже его были бы.

Третьего дня был я на прощальном ужине у нашего генерал-губернатора. Он поехал вчера в Калугу, оттуда отправится в Смоленск, а там – в Витебск, где обещал я ему быть у него в гостях; потом поедет он осматривать Могилевскую губернию. Это токмо короткое обозрение, чтобы ознакомиться с лицами и особенно с губернаторами. Третьего же дня видел я князя А.С.Меншикова; он был проездом, а поехал в подмосковную; просил меня дать ему знать эстафетою, когда будет здесь Закревский, – приедет с ним повидаться. Он что-то невесел, да и положение его не очень приятно, ежели не дадут ему нового назначения. Ему тоже кажется, что Закревский не примет нового своего поста. Понимаю горесть Ноинского и всех его подчиненных: такого начальника не скоро им нажить.

Все спрашивают, что дали князю Дмитрию Владимировичу? Ничего! Выдадут ли, полно, награждения, испрошенные князем для своих? Ему дать – так дали бы здесь, как Юсупову, Толстому. Говорят, что государь недоволен был дорогами; в Тульской губернии были они хороши. Князь Никита имел счастье быть вытребован к государю, который говорил с ним почти час о князе Петре Михайловиче, княгине Софье Григорьевне, Зинаиде, о Макарьевской ярмарке, об Италии, о принце Кариньянском, Бетанкуре и проч. Никита рассказал мне весь разговор. Он не знает еще, что с ним будет. Государь сказал ему: «Напишите мне о том, что вы имеете у меня просить по команде, и отдайте бумагу Дибичу». Князя Никиты желание – быть при отце и кончить дела с Крюковой. Государь сказал ему: «Я знаю эту даму только с неблагоприятной стороны». – «Государь, у нее всего одна сторона; таково всеобщее мнение».

Рассказывал также, что Балашов, узнав о болезни жены, просил позволения к ней ехать. Они сидели за столом у Кривцова. Вдруг фельдъегерь. Балашов распечатывает письмо, читает, руки у него трясутся, и глаза наполняются слезами; все испугались: что такое? «Читайте, – сказал Балашов, – тут нет секрета, все вы скажете, что для такого государя нельзя не пролить крови своей». Кривцов взял письмо, писанное на двух страницах карандашом, рукою государя. Вот смысл: «Не только соизволяю на просьбу вашу, но требую, чтобы вы немедленно отправились к больной вашей супруге. Ценя заслуги ваши, не могу не принимать участия

душевного в вашей горести. Буду молить Бога, чтобы даровал больной исцеление; сожалею, что другим ничем помочь не могу особе, столь вам драгоценной. Прошу вас еще раз тотчас ехать, забыть обо мне, а заняться больною и меня уведомить, как вы ее найдете». Понимаю, что Балашов был тронут. Он тут же, со стола, поскакал, но нашел жену уже без памяти. Такие черты могут только еще более внушить обожания к ангелу, который правит нами. В древности императоров обожествляли.

Говорят, что в Туле нехорошо обошлось. Множество было просьб от работников, кои от введения на заводе машин остаются без пропитания. Барыня одна хотела подать жалобу государю, ее оттащили силою; она, видя, что государь едет, начала кричать столь немилосердно, что государь велел остановиться, вышел из коляски, пошел на крик и принял от нее бумагу; также говорят, что Кривцов ударил палкою экспедитора или смотрителя станционного, но я плохо верю последнему; здесь уверяют уже, что Кривцов отставлен, что также невероятно.

В полиции нашей не было никакой перемены, и вообще, кроме членов совета, не было совершенно ничего, да и, кажется, не будет. Вчера проводил я вечер у князя Дмитрия Владимировича; у него четверги и воскресенья.

Сию минуту выходит от меня Денис Давыдов, велит тебе кланяться. Государь в Орле был чрезвычайно доволен гренадерами, артиллерию и конных егерей нашел посредственными, а кирасир – дурными. Брат Дениса, приехав оттуда, тоже подтвердил, что государь недоволен был московскими дорогами, о чем многим отзывался. Надобно думать, что представления Князевы завязнут.

Александр. Москва, 11 сентября 1823 года

У тебя, говоришь, более такта, нежели у Тургенева и Полетики! Желаю, чтобы ты превзошел не токмо сих двух друзей, но и Платона, Соломона и собратий. Только я желал бы, чтобы друзья наши лучше видели вещи, чем ты, мой милый друг. Я не так думаю, как ты. Какая нужда 2-го чина? И что за беда, что тебе дадут то же, что Нессельроде? Ты говоришь, что другие будут основываться на твоем примере и то же требовать, что тебе дано. Тогда предстоит вопрос весьма простой: «Вы говорите, что вы действительный статский советник, как Булгаков… Это так, но позвольте спросить: заслуги ваши те же ли?» Как же дать тебе 6000 десятин, когда Фонтону дано 5000? Ежели пошло на чины – что же сделал Нессельроде особенного в течение всего этого времени, а твои заслуги, говоря по-тургеневски, европейские: все их ощущают.

Я вижу тут меланхолика Кампенгаузена. Государева воля эта ознаменована. Нечего делать! Все слава Богу, всякое даяние благо! Я не нахожу, чтобы Голицын тут много сделал. Главный виновник Тургенев, Нессельроде тоже благородно поступил. О царе и говорить нечего: всегда готов на добрые дела, когда просят о добрых людях. Меня часто утешает мысль, что ты получил милость эту. Не торопись только продавать. Меня точно уверяет Метакса, что, отдав в аренду землю, ты должен получать в год 25

тысяч дохода. Во время оно тоже говорили в городе, что Голицыну даны шифры на эполеты; но я не писал тебе, ибо был только городской слух, я почти уверен, что награждения Князевы залежатся. Шафонский свои взял прошлого года, теперь же бог знает кого не представляли к награждению. Наш дурак Щербатов всем объявил, что ему пожалован ключ, но не видать ключа до сих пор. Вот каково – болтать прежде времени!

Ох, жаль мне Закревского! Я давно об ней слышу дурное: все не верил, но, видно, дело так. Она была влюблена страстно в Шатилова; но этот, не успев ее образумить ничем, сказал мужу. И теперь, говорят, много проказ. Нет, брат, видно, карьера Арсения совершилась. Для такого умного, осторожного и скромного человека я всегда удивлялся его речам насчет Аракчеева. На что было перенимать у Марченко? Я уверен, что это штука графа Алексея Андреевича; немало он объехал, сидя с глазу на глаз в коляске с государем, имел время обработать своего ненавистника. Места нового, кажется, не примет Арсений; ему с этим не сладить. Он был рожден для места, которое занимал; жаль очень! А жаль еще более то, что он не наслаждается семейственным счастием; имея это, все переносишь, а везде жить можно счастливо, даже в пустыне.

Константин. С.-Петербург, 12 сентября 1823 года

Кампенгаузена таки не могли спасти: он вчера в пять часов пополудни умер от усилившегося антонова огня. Реман от него ко мне приехал и уверяет, что даже ежели б тотчас у него отняли руку, когда он ушибся и когда еще не было к тому побудительной причины, то и тут вряд ли бы его могли спасти, а последнее время он бы и операции не перенес: под ножом бы умер. Жаль его! Многие его не любили; он точно имел странности, но был человек честнейший и государственный. Кто-то будет на двух его местах? После него осталась жена, а детей нет.

Вчера оставил я тебя, чтоб идти к князю в департамент, мой милый и любезнейший друг. Между прочим говорил он мне о десятинах. Возвращая докладную записку, государь ему писал: «Ты знаешь, сколько я люблю Булгакова и сколько я доволен его службою; но определение 10 тысяч по его чину полагаю невозможным» (или неудобным, не помню), – и точно по тем причинам, кои я тебе описывал в одном из моих писем. Это значило бы открыть новую дверь, и что тогда даст император генералам, которые завоевывали эту землю? Вдовам и детям тех, кто потерял там жизнь? Я, право, был всегда этого мнения, что Нессельроде слишком много предложил. Князь меня уверил, что он все-таки писал еще раз государю; я его благодарил, но нахожу,

что это напрасно. Если государю угодно, то он может всегда вознаградить это другим чем; да, впрочем, и в сем не вижу нужды, ибо полагаю пожалованный участок весьма достаточным и благодарю Бога за него.

Александр. Москва, 13 сентября 1823 года

Ты меня радуешь, что Воронцова дело землю тебе отводит, хотя это и не нужно: я ему писал, просил отвести тебе такие земли, чтобы производили сахар, чай, кофе, ананасы и даже чтобы были золотые руды. Вы все ожидаете прибавления к милостям 30 августа. Ничего до сих пор нет ни Шульгину, ни другим; не думаю, чтобы этому и было что-нибудь. Его положение с князем Дмитрием Владимировичем странно. Князь его гонит вон, видимо, но тот все еще держится, государь точно призывал Шульгина в кабинет, и надобно думать, что не за добром, потому что он вышел бледен как смерть и не выдержал, чтобы не сказать князю: «Вы меня хотите погубить?» А князь на это отвечал громко: «Я этого *мерзкого* слова не знаю; а я рад, что вы узнали, что я об вас думаю». Между тем Шульгину отдана благодарность в приказе наравне с князем. Дня три назад в князевом кабинете была ссора у Шульгина с губернатором; при князе Шульгин ему сказал: «Я все запру на замок». – «А я, – отвечал губернатор, – замки велю выломать!» Речь была о губернском замке, который оба себе присваивают. Все это очень странно и неприлично; чем-то кончится? Вчера Юсупов[102] получил извещение от графа Аракчеева, что государь изволил подписать все его представления и что они отправлены по принадлежности, а о Князевых представлениях не слыхать ничего. Князю не дали ничего здесь, так теперь, верно, ничего и не будет.

Намедни у князя Дмитрия Владимировича видел я ввечеру Катерину Семеновну Тургеневу, у коей целовал руку и благодарил ее за дружбу Александра. Она – как мумия, все в одном положении.

Сегодня пишу к Воронцову, чтобы рекомендовать ему Чумагина племянника Стамо. Надеюсь, каков дядя, таков и племянник. Я рекомендую ему также Пиллера и говорю графу Михаилу: «Ежели на всякий ваш чих Пиллер не составит по крайней мере по сонету, сие будет не по его вине».

Вчера задал нам славный обед князь Николай Гагарин; были Никита В. и Вяземский, Меншиков Николай, Алексей Михайлович Пушкин, который врал, по обыкновению. Первые два подзывают меня ехать на сутки в Остафьево, но я отговорюсь чем-нибудь: может быть, задержат долее, да боюсь я, чтобы не заставили пить, тем более что княгиня здесь, а компания только мужская.

Наташа на дороге исписала страниц шесть. Добрая бабёнка и добрая мать. Выписываю её слова: «Я благодарю Бога за детей моих. Я многим им обязана, ибо исправилась от многих вещей через страх дать им дурной пример и потерять все достоинство, коим должна обладать рассудительная мать, без чего не ставят ее ни во что и не слушают, разве только из страха, а надобно убеждение, чтобы это имело успех. Их благо сод ел ало мое благо: наблюдаешь за собою, исправляешься и мало-помалу теряешь дурные привычки». Можно ли более доказать любовь свою к детям? Это лучше всех поцелуев в свете, лучше глупого баловства других матерей. Меня так тронули строки сии, что я не могу не выписать их тебе.

Ох, Метакса все денег просит: сгоняют с квартиры. Жалок, бедный! Надобно помочь; пришел в такую минуту, что у самого мало денег. Завидуешь богачам, кои всегда бы могли одолжать; а кто знает, я, может быть, разбогатев, сам сделаюсь скрягою! Провал же возьми и богатство, ежели так.

Константин. С.-Петербург, 14 сентября 1823 года

Только и говорили все эти дни о смерти Кампенгаузена. Он сделал завещание, призвал священника и после уже не был почти в памяти. Бедный Анреп, после случившейся с ним белой горячки, все хуже да хуже. Его брат был у меня – просить почтальона, чтобы проводить их до Дерпта, куда он его везет. Я читал во французских газетах, что Роже Дамас умер. О нем давно не слышно было, а в свое время много делал шума, особливо между женщинами. Я думаю, он чахоткою умер. Старые знакомые понемногу все убираются. Здесь есть один старичок, которого мы все зовем тёзкою. Он лет двадцать всякий день обедает у Николая Дмитриевича. Третьего дня также у него был, в восемь часов пошел домой, по обыкновению выпил стакан легкого пунша, закурил трубку, между тем жена его легла и с ним разговаривает; наконец говорит ему, что пора спать, он не отвечает на несколько вопросов. Она подошла к нему и находит его сидящим на креслах с трубкою, но без жизни. Ничто уже не могло его воскресить. Он имел предчувствие, что умрет внезапно, и потому всегда носил на себе записку, в которой означил, кто он, где живет, и просил, если Богу угодно послать ему смерть на улице, то чтоб отнесли его домой. Я его встретил в тот день, шел старичок с палочкою и казался бодр. Давно его не видали таким веселым, как за последним обедом у Жулковского.

Кампенгаузен в последние часы все бредил, расстреливал жидов и их ругал. Реман говорит, что хотя тут не до смеха было, но нельзя было удержаться, как он делал пиф-паф, – и эти

мошенники контрабандисты повержены.

Александр. Москва, 14 сентября 1823 года

Вчера в театре, как ни слушаю я внимательно музыку, заметил я какое-то движение в партере; оглянулся, что же? В средине один, никем не окруженный, сидел, как на выказ, какой-то кавалер в порядочном фраке и заснул так крепко, повесив голову совсем назад, что начал храпеть. Все внимание обратилось на него, а мамзель Казелли, которая большая хохотушка, чуть не сбилась с роли своей. Подослали тихонько капельдинера его разбудить, насилу в том успел, и спякса, открыв глаза до половины, ну тянуться, препровождая эту операцию песенкою, которую обыкновенно напевают пробуждающиеся от сна. Все захохотали, и молодчика вывели из театра. Никак не могли узнать, кто он; одно твердит: «Я не украл, я не шумел, проспал оперу, тем хуже для меня, ведь это не обедня или не проповедь». Я ему сказал (ибо тоже вышел, желая узнать, кто он таков): «Покуда вы спали только, вас не трогали, да вы стали храпеть». – «Да что с ним толковать, – прибавил Ровинский, – извольте убираться домой!» – «Что вы меня гоните домой, я пойду еще в Русский театр: здесь я заснул оттого, что по-итальянски не знаю». Надобно было видеть его серьезную рожу, надутые щеки и серьезный разговор!

Как будто дело говорит. Можно подумать, что он несколько не в себе. Очень он меня позабавил; эта история смешнее вашей с мадам Брис.

Бью челом Полетике, который совсем меня забыл, также Манычару; скажи ему, что Апухтина прогнал принц из службы, на него большие есть недочеты, по одной дороге Московской 65 тысяч. Фитингоф хотел его спасти, не будучи богат, дал, что мог – 5000 рублей своих денег; только и имел. Герцог узнал и стал выговаривать ему, что потакает вору. «Я хотел, – сказал Фитингоф, – спасти честь мундира нашего, который также и ваш, принц; к тому же я знаю, что у Апухтина большое семейство». Герцог остановился, минуту подумал, пожал руку Фитингофу и сказал ему: «Это делает честь сердцу вашему, вы заставили меня опомниться, я хочу подражать вашему примеру, я не сделаю Апухтина несчастным, но не могу его сохранить, пусть он просит отставки, и он получит ее без позора, лишь бы возместил все деньги». Только полагают, что он не выпутается…

Константин. С.-Петербург, 15 сентября 1823 года

Когда Меншиков уезжал отсюда, то видно было, что если и воротится сюда, то не желает занимать прежнего своего места [в

военном министерстве]. Он точно часто нездоров, а оно требует беспрестанного занятия. Я не согласен с ним во мнении, что Закревский не примет генерал-губернаторства, и полагаю противное. Чем ему отговориться? Да и зачем? Ведь это повышение, место важное, почетное, доверенное и независимое. Если для того, что языков не знает? Государю сие известно, и если он признал его способным, то неловко, кажется, отказываться. Одно разве: здоровье его плохо, а климат там дурен; но и тут он должен испытать на месте, может ли перенести. Я уверен, что он примет, и хорошо сделает. Вот жене его невесело будет в Або или в Эльсингфорсе, но не все же и веселиться: довольно погуляла. Я б желал знать, что государь говорил с князем Никитою о князе Петре [то есть с князем Никитою Григорьевичем Волконским о зяте его князе Петре Михайловиче Волконском]. Увидим, что-то он из Парижа напишет, будет ли в сем году сюда или нет. Черта государя с Балашовым меня не удивляет, а восхищает. От ангела как не ожидать всего, что утешить может?

Кривцов [Николай Иванович, ходивший на протезе] всегда ходит с палочкою, ему нужно ею подпираться, а бить смотрителей не нужно; да я сему не верю: это на него не походит.

Дмитрий Львович Нарышкин взял у меня почтальона и послал его вчера в Поланген навстречу к Марье Антоновне. Между тем отделывает дом, убирает его и обещает балы и маскарады. Ты, кажется, видел его залу, – лучшая в городе. Фонтоны и княгиня Багратионова совсем переехали из Царского Села. Видел я бюст Торвальдсена. Государь очень похож, так что меня твой приятель Фортини соблазнил обещанием сделать точно такой из мрамора же, я ему уже заказал, а он уже и начал. Дорогонько, да нечего делать: надобно, чтобы в нашем роде осталось навсегда изображение нашего ангела. Ходили мы также с Манычаром и Фонтоном смотреть картины Кипренского. Главная его картина – кажется, гробница Анакреона, – большая дрянь. Портрет Авдулиной очень хорош, только слишком уже занимался он подробностями: на бровях всякий волосок виден. Также недурен портрет итальянской крестьянки, только я принял ее за цыганку. Что прекрасно – это портрет, карандашом написанный, Италинского. С этого постараюсь иметь копию. Подлинно вещь, Бог свидетель, очень хорош и похож. Воронцова Тициан будет бесподобный. На нем был каретный лак, которого часть Бриоски уже снял; теперь он на холсте. Бриоскиева картина на манер рафаэлевых Богородиц также очень хороша. Он ее писал для своего благодетеля в Италии и хочет ему сделать сюрприз; только я думаю, она останется в Эрмитаже. Воронцов пишет из

Одессы от 7-го числа, что ездил, за 90 верст, за женою и дочерью и привез их благополучно в Одессу здоровых и веселых. Контролер адмиралтейства, который тоже упал с дрожек и ушибся (кажется, Наумов), также умер. Назаров сказывал, что Кампенгаузен отказал свою библиотеку графу Аракчееву.

Константин. С.-Петербург, 16 сентября 1823 года

Сейчас с похорон Кампенгаузена, которые долго продолжались. Я устал, поздно, но не хочу отпустить почты без письма к тебе, мой милый и любезнейший друг: это бы было противно и чувствам моим, и привычке. Много очень было на похоронах членов Совета, сенаторов и проч. Пастор

Рейнбот говорил надгробную речь сперва по-немецки, потом по-русски, и очень хорошо. Отпевали (или, лучше сказать, церемония была, ибо у них после проповеди благословят гроб, да и кончено) в той же церкви, где отпевали Керестури. Я ездил с Тургеневым, который нашел, что все хорошо, только не было завтрака.

Александр. Москва, 18 сентября 1823 года

Я сию минуту от Фавста. Мы время провели славно, весело; погода такая, что летом не может быть лучше. На дворе так было мне жарко, что должен был скинуть сюртук и надеть фрак. Фавст задал славный обед своей именинице; ввечеру был фейерверк, гуляли, играли в вист. Прошу сказать Кубышке, что все пили за ее здоровье также, а я за нее приседал и благодарил. Дорогу нашел я усеянную множеством народа, который ее портит для блага проезжающих. Безобразова чин колет всем глаза. Думают, что надобно портить дорогу, чтобы себе путь проложить.

Графу Ростопчину сделан удивительный прием здесь. Поутру (на другой день его приезда) были у него князь Дмитрий Владимирович, Шульгин, комендант, полицеймейстеры, почти весь Сенат и все знакомые. Шульгин сказал ему: «Ваше сиятельство, полиция, помня ваше начальство и милости, просится вся к вам явиться, позвольте хотя частным приставам к вам быть». Он сделал это намеренно, из неприязни к князю Дмитрию Владимировичу. А граф покамест весьма чувствителен к свидетельствам привязанности, кои ему выказывают. Мы ходили по городу пешком. Только что вышли за ворота, мужик один, и ему незнакомый, подошел к нему и стал целовать у него руки, говоря: «Батюшка, ты опять с нами! Слава Богу, что ты воротился; только стар стал!»

Александр. Москва, 19 сентября 1823 года

Приезд графа Ростопчина меня задержал. Я у него целый почти день бываю, и все не переболтаем всего. Он ожидает журналы, на кои ты его подписал, а между тем благодарен Рушковскому, который оными его снабжает покуда. Пока не забыл: Сахарову очень известны земли бессарабские. Он говорит, что сначала в Крыму земли были по 15 рублей, а теперь по 200 рублей десятина, что то же будет и в Бессарабии, что надобно стараться иметь земли по Днепру, что ежели ты населишь хоть 50 душ, что тебе станет тысяч семь, то получишь большой доход, что не надобно торопиться продавать.

Графиня Мамонова все еще не бывала, а брата ее привезли из деревни отчаянно больного: у него род белой горячки с воспалением в подчеревке. Негри все у него и сказывал, что он и страшен, и прекрасен; волосы локонами висят на плечах, борода три года не брита. Ночью все ходит по всему дому с кинжалами; вдруг говорит Негри: «Это вы меня отравили». Тот ему хладнокровно отвечал: «Что за мысль! В этом свете все делается из выгоды, и моя выгода в том, чтобы вы жили; ибо я купец, а вы богаты и покупаете у меня все, что вам угодно, не торгуясь. Ежели вы умрете, я не смогу уже ничего вам продать». Тот отвечал: «Если бы все говорили со мною, как вы! Но кто-то меня отравил». Говоря, смотрит он быстро в глаза, и ежели примечает замешательство, то тотчас имеет подозрение. Кутайсов, бывший у него, чуть не умер от страху. С трудом могли его уговорить сюда ехать: в Дубровицах, своей подмосковной, он послал за священником, исповедался, причастился как истинный христианин, повторяя: «Я должен умереть, болезнь моя нравственная и неисцелимая», – посадил попа в карету, запряженную шестью арабскими лошадьми, перелетел 11 верст в 20 минут, две лошади пали, он велел вернуться в Дубровицы, говоря: «Видно, мне не должно ехать в Москву». Двое суток с ним бились, наконец уговорили его ехать лечиться сюда; его привезли сюда вчера; было уже три консилиума, ему ставили 40 пиявок к брюху и шпанские мухи к боку. Доктора боятся воспаления. Организм его так испорчен, что он выделяет экскременты через рот. Жаль будет его, но он был уже потерян для света давно. Альбини, Мудров, Сюодери и еще двое у него безвыходно. Вообрази, какая сила у Мамонова: Негри мне сказывал, что он один перенес из нижнего этажа дома в верхний мраморную статую, такую, что трем впору ворочать.

Константин. С.-Петербург, 21 сентября 1823 года

Граф Кочубей мне пишет из Черкасска, что он туда прибыл «после неисчислимого множества невзгод. Мы приближаемся к

концу нашего предприятия, бесспорно, самого трудного, какое мы затевали. Я собираюсь покамест лишь ненадолго появиться в Феодосии, рассчитывая после отправиться в Одессу и оказаться в Вознесенске во время пребывания его императорского величества, то есть к 11-му октября». Татищева вдруг собралась и поехала в Каменец-Подольский, где надеется встретиться с мужем. Всех удивила. Дочь поехала с нею. Вот что мне добрый Воронцов пишет о десятинах: «Чтобы лучше устроить это дело, я пошлю вашего зятя в одно время с человеком Нессельроде посмотреть и выбрать несколько имений, которые, сказывают, бесподобны. Не надобно терять времени, и ничто так не правильно, как позволить выбрать тем, кто явился это сделать первыми. Позднее я смогу вам предоставить только те земли, от коих другие откажутся. Ваш зять выберет для вас и вашего тестя без предвзятости то, что, я надеюсь, император даст вашему тестю по всей справедливости. Человек Нессельроде будет полезен вашему зятю своими знаниями, а Варлам будет ему полезен своими связями с Карниловичем и властями страны. Все от сего выиграют». Спасибо ему, таким образом надеюсь иметь хорошую землю.

У Голицыных играли очень хорошо, а после прыгали у Строгановой до пятого часа. Спасибо жене, что она до конца не осталась. Мы в тот день с Манычаром и Яновским слушали музыку у Далоки. Сегодня именинник также князь Дмитрий Николаевич Салтыков, надобно ехать его поздравить. Вчера мы были у Лашкаревых. Они наняли себе очень чистенький деревянный домик в Коломне, близ Аларчина моста. Она, мне кажется, белится. Его теперь редко видно у нас. Бутенев также женится в Ревеле на Шевичевой, ждут его сюда с молодою женкою. Один наш Полетика еще держится.

Александр. Семердино, 21 сентября 1823 года

В Москве слышал я, что Бахметев свил гнездо у князя Юрия Владимировича Долгорукова и что устраивается для него весьма выгодная свадьба, а именно с дочерью княгини Варвары Юрьевны Горчаковой, коей дочь очень будет богата[103]. Один старик только еще не соглашается. Я рад буду за нашего приятеля.

Ростопчин производит некоторое волнение в Москве; все бросились к нему, и еще более будет народу, когда заживет домом; он для утешения Лизы своей хочет давать балы всякую неделю. Он привез мне множество рисунков и эстампов, но еще не успел разобраться. На Голицына и особенно на губернатора все ропщут за дороги.

С лишком 40 тысяч народу приведено в движение для починки дорог, а выходит, что их не чинят, а только копают (а

теперь земля так тверда, что топор и лом не берет, а заступы все ломаются) канавки глубже и обкладывать будут дерном, как по Ярославскому тракту. Я ехал от Фавста, и по Можайке нагнано тьма народу. «Зачем вас, братцы?» – спросил я у мужика. «Да вот, батюшка, мы здесь *шестой* день живем без дела, никто нам ничего не указывает, и мы не знаем, зачем нас выслали; а говорят, что будем канавки копать да делать *бурдевалы* (бульвары)». Вообрази, что иные выгнаны из-под Рузы, а на Троицкую нашу высылают из-за Клина, почти с тверской границы. Непонятное распоряжение! Всех разорят. В избах спят от 40 до 60 человек; будь это летом, то недолго и до заразы. Что-то будут они делать, как пойдут дожди?

Известно, что государь был недоволен дорогами московскими, а ежели все это дойдет до его сведения, то недовольствие его умножится. Надобно думать, что представления не выйдут; мне сказывали, что граф Аракчеев прислал запрос князю Дмитрию Владимировичу, спрашивая, чем занимаются служащие при нем по особым поручениям чиновники. Их не 42, а 73! Ужасное число.

Константин. С.-Петербург, 25 сентября 1823 года

Принцесса Шарлотта прибыла в Мемель 19-го. Вчера должна она была ночевать в Риге. Мой чиновник приехал с границы с письмом от нее к императрице Марии Федоровне, которая пожаловала ему золотые часы.

Шатилов был с час у меня. Митюша Нарышкин просто переведен приказом в статскую службу, но не в герольдию. Может служить или нет, – никто его не принуждает, и никуда не назначат, пока сам просить не будет: следовательно, может спокойно дожидаться определения к Воронцову[104].

Александр. Семердино, 26 сентября 1823 года

Путешествие к Троице. Дорога гладкая, сухая, приятная; часто шел я пешком. Народу и приезжих такая была бездна, что я насилу нашел нанять комнатку. Многих очень нашел я московских. Филарет служил. Отслушал часть обедни (ибо за чрезмерною теснотою и жаром долее не мог остаться в церкви), походил по ярмарке, отыскал, наконец, Корсакова, сел в его карету; людей посадили мы в мою коляску, заехали мы в Епифанию, там все осмотрев, продолжали путешествие в Семердино; не видал, как приехали. Я старика раззадорил, и он мне подробно рассказал, как попал во время оно в случай и что тогда происходило при дворе, и проч. Ты знаешь, что я большой охотник до екатерининских анекдотов. Не приметил, как мы

явились в Семердино в 3 часа. Я думал, что Иван Николаевич у нас погостит; но он и ночевать не остался, спеша возвратиться к своим собакам и зайцам. Жаль, что сюда охоты своей не выписал, а у нас места славные. Мы проводили гостя до первой деревни.

Насчет бюста императора советую тебе посмотреть у Дау портрет императора во весь рост в серебряных эполетах, величиной около аршина; я отродясь не видывал столь схожего портрета, а государевы все были неудачны до сего времени. Он просил 1500 рублей, а я думаю, за 1000 рублей бы отдал; не было у меня денег, а то я бы не упустил. Кланяйся от меня Кипренскому. Наташин портрет его работы и теперь передо мною.

Константин. С.-Петербург, 28 сентября 1823 года

Все наши здешние матадоры едут завтра в Гатчину, чтобы послезавтра находиться при приезде принцессы Шарлотты. Завтра императрица Мария Федоровна выезжает к ней навстречу в Черновицы. Сюда едет принц Прусский, бывший на маневрах в Брест-Литовске, тот самый, который уже был здесь несколько лет тому назад и которого укусила собака [будущий император Вильгельм I]. Великого князя Николая Павловича ежеминутно ожидают.

Бистром мне вчера сказывал, что есть известие от Закревского, от 20-го из Бреста, и что 23-го он должен был быть в Москве. Я надеюсь, что ты с ним где-нибудь да виделся. Он видел государя и, говорят, доволен своим новым местом. Многие думали, что он от него откажется, но я никогда не разделял этого мнения: он слишком благоразумен, чтоб не попробовать, в силах ли будет управиться в Финляндии, и отказаться от места почетного, доверенного и выгодного. Жена его не приехала в Краков, где он надеялся с нею съехаться. Здесь даже сомневаются, чтоб она прибыла сюда в сем году. Бог знает, что про нее рассказывают. Если эти слухи, которые я все-таки полагаю вздорными, дойдут до доброго Арсения, то сильно его огорчат. Уверяют, что теперь она в связи с принцем Кобургским [будущим королем Бельгийским], и проч. Дай Бог, чтоб это было вздор.

Константин. С.-Петербург, 29 сентября 1823 года

Сегодня большая церемония в католической церкви, панихида по папе; но так как там начинается в 10 часов, то, несмотря на предложение Тургенева ехать с ним и на обещание его иметь кресло, решился я остаться дома. К тому же одесская почта отходит утром, да и церемония будет продолжаться девять дней, так успею ее увидеть.

Александр. Семердино, 30 сентября 1823 года

Граф Ростопчин сказывал мне, что воды карлсбадские очень помогли Строгановой, урожденной Кочубеевой, но что она после поехала к другим водам, от коих стало очень ей дурно.

Благодарю тебя за душистую бумагу, которую выписываю я для княгини Куракиной. Портреты Гинрихса и Вейса буду ожидать. Этих людей никогда не забуду. Наша Юлия [супруга Д.П.Татищева] таки не утерпела, пустилась к мужу. Спасибо Воронцову за все, что пишет о десятинах. Он, верно, славно тебе устроит все это дело, а я буду ему тогда писать и благодарить.

Рушковский пишет, что был у графа Ростопчина. «Знаете ли, – сказал он, – что в прошлое воскресенье ходил я выразить неизменную мою признательность графу Ростопчину. Он принял меня с бесконечною добротою, и я воротился весь в восхищении от его ума и любезности. Вы, верно, сказали ему что-нибудь хорошее на мой счет, и я постараюсь это заслужить». Фавст сказывал, что был у графа Федора Васильевича, который очень его обласкал, называя обломочком 1812 года. Ты помнишь, что он находился при нем.

Константин. С.-Петербург, 2 октября 1823 года

Добровольский, ездивший навстречу к принцессе Шарлотте, чрезвычайно все в ней выхваляет: красоту, ловкость, приятность и благосклонность. Императрица Мария Федоровна сделала ей сюрприз, выехав к ней в Каськово навстречу; а на другой день, 30-го, принцесса прибыла в Гатчину, где теперь готовится много разных увеселений, спектаклей и проч. Заговорили было, что государев маршрут переменен и что возвращение будет ранее, чем назначено, но я сему не верю; по крайней мере, мы доселе не имеем никаких сведений, ни приказаний.

Александр. Москва, 2 октября 1823 года

Как досадно! Я вчерашнюю почту прогулял, по милости графа Федора Васильевича и Закревского. Поехал к Арсению в 6 часов, нашел его дома и одного, ну очень обрадовались друг другу; только было принялись говорить, явился Шульгин и ну барабанить; говорил, говорил о своих ссорах с князем Дмитрием Владимировичем и губернатором. Я вижу, что не дождусь конца, тут же после приехал Ренкевич и множество других. Я отправился к графу, условясь с Арсением, что возвращусь к нему позже, когда все от него разъедутся, что и исполнил, но так это было поздно, так я заболтался, что уже не время было отправить мое письмо к тебе; я же знал, что Арсений писал тебе прямо. Я нахожу, что он стал худее, но свежее в лице, дурной этот жир опал. Он очень

весел, чувствует, как лестно новое его назначение, предвидит много забот, но чувствует необходимость исполнить волю государеву, которого имел счастие видеть в Бресте. Государь его обласкал, очень подробно говорил с ним обо всем и отпустил его очень довольного. Закревский здесь ожидать будет жену, проживет здесь месяц и через Петербург отправится к новому своему месту. Многие думали, что Закревский выйдет в отставку, – у него и на уме не было этого: «Конечно, старое мое место мне более по душе, но тут я начальник отдельной армии, военный губернатор, имею оклад большой, отношусь прямо к государю, могу, когда хочу, приезжать в Петербург. Грушеньке будет скучно, да и мне сначала, да делать нечего».

Князевы представления вышли. Шульгин, видно, устоит: ему даны знаки бриллиантовые Анны. Только странно их положение всех. Князь не может его видеть равнодушно. Государь обещал Шульгину крестить у него и писал князю Дмитрию Владимировичу быть вместо него восприемником. Вот, по крайней мере, то, что он сказал вчера Закревскому при мне.

Говорят об истории Караулова, этого пострела, усача, служившего у Ираклия Маркова. Дело переходит в Сенат. Он увез жену одного священника в Симбирске, набелил ее и так изуродовал лицо ее, что заставил ее же мужа венчать ее с собою. Поп узнал о том только после, и вышла каша большая. Поп говорит: «Это моя жена», – а множество свидетелей и причт, подкупленный Карауловым, показывают письменно, что нет. Этот же самый Караулов 20 лет назад заставил также попа хоронить козу. Он имел 2000 душ и все так прошалил и проел.

Константин. С.-Петербург, 3 октября 1823 года

Только и разговоров, что о новой приезжей принцессе, которую все видевшие превозносят. С Александром Ивановичем Татищевым говорила по-русски.

Карамзин мне пишет, что ему хочется остаться в Царском Селе до возвращения государя.

Александр. Москва, 4 октября 1823 года

Все мое время провожу между княгинею Куракиной, Закревским и графом Ростопчиным, который встревожен болезнью своей дочери-красавицы, хотя она и незначаща: кашляет, и грудь болит. Пренебрегать, конечно, не надобно, но и беспокоиться незачем. Она, однако же, с нами обедала. Лучше бы всего бросить корсет на несколько дней.

Арсений вчера ездил в Суханово к Волконской, ввечеру был у нас, но, к сожалению, нас не было дома. Он завтра собирается в

свою деревню, кажется, в Тулу. Я о Закревском писал подробно любезному брату. Желаю, чтобы неправда была, что говорят о его Грушеньке; но дело сбыточное: все станется от этой избалованной ветреницы. Некому ее унимать, а отец разве даст сам пример глупостям. И здесь так много о том же говорят, что я боюсь, чтобы не дошло до Арсения. Все уверены, что она сюда не будет вовсе, а останется в Италии. Я слышал, что на балу во Флоренции Кобургский объявил Аграфене Федоровне, что не может ехать за нею в Ливорно; она упала в обморок и имела обыкновенные свои припадки. Этому был свидетелем не один человек, так мудрено ли, что все о том говорят. Сожалею душевно о бедном и добром нашем Арсении, который очень заслуживает быть счастливым.

Алексей Орлов здесь, но я его не видел. Он поехал в Ростов, где находится графиня Орлова, отбывшая туда внезапно из-за болезни знаменитого Амфилохия, престарелого монаха, который слывет святым и который графинин исповедник. Она, кажется, хочет отстать от света: распустила свою капеллу, состоявшую человек из шестидесяти, всем дала свободу. Видно, праздников давать не намерена более, да и на балы ездить не хочет уже. Не была на балу и во время государя.

Теперь много говорят о Витберхе, собирающемся ехать на год к водам. Ростопчин говорит на это: «Что это за воды? Он не министр; я бы просто велел с горы, где он строит свой воздушный храм, столкнуть его в Москву-реку: будет с него и этого купанья!» Скажи это Тургеневу, это по его части. Кушников, видно, не князь Дмитрий Владимирович, который стерпел, чтобы Витберх сделал в комнате присутствия *круглый* стол, дабы никто не имел первого места. Каков? Кушников говорит публично, что храм этот – дело несбыточное, что он писал уже о сем и ждет только пути, чтобы ехать в Петербург объяснить все государю и во всяком случае проситься вон из этой компании. Бог знает, когда церковь будет построена, а между тем материал заготовленный гниет, и денег убухано *уже 20 миллионов*! И теперь все встало оттого, что денег нет. Понимаю, что, ворочая такими суммами безотчетно, Витберх мог, как и говорят, страшно обогатиться.

Шульгин точно получил бриллиантовую Анну. Он рассказывал Арсению сцену свою с губернатором у князя в кабинете. «Я, – говорит он, – до того рассердился, что сказал губернатору: “Вы можете плевать на Шульгина, но при малейшей обиде обер-полицеймейстеру я вам уши обрублю: мне этому не учиться”». – «Что же говорил князь?» – спросил Закревский. «Ничего! Стоял у стола и ногти себе стриг». «Так что (заметил граф Ростопчин, которому я рассказал этот анекдот) князь изменил пословице; вместо того, чтобы сказать: «Я умываю

руки», – он говорил: “Господа, я подрезаю ногти”». У этого ничего не уйдет! Вчера я сидел у него часа три, и он все рассказывал мне прелюбопытные анекдоты об императоре Павле. Я графа просил не показываться во фраке на улицах, что нехорошо, может дойти. «Но я же послал мое прошение об отставке». – «Все равно, вы ведь ее еще не получили, все на вас смотрят, не надобно подавать дурной пример, как будто вы пренебрегаете военным мундиром». Он смолчал, авось-либо и послушается. Зачем ставить Голицына и Веревкина в неприятное положение, упускать свою должность или сделать графу неприятность? Он все разбирает теперь свои картины, коих множество; до моих эстампов он еще не добрался.

Константин. С.-Петербург, 5 октября 1823 года

Одесская почта привезла мне письмо от Воронцова от 26-го и из Тульчина от 29-го сентября. Государь проехал через Хотин в Черновицы 24-го. Австрийский император встретил его на границе, где они сели вместе в коляску и отправились далее. Тридцатого наш государь должен был иметь ночлег в Тульчине, возвратясь уже из Черновиц. Воронцов видел также Татищева, приехавшего тотчас после государя в Хотин. В последнем письме Воронцов говорит: «У нас будет пять дней смотров и маневров. Надеюсь, что Сабанеев добьется успеха, и сообщу вам о сем известия». Вот тебе описание и порядок маневров. Вот также стихи Жуковского к приезду принцессы Шарлотты, от коей все в восхищении.

Россини не умер. Слух разнесся от следующего анекдота. Он сочинил какую-то оперу в Венеции, которая совершенно упала. На другой день написали у него на дверях: «Rossini ё morto», и от этой шутки по всей Европе разнесся слух о его смерти.

Я еще не видел, но много слышал о портрете Дау. Князь Александр Николаевич, коего он тоже пишет, мне сказывал, что ни одного портрета государева нет столь похожего. Как скоро будет свободно, зайду в Эрмитаж. Жаль, что я не знал, что ты знаком с Кипренским. Я бы ему от тебя поклонился. Он был у обедни у князя тому две недели назад. Графиня Нессельроде приехала во вторник вечером. Мужа не видала дорогою, а ожидает недели через две сюда. Она здорова, видела Закревскую в Вене, которая едет к мужу с отцом. Ты и ее, вероятно, увидишь в Москве, если не теперь, то по возвращении из Белоруссии.

Александр. Москва, 8 октября 1823 года

Прежде нежели опять забуду, сообщу тебе прекрасную черту нашего государя, ежели она тебе неизвестна. В маневрах, бывших под Брест-Литовском, лошадь какого-то офицера, испугавшись

выстрела, понесла его и пробилась в толпу, где был государь. Офицер задел государя шпорою, распорол сапог и сильною контузией ушиб государю ногу больно, так что Закревский не мог в тот день видеть императора, ибо он не одевался ввечеру. Как скоро это сделалось, великие князья и окружавшие государя тотчас было поскакали за офицером, чтобы его схватить; но государь их остановил, сказав: «Я знаю, кто это!» После маневров сказал он Дибичу: «Отыщите для меня этого офицера, у него, по всей видимости, отвратительная лошадь, пошлите ему одну из моих лошадей и скажите ему, что это мой подарок». Меня восхитила эта черта; жаль, ежели подобные вещи будут потеряны для потомства и для будущего историографа такого государя. Нога у государя болела несколько дней.

Федор Петрович Уваров здесь, но спешит в Петербург, чтобы показывать гвардию принцу Прусскому. Я его видел издали в ложе князя Юсупова в Итальянской опере.

И у нас тоже много говорят о принцессе Шарлотте. Граф мне вчера поведал (когда я говорю «граф», это значит – граф Ростопчин), что это принцесса вроде Екатерины Великой, что она чрезвычайно умна, и все это содержится в весьма соблазнительном теле. Она прославилась знаменитым своим письмом, которое написала отцу своему в то время, когда тот был в ссоре с женою (матерью принцессы Шарлотты), и которое успехом своим стоило принцессе великой славы. Так что можно предвидеть, что она заставит себя полюбить всю фамилию, частью которой скоро сделается. Все, что ты мне о ней сказываешь, доказывает, что она будет продолжать в том роде, в каком начала. Кажется, ради нее у нас делаются большие расходы.

Я обедал вчера у графа с Арсением и Меншиковым. Этот худ, желт, и видно, что нездоров. Проболтали до семи часов вечера, и все о кампаниях 12-го, 13-го и 14-го годов. Всякий рассказывал свое, а граф дал нам полное понятие о всех живущих еще французских маршалах и даже женах их. У него бездна прелюбопытных анекдотов, не только о французах, но о всех известных людях прочих земель: все они перебывали в Париже, и со всеми был он знаком.

Константин. С.-Петербург, 9 октября 1823 года

Здесь все говорят, или, по крайней мере, многие, что князь Дмитрий Иванович [Лобанов-Ростовский], давно просящийся в отставку, получил увольнение и что на его место министром юстиции Сперанский. У Лазаревой я обедал с сим последним и с Журавлевым, и ничего не только не слыхал о сем, но и не заметил. Впрочем, быть может, и выбор преемника Лобанова

весьма хорош. О контролере ничего еще не слыхать, да я думаю, новый не будет назначен до возвращения государя. Поговаривают также, что государь двумя неделями ранее предположенного изволит возвратиться; но сего еще не видать. До сих пор в маршруте была только маленькая отмена. В Тульчин, вместо 28-го, государь прибыл 30 сентября. Дмитрий Львович мне сказывал, что жена его писала уже из Риги; он сегодня должен был ехать ей навстречу. Я чаю, она очень переменилась, а как хороша была!

Александр. Москва, 9 октября 1823 года

Вчера Корсаков прислал Кате и Ольге, невесте своей, воз славнейших яблок домашних. Для меня они лучше ананасов. Вчера заехали мы навестить Корсакова; он нас заарестовал; подъехал тесть, и мы там остались ужинать. Жена похвалила ковер, и подлинно прекрасный, а он, как галантный кавалер, и подарил ей; она было совестилась взять. «Да ежели так, – сказал он, – так я дарю ковер не вам, а невесте моей Ольге». Это один из прекраснейших синих ковров, какие только бывают, с темным оранжевым бордюром и прелестным рисунком. Он с нами еще говорил о поведении его сына, который все продолжает дурно вести себя. «Впрочем, – сказал он, – ежели Бог не продлит век мой, и я не успею прожить свое имение, я дам на себя векселей на два миллиона и раздам все, что имею, тем, кого люблю».

Сказывал тесть, что комитет не принял отзыва Рунича, отказавшегося дать объяснения Сенату, присовокупив, что он обратился прямо к государю. Ему вторично велено явиться в Сенат. Дело пакостное: он изобличается в клевете на

Болгарского, бывшего где-то губернатором, а Рунич ту губернию ревизовал; а сверх того, изобличается он во взятках, коих орудием был сын его, многоглаголющий Дмитрий Павлович, коего тоже вытребуют в Сенат или пошлют запрос. Это дело, даже если хорошо кончится, наделает много стыда отцу и сыну. Здесь точно во время государева пребывания дано было предписание Гедеонову (который то сам рассказывал) не пускать Рунича во дворец. Он был 30 августа в соборе, и ему знакомый шепнул это нарочно на ухо, чтобы избавить его от стыда.

Константин. С.-Петербург, 10 октября 1823 года

Здесь ничего нет нового, кроме дуэли флигель-адъютанта Кокошкина, о коей теперь я слышал и которая кончилась смертью его противника, гусарского офицера князя Барятинского. Ты, я чаю, его видел в Москве. Он заикался.

Я не сомневаюсь теперь в приезде Закревской, и то потому только, что графиня Нессельроде ее видела в Вене на выезде.

Авось и глупости все останутся за границею. Очень мне жаль доброго Арсения. Без домашнего спокойствия и благополучия и почести не утешают. Об Орловой я давно слышал, что она окружена монахами и намерена свет оставить. Будто в оном не может она делать добро и спасаться! Пусть печется о благоденствии своих крестьян, призревает бедных, и Бог ее не оставит Своею милостию. Впрочем, что будет – увидим. Много и выдумывают на свете, а особенно насчет богачей. Витберг купил себе какое-то имение. Имел ли он прежде какое-нибудь состояние и приобрел ли что с женою – не знаю; но все уже сего довольно, чтоб были о нем толки. Ты графу Ростопчину дал очень хороший совет: неприлично генералу ходить во фраке. Находится еще в оном, когда получит отставку. Подобные тузы должны первые подавать пример повиновения к правилам и законам и, отклоняясь от оных, не вводить начальников города в затруднение и неприятность.

Мамонова приехала, откуда – не знаю, но велела мне заявить о своем приезде. Надобно будет к ней сходить. Я ее люблю за то, что она нас любит и к вам была так хороша. Если успею, то сегодня заверну. Что-то она о своем брате скажет? Им, говорят, завладел П.И.Кутузов, у которого он и жил в Москве и который с ним поехал в подмосковную.

Александр. Москва, 11 октября 1823 года

Вчера, то есть во вторник, еду ввечеру к Закревскому, чтобы его обрадовать известием твоим о его жене (здесь столько наболтали на ее счет, что возвращение ее казалось мне вещью необыкновенною, радостною). Подъезжая к крыльцу, вижу множество разного рода дорожных экипажей. Так как не могла это быть Аграфена Федоровна, я думаю себе: кто бы мог это быть? Только вхожу к Арсению, – первый предмет, который я встретил, была его жена. Ну целовать, здороваться. В другой комнате был отец, который состарился и похудел; с ним приехал еще в своей коляске Сверчков, брат поверенного в делах. Ты можешь себе представить радость Закревского. Сказывал, что имеет от тебя письмо, повторение того, что ты мне писал. Аграфена Федоровна свежа, как розан, несколько подобрела: очень весела и довольна, что здесь. Не поверишь, с каким я удовольствием рассказывал о сем возвращении всем кумушкам, кои бог ведает что не говорили об ней: «Она не воротится, да уж я знаю; плюнь мне в глаза, ежели будет; она мужа бросила», – и проч. Кажется, все такая же ветреная, говорит о десяти предметах в одно время, просит есть, одеваться, ложу в московскую оперу, разбирать, что навезла, а еще лошади не отложены. Он страх как доволен ее возвращением.

Меня уверяют, что он знает все, что говорили о жене; видно, как умный человек, все в себе скрывал. Если бы все, что болтали на ее счет, было правдою, мне кажется, можно было бы заметить какую-нибудь перемену в том, как она держится, и речах ее. Это натурально; а вместо того она все такая же. Я не успел еще порядочно расспросить о знакомых наших в Италии; только знаю, что Сверчков, видимо, выздоравливает; какой-то доктор нашел, что не знали его болезни и не так лечили.

Я сказал одной даме, что ты слышал о Закревской от Нессельродши, а она мне в ответ: «Прекрасно, но Вена не Москва, подождите, пока она приедет, и тогда торжествуйте». Какая злоба и желание видеть везде раздоры и ссоры!

Описание маневров взял у меня Закревский, ибо он сего еще не имел. Читая анекдот о Россиниевой смерти, я подумал: «Вот на чем держится иногда новость, кою вся Европа повторяет». Сегодня ввечеру дают новую его оперу «Зельмиру». Во время оно газеты говорили, что это его шедевр; увидим. Только я не люблю серьезных опер, мне давай буффонаду, чтобы посмеяться.

Теперь говорят в городе о пассии сенатора Рахманова Григория Николаевича к Анти, которая живет с Киселевым. Тот, дурачина, дает ей 30 тысяч рублей, чтобы она разорвала с Киселевым; она не соглашается. Но он все-таки не пасует еще, ездит, вздыхает, и молодец над ним смеется.

Знал ли ты Сергея Ивановича Толбухина? Он умер вчера после четырехдневной простудной болезни. В клубе только и речи было, что об этом. Баллотировали вчера в члены старика-сенатора Северина (нашего Дмитрия Петровича папахена), и странно, что в 86 шарах не было ни одного черного; а в клубе есть чудаки, кои имеют за правило никогда не класть белого шара кому бы то ни было.

Правда ли, что графиня Мамонова помолвлена с каким-то уланским офицером Поливановым? Слышал ли ты это? Да полно, в Петербурге ли она? А брат ее решился, наконец, выбрить себе бороду; об этом говорят как бы о взятии Кадикса или о победе греков. Ты видишь, что Москва все та же.

Константин. С.-Петербург, 12 октября 1823 года

«Журналь де деба» тоже повторяет телеграфическую депешу герцога Ангулемского от 28 сентября, которую я тебе сообщил, мой милый и любезный друг, но… читай далее: «Вторая телеграфическая депеша. Порт Мари, 29 сентября, 6 с половиною часов вечера. Герцог Ангулемский президенту Совета министров: “Переговоры прерваны; военные действия возобновляются завтра на рассвете”».

Следовательно, дела еще там не кончены; но я готов парировать, что не пройдет недели, как в Кадиксе закричат «аман», только бы не переставали бомбардировать и не слушали никаких предложений. Когда Кортесы потеряют всю надежду на амнистию для себя, то выпустят короля, а сами, забрав сколько можно денег, дадут тягу, разве народ вступится за правое дело и их не выпустит. Долго эта история не может продолжаться, но когда газеты скажут и правду на этот счет, то не вдруг поверят.

Вышло по-моему. Король точно свободен, как увидишь из бюллетеня от 1 октября. Кортесы рассеяны. Очень любопытно знать подробности. Надобно ждать будущей почты. Известие сие прислано Убри из Берлина с почтою.

Там оно получено с курьером французским министром, следовательно, не сомнительно.

Винцегероде, вюртембергский министр иностранных дел, отставлен. На его место – здешний граф Герольдинген. О нем здесь сожалеть будут; его любили, человек очень хороший. Наконец получил я письмо от Каподистрии из Женевы. Он доволен своим здоровьем, коему очень способствует осень. Об Александре Львовиче говорит: «Он не тот, что прежде. Он кажется мне постаревшим на 10 лет. Может быть, он утомлен гельветической монотонностью и простотою. Не забывайте кланяться от меня вашему брату».

Князь Меттерних занемог в Лемберге и не был в Черновицах. Нессельроде поехал к нему, а о наших Северине и Матушевиче ничего давно не знаю. Минчаки, говорят, послан в Царьград с поручением, но с каким – не знаю. Вот тебе и все новости. Здесь никаких нет, кроме смерти жены Молчанова, которую вчера хоронили.

В Астрахани colera morbus, двое из почтовых чиновников умерли в несколько часов. Ужасная болезнь. Мне ее Мазарович описывал. Мучительнее ее, я думаю, нет, зато недолго продолжается.

Сейчас был у меня Кокошкин. Он и знать не знает о дуэли и полагает все это выдумкою и вздором; а здесь сказали, что от него слышали. Вот как можно верить городским вестям и слухам.

Вот что пишет Воронцов из Тульчина от 6 октября: «Все здесь окончилось самым счастливым образом. Император был в восхищении, Киселев сделан генерал-адъютантом. Я получил кое-что хорошее. Митюша Нарышкин – гражданский губернатор Крыма. Еропкин остается градоначальником в Феодосии. Богдановский – градоначальник в Керчи. Крупенский уходит и будет замещен Пизани из Одессы на месте вице-губернатора Бессарабии или Петрулиным. Гурьев получил орден Св. Анны,

который я ему сегодня доставляю. Я буду эти дни в Одессе, а после еду в Вознесенск. Сабанеев получит земли в Бессарабии».

Александр. Москва, 12 октября 1823 года

Вчера был Корсаков у Наташи. «Да отчего Александр Яковлевич все еще не уехал?» – «Да есть дела». – «Какие дела?» – «Как какие? Денежные. Вы думаете, что у нас миллионы, как у вас; что ни захочет, то и исполнить может?» – «Да как не стыдно Александру Яковлевичу! Он знает, как я его люблю; скажи он мне только слово. Я бы ему все сладил». – «Видно, что вы мужа не знаете, – отвечала Наташа, – он лучше для другого в воду бросится, нежели станет за себя просить, хотя могу вас уверить смело, что он очень вас любит». Дружба этого старика к нам столь велика, что многие и завидуют ей; между прочими тесть, который все ему упрекает, что он ему знаком 40 лет, а я – недавно.

Метакса к нам пришел напуганный. «Представьте себе, какое чудо! Вообразите, что Марья Ивановна Корсакова должна была быть погребена со всеми домашними под развалинами своего дома». – «Как это?» – «А вот как. Она поехала в деревню и Ростов; между тем, заметя, что вверху пол несколько пошатнулся, велела дворецкому это починить в отсутствие свое. Стали пол ломать, вдруг все балки обрушились, все упало; в том падении целая капитальная стена тоже повредилась. Много людей, то есть работников, перебилось, но, к счастью, никто до смерти. Балки столь были ветхи, что, лишь дотронулись до них, они рассыпались, как старые мертвые тела. Архитектор говорит, что дом этот более двух суток стоять не мог. Вот надобно же было Марье Ивановне именно поехать в это время из Москвы! А? Это точно чудо!» И ну хлопать глазами, смотря быстро на небо.

Александр. Москва, 15 октября 1823 года

Я князя Дмитрия Владимировича видел в ложе в Итальянской опере. «Пойдете ли вы завтра, – спросил он меня, – слушать прекрасную музыку, которая будет в католической церкви на смерть папы?» – «В самом деле?..» – «Новый папа уже избран». – «Да, и кто же?» – «Лев XII, кардинал делла Дженга. Так что надобно говорить, как про французских королей: папа умер, да здравствует папа!» Только, кажется, это ошибка; последний Лев был Десятый, протектор Рафаэля и вообще художеств. То-то, я думаю, движение в Риме!

Здесь другие слухи о Татищеве. Он должен возвратиться в Вену. Сестра его Урусова мне сказывала, что Меттерних занемог и не мог быть в Черновицах[105], что Дмитрий Павлович и Нессельроде поехали к нему в Лемберг, где их еще полагают.

Ну, сударь, вчера был бал у князя Дмитрия Владимировича; не хотелось, но поехал. Закревский просил; он был там тоже с женою. Я говорил с ним слегка о глупых московских слухах, что Аграфена Федоровна не воротится в Россию. «Вот для этого-то и уговаривал я Грушеньку, хотя она не очень здорова, ехать на бал». Мы сели в вист: Арсений, князь Урусов, родня наш Энгельгардт-высокий и я. Протанцевал я потом два польские, сел с Алексеем Орловым (он велел тебе кланяться) смотреть, как танцевали мазурку; а как пошли ужинать, я уехал домой. Князь звал к себе на все четверги и понедельники; спрашивал, не пишешь ли ты об отставке Лобанова. Я отвечал, что ты говоришь, напротив, что это не подтверждается, хотя и были слухи в Петербурге, что Лобанов просился прочь несколько уже раз. Шульгина я поздравил от тебя со звездою, которая и была вчера на нем. Очень тебя благодарит и долго о тебе говорил, сожалея, как и все, что ты не здесь еще. Покуда я играл, Рушковский сидел возле меня. Кажется, не только не успели Шульгину сломить шею, но он идет в гору. Государь во уважение просьбы его велел дом, в коем он живет, обратить в частную съезжую, а для обер-полицеймейстера купить другой, по его, Шульгина, выбору. Процесс его с губернатором кончился тем, что губернатор отказался от участия своего в замке тюремном, о чем письменно отнесся к князю Дмитрию Владимировичу; а все уверяют, что Шульгин тут неправ. Попомни мое слово, он сломит шею князю! Юни мне сказывал, что брат его Францелюшка определен к князю. Вот, стало быть, 74-й, находящийся у князя по особым препоручениям.

Константин. С.-Петербург, 16 октября 1823 года

Слава Богу, здоровье великой княгини Александры Федоровны поправляется, и несчастный случай [неудавшиеся роды] не имел несчастных последствий.

Как я рад, что Закревская уже в Москве. Этим прекратятся все вздорные слухи, коих и здесь довольно было на ее счет. Арсений и ко мне пишет о ее приезде; видно, что очень рад.

Любопытен я знать, как она приняла известие о новом месте и намерена ли с ним ехать в Финляндию. А граф [тесть Закревского, граф Ф.А.Толстой]? Подлинно теперь кумушки остались в дурах, а праздными языки их не останутся: найдут, о чем болтать.

Граф Гурьев купил Воротынец в Департамент уделов, и очень дешево, за миллион восемьсот тысяч. Впрочем, нужны были чистые деньги, а теперь у кого найдешь такую бездну? Я рад за мужиков. Вчера в комиссии занимались мы этим делом. Надобно теперь дать данные Департаменту уделов и решить несколько

предметов, до имения касающихся. Тут явился и сторож Кириллов, человек высокий, сухощавый, с несколькими медалями и Георгиевским крестом. Он всех казался равнодушнее. Вдова Трумпи не приехала. Хорошо и 360 тысяч получить за десять рублей. На последнее имение никто еще не являлся. Быть может, что и билет потерян. Если после годового срока никто не явится, то мы имение продадим, а деньги обратим на благоугодные заведения.

Александр. Москва, 16 октября 1823 года

Ну, брат, теперь начались у нас с графом Ростопчиным баталии на бильярде; у него поставлен славный бильярд, и мы дуемся. Я думаю, что, несмотря на его мастерство, я его обдую. Я стал играть очень хорошо, так что в клубе всякий раз выигрываю; не хочу пускаться в большую игру, потому что это в клубе, там еще более все увеличат, да и боюсь; можно вечера три и дурно поиграть, и дома не скажешься.

Граф все так же мил и шутлив. Вчера читал у него «Консерватор» и подробности о золотом песке, найденном Соймоновым. «130 фунтов золота, – воскликнул граф, – это, знаете ли, много! Меньшее, что император может сделать, это требовать для Соймонова Золотого Руна, и король Испании в сем не откажет в такую минуту, когда сам имеет счастие спасти собственную шкуру». А потом тотчас прибавил: «Зато графу Хвостову надобно дать *банный орден*, ибо не знаю в свете ничего грязнее его». Придет же в голову! Граф развешивает свои картины; две комнаты уже наполнены ими. Только мне они что-то не очень нравятся, есть некоторые. У него нет ничего итальянской школы, а все французской и фламандской, а я последнюю не люблю.

Мамоновой кланяйся от меня; скажи ей, что я бы ей написал, но не уверен, не переменили ли ее чувства ко мне ревельские морские ванны. Брат ее выздоровел совсем. Он выбрился наконец и, говорят, хочет выезжать. Все это ты узнаешь подробнее от Негри, который завтра едет в Петербург и, верно, к тебе явится. Не думай, чтобы Кутузов мог иметь малейшее влияние над Мамоновым. Его, правда, привезли больного к нему в дом, но, как скоро опасность миновала, он переехал в нанятый для него дом, бывший прежде Василия Сергеевича Нарышкина, а ныне Ивашева, где мы, помнишь, танцевать учились. Он, будучи в глуши и хорошо убран, очень понравился Мамонову, который его покупает.

Александр. Москва, 17 октября 1823 года

Как мне досадно было, что ты Рушковскому написал о пожаловании Киселева в генерал-адъютанты. Он тотчас, до доставления мне твоего письма № 86, послал поздравить матушку его, которую в глаза не знает. Я думал их обрадовать, ту же минуту пустился на извозчике к ним; они все выбегают мне навстречу, крича: «Знаем зачем! Знаем! Очень вас благодарим, но нам дал уже знать Рушковский». – «Ну, черт же его побери», – был мой ответ. Я им тогда возвестил ленту Павла Дмитриевича, а тут не удалось; а хотелось обрадовать, особенно Татьяну Ивановну, которую очень люблю. Мать вся дрожала и плакала от радости. Твое письмо наполнено приятными известиями. Радуюсь, что хоть тебя никто не предупредил у Гурьевых лентою сыну их.

Вот и испанское дело в шапке. Дай Бог, чтобы тем все и кончилось. Боюсь я реакции и мщения попов. Останутся ли войска французские в Испании, и кем содержаны? Это важные предметы. Теперь король вдруг заговорит другим языком. Как ни говори, из них всех один король Сардинский показал решимость и благородность, отказавшись от престола скорее, нежели принять конституцию, и отклони опять предложения вступить на престол, когда революция помощью австрийцев была ниспровергнута. Я не могу вообразить Герольдингена первым министром. Для сего надобна степенность, коей мы за ним не знаем.

Вчера Николай Иванович Бахметев рассказывал ужасную историю о полковнике Жемчужникове, разжалованном в солдаты, с выслугою, кажется, за утрату казны. На его беду, попал он в полк какого-то бывшего у него же в полку и выгнанного из оного за гнусное поведение. Шеф этот начал его притеснять. Жемчужников нес всю службу, как должно солдату, желая заслужить прощение. Только шеф один раз в строю, не находя, к чему придраться, все твердил Жемчужникову: «Вытянись!» И один раз, находя все, что он не прямо стоит, дал он ему в зубы. Жемчужников это снес; но когда он в другой раз все за ту же вину ударил его в щеку, то Жемчужников, державший ружье, проколол его штыком насквозь и положил замертво. Его судили как солдата, и он был засечен сквозь строй до смерти. Какое ужасное приключение! Это случилось, говорят, теперь; но не знаю, в которой армии.

Мы с графом дуемся все в бильярд и разбираем его картины. У него есть вещи редкие, например, портрет Людовика XIV с рамкою, точно как был им подарен Ментенонше; портрет Генриха IV, писанный Рубенсом; портрет Наполеона, писанный Жераром по его возвращении после Ватерлоо; портрет, очень схожий, Робеспьера, ибо один книгопродавец в Париже, живший у него

три года и который был им осужден на смерть, увидев у графа нечаянно эту рожу, с ужасом отскочил назад. Впрочем, лицо его не предвещает ничего ужасного. Странно то, что между картинами, купленными графом в Париже на аукционе, находится одна Вувермана, принадлежавшая князю Масальскому и украденная у него во время французов. Князю подарил ее Голицын, купивший за 1200 рублей, а графу досталась она за 120 франков.

Александр. Москва, 22 октября 1823 года

Слава Богу, что несчастный случай не имел дурных последствий для великой княгини.

Ты спрашиваешь в письме твоем № 88 (в последнем), как приняла Аграфена Федоровна [Закревская] назначение своего мужа? Кажется, очень хорошо. Она все такая же ветреная хохотушка, как прежде была. Как будто не ездила в чужие края!

Кажется, Нессельроде должен быть у вас уже; вчера меня кто-то уверял, что есть известие, что он проехал через Броды.

Константин. С.-Петербург, 23 октября 1823 года

О Барятинском ты сожалеть перестал, ибо выходит, что вся история о дуэли – сущая выдумка, о чем, кажется, я тебе и писал после. Не понимаю, с чего взяли. Он с Кокошкиным, по словам брата сего последнего, и не встречался. Желаю, чтоб точно Орлова не оставляла свет. Я ее не знаю, но все хвалят ее любезность, а добро делать может она и вне монастыря. Ростопчин, видно, не тот балагур, как был прежде.

Жаль и мне, что не ты первый поздравил Киселева с генерал-адъютантством. Я к нему о сем писал, предполагая, что ты выехал из Москвы.

Ты меня рассмешил страхом князя Василия Алексеевича [Хованского], чтоб не послали его в Астрахань. Не сенаторское дело. Туда послали отсюда докторов. Слава Богу, говорят, что болезнь гораздо ослабела. Холодная погода, надеюсь, истребит эту мерзкую гостью.

Татищев постарел и что-то выговаривает не так свободно, как прежде. Может быть, устал с дороги. Он довольно весел и прежде Рождества отсюда выехать не намерен. «А куда? Куда же, если не в Вену? Но теперь торопиться незачем, испанские дела окончились, турецкие дела, то есть наши дела с Турцией, приближаются к завершению; есть, стало, род застоя в делах, коим я смогу воспользоваться, чтобы на некоторое время здесь остаться». Он не полагает, однако же, чтобы в Испании долго было спокойно: там вечно две партии, и одна другую душит, а

король не имеет довольно характера, чтоб держать их в границах умеренности. Он назначил теперь своим министром статс-секретарем бывшего своего духовника, оставляя его и в этом звании.

Константин. С.-Петербург, 24 октября 1823 года

Давно здесь говорили о свадьбе полковника, кавалергардского Башмакова с княжною Суворовой. Теперь уверяют, что получено согласие матери и Александра Львовича[106], но что помолвка будет по приезде государя. Он малый прекрасный, а она премилая, следовательно, можно ожидать, что будут счастливы.

Великая княгиня была в восьмом месяце своей беременности. Слава Богу, все обошлось без дальнейших дурных последствий. Она оправляется, но все-таки пребывание в Гатчине, говорят, продолжится до половины ноября.

Константин. С.-Петербург, 26 октября 1823 года

Принцесса Амалия, сестра нашей императрицы, очень больна водяною в груди, так что с каждой почтою опасаются получить известие о ее кончине.

Если сегодняшняя почта, которая еще не пришла, принесет печальную новость, то бала не будет. Это еще не беда, но нам горестно, что сие императрицу чрезвычайно огорчит. Нарышкин, который вчера у меня был, сказывал, что она в величайшем беспокойствии.

Константин. С.-Петербург, 27 октября 1823 года

Матушевич между прочим пишет: «Мы самым жестоким образом поражены ужасным несчастием с Вилье. Он упал, вывихнул себе ногу, порвал все нервные связки и вывихнул большую артерию. Бедняга до сих пор пребывает в величайшей опасности, и лучшее, что может с ним быть, – это остаться покалеченным до конца своих дней». Ужасно! Воронцов также мне пишет. Я его просил при случае сказать государю о моем тесте и просить о прибавке ему земель в Бессарабии. «Император согласен добавить земель вашему тестю. Труд по отбору их будет проделан в Одессе Нессельроде и мною». Следовательно, добрый граф сделал мне то, чего не мог я от Нессельроде добиться. Дай ему Бог здоровья! Он прибавляет: «Император имел доброту сделать все, что я у него просил касательно этого края. Ты понимаешь, как меня это вдохновляет и налагает на меня обязанность трудиться денно и нощно, чтобы заслуживать такую доверенность и доказать мое усердие и мою преданность». Слава

Богу, теперь все там пойдет иначе, и край этот процветет. Петрулин, бывший в Херсоне вице-губернатором, переведен в Бессарабию. Вот уже благодеяние для края, что удалили Крупенского.

Константин. С.-Петербург, 30 октября 1823 года

Бал французского посла был прекрасный. Я пробыл до пяти часов, так жена затанцевалась, и не скучал. Великий князь Михаил Павлович и принц Прусский были на балу. Последний много танцевал – охотник и хорошо танцует. Я играл в вист с Полетикой, князем Александром Николаевичем Салтыковым и Лабенским. Мне все доставалось играть со вторым, который играет дурно, тихо и в дистракциях; замучился и проиграл. Воронцов мне пишет, что совсем здоров, ест цареградские устрицы и ждет родин жены ежеминутно.

Почтенная и доброжелательная княгиня Шаховская, бабка графини Шуваловой, жены генерал-адъютанта, вчера, к общему сожалению, скончалась. Она много делала добра. Много оставляет после себя рыданий.

Шуваловым достается страшное имение. Дай Бог, чтоб они с ним вместе наследовали от покойницы и расположение помогать бедным. Она умерла на даче. Также мне пишет Убри, что сейчас получил известие о кончине принцессы Амалии Баденской, которая очень огорчит нашу ангельскую императрицу. Она все это время была в живейшем беспокойствии, но не питала более надежды, ибо у покойницы была водяная в груди.

Государя все ожидают 4-го в Царское Село. Сейчас я слышал, что лицейский Энгельгардт отставлен; не знаю, кто на его место. О сем мне сказывал давно Кутузов[107], что он не останется. Также мне сказывали, что Горн, наш виленский знакомый, отставлен. Принц Прусский едет 7-го, чтоб поспешить в Берлин к свадьбе своего брата 17 ноября. Сегодня отправили мы зимние экипажи навстречу к государю.

Константин. С.-Петербург, 2 ноября 1823 года

Третьего дня ездил я с Завадовским к Марье Антоновне[108]. Она приняла меня весьма ласково, много говорили о чужих краях, о тебе; много перебывало тут народа, а в 10 часов я уехал. Я нахожу, что она мало переменилась, только похудела. Все еще чрезвычайно мила. Она всякий день принимает от восьми часов до десяти, и множество к ней съезжается. Тут был также французский посол, который звал меня к себе в субботу – смотреть славного штукаря француза, который делает пинетовские штуки, но его превосходит. Он прячет человека

высокого роста так, что его найти невозможно; после отрезает ему голову, – кровь хлещет, – кладет ее на блюдо и всем показывает, позволяя даже ее потрогать, а после одним мановением волшебной палочки приставляет голову на место.

Сегодня хоронят Шаховскую. Все генерально о ней сожалеют. Вообрази, что были семьи, которым она давала 10 тысяч рублей в год! Не думаю, чтоб Шуваловы стали продолжать столь огромные пенсии.

Третьего дня было 25 лет женитьбе графа Литты. Он подарил жене диадему жемчужную со всеми принадлежностями, ценою в 280 тысяч. Что всего замечательнее – это то, что чистыми деньгами тотчас за нее заплатил. Ужасно как богат! Здесь нового только – что гвардейский уланский офицер Енгалычев увез дочь покойного сенатора Неплюева, тотчас с нею обвенчался, а мачеха еще сердится, но, вероятно, со временем простит.

Константин. С.-Петербург, 3 ноября 1823 года

1-е. «Милый Али-паша[109]! Мне не в чем более упрекать жену свою: она благополучно родила позавчера, 23-го, в два с половиною часа утра прекрасного мальчика, коего назвали мы Семеном**. Все как нельзя лучше и с малюткою, и с матерью, которая мучилась не более трех четвертей часа. Я заснул без четверти два и, проснувшись от шагов людей, кои ходили надо мною, поднялся, а через четверть часа все окончилось».

2-е. «Ездовой от Николая Михайловича Лонгинова». – «Ну, позови сюда. Что такое?» – «Николай Михайлович приказал вам сказать, что Бог даровал ему сына Михайлу».

Вот тебе, мой милый и любезнейший друг, два известия, которые, верно, тебе будут приятны, особливо первое. Только и недоставало к благополучию графа Воронцова, что сына. То-то старик в Лондоне будет в восхищении! Сегодня к нему отправляется известие о счастливом событии.

Александр Остафьево, 5 ноября 1823 года

Мы в Остафьеве с кочующими дипломатами. Один что-то читает, Вяземский рот полощет, Северин куры строит княгине, а я пишу тебе, любезнейший друг. Прилагаю письмо от хозяина к Тургеневу, да сверх сего, по просьбе оного же хозяина, тебя прошу, – а о чем, тому следуют ниже пункты:

1-е. Оставил оный Вяземский коляску в Петербурге, куда ездил во время болезни историографа.

2-е. Историограф выздоровел, а коляска занемогла и осталась в Петербурге.

3-е. Коляску сию препоручи Серапину сюда доставить как

можно с меньшими издержками, чрез транспорты или сдав оную кому-нибудь знакомому для поездки до Москвы.

4-е. Коляска сия находится… где находится – не знаю, а припишет это сам хозяин. Вяземского перо прекрасно (кто это не знает?). Зато перья никуда не годные. Допишу это письмо в Москве, куда пускаемся сию минуту.

Москва

Мы приехали в город довольно поздно и по другой дороге. Пошел снег; видно, зима не на шутку. Время провели мы очень приятно, но, признаюсь, ежели бы не для Северина и Матусевича[110] – ни за что бы не поехал. Нас только и было четверо. Они меня как зовут в Петербург с собою! Вот последнее-то невозможно, а то как не собраться, авось Бог и помилует. Фавста нет дома. Проголодались, и я насилу вырвался у них, только чтоб сказать тебе два слова и запечатать письмо. Пора – теперь же еду к Вяземскому опять; их компания решит, когда, где и как мы сегодня пообедаем.

Александр. Москва, 6 ноября 1823 года

Ну, любезный друг, никуда я не гожусь; куда девалась моя аккуратность: пишу тебе все торопясь, как на булавках, а все виноваты наши дипломаты, кои совершенно мною завладели. Сегодня должен я обедать у отца Северина. Это новое знакомство; я их не люблю, но отговориться тоже не мог. Сегодня большое движение в городе. Парижский выписной танцовщик Ришар и танцовщица Юллен дебютируют, весь город едет туда; но господ наших Вяземский не мог уговорить остаться, и Фавст даже взял кресла, и едем вместе. Посмотрим, что это такое.

Татищева перемена в разговоре не от зубов ли происходит? Видно, парижские фальшивые потерял или испортил, да он и стар уже.

Константин. С.-Петербург, 7 ноября 1823 года

Вчера забыл я послать тебе присланную мне Шредером брошюру Савари о смерти герцога Ангиенского, которая накануне отъезда Ломоносова вышла в продажу, и в тот же день все издание было раскуплено, так что на другой день начали печатать второе издание. Шредер говорит, что печатаются также опровержения. Более некому, как Талейрану, на которого Савари сваливает все преступление. Так как у меня два экземпляра, ибо и княгиня Софья Волконская мне один прислала, то можешь этот оставить у себя.

Александр. Москва, 8 ноября 1823 года

Дипломаты наши уехали вчера около полуночи: они при мне и Вяземском сели в свои коляски. Я очень приятно провел время: это были образчики петербургского нашего жития. Они должны быть уже далеко, ежели так скоро их мчали, как графа Нессельроде. Сегодня в полдень отправился и добрый наш Арсений. Этот будет всякую ночь останавливаться.

Очень мне приятно, что Марья Антоновна нас не забыла; теперь будет опасная соперница у Юлии Александровны [Татищевой], для фигуры и щегольства.

То, что пишешь о французском штукаре, так удивительно, что, не видавши своими глазами, трудно даже поверить. Экие пострелы! Так как Риего, вероятно, лишится головы, ему бы надобно выписать этого штукаря, чтобы ее опять приставить; но правда и то, что он только те головы приставляет, которые сам рубит, а чужие экзекуции исправлять, я чаю, не возьмется.

Я получил сию минуту письмо от графа Воронцова; пишет, что 23-го, то есть в тот же день, графиня родила сынка, нареченного Семеном. Очень он меня обрадовал сим известием. Он, вероятно, и тебе писал в то же время. Надобно продолжаться сему доброму роду.

Я Лонгиновой предсказал, что она родит сына. Хочешь ли, и тебя научу отгадывать? Пощупай пульс у обеих рук: если левый крепче бьет – то сын, а если правый – то дочь. Это безошибочно.

Говорят, что вице-губернатор Дивов [Николай Адрианович, известный коннозаводчик] оставляет свое место и будет шталмейстером у великого князя Михаила Павловича; также о Меншикове – что он будет назначен министром, но куда – не говорят.

Вот уже начались рефютации [опровержения] на брошюру Савари. Что-то Талейран напишет?

Сергей Тургенев и Бутенев пожалованы в статские советники. Тургенев уверяет, что дочери Репнина[111] вчера фрейлинами пожалованы.

Александр. Москва, 9 ноября 1823 года

Так и есть, ты знал уже о рождении Воронцова! Кто знает? Может быть, Семену Михайловичу предоставлено со временем затмить славу Пожарских, Суворовых и других великих мужей, а будет, верно, парень недюжинный.

Фавст получил предлинное письмо от Соймонова; как напишет ответ, доставит тебе оное прочесть. Он укрепляет Фавста, говоря о своей комиссии, прибавляет, что нынешний год добудет 100 пудов золота, что, сверх того отысканного и приведенного в известность, в земле приготовлено до 400 пудов,

исключая те прииски, коих богатство, по краткости времени, еще не определено. «Между тем, – прибавляет Соймонов, – доходят до меня суждения некоторой части петербургской публики, что не только 5 миллионов (тех, кои доставляет здешний промысел на сей год), но вдвое того более есть сущая малость в массе государственного богатства: это не Перу и не Мексика. Посмотрели бы, однако же, сии господа, швыряющие столь щедро миллионами, не ими добываемыми, с какою неутомимостью с лишком 12 тысяч душ занимаются сей новою отраслью государственного дохода, то, конечно, судили бы поснисходительнее. И так видите вы, сколь лестная перспектива представлялась бы и мне за все понесенные труды мои; но я не в их суждениях желаю обрести награду и утешение, а в исполнении долга моего по возможности. Может быть, и ваш начальник подумает так же, и в таком случае полагаю упование мое на Всевышнего и на последствия».

Константин. С.-Петербург, 13 ноября 1823 года

Графиня Строганова в восхищении от принцессы Шарлотты, от ума ее, скромности, любезности; говорит, что у нее в глазах есть выражение, которого описать нельзя. Уверяют, что торжественный въезд будет 19-го. Видно, Меншиков подлинно будет причислен к Иностранной коллегии; Дибич ему о сем говорил, и он сам того не скрывает. Я бы Меншикова послал в Царьград министром; вероятно, он для того и причисляется, чтоб получить одно из вакантных министерских мест, коих теперь несколько: в Мадриде, Лиссабоне, даже Вене, если Татищев туда не возвратится.

Александр. Москва, 13 ноября 1823 года

Насчет Лазарева. Граф Аракчеев едет сегодня смотреть училище армянское, основанное его семейством, будет там большой обед. Говорят, что граф в эту ночь едет, другие – что останется еще два дня. Многие к нему ходили, но он никого не принял и много гуляет в санях с Дурасовым.

Константин. С.-Петербург, 16 ноября 1823 года

Закревский навез нам всем гостинцы, даже и детей не забыл. Они все его не забыли и очень ему обрадовались. Он теперь начал заниматься финляндскими делами, вникать в них, собирать о них сведения, и кажется мне, что все пойдет хорошо. Он чувствует всю важность своего места и, несмотря на то, что языков не знает, не ударит лицом в грязь. Я уверен, что его там полюбят.

Александр. Москва, 16 ноября 1823 года

Граф Аракчеев уехал вчера. Себо [то есть почт-директор Рушковский] все был на иголках, покуда тот был здесь. По поводу какой-то бумаги, присланной в Сенат по поселениям и подписанной не самим графом Алексеем Андреевичем, а, кажется, правителем канцелярии или начальником штаба, вышла каша в Сенате: иные решили исполнить по бумаге, другие – списаться чрез обер-прокурора с министром юстиции и потребовать наставления, а третьи (то есть Арсеньев, Мертваго и заика Волконский) – бумагу возвратить, откуда прислана. Тесть мой попал во второй разряд, и этот, кажется, всех осторожнее поступил.

Александр. Москва, 19 ноября 1823 года

У князя Дмитрия Владимировича вечера по четвергам и балы по воскресеньям; думали, что вчера не будет приема, оттого что Апраксин очень занемог горячкою. Катерины Владимировны не было, однако же вечером больному сделалось немного лучше. Его уложил Юсупов, который давал обед в каком-то трактире. Апраксин занемог желудком; почувствовав себя получше, он поехал смотреть танцовщика парижского в «Амуре и Психее», да и простудился в театре. Вчера до обеда был без чувств и никого не принимал.

Все превозносят принцессу Шарлотту. Графиня Строганова очень хороший судья, и ее мнение еще более заставляет меня верить общему гласу. Я князю Дмитрию Владимировичу сказывал о бале. «У меня нет известий, – сказал он, – но обыкновенно 17 января и 11 ноября никогда не обходятся без балов у моей матушки».

Озеров уверяет, что Галахов не будет на место Энгельгардта[112], от коего читал он мне письмо. Он очень дурного мнения о Галахове; кроме того, он убежден, что великий князь его не захочет, поскольку он (между нами) уже отказал князю Александру Оболенскому, коего представляли на сие место. Озеров очень просил меня дать ему знать тотчас, кого назначат. Иван Васильевич Тутолмин, бывший здесь, сказал ему: «Я не могу вам сказать, но знаю от императрицы, что туда назначается предостойный человек». Петр Иванович исчислил мне все выгоды этого места; ежели бы я знал все это прежде, может быть, решился бы я домогаться оного. Озеров говорит, что он бы тотчас сенаторство свое променял на место это. Энгельгардт много и сам виноват, уж чересчур зазнался, а место не так трудно, как думают.

Ох уж мне это 23 ноября! Что с ним делать? Я было думал

этот день пробыть у Фавста: он дает всем своим чиновникам обед, ибо в этот день государь изволил подписать указ о назначении его на место Соймонова; вместо того жена вымучила у меня обещание обедать у нее дома с княгиней Куракиной, Петром Петровичем Нарышкиным и прочими родными и друзьями, а ввечеру у тестя пируют мои именины. Вот как был Сашка Волков здесь, так я, бывало, заберусь к нему на целый день, – так кто хотел, мог там меня отыскивать. Как я ни обманываю и ни уверяю, что я именинник 25 мая и 26 августа, не верят плуты. Ну, так и быть, полно ворчать, а следующий день тяжел! Пропасть Катерин, надобно посылать, а к иным и самому ехать поздравлять.

Оставим все это и обратимся к твоему письму № 104, любезнейший друг. Спасибо этому милому, доброму Воронцову за старания его о старике Варламе. Я всегда говорил и повторял им самим, что они должны на тебя молиться. С Марицею были у меня ссоры раза три за то, что ей доказывал, что она родилась в сорочке. Блаженны те, которые не ропщут и переносят спокойно несчастия, но жалки и несчастливы те, которые не чувствуют своего благополучия, не наслаждаются им и не признательны к виновникам оного.

Очень я рад, что Закревский благополучно прибыл к вам, хотя и днем позже против маршрута. То-то ему будет неприятно отправляться в свою Финляндию. Меншиков ушел с меньшей славою, но при лучшем положении дел своих, чем наш друг. Обнимаю милого Арсения; а здесь опять заговорили, что ему дадут четыре губернии в России, как Хованскому, а о контролерстве замолчали.

Константин. С.-Петербург, 23 ноября 1823 года

Третьего дня собрались мы во дворец, где ждали приезда принцессы Шарлотты. Мы только видели, как прошла она в церковь и обратно, следовательно, одну только минуту; но и сего довольно было, чтобы заметить, сколько она собою хороша, ловка и приятна. Представлений не было. Во дворце видел я между прочими твоего неаполитанского приятеля Оппермана, который много про тебя спрашивал и очень сожалел, что тебя здесь не видел. Он чрезвычайно хвалил сына Похвиснева; сказывал, что он переведен (или переводится) в первый класс, что на экзамене был между лучшими, второй или третий, и что получил в отличие темляк офицерский, и что хотя сие не дает еще чина офицерского, но почитается у них большим отличием. Скажи об этом Николаю Ивановичу и поздравь его с таким достойным сыном.

Бутурлин[113] приехал вчера. Герцог Ангулемский дал ему крест Св. Людвига, а король – командирский крест Легиона. Вчера утром прибыл также сюда принц Оранский. Закревский не забыл твоих именин, явился с поздравлением. Этот ничего не забывает, что до его друзей касается. Он был у государя и очень обласкан. Савари запрещен вход в Тюильрийский замок.

Александр. Москва, 23 ноября 1823 года

Третьего дня был я на славном концерте у Виельгорского, все аматеры, и очень шло хорошо. Насмешила нас маленькая дочка хозяина; она сложила прелестную эпиграмму, сама того и не подозревая. Кажется, малютке нет и четырех лет. До начала финала «Двух дней» лезли из кожи вон. Один говорил: «Музыкант сюда», – другой: «Мария Аполлоновна, садитесь здесь», – третий: «Виолончель, сядь там, а ты, музыкант, – здесь садись». Только вдруг малютка, слыша всё слова «музыкант» да «садись», и говорит из басни Крылова:

А вы, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь!

Видно, вспомнила урок свой. Только все так и захохотали, даже важный г-н Дмитриев.

Чумага сказывал, что вчера умер в Таганке купец Алексеев; его полагали очень богатым, но не ожидали, что по кончине найдут у него на 20 миллионов имения, из коих 12 – наличными деньгами.

В лета Юсупова и Апраксина очень надобно беречься, а если станут ездить по русским трактирам и жрать, то не наживут добра.

Ну, брат, я не знаю, завидно ли место Энгельгардта. Мне кажется, тут страшная ответственность; да, как ты сам говоришь, отцы учеников могут кутермить. Балуй детей – так будешь действовать против совести; не балуй – так найдутся князья Голицыны, подобно князю Федору, которые часто готовы негодовать. Лучше от таких мест удаляться. Если Озерову хочется, то зачем он не просится? Великий князь к нему хорошо расположен и, верно, ему рад будет.

Северин мне пишет сейчас, что королю Португальскому и инфанту Дон-Мигелю посылается орден Св. Андрея. Знаки везет в Лиссабон Алексей Строганов. Герцог Ангулемский пожалован кавалером Св. Георгия 1-й степени. Шатобриан и герцог Монмартрский – Св. Андрея. Поццо – Св. Владимира 1-й степени.

И здесь порядочно врут: уверяли меня, что принц Оранский приехал; я поверил, хотя и странно мне показалось, что я не получал ниоткуда о сем рапорта. Выходит, что вздор: его еще

только ожидают.

Александр. Москва, 27 ноября 1823 года

Шафонский сказывал мне, что в разных местах Московской губернии произошли волнения в мужиках, отказывающихся платить помещикам. Для усмирения подобных неустройств надобно людей весьма остроумных, но твердых и знающих дух наших мужиков. Князь Дмитрий Владимирович послал в Верейский уезд, в имение Шувалова, где 4000 душ, адъютанта своего Баранова; этот не умел взяться и должен был сам уехать, передал свой страх князю, и теперь послали туда войско. В подмосковной князя Трубецкого то же вышло. Туда был назначен Ровинский, полицеймейстер; но и тот, дурачина, сказался больным, утверждая, что неприлично ему, полковнику, усмирять 170 душ, когда ротмистр был послан для усмирения 4000 душ. На место Ровинского отправлен Тургенев, находящийся при князе по особым поручениям.

Вяземский поехал в Тулу, к Кривцову[114] на именины; ближнее место! А забавнее всего то, что ему к именинам поспеть нельзя было: поздно собрался; а не поспев в тот день, лучше было бы съездить по пути хорошему, а не по теперешним адским дорогам.

Молодую Ростопчину начал лечить Альбини, а Шнауберта граф отослал; да и подлинно, вот два месяца, что он пачкает без пользы. Альбини мне сказал, что малютка вовсе не хороша; она кашляет, и у нее жар всякий день. Не так ее лечили сначала.

Граф [Ростопчин] давал мне читать поденный свой журнал во все время пребывания своего при Павле I, все разговоры и все приказания, кои император ему давал тут. Очень это любопытно, и многое осталось бы навсегда между ними двумя. Когда навожу я графа на разговор о Павле и даже Екатерине, это неиссякаемый источник интересных анекдотов; я, и правда, решусь однажды их записать.

Александр. Москва, 3 декабря 1823 года

Граф Федор Васильевич получил очень свежее письмо от Сегюров[115]. Они ему сообщают, что здоровье короля под серьезной угрозой. Врачи объявили, что он протянет, самое большее, до весны. Масса крови, и без того недостаточная для такого тела, как у короля, чрезмерно уменьшается, ибо питание превращается только в воду, которая истекает из ног так, что принуждены были придумать непромокаемые сапоги во избежание беспрерывного перевязывания. Если случится сие *несчастие*, король умрет в прекраснейшую пору своей жизни и передаст прекрасное наследство графу д'Артуа. Я довольно знаю

французов, чтобы отсюда видеть, что эта славная испанская кампания заставила их позабыть и Аустерлиц, и Йену, и все подвиги Наполеона.

Константин. С.-Петербург, 4 декабря 1823 года

Здесь в семье Шуваловых такое же внезапное и печальное происшествие, как у доброго нашего Фавста, мой милый и любезнейший друг. В субботу генерал-адъютант

Шувалов[116] немного занемог, велел приготовить себе ванну и только что поднял ногу, чтоб влезть в нее, повалился и отдал Богу душу. Говорят, что у него был полип в сердце, но конец все-таки сделал ему удар. Он был добр, счастлив, богат до чрезвычайности; смерть его всех поразила и всех огорчила, особливо бедных, коим продолжал он пенсии Шаховской, многие увеличил; но ни доброта, ни счастие, ни богатство, ни сожаления окружающих – ничто не защитит от рокового удара. Бедная жена его, имевшая недавно жестокий удар, от которого еще не оправилась и после которого кровью харкала, теперь вторую ужасную делает потерю. Как-то ее слабая грудь перенесет столько горя**.

Вилье приехал, ходит еще на костылях, но уверяют, что скоро их бросит. Государь, великие князья у него были тотчас после его приезда. Ужо к нему заеду, если успею. Закревский был у государя третьего дня, отдал краткую записку о своих действиях во время должности дежурного генерала, сколько вступило дел, сколько оставляет, сколько принял денег, то есть ничего, а оставляет 100 тысяч капитала экономического. Государь был очень доволен. Закревский просил о награде ближайших чиновников. Государь согласился. Шатилов и Ноинский получат Владимира 3-й степени, и еще какие-то двое – денежное, кажется, награждение. Потом просил он о тесте, который сделан будет сенатором; но так как еще нет указа, то Закревский ему о сем не говорил, и ты не говори никому. Арсений очень доволен.

Завтра, говорят, будет крещение принцессы Шарлотты, а послезавтра – помолвка. Повесток еще нет.

Константин. С.-Петербург, 6 декабря 1823 года

Принцесса Шарлотта получила имя Елены Павловны. Много было, но мне удалось видеть, как она прикладывалась к образам и приобщалась.

Шувалова хоронить будут в субботу, ровно через шесть недель после смерти Шаховской. Он, бывший у нее на похоронах, купил себе место. Жаль, что скоро пригодилось. Его вскрыли и нашли несколько артерий окостеневших.

Князь Иван Михайлович Долгоруков умер с большим и спокойным духом. Поутру говорил, что в три часа умрет. Чтобы удалить всякое подозрение (к чему же это вело?) от жены и дочери, которая должна родить на днях, он встал с постели и ходил по комнате, лег, сказал им, что хочет поспать, и скоро после того скончался. Призывал управителя и, предвидя, что у княгини голова будет не на месте, учредил с ним все расходы на целый месяц вперед. Его очень многие почитали обогатившимся от губернаторства во Владимире, а вышло, что он оставляет 500 душ, дом (отцовский еще) и 80 тысяч рублей долгу. Время все открывает.

Вчера обедал я у именинника Гагарина. Сидел возле графини Бобринской, которая много о тебе расспрашивала. После обеда слышал я гитариста Сора. Ну уж талант! Гитара делается арфою, гармоникой, мандолиною, даже трубами; иной раз побожишься, что играют две гитары: он в одно время играет и тему, и сопровождение. Множество вкусу.

Слышал я о двух свадьбах: княжны Голицыной (последняя из дочерей княгини Голицыной) с Мещерским – кажется, с сыном князя Ивана, и Комбурлейши, богатой, прекрасной девицы, с испанским героем Бутурлиным.

Я писал в Белоруссию, чтобы тебе опять отправили провизию разную, как прошлого года. Скажи это Климу; все-таки годится; только не давай мужикам более 10 рублей на брата и отправь их тотчас обратно. Здесь много говорят о шалостях мужиков разных помещиков. Мне кажется, что князь Дмитрий Владимирович дурно берется; тут надобно согласить несоразмерные оброки, требуемые некоторыми помещиками, с неповиновением мужиков. Не надобно давать угнетать крестьян, но опасно также взять явно сторону сих последних. Привезли сюда и заперли в замок главных зачинщиков в имении Трубецкого. Князь поехал в замок, взял с собою Шульгина и маленького Трубецкого*, женатого на Вареньке Пушкиной. Он говорил им речь увещательную, что нехорошо, что они не слушаются, что, конечно, коммерции нет, что трудно мужику добыть 100 рублей для платежа оброку и проч., но что он велит их наказать за неповиновение. Тут же обернулся к Трубецкому и сказал ему, что отец его должен довольствоваться пятьюдесятью рублями оброка, что он, князь, сам более того не берет. Ты согласишься, что после этого все мужики, дающие более 50 рублей оброка, откажутся от платежа рубля выше 50 рублей. Я-то худой пример, и мне кажется, дело не так следовало поворотить. По форме хозяин должен быть прав, по крайней мере в сию минуту, а затем уж можно и уменьшить оброки крестьян. Плохо, что об этом много говорят. Я удивлен, что князь не

придает особого значения сим беспорядкам. Он говорил вначале шутя: «Мы пошлем туда Ровинского, который любит жестикулировать, играть оратора и потом смеяться!» Сколько пожаров начинается оттого, что не обращали внимания на искры.

Константин. С.-Петербург, 7 декабря 1823 года

Вчера Семеновский полк произведен в старую гвардию. Голицына, сестра Полторацкой, выходит замуж за князя Мещерского, племянника тверского губернатора Всеволожского. Бал вчерашний начался в семь часов, а кончился в половине девятого. Танцевали одни польские. Государь поклонился мне очень милостиво. Только и видел я его, когда в польских проходил мимо нас. Много было народу, дамы одеты прекрасно. Нагляделся я на новую нашу великую княжну и нахожу, что она прекрасна, а особливо очень приятна, ловка. Всех пленяет, кто ни имеет счастие с ней говорить. Все от нее в восхищении. Сегодня поздравление. Ожидаю Лонгинова, чтоб вместе ехать. Может быть, и вероятно, будет также представление великой княжне.

Александр. Москва, 10 декабря 1823 года

Я сам, брат, говорил Закревскому, что он сладит с новой своею должностью. Бог не дал ему гения, большой учености и пылкого ума; но зато имеет он качества, все это заменяющие: терпение, трудолюбие, бескорыстие, ласковый нрав, рассудок здравый, любовь к порядку и проч. Я тоже надеюсь, что все пойдет хорошо, и, будь я холостой, я бы поехал с охотою помогать ему в трудах его. Ему делает честь, что он воспользовался милостями государя, чтобы сделать добро своим сотрудникам прежним. Поздравь от меня Шатилова и Ноинского. Когда узнают о новом сенаторе здесь, будут, верно, Закревского бранить. Хороший делает он подарок краснокафтанному обществу[117]. Никто этого здесь и не подозревает, и я, конечно же, и слова не скажу, прежде чем это не станет всем известно. Благодарю тебя за печатные церемониалы, их даже и князь Дмитрий Владимирович не имеет еще. Странно, что тут нигде не упомянуто о будущем ее имени. Иные именуют ее Еленою, а другие жалуют в Екатерины.

Недаром Рибопьер так в нос говорил. Я очень рад, что операция хорошо совершилась: не без боли, я чаю, ибо нос – часть тела весьма нужная.

Нового, кажется, ничего у нас, кроме большой суматохи в доме князя Дмитрия Владимировича, которой я еще верить не смею, но вещь возможная, соображая многие обстоятельства. Не верю уже по источнику: сказывал тесть мой; уверяет, что княгиня Татьяна Васильевна оставляет мужа и отправляется жить к отцу

[Василию Александровичу Пашкову, обер-егермейстеру] в Петербург, взяв с собою дочь и оставляя сыновей у отца. Он три дня, как уехал в подмосковную. Вчера Шафонский о сем не знал, но сказывал мне, что нашел в доме большую тревогу, что князь вдруг скрылся в подмосковную, что он, не найдя его в кабинете, спросил у швейцара: не у княгини ли князь Дмитрий Владимирович, а тот ему отвечал: «И, ваше высокородие, как будто вам неизвестно! Какая княгиня? Она в постели, а князь уехал в Рождественское». Что-нибудь да должно быть. Мне кажется невероятным, чтобы княгиня дошла до такого разрыва, не исчерпав прежде всех средств для сближения.

Надобно признать, что поведение князя и как градоначальника, и как мужа и отца семейства довольно странно и необдуманно. Он проводит жизнь в театрах и на репетициях. У него вечера по воскресеньям и четвергам, а он там появляется только по выходу со спектакля, то есть после полуночи. На бенефисе актрисы Ветроцинской сделался он разносчиком ее билетов, вплоть до того, что послал их в Думу с приказанием распределить между купцами, кои все тотчас были обложены, сообразно со средствами всякого. Это никак не вяжется с высокими чувствами, кои я знаю в князе, и, к несчастью, это правда. Его администрация слаба и посредственна, он с каждым днем все более лишается уважения, окружает себя бездельниками; наиважнейшие дела ведет с невообразимой беззаботностью, например, все эти бунты, которые могут принять очень опасный характер. Говорят, что он крайне расстроил дела свои итальянскою оперой и танцовщиками, коих выписал. Словом, ему приписывают множество вин, кои могут быть необоснованны, кои меня не касаются, но должны трогать очень за живое жену его. Время покажет, все ли это правда; желаю, чтобы было иначе. Ну что делать мальчикам двадцати лет, когда эдакий матадор забывает звание свое, лета и чин!

Константин. С.-Петербург, 11 декабря 1823 года

Государь был на похоронах у Шувалова. Мне не удалось быть. Он к церкви адмиральской приехал верхом, народу была толпа. Слезая с лошади, задел как-то шпорою мальчика-сироту, живущего у нашего почтового чиновника, приласкал его, спросил, не ушиб ли, приказал отвести его во дворец, осмотреть доктору и подарил 500 рублей. Мальчик на другой день в той же церкви отпел молебен за здравие нашего ангельского государя.

Александр. Москва, 13 декабря 1823 года

Итак, сенаторство Толстого справедливо. Говорили о двух

странных сенаторствах: графа Каменского и Шульгина (с чего взяли?); но этого никак никто не ожидал, и вчера на большом обеде у князя Дмитрия Владимировича только об этом и говорили, и все одинаково, что назначение это доказывает, сколь велики милости государя к Закревскому. Что бы ни было, просмотри службу графа Федора Андреевича, и окажется, что он из гвардии офицеров попал в сенаторы, не служа, может быть, 30 лет своей жизни. Сержант, капитан-бригадир и сенатор! Милостивый взгляд на тебя государя на балу столь же мне приятен, как Толстому красный кафтан. Здесь уже говорят, что Закревский выпросил тестю своему бессрочный отпуск.

Я был у обедни вчера во Вдовьем доме; служил Филарет, говорил прекрасную речь, а П.П.Нарышкин давал после, как всякий год, славный завтрак. Посвятили пять вдов в сердобольные. Поминали обрученную невесту Елену Павловну. Ну, как пойдут дети у Михаила Павловича, так будет же работа дьяконам. Был и князь Дмитрий Владимирович, но приехал к концу проповеди. За обедом, на коем было, верно, более 120 человек, сидел я возле Шульгина и Рушковского; этому тот почти есть не дал, все говорил; на хорах пели Булахов и Соколова, обед был славный. Я видел тут Бенкендорфа, Орлова-Давыдова, генерала Турчанинова; этот и первый тебе очень кланяются. Княгини не было за обедом, но о том, что я тебе писал намедни, не слышно ничего. Дай Бог, чтобы, хоть не все, не была правда.

Граф Ростопчин получил письмо от Григория Федоровича Орлова (безногого) из Парижа. Он часто видает князя Петра Михайловича и пишет, что князь едет в Петербург дней через десять. Мы рассчитывали, что князь Петр Михайлович должен быть в Петербурге к Рождеству. Орлов прибавляет: «Здоровье короля видимо пошатнулось, и было ускорено возвращение герцога Ангулемского». Он говорит о фарсах графа Остермана, который в Париже с какой-то девицею и отправляет своей жене, которая тоже в Париже, письма с почты и с марками как бы из Лиона, и она крепко убеждена, что он в Лионе. Казалось бы, что лета проказ прошли.

Константин. С.-Петербург, 14 декабря 1823 года

«Я уже долго не имел удовольствия видеть вас». – «Государь, я долго был лишен сего счастия». – «Отчего же так происходит, что я вас так редко вижу? Я вас видел в воскресенье на набережной». – «Государь, я могу выходить на прогулку только поздно. В воскресенье я возвращался от обедни у князя Голицына, это мой рекреационный день». – «Нет, я вас встречаю редко, потому что у вас много работы, и вы ее хорошо делаете. (Поклон.)

Это невообразимо, как у вас все это работает, не говоря уже об иностранной почте, которая приходит удивительным образом; теперь у нас еще одесская почта показывает чудеса. Приходит на седьмой день. Все эти благоустройства – величайшей полезности, я подлинно доволен». – «Государь, мне не остается ничего желать, кроме как заслужить продолжение ваших милостей и чтобы быть всегда достойным вашего одобрения». – «Ваша манера служить вам это гарантирует». (Поклон.) – «Эти исполненные доброты слова, государь, придадут мне новых сил». – «У вас очень много работы, вы очень заняты». – «Государь, это можно выдержать, и я уверяю вас, что этого и не замечаю, лишь бы дело двигалось». – «Нельзя и желать лучшего. Сколько мы выиграли по времени из Парижа?» – «Восемь дней для писем, которые идут туда, и от четырех до пяти для тех, кои к нам направляются. Я представил князю Голицыну сравнительную таблицу для того, что почта выиграла в быстроте в нынешнем году в сравнении с 21-м годом. Основные города Европы там отмечены, со всеми возможными указаниями. Все видно вплоть до часов, в какое время почта приходит». – «Это чрезвычайно хорошо и интересно».

Кое о чем еще поговорили. Все это сопровождено было ангельской улыбкою, которую ты знаешь. Вот тебе разговор мой с государем на балу 12-го числа, мой милый друг. Я уверен, что он тебе будет очень приятен; но не забудь наше условие: кроме Наташи и Фавста, никто не должен его знать. Они не примут сообщение сие за действие самолюбия и хвастовства, зная меня чуждым этой страсти, а порадуются со мною, что государь доволен моей службой и так милостиво сам мне о том сказал. Я не хочу даже, чтобы и Себо [Рушковский] об этом знал, одним словом, никто.

Императрица Елизавета Алексеевна поклонилась очень милостиво, проходя в польском, который танцевала только с фамилией. Мария Федоровна очень была милостива, говорила также об успехах почт, и сколько для нее собственно это приятно и проч. За ужином Альбедин, Чернышов, Тургенев подбегали ко мне спрашивать: «Где твоя жена?» – «Да дома, ей нездоровится». – «Дело в том, что императрица спрашивает, где она, хочет говорить с нею». После государыня спросила и меня о ней. Я благодарил за милость, но сказал, что она больна. Как можно быть столько милостивою, чтобы там, где человек, я думаю, 700 было, вспомнить об одной женщине и искать ее, чтоб сказать ей что-нибудь приятное!

Жена точно не совсем была здорова, но не поехала, чтоб не издержать рублей 500 или более на платье, что очень рассудительно. Между тем лестно очень, что об ней вспомнила

государыня. Бал был прекраснейший, превеликолепный и продолжался до половины первого часа. Ну вот, кажется, и все. Поутру были мы у обедни, поздравляли императрицу и всех жалованных и награжденных. Право, весело было смотреть на всеобщую радость. Наш князь произведен, и это умножило душевное мое удовольствие, по искреннейшей моей привязанности к нему. Граф Нессельроде – также, и этому я очень рад. Графу Гурьеву лучше, только очень слаб. Ужо к нему заеду. Князю Петру Михайловичу послан орден Св. Андрея с фельдъегерем через Варшаву в Вену. Я к нему писал. Может быть, он еще застанет Закревского здесь, если приедет в начале января. Арсений сам еще не знает, когда выедет. Ему надобно еще раз видеть государя по делам, а после того может тотчас отправляться. Он совершенно готов. Письмо твое к нему доставлено, но забыл его спросить об ответе. Сейчас узнал я, что граф Петр Кириллович Разумовский вчера скончался. Давно ли я его видел во дворце! В день обручения он еще был на церемонии.

Константин. С.-Петербург, 15 декабря 1823 года

Граф Разумовский сделал завещание; между прочим моему венскому товарищу Алексею Васильчикову отказал 2000 душ в Украине, брату Лариона Васильчикова – три тысячи и княжне Вяземской, племяннице Разумовской, – тоже 2000 душ.

Константин. С.-Петербург, 18 декабря 1823 года

Третьего дня праздновали мы у доброго Арсения именины его тестя. Тут я познакомился с Путятою, которого знал только по виду.

Вчера хоронили Разумовского. Теперь старший камергер – Уваров-черный, а после него – молодой Юсупов. Я все ими дразню Тургенева, что попал под команду. Говорят, однако же, что перед Новым годом будет новый обер-камергер. Публика назначает графа Литту. Дело сбыточное.

На место Энгельгардта все еще никто не назначен. Это, вероятно, решится в Варшаве, куда поехал Кутузов. У меня был Фенш, адъютант цесаревича; он думает, что Константин Павлович будет сюда в начале января, около 5-го.

Граф Ростопчин, по причине расстроенного здоровья, уволен от всех дел и воинской службы и переименован в обер-камергеры.

Константин. С.-Петербург, 19 декабря 1823 года

Кончив вчера дела свои, поехал я к старухе Загряжской, которая запискою звала меня к себе. Только что стали толковать о деле, о котором хотела она со мною посоветоваться, как приехала

императрица Елизавета Алексеевна. Я поклонился да и в дверь. Она мне сказала: «Я очень сожалею, что лишаю вас общества госпожи Загряжской». – «Государыня, я являлся за ее распоряжениями. Я их получил».

Александр Михайлович Тургенев, которого ты, я чаю, знаешь, назначен губернатором в Тобольск; человек добрый и честный.

Я получил письмо от Воронцова из Мюнхена. Он готовился давать обед славнейший и великолепный 12 декабря. Король с королевою и со всей фамилией к нему назвались в этот день, для России радостный. Воронцов в восхищении от этой чести, которую король еще никогда никому не делал. Его там очень любят. Да и где его не любят, да как и не любить милого Ванишу?

Васильчиков приезжал ко мне и сказывал, что ему дядя точно оставил 2000 душ. Я ему пожелал, чтобы обошлось без процесса, ибо есть ближайшие наследники.

Александр. Москва, 20 декабря 1823 года

Закревский, верно, дождется князя Петра Михайловича [Волконского]. Много он наделал добра, до отправления своего в Финляндию. Только граф Федор Андреевич сделался предметом всеобщих шуток, – отчего не поручил Арсению выпросить ему ленту. Не надобно забывать, что часто участь наша, честь, жизнь, имение или бесконечная проволочка зависят от мнения глупого, пустого одного сенатора. Я не одобряю этого, между нами. Ну выпросил бы его в тайные советники. Одним более или менее, какая нужда? Но зачем унизить первый чин в государстве?

Ввечеру были мы у графини Бобринской, где очень весело провели время: граф тоже туда приехал и забавлял нас разными рассказами. Приехал туда из театра Иван Александрович Нарышкин и рассказывал происшествие, там случившееся. Давали балет «Калиф Багдада». Есть сцена, представляющая калифа на охоте с колчаном и стрелами. Танцовщик Ришар, то есть калиф, натягивает лук, – видно, делал это неосторожно, стрела сорвалась и прямо в ложу.

Сидел тут лейб-гусар офицер Рахманов, только что успел отбить удар рукою, однако же стрела попала в вишенку Бартеневу, но ее почти не ранила. Она брюхата и вместо испугу захохотала. Надобно, чтобы с нею случались такие приключения! Смешнее всего то, что Ришар нимало не сконфузился и продолжал свою роль как ни в чем не бывало. Можно бы его и пошколить за это. Долго ли бы и глаз кому-нибудь проколоть! Говорит, что князь Дмитрий Владимирович только сказал: «Как же легкомысленны эти французы! Он принял мадам Бартеневу за кабана или оленя».

Теперь я от графа, у него должен был остаться и обедать. Графиня всю ночь проводила у дочери и теперь там. Митеньке не лучше, но и не хуже. Я все надеюсь, что ребенок переодолеет болезнь. Бедная Наталья Федоровна очень огорчена, да и к тому ж еще и брюхата. После обеда наедине в кабинете графском стали мы болтать. Право, не видели, как стукнуло 8 часов; сел скорее на извозчика и поскакал домой, чтобы запечатать письмо мое к тебе. Граф читал мне весьма любопытное письмо от него к императору Павлу, ответ государя и другие письма императора. Куда бы желательно, чтобы граф написал «Записки». Есть множество любопытных и весьма важных обстоятельств, кои сокроются навсегда от потомства со смертью графа и кои, право, клонятся к славе его. Я очень его просил заняться этим: ему стоило бы это очень мало труда, но он отвечал мне, половину шуткою и половину серьезно: «Я вам завещаю свои бумаги, когда отправлюсь туда, где граф Петр Разумовский. Они мне будут так же дороги, как 3000 душ, кои Разумовский завещал Васильчикову». Он мне рассказал историю объявления войны Павлом Австрии в 1799 году; к примеру: манифест был составлен графом, и он исчерпал все средства, дабы отговорить императора от сего демарша. Император властно потребовал манифест, подписал его. «Держите, отнесите к Безбородко, и пусть он пошлет его в Сенат для опубликования…» – а потом император звонит, снова его вызывает. «Садитесь». Начинает говорить, сдается доводам графа, рвет манифест и бросает его в камин. Подробности этой беседы, продлившейся более двух часов, очень интересны; я не мог помешать себе воскликнуть: «На чем держалась участь Австрии и России, а может быть, и судьбы Европы! Уступи вы двумя минутами ранее, и все было бы кончено». Покуда у меня все это свежо в памяти, я запишу для себя.

Константин. С.-Петербург, 21 декабря 1823 года

Последний фельдъегерь привез мне от Поццо гравированный его портрет, один экземпляр для меня, а другой для тебя. С сей почтой твой к тебе отправляю. Удивительное сходство, и эстамп прекрасный. Поццо еще в Мадриде.

Третьего дня императрица Мария Федоровна с великой княжною была в Большом театре, где играли «Казака Стихотворца» и «Зефира и Флору». В тот день уже ни одного места нельзя было достать нигде; народу было множество, хлопали, кричали «ура» и в совершенном все были восторге от присутствия невесты и императрицы. Мне не удалось быть; досадно, что жене не мог достать ложу, – она еще не видела

Елену Павловну. Ох, вот и пан Пусловский с делами аренды графа Каподистрии. Нечего делать, должен с тобою покуда расстаться.

Александр. Москва, 21 декабря 1823 года

Сегодня встал я на пример рано! Только еще одиннадцать часов, завеселился на балу, любезнейший друг. Не подумав, обещал Вяземскому завезти его домой, жена его уехала тотчас после ужина, ну скоро ли его выкуришь с бала? Насилу поехали оттуда, не самые последние, однако же было три часа почти. Множество было народу, хозяин и хозяйка очень были веселы. Поздравил я княгиню Татьяну Васильевну с чином Лариона Васильевича, а она, поблагодарив, отвечала: «Поздравьте меня лучше с нежданным состоянием, упавшим с неба моему брату Дмитрию!» Стали говорить о покойном графе Петре Кирилловиче Разумовском. Ну как не благословлять его память! Иные сулят золотые горы, а он, не обещая ничего, составил счастие стольких семейств и распределил все свое имение между небогатыми. Все его осыпают благословениями и похвалами. Княгиня едет в четверг в Петербург, а князь позже. Я не заметил между ними никакой разладицы, напротив.

Поступок Разумовского нельзя довольно похвалить. Я слышал, что он принял дружески предупреждение Ремана, что он в опасности и чтобы, ежели это нужно, устроил свои дела, что будто он и Реману подарил что-то. Давыдов

П.Л. дружен с Дмитрием Васильевичем Васильчиковым; этот описывал ему подробно трудное свое положение, долги, недостатки для воспитания детей, что это одно стоит ему 700 рублей в месяц, что бьется как рыба об лед, а два дня после того падают ему с неба 3200 душ! Можно понять восхищение бедного отца семейства! Станет блаженствовать и Богу молиться за покойного.

Александр. Москва, 24 декабря 1823 года

Путята человек очень порядочный, знающий свое дело и который, верно, пойдет далеко. Я очень благодарен Закревскому за это знакомство и радуюсь, что и ты с ним сошелся. Граф Литта был бы на своем месте обер-камергером. Самая обер-камергерская фигура!

Кажется, как Засу отказать консульство в Неаполе! По-моему, два места есть славнейшие в России, можно идти пешком их занять: богатому – место министра в Неаполе, а небогатому – бывшее твое каноникатство в Москве. То и другое нельзя разделить на части, как Воротынец; стало быть, надобно в пять

раз более счастия иметь, нежели имели те, чтобы взять этот лот у подошвы Везувия и на берегах Москвы-реки.

Прочитав твой P.S. об увольнении графа от службы сходственно с его желанием, я тотчас к нему отправился, чтобы обрадовать его сим известием, столь давно им ожидаемым. Вхожу к нему, и он встречает меня, улыбаясь и говоря с приличною пантомимою: «Да, милый мой, моя парадная одежда – фрак, ордена и цилиндр. Я шел сообщить вам об этом. Знаете ли вы об указе и письме Аракчеева, его сопровождающем?» Все сделалось, как граф желал. Он, отвечая графу Александру Андреевичу, пустил-таки фразу своего покроя и которая, может быть, тому не очень будет приятна.

Благодарю за благовременное сообщение о секрете, но ты еще прошлого года поговаривал мне о намереваемом ежедневном отправлении почты между столицами. Это будет дело хорошее.

Вчера за ужасною стужею (сегодня поутру было 29 градусов) отменен спектакль, столь давно ожидаемый и который дает некто старый камергер Ржевский. Весь балет составлен из его подданных, коих очень ему хочется сбыть, если не сказать – продать гуртом. Теперь говорят, что он это отменяет до возвращения князя Юсупова. Граф читал мне письмо Закревского. Он пишет, что князь Петр Михайлович, воротясь, вступит в прежнее свое место.

Александр. Москва, 27 декабря 1823 года

На балу у князя Дмитрия Владимировича познакомил меня Лев Алексеевич Яковлев с молодым человеком, кавалером Севинисом, племянником графа Каподистрии. Я его натурально очень обласкал и предложил, в чем могу, мои услуги. Он просил позволить приехать ко мне, чтобы посоветоваться по делам своим, на что я охотно согласился. Он был у меня вчера, а сегодня писал. Вот в чем дело. Он был в военной службе, служил у Ермолова в армии, и хорошо, как видно по аттестатам; отставлен по желанию своему. Теперь, устроя свои дела, имеет сильное желание служить, именно в корпусе цесаревича. Он очень меня просил дать ему совет. Имеет рекомендации к Куруте, Жандру и другим, но не хочет ехать в Варшаву, не быв уверен в успехе. Поговори и посоветуйся с Феншем; а может, и Киль будет в Петербурге, так и он нам поможет. Было бы хорошо узнать наперед мысли его высочества великого князя на сей счет, чтобы тогда Севинис поехал в Варшаву представиться со своими документами и бумагами. Я тебе высылаю все бумаги, кои он мне направил, и также письмо его, кое ты можешь выдать за писанное тебе. Я ему сказал, что мы сделаем для него самого и его дяди, коего все

почитаем. Этот молодой человек имеет вид самый порядочный. Я здесь видел его в лучшем обществе. Скажи мне, милый мой, как пойдет дело, чтобы я сообщил ему твой ответ.

1824 год

Константин. С.-Петербург, 1 января 1824 года

Вот и новый год настал, мой милый и любезнейший друг. Такой же, кажется, день, как и другие, а все суетятся, заботятся, хлопочут, наряжаются, поздравляют. Поеду во дворец и там отплачу за все поздравления, коими меня дома душат; иначе от них не уйдешь.

Здесь Боринька Юсупов предлагал себя дочери Марии Алексеевны [Нарышкиной], но, получив отказ, скрылся, куда – не знают; оставил матери письмо. Много говорят об этой истории.

Ну, брат, дал ты мне комиссию с кавалером Цивини или Чивини. Не знаю, как приступить к ней. Посоветуюсь с Закревским. Я где-то его видел или о нем слыхал; кажется мне (но только между нами), что граф Каподистрия не был им доволен. Я тебе не советую покуда слишком с ним коротко знакомиться и связываться. Каподистрия, который всем делал добро, конечно бы, и ему помог подвинуться в службе. Оставил ли бы он своего племянника, если бы этот заслуживал его ходатайство? По крайней мере, я так рассуждаю; только, пожалуйста, – чтобы это далее не шло. Спрошу Доболия, не знает ли он его.

У бедного Ремана [известного тогда врача] умер отец. Прочитав статью о нем в газетах, послал я за нашим приятелем, боясь, чтобы вдруг не попалась ему печальная статья, так как он всегда с жадностью кидается на газеты. Долго я его приготовлял и наконец сказал ему. Его поразило очень известие, много плакал, но очень меня благодарил. «Признаюсь вам, – сказал он мне, целуя меня, – что, ежели бы я эту статью нечаянно обнаружил, – не знаю, что со мною сделалось бы». Посылаю тебе еще два тома Наполеоновой корреспонденции; прочитав, отправь к Воронцову.

Константин. С.-Петербург, 2 января 1824 года

Вчера утром во дворце было очень много, а в маскараде ввечеру, конечно, тысяч до двадцати. Такой духоты я и не помню, точно как в бане на самой верхней полке. Часов в десять пошел я с Манычаром смотреть декорацию Эрмитажного театра, где был накрыт стол, и, не дождавшись ужина, уехал: мочи не было. На лестнице же и в сенях насилу мог продраться. Благодарю Бога, что жена не поехала: мне бы беда с нею! Театр представлял точно нечто очаровательное; одним словом, все было необыкновенное, чрезвычайное, так что подобного нигде видеть нельзя. Государь,

императрица и великие князья очень милостиво поклонились; говорить же я не имел счастия ни с кем, потому что это бывает за ужином, а у меня от жару голова так разболелась, что не мог остаться.

Надобно тебе сказать мою шутку с Лонгиновым. Пошли все к обедне. Я к нему подхожу и говорю ему, что мундир его гол: «Жаль, что звезды нет, ты бы хоть мою взял», – и стал ему прикалывать Владимирскую. Многие стояли около нас, а он почти сердится: «Что за шутки, мой милый друг?!» – хочет мне мешать, а я все-таки свое делаю; наконец приходит князь Александр Николаевич и говорит ему, смеясь: «Вы можете оставить этот знак, я вам его обещаю; ибо именно я представил рескрипт на подписание императору». Он очень обрадовался и остался с моей звездою. Мне сказал князь, а Лонгинов еще не знал и никак не ожидал получить.

Александр. Москва, 3 января 1824 года

Славное будет дело – ежедневная почта между двумя столицами; но замечание твое очень справедливо, что надобно за это сделать прибавку чиновникам почтовым. Везде присутствия начинаются в 9, 10 и оканчиваются в 2 или 3 часа, а там и вольный казак; на почте же вечная работа и в Новый год, и в Светлое Воскресенье, и до обеда, и после оного. А как подумаешь, что люди сии жертвуют всеми выгодами и приятствами жизни, не имея никаких преимуществ пред прочими, государю служащими, то, право, непонятно, как почтамты не пусты или не набиты сволочью! Целый век считают чужие деньги, не имея сами ни гроша. Старайся о штатах: ты сделаешь себе имя бессмертное и составишь благополучие множества народу. До сих пор московский почтамт держится как бы тобою. Многие вышли бы уже и остаются, почитая тебя все еще как будто родом начальника или покровителя. Славные люди! Я, право, удивляюсь, что Иван Александрович [Рушковский, московский почт-директор] не чувствует им цены!

Сегодня звала нас на вечер графиня Бобринская; там будет и граф Ростопчин. Вчера в Итальянском театре плясали верноподданные чудака старого камергера Ржевского. Театр был набит. Сбор составил 3600 рублей. Ожидали, что будет плохо, а оказалось недурно. Надобно, чтоб этим бедным девушкам и в самом деле так хотелось танцевать, как они сие делают, имея лишь над собою хозяином одного своего хозяина и господина. Он на эти фарсы пробухал 4000 душ и теперь танцовщиц своих хочет (извини за выражение) продать дирекции по 1000 рублей штуку, и, право, это за ничто. Что-то решит князь Дмитрий

Владимирович, а это бы хорошее было приобретение для дирекции театральной.

Молодой Талызин, адъютант князя Дмитрия Владимировича и племянник Апраксина Степана Степановича, помолвлен вчера с графиней Зубовой; другая сестра – за Леонтьевым.

Сейчас был у меня приятель Тургенева Баскаков – благодарит. Я просил о нем Новосильцева, коего князь Дмитрий Владимирович посылал усмирять взбунтовавшихся его крестьян, и он подлинно молодецки все это кончил, а дело было щекотливое. Мы его все называем московским Ангулемским, усмирившим в подмосковном Трокадере дух мятежа. Кажется, теперь везде все утишено, и князь, как Людовик XVIII, может покоиться на лаврах.

Александр. Москва, 4 января 1824 года

Очень было весело вчера у Бобринской, любезнейший друг. Нас было человек 20, только она нас всех отвела в уборную: дам в одну, мужчин в другую; были приготовлены маскарадные платья и маски всякие, все мы были одеты в четверть часа, вошли в гостиную. Мужчины не знали, кто женщины, и наоборот. Я насилу узнал Наташу [то есть свою жену]. Сели все. Звонок. Кто? Явилось целое общество в масках, а никто не знал, где хозяйка дома, бывшая и сама в маскарадном платье. Пришедшие сняли маски, и оказалась княгиня Горчакова со всем своим обществом.

Думали, что конец. Опять швейцар в колокольчик; входят человек 20, разные генералы маскированные, и очень смешно. Они танцевали разные па. Этих уже никто никак не узнал; с тем и уехали, не сняв масок. По сему я полагаю, что были это парвеню, которых в доме обыкновенно не принимают. Все закончилось прелестным балом. Надобно было видеть радость хозяйки дома! Ты знаешь, как она любит развлечения. Граф [Ростопчин] мой так завеселился, что мы после ужина уехали, а он был еще там.

Вчера был у меня Севинис. Он мне сообщил еще бумаги, кои доказывают родство его с нашим добрым Каподистрией, документы знаков его отличия. Аттестаты его очень хороши, и цесаревич сделает в нем хорошее приобретение.

Слыхал ты о неудачах чудака этого Юсупова? Он здесь (то есть молодой), в Архангельском, куда послан отцом в заточение за то, что сватался без его ведома за дочь Марии Алексеевны Нарышкиной, которая натурально отказала ему.

Говорят здесь о славном новом месте в Москве, главном директоре таможни, которая с границы переводится сюда; все меня мучают, кому бы и дела не должно быть до меня: «Вот место для вас!..» – «Напрасно; тут надобно вора, а я им не буду

никогда». – «Совсем нет, вы будете мешать воровству, а место само по себе будет давать 20 тысяч в год, с квартирою казенною, а именно – банковский дом возле почты, а банк переносится и соединяется с коммерческим и сливается в одно». Всем до меня дело. Прощаю я ближним, но посторонние очень меня докучают своим участием неуместным.

Александр. Москва, 7 января 1824 года

Лодер [профессор хирургии и знаменитый врач (товарищ Гете)] бесится ленте Лейтону, коего называет самым несведущим скотом, не могшим два раза выдержать экзамен, и который делает стыд факультету целому; так разгорячился наконец, что хочет выписаться из лейб-медиков. Старик наш Пфеллер насилу мог его урезонить.

Я не думаю, чтобы Браницкая оставила свою Белоцерковь и явилась к должности своей ко двору. За нее, верно, будет отправлять Литта [графиня Екатерина Васильевна Литта, сестра графини Александры Васильевны Браницкой, дочь которой (Елизавета Ксаверьевна) была замужем за графом Михаилом Семеновичем Воронцовым]. Это все должно, однако же, быть приятно Воронцовым.

Не знаю я, в каких отношениях Севинис с Каподистрией, а, кажется, малый порядочный, желание его умеренное, выгод не просит, а хочет только служить. Он имеет хорошие рекомендации к цесаревичу, стало, все сделано. Он хотел бы только предупредить его высочество, чтобы тот не ездил попусту в Варшаву. Мне казалось, что Фенш или Кир тебе предоставляют такую возможность. Ни ты, ни я ничего не берем ни на себя, ни на свою ответственность. Я желал только услужить человеку без покровительства, да к тому же родственнику того, коего почитаю всей душою. Вот и все. Ты же действуй с обыкновенною твоей осмотрительностью.

Реман должен быть тебе благодарен за осторожность, с коей ты объявил о кончине его отца. Я помню, что Коцебу-сын умер было от ужаса, прочтя нечаянно в газетах о трагической кончине отца своего.

Александр. Москва, 8 января 1824 года

Граф очень скучает; вчера нашел я его в большой хандре: все говорил о болезни дочери, о смерти внука, об отъезде дочери, о собственных недугах. Войдя в другую комнату, я нашел, что пахнет дымом. «Недостает, – сказал он, – одного только: чтобы дом сей сгорел в огне». Однако же я, зная его нрав, слушал, не отвечал и отмалчивался; после сам заговорил о другом и пришел

в обыкновенную свою сферу.

Александр. Москва, 11 января 1824 года

Вчера была именинница Бобринская. Звал к себе обедать Гагарин, но я не поехал – боялся накушаться, а я два дня что-то не очень здоров, именно желудком и геморроидами – оттого, что от большой стужи не хожу пешком. Ввечеру поехал к ней и нашел множество народу, так что составился неожиданный и славный бал. Она о тебе и Марице всякий раз у меня спрашивает. Насилу мог уехать, и то утайкой, из-за ужина. 30-го у нее большой маскарад, на который она теперь уже приглашает всех. Был также и граф Федор Васильевич; получив позволение носить фрак, он стал более выезжать в свет. Дочери лучше, Албини ей очень помог, но все-таки весною она едет в чужие края. Болезнь эта некстати: у меня в уме было все сочетать ее с Николаем Меншиковым.

Александр. Москва, 12 января 1824 года

Ты, верно, читал роман или песню молдавскую «Черную шаль» молодого Пушкина; некто молодой аматер Верстовский сочинил на слова сии музыку, не одну и ту же на все куплеты, но разную, в виде арии. Занавес поднимается, представляется комната, убранная по-молдавански; Булахов, одетый по-молдавански, сидит на диване и смотрит на лежащую перед ним черную шаль, ритурнель печальную играют, он поет: «Гляжу, как безумный, на черную шаль», – и проч. Музыка прелестна, тем же словом оканчивается; он опять садится, смотрит на шаль и поет: «Смотрю, как безумный, на черную шаль, и нежную душу терзает печаль!» Занавес опускается, весь театр закричал «фора», пел другой раз еще лучше. Вызывали автора музыки, и Верстовский, молодой человек лет восемнадцати, пришел в ложу к Кокошкину, кланяется и благодарит публику. Чудесная мысль! Не знаю, кому она явилась; говорят, Вяземскому. Скажи это Манычару, любителю театров и музыки. Молодой Пушкин и не подозревает в Бессарабии, где он сейчас должен быть, как его чествуют здесь, в Москве, таким новым способом.

Александр. Москва, 11 января 1824 года

На балу у графини Бобринской видел я двух сестриц-вдовушек князя Петра Михайловича [Волконского, будущего министра двора. Одна из этих сестер – Грессер, другая – Кожина] и сообщил им, что ты пишешь о брате их, и они очень мне были благодарны, ибо не знали ничего положительного о нем. Возвращение его будет, я думаю, всем очень приятно. Дай Бог ему

здоровья и заступить старое его место. Во всяком случае человек, столь государю преданный и нужный, не останется без употребления, и дружбу твою он, верно, не забудет.

Свадьба Суворовой и здесь всех удивляет. Оба с ума спятили. А кто знает, может быть и примерные будут супруги. Это век вещей необыкновенных.

Завтра должны были давать Россиниева «Моисея», но Филарет запретил, и я его одобряю. Хотя многие и кричат, что во многих пьесах и балетах есть первосвященники на сцене, но это все не Моисей с лучами на голове, сходящий с Синайской горы с заповедями или проклинающий именем Бога. У нас сделает это очень дурное действие, особенно в народе, и Филарет умно поступил; благомыслящие будут все за него. Вместо «Моисея» будет «Зельмира».

Ржевского танцовщицы не идут что-то с рук. Кокошкин их хвалит, говорит, что полезное было бы приобретение для дирекции, но прибавляет всемирный куплет: денег нет! А кажется, сборы в Русском театре очень хороши; теперь мода, тон ездить туда, как прежде все кидалось в Итальянскую. Кстати, меня уверяют, что после окончания здесь срока их они едут к вам, и что это дело решенное, что император дает от себя 40 000 рублей и императрицы по 20 000 рублей каждая.

Константин. С.-Петербург, 15 января 1824 года

В субботу государь приехал из Царского Села, нездоров простудною лихорадкою и рожею на ноге. На другой день не было съезда во дворце, то есть 13-го числа [день рождения императрицы Елизаветы Алексеевны]. Вот записка доброго нашего князя, которая тогда же меня успокоила насчет драгоценного для всех нас здоровья ангельского нашего государя. Это внимание князя, право, меня тронуло: он тут судил о моем сердце по собственному своему. Слава Богу, все идет хорошо.

Бедная Чернышева[118], жена генерал-адъютанта, которая раз уже в течение своих родов была в горячке, так что отчаивались в ее жизни, перестала теперь жить, 12-го числа. Два дня она мучилась родами. Бабушка говорит, что она никогда подобных случаев не видала и подобных криков не слыхала. Наконец разрешилась мертвым ребенком и от ослабления сама испустила дух. Не говоря уже о том, что ей 19 было лет, кто немного ее только знал, не может не сожалеть о ней; она была мила, умна, скромна, добра. Царство ей небесное. Муж в совершенном отчаянии. Жаль и его: несколько дней перед тем он так был счастлив!

Александр. Москва, 18 января 1824 года

Вчера обедали мы у Вяземского на пробном столе. Хотя кухмистр Александра Львовича [Нарышкина], но не показался вообще никому хорошим. Обедали Виельгорские, и я не видал, как стукнуло 8 часов. Тут слышал я о смерти несчастной Чернышевой, которой не хочу еще верить, ибо ты не пишешь, хотя и можно было ожидать это несчастие. Бедный человек! Второй раз женат, и оба раза несчастливо, один раз – от жизни, а другой – от смерти жены своей. Какая ужасная судьба!

Графа Нессельроде поздравляю со Св. Духом, а графу Блоому желаю для него и для всех оставаться в Петербурге.

Забыл я тебе сказать, что Вяземскую нашел в слезах, а у сестры ее Ладомирской, которая брюхата, спазмы и все, что за сим следует. Вообрази, что эта скотина Кологривов (а, кажется, муж родной их матери!) сказал им, что брат Феденька Гагарин застрелился; он слышал это бог знает от кого и тотчас их употчевал этой «радостью», да и не сам, а через дворецкого Вяземского. Есть такие люди, которые довольно счастливы только тем, что могут объявлять другим о несчастий. Другие почитают это за несчастие и желают от себя отталкивать подобные комиссии. Я помню твое горе, когда надобно было Воронцову сказать о смерти его ребенка. Всего лучше то, что четверть часа после принесли Вяземскому письмо очень свежее от покойника и в коем нет ни слова о самоубийстве. Животное!

Константин. С.-Петербург, 18 января 1824 года

Ох, опять был на балу до трех часов у старухи Голицыной! Нельзя было иначе. Она так к нам благосклонна, что нехорошо бы было ехать ни перед ужином, ни тотчас после, тогда когда она именно просила остаться и поручила наблюдать за нами графине Строгановой. Поутру у нее были императрицы, великий князь с великою княгинею и великая княжна, а там, по обыкновению, весь город с поздравлениями.

Не знаю, сколько ей стукнуло лет, а должно быть – порядочно. Первый раз появилась вчера на бал дочь Балка, свежа, прекрасна, скромна и лицо доброе; а для меня Влодекша лучше.

Во время бала пришли за обер-полицмейстером. Что такое? Пожар у Мятлевых; это хоть и недалеко от почтамта, но я был спокоен, не полагая, чтобы пожар был велик; однако же внутри комнаты две сгорели и, говорят, много сгорело вещей. Уборная ее вся в драпри, девушка неосторожно зажгла занавеску, и пошло драть. Несмотря на это несчастие, все Мятлевы, кроме отца, были на балу. Там я видел князя Дмитрия Владимировича и очень много с ним говорил о Москве, о почтах, дилижансах и проч. Мне

кажется, он постарел или устал, может быть, с дороги.

Александр. Москва, 21 января 1824 года

Твое письмо начинается вестью, весьма неприятною для всякого русского, хотя болезнь государя сама по себе ничего не значит, лишь бы рожу только не замочить и не простудить. В других странах приказывают в таких случаях производить общественные молебствия, но у нас-то какой же русский по собственному рассуждению да не попросит у Бога о восстановлении столь драгоценного здоровья. Очень я тебе признателен за бюллетени. Они мне пригодились, ибо вечером у нас были граф Ростопчин, Небольсин, Корсаков; приходит мой тесть, который отводит меня в сторонку. «Знаешь о том, что император болен?» – «Чем?» – «Больного перевезли из Царского Села с жестокой лихорадкою и рожей в голове». – «Все это вздор». – «Я тебя уверяю!» – «Поверите ли вы государеву доктору и тому, кто сам видел государя?» – «Как же не поверить? Да разве Вилье здесь?» – «Нет, но вот записка от него с бюллетенем; сверх того князь Александр Николаевич пишет брату, что имел счастие быть у государя, что его величеству гораздо лучше». Тут успокоился мой князь, просил списать бюллетени, но я не дал, возвращаю тебе с благодарностью записку Князеву и бюллетени; все это, верно, сохранишь. Дай Бог, чтобы первое твое письмо сказало мне, что все прошло. Также сказывал князь, что Михаил Павлович очень себе ушиб нужнейшие для жениха части, хотя показать солдату, как делать надобно ружьем. То же мне многие повторяли, прибавя, что свадьба отложена на неопределенное время.

Весь город говорил уже о несчастной кончине бедной Чернышевой, но я все питал надежду, что неправда, ибо ты мне не писал. Дурные известия, по несчастью, всегда оправдываются. Жаль ее очень, а также и мать, и мужа. Бедный Чернышев несчастлив с женщинами: одна сделала его несчастным при жизни своей, а другая – умерев.

Вчера были мы с Наташей у Голохвастовых; это брат того, что ты знаешь. Они племянники Льва Алексеевича Яковлева; этот хромой и женат на молодой прекрасной девушке, кажется, Казначеевой. Он богат, но надолго ли станет, ежели так будет продолжать?

Вчера пел и играл на гитаре Сор, муж парижской танцовщицы Юллен; поет незавидно, а играет хорошо. Булахов должен был петь «Черную шаль», но не явился: Вяземский его засеквестровал у себя, делал репетицию своего водевиля, Булахов тут что-то играет. Будут давать его в четверг для бенефиса красавицы

Кокошкина, мамзель Львовой-Синец-кой. Будет также новая комедия Кокошкина, танцы, шарады в живых картинах. Пришлю тебе афишку. Комендант мне сказывал, что он тоже получил бюллетени о здоровье драгоценном.

Александр. Москва, 24 января 1824 года

Сегодня празднуем мы ужином рождение Ивана Николаевича Корсакова, а обедать будем у него.

Во что ни станет, а надобно заехать в театр – послушать первое представление водевиля Вяземского, коим начинают. Таким образом наполнится и весь день.

Видно, Голицыной долго жить; здесь сказали, что она отчаянно больна, другие – что имела какое-то привидение, что старуха к ней пришла, а она сказала: «Дочка, чего хочет от меня эта старуха?» А графиня Строганова ей в ответ: «Да разве, матушка, есть здесь кто, только мы с вами вдвоем»; а вместо того она дает себе балы, себя и других веселит. Здесь уже недели две говорят о свадьбе Александра Львовича [слух не оправдался], вот тебе на! Три поколения женятся в одно время: внучка, дочь и дед!

Александр. Москва, 25 января 1824 года

Обедал я у именинника Корсакова. От него заехал я к графу Федору Васильевичу, а там – в театр. Пьеса Вяземского была начата уже, он сам сидел в ложе во втором ярусе спрятан. Актеры худо знали роли свои, и многое публика не слыхала и не поняла в пьесе; признаюсь, что от такого автора ожидал я нечто лучшее. Водевиль хорош только для французского языка и для парижан. На нашем языке это не то. Однако же кричали «фора» куплетам сонного слуги Андрея.

Как занавес опустили, тут пошла потеха, страшный шум и крики: «Автора! Автора!» Я уверял Башилова, главного крикуна, что нельзя просить автора, когда он не назвался. – «Да все знают, что это Вяземский». – «Да его здесь и нет». – «Верно, где-нибудь спрятан. Автора! Автора!» От партера сообщился шум и райку; только кричали до того, что сонный выспался, вышел на сцену и сказал: «Милостивые государи, так как имя автора нам неизвестно, то, к сожалению своему, не может он благодарить почтеннейшую публику за ее одобрения». Тем и кончилось. Кокошкиной пьесы видел я только первый акт, много обещал. Действующие лица очень яркие и поразительные. Многие себя должны узнать. Спектакль кончился в час, вот тебе афишка. Ввечеру были у нас Корсаков, граф Федор Васильевич, тесть с княгиней, Чумага, Осипов, Обресков и Фавст, играли в вист.

Александр. Москва, 31 января 1824 года

Ну, дал же себя знать маскарад Бобринской! Зов был в 10 часов, отчего иные приехали в 12, а рано только те, кои раза два или три переодевались. Множество было народу, и очень было весело, только тесно и жарко. Маски были преславные. Наташу выпроводил я в третьем часу, почти в четыре ужинали, во время ужина и я уехал; теперь 12 часов; право, не ручаюсь, чтобы маскарад не продолжался еще. Наташин костюм очень удался, и все его хвалили; этого мало: я был без маски, и меня не узнавали. Я нарядился татарином, торгующим шалями: золотая ермолка, халат из шелковой парчи, весь одет в шалях, борода, усы, брови так были искусно прилеплены, что граф Панин, отец, говорил со мною полчаса, повторяя все: «Боже мой, как же мне знаком ваш голос, а не могу угадать, кто вы». Катерину Владимировну я тоже помучил порядочно.

Было бесконечное множество группок и много очень красивых, например: вдруг раздается бой барабанный, является огромный тамбурмажор с четырьмя музыкантами и четырьмя парижскими гвардейцами, с дамами в шампанских костюмах, музыка играет «Да здравствует Генрих IV», а после все поют арию и танцуют французские пляски. После звучат рожки, и являются восемь конных жандармов, все это было очень хорошо сделано; погарцевав хорошенько по кругу, они уехали. Посреди залы поместили мельницу, крылья оной вертятся, а у двери сидит старый мельник, тут подходят четыре старые дамы, отворяют дверь, входят в мельницу, а через десять минут выходят из нее вместо четырех старых дам четыре молодые и хорошенькие девицы. Был еще зверинец с маленькими комнатками, откуда вышли индюк, обезьяна и другие животные. Устроили маленькую передвижную книжную лавку, в которой раздавали всяческие книжки, письма, записки и проч. Словом, чего только не было.

Танцы смогли начать уже очень поздно, из-за толпы. Малютка Урусова и княгиня Лидия Горчакова были в прелестных испанских костюмах – кажется, присланных Юлией Александровной. Корсаковы были одеты римлянками, костюмы великолепные, все в бриллиантах с головы до ног; я нахожу только, что сие имело вид несколько франконский. Я думаю, неделю целую только и будет разговора, что о маскараде сем. Напрасно только давала графиня Бобринская билеты незнакомым: это умножило общество двумястами особами. Для сих людей поставили условие являться маскированными, но вместо того чтобы вскоре уйти, как думали, все остались и, несмотря на жару, оставались до самого ужина в масках. Графиня хочет повторить маскарад для одних только знакомых своих.

Одна маска очень всех мучила, так что графиня приставила человека, чтобы стать за его каретою, ехать с ним домой и узнать непременно. Он был одет пустынником и очень всех веселил; думают, что граф Ростопчин, но он мне точно сказал, что не поедет в маскарад: он очень боится жару. Увидим, кто это был. Он мне говорил о тебе, о Молдавии, Париже, Неаполе и проч.

Слава Богу, что все идет так хорошо. Первое появление государя в публику, верно, будет принято с восторгом.

Засиделся и заболтался я у графа после обеда. Ввечеру хотел он быть к нам. Вот и Вяземский, тащит меня на бенефис мамзель Юллен в свою ложу; поеду, но только на часочек, ибо дома будет у нас вистик, а там попотчуем гостей твоею рыбкой.

Александр. Москва, 4 февраля 1824 года

Я должен был вдруг оставить писание к тебе, мой милый и любезный друг, получив отчаянную записку от Метаксы, который заклинает меня тотчас приехать в Надворный суд, откуда тащат его в тюремный замок; я не дозавтракал, тотчас пустился туда. Он с трудом выпросил, чтобы до прибытия моего ничего не делали. Все это гонения трех кредиторов, а особенно этого Нарышкина Ивана Дмитриевича; он, будучи очень богат, не довольствовался брать пенсион, который Метакса получил при отставке: он заставил через полицию взять у Метаксы всю его посуду и мебель. Сегодня призван был Метакса в Надворный суд; явясь туда, он нашел двух солдат, кои должны вести его в тюрьму. Долго я бился с судьею, доказывая ему, что заключение Метаксы не доставит ни полушки денег, а между тем умрут его бедная больная жена и двое детей. Решено было, что Метаксу выдадут мне под мою расписку с тем, что ежели через 10 дней не представит он деньги, то должен опять явиться в тюрьму; ежели же не явится, тогда я должен за долг его отвечать. Что делать? Я тотчас поехал к графу Ростопчину, просил его, и граф дал мне тотчас 1000 рублей; я их отвез, отдал, Метаксу освободил и дал подписку, которую требовали. Напали мы на Корсакова, который взялся претензию своего зятя Нарышкина уничтожить. Купца, коему Метакса должен 2000 рублей, уговорил я, за 500 рублей чистых денег, отступиться от своей претензии; с третьим кредитором также трактуем.

Между тем сделали мы подписки, кои идут славно. Меншиков Николай дал 500 рублей, Голохвастов – также 500 рублей, да Мария Ивановна Корсакова сию минуту прислала мне тоже более 1000 рублей и два червонца. Вся эта тревога кончится еще к пользе Метаксы: все долги заплатятся, и ему очистятся еще деньги, коими долго может прожить безнуждно. Я отдам их жене

его, чтобы он с радости их не пробандурил. Где тонко, тут и рвется, к нему же еще приехала на руки с дочерью та бедная гречанка Палеолог, для которой мы делали складчину в Петербурге, а самому нечего было есть. Бог все к лучшему устроил. Спасибо графу: все пошло с легкой его руки!

Александр. Москва, 5 февраля 1824 года

Сию минуту явятся ко мне два кредитора Метаксы. Надеюсь чистыми деньгами дешево скупить претензии их. Складчина идет столь удачно, что я имею более 4500 рублей. Сию минуту Петр Львович Давыдов прислал тоже 100 рублей. Славно устроим его дела, все долги большие и мелкие уплатим. Отложу также, что нужно будет, для напечатания записок наших. Пойдет жить наш Трапандос.

Константин. С.-Петербург, 6 февраля 1824 года

Свадьба великого князя назначена послезавтра. Венчать будут возле комнаты государя, где будут только царская фамилия и Совет. После будут обед и парадный бал.

Александр. Москва, 7 февраля 1824 года

Доброй Татьяны Ивановны Киселевой не стало; она вчера скончалась, любезнейший друг. Все о ней сожалеют. Павел Дмитриевич [Киселев, ее племянник] только сутки с нею побыл. Я у него был, долго мы болтали. Он рекомендовал мне свою жену; нельзя сказать, чтобы она похорошела. Много он тебя любит и не нахвалится твоею дружбой. Я ему сказал, что продажа бриллианта его идет плохо. Он это, кажется, и ожидал. Много расспрашивал о князе Петре Михайловиче; что я знал, то и сказал. Очень он обрадовался, узнав, что государь почти здоров. Тетка не была тогда так отчаянна, но положение ее очень его огорчало, и он, говоря о ней, плакал.

Слышно, что сделанным завещанием еще прежде она все свое имение, то есть 900 душ, отказала ему. Перед смертью сказала она ему: «Павел, не оставь свою сестру Александру (толстая, что в девицах)». Он скоро собирается в Петербург, душевно предан князю Петру Михайловичу и желает застать еще Закревского.

Как желаю я, чтобы ты устроил хорошо дела доброго Каподистрии, который столь часто доказывал нам свою дружбу. Авось-либо Бог и поможет тебе в этом; а кажется, всего бы лучше получать бесхлопотно 8000 серебром. Для него управление арендою должно быть затруднительно.

Фавст за мною прислал, чтобы тотчас я явился; я думал бог знает что сделалось. Начинает словами: «Со мною все делаются

чудеса!» – «Что такое?» – «Мой Сниткин (советник младший, помешанный поэт, о котором я тебе писал и прежде) бежал: нанял тихонько тройку и уехал из Москвы, не спрося моего позволения и велев себя накануне записать секретарем в больных». – «Уехал; ну, слава Богу, что ты от него избавился; нечего тут сожалеть». Вот каких Мечников насовал сюда чиновников, в пику Соймонову, а Фавсту бедному надобно с ними служить; другой советник немного разве получше. Я Фавсту советовал написать Мечникову, да нельзя и утаить такое происшествие. Как ручаться, чтобы Сниткин не наделал каких-нибудь проказ? Начальство может подумать, что Фавст или таит этот побег, или о нем не знает. Надобно, право, желать для пользы службы, чтобы Соймонову препоручили горную часть, а то она придет в совершенный упадок.

Я был вчера в ложе у князя Михаила Петровича Голицына, который мне сказывал, что привезли молодого Юсупова сюда, а завтра едет он в Петербург. Его не узнают: род хандры, и целый день только Богу молится, ходит всякий день к обедне, вечерне, заутрене и, кроме того, дома молится, стоя на коленях. Эк его куда бросило! Не думаю, чтобы отец стал питать в нем эту набожность.

Тут также сказывал Шульгин, что, по просьбе неотступной некоторых дам, Цихлера выпустили, но только на сутки, чтобы кончить маскарадные платья, кои у него делались к празднику Бобринской; на другой день был он опять заперт и до сих пор сидит. Шульгин уверяет, что Пален так был рассержен грубостями, сказанными его жене Цихлером, что ехал его убить, и Шульгин насилу его урезонил. Правда, что старик был очень груб; он принял Паленшу за провинциалку и сказал ей: «Ступайте покупать в лавки на Кузнецком мосту, а мой магазин предназначен не таким фигурам, как вы». Она, кажется, сестра Орлова-Денисова. Долго ли проморят Цихлера, – не знаю; наказание заслужил, но зачем печатать его лавку? Тут могут страдать и те, кои не участники его грубостей. Это, кажется, несправедливо: запечатать можно за контрабанду или долги. Много это делает шуму в Москве.

Константин. С.-Петербург, 8 февраля 1824 года

Цесаревич Константин Павлович вчера вечером приехал из Варшавы как раз к свадьбе. Вчера был я на балу у старухи Голицыной, которая праздновала именины или рождение вашей генерал-губернаторши. Там мне сказывал Тургенев, что Урусов, князь Александр Михайлович, сделан сенатором с оставлением при прежних должностях. Он не знал, подписан ли уже указ,

изготовленный нашим князем; но это дело верное. Поздравь за меня князя. Это, сверх почести, делает ему тысячи три прибавки. Еще: губернатор Дивов точно будет шталмейстером нового двора, а Алединский – гофмейстером или гофмаршалом.

Константин. С.-Петербург, 9 февраля 1824 года

Жуковскому пожаловано 5000 рублей (он учил Елену Павловну) единовременно, и столько же будет получать ежегодно, а так как он имеет еще 5000 рублей от Александры Федоровны, то и не худо: будет, чем жить.

Сейчас Жуковский показывал мне перстень с солитером, подаренный ему великою княгиней, прекрасный.

Александр. Москва, 11 февраля 1824 года

Метакса представил мне опись мелким долгам, яко аптека, булочник, мясник и проч., всего 1120 рублей. С этими нечего делать сделок, надобно все отдать. Я поехал с деньгами к жене, которая женщина препочтенная и премилая. Другая бы сошла с ума, а она, будучи больна, все не теряла бодрости и терпения. Долго мы с нею говорили обо всем. Я объяснил ей, что все дела кончены в суде, привез ей письмо, весьма ласковое, от Ивана Николаевича Корсакова, который препровождает к ней изорванное и удовлетворенное им заемное письмо Метаксы Нарышкину. Она заплакала от радости. Сверх сего, имею я еще около 2000 рублей для Метаксы, но это сохраню до поры до времени. Она звала меня на макароны к себе, кои сама сделает; поеду непременно. Много она мне рассказывала о добром Каподистрии, которого любит как брата; я знаю, что и он ее любит, да она и стоит того. Ты можешь ему написать, что теперь она покойна, а вперед мы имеем в ресурсы выручку на «Записки» Метаксы. Вот семья, которая от тюрьмы перешла к изобилию. Бог знает, какими путями ведет Он несчастных к спокойствию! Я провел славнейшее утро! Спасибо графу, Корсакову и другим добрым людям. Пошел наш Метакса опять в люди; больно, что весь город об этом говорит. Теперь Метакса будет также пользоваться пенсионом своим, полученным при отставке и который Нарышкин также к себе прибрал.

Константин. С.-Петербург, 12 февраля 1824 года

Егор Васильевич [Карнеев, директор Горного департамента и начальник друга Булгаковых Фавста Петровича Макеровского] прав. Не сделают же из мухи слона; не надобно брать слишком все к сердцу, а надобно, напротив, оттерпливаться; нельзя, чтобы в службе иногда не было неприятностей, но они проходят и после

иногда обращаются к пользе. Это сущая правда. Я на себе испытал с Чичаговым. Так мне было больно и трудно, что я было все бросил и уехал, но что тогда со мною было, и что теперь? Один шаг дал бы совсем другое направление службе и судьбе моей. Спасибо добрым людям и друзьям, которые меня остановили, – Сабанееву, Фонтону, старику Италинскому. Я тогда их послушался, хотя слишком был огорчен, и хорошо сделал. Пусть Фавст возьмет пример с меня. Это его ободрит, а я только желаю, чтобы и он так кончил, как я, все неприятности. Ему еще легче: его подозревают в слабости, а мне Чичагов сам после признался, что его уверили, что я брал. Бог милостив, авось все переделается совершенно.

Вице-адмирал Кроун пожалован в адмиралы, Уваров, камергер, – в действительные статские советники. Наш князь мне сказывал, что он не две, а *три* табакерки получил. У меня во дворце были просьбы ко всем почти министрам, и все удачливо кончил. Милорадович обещал определить сироту в театральную школу. Граф Нессельроде просит о продолжении аренды Крейдеману, который, бедный, очень болен, и так далее. Множество было народу для поздравления, которое продолжалось часа три. Новобрачные очень казались веселы. Царевич шел с генерал-адъютантами, а Николай Павлович – с инженерным корпусом.

Ну, брат, какой у меня мраморный бюст государя прелестный; а делал его твой спаситель Фортини с торвальдсенова. Такой же купили мы у него с Лонгиновым для Воронцова. Репнин[119] третьего дня приехал. Отец его очень плох, но еще жив.

Александр. Москва, 12 февраля 1824 года

До меня дошли не весьма благоприятные слухи о Севинисе. Он оплел здесь старика Зосиму: взял на подержание большие золотые медали, кои ему не возвратил; кроме того, занял у него 6000 рублей и уехал, не заплатя; а на вид казался такой смиренький. Недаром ты его не очень жаловал; что он у вас делает?

Александр. Москва, 14 февраля 1824 года

Собрание вчера (пишу тебе в среду) было очень многолюдно, то есть маскарад; было 1300. Много масок; я явился прежде во фраке, и как все нас видели, то мы с Вяземским пошли в комнату к Акатову, бухгалтеру, и там в пять минут маскировались капуцинами. Точь-в-точь один, как другой, и та же маска, даже перчатки одинаковые. Так как мы одного роста, то много

выходило путаницы. Вяземская узнала мужа, начала с ним разговор весьма скабрезный, чтобы доказать ему, сколько уверена, что это он. Он исчез; встречает она меня. «Милый друг, дай мне руку, хочу отыскать мою сестру». – «За кого вы меня принимаете, сударыня?» – был ответ. «Можешь сколько хочешь менять голос, это ты». – «Если вы уверены, что это я, дайте мне тому доказательство». – «Все, что пожелаешь». – «Ну что ж, поцелуйте мне руку», – и снимаю перчатку. Она было призадумалась, однако взяла руку и поцеловала ее очень усердно. Тогда я ей объявил, кто я. Смешно то, что и тут она со мною продолжала спорить, что это не я, а муж ее. После, как пришли мы оба вдруг к ней, то она догадалась, что в зале было у нее два мужа: один настоящий, а другой подложный.

Мучил я тоже порядочно Лазарева вашего. Сперва видел он меня во фраке, очень обрадовались друг другу, долго болтали; потом напал я на него в маске; тут уж я его с ума сводил, так что он не хотел от меня отстать: целует руки, чтобы я ему сказал, кто я. Я ему рассказывал про Петербург, про твой дом, про Марицу, Молл ершу, концерт его, про Деболи, про их бостоны; вот он и начал рассуждать: это не Манычар, тот выше; это не Строганов, тот в Париже; это не Полетика, не Северин, те ниже. Ах, боже мой, кто бы это мог быть? Как знать ему все так подробно о Константине Яковлевиче и доме его? Это бы можно знать все одному Александру Яковлевичу. «Да не он ли?» – спросил Дурасов. «И нет, я сию минуту говорил с Александром Яковлевичем, он здесь во фраке». После, как явился я опять во фраке, Лазарев стал мне пересказывать весь свой разговор с капуцином; я не открылся, но сказал, чтобы приезжал ко мне в субботу на блины, что он у меня найдет этого приятеля общего. То-то удивится, что это я, и, верно, не поверит.

Константин. С.-Петербург, 15 февраля 1824 года

Цесаревич сегодня никого не принимал; но мне сказано, что меня велено принять. Я пробыл у него в кабинете более часа и так был им обласкан, что, право, не нахожу слов, как благодарить его за милости. Много рассказывал он мне о Царстве Польском, о дорогах, о финансах, армии, устройстве; одним словом, я более часа провел приятнейшим образом. Спрашивал о Бомоне, который через Гагарина просил принять его в службу. «Я его не видел сам, но он говорит, что женат на твоей сестре или родственнице, а для меня сего было довольно, чтобы принять в нем участие». Я благодарил и сказал о нем все, что знаю, то есть очень мало. Великий князь мне поручил его исповедовать по-католически. «У нас надобно отвечать на вопросы, кои задаются

на исповеди, а у католиков вопросы надобно упреждать. Особливо пусть скажет тебе, как оказался он в России и в Уфе, а там посмотрим». Послал за Бомоном; скажу ему, чтобы он написал сам свое похождение, и отдам записку цесаревичу, но просить за него и свидетельствовать о нем не стану, ибо никак его не знаю. Великий князь дал мне так непринужденно себя почувствовать, что я с ним разболтался и не видел, как прошло время.

Александр. Москва, 15 февраля 1824 года

Метакса тебя благодарит очень за участие о нем. Дело с концом теперь. Завтра жена его звала на макароны, кои сама изготовит, а он состряпает венецианский рис. Повезу бутылку шампанского, чтобы пить за счастливое восстановление финансового положения. Она очень умная и милая женщина. Этот несчастный случай более меня с нею сблизил.

Не забудь мне написать, что Вилье тебе скажет о мази, которую вздумалось тестю послать тогда, когда она уже не нужна; и прежде было бы это не у места. Мне кажется, что выходка эта предполагает некоторую степень дружеской близости, коей не существует и никогда не существовало между ним и государем. Он у меня спросил: «Ну, что брат тебе пишет, какой ответ?» – «А брату почему знать? Его дело было только доставить по принадлежности; это он исполнил, а более ничего не знает». Княгиня меня уверяла, что тоже его отговаривала, как и я; но он не послушался.

Александр. Москва, 18 февраля 1824 года

Ты спрашиваешь, жив ли Савельич [шут у князя Василия Алексеевича Хованского]? Жив, но более не шутит. Он разбогател шутками своими, приятели построили ему дом, всем мастеровым заплатил он шутками. Теперь торгует чаем и всякою всячиной. У нас бывает очень редко.

Много слышал я о бюсте императора торвальдсенова, но не видал. Увижу когда-нибудь у тебя, а как разбогатеешь, то сделай себе копию последнего портрета государя, что писал Дау во весь рост: чрезвычайно похож.

Рунич, коего видел я в богатой звезде в Собрании, наговорил множество фраз отборных; все расхваливали звезду его, а он в ответ: «Это правда, что прекрасная. Их только две в России: одна у Константина Яковлевича Булгакова, а другая вот эта». Думаю, что все говорили себе: «Право же, на том сходство между вами и Константином Яковлевичем и кончается». Он, кажется, в большом восхищении. К князю Алексею Борисовичу [Куракину, председателю Государственного совета], пожалуй, поезжай, хоть в

один понедельник: он все жаловался Тургеневу, что ты спесив.

Сию минуту прислал мне тесть прилагаемую при сем копию с рескрипта, который удостоился он получить от государя. Число выставлено рукою графа Аракчеева. Видно, пришло лекарство в хорошую минуту; я и теперь того мнения, что лишнее было посылать. Я думаю, старик наш, несмотря на свои 65 лет, вырос на аршин.

Веселия наши кончились. Полагаю, что и все, но я очень доволен этим: отдохну. Нельзя было не ехать в пятницу к Шепелеву, а в субботу – к Бобринской: у первого пир был истинно царский, да кто, кроме него, может дать такой бал? Есть ли другой дом, как Баташева в Москве? Был весь высший свет. За ужином сидело более двухсот человек. Не дал уехать никак до ужина, взял с меня честное слово, и я приехал домой в 6 часов. Ну, какой уж тут сон! У Бобринской хотя было неожиданно, но очень удалось и весело. Она мне сама рассказала, как это было. «Утром квартальный майор явился меня уведомить, что вечером будут ко мне более ста персон и что анонимной запискою ему было предписано меня предупредить. Я не очень все это поняла, да и пошла к своей дочери, чтобы поговорить о сем; там приносят мне письмо, которое я вам сейчас покажу, писанное по-итальянски» (я узнал метаксову руку). Так вот, в том письме почти дословно говорилось, что гостеприимство, любезность и веселый нрав графини стали известны даже за пределами России, и только что прибывшее общество цыган, паломников, солдат, артистов и проч. просит дозволения явиться развлекать графиню вечером. Она сказала, что лучшего и не желала, и поскольку ей нельзя было терять времени, приказала тотчас начинать приготовления к балу. Отправили к ней Башилова, чтобы шепнуть на ушко, что все устроила Корсакова. Графиня захотела узнать, кто именно будет в масках; оказалось, что спрячутся в них лишь немногие. Во избежание упреков она сама лично позвала только графа Ростопчина, коему дала поручение позвать и меня тоже. В то же время почти все знакомые графини явились, получилось 150 человек.

В 10 часов двери отворились, и явился маскарад: 1) маленькая лавочка кондитера с мальчиком внутри (это был манекен); спрятанный человек (Башилов) двигал лавочку, наполненную вывесками, конфетами, ликерами; к каждой конфете прилагались соответствующие случаю девизы; 2) старая Афросимова в кресле подагрика, которое она катила обеими руками, и была маскирована; 3) французские солдаты и дамы; 4) русские крестьяне и крестьянки; 5) казаки и венгерцы; 6) горбатые, хромые, кривые и т.п. старики-инвалиды; 7) пастух,

пастушка; 8) маркиз и маркиза века Людовика Четырнадцатого, 9) маркитантка со своим ослом; 10) паломники и паломницы; 11) извозчик в санях, запряженных лошадью, который ходил из одной комнаты в другую, и еще бесконечное множество других масок. Каждая группа масок пела песни и плясала пляски своей страны. Это было и вправду прелестно, а от старого маркиза и его супруги мы все со смеху помирали. Все это так всех заняло, что бал начался только в полночь, но и продлился до шести часов. Сани извозчика так хорошо были сделаны, что он катал графиню Бобринскую по комнатам; подходит Мария Ивановна Корсакова. – «Извозчик, что возьмешь – меня свезти в уборную?» – «Садись, барыня, даром свезу»; но он не сделал и двух шагов, как картонные сани, подавшись под задом госпожи Корсаковой, треснули и набок. Этот маскарад был и в самом деле восхитительным, и мы натешились.

Вчера было большое катание у Ивана Николаевича Корсакова. Напереди была престрашная лодка, поставленная на полозки и запряженная десятью лошадьми; в ней сидело нас человек двадцать пять, сзади была другая, поменьше, а там множество саней, – катались по городу, а там приехали обедать к Ивану Николаевичу, на дачу его (бывшая Тормасова); я уехал оттуда до танцев, ибо хотел видеть последнее итальянское представление, давали же «Сороку» Россини. Ввечеру был я зван на бал к Анне Ивановне Анненковой, но поберег себя и не поехал, а залег спать в 11 часов.

Константин. С.-Петербург, 19 февраля 1824 года

Ну, слава Богу, вот последний бюллетень о здоровье нашего государя. «Здоровье императора превосходно. Его величество предполагает скоро выйти на воздух. Выздоровление ноги завершается. Отныне бюллетеня не будет, ежели не произойдет ничего нового. 16 февраля». К этому еще прибавлю приятнейшее известие, что государь вчера уже проехался в санях. С каким восхищением все на него любовались!

Александр. Москва, 19 февраля 1824 года

Странно, что не слыхать ничего о назначении князя Петра Михайловича, то есть достоверного; ибо мало ли что здесь болтают, что он от прежнего отказался, лишась Закревского и Меншикова, что Дибич утверждается, а Нейдгарт – на прежнее место Дибича, а Толя куда же? Что министерства императорского двора тоже не захотел князь, что будет он военным докладчиком, как граф Аракчеев – по делам комитета и совета и проч. Увидим, что будет.

Был я у тестя, – в восхищении от рескрипта, да и есть отчего. Он подлинно писал с весьма хорошим намерением, но все было не у места, и тогда, и теперь ему то же твержу, но радуюсь, что так все устроилось. Кроме усердия истинного, было и чванство, что он вылечил того, за кого другие только удовольствуются Бога молить. Кланяйся князю [Петру Михайловичу Волконскому], когда увидишь, и подсунь ему карандаш и листок бумаги, попроси его нарисовать тебе портрет Людовика XVIII, он это делает ровно в пять минут. Я видел это у графа Нессельроде и тогда же хотел его просить подарить меня этим портретом, но он уехал на другой день в Варшаву.

Вообрази, что Кокошкин запретил не только петь Булахову «Черную шаль» в другом месте, как в театре, но и давать ноты кому бы то ни было. Довольно гнусно! Думает делать театру подрыв, но я ее достану от самого сочинителя и тебе пришлю.

Константин. С.-Петербург, 20 февраля 1824 года

Мы с женою вчера ездили к Фишеру на Аптекарский остров. Ну, брат, какие будут здесь оранжереи, гораздо лучше горенских[120]. Две уже совсем почти выстроены, на 130 саженях каждая и по разным манерам. Фишер имеет уже кучу редких растений. Если Бог продлит ему век, то наш ботанический сад лучше будет всех европейских.

Александр. Москва, 25 февраля 1824 года

Прочти-ка № 46 за февраль «Отечественных Записок» Свиньина на стр. 293, что он говорит о приношении, сделанном в одну из арзамасских церквей покойным дедушкой

Иваном Михайловичем; тут и письмо его, писанное тогдашним слогом. Где он это все выкапывает? Я сделал расчисление, что ежели дедушке в 1763 году было 68 лет, то он жил 93 года, ибо скончался в 1788 году. Дай прочесть эту статью тетушке [Марфе Ивановне Приклонской, которая жила тогда уже в Петербурге у дочери своей, княгини Голицыной]; ты, верно, отыщешь Свиньина журнал, а потому и не посылаю тебе твой экземпляр.

Меншикова я еще не видал; говорят, что он очень похудел и опустился. «Черная шаль», говорят, напечатана. Отыщу и пришлю тебе с будущей почтой.

Александр. Москва, 26 февраля 1824 года

Вчера был я целый вечер у Киселева. Ну, охотница его жена играть в карты! Мы отдули 8 робберов, и еще играла после ужина[121]. Много говорил я с нею о ее обожателе Тургеневе.

Красивая женщина, только у нее какие-то конвульсионные движения в голове и шее, в роде Меншиковых, но еще сильнее. Они завтра, то есть сегодня, едут и будут в Петербурге в субботу. Павел Дмитриевич говорит, что тебя первого увидят. Жалеет, что Закревский нездоров, но радуется, что его еще найдет у вас.

Вчера явилась у Киселевых Набатова-Офросимова и сообщила новость, которая очень меня огорчила: бедный наш приятель Миллер И.И. умер в деревне. Давно ли, кажется, я его видел здесь? Был в бане, простудился, возвращаясь домой, и в два дня скончался. Вдова остается с кучей детей. Честный был и хороший человек, хотя и любил галиматью писать.

Александр. Москва, 1 марта 1824 года

Мои несчастные предчувствия сбылись, любезнейший друг, но не мог я ожидать так скоро потерю, которую и самый бесчувственный человек не может не оплакивать. Завяла навсегда эта милая роза, не стало графини Елизаветы Федоровны Ростопчиной. Она скончалась сегодня в 6 часов утра. Ты можешь себе представить положение отца. За мною прислали в 9 часов, и с того времени до теперь, то есть до полуночи, был я все там. Я бедную Катеньку свою, коей сегодня рождение, почти и не видал целый день; но как было покинуть графа в такую минуту? Он душу раздирает, скитается как тень; счастье, что много плачет. Мы с Наташей обедали у них в четверг, и Лизавета Федоровна с нами обедала, с того времени стали ее оставлять силы ежеминутно. Я устал и грустен, в будущем письме тебе опишу все подробнее. Она показала величайший дух. Завтра в 8 часов вынос тела в приходскую церковь, а в понедельник похороны. Графиня-мать тоскует о сестре Голицыной, не знает, как ей написать; нельзя тебе дать знать одному из сыновей о несчастий, чтобы они приготовили мать к несчастному письму, которое она получит, вероятно, с понедельничною почтой? Пусть скажут, что тебе пишу, что нет надежды. Кому бы жить, кажется? Красота, молодость, разум, доброта, богатство, знатность – все это смерть поглотила, ужасно! Она умерла у отца на руках, но потеряла память за полтора часа до кончины и, кажется, наконец не страдала.

Александр. Москва, 2 марта 1824 года

Мы все еще поражены ужасною, безжалостною смертью прелестной этой Ростопчиной. Все способствует, чтобы сделать жесточайшим это происшествие. Красота, молодость, твердость покойницы и неожиданность столь скоро разрушения! Вообрази, любезнейший друг, что она знала всю опасность своего

положения, скрывала оную от отца и матери, чтобы их не огорчать, и взяла с Альбини честное слово, что он не объявит им опасности, пока она сама сего им не скажет. Еще в четверг обедала она с нами за столом, будучи ужасно слаба; в пятницу хотела идти за стол, но мать уже не пустила и положила ее в постель. Под вечер сделалось удушье, явился доктор, и тут видел он, что дело идет к концу; чтобы успокоить ее, дал он ей опиум, который имел хорошее действие. Она исповедалась, причастилась и маслом соборовалась с большой твердостью; часто спрашивала, тут ли госпожа Тончи – для того, что дала ей продать большую часть своих нарядов и ожидала нетерпеливо деньги, чтобы раздать своим служанкам до кончины. Видя, что отец и мать от нее не отходят, при всей своей слабости Лиза привстала, надела свой ночной чепчик, взяла часы, завела их и сказала: «Я чувствую себя лучше, кажется, я посплю, подите тоже ложитесь; когда я проснусь, вас предупредят». Однако же граф и графиня остались с нею. Собравшись с силами и взяв за руку отца, она сказала: «Батюшка, я частенько бывала резка во время болезни, и за то прошу прощения у всех и особенно у сестры моей Натальи; напишите ей о сем, да неплохо было бы сказать о сем и погромче, ведь она несколько глуховата»; потом, поцеловав у отца руку, прибавила: «Батюшка, я прошу у вас милости: когда меня уже не станет, умоляю вас разделить на две равные части приданое, которое вы мне назначили, и отдать его моей сестре!» Какая твердость и доброта ангельская! Потом, оборотясь к брату: «Андрюша, вот мои часы с цепочкой, носи их и помни о своей сестре Лизе!» Все рыдали, а она была покойна. В половине четвертого часа она сказала отцу: «Мне лучше!» – и более уже не говорила; в 6 часов преставился этот ангел, отец держал ее за руку.

По этому рассказу, кто и не видал ее в глаза – должен плакать; каково же отцу лишиться дочери, которая услаждала его душу качествами своими, наружными прелестями льстила его самолюбию! Бедный граф в таком положении, что я, право, не могу решиться оставить его; вот два дня, что только что не ночую у него. Лиза точно живая в гробу, я никогда не видывал такой выразительной улыбки в теле, обезображенном смертью. У нее есть служанка Софи из Парижа, которая все стоит на коленях и повторяет: «Вот увидите, она встанет, она не умерла, это действие опиума, я видела много умерших, они никогда не бывают такими».

Сегодня вынос тела, завтра погребение; положат ее на Пятницком кладбище, где лежат уже брат ее и сестра, очень давно умершие. Графиня Ростопчина с великой твердостью переносит

это несчастие; счастье, что оба плачут. У графа от слез распухли ужасно глаза, и судороги в животе его мучают, однако же он на ногах. Весь город приходит к графу, хотя он не рассылал карточек с объявлением своей утраты. Он принимает только близких, а ко многим меня высылает с извинениями.

Александр. Москва, 5 марта 1824 года

Граф Федор Васильевич вчера, говоря о прекрасной душе своей покойной дочери, прибавил: «Мы доверим вам, любезный друг, одну тайну, не говорите пока о сем, но только предупредите Метаксу. Лиза, зная состояние Метаксы, поручила мне передать ему наследство, которое она ему составила прежде своей смерти; она назначила ему 5000 рублей. Надеюсь, он их примет?» Сие меня очень тронуло, и я ему отвечал: «Я не знаю, кем более надобно мне восхищаться: вами ли или ангелом, коего вы потеряли; только думаю, что вы сами придумали такой деликатный способ сделать добро несчастному, но ежели дело обстоит так, как вы говорите, то как же не принять даяния, идущего от такого ангела, как ваша дочь, да при том безденежье, в каком пребывает бедный Метакса? У него, правда, уже нет долгов, но и впереди у него ничего нет». Оба мы были тронуты до слез. Граф прибавил, что ожидает Брокера, который возвращается из деревень графских с оброками, и тогда он вручит мне деньги для передачи Метаксе. То-то обрадуется Трапандос! Должен он молить Бога за Ростопчина. Зачем не все так же хорошо употребляют богатства свои? Мы снаряжаем теперь бедную Палеолог, возвращающуюся к мужу в Крым. С Вяземским набрали мы до 800 рублей.

Александр. Москва, 6 марта 1824 года

Как сладко должно быть для сердца государя видеть любовь своих подданных! Ничто не может столь вознаградить всех его трудов, понесенных для России. Мне кто-то сказывал, что он изволил уже быть на параде. Ох, надобно бы беречься и не вдруг пускаться на большие напряжения для ноги еще слабой. Это, верно, будут наблюдать императрицы и Вилье и все, имеющие счастье его окружать.

Я бывало кланялся Киселеву от тебя, а теперь прошу тебя от меня ему кланяться. Возгорится ли в Тургеневе старая пассия к его прелестной Софи, или будет засыпать возле нее, видя ее, играющую в вист робберов по двадцать?

Александр. Москва, 12 марта 1824 года

Весь город занят теперь концертом, который общество

отборное намерено дать для выкупа скрипача Семенова. Князь Алексей Борисович Куракин, коего он крепостной человек, требует за освобождение его 10 тысяч рублей. Общество, составленное из двухсот человек, заплатит по 50 рублей за билет, вот и сумма. Чтобы привлечь более охотников, будут петь и играть на этом концерте отборнейшие аматеры; княжны Горчакова и Трубецкая и Риччи будут петь, Грибоедова – играть на арфе, Рахманова – на фортепиано, и проч. и проч. Я боюсь только одного (и вчера говорил Вяземскому это), что много наделают шума, что дойдет до Куракина, и он, уязвленный тем, что, по правде говоря, делает мало чести такому богатею, как он, либо от стыда, либо от злости испортит весь прекрасный план. Он требовал некогда 4000 рублей; теперь сказал Семенову: «Ты мне стоишь более 20 тысяч рублей; ну, грех пополам, дай мне десять тысяч, и я тебя отпущу». Вяземский и Виельгорский очень хлопочут об успехе этого предприятия, но не легко найти и 200 человек по 50 рублей. Намерение благое, конечно; но ежели говорить беспристрастно, то у Семенова есть здоровье, талант, молодость, – сколько бедных не имеют сих выгод! Увидим, что будет, а я охотно дам свои 50 рублей. В городе есть партия, которая против этого плана.

Вчера Алексей Михайлович Пушкин очень нас насмешил; у него просили его 50 рублей, а он выпутался из положения с помощью бахвальства. «Так давайте же ваши 50 рублей», – говорит ему княгиня Вяземская. «А на что это?» – «Да разве вы не знаете? Для выкупа свободы бедного Семенова». – «Э-э, какое безумие! – отвечает Пушкин. – Оставьте его в покое, он там в хорошем обществе; разве нас не 40 миллионов рабов, и уверяю вас, что нам не хуже ваших англичан, американцев, французов и прочих», – и не дал, уверяя, что Семенов сопьется, как скоро будет себе господин.

Александр. Москва, 13 марта 1824 года

Не знаешь, как добывать доходы, а между тем кредиторы свое просят. Хотел было начать охать, но вспомнил, что у всякого есть своя кручина. Надобно терпеть и повиноваться испытаниям, которые Бог посылает. При семейном счастии, доброй совести и изрядном здоровье грешно еще и жаловаться. Без этих забот были бы, может быть, другие горестнейшие. Вот граф и богат, все имеет в избытке, да я не променяю свое положение. Я же его утешаю всякий день. Разлучен от двух дочерей, сына имеет негодяя, другого больного, дочь прелестная умерла, жена странного нрава, хотя, впрочем, и добродетельная, много имеет неприятелей, расстроенное здоровье… Ну что тут и в богатстве? Авось Бог и

надо мною сжалится; ежели и терплю, то не от своей вины, и это большое утешение. Да чего не вознаграждает одна твоя дружба?

Константин. С.-Петербург, 14 марта 1824 года

Концерты ваши у Виельгорского славны, но не извольте слишком хвастать, разве только до сентября месяца. Вчера был я у Нессельроде вечером. Он только что возвратился из театрального комитета. Дело совсем решено и кончено. Государь уже и подписал указ о деньгах; следовательно, можешь сказать Юсупову, что он ошибся. Я уверен, что он сюда переедет на время спектаклей; да если у вас есть подлинные охотники, то и они явятся. «Черная шаль» подлинно, как расслушал я ее, вещь неважная. Старая мне больше нравится, особливо как ее поет князь Владимир Голицын.

У меня из головы не выходят внутренние почты. Дело труднейшее; хочется, однако же, очень тут-то и отличиться. Бог поможет.

Александр. Москва, 17 марта 1824 года

Наконец удалось мне исполнить твое препоручение, мой бесценный друг. Вот партитура «Черной шали». Насилу мог до нее добраться. Кокошкин запретил давать ее кому бы то ни было, но все устроили через посредство маленького подарка и честного слова, что сия музыка не будет показана никому здесь и будет тут же отослана из Москвы. Ваша милая примадонна, верно, первая будет ее иметь и петь в Петербурге. Кокошкин и из этой дряни делает важное дело, но мы его поддели. Не ручаюсь за исправность копии, ибо очень скоро надобно было списать: дали только на одно утро, и я засадил списывать фавстова виолончелиста.

Александр. Москва, 18 марта 1824 года

Княгиня Татьяна Васильевна [супруга московского генерал-губернатора князя Голицына] сказывала, что видела государя, говорила с ним и сказала ему: «Вы не покоряетесь, государь, пожеланиям ваших подданных и совсем себя не жалеете. Вы рождены, чтобы повелевать, а не для того, чтобы слушаться; если бы кто из нас мог вам приказывать, то не упустил бы сего случая. Пощадите себя, ради Бога!» Государь засмеялся и отвечал: «Я слушаюсь охотно, и особенно дам, и уверяю вас, что хотя Вилье и не дама, но я делаю все, что он мне приказывает. Можете так и сказать в Москве». Все это сказывала она сама тестю моему.

Константин. С.-Петербург, 19 марта 1824 года

Закревский прибыл в Гельсингфорс. Он мне еще сам не писал, а писал мне чухонец. Я к тебе послал письмо из Выборга от почтмейстера (который некогда был у батюшки в Царьграде курьером и нас на руках носил); из него ты видел первый шаг Закревского. Я уверен, что у него все пойдет хорошо, а может, и самому слюбится, когда увидит успехи. Желаю их ему и краю от всего сердца. Что мои заботы в сравнении с твоими! Тебя пилят на месте; я вижу теперь, каково это[122]. Бог нас не оставит, я всегда на Него полагал мою надежду и имел сам на себе опыты, как простирал Он на меня руку Своей помощи, когда я терять начинал надежду. Чичагов в Молдавии и приезд мой в армию в 13-м году после смерти Кутузова никогда не выйдут у меня из памяти. Я полагал все для меня конченным, а благость Его обратила еще в мою пользу неблагоприятные обстоятельства. Тяжело, конечно, очень тяжело, но терпеть надобно.

Александр. Москва, 20 марта 1824 года

Умер вчера старик Сент-Мари, известный своими каплями. Собирался во Францию, вместо того далее отправился. Рушковский, я чаю, тужит по нему: был его приятель. Он оставил 150 тысяч капитала в Воспитательном доме, не имеет ни единого родственника, даже дальнего на свете! Ежели не успел сделать завещание, то все эти деньги сделаются собственностью Воспитательного же дома; стоило труда копить всю жизнь и отказывать себе во многом нужном! Еще умер приятель батюшкин, старинный купец

Корзинкин, очень был уже стар. Соврал я: не Корзинкин, а Просвирнин. Помнишь лавку его против Ниренберцов? В остальном же ничего в городе нового. Был я у князя Дмитрия Владимировича, он не принимал; поеду завтра. Ему дано еще 160 тысяч в год прибавки на Русский театр; теперь имеет, стало, 300 тысяч. Кроме выручки в год, можно завести и порядочный театр. Говорят, что Кокошкин в восхищении.

Константин. С.-Петербург, 22марта 1824 года

Наш князь Василий [Василий Сергеевич Голицын, женатый на графине Аделаиде Павловне Строгановой] завел у себя школу, где мальчики графини Строгановой, готовящиеся на службу на заводы, будут обучаться всему, что до сей части касается. Эта мысль очень хороша. Школа уже открыта. Он сам над нею надзирает, и я уверен, что пойдет славно. Вообще нельзя усерднее заниматься делами, как он занимается графиниными. Он их очень уже поправил, а то бы и с огромным имением была бы она со временем совершенно расстроена.

Александр. Москва, 24 марта 1824 года

Наконец все трудности преодолели, концерт для Семенова был совершен вчера (воскресенье, 23-го) и очень удался.

Князь Николай Борисович Голицын писал Виельгорскому именем князя Алексея Борисовича Куракина, что он согласен дать отпускную Семенову и что условленные 10 тысяч рублей должны быть отданы здесь Куракинской богадельне, что у Красных ворот. Стало, и князь делает хорошее употребление из суммы этой и будет изъят от всяких упреков. Концерт по 50 рублей за билет есть, конечно, вещь еще небывалая нигде, цель благотворительная, а все это без стараний Виельгорских и Вяземского не состоялось бы.

Я получил твой № 43, любезный друг. Ты в оном сомневаешься, чтобы посредством концерта можно было собрать 10 тысяч рублей, однако же это сделалось, и Семенов вне себя от радости. Нашлось 1984 охотника, за остальные шесть билетов платит Виельгорский. Залу дал безденежно Скарятин, а освещение и прочие издержки взял на себя также Виельгорский.

Константин. С.-Петербург, 25 марта 1824 года

Юсупов пусть себе сомневается, что у нас будет итальянская труппа, а между тем Татищеву уже послали кредитив на 100 тысяч рублей. Экий Фома неверный! Вот и Мартос явился. На меня взвалили из Одессы условиться с ним и заказать ему монумент, который город сооружает покойному герцогу Ришелье. Ох уж эти мне комиссии!

Константин. С.-Петербург, 28 марта 1824 года

Государь здесь вчера изволил быть у развода верхом, уже не в рейтузах, а в формальных сапогах, а потом гулять пешком по Английской набережной. Фонтон его встретил и сказывал мне, что ходит как прежде, и незаметно, чтобы одна нога была слабее.

Вчера вечером заезжал я в концерт смотреть и слушать, как девица играет на контрабасе. Не дамский инструмент: и смешно, и неприятно для ушей и для глаз. С нею отличился контрабасист Даллока, который регулярно, всякий год раз, публику обманывает своими концертами. Насулит лучших артистов, а выйдет, что никого нет; вчера, однако же, он слово сдержал; правда, что не много обещал.

Бедный Федор Петрович Ушаков очень плох, так что, говорят, проживет только недели две. Очень жаль: добрый, прямой человек, государю предан душевно, никому никогда зла не делал, а многим делал добро. Долго был он молодцом, вдруг его

свернуло. И что за странная болезнь! Чахотка в горле.

Константин. С.-Петербург, 29 марта 1824 года

Радуюсь сердечно за Семенова, мой милый и любезнейший друг, и хвалю поступок князя Алексея Борисовича [Куракина; речь идет о свободе его крепостного человека Семенова]. Можно было бы вполне предположить в нем заднюю мысль, когда потребовал у Семенова 10 тысяч рублей, но, уверяю тебя, я бы не догадался о подлинном употреблении, какое хотел он им сделать. Вообще все хорошо повели себя в этом деле, и главным образом публика московская и покровители этого бедного малого, показавшие такую щедрость, и не токмо на словах, что менее стоит, да и не производит такого действия. Рукоплещу отсюда и Виельгорскому, и Риччи, и всем прочим. На сих днях видел я Капцевича. Куда как он постарел, но зато много выиграл со стороны обращения: говорит, рассуждает очень хорошо, а по-французски так отличается, что мы с Тургеневым удивились. Вспомнили Вильну, батюшку, которого он очень уважает.

Вчера я послал тебе письмо Тургенева к Катерине Семеновне. То-то она, я чаю, обрадуется, а там будет охать. Скажет: «Ехать в чужие края, батюшка, да там-то мой Александр изветренничался». Я очень рад за Николая: добрый, умный, честный малый. Его чистосердечие не всем нравится, но нельзя не отдавать ему полной справедливости. Сердце у него прекрасное. С Сергеем не знаю еще, что будет, поедет ли в Царырад, когда миссия там восстановится, или получит другое назначение.

Александр. Москва, 30 марта 1824 года

Рунич, бросившийся в Москву-реку, есть кузен вашего Дмитрия, человек, имеющий состояние хорошее. Он остался жив, но, кажется, помешан в уме.

Брокер выздоровел; за него хорошо взялся сначала наш добрый старик Пфеллер.

Лев Алексеевич Яковлев мне сказывал, что Зой Павлович Зосима сделал завещание, что выбрал душеприказчиком его, Яковлева, и князя Дмитрия Владимировича, что славную жемчужину и другие драгоценности отдает государю, и между разными дарами назначает также многое Севенису. Я этому что-то плохо верю. Завещание положено в Воспитательный дом.

Константин. С.-Петербург, 1 апреля 1824 года

Ну, брат, наш Чижик [князь Сергей Иванович Голицын, женатый на Елизавете Васильевне Приклонской, двоюродной сестре Булгаковых] в восхищении: определен в гоф-

интендантскую контору членом, с производством в действительные статские советники и с жалованьем 2250 рублей. Прилагаю копию с указа. Хлопочет о мундире к празднику, разъезжал с внуками и очень доволен, хотя и говорит, что пошел в службу опять для детей. Я бы желал знать, им от этого какая польза. Я таки рад за него: будет иметь какое-нибудь занятие и жалованье не лишнее. Он меня просил не сказывать никому (так и я тебя прошу), что сделалось это через графиню [то есть через Софью Владимировну Строганову]. Пожалуй, говорить не станем; да всякий сам догадается. Кто бы ни сделал, да сделано, и дело для него прекрасное. Он от радости заказал себе вдруг три новых парика. Ужасно стал весел.

Дочь Марьи Антоновны Нарышкиной очень плоха, так что мало и надежды. Как жаль! Эта смерть, если Бог ее приберет к себе, будет в роде графини Ростопчиной.

Александр. Москва, 3 апреля 1824 года

Благодарю тебя за удовольствие, которое ты мне доставил, – объявить радостную весть Катерине Семеновне Тургеневой. Получив письмо твое, я тотчас к ней поехал; она уже поужинала и собиралась спать ложиться. – «Ах! А зачем, батюшка?» – «Я к вам езжу редко, но зато всегда с приятными известиями». – «Что, Николашу отпустили?» – «Еще лучше: он пожалован в превосходительные». – «Слава Богу! Да что, батюшка, здоровье-то его плохо. Он захочет себя еще более выказать, да и ухлопает себя совсем. Я ему пишу: поезжай лечиться, я ничего для тебя не пожалею, десять, пятнадцать, двадцать тысяч дам, отпросись скорее». – «Ну, сударыня, и это сделано: он отпущен без сроку, и государь ему жалует тысячу червонных на дорогу». (Очень обрадовалась.) – «Велика милость государя нашего, а все надобно будет добавить: надолго ли теперь тысяча рублей?» – «Как тысяча рублей? Тысяча червонных!» – «Да сколько же это делает? Ведь нынче курс так дурен!» – «Так это в его же пользу обратится». – «Сколько же рублей составляет тысяча червонных?» – «Да одиннадцать тысяч рублей с лишком». Тут уж моя старушка очень обрадовалась, ну креститься, меня целовать.

Ненадолго это было: она опять разочла, что Канкрин делает реформы: «Все, батюшка, мне глаза колят, вот и Степан Степанович Апраксин: “Твои-то дети миллионы стоят казне, и тут жалованье, и там жалованье”, – а того не знают, что, у себя отнимая, им даю. К чему, бишь, я это говорила? Да! Я боюсь, что, как воротится Николаша [Николай Иванович Тургенев возвратился в Россию только через 31 год, и то на короткое время], то придерутся к чему-нибудь и уменьшат жалованье». – «И

на это могу вас успокоить и обрадовать, сударыня. Он отпущен с сохранением всех своих окладов». – «Полно, так ли? Константин ли Яковлевич тебе это пишет? Дети мои все молчат, ни слова не пишут об этом».

Тогда отдал я ей Александрово письмо; но она так была обрадована, тронута, что ничего не могла прочесть. Я ей прочел письмо. Она, в великой радости, долго со мной болтала, да, признаться, и есть отчего. Велики милости государя, хоть и соглашаюсь с тем, что Николай достоин их. Он, точно, жертвует здоровьем службе, но щедрость государя превышает все. Хорошенько порадовавшись, все-таки за свое принялась Катерина Семеновна – ну бранить Ренкевича: экая каналья, сыскал миллионы, будучи вице-губернатором, а теперь не платит мне десять тысяч, которые жена его была мне должна. Хочет всех уверить, что у него гроша нет. – «Ежели увидишь Николая, поздравь его сердечно от меня, а Александру прочти эту статью».

За другое радостное известие, то есть за уведомление о появлении государя верхом на вахтпараде, очень тебя благодарю. Я это разнес, как вихрь, по городу и нарочно обедал в клубе, чтобы всем это сказать. Не знаю, как сие сделалось, но никто не знал ничего положительного о состоянии императора. Видно, сомневаются в том, что он совершенно выздоровел. Я рассказал о пешей прогулке по набережной, об одежде его величества по форме, без рейтуз. Всем пришлось согласиться с очевидным. Почему «Консерватор» ничего не сообщал об этом счастливом событии? Европа порадовалась бы.

Александр. Москва, 4 апреля 1824 года

Вот и праздники подходят. Москва предвещает какие-то большие перемены, а выйдет, верно, что старые дворцовые ливреи переменят на новые. Увидим, прав ли я. Так вот кого в Испанию! Я судить не могу со знанием дела, но, кажется, надобно бы туда другого человека, именно военного, твердого и могущего дать хороший совет. Я-то думал, что там оставят Булгари поверенным в делах, чтобы оставить этот пост под опекой и влиянием Поццо. Слова твои «между нами» достаточны, и верно никому не скажу ни слова, а Меншиков часто у меня спрашивает, кого же в Мадрид? Не хотелось ли ему? Он ужасно худ, и жалок, и нигде его не видать, а брат его едет в Карлсбад тотчас после праздника. Кого же в Брюссель? Спрошу я. Говорят, что и Алопеус будет переведен из Берлина в другое место.

Константин. С.-Петербург, 8 апреля 1824 года

На монумент Ришелье собрано 50 тысяч рублей. Воздвигает

его город на прекрасном месте близ порта. Рисунок у Мартоса, велю его списать для тебя. Фигура в 3 $^{1}/_{2}$ аршина, рукою показывает на порт, а головою обращен к городу; на пьедестале три барельефа, представляющие торговлю, правосудие и хлебопашество. Кажется, будет хорошо. Мартос обещался кончить к зиме 1825 года и тотчас доставит в Одессу.

Константин. С.-Петербург, 9 апреля 1824 года

Хорошо ты сделал, что сам отвез письмо Тургенева к его матери. Николай сегодня отправился в дилижансе через Ригу и Полангген. Я ходил с ним прощаться в контору, где рассказал Александру, как ты исполнил его поручение. Хоть грустно ему на сердце было, но улыбнулся. Оба брата поехали провожать Николая до заставы.

У меня есть сочинения Василия Львовича Пушкина. Попроси его, чтобы он мне прислал письмо своей руки, которое бы я мог переплести вместе с книгою – так, как Карамзина и Жуковского. Со временем этот экземпляр, в коем будет и почерк сочинителя, сделается еще интереснее.

Константин. С.-Петербург, 15 апреля 1824 года

Я читал Карамзина с жадностью и сожалею, что уже кончил. Послал бы тебе свой экземпляр, да отдал его в переплет. Ты можешь взять у Рушковского. Ему Карамзин послал в подарок последние два тома, и он, кажется, их уже прочитал. Прекрасно, привлекательно писано.

Александр. Москва, 18 апреля 1824 года

Графу пишет дочь из Парижа, что когда король читал речь свою при открытии камеры, то после первой фразы упала рука его с бумагою. Он оправился, но с видимым трудом кончил речь при помощи суфлирования Блакаса; оконча ее кое-как, вдруг так заснул крепко на троне, что насилу его разбудили с помощью табаку и спиртов. Считают теперь сие легким апоплексическим ударом и опасаются его повторения. Он кажется вообще очень неловким. Он уверен, что правит с великой мудростью.

Александр. Москва, 24 апреля 1824 года

Вот тебе сочинения Василия Львовича [Пушкина. Эти сочинения изданы П.А.Вяземским] и письмо, которое ты желал иметь. Мы вчера были у Вяземского на обеде, очень вкусном и чрезвычайно веселом. Тут были: князь Дмитрий Владимирович, Рахманов с женой, Виельгорский с женой, Хитрова Анна Михайловна, твоя соседка Ланская, Васильчиков Николай

Васильевич, Данзас, Жихарев и я. Все толковали о театрах и опере. Князь хочет открыть к 30 августа Большой театр новый прологом, «Волшебною флейтой» и балетом; но я сомневаюсь, чтобы к этому дню поспело все.

Вяземский продал 1000 душ Витбергу под храм, на Воробьевых горах, по 400 рублей душу, а также продает подмосковную Остафьево и дом московский; но в том двор не более твоего кабинета, а, не имея помещения для людей, он для них нанимает комнаты у соседа, князя Шаховского. В ответ на его статью, которую я тебе послал намедни, есть уже ответ в «Вестнике Европы», довольно колкий. Судя беспристрастно, Вяземский не совсем прав, особливо тем, что, проповедуя учтивость, он бранит Каченовского без пощады, называя его по имени; а выходит, что статья, которую Вяземский приписывает Каченовскому, совсем не его, а некоего Михаила Александровича Дмитриева[123], который себя позже назвал в ответе, теперь напечатанном в «Вестнике Европы». Стало быть, и бранить Каченовского не за что было. Анонимность оставляла личности в стороне, а теперь сие превращается в открытую ссору и может кончиться весьма неприятным образом.

Александр. Москва, 25 апреля 1824 года

Судя по описанию фейерверка, праздник в Таврическом дворце будет славный и великолепный, затмит и потемкинский. Кстати, по этому поводу: здесь место скороспелки заступил потемкинский вист, еще бешенее того. Играют также четверо, только с закрытыми картами; всякий кладет свою карту в очередь, не зная, что кладет, так что двойка, например, уносит тузов и королей других мастей; записывают и замечают козырные фигуры для замечания преферансов. Козыри делаются в другой колоде, как в бостоне. Это азартная игра, которая очень быстро происходит, ибо не нужно размышлять, какой картой играть, ни припоминать, какие уже вышли. Берут по 3-4 взятки совершенно без козырей. В Английском клубе эта игра в моде.

Ежели тебе удастся пустить почту за девять-десять дней в Вену, ты совершишь вещь весьма достойную. Вообще Нессельроде тебе премного обязан, ибо ты делаешь отправление курьеров почти бесполезным и сберегаешь, таким образом, много денег казне. Сомневаюсь, в то же время, чтобы австрийцы переправляли почту из Вены в Радзивиллов за три-четыре дня, несмотря на высокое мнение, какое имею о резвости австрийских почтальонов.

Александр. Москва, 28 апреля 1824 года

Вчера венчали богатейшую Оболонскую, на которой женился

царевич грузинский Илья. Генерал Кайсаров сказывал при мне, что, как везли приданое, то была целая карета, набитая ассигнациями одними. Их две сестры [другая сестра вышла замуж за Петра Николаевича Ермолова]; отец в одном здешнем Воспитательном доме имеет 3 миллиона 300 тысяч рублей. Экое богатство. Так ли богато будет ее счастие?

Недолго продолжился союз Николая Николаевича Бахметева со Свиньиною. Они развелись на сих днях. Не знаю, что должно казаться более смешным: брак или развод. Каждый объясняет сие событие на свой манер, а в то же время собственная сестра Бахметева, госпожа Николева, не оправдывает своего брата. Говорят, что он слишком рано и слишком жадно хотел завладеть имением и жене открыл глаза. Мир перевернулся. Величайшие глупости совершаются пожилыми людьми. Бема женитьба меня не удивляет: когда немец становится вдовцом, он обыкновенно женится на своей теще, или свояченице, или невестке.

Александр. Москва, 1 мая 1824 года

Не стало бедного Ждановского! Вчера имел он удар паралича, после коего недолго и жил. Умер в ужасной бедности, прослужив более 45 лет. Я думаю, что смерть причинилась от бедности, которая лишала его не только приятностей, но вещей, необходимых в жизни для покоя в преклонных летах. Он был наш товарищ и наставник, а отец его был батюшкиным учителем. Ты это знал ли? Вот что пишет Шульц. Я, конечно, имею право по старшинству, но было бы бессовестно от меня заглушать заслуги Шульца старшинством моим. Не знаю, предложит ли мне Малиновский вакансию, но ежели это сделает для соблюдения учтивости, то я для соблюдения справедливости буду просить его о Шульце. Будь и ты ходатаем его у Нессельроде, любезнейший друг.

Константин. С.-Петербург, 3 мая 1824 года

Многие предлагают свои дома для почтамта [московского], Юшков, Пашкова, Балашов, а всего бы лучше иметь Банк, о коем и идут некоторые переговоры с министерством финансов. Юшков, я уверен, уступит и за половину просимой цены, лишь бы купили. Он все ко мне пристает, чтобы мы сами цену назначили, и он тотчас согласится. Пашковой дома, между нами сказать, недостаточны, к ним и теперь надобно нанимать другие квартиры; если купить, то такой дом, в который бы все поместиться могли. Я нахожу, что и Юшкова дом недостаточен, а дом капитальный. Сколько просит Пашкова за свои? Пожалуй, я скажу князю и Жулковскому, но сомневаюсь, чтобы купили. Как

придет до денег, то министр финансов лучше согласится отдать Банк, для него теперь ненужный.

Александр. Москва, 5 мая 1824 года

Мне что-то все неудачи этот год. Добрый наш Корсаков болен горлом и не выедет несколько дней, и дело наше с ним остановилось, а между тем бомбардировка все продолжается. К Яковлеву присовокупились безотвязные Керестури и несносная Самарина, которая, живя в одном доме с богачом-братом, уверяет, что не на что ей покупать лекарства. Поеду завтра щупать ей пульс и кормить ее баснями. Одна песня у всех: нет денег, и взять негде. Одна молва о благодетельном банке всех воскресила. И подлинно, будет это большая милость. Купцам даны средства разные к поправлению состояния, а дворянам, обобравшим себя в 12-м году для отечества, – ничего! В Москве иного разговора нет, всякий спрашивает: да когда же будет? Ренкевич, бывший вице-губернатором, объявил себя банкротом; дом его, через двор от нас, описан по претензии Катерины Семеновны Тургеневой: эта ничего не упустит. Всякий толкует это по-своему…

Вяземский от 80 тысяч чистого дохода, оставленных ему отцом без долгу, нажил, говорят, долгу 800 тысяч. Непростительно. Я ему советую продать подмосковную. Этот маленький Версаль ему в тягость, одно содержание его разоряет: в нынешнем году должен он был употребить 10 тысяч на одну плотину. Хорошо иметь подмосковную, которая нас кормит, а не разоряет. Да такую подмосковную не скоро и продашь. Княгиня собирается с больными двумя детьми в Одессу.

Москва уверена, что ты едешь в Царьград и что, яко тонкий дипломат, посылаешь жену наперед, будто видеться с отцом. Тесть мне говорит: «Да и ты такой же секретник; не скажешь, тебя хоть убей». Да что тут сказывать чего нет?

Александр. Москва, 8 мая 1824 года

Заезжал я к Ивану Николаевичу [Корсакову]. Вообрази, какую фарсу он с нами сделал вчера. Привез с собой в горшочке фарфоровом какое-то кушанье. – «Кушайте и отгадайте, что такое?» – «Это птицы», – сказал я. «Да какие? И страус птица, и чижик птица». Называли всех птиц, как из Бюфона. Тесть говорит, что есть не станет, не зная, что такое. «Да нет, князь; нехорошо, так отдашь; а птица моя домашняя, дорогая, красавица!» – «А, знаю, знаю! – вскричал тесть, облизывая себе пальцы, – это крошечные павлины!» – «Ну точно, так, – отвечал Корсаков, – а ты, верно, отродясь этого не ел». – «Как, я? Сколько раз едал в Киеве; дайте-ка мне еще павлинят!» А Наталия Корсакова не

разрешила есть, сказав, что это невозможно переварить, к тому же приготовлено было с грибами. Этим утром Корсаков меня спрашивает: «Каковы павлины?» – «Признаться, приготовлено было хорошо очень, но мне не понравилось». – «А тесть твой, видел ты, как ел? Объедался! А Метакса?» – «И этот тоже порядочно покушал; да и княгиня Елена Васильевна себя не забыла». – И тут он как расхохочется: «Ну, знаешь ли, что это было вместо павлинят? Галчонки!..» Хорошо же он нас разыграл. Воображаю себе, как граф о сем посмеется, когда расскажу я ему о мистификации и особливо об уверенности моего дорогого тестя, который обжора и хвалится, что все знает о еде и приготовлении кушаний. «Сделайте же другую фарсу, Иван Николаевич: найдите деньги». – «Сделаю, найду! Дайте мне справиться с горлом, справлюсь и с деньгами».

Александр. Москва, 9 мая 1824 года

Кайсаров, дивизионный начальник, получил, говорят, выговор за то, что позволил царевичу [царевичу Грузинскому, женившемуся на дочери малороссийского богача Оболонского и получившему за нее дом на углу Ленивки, у Каменного моста] жениться, не доведя до сведения императора. Кажется, запрещения бы не последовало; а он, имея право давать всем офицерам позволение на женитьбы, не исключил из числа и царевича, который простой полковник и, кажется, не тот, о коем ты пишешь.

Александр. Москва, 12 мая 1824 года

Как много бедных на сем свете! Как много заведений для призрения, да все деньги идут не туда, куда бы должно. Ежели б я руководил заведением такого рода, то сам разыскивал бы бедных и особливо больных. Человеколюбивое Общество сыплет деньгами, дает по пять и десять рублей здоровым бродягам, кои одной рукою берут, а другой отдают в кабак и трактиры. Лучше дать бедному почтенному семейству пятьсот рублей, нежели пятидесяти тунеядцам – по десять рублей. Я знаю одну бедную дворянку, которая с 12-го года от испуга без рук и ног. Здорова, но недвижима в постели; две ее служанки ворочают ее простынями и кормят ее своей работой из единого только сострадания. Как таких служанок не наградить? Как бедной не помочь? Живет она у одного священника. Он собирает деньги; ты думаешь – для расслабленной? Нет, для себя, то есть за должную ему квартиру. Какой контраст между бедными неблагородными служанками и человеком, коему должно проповедовать и исполнять религию.

Я вчера нарочно ездил к Шульцу. Место Ждановского только в таком случае будет для него приятно, ежели оставят его и библиотекарем: тогда имел бы он Ждановского 1800 да 400 библиотекарских и был бы, говорят, счастлив.

Он любит библиотеку, как Каменский любил Архив, и много сделал тут полезного, хочет довершить начатое и умереть между книгами. Малиновского страсть – все дробить; он хочет и Ждановского оклад анатомировать. Чем давать по мелочам многим, не лучше ли наградить Шульца, служащего с лишком сорок лет?

Александр. Москва, 16 мая 1824 года

Я забыл, запечатывая, приложить Вяземского нарядный пакет к сочинителю Пушкину.

Вообрази, что у Яковлевых открылись еще золотые пески, и столь обильные, что в неделю добывается два пуда чистого золота. 104 пуда в год! Это миллионов пять в год по крайней мере. Знай нашу Сибирь!

Спасибо тебе за доброе известие о бессарабской твоей земле; все места те хвалят, но Воронцов всех лучше может об них судить. Великое дело – иметь там хорошего приказчика, а ты, к счастью, его нашел в долговязом Мазаровиче.

Константин. С.-Петербург, 17мая 1824 года

Скажу тебе, мой милый друг, но под величайшим секретом, и прошу тебя до времени никому не говорить о сем: наш князь оставляет оба министерства, духовное и просвещения, а остается нашим начальником. Дом, бывший Козодавлева, отдается Министерству просвещения, а тот, в коем живет князь, поступит в наше ведомство. Сие последнее уже и сделано. Министром просвещения назначен (говорят) будет Александр. Семенович Шишков, а о духовном ничего не знаю. Кто-то будет начальником Тургенева? Я рад, что князь остается нашим начальником. После того воскресенья, то есть Троицыного дня, переедет он на летнее житье, как прежде, на Каменный остров и в Царское Село.

Александр. Москва, 19 мая 1824 года

Все говорят о страшном дожде вчерашнем: пузыри превращались в пену, а пена, засыхая, обращалась в голую серу. Все ученые в университете занимаются разбором этой воды, которую почитают очень плодоносною для земли; во время дождя я сам чувствовал какой-то сильный запах в воздухе.

Константин. С.-Петербург, 20мая 1824 года

Князь остается по-прежнему в Совете и Комитете министров. На его место – министр просвещения Шишков, который будет и управляющим иностранными исповедованиями. Министерство духовных дел разделяется; дела нашей религии поступают, как прежде то было, в Синод и к митрополиту, как старшему члену оного; а Александр. Семенович будет только заведовать делами иностранных исповедований. Попов остается при князе по особым поручениям. Наш Тургенев отставлен от директорства духовных дел с оставлением при прочих должностях в Совете и проч. Он через это лишается 6000 рублей оклада и квартиры, что для него весьма важно, так что я не знаю, как и чем он жить будет. Мне душевно жаль его, но я все надеюсь, что как-нибудь найдут средство устроить его финансы.

Александр. Москва, 20 мая 1824 года

Отъезд Вяземских занял у меня все утро почти: хлопотал об лошадях, открытом листе, писал письмо к Грейгу, коему рекомендовал княгиню; а тут явился Лазарев, просидевший часа два со мною, да и теперь еще с женою, которая выпросила у него зато фруктовые деревья для Семердина, а его Фряново от нас в восьми верстах.

Александр. Москва, 22 мая 1824 года

Князь Федор Сергеевич [Голицын], который все еще не уехал из-за ужасных дорог, рассказывал, что одна барыня восемнадцать верст ехала сутки, и именно по той дороге, что ему ехать. Лучше же быть в Москве, нежели вязнуть в грязи на дороге. Вяземская, однако же, уехала. Этот отъезд был уморителен. Она начала думать о нужнейших вещах при самом отъезде, – маршрут, например, мелкие бумажки. «Ах, Боже мой, мне надобны письма к Николаеву и губернатору Крыма, без чего, говорят, я потеряюсь, ничего не найду!» Я написал наскоро письма к Грейгу и Митюше Нарышкину. Сказали, что Киев – крюк, опять хотела отменить маршрут, но вспомнила, что дала свидание брату, хотела ему написать с дороги – не быть в Киев, просила взять другой приказ от Рушковского, не зная точно еще, на Киев или Харьков поедет. Ну, умора! Не хотела взять почтальона, одна с двумя детьми; я, право, не знаю, как княгиня совершит эту дальнюю дорогу.

Александр. Москва, 23 мая 1824 года

Вчерашнее известие было неожиданно, любезнейший друг. Я душевно сожалею, что князь оставляет два министерства, но радуюсь, что он все твой начальник. Вчера был я ввечеру у Луниных. Мой тесть подходит ко мне с такими словами: «Знаешь

ли ты великую новость?» – «Нет!» – «Князь Федор только что сказал, это точно, что министр Голицын отстранен, уволен со службы; я тотчас подумал о твоем брате». – «Ничуть». – «Как ничуть?» – «Ну да, ибо у меня указ есть: по прошению уволен от двух министерств, оставаясь при почтах и натурально при Совете». – «О, но это на некоторое время». Князевы слова, конечно, не важны, но я заметил давно, что князь Александр Николаевич нелюбим, и бог знает, за что. Зла не делает никому. Странно то, что именно попы его не любят, а кажется, довольно их награждает. Его почитают фарисеем и столпом мистики. Кто-то будет начальником Тургенева? Не упразднят ли министерское место, и не будет ли по-прежнему только обер-прокурор Синода?

Александр. Москва, 26 мая 1824 года

Князь Василий Алексеевич теперь был у меня и показывал письмо, которое он получил от князя Петра Михайловича Волконского. Он пишет ему по приказанию государеву и спрашивает у него о мази от рожи, на всю ли ногу должно ее натирать или на одни раны, и на холсте ли должно оную намазывать или на голое тело просто? Тесть на все отвечает подробно; хотел было здесь приготовить мазь и послать ее, но боится, чтобы от жару не испортилась. Все это заставляет меня задуматься. Не предстоит ли опять надобность в лечении; а может, велено спросить только так, из предосторожности: ибо мы знаем, что государь, слава Богу, здоров. Я шучу князю и уверяю, что его вытребуют в Петербург; а он отвечает, что ежели это будет, то он повезет с собою двух живых свидетелей, которые должны были потерять ногу, а теперь от употребления этой мази совершенно здоровы и ходят очень свободно. Он просил меня написать тебе для передачи князю Петру Михайловичу, что есть средство верное для предупреждения рож навсегда. Не будучи довольно коротко знаком с князем, тесть ему не упоминает о сем в ответе своем. Когда сделается зуд где-нибудь или почувствуешь по другим признакам приближение рожи, надобно взять столовую ложку, налить ее полную лучшего прованского масла и выпить это, в какой час дня это бы ни было. Это дознано многими опытами, и между прочим, самой княгиней Хованскою, которая мучилась часто рожами на ноге и на лице. Вот третий год, что не имеет она этих рож, а средство, конечно, самое невиннейшее, не могущее уже никак повредить.

Теперь всеобщий разговор о князе Александре Николаевиче. Я тебе писал, как новость сия преемлется всеми. На большом обеде вчера у нового сенатора Кашкина только об этом и говорили, и в том же смысле. Кто много набожен – тот фарисей;

кто мало – тот безбожник. Поди же, угоди на людей! Шишкова выбор все одобряют. Тургенев пишет обо всем Ивану Ивановичу Дмитриеву и в P.S. прибавляет: «Я предварительно отставлен». Мне очень жаль Тургенева; нет сомнения, что он малый честный, благонамеренный и много делал добра. Про него, не ругая, однако же, как князя, говорят: «Туда и дорога, мартинист! Пора их всех истребить!» Общее мнение столь поражено карбонарами, что все секты относят к ним. По крайней мере, сим обнаруживается благонамеренный дух нашей старой столицы. Всякий ищет, хочет знать причину перемены, и всякий толкует это по-своему. Нечего тебе рассказывать все это, а рассказы пресмешные. Дай Бог тебе жить ладно со всеми и пользоваться всегда, как теперь, любовью и уважением всех. Что-то теперь гасконец Рунич? И эта перемена [то есть замена министра финансов Гурьева Канкриным] не менее, я чаю, наделала тревоги гурьевской, коей был я свидетель прошлого года.

Константин. С.-Петербург, 27 мая 1824 года

Что у вас зажился Лазарев? Присылайте-ка его к нам назад; кроме того, что он не будет тебе мешать писать ко мне, мы его любим и рады здесь видеть. Сборы княгини Вяземской[124] похожи на все дамские сборы. Здесь есть и постарее ее, но и с теми насилу управишься, как должно выезжать. Дилижансы наши в славе. Завтра в них отправляется к вам моя соседка княгиня Голицына, сестра графини Ростопчиной.

Многим дамам отказывают в целых дилижансах, дабы не стеснять обыкновенных путешественников, для коих заведение сие учреждено, особливо бедных.

Тургенев обедал у меня третьего дня, ел порядочно, после еще лучше уснул, а там ездили мы на гулянье в Екатерингоф. Он, кажется, сохранит (между нами будь сказано) свои оклады и будет иметь квартиру в доме комиссии о составлении законов.

Вчера была свадьба Левашова в нашей церкви. Говорят о новой свадьбе, совсем уже решенной: князь Мадатов женится на Саблуковой, фрейлине, дочери Александра Александровича, нашей старой охтинской знакомой.

Константин. С.-Петербург, 28 мая 1824 года

Я слышал, что есть высочайшее повеление Комитету министров, чтобы никто из служащих на печатал отчетов без дозволения высшего начальства. Я уверен, что отчет Закревского дал повод сему. Очень жаль, что он такую сделал ошибку.

Александр. Москва, 29 мая 1824 года

Я никогда не сомневался в благородных чувствах Тургенева, но письмо его к Вяземскому не оставляет мне никакого сомнения, что он невинно потерпел. Впрочем, по новой дислокации как же ему было оставаться на месте упраздненном? Время все откроет и объяснит. Многие утверждают здесь, что князь нимало не потерял от сих перемен, но, напротив того, стал сильнее, имея более досужего времени. Я тебе все это рассказываю как сказки московские; тебе все лучше известно.

Вяземский очень боялся, что покупка его имения расстроится сей переменой; но вместо того князь после уже отставки докладывал государю, и он изволил утвердить доклад о покупке имения для храма Спаса Воробьевского. У кого-то будет теперь Витберг под командою? Филарет очень опечален отставкой Князевой и всем это обнаруживает, отчего здешние попы и заключают, что и он не останется в Москве на своем месте.

Я должен был давеча вдруг тебя бросить, скорее одеваться и ехать обедать к Лазареву. Славный задал обед, и было человек с 30. Это на прощание: он в субботу едет на Кавказ с генералом Засядкою. Старик Лазарев – премилый почтенный старичок. Тут пили и за твое здоровье. Сказывали они, что бывшая Тургенева любезная и невеста Саблукова идет замуж за князя Мадатова. Вот уж неравная пара. Петербургская барышня преобразится в кабардинскую принцессу!

Александр. Москва, 30 мая 1824 года

Малиновский всегда со мною обходится как с равным себе, но, однако же, я все-таки делаю, что должно. Он извиняется, когда пришлет какую-нибудь работу (польские переводы) для архива, а я извиняюсь, что не довольно скоро исполняю волю его. Эдак и квитаемся. Я слышал, что Александру Федоровичу даны столовые деньги. Этот не упустит ни одной оказии. Удивляюсь, что ты не пишешь о сем, а может быть, это не по архиву, а по Сенату; как бы ни было, рубли всюду одинаковые. Это составит ему тысяч 20 жалованья. Можно жить! Да своих тысяч 40! Другие молчат, а он, я чаю, недоволен.

Я был у графа Ростопчина, которого нашел нездорового и рассерженного. Мужики его из Воронова, не спросясь у управителя, пришли, числом 25, с пустыми жалобами; он им доказал, что все их требования вздорные. Наконец, как водится, просили посадить их на оброк, тогда как всякое тягло должно на господина обрабатывать только $^3/_4$ десятины. Граф их прогнал, дав слово, что, покуда он жив, они на оброке не будут, и что ежели не уймутся, то сошлет на поселение. Эта вылазка сильно его обеспокоила. Сказывают, что какая-то дама разъезжает и

возбуждает крестьян к подобным выходкам. Граф хочет говорить о сем с князем Голицыным.

Покойная княгиня Разумовская оставила 9000 крестьян и много добра для раздела между двумя своими сыновьями. Дочерям оставляет она, как говорят, по завещанию 1500 крестьян.

Александр. Москва, 2 июня 1824 года

Лазарев едет не к вам, а на Кавказ, да, я чаю, уже и уехал вчера; намедни был я у них на прощальном обеде. Он прислал Наташе в подарок фруктовые деревья для подмосковной и несколько штук материи своей фабрики шелковой.

Любезен ли он или нет? Да все так же рассеян, как прежде, ибо, идя обедать, отец его сказал ему: «Иван, подай руку Ртищевой», – а он подошел, да подал руку мужу ее, сенатору Ртищеву, и ведет его за стол, а все помирают со смеху.

Я видел княгиню Голицыну, твою соседку; она при мне приехала к сестре Ростопчиной, у коей и живет.

О вашем князе и до сих пор еще не перестают говорить. Сказывают, что Библейское общество разрушается, – вещь несбыточная; вот почему приехавший третьего дня из Петербурга Хитрово, только что вышел из коляски дорожной, написал Филарету письмо, коим извиняется, что не может более заниматься делами библейскими, и просит исключить его не только из числа вице-директоров или президентов, но даже и сочленов общества сего. Сверх того, просит он преосвященного о сей его просьбе дать знать в Петербург с сей же почтою. Сие рисует человека. Добивался, искал того, что теперь отталкивает от себя, без всякой крайней нужды. Да что и ждать от него? Он сим похваляется всем и каждому.

Ну, брат, ходил я третьего дня по новому Петровскому театру. Огромное, великолепное, прекрасное здание, внутри и снаружи. Бове и Кокошкин везде меня водили. К 30 августа будет открыт, но, право, не понимаю, как все это кончится к тому дню. Внутри все еще в подмостках. Он формы театра С.-Карла в Неаполе, пять ярусов лож, шестая галерея, всех лож, кажется, сто семьдесят. Для удобства, помещения, разъездов, пожаров – все прекрасно придумано Занавес имеет десять сажен ширины и семь вышины, это даст тебе понятие об обширности здания. Не прощаю я князю, что у него разошелся торг с Гонзагою для декорации; дают их писать какому-то немцу: разводят копеечную экономию там, где разбрасываются миллионами! Еще не понравилась мне ложа императорская, на середине театра; ее сделали прекраснейшую, для чего? Для того, чтобы вместо 168 лож было 170! Славная спекуляция; а я парирую, что в этой ложе вся наша

императорская фамилия не поместится. Сие здание будет, конечно, красивейшим в своем роде в Европе и сделает много чести Бове. Кокошкин показал мне образец кресел для партера, который ему только что доставили; мне в нем было очень удобно, но я ему засвидетельствовал, что мужчине в нем будет тесно, а зимою тот же мужчина в медвежьей шубе долго в нем не продержится. Ему пришлось согласиться со мною, а все это делалось для того, чтобы увеличить ряд кресел в театре, который никогда не будет полон, ибо может вместить 4000 зрителей.

Константин. С.-Петербург, 3 июня 1824 года

Я не удивляюсь, что Филарет огорчен переменой, воспоследовавшей с нашим князем: он с ним дружен. Я видел князя все эти дни; он очень рад, что избавился от мест, кои не давали ему минуты свободного времени. Теперь он весел и спокоен. На него возложена опять придворная часть, на время отсутствия князя Петра Михайловича. Уварову опять наследство! Скоро ему некуда будет девать денег; да полно, скупому все мало. Жена его поехала вчера, кажется, в Москву, видно, по болезни матери. Жаль, что ее не застанет. Вот и Жуковский явился. Он возвратился из Дерпта, куда проводил больного своего друга Батюшкова. Надеются, что его там вылечат от сумасшествия. Тургенева не видал все эти дни. Я крепко надеюсь, что его дела устроятся, и душевно сего желаю. Он всякого добра достоин.

Александр. Москва, 3 июня 1824 года

Вчера опять разговорились о новом театре: Васильчиков сказывал, что мысль Бове была вместо занавеса большое сделать зеркало. Князь не согласился: очень бы стало дорого. Мысль новая, но не знаю, была ли бы хороша эта движущаяся картина: весь бы театр со зрителями повторялся в зеркале сем огромном; но как бы еще осветилось это, не стало ли бы ослеплять зрения! Лучше бы предоставить это Гонзаге: он этого дела мастер.

Константин. С.-Петербург, 4 июня 1824 года

Ростопчин поступил со своими вороновскими мужиками так, как я с хотынецкими поступил. Ничего не платят, ничего делать не хотят, да еще жаловаться ходят на управителя. Надоели мне; я сказал им, что если еще раз придут, то я прибавлю день работы в неделе, на что имею право: ибо они два дня работают, а по тамошнему положению надобно бы три. С тех пор и ходить перестали.

Говорят, указ о продолжении Тургеневу оклада, который он получал, будучи директором, подписан. Я очень рад; а он было

очень пригорюнился.

Александр. Москва, 5 июня 1824 года

Фавст мне пенял, что я секретничаю перед ним. – «Я? Да отчего ты заключаешь?» – «Вчера Кайсаров сказывал, что ты будешь на место Оболенского попечителем здешнего университета». – «И помышлений не имел, клянусь тебе; мог ли бы я это скрыть от тебя?» Я не знаю ничего, а без моего ведома, верно, это не сделают; есть довольно охотников; я ничего не прошу и не хочу, кроме покоя. Это место не представляет ни выгод, ни приятностей, а всякую ответственность: кто сладит с самовластием избалованных учеников и с интригами и развратом профессоров? Все бы пало на меня. Слуга покорный! Кажется, довольно смирно и уединенно живу от действующей и кричащей толпы, а все не оставляют меня в покое. Моя карьера кончена.

Константин. С.-Петербург, 6 июня 1824 года

Не имею никакого известия от жены[125], мой милый и любезнейший друг; а должен бы теперь уже иметь если не из Могилева, то из Тульчина. Вероятно, она отдала письмо какому-нибудь почтмейстеру, а тот отправил с обыкновенной почтой; впрочем, я не беспокоюсь: экипажи крепки, люди с ней надежные, ничего дурного ожидать не должно. Ожидаю известий из Одессы, где Воронцов для нее остался и приготовил ей комнаты у себя в доме. Везде по дороге должна она найти хороший прием, ибо много едут моих приятелей.

Не знаю, с чего у вас взяли, что Библейское общество рушится. Князь отказался от президентства, это правда; но его место занял старший член, здешний преосвященный Серафим. Что Хитрово оставил общество, это еще не значит его падение. Чего у вас не выдумают! Я был на здешнем заседании после уже князя и могу тебя уверить, что они будут продолжаться, как прежде, и я буду ездить так же, как прежде, когда дозволят время и мои занятия.

Александр. Москва, 9 июня 1824 года

Обрадовался, зная, что вы все здоровы и Марица едет благополучно. Она в Одессе съедется с княгиней Верой Федоровной Вяземской. Подставлю ухо свое хорошее на полдень и, верно, услышу их хохотанье.

Жена у меня все не родит. Мы грубо, видно, ошиблись. Граф Федор Васильевич был вчера у нас; опять спросил: «Отец или не отец?» А я тоже отвечаю: «Не отец!» – «Бьюсь об заклад, – говорит он, – что вы родите двухлетнего ребенка, который будет уже

уметь читать и писать. Так много развелось школ в Европе, может быть, имеется одна и в животе у госпожи Булгаковой». Кому шутки, а Наташе надоело это ожидание.

Племянник графини Ростопчиной, ваш сосед Голицын (меньшой, бывший в гвардейских конно-артиллеристах), помолвлен с графиней Кутайсовой, дочерью сенатора; девочка очень миленькая, умная, с прекрасными черными глазами; а старший брат женится на графине Зотовой. Сегодня объявлена еще свадьба: младший сын графини Бобринской женится на княжне Лидии Горчаковой, внучке князя Юрия Владимировича Долгорукова. Это касается некоторым образом Бехтеева. Она тоже прелестная особа; что до него, то его я знаю очень мало; кажется, ни рыба ни мясо.

Константин. С.-Петербург, 10 июня 1824 года

Я видел на скачке Вилье; он мне сказывал, что государь употребляет мазь князя Василия Алексеевича [Хованского, тестя А.Я.Булгакова], и с его согласия. Он уверяет, что она точно полезна. Также он меня уверил, что нога совершенно здорова.

Александр. Москва, 11 июня 1824 года

Отгадай, кого я вчера видел, очень неожиданно, в Итальянской опере? Нашу общую фаворитку, Башмакову-Суворову. Тотчас побежал к ней в ложу. Мы очень обрадовались друг другу, и у меня теперь на совести, что, болтая с нею, мешал ей слушать певицу Виллане. Они хотели было завтра ехать в дальний путь, в Одессу; остаются до пятницы, чтобы послушать Ченерентолу. Она потолстела, похорошела и так же мила. Мы много о тебе говорили и о времени, столь приятно проведенном у Воронцова.

Вчера умерла здесь ударом вдруг, пивши кофе, известная фрейлина Шкурина, укрывшаяся в Алексеевский монастырь.

Она оставила двор, когда друг ее, княжна Щербатова, вышла замуж за фаворита Мамонова; у Щербатовой она все и жила, а после ее кончины постриглась в монахини.

Александр. Москва, 16 июня 1824 года

Князь Петр Михайлович приехал в Москву. Я поехал нему вчера; у него был Шульгин, но князь скоро его отпустил и, сказав несколько слов Ушакову, начальнику корпуса кадетского, взял меня за руку и посадил. Разговор начался тотчас тобою: братец здоров! «Прежде всего, – сказал он, – надобно мне поблагодарить вас за Константина Яковлевича. Ваш брат редкий человек – это единодушный глас общества, а я, со своей стороны, могу похвалиться им совершенно особо: он не только взял на себя все мои дела, но и дела жены моей и даже тетки [княгини Екатерины Алексеевны Волконской]. Я отсылаю завтра курьера, коего он мне дал. Хотите ему написать? Пришлите письмо ко мне». Он тебя любит душевно и говорил с большим чувством, что, я думаю, нечасто с ним бывает. Я князя еще более полюбил. Ему оказывают большое уважение здесь. Все начальники являются к нему всякое утро. «Боюсь, – говорит, – обедов этих. Вчера отказал один, а завтра должен я обедать у князя Дмитрия Владимировича, в понедельник у Юсупова, а во вторник у общего приятеля Ростопчина, в среду поутру выеду в Суханово». – «Дорога очень дурна вам будет». – «Да так-то дурна, что я хочу ехать верхом: это напомнит мне о кампаниях, которые я проходил вместе с вашим братом». Спросил я о государевой ноге. «Кстати, – сказал князь, – у меня приказание императора поблагодарить князя, вашего тестя, за мазь, которая принесла величайшее благо его величеству. Он пользуется только ею; не только семь ран, у него бывшие, совершенно закрылись, так что остался лишь один маленький след от одной из них (и показал, на котором месте), но даже неприятный зуд, от коего он страдал, совершенно прошел. Бывало, ночью расчешет всю ногу государь, так зуд велик бывал; а теперь и это миновалось, что и доказывает, что нет более остроты». Слава Богу! А тесть мой в восхищении, что лекарство помогло. Теперь все больные рожами просят у него рецепт этот.

Сию минуту от меня граф Федор Васильевич. Сказывал, что князь Петр Михайлович сидел долго у него вчера, зовет завтра к себе обедать. Уже, верно, буду, хотя и вчера там обедал.

Теперь присылала Тургенева прочесть указ об Александре. Я очень рад, что он сохраняет свои оклады, а ежели дадут квартиру, то и еще того лучше. О мази князя Василия Алексеевича я тебе писал; она только в таком случае полезна, ежели бы на ноге Алексеевой были раны, а одну рожу не лечут этой мазью. Мне князь Василий Алексеевич сказывал у Пфеллера, что имеет известие, что она от рожи избавилась каким-то симпатическим, то есть вздорным лекарством.

Бедный Мертваго без надежды; разные огорчения, приведя в волнение подагру и желчь, родили водяную в груди. Доктора не имеют никакой надежды. Государь лишается верного, усердного слуги, общество – весьма приятного человека, а что будет с его большой семьею – Бог один знает!

Сенатор князь Багратион помолвил вчера дочь свою за какого-то полковника Альбединского. Корсаков уверяет, что он сын крещеного жида; он смоленский помещик и богат. Полюбился княгине скупой тем, что берет княжну без приданого. Такие женихи ныне переводятся.

Константин. С.-Петербург, 20 июня 1824 года

Только и слышно всеобщее сожаление о бедной Нарышкиной[126], кончившей жизнь во цвете лет, и тогда, как, казалось, должно было ей только начать пользоваться жизнью. Воля была на то Божья! Ей жить было невозможно. В ее лета чахотка ужасно скоро влечет к смерти. Так было и с нею. Хотя еще не объявлено было, но, кажется, решено ее замужество с молодым графом Шуваловым, которого очень хвалят. Так-то смерть расстраивает человеческие планы! Он, говорят, в отчаянии. Ему пускали кровь. Хоронить будут покойницу в Невском монастыре.

Константин. С.-Петербург, 21 июня 1824 года

Сегодня везут тело бедной Нарышкиной в Сергиевскую пустынь, где завтра отпоют и положат. Похороны простые, никто не зван; но многие поедут.

Александр. Москва, 23 июня 1824 года

Вчера меня испугали. Васька меня будит: «Пожалуйте сейчас… (Я думал, что сделалось что-нибудь с женою.) Пожалуйте к Ивану Николаевичу: прислал за вами человека верхом». Не сделалось ли чего-нибудь с ним? Он любит писать, а тут и записки нет. Поскакал туда. Он еще в постели лежал, нежился. – «Знаете, зачем я послал за вами?» – «Не знаю, да говорите же скорей!» – «Я делаю сегодня закладку храма, памятника для государыни Екатерины; статуя ее, мраморная, завтра будет привезена сюда из Братцева. Я желаю, чтобы вы, яко мой друг, тут были, и прошу вас упросить графа Ростопчина также приехать; в 12 часов будет освящение, и я положу первый камень». Экий чудак! Я не мог, однако же, не побранить его, и просил впредь меня этак не пугать, а всегда написать словечко.

Александр. Москва, 24 июня 1824 года

Не стало, любезный друг, бедного Дмитрия Борисовича Мертваго! Он вчера в три часа пополудни скончался, после продолжительной болезни. Не было средства его спасти. Душевные скорби потрясли его здоровье; однако же он сохранил твердый дух до последней минуты и перед самой кончиной говорил с Киселевыми об их делах, давая им полезные советы. Он умер, исполнив все обязанности христианина. Варвара Марковна и вся семья в таком, говорят, отчаянии, что я не имею духу туда ехать. Дай Бог ему царства небесного! Это для Сената большая потеря. Бедный Иван Васильевич Чертков вчера уже очень огорчался, слыша, что дело плохо идет. Он покойному помогал в нуждах его. Жаль доброго человека.

Вчера была у Наташи графиня Ростопчина; она сказывала, что свадьба его племянника Голицына с Кутайсовой еще не объявлена, как и другого брата с Зотовой, что нет еще согласия князя Алексея Борисовича на последнюю; а первая, не знаю почему, тянется. Молодой воздыхатель в это время пока у них в деревне. По поводу Кутайсова. Отъезжая в деревню, он велел сделать кое-какие перемены в доме своем на Никитском. Вообрази, что, только стали дотрагиваться, все потолки провалились: они держались на одних карнизах, накат весь был гнил. Он недавно давал бал большой. То-то было бы весело, кабы тогда провалились все потолки! Старику это говорил уже лет за пять архитектор, но старик и скуп, и упрям, и только отвечал: «Нет, батюшка, это старинный дом, а старинные дома вечные; это не нынешнее ваше строение». Одолжил бы он очень своих гостей старинным своим домом.

Я теперь читаю собственноручные записки покойной государыни к Ивану Николаевичу Корсакову. Там полно нежностей, но множество и намеков, кои я не понимаю и кои надобно будет ему объяснить мне. У него были все оригинальные письма Вольтера к императрице, которые были напечатаны. Сия драгоценная коллекция с другими, еще более драгоценными, бумагами была похищена французами в 12-м году. Также пропало много писем Потемкина к государыне, тоже Ивану Николаевичу отданных тогда. Шкатулку эту забыл камердинер взять; послали за нею, но французы были уже в городе. Жаль!

Константин. С.-Петербург, 25 июня 1824 года

Государь вчера изволил поехать осматривать поселения; я полагаю, что 2 июля прибудет уже обратно в Царское Село.

Блудов сбирается всякий день выехать в Карлсбад, но все ему мешает болезнь то одного, то другого ребенка. Он у меня третьего дня обедал с Тургеневым, Жуковским, Полетикою и

Карнеевым. Довольно посмеялись.

Александр. Москва, 26 июня 1824 года

Жаль бедную Нарышкину. Она имела одну болезнь и одну кончину с графиней Лизаветой Федоровной Ростопчиною. Графа это очень растрогало, напомня ему потерю, так недавно им сделанную. Понимаю горе бедного Шувалова. Какая нареченная на земле могла бы возместить ему эту? Давно говорили, что она без надежды, но не менее смерть эта всех поразила, и только об этом и говорят в Москве. Я ее знал 9 лет.

Александр. Москва, 30 июня 1824 года

Преднамереваемая поездка в Суханово к имениннику расстроилась, любезнейший друг. Спутник мой, граф Ростопчин, занемог по милости своих плутов-мужиков, кои вдруг отказались от работ, требуя все быть на оброке. Это произвело у него волнение желчи и рвоту. Он писал к князю

Дмитрию Владимировичу официально, ибо находит, что тут есть постороннее лицо, подбивающее мужиков к непослушанию. Князь приехал сам к Ростопчину объясниться и послал тотчас на место исследовать.

Константин. С.-Петербург, 4 июля 1824 года

Воронцов мне пишет с восхищением о Крыме: край благословенный и единый, я думаю, в Европе, где еще можно дешево жить. Саранча не по охоте валится в воду, а ее заносит ветер, и этот северный ветер единственное от нее спасение, ибо все другие средства человеческие ни к чему не ведут. Еще ее истребляет сырая зима, от которой яйца ее гниют. Говорят, что она уже недалеко от Полтавы. Экая беда!

Александр. Москва, 4 июля 1824 года

Мне, право, мат пришел: не получая доходов, не только быть исправным в платеже процентов, но бог знает чем и как жить! Забравшись в Семердино, может быть, оттуда и не выеду. Многие поставлены будут в ту же необходимость. Рязанскую губернию, которая кормит Москву, всю залило; кроме того, и мужики там, говорят, шалят. Балашов послал для усмирения их генерала Скобелева. Бог милует нас покуда: в подмосковной хлеба хороши, только к сену нельзя еще приступить от дождей.

Александр. Москва, 7 июля 1824 года

Скоро земля наша будет в водяной болезни! Дожди не перестают у нас, они сопровождаемы сильными грозами.

Молнией загорелось на Пятницкой, на Мясницкой, в Крутицких казармах и в доме графа Потемкина, на Пречистенке. Слава Богу, никого не убило, и пожары скоро были затушены. Дожди совсем не освежают воздух, а напротив, есть что-то душное в воздухе. В десяти же верстах от Москвы, по Тульской дороге, был пресильный град третьего дня. Макарьевскую ярмарку потопило, снесло много балаганов; где и вода сошла, остался ил, который надобно свезти; в иных местах он на аршин. Вот жалкие известия, кои слышал я вчера у Ильинского от старика-купца, оттуда приехавшего. Ужасно жалуется на дороги; говорит, что экипаж, который выдержит переезд из Черной Грязи сюда, можно смело покупать.

Вчера было бракосочетание молодого Бобринского с княжной Горчаковой – здесь, в городе, в домовой церкви князя Юрия Владимировича, который, говорят, очень плох и с трудом сюда приехал из Петровского, куда опять все отправились тотчас после венца. Я видел процессию, конца которой не видно было на улице. Невеста вся сверкала бриллиантами. Ей их надарили почти на миллион. За один только камень старик уплатил 80 тысяч рублей. Сказывают, будто мать браку препятствовала, а старик ее торопил. Говорят много всякого, и между прочим, что княгиня-мать, коей надобно выплачивать миллионы долга, не сможет их уплатить, ежели не получит опеку после смерти старика, а полагают, что старик сохранит себе пенсию, а остальное отдаст внучке своей еще при жизни. Все оттого, что Горчакова щедро платила своим полюбовникам, а их у нее было три и более.

Александр. Москва, 11 июля 1824 года

О здешнем месте все разные толки. Всех окладов 6000 без квартиры. Много возни с цензурою и студентами, да где нет хлопот? Ни в каком отношении не будет оно приятно для меня; но, может, и решусь. Ежели бы Тургенев не был болтушка, можно бы и с ним посоветоваться. Я слышу, однако же, что Оболенский чуть ли не переменил мысли и остается. На все есть Божие определение.

Александр. Москва, 14 июля 1824 года

Третьего дня засадил меня в Английском клубе играть в вист князь Юсупов, то есть он, Кирилл Нарышкин, князь Михаил Голицын и я. Татарский князь выиграл 4 роббера. «Что делать, – сказал я, – по крайней мере, надобно радоваться тому, что четыре роббера выиграл бедняк». Зазвал тут к себе на обед на вчера, и вечером оного играли все музыку из итальянских опер; после

показывал разные картины и виды, кои купил за ничто, по своему обыкновению. Показывал мне также князь свой старинный штамбух, в коем нашел я, между прочим, руку Метастазио и преострые стихи известного Бомарше. Попрошу их списать и пришлю тебе. Оттуда поехал я к графу Федору Васильевичу, с которым пустились мы к Корсакову, гуляли у него в саду: он отперт для всех по воскресеньям, и бездна была народу. От Корсакова пустились мы, с добавкою тестя моего и Метаксы, к нам чай пить, сидели с Наташей до половины одиннадцатого, гости – по домам, а я – в клуб, где в бильярд зашиб десять рублей: вот и весь мой день.

Есть некто барон Шот, отставной капитан, служивший при князе Горчакове и Милорадовиче, очень красивый, молодой, но нищий как церковная крыса. Щедроты Александра Львовича Нарышкина некоторое время облегчали его положение; но они поссорились, и все закончилось. Молодой человек имеет вид весьма порядочный и безупречного поведения, ежели не считать проказ с дамами. Давеча отвел он меня в сторону, чтобы посоветоваться со мной о весьма важном деле. «Что такое?» – «Проживая в доме господина Веневитинова, у которого есть дальняя племянница, коей опекуном он до настоящего времени состоял и которая теперь достигла совершеннолетия, я имел счастие понравиться этой юной особе, и до такой степени, что она предложила мне, в то время как тетка ее послезавтра едет в деревню, а она ехать с нею не хочет, той ночью ее похитить, ежели мне угодно, чтобы тут же обвенчаться. Должен ли я упускать подобный случай? У меня ничего нет, судьба предлагает мне молодую и красивую особу, которая, помимо 50 тысяч дохода, обладает 200 тысячами серебром в ломбарде. У нее нет ни отца, ни матери, она может располагать своей рукою и сердцем по собственному выбору». – «Все это очень хорошо, но я не советую вам устраивать похищение; это все же насилие; исчерпайте сначала все мягкие пути. Вы благородны, почему бы вам прежде не попросить ее руки? Ежели договоритесь – тем лучше; ну а ежели нет – тогда сможете вернуться к иному средству; оно было бы даже и бесполезно, ибо мамзель Полина располагает рукой своею по своему желанию».

Нельзя было Шоту не согласиться со мною. Тут стал он просить меня ехать с ним к дяде, к коему он вхож. «Мой поступок облечется большей торжественностью, ежели будет происходить в присутствии такого человека, как ваше превосходительство, который пользуется таким уважением; тогда увидят, что намерения мои честны». Нечего делать. Думаю себе: «Я помешал совершить отчаянный поступок; зачем не быть орудием честного

поступка, зачем не составить счастие бедного, но доброго малого? Нет ничего дурного требовать руку молодой девушки».

Оделся я вчера и пустился к родным мамзель Полины. Дядя очень нахмурился; жаловался, что Шот прежде сговорился с племянницей, нежели с ним. «Да как же иначе делать? Спросить прежде у вас, чтобы племянница ваша сказала потом: «Я не хочу идти за него»? Я сам женат и прежде уверился в чувствах княжны Хованской, а потом просил согласия отца». – «Да мы завтра едем, как так скоро решиться? Полинька со временем может найти лучшую партию, с ее состоянием: она молода». – «Это знать нельзя: мы видим, что графиня Орлова при своем богатстве и теперь в девушках. Зачем хотите вы противиться счастью вашей племянницы; не сказала ли она вам, что она будет или за Шотом, или ни за кем?» – «Это правда…» Мы бились около двух часов. Тетка, род банщицы, отвела меня в угол и сказала на ухо, что, ежели, тотчас это кончить, могут подумать в публике, что Полина брюхата, или что мы ее продали барону Шоту. – «Да чем ему вас купить?»

Наконец я заметил, что выгода тут играет большую роль, и сказал Шоту: «Бьюсь об заклад, что с опекунством не все в порядке». Шоту пришла в голову очень хорошая мысль, ибо он сказал дядюшке, что ежели дело устроится, то ему надобно только подготовить такую бумагу, какую он захочет, и которую Шот подпишет, не читая (чего я ему делать не посоветовал). Однако же с сего момента дядюшка тон изменил. Утром ничего не было заключено, и я уехал, объявив родственникам, что две вещи равным образом не в их власти: первое – заставлять их племянницу выходить за другого, а не за барона Шота, и второе – помешать ему жениться на ней, если она того желает; ибо, в конце концов, он не слуга, а человек, который имеет право претендовать на ее руку. Вечером Шот приехал ко мне весь сияющий, плача от радости, называя меня своим благодетелем; он говорит, что дело устроилось так: завтра они едут в Воронеж, Шот присоединится к ним через десять дней, и там сыграют свадьбу, чтобы избежать сплетен в Москве.

Итак, этот роман оканчивается к общему всех удовольствию, но Шот все боится чего-нибудь неожиданного. Это натурально: переход его от бедности к избытку так скор и неожидан, что может он сомневаться в счастии своем. Не думал – не гадал и попал в сваты!

Константин. С.-Петербург, 15 июля 1824 года

Мы были в воскресенье на свадебном ужине у Мадатова. Это походило немного на тысячу и одну ночь. Улица и двор весь

наполнены были любопытными, лестница – цветами и музыкантами; в первых дверях – арап и персиянин в богатых одеждах, в гостиной – все грузинские цари и царицы в нарядных платьях, везде освещение ужасное. Ужин был славный, играла музыка, пили шампанское и разъехались, взяв по фунту конфет. Много было генералов. Между прочим Сухозанет, который получил 2-го Владимира, а скоро получит и жену. Новая свадьба в городе: молодой граф Самойлов, флигель-адъютант, женится на графине Пален, внучке Литтовой. Две фортуны соединяются.

Вчера я с Тургеневым обедал у Дашкова на даче, где просидел до девяти часов. Гулять нельзя было за дождем, играли в вист. Там кто-то сказывал новость, которой я, однако, не верю, ибо, конечно бы, из Одессы мне кто-нибудь бы написал. Сказавший слышал – от кого не знаю, – что молодой поэт Пушкин застрелился. Вернее то, что он отставлен. Не ужился с Воронцовым, этого я понять не могу. Тут был Спафарьев, который приехал из Ревеля, – рассказывал о Мамоновой, что ее там никто не видит: встает, когда другие ложатся. Впрочем, белится все по-старому.

Бедный генерал Бетанкур вчера скончался. Перед смертью получил он письмо от нашего ангельского императора, который совершенно его успокоил и усладил последние его минуты. Он смог даже несколько часов поспать, прежде нежели заснул сном вечным. У него ничего нет, он ничего не оставляет, но умер без тревог за участь семейства своего после письма императора. Это был человек великих заслуг.

Александр. Москва, 15 июля 1824 года

Вчера Шульгин поймал меня на улице, остановил и сказывал, что ежели мы не уймем князя N., то он должен будет вступиться, яко обер-полицеймейстер. Что такое? Вообрази, что этот чудак намедни днем ехал на дрожках в халате, без галстука и без шляпы, держа в одной руке веник, а в другой – узел. Ехал, натурально, из бани, и с ним сидела старуха, которая его моет. Воображаю, как сия процессия должна была позабавить прохожих.

Константин. С.-Петербург, 16 июля 1824 года

Князь Григорий Семенович [Волконский] вчера умер поутру, к обеду ожил и еще жив, но безнадежен и вряд ли переживет этот день. Сейчас посылал узнать: плох, но жив. Бетанкура завтра будут хоронить.

Александр. Москва, 17 июля 1824 года

Я вчера в клубе обедал и столкнулся тут с князем Андреем

Петровичем Оболенским. Говоря о всякой всячине, навел я разговор на слухи об оставлении им службы. «Забавно, – сказал я, – что я узнаю об этом скорее через Петербург, чем через Москву». – «Так могло случиться, – сказал князь, – поскольку я ни с кем не говорил здесь в это время. Я отправил прошение императору через князя Голицына в тот самый день, когда тот получил отставку. Он мне тогда ответил, что хотя он и покинул департамент, но представил мое прошение императору, и поскольку его величество не снизошел до него в ту минуту, он передал его господину Шишкову. Последний писал мне несколько раз, но ни слова не сказал о моей отставке, и я более не предпринимал шагов. Видно, придется служить», – добавил он. Стало, ежели отставки не дадут, он ее опять просить не станет.

Константин. С.-Петербург, 18 июля 1824 года

Князь Григорий Семенович вчера скончался в одиннадцать часов утра. Это точно верно, потому что Оленин меня о сем вчера еще уведомил, прося отправить эстафету к князю Петру Михайловичу, что и исполнено. Говорят, он по духовной оставил всем сыновьям по 900 тысяч и около того же и княгине Софье Григорьевне.

Александр. Москва, 18 июля 1824 года

Видно, пензенское дворянство думает славно угостить государя, также и князь Андрей Иванович Горчаков. От этого прислан сюда адъютант его Сабуров, а от дворянства – дядя предводителя тамошнего Арапова, со ста тысячами; а другие говорят, что 100 тысяч собрано, а прислано сюда только 40 тысяч, для закупки вин, фруктов, даже сукна для обмундирования лакеев и официантов.

Проявился какой-то аукцион за Москвой-рекою, где все продается (уверяют) за ничто. Тесть купил славную штуку ситца за 15 рублей, а Юсупов – бюст Вольтера, очень схожий и хорошо работанный, за 120 рублей, и у Ивана Ивановича Дмитриева война за это с князем Михаилом Петровичем Голицыным, коего он просил торговать и идти до 400 рублей, а князь Михаил Петрович и продал его Юсупову.

Константин. С.-Петербург, 19 июля 1824 года

Государь в Петергофе, куда и вся фамилия переезжает для именин императрицы Марии Федоровны; 24-го великий князь Николай Павлович и великая княгиня садятся на фрегат и предпринимают свое путешествие. С нею едет княгиня Екатерина Васильевна (Катиш) Салтыкова. Праздника в Петергофе не будет.

Маневрами, говорят, государь был очень доволен.

Князя Григория Семеновича будут хоронить в понедельник в Невском монастыре. Если удосужусь, то поеду отдать последний долг старику, который всегда очень был ко мне милостив. Ему было 82 года. Наша тетушка старее его и всем молодец, только память ужасно плоха. Она вчера пошла гулять пешком, я ее тут же, за воротами, догнал; спрашивает, откуда иду, – «От князя Сергея Ивановича»; она забыла, что меня за две минуты перед тем видела. Сама признается, что совсем не имеет памяти, а старое помнит очень хорошо.

Александр. Москва, 21 июля 1824 года

Ты знаешь, что жена моя большая любительница «Тысячи и одной ночи», а потому и понравилось ей очень твое описание Мадатовой свадьбы и пиршества свадебного; да и подлинно, соединяло оно какую-то азиатскую роскошь. Тургенев жалеет, я чаю, что не мог тут ни кушать, ни плясать от чувствительности и приличия. Сухозанет большую делает партию. Я полагаю, что княжна Белосельская будет соединять со своим богатством также и приданое покойной Чернышевой. Дай Бог жить Эсперчику, но все мы смертные. Кто знает? Тогда все имение княгини Белосельской пойдет к Сухозанету. Невеста нехороша, да и он не красавец; а говорят, что она очень добра. Счастливая звезда! К этой звезде подоспела и Владимирская еще. Хорошее и плохое всегда приходят к людям в изобилии.

Хорош и Самойлова кусок: эта еще и прекрасна[127]. Все так, да будут ли одним богатством счастливы?

Вяземский не думает, чтобы известие о смерти Пушкина-поэта было справедливо; да и ты сам того же мнения. Он имеет свежее письмо от жены. Она ему не пишет ничего, а только говорит о ссоре Пушкина с Воронцовым и обвиняет забубенную молодую голову стихотворческую. И подлинно, чего ожидать от того, кто не умел ужиться с таким начальником, как Воронцов[128]? Он, кажется, писал вздоры на его счет в Петербург, а Воронцов за это платил ему ласкою и добром; дал ему комиссию какую-то по саранче, а он, чем повиноваться, подал в отставку. Благодарю за известие о другом повесе: о графине Мамоновой. И эту ничто не исправит, но она имеет доброе сердце, а это многое заставляет простить.

Дочь твоей соседки княгини Голицыной, княжна Елизавета Алексеевна, взяла Метаксу в управители к себе. Какая же его должность? В марте и октябре должен он съездить в деревню одну за 160 верст отсюда, взять там собранный оброк от двадцати пяти до тридцати тысяч и доставить княжне. За эти две операции

получает он 1500 в год. Благодеяние сие ему устроили, несомненно, граф и графиня Ростопчины. Управление имуществом его вовсе не касается. Это только чтобы держать мужиков в повиновении и знать два раза в году, что у них делается. Вот этому бедняку все было худо, а теперь повезло. Граф и князь Масальский дали ему деньги на напечатание книги о нынешней греческой войне; будут 4 части, первая скоро выйдет из печати, пришлю тебе, а ты пособерешь ему подписчиков. Я тебе уже сказал, кажется, что граф с сентября месяца дает ему квартиру в своем доме.

Жаль бедного Бетанкура! Он теперь молит у престола Божия за ангела Александра. Я понимаю, как письмо государя должно было усладить последние его минуты: при чистой совести все-таки будущая судьба семьи его должна была его терзать. Такие черты должны доказывать ангельское сердце нашего государя. Ну что одно лицо в сравнении с обширными обязанностями императора! Как бы я желал иметь копию с этого письма. Бетанкура многие ругали, теперь все жалеют о нем.

Граф Ростопчин показывал мне письмо Брокера. Он решительно остается у вас. Граф о нем жалеет, думая, что крутой его нрав, при всей его честности и усердии, сломит ему шею. Я тех мыслей, что Брокер – человек бесценный для теперешнего времени: он ненавидит секты, плутов и никакое лицо в мире не побережет, где дело идет о воле государя или пользе службы. Ежели не свяжут ему руки, он себя покажет. Жаль, что тяжел не на подъем, а на слова.

Константин. С.-Петербург, 22 июля 1824 года

Реман был у меня сегодня, сказывал, что старуха Кутузова[129] очень плоха. Она на свадьбе у Мадатова обкушалась и вряд ли не последует за князем Волконским.

Константин. С.-Петербург, 25 июля 1824 года

Да, Мадатова азиатский ужин, или вечер, уходил старуху Кутузову. Она обкушалась и простудилась, а в летах это редко проходит без беды.

Я не верил с самого начала самоубийству Пушкина. Он, может быть, душу свою погубит, а тело – никогда. Я слышал, что он исключен из списков служащих, и велено жить в деревне у отца. Вот и таланты без поведения – плохое дело. Я думаю, ему лет 25, а карьеру свою кончил не весьма лестным образом. Подлинно, кто с Воронцовым не ужился, тот вряд ли с кем уживется. Тургенев был у меня, тебе кланяется и говорит, что Пушкин не исключен, а просто отставлен, и велено жить у отца в

деревне.

Александр. Москва, 25 июля 1824 года

Третьего дня прибыли сюда из Костромы кадеты Смоленского корпуса, человек до восьмидесяти; но это только участок еще. Они, как ты знаешь, помещаются в Головинском дворце, где уже живет знакомый тебе директор генерал Ушаков, коего жена – одна из наших теперешних красавиц московских [знаменитая Марья Антоновна]. Говорят – жидовка, но я ничего жидовского в ней не вижу.

Вяземский получил свои полмиллиона денег за проданное имение и поскорее расплачивается со всеми, боясь такую сумму держать в доме; еще тяжелее должна быть для него мысль, что он долги сии нажил от проклятой игры. Эту дыру мудрено для него заткнуть. Поправить игрою мудрено для него: надобно бы играть наверняка, а он слишком честен и благороден для этого; а еще рисковать, чтобы последнее проиграть, – было бы сумасшествие непростительное для отца семейства. Он должен делать горькие размышления, но помочь злу уже нельзя. Имея прекрасное состояние, молодость и способности, выходит, что он расстроил и дела свои, и здоровье, и бесполезен для службы. Я люблю Вяземского, искренно, ибо в нем честные чувства и доброе, благородное сердце; но признаюсь, что часто избегаю его общества, когда он не один, а с товарищами, совсем на него не похожими.

Константин. С.-Петербург, 26 июля 1824 года

Давно я не ходил по Мойке; вчера, проезжая, видел, что новый висячий мост для пешеходцев, который против купленного почтамтом у Раевского дома, совсем почти готов. Я думаю, с будущей недели уже по нему можно будет ходить. Это весьма сближает нас с той стороною; прежде надобно было идти или на Синий, или на Поцелуев мост, а теперь от меня к князю Сергею Ивановичу минуты в две дойти можно. Во многих местах будут такие мосты, а между домом, где жила Вакареско на Фонтанке, и Летним садом ставится этакий висячий мост для карет. Этот также будет очень полезен: на него прямо будут ездить с Царицынского луга через сад. Строение против дворца, продолжение Главного штаба, идет весьма скоро. Если в этом году не совсем будет еще под крышею, то все немного останется до оной. Ты много здесь найдешь нового, а я бы в Москве еще нашел более.

Александр. Москва, 26 июля 1824 года

Вчерашняя «Весталка» имела развязку совсем неожиданную. Пьеса шла хорошо, Каталани была чрезмерно аплодирована, выговаривала очень хорошо и внятно, играла также и выразила роль свою нельзя лучше, была в голосе. Ришар и Юллен танцевали прекрасно, театр был набит битком, весь высший свет. В третьем акте за кулисами пролили спирт, горевший в жертвеннике, на фигурантку, отчего платье у нее загорелось. Заметили движение на сцене; один голос сказал довольно громко: «Гасите!» В партере кто-то встал и уходит, говоря: «Горим!» Только от того слова и движения, как бы от волшебного мановения, вдруг весь партер побежал, начались крики дам в ложах: «Вася! Параша! Карету!» Молодая Зубкова особенно вселяла во всех ужас. Муж очень хладнокровно ей говорит: «Не бойся, ты видишь, что князь Дмитрий Владимирович в своей ложе и княгиню не выводит из нее, а их ложа всех ближе к сцене». Только эта несчастная напуганная начала немилосердно визжать, повторяя: «Ах, пусти, пусти, мы сгорим! Боже мой, пусти!» Я случился в коридоре, хотел ей дать руку, но она не узнавала уже никого. Муж в отчаянии. В коридоре не было способу пройти от бегущих мужчин и дам. Шульгин и полицмейстер всех умоляют не уезжать, клянясь, что нет пожара и что пьеса даже не прервана, слышен оркестр, а все бегут на улицу. Ужасная кутерьма была; осталось нас только человек 300 до конца.

Воображаю, что так вот случилось и в сражении при Ватерлоо, и мог я вчера поразмышлять над следствиями панического страха, ибо видел, как очень важные и солидные господа бегут, расталкивая женщин, коих встречают на пути своем. Благодарение Богу, не случилось никакого досадного несчастья, ибо считаю ни за что несколько украденных шалей и браслетов. Я вышел, потому что госпожа Хитрова, урожденная Кутузова, умоляла меня не оставлять ее младшую, бывшую с ней; за самое же себя она не боялась. Однако Каталани вызывали и очень ей аплодировали. Это злоключение, по крайней мере, доставило тему для разговоров на весь вечер, о другом уж и не помышляли. Я видел после в клубе Юсупова с князем Михаилом Петровичем Голицыным, который стал, глядя на это, креститься. «Что вы это?» – «Да вот крещусь, радуясь, что вы живы; а мне сказали, что вы сгорели в театре». Юсупов ну кашлять и смеяться.

Александр. Москва, 28 июля 1824 года

Был я у Никиты [то есть у князя Никиты Григорьевича Волконского] давеча; он очень огорчен смертью отца и два дня не одевался; ожидал только сестру [Софью Григорьевну, жену князя П.М.Волконского], чтобы ехать в Нижний. Кто-то меня уверял, что

она уже в Суханове, где муж готовил ей славнейший праздник-сюрприз, спектакль, фейерверк; но траур все это разрушил. Очень чистосердечно уверял, что не понимает, куда девалась княгиня Зинаида [жена Н.Г.Волконского]; последнее ее письмо из Мюнхена должно бы быть уже здесь; вверил мне по старой дружбе, что лежит здесь к ней письмо от государя, а что какой-то из людей Козицкой уверил его (мужа-то!), что жена его в Москве уже не будет совсем. Толковые люди и муж, и жена! Кроме наследства отцовского, достается ему еще имение Олениной-матери, которая была сестрой князя Григория Семеновича; но Никита в сем случае благородно поступает и отдает имение это в род Олениных, хотя оно было благоприобретенное. «250 крестьян, – сказал он, – меня не обогатят, а у бедного Оленина дети на руках». – «Браво, Никита, – сказал я ему, – узнаю в сем кровь князя Репнина [деда Волконского по матери]!»

Александр. Москва, 31 июля 1824 года

О Пушкине, несмотря на прекрасные его стихотворения, никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса. Будет, живя в деревне, вспоминать Одессу; да нельзя уже будет пособить. Василий Львович считает, что сие убьет отца.

В 7 часов едем мы все с детьми к графу Федору Васильевичу. У него свадьба в доме: мамзель Софи, парижская служанка покойной графини Лизы, идет замуж за повара графского, гражданина Гризона. Граф делает для них пир и звал своих знакомых, в том числе и Ивана Николаевича, который за нами заедет. Вчера в «Весталке» очень смеялись мы Попандопуломедику. Он сидел под нашим бенуаром, только вдруг вскочил с места и тяп себя за нос. Что такое? Над его головою висела лампа, она лопнула, и горячее масло попало ему прямо на нос. Диво, что не наделал тревоги и не подумал опять, что пожар. Надобно было видеть его рожу и слышать странный крик! Хотел тотчас идти к Кокошкину, научить, как варить масло, чтобы не воняло, и как делать лампы, чтобы они не лопались. «Я ничего не хочу, а пусть только правительство знает, что я научил, как это делается; это годится и для Большого театра».

Александр. Москва, 14 августа 1824 года

Вчера сидел я долго у графа Ростопчина. Он сказывал мне о намерении своем напечатать все письма, полученные им от покойного князя Кутузова во время нашествия французов, читал мне многие и свое предисловие, которое будет в заглавии. Видны обыкновенные его острота и ум. Все просятся, говорит он, в

Минины и Пожарские, но только деяниями и словами мало очень на них походят. Кости сих великих мужей в земле, душа – в Царствии Небесном, а памятник – на Красной площади и проч. Долго я с ним спорил, доказывая бесполезность этой публикации. Письма сии официальны, касаются до дел очень важных, и эпоха свежая: могут отнести это к запрещению, недавно последовавшему, не давать отчетов в управлениях. Хотя в строгом смысле это отчетом назвать и нельзя, но придраться могут, и я уверен, что цензура здешняя не возьмет на себя разрешить печатание и отнесется в Петербург. Кутузова нет на свете; какая нужда возобновлять старые раздоры с ним? Отвечать мертвому нельзя. Граф делал мне весьма слабые возражения, и я желаю, чтобы он это так оставил. Таково было, по крайней мере, мое мнение, а он оное знать желал. Он говорит, что напечатано множество писем Румянцева, Суворова и других. Так, но отрывками в журналах, а не особенной брошюркою от заинтересованного лица. Это явление обыкновенное во Франции и Англии, но не у нас. Все это доказывает, что такая голова, какова графская, имеет нужду в беспрестанном занятии ума. Жаль, что способности его теряются без пользы для отечества.

Константин. С.-Петербург, 15 августа 1824 года

Указ о назначении Рибопьера министром в Царьграде подписан, но он наперед поехал к себе в деревню и возвратится еще сюда по возвращении государя; между тем Минчиаки будет поверенным в делах. Злые шутники говорят, что Карнеев забрал у Мечникова мины и оставил тому гримасы[130]. Говорят, что еще будут перемены по Министерству финансов, что Кайсаров (Павел) будет директором мануфактурного департамента на место Уварова, а ему отдадут ассигнационный банк.

Константин. С.-Петербург, 16 августа 1824 года

Все вести о переменах в Министерстве финансов пустые, кроме, однако ж, о Карнееве. Я чаю, его указ подписан; ибо сегодня уже государь или уехал, или едет. Ожидаю о сем извещения из Царского Села. Прочие же слухи взялись, вероятно, оттого, что Уваров едет в отпуск, и в его отсутствие управлять будет департаментом мануфактур Кайсаров; к этому же и прочее приплели. Ты видишь, что и здесь выдумывают, как в Москве.

Константин. С.-Петербург, 19 августа 1824 года

Я, начиная читать в письме твоем статью о намерении графа Федора Васильевича напечатать переписку свою с покойным Кутузовым, тотчас сказал: напрасно. Рад, что и ты с сим мнением

согласен, и если помешаешь графу исполнить его намерение, то ему самому окажешь услугу. Впрочем, я уверен, что здесь ему не дозволят печатать. Кажется, довольно бы ему и того урока, который получил, напечатав свою брошюру [то есть правду о пожаре Москвы].

Александр. Москва, 23 августа 1824 года

Сию минуту явился почтальон Волков из Боровска, где видел моего тестя; он пишет нам, что 22-го числа поутру имел счастие видеть государя и быть принятым в кабинете, где пробыл более получаса. Государь очень милостиво его принял и дал свое соизволение на поставку 100 тысяч аршин сукна, взять изволил с собою образцы сукон; но князь не велит никому о сем говорить, ибо дело еще не сделано на бумаге. Государь здоров, очень весел, дороги хороши, хотя в Московской губернии хуже, нежели в других. 21-го ввечеру весь почти город вышел навстречу и кричали «ура!» Поутру, при отъезде государя, это было запрещено: боялись, чтобы лошади, которые были лихие, не испужались, и запрещено было городничим кричать «ура». С ним только Вилье и Дибич. Спешу все это прибавить здесь.

Александр. Москва, 26 августа 1824 года

Опишу тебе восхищение моего тестя, возвратившегося из своей поездки. 21-го государь прибыл так поздно в Боровск, то есть в первом часу, при факелах, что князь не мог его видеть; но на другой день поутру удостоился быть принятым в кабинете, где государь продержал его три четверти часа. Начал словами: «Ты желал меня видеть, а я – еще более, чтобы тебя поблагодарить за пользу, которую принесла моей ноге мазь твоя; я обязан, что теперь совершенно здоров, Богу, а там тебе. Он тебе внушил прислать мне это лекарство». Государь рассказал подробно князю, как и отчего нога стала болеть, как его пользовали, как бросил вильевскую красную присыпку и все другие лекарства, чтобы употреблять только это одно, что теперь может ходить, стоять, ездить без усталости, что даже зуд прошел, а потому и не расчесывает ноги, как то прежде бывало. Говорили о других предметах, о дорогах, кои только в некоторых местах Псковской и Тверской губерний были нехороши. Потом государь прибавил: «Я читал письмо, коим просишь о поставке суконной; хотя я никогда не вхожу в эти предметы, оставив действовать порядку, но тебе я отказать не могу; возьму просьбу с собою и дам приказание, да и вперед тебе приказываю и требую, чтобы ты по всем своим нуждам относился всегда прямо ко мне». Кончил словами: «Ну, прощай, князь; я вчера поздно приехал, а сегодня заспался». Это

лишь суть разговора; но мой тесть, рассказывая нам о нем, плакал, как малое дитя. Был там и Орлов-Денисов, также имевший небольшую аудиенцию у императора. Я очень рад, что все это так хорошо кончилось, и тогда, и теперь.

Александр. Москва, 29 августа 1824 года

В Александров день готовится славная иллюминация в Александровском саду. Корсаков тоже готовит праздник в своем саду. Храм Екатерины будет великолепно освещен. Привезли уже из Братцева колоссальную мраморную статую государыни, и она уже поставлена в храм, который прекрасен. Сверх того, дает Корсаков двумстам бедным обед в саду. Поеду это посмотреть. То-то, я думаю, аппетиты!..

Александр. Москва, 1 сентября 1824 года

В драгоценный для России день 30 августа был обед у князя Дмитрия Владимировича. Граф Ростопчин явился на оный в обер-камергерском виде; но народу было немного, все разъехались. Во время обеда была музыка и пение «Fra altri», Филисша пела «Ты возвратился, благодатный!» Вечером были две славные иллюминации: одна у Корсакова в саду, там мы пробыли до девяти часов, а другая – в Александровском саду, куда я пустился с князем Михаилом Петровичем Голицыным. У Корсакова началось концертом, на коем пели все итальянцы; потом ходили мы с хозяином и с дамами по саду. Время было восхитительное, и народу бездна. На обеде 30-го числа было, верно, мест 20 пустых, и только три сенатора: Кушников, Лев Алексеевич Яковлев и фон Брин; а кажется, их довольно у нас в Москве.

Александр. Москва, 2 сентября 1824 года

Ровно 12 лет сегодня тому, что французы вступили в Москву, что был я ими взят у Сретенских ворот и чуть-чуть не расстрелян. Скоро время это прошло, и тогда, в критическую ту минуту, был я совершенно покоен и не оробел; но едва проехав за Сухареву башню, был я объят таким страхом, что долго не мог прийти в себя, и теперь без ужаса вспомнить не могу.

Комендантша сказывала вчера, что государь был на балу в Рязани очень весел и танцевал, между прочим, с ее сестрою, у коей, впрочем, и жить изволил, и по выезде пожаловал ей бриллиантовый формуляр.

Ну, скряга же ваш Куракин! В Москве это вещь невиданная, чтобы давать бал без ужина. Иные и танцуют лишь для того, чтобы подогреть аппетит.

Александр. Москва, 5 сентября 1824 года

После Рязани не имеем еще известий о государе. Первые будут из Тамбова. Прекрасный анекдот рассказывали вчера о старушке одной, которая на станции между Серпуховым и Каширой подошла к Илье Ивановичу [Байкову, знаменитому кучеру императора Александра I] и спрашивает: «Ты, батюшка, свиты царской?» – «Так!» – «Скажи, батюшка, что делает мой Иван?» – «Иван?» – «Да, Иван Петров». – «Да кто этот Иван, где он живет?» – «Во дворце есть истопник, – не помню, батюшка, его имени; ну Иван, мой сын, у него помощником». Илья, смеясь во все горло, отвечал, чтобы позабавиться над старушкою, что не знает, а что это разве один государь может только знать. Между тем государь, услышав смех Ильи, стал подходить к нему, чтобы узнать причину, а старушка – к нему в ноги. Император думал, что, верно, просьба есть в руках. «Что ты хочешь, старуха?» – «Батюшка, скажи мне только об моем Иване, да получил ли он 10 рублей; я ему послала прошлого года, да он, вишь, ничего не пишет».

Государь подозвал Илью, который знал о том не более, и тогда император сказал старушке: «Будь покойна, твой Иван здоров, деньги твои получил; вот ты послала ему только 10 рублей, а он прислал тебе 500 рублей». Старуха захохотала: «500 рублей! Да его продать самого, так никто не даст 500 рублей». – «А я тебе говорю, что он послал тебе 500 рублей. Видишь ты этого генерала (указывая на Дибича), поди и спроси у него 500 рублей, что тебе послал Иван-истопник». Тут новая началась комедия с Дибичем, который счел старуху сумасшедшею и от себя стал отгонять, покуда государь не велел ему исполнить препоручение Ивана Петрова и отдать старухе 500 рублей. Государь очень смеялся и очень был весел. Он щедро сыплет деньги и подарки на пути. К Розенштрауху прислано 30 тысяч для покупки разных мелочных подарков, как то: перстни, фермуары, табакерки, цены не выше 800 рублей и не менее 150. Ежели б сей факт дошел до Франции, тут же состряпали бы водевиль, да и сюжет к тому весьма располагает.

В Волоколамске только дворяне не отличились, ибо до приезда государева так все перепились с радости, что когда государь, который очень был тут весел, потребовал, чтобы их представили ему, то едва могли набрать трех порядочных. Тут дама одна (да ты ее, я чаю, и знаешь) – Гревша, слободская соседка, – пала к ногам государя и так долго его держала, смешавшись, что когда государь спросил у нее с нетерпением: «Да что вам угодно, сударыня?», – то она не знала, что говорить, кроме что бедна и имеет 12 человек детей, так брат ее прибавил:

«Ваше величество, она за милость сочтет, ежели хоть одного ее сына возьмут в корпус», – на что государь с обыкновенною своей ангельскою милостью отвечал: «Четырех старших ваших детей беру я на свое иждивение в корпус; будьте покойны, я ваше место запомню в Петербурге». Можно себе представить восхищение этой бедной матери. Историографу государя надобно бы следовать всюду за ним и собирать все сии ангельские черты доброты и великодушия. Потомству не довольно знать, что он спасал Европу в массе; надобно знать и подробности, коими соделывал счастье лиц незначащих и всеми забытых.

Александр. Москва, 9 сентября 1824 года

Риччи получил письмо из Флоренции. Дочь старшая графа Бутурлина Мими, толстая, идет замуж за итальянца, кажется, господина Дини. Она сделалась католичкою и не будет уже никогда в Россию. Ей дают деньгами цену 1000 крестьян, коих родители ей предназначали. Видно, какой-нибудь поляк, как наш Риччи, а то бы не прельстился на Бутурлину.

Александр. Москва, 11 сентября 1824 года

Негодный Тургенев не прислал сказать, что приехал; я узнал об этом от Рушковского, с коим обедал вчера у Пфеллера. Мы тотчас после обеда поехали к нему вместе и нашли его за арбузом. «Ты, брат, не потерял старинных своих привычек?» – «Нет! Так шалю, ем только семечки». Тут были Жихарев, Сушков, Катерина Семеновна; так путно и не мог я с ним поговорить. Ввечеру виделись мы опять в Итальянской опере, но и Ченерентола не помешала ему спать кой-когда. Теперь приехал просить шпагу – видно, наряжается в мундир. Все тот же. Я ему пенял, как не дать знать тотчас о приезде. «Да я, как приехал, хотел тотчас послать к тебе, к Вяземскому, к Ивану Ивановичу Дмитриеву; да подумал, что Иван Иванович, верно, уже спит, Вяземский, верно, в деревне, а ты, верно, куда-нибудь уехал на вечер». Мне кажется, что он немного состарился, да и обрюзг.

Я видел вчера приехавшего из Пензы генерал-адъютанта Храповицкого. Государь очень весел и здоров. Пензою очень был доволен. Да и подлинно, это весьма благоустроенная губерния. Сперанский положил этому начало, а Лубяновский это поддержал. Государь пожаловал ему второго Владимира, жене – фермуар, а детей взял в пажи. Толю пожалована Александровская. В Тамбове также губернатору – аренда, вице-губернатору – чин, предводителю – Анну 1-й степени и много мелких награждений. Обед, данный государю корпусом Горчакова, состоял точно из пяти блюд: суп, говядина, стерлядь,

жаркое и желе. Государь был на балу в конно-егерском мундире и танцевал польский в сапогах. Нессельроде два раза работал с государем в Пензе и отправился при нем, то есть при Храповицком, в Саратов. Сказывал еще Храповицкий, что император удивлялся памяти Дибича, который без записки наизусть представлял государю более 300 человек, называя и фамилию, и имя полка всякого полкового командира.

Князь Николай Николаевич Хованский, в самом дружеском письме, предлагает мне место Могилевского губернатора. Не пожелав московского, я верно туда не поеду: перевозка и обзаведение стоили бы много денег, а где их взять? Выгоды, удобства, приятности не существуют. Князь Николай Николаевич писал тестю, прося меня уговорить; я тестю отвечал запиской, которую он, верно, в оригинале туда пошлет: благодарю за память обо мне и лестный отзыв, но что я отказал Воронцову выгоднейшее еще место, дав ему тогда же слово вне Москвы иначе не служить, как под его начальством. Из белорусских самая несчастная губерния – Могилевская: губернатора ругают и терзают или главная квартира 1-й армии, или помощники; обоим не угодишь. Ежели ехать в Белоруссию, то лучше, чтобы жить там в деревне; это очень у меня бродит в голове и решится непременно в этот год.

Александр. Москва, 12 сентября 1824 года

Ты не ошибся, что Каменский [Дмитрий Николаевич] едет к вам искать губернаторства. Не хочет и он предложенного мне Могилевского. Уступаю ему охотно обеими руками; но князь Николай Николаевич не хочет, чтобы знали об этом. Я полагаю, что князь теперешним недоволен. Что узнаю о государевом путешествии, буду тебе сообщать.

Ох, Тургенев! Все тот же. Просил меня быть к нему пораньше сегодня: будем одни и наговоримся досыта. «Я тебе расскажу свою историю, которая нелепа и смешна, то есть не смешна совсем; приходи пораньше». Я явился в 9 часов и нашел, что одной рукою пишет, другой завтракает. «Лаврушка, кофею! Садись, брат, вот сейчас, только кончу письмо (переписывает даме письмо с французского брульона), ты прочтешь и поправишь (пишет), посылаю гостинцы дамам Верам, Софьям, Надеждам, чай пролил на бумаги, а чернильницу, к счастью, – только на стихи Лавиня на смерть Байрона. Лаврушка! Скорее сургучу, да попроси клеенки у матушки или что-нибудь завернуть посылки». Только что стал оканчивать, является профессор университетский. «Проси немного погодить; скажи, что одеваюсь, а не сказывай, что Булгаков здесь». Я пью кофей. Входит поп приходской. «Ну,

Лаврушка, попроси профессора; скажи, что я было оделся, да опять разделся». Стал приходить всякий народ. «Ах, батюшки! К Вяземскому пора; едем навстречу к княгине, а ежели не поеду, то буду к тебе». – «Где обедаешь?» – «Не знаю! Дома». – «Как дома?» – «Вот я и забыл, что обедаем у Ивана Ивановича Дмитриева, ежели не Василия Львовича Пушкина».

Экий человек! Вот и умен, и добр, и честен, но этакая ли голова, а часто и язык, должны быть у директора департамента? Тургенев очень далеко мог бы идти, но поведение его истинно одобрить нельзя. Не разбирает, перед кем что говорить надобно и можно, а это все передается дальше с прибавлениями. Рушковскому при всех начал подпускать шуточки насчет писем; совсем это не у места для должностного. Я даже удивляюсь, как он так долго был при своем месте. Я люблю душевно Александра; душа, конечно, ангельская, готовая всегда к добру, но в службе это недостаточно. Не время теперь говорить это, но так сорвалось, болтая с тобою. Ужо хотел он быть к вам и, верно, обманет: все мешают, то один, то другой; тормошат.

Константин. С.-Петербург, 18 сентября 1824 года

Вчера показывал нам Егор Васильевич Монетный двор, возобновленный после пожара, который года с два или три тому назад многое там истребил. Паровая машина, сделанная здесь Кларком и имеющая силу 64-х лошадей, чудесная. Вообрази, что половину почти всех колес Монетного двора приводит в действие без всякого шума. Вообще и тут, как в Горном корпусе, есть что посмотреть. При нас вычеканили медаль на рождение нашего государя, и всем нам подарил по штуке директор. С одной стороны – изображение Екатерины, с другой – она держит младенца в руках, на которого сияют лучи с неба, с надписью: «Дар небес». Там мы натурально принуждены были позавтракать, наглядевшись всего досыта, также досыта и покушать, так что хоть я и сидел за столом у своей именинницы Софьи, но есть ничего не мог. Балыи замучил вопросами всех там бывших и кончил тем, что заказал себе модель паровой машины в силу одной лошади и за 2000 рублей. Также – собрание всех медалей с самого начала, на Монетном дворе выбитых, из бронзы. Каков же наш приятель! Впрочем, это недорого, по 2 рубля штука, а их штук с 350. Ему хочется со временем иметь их серебром; коллекция весьма интересная.

Александр. Семердино, 21 сентября 1824 года

Встаю рано, работаю над «Записками» Метаксы, кои совсем переменил после находки ушаковских бумаг (не выкопаешь ли

где-нибудь, как-нибудь портрет адмирала Ушакова?). Там встает жена, завтракаем, потом твержу с детьми итальянский язык, а жена – французский, после все едем гулять, набирать орехи, коих бездна, после обедаем. Наташа ложится спать, а я курю и читаю газеты, езжу верхом. Она просыпается, идем опять походить или на поле – смотреть работы крестьянские; дети после качаются на качелях, а я пишу, что случится. Там пьем чай, там начинается чтение в ролях Флорианова театра. Как устанем читать, примемся играть, в басни Эзоповы (род игры очень занимательной): играем мы в орехи, всякий ставит по 50 в пулю.

Я получил длинное, смешное, дружеское письмо от графа Федора Васильевича. Говорит, что князь Масальский принимает серные и железные ванны и что он сделается через неделю непременно или гвоздочком, или спичкой серною. Мы очень смеялись этой мысли. Также пишет, что графиня Авдотья Ивановна Воронцова скончалась. «Ей сделали, – сказал он, – надрез на ноге, и, кажется, гангрена положила конец ее страданиям». Наша экс-Бальменша наследует 600 душ очень хороших. Она на сносе брюхата, а потому и не могла приехать к тетке.

Константин. С.-Петербург, 23 сентября 1824 года

Сейчас приехал я от своего князя. Он с Каменного острова переехал в город, еще раз, но уже в последний: съездит в Царское Село, а там совсем поселится в городском доме. Я поехал к нему на минуту, а пробыл часа с полтора, мешая дело с безделием. Много он мне рассказывал анекдотов об Екатерине. Вот бы ему написать собрание оных.

Сказывал ли я тебе парижские каламбуры, между прочим – покойного короля? Спросили у него, за несколько дней до смерти, пароль и отзыв для стражи. Он минуту подумал и сказал: «Сен-Дени (где их хоронят) и Живе[131]». Как он умирал, то сказал: «Людовик умрет, а скоро явится Карл X». Газеты наполнены речами, комплиментами, ответами короля, из которых более всех мне понравился тот, где он говорит: «Все, чего я желаю, это чтобы никто не заметил перемены царствования».

Константин. С.-Петербург, 26 сентября 1824 года

Вчера, только что я собрался в четыре часа ехать обедать к имениннику или, лучше сказать, именинникам, князьям Сергеям Голицыным, как получил из Ковны эстафету с известием, что великая княгиня Анна Павловна ускорила свой маршрут и сегодня уже будет ночевать в Ямбурге, а завтра изволит прибыть в Гатчину, и надобно ей со светом 120 лошадей, да придворным, да

выезжающим навстречу генерал-адъютанту Чернышеву, голландскому поверенному в делах и проч. также лошадей много. Что тут делать? Послал к губернатору, тот тоже вскочил; ибо мы не прежде ждали, как к 30-му или еще позже. Он поскакал тотчас на тракт, где, к счастью, и у нас был Добровольский для осмотра дворцов.

Вечером ездил к Лазареву, возвратился, лег спать, уснул крепко, как вдруг будят. Что такое? От князя из Царского Села придворный лакей. Нечего делать, встал. Князь пишет, что императрица Мария Федоровна изволит выезжать из Касково навстречу 27-го. Вот еще надобно 40 лошадей. Сделав все нужные распоряжения, отправил чиновников куда следовало, отвечал князю, чтобы его успокоить, и лег спать в четыре часа – уснуть на часочек, ибо между тем пришла одесская и иностранная почта, и в пять надобно было опять вставать. Вот тебе все мои почт-директорские похождения.

Сделай мне одолжение, уведомь меня, какие у тебя есть журналы, каких годов, и если недостает годов или номеров каких-нибудь, то именно каких. Мне пришла мысль сделать полное собрание русских периодических изданий, в чем мне помогут здешние журналисты, которые очень меня любят. О «Сыне Отечества» я тебе сделал запрос прежде. Да не заслал ли я к тебе как-нибудь ошибкою «Сибирский вестник»? Не могу отыскать несколько номеров. «Северную Почту» имею полную: купил за бесценок на Апраксином дворе, моем обыкновенном базаре.

Константин. С.-Петербург, 27 сентября 1824 года

Сегодня мои хлопоты кончатся, ибо сегодня все приедут в Гатчину; но это еще только вечером, а теперь все еще продолжаются мои беспокойства, несмотря на все взятые меры. Неприятно будет, если окажется какая-нибудь неисправность: все-таки падет на меня, а мне отсюда как предупреждать то, что не могу предвидеть? Но Бог милостив, всегда все подобные случаи сходили с рук благополучно; так и теперь Он меня не оставит. А ночью таки раза с два разбудили. Досадно, что идет дождь и могут испортиться дороги, особливо боковая до Гатчины.

Хотел бы отправить к тебе «Записки» Фуше, но граф Гурьев взял читать, следовательно, не прежде, как через несколько дней получишь. Довольно любопытно. Я писал к Шредеру, чтобы он и вторую часть прислал, когда выйдет.

Константин. С.-Петербург, 29 сентября 1824 года

Все обошлось благополучно, недостатка в лошадях не было ни императрице, ни великой княгине, и в субботу к обеду все

приехали в Гатчину часу в пятом. Слава Богу, а признаться, я не был покоен, пока Родофиникин, провожавший ее предводитель дворянства и Добровольский не приехали ко мне с сим приятным известием из Гатчины. Великая княгиня Мария Павловна, говорят, будет сюда в феврале. Анна Павловна пробудет здесь несколько месяцев. Принц Оранский возвратился в Голландию и после опять приедет за нею.

Не знаю, где бы достать портрет адмирала Ушакова, но постараюсь; а конечно, хорошо бы его иметь при книге[132]. Да, брат, экую старину ты вспомнил! Как мы играли с тобой в Вильне комедию. Кажется, не так-то давно было; а как оглянуться назад, так много лет уплыло. Вчера я был вечером сперва у своих Голицыных, а после у Гурьева, где играл в вист и проиграл 80 рубликов. Нехорошо, а хуже еще, что играл с графом Марковым, который все забывает и только что не спит. Как он вдруг опустился! Он совершенно впал в детство. Куда девались ум, острота, все пропало!

Я ожидаю сегодня к себе Потемкина; хочется кончить с Гостилицами, которые мне надоели пуще, гораздо пуще горькой редьки. (Эту я люблю.) Устроив это дело для Разумовского, подумаю, как бы отделаться от его дел. Право, не имею времени, а запускать их я не соглашусь: они же и без того не в цветущем положении.

Константин. С.-Петербург, 30 сентября 1824 года

Вот и голландский поверенный в делах приходил благодарить, что уведомил его о скором приезде в Гамбург принца Оранского и что его тотчас отсюда отправил, иначе бы он никак не поспел. Говорят, что великая княгиня здорова и очень весела. Когда будут в городе, неизвестно, но, я чаю, не скоро: вероятно, не прежде возвращения государя сюда двор переедет.

Александр. Семердино, 30 сентября 1824 года

Я сам того же мнения, что князь твой мог бы составить прекраснейшие «Записки». У нас не так, как во Франции: там всякий министр пишет все, что видел, знает и делал. Какие бы любопытные записки могли бы составить князь Александр Николаевич, князь Петр Михайлович и многие другие! Ежели бы копили они только материалы, и то бы хорошо уже было. Граф Ростопчин все это делает; он кое-что мне читал, например, первые дни восшествия на престол Павла, кончина Екатерины, – все это очень любопытно и принадлежит истории.

Я очень любопытен знать, чем кончится в Царьграде; недаром же мне писал Метакса, но, по его вестям, султан был уже убит

янычарами. Это, стало, третья их жертва, одна после другой.

Видно, король умер с большим присутствием духа: с одной стороны, напоминал духовнику, что он в молитвах пропустил стих, а с другой – делал каламбуры; первое яко христианин, а второе как француз.

Константин. С.-Петербург, 3 октября 1824 года

Третьего дня в Царском Селе, в слободке против оранжерей, загорелось в доме купца Мотылева, у коего лавочка, и сгорело пять домов. Пожар продолжался почти целую ночь. Брокер мне сказывал, что отсюда посланы были трубы с трех частей. Он там не был, а граф Михаил Андреевич [Милорадович] остался до шести часов утра. Мы все здесь в большом были испуге, пока не узнали точно, что горит, помня третьегодничное несчастье, от которого Боже упаси.

С Потемкиным [Александром Михайловичем, купившим знаменитые некогда Гостилицы] я почти кончил за 920 тысяч, и пошлины на его счет. Иной скажет: как дешево! И точно, недорого за 1600 душ; но надобно принять в соображение и положение мужиков, и наше положение, требующее немедленно денег, чтобы заплатить самые нужнейшие долги, да и то, что имение прекрасное, но принадлежит трем. Как его делить? Как им управлять? Да и кому взять на себя эту обузу? Также надобно было не упускать Потемкина; иначе кто бы купил? Наплакались бы и с имением; у кого есть столько чистых денег? По зрелом размышлении, совесть моя совершенно чиста, и я убежден еще, что оказал большую услугу Разумовскому, в том состоянии, в каком пребывают его финансы, и учитывая все выплаты, кои надлежит нам сделать. Уже отправлен приказ взять под опеку ропское имение за те 50 тысяч рублей процентов, кои надобно было выплатить уже давно. И однако же, возможно, он еще меня и ругать будет, ибо так все устроено в мире сем. Так как из всякого дела должен я непременно извлечь какую-нибудь выгоду для имеющих нужду в пособиях, то и тут, ударя по рукам, выпросил я у Потемкина (и он обещал) рублей с тысячу для бедного семейства, сказав ему, что начать дело такого рода с какого-нибудь благодеяния доставит ему счастие. Это истинно бедное семейство: Мартыновы, которые начинают уже крепко нуждаться, так что я должен давать рублей по 50 от времени до времени, когда дойдет, что не на что купить чем пообедать. Бог мне дал эту мысль и благословил ее.

Константин. С.-Петербург, 4 октября 1824 года

Я тебе вчера послал медаль, которую ты желал иметь. Когда

императрица Мария Федоровна осматривала Монетный двор, то при ней вычеканили и подали ей две медали. Первую эту, представляющую рождение государя, с надписью «Дар небес», и вторую, на шведский мир, ею самой сочиненную, и которую также я тебе пришлю, с надписью «Александр Благословенный». Сблизь эти две надписи и увидишь, как они справедливы и кстати.

Бехтеев вчера приехал вверить мне, что он женится и только что получил согласие отца, матери и самой невесты. Сегодня пишет он к своему отцу, в согласии коего отнюдь не сомневается. Дай Бог ему: добрый малый. Забыл сказать тебе главное – на ком он женится? На старшей дочери гофмейстера Демидова, внучке князя Петра Васильевича Лопухина. В Гатчине готовятся французские спектакли, от коих Майков в больших заботах. Многие актеры уехали; не знает, кем заменить.

Константин. С.-Петербург, 7 октября 1824 года

Горголи поручил какому-то своему родственнику побывать у меня и сказать, что дочь его помолвлена в чужих краях за сына графа Витгенштейна, служащего в канцелярии графа Нессельроде. Свадьба будет в Тульчине, куда все они едут.

Константин. С.-Петербург, 8 октября 1824 года

Граф Воронцов возвратился в Одессу. Костаки пишет, что они испугались, видя его: так его измучила лихорадка крымская. Вот тебе и славные климаты! И в них не без бед. Он в будущем месяце намеревается быть сюда.

Константин. С.-Петербург, 11 октября 1824 года

Воронцов пишет из Одессы от 3-го: «Кочубеи только что приехали, графиня едет через 10 дней в Петербург (в самую распутицу). У них все хорошо. Есть здесь известия из Константинополя от прошлого вторника (10 дней), которые, кажется, подтверждаются кораблями, прибывшими вчера и бывшими не более 3-4 дней в пути. Из известий этих следует, что флот капитана-паши возвратился ослабленным и разбитым, и уверяют, что египетский паша также разбит. Гибралтар взлетел на воздух».

Ох, опять помешали! Львов приезжал проститься, едет сегодня в Москву. Я ему поручил тебе поклониться, если встретит. Также собирается сегодня или завтра отсюда к вам выехать графиня Чернышева. Выбрали дорогу! С ее здоровьем она до Царского Села не доедет. Теперь и здоровому трудно выдержать путь до Москвы. Почты наши очень опаздывают.

Александр. Москва, 13 октября 1824 года

С Севериным я наговорился досыта; рассказал мне все свое путешествие, говорил, что никогда не видел государя такого веселого, довольного и здорового, как в Пензе. На маневрах даже с ним изволил шутить и, подозвав к себе, спросил очень милостиво: «Хочешь ли, дам тебе полк?» – «Благодарю вас, ваше величество, пусть это будет по крайней мере полк кавалерийский». – «Да как же, отец твой был пехотинец и не привил тебе любви к пехоте?» – «Дело в том, ваше величество, что я всегда чувствовал призвание к лошадям и с двухлетнего возраста уже скакал на лошадке на палочке». Государь очень расхохотался.

Александр. Москва, 20 октября 1824 года

Ну, был я в новом театре. Чист, весел, как всякое новое здание, украшен богато, но глух, сыр, высок не по пропорции. Пьеса была, как на выбор, прекрасная, а балет – «Зефир». Северин тебе все это расскажет, он не мог более часу там пробыть и уехал; он тебе тоже расскажет ссору Юсупова с князем Дмитрием Владимировичем.

Василий Львович Пушкин в горести: его сестра Анна Львовна умерла; ему достается 200 славных душ, дом в Москве, всякой дочери Сергея Львовича Пушкина [у него была только одна дочь, Ольга Сергеевна Павлищева] – по 15 тысяч деньгами. Умерла с большим присутствием духа.

Александр. Семердино, 22 октября 1824 года

Благодарю за благоприятное известие о греках. Благослови Бог их оружие! Что же касается до необъявления Дашкова имени, то я бы сделал это и без того, имея правило никогда никого не называть, когда весть не площадная, незначащая свадьба, смерть, приезд, отъезд, чин, лента и проч. Вообще у меня есть фраза обыкновенная: «Я слышал; но брат мне не пишет об этом, так я не очень и верю». Меня всегда спрашивают: «Это вам брат сообщил?» Я говорю «да», когда известие надежно или незначительно, а в противных случаях не говорю ничего; потому не останавливайся сообщать мне, что знаешь; в иных случаях прибавляй: «между нами», – ибо часто и вздор может быть секретом (как свадьба Бехтеева).

Я очень рад, что Федор Петрович Уваров совсем здоров. Таким добрым людям, как он, надобно жить как можно долее. В гулянье наше мы узнали все здешние новости трагические: первая – что в Крестах у наших соседей были воры ночью, выломали два амбара и покрали, что там было. Вся деревня была в ближнем

лесу – мужики, бабы и ребята. «Что вы делаете?» – «Да вот, батюшка, вора-то ищем!» – «Ах вы дураки, да разве вы думаете, что воры, вас обокравшие, станут жить в вашем лесу, у вас под носом?» – «И то правда, ведь мужик дурак», – сказал один из них поумнее, да и пошли все домой.

А другое приключение было со старостой Пичугиным нашего прихода, села Иевлева. Он повез больную дочь исповедоваться и причаститься недалеко к священнику, и жена с ним. Чтобы их не качало, он их привязал веревками к возу поперек, как телят. Они поопоздали, стало темно, у одного оврага поднялся вдруг вихрь ужасный со снегом, лошадь оступилась, бросилась в сторону и упала в такую грязь колесами вверх, что всех их с телегою и поклажею, в ней бывшею, задавило; руками действовать не могли. В этом положении были они до рассвета, покуда ехавшие мимо мужики их не освободили. Больная приехала нездорова, отец только ушибся больно, а несчастная жена задохлась в грязи. Каково же ей было четыре часа умирать, не имея надежды в спасении? Она плакала горько, прощалась все, то с мужем, то с дочерью. Эта как-то себе сделала скважину в грязи, сквозь которую могла дышать, а мать за полчаса до мужиков испустила дух.

Наташа отыскала какого-то чудака-старика, бывшего шутом и портным еще у отца Балкова (Иевлево ему принадлежит); днем шьет он на людей платье, и мадам моя платит ему за панталоны рубль, жилет – 80 копеек, а сюртук – 2 рубля, кормит его и дает ему чарку вина; а вечером он делается Шахерезадою: у него множество сказок и истинных происшествий, он много ездил и по чужим краям. Пресмешной старик и славно обмундировал нашу свиту. Из деревни что тебе писать, кроме вздора?

Александр. Семердино, 25 октября 1824 года

Метакса мне сказывал, что как только книга его вышла из печати, он тебе послал и не успел даже и написать. Мне кажется, что в книге сей нет ничего лишнего, а рассказано то, что было. Там, где греки поступали бесчеловечно, их хулят. Книга, я думаю, будет принята с любопытством, ибо начало возмущения греческого вовсе нам не известно. Будут три части с хорошей картою театра войны. Заставь всех господ подписаться, так они сделают хорошее дело и дадут хлеба бедному семейству, Полетике и проч. Когда увижу Метаксу, повторю ему – еще быть осторожнее; немудрено подлинно и цензоров закабалить. Это не римские, а большая часть из них ослы, не имеющие понятия ни о приличиях, ни о политике и проч.

Александр. Семердино, 1 ноября 1824 года

Я вчера ездил к Брокерше, соседке, обедать, сломал свои дрожки, зашел к мужику в Иевлево (наш приход), попросил у него телегу, чтобы поехать. Это тот самый староста Пичугин, лишившийся жены столь трагическим образом. Покуда закладывали лошадь, мне в избе несчастная больная дочь, вываленная и ушибившая себе больную грудь, рассказывала, как их вывалили и как ее бедная мать умерла, лежа в грязи; а эта лежит в постели и вряд ли будет жива. Странно то, что я поехал на той же телеге и с той же лошадью, причинившими все эти беды. Иной из суеверия бы не поехал. У Пичугина самого разбита вся правая сторона тела, бок, рука и нога. Бедная девочка окружена была десятком старух, коим, лежа на постели, рассказывала несчастие это, а они все воют, приговаривая: «Поди-тко!» Экие страсти!

Они меня озадачили. Надобно знать, что тут почти все раскольники, и этот Пичугин главный из них; он ездит по соседям и, будучи богат, всякими средствами вводит мужиков в раскол. Поговорил с полчаса с ними; как сказали, что готово, я, выходя из избы, поблагодарил за гостеприимство и добавил: «Это, Пичугин, наказание небесное тебе за то, что ты отходишь от своей веры и других сбиваешь!» Он мне отвечал на это: «Вы, батюшка Александр Яковлевич, добрый господин и хороший христианин; да вот и у вас дрожки треснули пополам, и вас могло бы убить. Кому здесь худо, тому там (указывая на небо) будет хорошо».

Я приехал в Машино и нашел хозяйку уже обедающую; она долго ждала, ибо я обыкновенно обедаю у нее по воскресеньям, но, видя, что половина третьего, села обедать. Я день провел очень приятно. Тут был священник Фрянова, села, принадлежащего Лазаревым, очень умный и приятный человек, с коим обо всем можно говорить. Он много мне рассказывал анекдотов об Иване Лазаревиче, который был большой умница; к нему Потемкин и Безбородко приезжали из Москвы обедать во Фряново. Истощив все разговоры о вере, политике и о его братьях-попах, коих он еще лучше Тургенева знает, сели мы с хозяйкой и с ним играть в тройной бостон по копейке. Я их обыграл и выигрыш отдал в церковь. 317 фишек составляют 317 копеек; это не шутка, прошу о пожертвовании сем сообщить Лазаревым! Не захотят ли они опубликовать это посредством «Инвалида»? За мною приехали сани, и я обновил зимку, едучи домой. В телеге ехал хорошо, и можно было ее бояться как принесшую несчастье, а в санях был два раза вывален на оврагах. Больше было смеху, нежели беды.

Северин мне сказывал, что король Баварский ужасно любит

Ванишу нашего. Его открытый нрав должен нравиться, особенно королям, коим так все докучают лестью, комплиментами и подлостью. Разговор с таким оригиналом для них отдых, отрада.

Что ты предвидел, сбылось: петербургские цензоры пишут к московским, что они напрасно пропустили некоторые места в греческой истории Метаксы, и как они говорят, какие именно места, то Метакса, очень благоразумно перепечатывая первый том, выкинул строки сии. Скоро и вторая часть покажется.

Константин. С.-Петербург, 6 ноября 1824 года

Двор переехал. Третьего дня государь изволил осматривать все, что в его отсутствие сделано, а вчера и я с женою ездил через новый висячий мост, что на Фонтанке у Летнего сада. Подлинно прекрасно; а что еще превосходнее, это предмостье против площади и монумента Суворова, куда будет перенесен мост. Чудесно как отделано, и какая решетка прекрасная, какие фонари! Много после тебя у нас нового.

Константин. С.-Петербург, 7 ноября 1824 года

Целую ночь дул и еще дует сильный морской ветер, канавы очень наполнились, и, вероятно, в Коломне и улицы залило. Время продолжается дурное.

Неизвестно еще, когда будет представление великим княгиням. Дамы весьма хлопочут о нарядах. Надобно еще ехать в ломбард перезакладывать бриллианты Киселева; эта операция также возьмет у меня часа полтора; право, как начинать утро, то не знаю, как справиться со всеми делами.

11 часов утра и 5 минут

С тех пор, что начал письмо, вода так сильно умножилась, что мы окружены ею, Мойка вышла из берегов. Там, где живет Кривошапкин, я велел из антресолей перейти людям наверх; в доме, что против меня, вода начала входить в подвалы. Ужасно! Английская набережная вся в воде, мост еще держится. Туда я доехал, а оттуда принужден был стать на дрожки, вода по ступицы, насилу добрался домой. Бедные люди!

12 часов 10 минут

Мои сени и нижняя площадка лестницы в воде. Экспедиция вся также, так что проходить нельзя. Слава Богу, что я успел перенести все капиталы вверх. Во всех почтальонских комнатах вода. Улица наша – как быстрая река, двор полон воды. Столбиков не видать на улицах. Боже мой, чем это кончится! Сколько погибнет бедных людей!

12 часов 15 минут

Чиновники перебрались ко мне наверх, ибо по столам уже нельзя ходить.

2 часа

Ветер не утихает. Вода сильно прибывает. Все улицы наполнены дровами, бревнами. По Большой Морской принесло барку. Будочники – на крышах своих будок. На улице у нас волны, страшно смотреть. Из тяжелой экспедиции в окошко на веревках вытащили чиновников в верхние этажи. Мои лошади переведены в первый этаж, в сени, где живут люди. Экипажи, я думаю, все будут изгажены. Никогда еще такой беды не было. В домах напротив не видать уже окон в первом этаже. Страшное на всех уныние. Сколько после будет больных, и какие ужасные всем убытки!

2 часа с половиною

Слава Богу, кажется, вода начинает убавляться; по крайней мере не прибавляется и становится тише.

5 часов

Слава Богу, вода сошла, тротуары чисты, но наполнены дровами; на улицах есть еще вода, но не более, как на четверть аршина. Не знаю, как отправить почты; но отправлять надобно.

Внизу у меня много печей размыло. Какой ужасный день! Пойду заниматься почтами.

Константин. С.-Петербург, 8 ноября 1824 года

Наводнение наделало везде ужасные беды, мой милый и любезнейший друг: снесло мосты, перенесло барки на улицы, в Летний сад, в коем старые деревья лежат десятками; на бирже множество испорчено товару; говорят, сахару одного на 5 миллионов. Много погибло людей. Вода была аршином с четвертью вершков выше, чем в 1777 году. Только и слышно о несчастных случаях. Слава Богу, у меня никто не погиб; но весь низ, где жили почтальоны и где экспедиция, перековеркан, подняло полы, истребило печки, так же и в школе. В Ораниенбауме и в Стрельне много снесло домов, а иные с людьми, в море. Внизу у меня вода в комнатах была на $1^3/_4$ аршина, а на улице – более двух аршин; в доме, где Кривошапкин, с лишком на три аршина поднялась. Вообрази, что на большой набережной даже сбило в некоторых местах гранитную балюстраду.

Константин. С.-Петербург, 11 ноября 1824 года

В Кронштадте, говорят, снесло в море домов с 18, и в некоторых были люди. Мы теперь бьемся с нашими нижними этажами; трудно найти печников и работников и потому, что всем

они нужны, и потому, что уже убралась большая часть домой, в деревни. На Литейной почти не было воды, а на Владимирской, в Ямской, совсем ее не было. Туда старались спасать лошадей, коих, однако ж, довольно погибло. Каменный остров очень пострадал; в Петергофе, говорят, снесло Монплезир, а в Галерной гавани ужас, что происходило. На Неве несло мимо дворца барку с сеном, совсем утопавшую, и на ней 9 человек, просивших о спасении. Государь послал спасать их генерал-адъютанта Бенкендорфа, который был тогда дежурным; по горло в воде шел он до дежурного катера, но взобрался на него. Его понесло, потеряли его из виду и целый день в большом были насчет него беспокойстве; но он был только счастлив, что догнал барку, несмотря на ужасную бурю, спас всех людей и очутился в большом госпитале около второго этажа, куда их всех и втащили, и тем спасли. Прежде третьего часа ночи не мог он плыть назад, ибо ветер противный, и волнение было ужасное. Государь ему пожаловал табакерку с портретом и 50 тысяч рублей.

Граф Милорадович, разъезжая на катере двенадцативесельном по бульвару и Невскому проспекту, также спас человек до 100, иных снял с деревьев, других вытащил из нижних этажей. Сердце содрогается и теперь, как вспомнишь ужасную эту картину. Дивов, бывший вице-губернатором, ехал на карете в Морской, как вдруг хлынула вода. Он совсем было утонул, его втащили в окошко в дом Жерве.

Вода с такой быстротою подымалась, что всех застигла врасплох. Бог помиловал нас и дозволил нам спасти всех людей, а у нас их в нижних этажах с бабами и детьми не одна сотня. Теперь все это живет в верхних этажах с чиновниками; боюсь, чтоб от тесноты не сделались болезни. Государь уже пожаловал миллион на вспомоществование тем, кои наиболее нуждаются; кроме того, всяк старается помочь по возможности страждущим. Мятлев-сын [Иван Петрович, сочинитель «Сенсаций госпожи Курдюковой»] с Реманом, Венингом и прочими наняли большие комнаты, наставили кроватей и будут там собирать, лечить и содержать больных, которых, натурально, много. У благотворительности широкое поле деятельности, и надобно отдать справедливость, всякий содействует помощи несчастным столько, сколько ему средства позволяют.

Здесь получено известие, которого никак не ожидали: прусский король женился на дочери английского генерал-лейтенанта графа Гараха (Harrah). Ей дан титул принцессы Лигницкой.

В Париж назначен чрезвычайным послом для поздравления Карла X князь Петр Михайлович.

Все залы в доме Строгановой наполнены платьями, материями, кои развешаны и сушатся. Все было в воде. Так и во всех домах, где кладовые внизу.

Константин. С.-Петербург, 12 ноября 1824 года

Вчера был у меня Карнеев. У него в Корпусе [в Горном корпусе] никто не погиб, но много перековеркано; зато на чугунном заводе, что за Екатерингофом, множество пропало народа. Карнеев третьего дня там пробыл целый день, шестьдесят тел сам видел; а всего не доищутся 147 человек, кои, вероятно, все погибли. Манычар туда ездил вчера и видел множество тел, по мере, как их отыскивали в развалинах деревянного строения, которое все снесло и уперло о каменный завод; все, тут бывшие, узнавали кто своего отца, кто брата, кто дочь, кто мать; вой престрашный, и сцена ужасная, так что он не мог долее оставаться, пришел ко мне в величайшем смятении.

Только и слышишь беспрестанно, что позабытые подробности! Карнеев сам было попался в беду: его захватила вода на улице, и он не мог сыскать себе спасения иначе, как бросившись в рынок на Васильевском острове, а оттуда переехал на лодке в дом к мяснику, где пробыл до десяти часов. Лазарев поехал из канцелярии на дрожках, наконец поплыли дрожки, он со своим кучером отпряг лошадей, и сели верхом; но его лошадь споткнулась, он упал в воду, скрылся, но опять вынырнул; тут кучер схватил его за ворот, вытащил и внес в дом какой-то, где его привели в чувство. Чуть было не погиб и теперь болен.

К нам Бог был милостив. Не могу понять, как в куче женщин и детей, живущих у нас в нижних этажах всех домов, которые все были аршина на два с половиною в воде, никто не утонул; как из множества почтальонов, развозивших в то время письма, никто не погиб. Многие вплавь почти приехали домой. Не могу даже пожаловаться, чтоб много было больных. Несмотря на все их просьбы, я им никак не позволяю переходить в свои жилища вниз, где величайшая еще сырость; зато все теперь в верхних этажах, как сельди в бочке.

Бедные Тургеневы пустились сегодня в Москву. Как-то доедут и найдут ли в живых матушку свою? Жихарев пишет, что ей хуже, Мудров сам их зовет.

Журналисты доставили ко мне все недостающие части «Соревнователя», «Благонамеренного», «Северного Архива» и «Отечественных Записок». Я хочу все переплести под один манер; так пришли мне прежние года этих журналов.

Константин. С.-Петербург, 13 ноября 1824 года

Бедные Тургеневы уже не застали своей матери. Жихарев мне пишет, что она скончалась. Они опоздают также и к похоронам, но поклонятся ее гробу и исполнят, сколько от них зависит, долг сыновний. Вот и этой старушки не стало! Вот так-то понемногу все стирается с лица земли, так что и наше несчастное происшествие забудется; но доселе оно одно у всех в сердце и на языке.

Нельзя не благословлять милосердого нашего государя за все меры, принимаемые к облегчению участи пострадавших. Видно, что все они внушаются его сердцем. Прочитай рескрипт его к князю Куракину. Сверх сего комитета, вспомогательные общества везде составляются, и первая помощь, вероятно, уже всем дана. Одна из благодетельных мер та еще, что цену на главнейшие припасы не дозволено возвысить, хлеб в своей цене, говядина тоже, и соль, которая было весьма возвысилась оттого, что много ее истреблено, из казенных магазинов отпускается по умеренной цене. Теперь все видят, как благодетельно правительство.

Государь объезжает места претерпевшие и этим доставляет величайшее утешение пострадавшим. Новых подробностей не знаю; но говорят, в Кронштадте принесло на улицу линейный корабль. Здесь понемногу город очищается, мосты восстанавливаются, и все приходит в порядок. Театры заперты впредь до приказания, и это очень хорошо: иначе бы, может быть, нашлись люди, кои, посреди общей горести, пошли смеяться французским фарсам. Баронесса Строганова умерла в Дрездене. Двое сыновей ее, граф и барон[133], женатый на Кочубеевой, поехали к ней, узнав, что она опасно больна, но так же, как и добрые Тургеневы, не застанут.

Александр. Семердино, 13 ноября 1824 года

Ты пишешь, что на той же неделе должен был переехать в город государь император, а потом и вся царская фамилия. Мы, яко верные подданные, ожидали сего известия, чтобы тоже переехать в Москву, куда, несмотря ни на что, пускаемся в понедельник. Возвращение графини Протасовой не очень будет радостно для Ростопчиных, у коих она всегда живет, когда бывает в Москве; а она прекапризная. Она слепа совершенно, а надобно с нею обходиться, как будто она видит, и это довольно мудрено устраивать. Ты пишешь, что есть возможность переехать в город, потому что князь Оболенский оставил подмосковную; но часто бывает, что в одну заставу нет проезда, тогда как в другую хорошо ехать. Ты говоришь: мы обедаем с Тургеневым у князя Сергея Григорьевича [будущего декабриста Волконского, женатого на Марье Николаевне Раевской]; да разве она не с

мужем живет? Как бы и эта не переняла у Зинаиды, своей приятельницы.

Твое приключение с Вандиковой картиною в другой земле напечатали бы в газетах, и я читал даже точно такой же случай, бывший недавно в Лондоне и который всех охотников, а особенно спекуляторов, заставил шарить по чердакам и дрянным лавочкам. Ежели у тебя так легка рука, то вот и подлинно коммерческая отрасль.

Метакса пишет и возвещает мне две морские и одну сухопутную победу, но я греческим его глазам и чувствам не очень верю. Вернее то, что игрок Озеров проиграл в Английском клубе 115 тысяч, что дало повод директорам запретить эту игру, но игроки против этого восстали, а потому и положено было баллотировать это. Надеюсь, что запретят эту игру, и желаю сие; а то выйдут такие неприятности, что и клуб запрут, чем многих лишат большой отрады, а многих – единственного ресурса.

Корсаков куролесит. Фавст пишет, что, не довольствуясь иметь в доме своем на бульваре Каталани и Филисшу, он предложил квартиру также Колосовой, не зная ее. Эта велела его благодарить и сказать, что имеет, чем нанять себе квартиру, где заблагорассудит сама. Она, говорят, имела большую стычку с Кокошкиным, коего разругала. Видно, научилась в Париже озорничать. Между итальянцами тоже раздоры. Анти не хочет петь более, побранилась с новым директором Рахмановым Григорием Николаевичем.

Константин. С.-Петербург, 14 ноября 1824 года

Вчера утром был мороз; думали, что река станет, берег Васильевского острова начал было замерзать, после обеда не было уже перевоза; но к вечеру пошел дождь, продолжался целую ночь, и теперь, вместо зимы, опять сделалась осень грязная, туманная и сырая. Вчера утром заехал ко мне князь Александр Николаевич с приятным известием, мой милый и любезнейший друг. Я ему представлял о необходимости тотчас приступить к вспомоществованию чиновников, лишившихся всего – пожитков, платья и не имеющих теперь ни приюта порядочного, ни сухого платья. Дело идет не о вознаграждении им всех потерь и убытков, а только дать им на первый случай что-нибудь, чтобы они с семействами не погибли. Сумму эту можно взять из остатков, коих у нас всегда довольно. Я просил его поспешить с разрешением. Он вчера же нарочно ездил для доклада о сем к государю, который тотчас и с удовольствием на сие согласился. Князь у меня и подписал мне предписание, следовательно, теперь могу я начать действовать, а не то приходил мне мат: все свои

деньги роздал, а потерпевших из чиновников еще много осталось, коим бы я не мог помочь. Иному теперь 25 рублей дороже, чем после сто.

Александр. Семердино, 14 ноября 1824 года

Твое письмо, № 189, навело на нас ужасное уныние, любезнейший друг! Мы перечитываем оное и ужасаемся подробностям, коими оно наполнено. Как будто случилось у нас самих что-нибудь чрезвычайное. Лелька также плачет, повторяя: «Бедный, бедняжка! Бедные чиновники! Бедные лошади! Бедные будочники», – и так до бесконечности. Видя твои интервалы в письме с означением часов и минут, меня задрало по коже, и я поскорее кинулся к концу письма, чтобы отдохнуть, и нашел утешительные слова: «Слава Богу! Ветер не умножается, вода сходит и стоит только на четверть аршина, тротуары чисты. Это не совсем еще утешительно, но все-таки полагать надобно, что столь сильный шквал не может быть продолжителен».

Постигаю ваше уныние и повторяю тебе слова нашего 96-летнего старосты; он тут был, как письмо пришло. Я ему сообщил, что пишешь. «Да, батюшка, – сказал он, – это хуже пожара: огонь можно водой залить, а от воды ни огнем и ничем на свете не спасешься». Умно сказал старик, да и подлинно, куда бежать, на чем? У всякого ли есть среди города в сарае шлюпка или даже баркас на случаи столь редкие и непредвиденные? Куда бежать, чем питаться? При таких шквалах все будет до рубашки вымоченным. Как женщинам, детям избавиться от простуды и жестоких болезней? Право, ужасно подумать. Это наводнение превосходит, кажется, все бывшие доселе. Зачем не случилось оно в тот день, как Петр Великий закладывал первый камень Петербурга? Может быть, он одумался бы, отменил свое намерение или основал столицу в Нижнем, как ему прежде было хотелось. Слава Богу, что никто у тебя не погиб и что спас ты казну. Ты так подробно это все описываешь, что я, кажется, вижу перед собою ужасное это зрелище и тревогу вашу. Что же должно было быть в Кронштадте, в море, в низких местах города, в Коломне?

Вы занимаетесь назначением посланника к новому королю в Париж, с поздравлением, а я давно уже читал в газетах, что Александр Львович Нарышкин обряд этот выполнил и сказал: «Это великая честь для великого канцлера – поздравить великого короля со столь великим событием, в таком городе средь столь великого ликования».

Константин. С.-Петербург, 17 ноября 1824 года

Верное сведение о бывших наводнениях, по наблюдениям Адмиралтейства.

В 1755 году октября 7-го дня – 7 футов; в 1777 году октября 5-го дня – 9 футов 11 дюймов; в 1802 году октября 5-го дня – 7 футов 5 дюймов; в 1824 году ноября 7-го дня – 13 футов 4 дюйма.

Константин. С.-Петербург, 18 ноября 1824 года

Говорят, что пожертвования в пользу пострадавших простираются уже с лишком на три миллиона. Духовенство доставило 700 тысяч из экономической своей суммы, граф Шереметев – еще 50 тысяч, граф Аракчеев – 20 тысяч, Английский клуб – 10 тысяч. Все сословия стараются помочь. Вчера еще новая была от полиции повестка, доказывающая попечение благотворного правительства: велено всем тем, кои заложили шубы или другие теплые одежды в ломбарде, идти получить их без платежа и процентов, и капитала за оные. Истинно мера самая благодетельная и полезная.

Александр. Семердино, 18 ноября 1824 года

Какие у вас ужасы происходили! Не умножат ли число каналов в городе? Но это трудно теперь сделать. Как жаль, ежели Монплезир подлинно снесло. Это так напоминало Петра Великого, хотя наводнение это было по его милости царской. Бенкендорфа подвиг таков, что во время Рима получил бы он корону гражданскую. Молодец! Как такую вещь не опубликовать? В Париже это происшествие, хотя бы и несчастное, дало бы повод множеству рассказов и сочинений; а у нас я вижу, что и газеты молчат до сих пор, а, кажется, наводнение не секрет. Бенкендорф там должен бы воспеваться, литографироваться. Его поступок надобно бы запечатлеть, он того заслуживает. Это доказывает сердечность императора и доблесть его подданных. Комиссия была ужасная, как ни говори. Дети никак не могут себе представить, как Милорадович разъезжал по Перспективе в шлюпке, чтобы спасать людей, сидевших на деревьях [на Невском проспекте тянулись тогда два ряда деревьев]. Все это и походит-таки на сказки или на сон.

Стоит наводнения известие о женитьбе короля Прусского. Однако же я это понимаю. Король еще молод; из любви и уважения к памяти покойной королевы он не хотел дать ей преемницу, а для совести своей хотел иметь жену.

Тургенев матери уже не застал. Мне очень жаль, что я в это время не был в Москве, чтобы быть все с ним.

Стало, газеты врали, что Александр Львович Нарышкин поздравлял короля Карла X именем государя с восшествием на

престол. Это самая приятная для князя Петра Михайловича [Волконского] комиссия. Кого-то он с собой возьмет? А много будет охотников.

Петр Петрович Нарышкин пишет мне, что начинается дело сенатора Посникова с Папковым. Должна быть очная ставка у Обольянинова. Папков доказывает, что Посников просил у него денег, чтобы его оправдать, а этот говорит, что неправда. Надобно будет клятву принести. Ну, как оба поклянутся? Как их разобрать? Что остается делать уездным судишкам, когда сенаторы себя так ведут?

Мы все радуемся с женой, что у тебя все благополучно. Она говорит, что это Божие благословение, что Провидение предоставило тебе роль Ноя, спасшего в ковчеге своем всех своих от всеобщей гибели.

Константин. С.-Петербург, 21 ноября 1824 года

Не стало Федора Петровича Уварова! Он скончался вчера в час пополудни, ко всеобщему сожалению. Накануне еще говорили, что ему лучше; вечером он сидел, разговаривал, имел всю свою память, только глаза покрыты уже были туманом, и он ничего почти не мог видеть. Государь был у него вечером и в пять часов утра; в это время ему было лучше, но вскоре после того, то есть часов в девять, князь Волконский нашел его лежащим в забытьи, а там испустил он последнее дыхание[134]. Лучший его панегирик тот, что он никогда никому ничего худого не сделал, а добра – весьма многим. Нет здесь человека, который бы не сожалел о нем искренно. Я чистосердечно разделяю всеобщее сожаление. Да помянет его Господь Бог во царствии Своем! Публика многих назначает ему в преемники; но, вероятно, как то обыкновенно бывает, всякий назначает своего, иные графа Петра Александровича Толстого. Государю очень должна быть чувствительна эта потеря.

Александр. Семердино, 23 ноября 1824 года

Метакса меня обрадовал победою (но не мнимой, а истинной) греков над негодными турками. Тесть и граф Федор Васильевич мне то же подтверждают, а Ростопчин надписал письмо: «А.Я.Б. в Семердине на мази и в грязи, в муке и в скуке».

Граф пишет мне: «Понадобятся сотни миллионов для исправления зла, причиненного наводнением, а следовательно, и время; но главное уже делается, а сие главное – предоставить скорую помощь несчастным наводненным». Кажется, благодарение Богу, судя по твоим письмам, число умерших не так велико, как надобно было ожидать от такого ужасного

наводнения. Чего не выдумают в Москве? Говорят, что Англия и Швеция объявили нам войну, пользуясь сим несчастьем. Эк, как скоро дошло известие, не только в Стокгольм, но и в Лондон; или знали они наперед, что будет наводнение; а я так думаю, что в Лондоне будет подписка для пострадавших от воды. Это будет благотворительность по-английски, то есть благотворительность просчитанная. Москва врет пустяки, это своим порядком; а между тем везде открыты подписки, и в один день собрано более ста тысяч; некоторые купцы дали 54 тысячи, князь Сергей Михайлович Голицын – 6000, какой-то неизвестный, за подписью «К.», прислал князю Дмитрию Владимировичу 25 тысяч, Английский клуб – 10 тысяч, дамы собрали 3000 и так далее. Вот как государев пример был благодетелен!

Константин. С.-Петербург, 24 ноября 1824 года

Уварова завтра перевозят в кавалергардскую церковь. Оттуда, говорят, перевезут в четверг в Казанский собор, там отпоют и повезут в Невский монастырь. Все это будет происходить с большим парадом. Войска будут под ружьем, а провожать будут гроб конница и артиллерия.

Многие мне говорили с удивлением, как цензура могла пропустить предисловие Метаксы. И что он привязался к Раффанеллию, который часто врал! В Пукевиле более правды. Многое у Метаксы не так. Строганов не был уже три месяца в Царьграде, как случилась смерть патриарха. Также мешает он мурзиевых жен и проч. Пустое также, чтоб в Турции были только янычары и эмиры. Многое надобно будет ему переправить. Я, может быть, тебе доставлю кое-какие сведения или замечания, на кои можешь положиться и его поправить.

Константин. С.-Петербург, 25 ноября 1824 года

Вчера я ровно в два часа воротился домой, мой милый и любезнейший друг. Лонгинов спорил, а вышло по-моему, что мы бы могли часом позже ехать и все бы еще приехали рано.

Впрочем, было весело, всех своих знакомых видел, и таких, кои редко встречаются; после смотрели дам, в числе коих и моя мадам была. Во время ожидания у великой княгини Анны Павловны, которая живет за Эрмитажем в Шепелевском дворце, осмотрел я у Дау все портреты, зато и устал порядочно. Великие княгини очень были милостивы. Мария Павловна долго со мною говорила. «Я очень рада снова вас видеть, мне надобно поблагодарить вас за то, что вы так приблизили ко мне матушку. Благодаря вашим устройствам я получаю письма в третий день. Поставьте себя на мое место и посудите, как счастлива я такой

большой скоростью. Она вам, должно быть, многих трудов стоила. Вам пришлось, по-видимому, о многом похлопотать. Но вы можете и многие радости иметь в тех заботах, кои расточаете. Ваше усердие превозмогло те трудности, кои вы, верно, повстречали. Оно вам не изменило и в сем случае, как и во всех тех, когда вы только могли дать императору его доказательства». Я было на фразы, да не приготовясь на столько милостей, не знал, что ответить. Анна Павловна говорила по-русски, весьма милостиво. Она удивляется также скорости почт и проч. Эти конфиденции я, однако же, делаю тебе, для тебя только.

Меншиков по просьбе отставлен. Сабанееву – благодарность; но это, кажется, уже в приказах. Киселев должен теперь быть в Тульчине. Он мне писал из Парижа накануне отъезда от 2 ноября, обещал прислать новых книг; станем читать.

Раевский уволен в отпуск бессрочно, корпус же его отдан теперь генерал-адъютанту князю Щербатову[135]. Депрерадович, как старший, принял команду над гвардейским корпусом; но полагают, что это на время, а на его место временным военным губернатором на Петербургскую сторону назначен Паскевич. Кайсаров утвержден управляющим департамента мануфактур на место Уварова. Этот остается в Академии и при банках. Говорят, заводится здесь страховая контора. Это дело славное, о котором я графу Гурьеву четыре года уже, как говорил.

Константин. С.-Петербург, 28 ноября 1824 года

Государь со всей свитою своей провожал вчера тело Уварова от кавалергардской церкви до Невского монастыря, следуя за гробом верхом. Все, видевшие его, говорят, что очень был печален, проводил гроб до могилы и посыпал его землею. Так как церемония пошла поздно из кавалергардской церкви и шла долго, то один из ожидавших под Невским, старый кавалергард, сказал: «Первый раз наш добрый генерал заставляет нас ждать». Это доказывает, как он всегда был исправен в службе. Много очень было на похоронах. Он, говорят, оставил 400 тысяч рублей на заведение и содержание около Пулковской горы дома для сирот гвардейских и на монумент гвардии на том же месте. Бехтеев себя и тут показал тем, что он есть: забыв свою невесту, он все дни опасности и до самой смерти ни днем, ни ночью не оставлял своего благодетеля.

Константин. С.-Петербург, 2 декабря 1824 года

Принц Оранский и великий князь Николай Павлович[136] отправились в путь в ночь с субботы на воскресенье. Графа Михаила Семеновича ожидают сюда в сем месяце. О дне выезда

он мне ничего не пишет, а говорят, писал Лонгинову, что выедет 12-го. Он прислал на пострадавших 5000 рублей, а жена его – 3000. Гурьев одесский оставляет свое место и, кажется, уже выехал сюда или в Москву. Очень делает худо.

Константин. С.-Петербург, 5 декабря 1824 года

Ростопчин ожидается. Не надобны сотни тысяч для помощи от бедствий наводнения. К счастью, нет; но, однако же, хорошо сделал бы, ежели бы прислал свою долю. Он, верно, от других не отстанет. Какой вздор у вас выдумывают! Ну какую связь имеет война с наводнением? Худо бы было тому, кто бы довольно глуп был, чтобы подумать, что оно могло ослабить Россию. Кажется, 12-й год должен бы отучить от подобных мыслей. Хорошо то, что у вас деньги собирают. Несколько уже сюда и прислано. Изо всех мест России присылают.

Александр. Москва, 8 декабря 1824 года

Мы вчера поздно приехали. Фавст явился тотчас и отвез меня к тестю, где я был до одиннадцати часов. У тестя я, право, сидел как дикий: отстал от общества и света, так мне все это шумно кажется. Мне пропасть наговорили вестей, и половина ваши, петербургские, и все вздорные: что погибло 40 тысяч народу, что явилась болезнь от морской воды, что лопаются глаза и потом умирают, что сахар будет по 120, что скоро выйдет указ, запрещающий его употреблять, а пить чай с патокою. Каковы наши глупые тунеядцы, а все-таки добрые москвичи!

В воскресенье был в Благородном собрании концерт любительский в пользу наводненных: собрали 28 тысяч, пели оба Риччи, Рахманова, княгиня Зинаида, Виельгорские, на арфе играли маленький Витте и Лунина, что за Уваровым; на фортепиано – маленькая Озерова, которая, говорят, подлинно блеснула: это маленькая Фельд. Говорят, что есть описание всего этого в московских газетах. Билеты были по 25 рублей. Знай наших, а что вральманы, то вральманы! Да еще говорят, что императрица Елизавета Алексеевна на будущий год оставила только 12 тысяч дохода, то есть по тысяче рублей на месяц, а прочее все отдала на наводненных. Это, однако же, доказывает, какое имеют мнение об ангельском сердце императрицы.

Александр. Москва, 11 декабря 1824 года

Завтра радостный для России день. У князя Дмитрия Владимировича только обед, а бала не будет.

Как мила великая княгиня Мария Павловна! Я вспомнил наше представление ей в 21-м году и слова ее: «Представляю себе,

сударь, удовольствие, с каким вы приехали в Петербург, ибо вы ведь проделали путешествие, чтобы повидаться с братом!» Что ни говорят о любезности французских принцев и принцесс, но, право, нельзя их сравнить с нашими: у тех есть что-то натянутое, приуготовленное заранее, и больше, нежели чувства, а у наших и то, и другое.

Я вспомнил при сем случае, что тебе тогда также Мария Павловна сказала в Веймаре, кажется: «Мы поклоняемся одному Богу, одна звезда ведет нас. Она может сказать: это ко благу мира». Мне часто грустно, думая об этом божестве. Сколько у него теперь забот, как его мучает все это наводнение. Говорят, что все меры им самим придумываются. Всех подробнее сведения нам дает все-таки Свиньин; пусть над ним смеются, а он все себе пишет да пишет. В «Записках Отечественных» есть и история кронштадтского чана. Это спасение самое чудесное. Я кричу здесь и уверяю, а никто не верит, что не погибло 500 человек от наводнения. Как будто то, что правда, не может быть невероятным! Как же чан проплыл 15 верст с двумя человеками невредимо, когда разбило той же бурей корабли линейные? Провидение! Но здесь любят все увеличивать, и почему не полагать то, что утешительнее для сердца? Шульгин, говорят, отправил обоз в Петербург на пятнадцати тройках, с разными дарами от купцов, холстиною, сукном, мехами, чулками и проч. Надобно говорить правду, этот человек преусердный в этих случаях. Уж Воронцовы, ни он, ни она, не упустят оказии сделать добро. Не удивляюсь, что прислали 8000 на наводненных.

Вчера верная особа рассказывала мне, что в университете говорят и преподают ученикам – кто же? Наставник закона Божия архимандрит. Так нельзя не верить, что он старается не наставлять, а развращать молодежь и истреблять у нее почтение к вере. Два мальчика, братья, о сем говорили мне; один не верил своим ушам, а старший, поумнее, говорил ему: «Э, брат, да он был немножко пьян!» – «Нет, брат, это не в первый раз, и не я один замечаю это». Князь Оболенский вчера, говоря с тестем, клялся за нравственность своих профессоров, а надобно бы полдюжины тотчас выгнать вон. Вот место, которое мне прочили: слуга покорный!

Александр. Москва, 13 декабря 1824 года

Вот и журналисты наконец сообщают публике, что было наводнение; только Свиньин рассказывает как кумушки, а Булгарин – как историк. Здесь это все еще всеобщий разговор до сих пор, хотя история, или роман, молодого Новосильцева, внука графа Владимира Григорьевича Орлова, также многих занимает.

Этот молодой красавец влюбился в дочь какого-то Чернова, бывшего здесь частным приставом (а теперь, кажется, генерал). Недолго было и ей влюбиться в молодца, флигель-адъютанта и богача. Он просил позволения жениться. Мать и дед никак не соглашались на этот союз по многим резонам. Новосильцев пишет к красавице и ее родным, что он в отчаянии жертвовать своей страстью, но что любовь его к матери, которая не дает благословения, вынуждает его разорвать все свои сношения с Черновыми. У нее три брата; старший пишет к Новосильцеву бранное письмо, требует сатисфакции и говорит, что прежде будет драться он, потом средний, а там младший брат до смерти. То есть форменное убийство. Однако Новосильцев отвечает на предупреждение здесь, в Москве, и договаривается о месте и дне дуэли, даже составляет перед этим завещание. Давыдовы, Денис и Лев, чтобы предотвратить дуэль, предупреждают о сем мать Новосильцева; последняя вне себя бежит к архиепископу, к князю Дмитрию, в полицию.

Коротко говоря, князь Дмитрий вызывает провокаторов к себе, чтобы говорить с ними; но кажется, что эти господа, решившиеся силой заставить принять их сестру в семью, которая того не желает, упорствуют, и Новосильцев объявляет, что никогда не отступится от своего слова, готов драться и даже должен сие сделать из-за написанного ему оскорбительного письма. Наконец напускаются на родителей Новосильцева, отца с матерью, на старика Орлова, и вчера мне сказывали, будто договорились, что офицеры-дуэлянты извинятся перед свидетелями за письмо, писанное ими Новосильцеву, разорвут его пред ними, а после он женится на юной особе, и родители его дадут на то согласие.

Этот оборот никому не нравится и послужит многим дурным примером для народа. Союз, который должен решать вопрос о счастии нашей жизни, не устраивается с мечом в руке; надобно всеобщее согласие, благословение родителей. Какое счастье может ожидать эту юную особу в семействе Орловых, Паниных, столь пристрастных к самим себе? Вот чванились, не хотели, чтобы Новосильцев женился на моей Урусовой (ныне Пушкиной); он был влюблен страстно, родные называли Урусову: «Ну что, бедная девушка, Володя может претендовать на первые партии в России!» Вот гордость-то и наказана, вот тебе и первая партия в России!..

Константин. С.-Петербург, 16 декабря 1824 года

Имение после Уварова достается его двоюродным двум братьям или племянникам, из коих один полковник в егерском

гвардейском полку. Оба очень бедные, теперь разбогатеют, ибо достанется обоим 5000 душ. Другой брат в отставке, кажется, асессором.

Александр. Москва, 17 декабря 1824 года

Одна дама, которая желает скрыть свое имя, посылает в пользу наводненных целый гардероб, коему вот реестр. Чтобы не подумали на нас, скажу тебе тайну: это фельдмаршальша и внучка ее, графиня Каменская; доставь это, куда следует, и какую-нибудь расписку, которую можно бы ей показать. Она говорит: лишь дошло бы до рук Константина Яковлевича, а там я уверена, что бедные воспользуются сими пособиями, хотя и маленькими. Похвиснев тебе живая грамота. У нас всех здесь много толков, и глупых, на ваш счет. Ваш Петербург почитают погибшим и удивляются, что двор рискует там оставаться и не переезжает сюда жить навсегда. Как будто не вся Европа подвержена тем же бедствиям от бурь! Стоит прочесть газеты.

Александр. Москва, 25 декабря 1824 года

Я обедал у князя Николая Гагарина; тут был старший Бобринский, приехавший из Петербурга (тот, что женат на Самойловой). Невесело слушать то, что он рассказывает о наводнениях. Его дом на месте, весьма дурном для воды, но и твой недалеко от Мойки. Твое письмо начинается проказами вашей Невы. Пора бы ей и ветрам уняться. Ты хотя и не трагически рассказываешь тревогу 18-го числа, но я ставлю себя на ваше место и понимаю страх не спать целую ночь. Я нахожу, что ваши наводнения хуже нашего пожара 12-го года, ибо они повторяются часто, и нет средства против них. Иные удивляются, что двор не переезжает сюда, не понимая, что это зло временное и что все приморские города Европы более или менее тому подвержены.

Александр. Москва, 29 декабря 1824 года

Душевно соболезную о бедном Фонтоне; знать, что лишишься милой сердцу особы – ужасно, ожидание хуже самого несчастья. За что его ругает Тургенев? Гуляя с ним намедни по улице, болтали мы много, и он все нападал на приятелей твоих. «Странно, – говорил он, – брат твой сама честность, а хлопочет и стоит горой за плутов». Фавста упрекал в том, что живет в доме матери Петра Великого и занимает место не по чину и не по знаниям. Я доказал Александру, что врет. Дом Горного правления куплен не для Фавста, а для правления, еще во время Соймонова, который в нем помещаться не мог или не хотел; что Фавст

занимает пятую часть, а все прочее уступил бедным чиновникам, и присутствие тут же; что при выходе Соймонова был он старшим чиновником и никого не обошел, что дело свое знает, ибо 17 лет тут служит. Потом стал кричать на Карнеева, что воровал здесь, имеет множество деревень, – и тут соврал. Все жалеют о Егоре Васильевиче и вспоминают его управление, справедливое и честное; ежели купил он подмосковную, без коей извернуться нельзя бедному человеку, коли живешь в Москве, то зато и продает ее теперь для оплаты долгов. А имение Лопухина? – Какое же это имение – 80 душ, за кои дал 70 тысяч; да ты не знаешь, что он взял за женою 100 тысяч и что служит весь свой век, живет всегда скромно. Тут стал бранить Фонтона: продал Россию во время мирного трактата, это и брат твой знать должен. Фонтон был тогда пылинка незначащая. Журавлев накупил имения и проч.; всем досталось. Вот он этак врет безрассудно, а иной и подумает, что правда.

Я просил не верить клеветникам и кончил тем, что есть люди, кои говорят и трубят везде, что его, Тургенева, мало бы повесить, что он карбонар, что он князя Александра Николаевича ввел во многие большие неприятности, что бог знает за что получал 20 тысяч окладов, чего не имеют фельдмаршалы, и проч.; мало ли что врут, надобно это презирать, а не повторять как истину. «Нет, мой милый, – добавил он, – с тобой я не могу говорить откровенно. Ты представляешь собой устрашающую силу в Москве. Твой брат пользуется влиянием». – «Все это смешно. Именно мне и брату ты можешь сказать все, что думаешь, ибо это умрет между нами, а твои так называемые друзья повторяют твои слова с дополнениями и причиняют тебе подлинный вред; ты часто, что называется, врешь, без намерения худого, а это идет в огласку и тебе вредит. Брат тебе верный друг, знает твое сердце и желает тебе добра; лучше бы тебе слушать его советы, чем искать рукоплескания вздорных твоих приятелей». Как он ни вертелся, а должен был наконец замолчать. – «Вот Карамзин так друг мне». – «Ну, я бьюсь об заклад, что, верно, и Карамзин не один раз тебе советовал быть осторожнее в разговорах твоих». Тургенев одно твердит: «У меня теперь небольшое состояние, но независимое; чуть не так – уеду во Флоренцию». – «Чуть не так? Да от кого же зависит это чуть не так? От тебя же. Зачем навлекать себе неудовольствия, и не делами, а болтовством? Ты добр сам; зачем тебе марать добрых людей, не имея точных доказательств, что они дурны?» Даже и Воронцову досталось, и этот – подляшка. Я, право, боюсь, что доброго нашего Александра собьют совсем с пути. Все это сообщаю тебе для сведения твоего, хотя Александр и должен знать, что я ничего от тебя не скрываю.

Константин. С.-Петербург, 30 декабря 1824 года

Толстой вчера опять мне говорил о Закревском и спорил со мною. Хороши дает резоны: ну как же Грушеньке не дали банта! Я его просил о сем не говорить; иной подумает, пожалуй, что Арсений точно от этого бросает место. Хотя он и слаб, но никогда не поверю, чтобы мог до такой степени баловать жену. Как бы ни было, нет ему моего благословения, пока не докажет мне, что не мог остаться или по болезни, или по другим каким-нибудь причинам. Да и эти причины не скоро приму. Он столько облагодетельствован государем, что как на войне должен не щадить последней капли крови для него, так и в мирное время не слишком думать о здоровье, если оно только дозволяет ему исполнять свои обязанности. Служить всякий должен, а особливо мы с ним, до самого нельзя.

1825 год

Александр. Москва, 7 января 1825 года

Вчера было открытие московского Колизея! Театр был полнехонек. Здание снаружи великолепно и внутри величаво, хотя и дурно расписано; этому можно помочь. Для театров нет иного цвета: или белый, или светло-голубой. Зачем не сделают фальшивый мрамор с золотом? Говорят, надобно 40 тысяч на это. Зачем жалеть 40 тысяч там, где положено полтора миллиона? Театр этот очень напоминает Сан Карло в Неаполе. Отовсюду видно хорошо, и довольно слышно – по сырости, еще существующей; только надобно бы устроить освещение. Ложи внутри расписаны темно-зеленым цветом; темно, и кажется, что дамы сидят как будто в пещерах: никого не разглядишь. Всем недостаткам можно помочь, но театр прекрасен и возьмет место между первыми в Европе, только слишком велик для здешней публики и должен дирекцию разорять. Это первое представление стоило 43 тысячи, выручки было только 5300, а был набит. Зрителей было, говорят, 2700 человек; я думал, более.

Теперь спросишь ты: что давали? Первое, «Пролог», здесь прилагаемый, писан хорошо; прологи – сухая материя всегда были, и этот показался очень длинен. Актеры перезябли, и Филисша, делавшая Эрато, дула просто в кулачок, не церемонясь. Как приехал князь Дмитрий Владимирович [Голицын, московский генерал-губернатор], перед тем, что зачинать увертюру, поднялся ужасный шум; стали выкликать строителя: «Бове! Бове!» Он явился в ложе Кокошкина, и его заглушили рукоплесканиями, и «браво» летали по зале. В музыке не нашел я ничего особенного; хоры Алябьева были хороши. В конце «Пролога» нимфы, гении, танцовщицы составили из лавров шифр «Александр I» прекрасно; тут так стали аплодировать, что походило на крепость, которую штурмуют. Публика вызвала также Дмитриева, сочинителя пролога, и Верстовского и Алябьева. После начался балет «Золушка». После первого акта я уехал, ибо у нас дома был другой спектакль: тянули бобы, и по жребию сделались королем и королевой Андрей Ростопчин и Ольга [младшая дочь А.Я.Булгакова]; дети резвились, рядились и веселились; были Соковнины, Обресковы, приехал Корсаков и граф Федор Васильевич [Ростопчин].

Машины для первого представления и по огромности театра шли хорошо, только после первого акта балета занавес с четверть часа не хотел опускаться. Огромное здание: на сцене было, верно, более ста человек, а не видать их. После был маскарад, но я не

поехал. Долго проболтали мы с графом Ростопчиным.

Александр. Москва, 9 января 1825 года

Будь покоен, мы как-нибудь да справимся; наше положение не таково, чтобы отчаиваться. Долги не такие, чтобы нельзя было выпутаться. Не все же Бог будет нас наказывать худыми годами. Поедем туда, поживем; авось не то будет. Я вижу по подмосковной, что делает личный надзор; ибо 115 душ, конечно, дают нам от восьми до десяти тысяч доходу. Мы много о сем толковали с женою и поедем толковать на месте. У нее часто случаются блестящие идеи.

Александр. Москва, 10 января 1825 года

Грустно на сердце! Был я у Вяземского поутру и теперь оттуда. Его душевное соболезнование о сыне Николеньке и на меня навело уныние; хочу рассеять себя, поболтав с тобой, мой милый и любезнейший друг. Скюдери, коего встретил я на лестнице, сказал мне: «Дитя умрет этой ночью». Ребенку жить нельзя, только страдает и мучает родителей, он весь тает, и глаза гниют; чего ждать от такого здоровья? Бедный Вяземский ходит как безумный, беспрестанно бегает вниз и приходит оттуда все печальнее. Тут Тургенев, Виельгорский, Жихарев и другие его приятели; но я долго остаться не мог и, сравнивая его положение с моим, благодарю Бога, что у Сережи не такая болезнь. Ежели к вечеру кончит ребенок жизнь, то какую ночь проведет бедный отец! Мальчик трех лет, но преумный, и я никогда не забуду ответа его Северину, который спрашивал: «Каков ты, Николенька?» – «Час от часу хуже; бог знает, чем это все кончится!» Так поразили эти слова.

Сергей Тургенев сидит дома, нездоров. Не новый ли театр его ухлопал?

Александр. Москва, 22 января 1825 года

Слышал ли ты глупую историю Зоя Павловича Зоси-мы? Его обдули, как пошлого дурака, почти силой вынудили у него признание и отправили разные эстафеты для уловления виновных. Тут главную роль играет тот самый Севинис, которого недаром ты не любишь.

Вот происшествие. Зосиме представляют рескрипт, коим государь просит его дать ему заимообразно 390 тысяч для пересылки оных тайно грекам, что это должно оставаться тайною, что, при окончании дел, Зосима получит и деньги, и звание сенатора. Надобно же быть скоту, чтобы поверить! Он в книге расписался и выдал какому-то Шварцбергу (или что-то похожее)

на 390 тысяч ломбардных билетов; но там остереглись и выдачу отказали сделать иначе, как самому Зосиме. Шварцберг, испугавшись, написал Севинису, а этот в ноябре прискакал сам сюда из Петербурга, явился в ломбард и получил тот же отказ, хотя и предъявил подпись и уполномочие Зосимы. Видя это, он взял с собой кассира ломбардного и повез его к Зосиме. Получив от этого уверение изустно, что рука его, деньги также, уполномочие на выдачу также, не оставалось делать иного кассиру, как выдать 390 тысяч. Не знаю, Севинисом ли самым по делу этому Зосиме предъявлены были разные книги, как, например, Беннерова коллекция портретов, описание Москвы, на коих были надписи императрицы Марии Федоровны, якобы государыня посылала их Зосиме в дар при рескрипте, коим просит у него удивительную его жемчужину и другие драгоценности на подержание или в дар, – не знаю. Зосима отдал все, что требовали у него и что составляет деньгами и вещами до миллиона.

Некто Гамель, служащий при князе Дмитрии Владимировиче (и от коего я все это знаю), подозревая, что Зосима был обманут, сам старался узнать все от него; но тот так наблюдал секрет, что ничего не могли от него узнать, а только мог увидеть Гамель Беннерову коллекцию с надписью «Мария». Это было уже хорошее начало. Князь Дмитрий Владимирович послал к Зосиме Шульгина [тогдашнего нового московского обер-полицмейстера], но и этот не узнал ничего; потом опять ездили Гамель и Тургенев, что при князе Дмитрии Владимировиче служит, но все тщетно. Наконец, убедили Зосиму показать свои редкости княгине Зинаиде Волконской. Долго стряпали, наконец назначен вечер; я ехать не мог, ибо Сережа [один из сыновей А.Я.Булгакова, умерший младенцем] был уже болен. Туда явился и князь Дмитрий Владимирович и, бывший здесь прежде, заметил, что многого недостает. Доходит дело до жемчужины. Зосима говорит, что покажет ее в другой день. Все разъехались. Тогда князь Дмитрий Владимирович напал на Зосиму и вынудил у него почти угрозами признание, что его, как осла, обманули и обокрали. Эта скотина плакал и целовал руки у князя, прося его оставить ему *рескрипты.* Надобно же быть пошлому дураку! Князь тотчас отправил эстафету к графу Аракчееву, и, вероятно, молодца Севиниса уже прибрали к рукам; за немцем и еще другим отправлены также полицейские офицеры в погоню. Зосима так стыдится, что стал посмешищем целого города и попался трем мошенникам, что с того дня сильно заболел. Экий урод! Мне больно, что этот Севинис выдает себя за племянника Каподистрии.

Александр. Москва, 9 февраля 1825 года

День был бешеный. Начался блинами у Ивана Николаевича [екатерининского любимца Корсакова, имевшего дом на Тверском бульваре], потом завтрак с танцами у князя Дмитрия Владимировича, потом не мог отказать детям покатать их на горах, потом с Наташей ездили в Итальянскую оперу. Она в восхищении от «Дон Жуана». Публика была настолько наэлектризована, что заставили повторить пять кусков, что сильно затянуло спектакль. Оттуда зван я был в два места. Сперва поехал к Бобринской, жена старшего ее сына (урожденная Самойлова) очень мила, пела; а Саломирский, мой неапольский мальчишка, теперь с меня, играл на фортепианах. Стали ужинать, а я поехал к графине Чернышевой, где и пробыл до третьего часу.

Говорят, что Жихарев будет вице-губернатором здесь, а на место Юшка будет Четвертинский.

Александр. Москва, 10 февраля 1825 года

Вчера обедал я у Жихарева, который собрал всех Тургеневых приятелей; думали было ехать сегодня, но Вяземский склонил их обедать сегодня у него, потому отправляются завтра[137]. У Жихарева было человек с двадцать, например.

На обеде были еще: Матюша Муромцев, Денис Давыдов, Тургеневы, как и следовало ожидать, Толстой-Американец, Иван Иванович Дмитриев, Вяземский, Василий Львович, который больно опускается, однако же написал стихи на отъезд Тургеневых, Виельгорский и проч. Вечером был я на маленьком концерте у Виельгорского, пробовали Фенци, виолончелиста, и Шоберлехнера. Первый играет с большой аффектацией и не очень чисто; попал он сюда в дурной час: здесь Ромберг, который его задавит, тем более, что Фенци и играет-то все ромберговы сочинения.

Александр. Москва, 11 февраля 1825 года

Алексей Михайлович Пушкин болен, сказывают, водянкою в ногах и имел видение, его испугавшее. Сам рассказывал князю Николаю Щербатову. Видел, что идет по лестнице пребольшой; дойдя до последней ступени, встречает черта. Этот берет его к себе на плечи и тащит в подземелье. Попадается Пушкину духовник его жены[138]. «Батюшка, освободите меня от черта», – но поп вместо ответа говорит этому: «Неси его, куда тебе велено». Воображение больного настолько поразилось, что он уж и не знает, видел ли сон или было ему видение.

Александр. Москва, 21 февраля 1825 года

Вчера был я на обеде у князя Николая Григорьевича Щербатова, мужском. Много ели, еще более пили, и еще более кричали. Были тут 2 Виельгорских, 2 Волковых (Сергей и Николай Апполоновичи), 5 Давыдовых (Александр, Петр и Василий Львовичи, Денис и Лев), Вяземский, комендант, Рахманов Григорий Николаевич, Толстой-Амери-канец, Скарятин, Бобринский и проч., человек до тридцати.

Слышал я, что Вяземский очень занемог; видно, со вчерашнего обеда. Сегодня консилиум для Алексея Михайловича Пушкина. Скорее спасут тело, нежели богомерзкую его душу. Что он говорит, так это ужас! Видно, хочет умереть, как жил.

Александр. Москва, 24 февраля 1825 года

Я ездил теперь нарочно к Вяземскому, чтобы тебе сообщить, что узнаю о нем. Княгиня вышла ко мне; только что было стали говорить, как больной, узнав, что я тут, велел мне к себе войти. «Здравствуй», – сказал он. Мне казался удобный случай прибавить ложь. Я ему рассказал, что было вчера вечером у Пушкиных и какое все принимают участие в его выздоровлении. Он вздохнул. Между прочим, Аннет Акулова, большая его фаворитка, говоря со мною о нем, плакала. «Поезжайте, – говорила она, – мой милый Булгаков, к больному завтра, целуйте руки княгине, молите ее назначить консультацию, пока болезнь не стала опасной, молите самого больного, ежели его увидите». Это имело хороший успех: ужо будет консилиум. Ванная вчерашняя не сделала добра большого; вечером опять ставили пиявки, от коих сделалась ему дурнота, но он очень был доволен сим. «Чувствую силу необыкновенную, которая меня мучает, мне хотелось бы, чтобы меня ослабили», – говорит он. Я вижу все признаки нервической горячки с воспалением, а он сам опасается гнилой; спрашивает у княгини: «Ты не боишься, чтобы пристало к тебе?» И чтобы испытать ее, велел ей ночью лечь возле себя, брать ему руку. Я, зная это, как вошел к нему, взял его за руку и сказал: «Все прекрасно, у вас ни озноба, ни жару болезненного, ваша рука такова, какой и должна быть». – «Так нет жару?» – «Я не нахожу».

Взгляд его мне не нравится; есть что-то дикое, и красное пятно на правой щеке; лежит на диване в халате, часто встает, особливо ночью, и твердой ногою ходит по комнате. Вот пять суток, что он не спит. Он никого видеть не хочет, кроме Сюодери и княгини. Он потребовал под слово чести, чтобы дали ему опиум, дабы вызвать сон, ему отвечали: «Опиум для вас все равно что яд». Больной как будто боится всякого лица, кроме сих двух; этим утром виделся недолго со своими детьми, и без умиления и явного удовольствия. Минуты через две сделал знак рукой, чтобы

мы ушли. Я уж был у дверей, как он сказал мне: «Напиши, пожалуй, Тургеневу, что видел меня и что не могу ему писать». Я было сел в другой комнате, с княгиней поговорить, покуда она завтракает; а он велел ей сказать: «Ежели все завтракаете, то пожалуйте с чаем к князю». Он не отпускает меня от себя ни на миг, не могу ни с кем и поговорить. Вообще больной не хуже вчерашнего; но мне кажется, что и перервать горячку не успели, а это бывает в первые дни всегда. Его положение очень меня озабочивает, ибо, по-видимому, ванны, пиявки и шпанские мухи не помогли. От чего же ожидать кризиса? Что-то скажет консультация? Княгиня имеет силу сверхъестественную и совершенно все одна за ним ходит. Никого не принимают. Я сказал больному, что получил от тебя «Онегина». – «И мне прислали», – отвечал он.

Александр. Москва, 25 февраля 1825 года

Завтра постараюсь поутру узнать о Вяземском Я был у него теперь, то есть в 9 часов вечера. Был консилиум. Доктора согласны в болезни и в лечении; порешили, что опасность еще не миновала, а работают, чтобы предупредить воспаление; кровообращение улучшилось, руки не холодны, мучает его бессонница, никого никак видеть не хочет. Увидим, что-то скажет эта ночь. Жалею, что не могу застать Скюдери, чтобы с ним переговорить. Ох, жаль мне Вяземского душевно; все имел, чтобы быть счастливым: ум, прекрасную душу, молодость, богатство, имя, – все пошло не в прок.

Александр. Москва, 1 марта 1825 года

Вот мое письмо к новому неапольскому королю. Авось-либо не забыл он еще, как я к нему ходил в Казенце, Лагонере и других городах Калабрии в сюртуке и сапогах. Он очень был ко мне милостив; во всяком случае, письмо это не может не быть ему приятно. С Медичи были мы также приятели, игрывали в квиндичи и вместе волочились. Письмо мое к нему приноровил я к его образу мыслей. Я датировал от января, дабы усмотрели в сем более усердия с моей стороны, с тем чтобы переложить вину на почту; писал письмо из Петербурга, чтобы легче было им отвечать в случае нужды: в мое время неапольский почтамт не знал еще, что есть Москва, а почтамтские ученые думали, что это городок отдаленный, в Азии лежащий. Доставь мой пакет через неапольскую миссию или как лучше заблагорассудишь, лишь бы дошло верно. Всякий недавно воцарившийся король весел и расположен к добру; а там, как узнает, какое это бремя – корона, и как пойдут заботы, то и приветствия прислушаются и не

трогают. Запечатай своей парадною печатью, прочитав, что пишу. Пусть видят, что крестами меня не удивишь, а лучше бы другим гостинцем.

Ежели бы был другой министр, а не мартышка эта Штакельберг, в Неаполе, я бы и ему написал: не равно спросят у него, что бы было мне приятно. В 1805 году вся их иностранная коллегия так была подкуплена Францией, что я сидел ночи и переписывал для них все секретные их бумаги, что известно было королю покойному и министру Чирчелло. Пусти мои два корабля в море; или разобьет их, или воротятся в белокаменную с грузом неапольских произведений. Фавст меня уморил; говоря об этом, сказал он мне: «Да ты приписал бы в письме королю, что имеешь друга, которого любишь, как брата; смотри, коли и мне не пришлет орден, а тебе пожалует герцогство или княжество!»

Александр. Москва, 3 марта 1825 года

Давеча был я у Вяземского, долго у него сидел, много с ним болтал и несколько раз заставил его смеяться. Ему гораздо лучше; но я все той веры, что эта болезнь ужасно потрясет всю его махину. Может быть, это послужит и к пользе его, заставив его переменить образ жизни. Я нахожу, что он не столько телом, сколько духом болен. Я говорил все, что может ему быть приятно, – например, всеобщее о нем участие. «Надобно же о чем-нибудь говорить, – сказал он. – Вас встречают; известно, что мы знакомы, вот и спрашивают обо мне». – «Вовсе нет, я вижу интерес, который сыграть невозможно». – «Думаю, что я не порчу собою общества; некоторые, возможно, находят меня и любезным». – «Да вовсе нет: любезного человека любят, пока он в гостиной; а заболей он или пропади, о нем уж и не побеспокоятся. Чтобы о нем пожалеть, надобно к нему привязаться, полюбить его, а для того ему надобно обладать порядочными достоинствами», – и проч. Я называл ему всех, кои о нем вчера еще спрашивали. Ему это было приятно, и он все прибавлял вопросы: а еще кто? Он говорил: «Я уже ем, но без вкуса, хотя и различаю кислое от соленого и сладкого; я сплю, но засыпаю без удовольствия и просыпаюсь, не чувствуя себя свежее; ничто меня не утешает». Княгиня мне подтвердила, что болезнь их Машеньки его не тронула, а выздоровление не обрадовало. Он часто ей говорит: «Я не годен ни на что, ни семье своей, ни тебе, ни детям!» Он поддается унынию, которое происходит, возможно, от желчи или его болезни. Больно видеть такое положение, и нельзя не уважать его, когда говорит он княгине: «Единственное мое утешение в том, что в своей жизни я не совершил ничего низкого или бесчестного!»

Александр. Москва, 4 марта 1825 года

Графу Ростопчину очень понравился журнал петербургский французский, просил меня абонировать его на оный и дал 35 рублей. И подлинно, журнал очень хорош. Я свою статью не узнал и выхожу ворона в перьях павлина; хорошо, что не означено имя мое.

Замучили нас концертами, да и только. Впрочем, один разве только Виельгорский на все пускается. Артисты все у него на хлебах и в команде. Богат, может деньги тратить.

Александр. Москва, 28 марта 1825 года

Конечно, для Полетики очень лестно, что государь удостоил его разговора. Мало ли кого государь встречает на улице! Велико счастие удостоиться взгляда, поклона или короткого приветствия, а Американцу нашему сказаны еще и лестные слова. Ты прибавляешь, говоря о сем счастье: «Так ведь Полетика вырос с тех пор». Он так вырос, что при получении сего письма станет уж тайным советником! Я сего желаю и сему заранее радуюсь, но с той оговоркою, которую тебе высказал. Вронченко не знаю я и в глаза, а в штоффрегеновой звезде принимаю участие: он тебя лечил, или дал, по крайней мере, совет пиявок в 1817 году, когда ты болен был здесь, и кои очень тебе помогли. Я с того времени желаю ему всякого добра, не желая, однако же, нимало, чтобы это хорошее к нему расположение имело причины возрастать еще более; всего лучше не иметь дела до этих господ. Меня эта звезда Владимирская радует и потому, что служит доказательством, что Штоффреген удачно пользовал государыню императрицу. Мы здесь и не знали о болезни великой княгини Елены Павловны.

Вяземскому гораздо лучше; я, право, даже удивился, увидев его, как он скоро оправился. Стал как прежде, и даже еще лучше. Нет следов болезни, исчез этот странный взгляд. Я ему говорил о разговоре твоем с Карамзиным. Его это порадовало. Кажется, он бы не прочь служить в чужих краях, и, кажется, эта болезнь исправит многое в нем.

Александр. Москва, 8 апреля 1825 года

Ну уж Липинский! Я скрипку не люблю, но он меня с нею примирил, а может быть, и совсем поссорил, потому что не захочу никого более слушать. В его руках это как будто другой совсем инструмент. Ни одного нечистого звука и ни одной резкой ноты, что так часто случается со скрипкою; нет этого свиста. Какой смычок, какой вкус и какие трудности, исполняемые без усилия. Удивительный талант! Я Дица не очень помню, да и слыхал его

уже в сумасшествии, но старики-знатоки ставят Липинского выше и Дица, и Роде. Жаль, что неуклюжая фигура и что не имеет некоторого шарлатанства, чем бы еще более дал весу своему необыкновенному таланту. Он играл для Собрания сегодня, а в субботу его концерт. Он так всех восхитил, что Виельгорский тут же продал менее нежели в полчаса 120 билетов на его концерт, а играл какие-то бездельные вариация Виота. Он ученик славного Паганини.

На этом концерте был другой феномен: Гедеонов в большой Анне. Это такую произвело суматоху, что он, пробыв очень мало времени, уехал домой. Право, стыдно Юсупову, и все его ругают, что он осмелился во зло употребить расположение государя награждать за службу. Право, сто раз приятнее быть обойденным, нежели без всякой заслуги получить такое отличие. Все о сем только и говорят теперь.

Александр. Москва, 9 апреля 1825 года

Как я поехал давеча в «Севильского цирюльника», приезжал Каннинг [министр иностранных дел Великобритании, знаменитый дипломат и оратор] и оставил с карточкою письмо твое рекомендательное, мой милый и любезнейший друг. Очень сожалею, что не было меня дома; ежели бы скоро с ним познакомился, то повез бы его в оперу. Рад я ему угождать, быть его чичероне и отплатить за ласки, оказанные тебе в Царьграде. Завтра поутру поеду к нему. Скоро же он приехал! В письме твоем № 58, полученном мною по почте, ты говоришь от 4-го, что он сегодня выезжает, а он уже и здесь. Я видал после того тестя и графа Ростопчина; оба будут звать к себе, кормить и поить Каннинга; покажем ему Оружейную, Архив, замок, заведения императрицы, Собрание, Аглийский клуб и проч.

Очень я рад, что первый возвестил графу о пожаловании чина Нарышкину. Его очень это обрадовало, особенно отзывы о нем Воронцова. «Я желаю, – говорит он, – моему Нарышкину, чтоб Воронцов надолго остался в Одессе». Пользуясь случаем, я просил графа участвовать в подписке для Козлова поэмы; он охотно согласился. Какой милый этот Воронцов! Лучше сказать, добрый, благотворительный! Не забыл и старика Варлама. Конечно, пенсия всего лучше для него. По крайней мере, без нужды и в покое проведет остаток дней своих.

Александр. Москва, 10 апреля 1825 года

Я почти целый день провел с твоим Каннингом, мой милый и любезнейший друг! Он очень приятный человек, особенно для англичанина. Чтобы застать его, поехал я к нему рано поутру и

просидел довольно долго. В час я опять к нему зван, и мы поехали вместе, во-первых, к Юсупову, который звал его завтра к себе обедать, и, во-вторых, к графу Ростопчину, который дает ему обед в субботу. Оба очень его обласкали. Сегодня возил я его в Большой театр; жаль, что скучную давали пьесу – «Агнесу», довольно дурно петую, а балета он не дождался, уехал; я его не стал удерживать: самому хотелось домой, да и главное для него было – только видеть театр огромный. Завтра осмотрим соборы (а на Ивана Великого он уже лазил через два часа после приезда своего в Москву), Грановитую, Оружейную и Патриаршую; обедать – у Юсупова, пить чай – у меня, а на вечер зовет его Бобринская. В субботу Шульгин показывает пожарную команду, острог, яму, временную тюрьму. Концерт Липинского, обед Ростопчина, Итальянская опера и бал у Корсаковой. В воскресенье хочет он уже выехать, направляя стопы через Берлин в Англию. Москва ему очень полюбилась, он ее сравнивает с Римом и Царырадом и видит в ней настоящую столицу России. Я делаю все, что могу, чтобы не было ему скучно. Жаль, что так скоро едет: не успеем и Архива ему показать. Я послал ему газету петербургскую, которую нашел дома, воротясь из театра. Пусть себе читает, ложась спать, как греческие корсары дрались против двух английских фрегатов.

Александр. Москва, 14 апреля 1825 года

В 6 часов утра поехал я к Каннингу, у него завтракал; промешкав довольно времени, пустились мы на Воробьевы горы, но от заставы такая страшная, ужасная грязь, да и опасная для повозок, что должны мы были идти пешком, что храбро и исполнили. Прийдя к церкви села Воробьева, нашли мы туман над Москвою. Надеясь, что маленький дувший тогда ветер и показывавшееся солнце это разгонят, мы сели и стали болтать и ждать. Часа через полтора все прочистилось, и Каннинг был поражен картиною Москвы, которую равняет только с Царырадом, Римом и Неаполем. Назад надобно было воротиться тем же порядком пешеходным, так что, против чаяния моего, был я дома только в два часа. Он бы уехал в воскресенье, но, получив курьера из Лондона, должен был работать, отправить его обратно, да переменить маршрут и ехать в Варшаву. По просьбе Наташи остался он еще вчера здесь, чтобы провести с нами последний вечер.

Были у нас граф Федор Васильевич, тесть, Корсаков, Метакса, Виельгорский. Мы показывали ему пляску русскую под балалайку, что очень ему полюбилось; да и подлинно, мастера эти два мальчика плясать. Каннинг уехал до ужина, ибо сегодня

должен пускаться в дорогу в 4 часа утра. Мы распрощались, и он, кажется, очень доволен нами, велел тебе написать дружеский поклон. Я отпустил ему преважную речь прощальную: «Никогда не смог бы я отплатить вам за дружбу, которую вы засвидетельствовали брату моему в Константинополе; ему обязан я знакомством с весьма приятным человеком. Я в восхищении, что судьба направила вас на путь свершения великих общественных деяний, ибо я всегда узнаю из газеты, где вы и что делаете, и всегда буду интересоваться успехами переговоров, если в них участвует сэр Каннинг». Он обменял мои комплименты своими, и мы расстались, довольные один другим. В воскресенье показывали ему, по приказанию графа Толстого, военный госпиталь; слонялись мы по качелям, комедиям (все это сохранено для приезда принца Оранского). День был прелестным, и он нашел это гуляние прекрасным, дивился множеству карет. Я должен был с Вяземским у него обедать в 6 часов, а вечером угощал его Корсаков. Когда будешь писать графу Нессельроде, скажи ему, что я волю его касательно Каннинга исполнил. Этот, верно, сам ему скажет все в Варшаве. Я заметил, однако же, дипломатический его ответ, когда я ему сказал: «Я прошу вас засвидетельствовать мое почтение графу Нессельроде». – «О да, мне, *вероятно*, представится случай повидаться с ним в Варшаве, ибо я пробуду там всего день» (зачем же ехать туда, а не по прежде назначенному маршруту?).

Александр. Москва, 13 апреля 1825 года

Не мог я отказаться быть у камердинера и фаворита Ивана Николаевича, известного под прозвищем «князька», отцом посаженым. Сегодня был бал в доме Корсакова. Эти балы горничных очень забавны. Иван Николаевич звал весь дом, но Наташа не поехала, я был один. Сам Иван Николаевич открыл бал польским, а там и пошла потеха. Все мы танцевали. Молодая очень хороша. Тут были служанки от князя Дмитрия Владимировича, от графа Ростопчина, и, право, иная лучше одета и лучше танцует наших принцесс. Сели ужинать, а я поехал домой.

Проснувшись, нахожу у себя на столе сверток, распечатываю – нахожу письмо весьма вежливое, благодарное от Каннинга: просит меня принять в знак памяти прекрасный телескоп (то есть для зрения, ибо я прочитал отсюда, что написано на доме за Сущевым), и препроводил 500 рублей, кои просит раздать по назначению своему разным бедным, раненым и за долги. Исполню все это сегодня.

Александр. Москва, 18 апреля 1825 года

Все ездят любоваться приданым княжны Прозоровской, идущей замуж за князя Трубецкого. Оно оценено в 350 тысяч рублей и, говорят, великолепно и преисполнено вкуса. Сервиз к туалету, прибор серебряный и вызолоченный подарен дядей невесты князем Сергеем Михайловичем Голицыным. Сделано это все ровно за сто лет и принадлежало прабабушке Князевой, а и теперь очень хорошо. Моды вообще клонятся к старине.

Негри мне вчера рассказывал историю графа Мамонова. Он даже уже отрекается от него и не ездит более к нему. Граф писал точно к Голицыну, князю Дмитрию Владимировичу, и вызвал его на пистолеты, не получая же ответа, начал ругать Негри, упрекая, что, верно, не вручил князю письма; а чтобы показать, что князь трус, он наделал копии со своего письма и разослал оные Ивану Ивановичу Дмитриеву, Павлу Ивановичу Кутузову и всем своим знакомым. Экая голова! Государь дал князю волю делать, что он заблагорассудит. Неизвестно, какие примет князь меры; но, кажется, опеки не миновать. Нельзя не сожалеть о Мамонове: при молодости, богатстве и уме будет иметь весьма несчастный конец.

Александр. Москва, 25 апреля 1825 года

Вчера в 4 часа пополудни приехал сюда принц Оранский. Покуда не забуду, расскажу тебе смехи. Иду я пешком по Тверской обедать к Луниной, насупротив дома военного генерал-губернатора вижу много людей в куче; любопытство заставляет меня у одного из бородачей спросить: «Что вы тут делаете?» – «Да вот, батюшка, ждем: говорят, что сейчас приедет Арап Павлович!» Мне в голову не приходил принц; я спросил: «Кто это Арап Павлович?» – «А муж-то нашей Анны Павловны». Я хохотал в одиночестве над такой фамилией.

Сегодня обедали мы у Ростопчина. Князь Дмитрий Владимирович много говорил со мною, и между прочим о Каннинге. Он, княгиня, Апраксина, да и все мучали, просили княгиню Бобринскую дать бал для Арапа Павловича, но не могли ее склонить: многое у нее уже уложено, люди распущены, а она любит блеснуть. У Апраксиной и князя Дмитрия Владимировича будут балы, да в Собрании третий.

Александр. Москва, 27 апреля 1825 года

Принц давеча гулял с Чернышевым в Кремлевском саду. Откуда узнали, только туда явился почти весь город. Во французских лавках заказано более 50 шляпок оранжевых и с флердоранжем. Видишь, если мы бываем частенько и глупы, то

порой нам случается быть и галантными. Все пребывание принца расписано. Балы у князя Дмитрия Владимировича, у Апраксина, у Бобринской (таки принудили ее), в Благородном собрании, праздник в Архангельском у Юсупова, который продолжится целый день; будет еще обед у Юсупова в Васильевском, когда принц поедет на Воробьевы горы; поедет также в Воскресенский монастырь и, кажется, к Троице. Завтра будет под Новинским пешком до обеда, а после обеда – в коляске. Говорят, что и купцы собираются дать бал. Вот что слышно до сих пор.

Надеваю шинель, а Американец [Ломоносов, товарищ Пушкина по Лицею, ехавший на службу в Америку] является. Сели, поехали в Кремль, который набит был и экипажами, и народом, время бесподобное. Мы в пору приехали в самую: сенаторы выходили из гостиной, а нас туда позвали для представления. Нас было 4-го класса и придворных человек с 40. Принц скоро вышел в русском мундире с Андреевской через плечо, чрезвычайно был милостив и никого не оставил без разговора. Себо [то есть Рушковский] очень плодовито начал говорить о газетах и почтах; я говорю своему соседу Ивану Петровичу Поливанову: «Ну, ежели и вы так же будете распложать о вашей строительной комиссии, то это не кончится прежде суток». Как дошло до меня, Чернышев, представлявший всех, сказал: «Это господин Булгаков, брат того, коего знает ваше высочество». Принц начал похвалами на твой счет, а там спрашивал, где я служил и служу, и кончил: «Надеюсь завтра иметь удовольствие видеть вас в Архиве, ибо я туда отправляюсь утром». В самом конце стоял опоздавший несколько граф Федор Васильевич. Как дошел до него принц, он взял его за руку и повел в свой кабинет, где пробыл минут с двадцать. Потом князь Дмитрий Владимирович представлял главу, коммерции советников и главных из купечества, тут же и жида Лухманова. Все начальники заведений императрицы Марии Федоровны были приняты особенно в кабинете.

Ростопчин нас очень смешил во время представления. Принц подходит к Кокошкину, говорит о новом театре, а граф нам шепчет: «Директор мал, зато театр огромен; посмотрите, какое над принцем производит *действие* Кокошкина *явление.* Важная сцена!»

Надев сюртук дома, пошел я шататься по качелям с Фавстом. Принц был также тут пешком, бездна была гуляльщиков, особенно дам, разряженных как бы на бал.

Я целое утро провел в Архиве и удивлялся терпению и любопытству принца, входившего в большие подробности и делавшего множество вопросов, на которые Малиновский отвечал

своим французским наречием. Принц был очень доволен и долее оставался, нежели все полагали.

Малиновский вручил ему экземпляр государственных грамот от имени графа Румянцева. Отъезжая, он вписал свое имя в книгу архивскую, также и Чернышев и вся свита его высочества.

Александр. Москва, 29 апреля 1825 года

Экий этот Полетика! Попроси его скорее отобрать Сегюра [известные «Записки», вышедшие в 1824 году в Париже]; я очень любопытен прочесть эту книгу, ибо знал автора, который во время пребывания моего в Париже был у меня два раза, читал некоторые статьи и просил объяснения многие касательно Москвы, пребывания государева там в 12-м году и проч. Я познакомился с ним у графа Федора Васильевича.

Принц Оранский поехал вчера к Троице в 8 часов и в 8 вечера возвратился уже в Москву. Видно, дорога не так дурна; его высочество кушал там, кажется, у Филарета. Ужо будет для него итальянская опера «Изолина», в Большом театре.

Я не думаю, чтобы Ухтомский был дружен с молодым Пушкиным, имея совсем другие правила и образ мыслей. Я могу это узнать от самого Ухтомского, не дав ему даже подозрения.

В Москве будет также висячий мост на Москве-реке, против Кремля, да еще велено окончить церковь Большого Вознесения, что у Никитских ворот. Тут был дом князя Потемкина; он оставил сумму на построение сей церкви – по плану, также им начертанному, с тем чтобы наследники его все это исполнили. Сделаны только основания и едва пятая часть всего здания. Государь приказал волю покойного выполнить, церковь кончить и наследников понудить взнести всякому, что следовать будет. Сказывают, что бывший тут поп Антип деньги размытарил, то есть князем оставленные 300 тысяч, а наследников оставляли в покое по настоянию того же попа, умершего давно уже. Я чаю, Браницкой, Литте, всем Голицыным, Высоцкому придется развязывать кошельки; все это рассказывал тестю сам князь Дмитрий Владимирович.

Александр. Москва, 1 мая 1825 года

Афишки, приглашавшие всех служащих являться в мундирах, забыли сказать, когда принц будет на бал; дамы наши, ты знаешь, как любят опаздывать, а потому в 10 часов не было и 300 человек. Князь Дмитрий Владимирович, видя это, послал к принцу, чтобы его Чернышев не торопил, а что даст знать, когда пора приехать в Собрание. Наконец понакопилось; но все-таки не было 1000 человек: мундиры многих испугали. Принц открыл бал польским

с княгиней Татьяной Васильевной, потом танцевал с графиней Каменской, с Апраксиной и другими матадорами женского пола. Были тут и именитые купцы с женами. После принц начал вальсировать с княгиней Голицыной.

«Подойдите к принцу, – сказал мне Чернышев, – он здесь так мало народа знает, что будет в восхищении от возможности поболтать с вами». Я стал поближе к нему в промежуток вальса, ибо сам не танцевал. Принц, увидев меня и взяв очень ласково за руку, пожал, прибавя: «Как ваше здоровье?» Там начали говорить о зале, о многих дамах. «Два купца, – сказал я ему, – сделали мне замечание, которое я не могу помешать себе довести до сведения вашего высочества». – «И что же?» – «Ах, – говорили они, – почему мы лишены счастья видеть также великую герцогиню?» На что принц отвечал: «Это очень любезно с их стороны, я не премину передать это своей жене и могу вам гарантировать, что она будет к этому весьма чувствительна. Дело не смогло устроиться, потому что я ехал сюда очень ненадолго. Москва очаровательна, и я охотно продлил бы свое пребывание здесь; но мне надобно шестнадцатого быть в Варшаве. Вы получаете известия от брата?» – «Почти каждый день, ваше высочество». – «Ого-ого!» – Хотел было говорить, но его очередь была вальсировать, и он остановился уже на той стороне круга, а мне казалось неловко перейти туда за ним.

Освещение было великолепно – как в зале, так и на фасаде Собрания. Не знаю, ужинал ли принц и до которого часа пробыл там, ибо я уехал к тестю за женою. Вчерашний обед у князя Сергея Михайловича Голицына был, говорят, царский, великолепием и редкостями: тут были абрикосы, персики, вишни, земляника, малина и вообще все фрукты, как среди лета. Сегодня был также принц в дворцовом саду, а завтра будет вечер и бал у графа Петра Александровича Толстого.

Александр. Москва, 6 мая 1825 года

Вчера был я на балу у князя Дмитрия Владимировича. Праздник хоть куда! Прекрасное освещение, лакомства кучами таскали, дамы одеты щегольски и богато, мужчины с лентами через плечо; танцевали в обеих залах в одно время, в каждой по оркестру, игравшему ту же музыку. Большой широкий коридор, соединяющий кабинет с библиотекой, был убран боскетом, цветов бездна; на многих розанах сидели бабочки разных цветов, так хорошо сделанные, что хотелось проходящим в польском мамзелям ловить их. Башилов попался в сию ловушку. В польском, шедшем мимо меня, покуда играл я в вист, насчитал я 76 пар. Танцы не прерывались, ибо ужин был накрыт в двух

других залах и двух комнатах. Одним словом, славный праздник. Князь Сергей сказал бы: «Хорошо, хорошо, барски!» Принц был очень весел и танцевал котильон с меньшою Мосоловой, которая подлинно прелестна. Видел я тут новую эдицию Шульгина: довольно еще молод и молодцеват, в башмаках и танцевал.

Здесь получено печальное известие, что несчастный молодой Лаваль застрелился в Пензе. Вчера сказывал мне князь Никита, и я не верил; но Лоден получил письмо от Лубяновского, губернатора, извещающего его о сем. Эта смерть лежит на совести матери, она привела его в это отчаяние. На месте матери я сказал бы: «У вас ничего еще нет, вы ничем не располагаете; как только ваше достояние к вам возвратится, оплачивайте тогда свои безумства».

Александр. Москва, 7 мая 1825 года

Принц не уехал еще. Теперь осматривает пожарную команду на Девичьем поле, а потом едет в Коломенское, по приглашению присланной оттуда депутации; в путь отправляется в 9 часов вечера, завтра будет осматривать поле сражения при Бородине.

Уверяют, что Шульгин купил развалившийся какой-то дом, куда положил на 300 рублей соломы, и что все это сожжется, чтобы показать принцу деятельность полиции и труб. Вчера говорили, что дом стоит 1200 рублей, а теперь Мосолова уверяет, что 7000 рублей. Накануне оставления своего места – не верю, чтобы Шульгин стал так убытчиться.

Вчера Зинаида не была на балу: смерть бедного Лаваля очень ее встревожила. Говорят, что он оставил письмо к отцу.

Александр. Москва, 8 мая 1825 года

Принц вчера был в Царицыне и Коломенском, смотрел пожарную команду, кушал дома, был после, в 9 часов, на гулянье в Летнем саду. В полночь пустился в путь. Услуге своей дворцовой пожаловал 150 червонных, кой-кому табакерки, например, берейтору. Гедеонов получил, говорят, табакерку с бриллиантами, Юшков – подарок.

Александр. Москва, 11 мая 1825 года

Я сегодня заезжал к Каменскому, чтобы ему передать твою благодарность за Сенявина, но не нашел его дома. Хотел также разведать, правда ли, что рассказывали о крестьянах его, взбунтовавшихся будто и приславших ему в пакете общипанную бороду его старосты. А в Пензенской губернии точно есть большие беспорядки, мужики бегают сотнями и отказываются платить оброки; все говорят о какой-то новой земле, куда уходят.

И Фавсту пишут о сем очень подробно из его деревни; но у него, слава Богу, покойно.

Александр. Москва, 13 мая 1825 года

Крайне сожалею о кончине Аркадия Алексеевича Столыпина; хотя по болезненному его состоянию нельзя было предвидеть, что он долго проживет, все-таки жаль, яко доброго человека и хорошего сенатора. Он, будучи здесь еще обер-прокурором, много нам помог в деле нашем. Все очень о нем сожалеют.

Здесь другая смерть также обратила на себя внимание целого города: молодая, прекрасная Потемкина, жена генерал-адъютанта, скончалась вчера в два часа. В Английском клубе не было иного разговора.

Александр. Москва, 16 мая 1825 года

Алексей Михайлович Пушкин очень плох. По-моему, родные его очень дурно взялись, чтобы склонить его исполнить долг христианина. Сестра [княгиня Варвара Михайловна Гагарина] и все родные, не говоря ни слова наперед об опасности его положения, о долге всякого честного человека и христианина, вдруг вошли к нему толпою, с попом в ризе, и, став на колени, стали просить, чтобы причастился. Он испугался сперва, а потом стал ругаться и всех их прогнал вон. В таких случаях надобно действовать через убеждение, а не сюрпризом или силою. Как из святого дела делать комедию? Больной не во всякое время готов совершить такой серьезный шаг; ему надобно собраться, долг свой не исполняют вот так, будто лекарство глотают. Все испортив, они прибегли к старому князю Юрию Владимировичу Долгорукову[139], который приехал к больному, и тот в конце концов согласился, а как пришли его с тем поздравить, он отвечал, ко всеобщему удивлению: «Да я не оставался никогда двух лет без исповеди и причастия. Что вы меня поздравляете? Надо быть дурам, как вы все, чтобы думать, что я вас тотчас бы послушал». Между тем сцена эта очень великий сделала ему вред, и сказывают, что долго он не протянет, ибо кровообращение нарушено и не налаживается; у него было много апоплексических приступов в последние два дня.

Александр. Москва, 18 мая 1825 года

Как мила наша новая великая княгиня! Я уверен наперед, что ты был доволен своей аудиенцией. Кто бы думал, чтобы дама, да еще и великая княгиня, имела такие сведения по минералогии, как Анна Павловна. Говорят, что при посещении Горного корпуса в Петербурге ее высочество озадачила многих профессоров.

Мысль твоя о мостовых подрядом, то есть компанией, очень справедлива, да и многое у нас не так. Например, часто думаю я, отчего аптекари, которые у нас в 10 лет наживают огромную фортуну, ничего не платят в казну? Князя Федора Сергеевича Голицына тверской дом или, лучше сказать, дворец весь нанимается аптекою. В других землях за одну привилегию платят страшные суммы. У аптекарей, как в кабаках, беспрестанная выручка на чистые деньги; лупят, что хотят, никто их не ревизует, а кто же пойдет жаловаться, что дорого взяли за лекарство, когда дело идет о спасении жизни жены, отца или сына, и когда не знаешь, даже примерно, чего могут стоить специи, входящие в лекарство? Аптекари ужасно богатеют без всякого труда, а бедный мещанин или мелкий купец бьется, как собака, чтобы ему накопить, чем платить подати свои, ныне вновь требуемые.

Александр. Москва, 26 мая 1825 года

Вчера в девятом часу вечера скончался Алексей Михайлович Пушкин. Никто из окружающих не был сим поражен, ибо давно ожидаем был конец его. Боялись даже, чтобы он, по примеру матери своей, не промучился долго; та, разбитая почти беспрестанными ударами паралича, жила или, лучше сказать, дышала года полтора.

Ввечеру была музыка у княгини Зинаиды. Барбиери [итальянский художник] явился оттуда и возвестил весть печальную. Тургенев, Вяземский тотчас туда поехали.

Еще умер в деревне у князя Ивана Ивановича Барятинского живописец Бруни, отец того Бруни, что столь отличается в Риме своим талантом. Сказывают, что это сильно подействовало на князя Барятинского, который болен тем же недугом, от коего умер и Бруни (думаю, от обострившейся подагры).

Александр. Москва, 1 июня 1825 года

Мамоновой писал я недавно через тебя. К брату ее приставлен караул в подмосковной. Операция совершилась без шума. Рано поутру, покуда был он в библиотеке, взяли все оружие из его кабинета; а как он возвратился в оный и, не найдя оружия, пошел за оным опять в библиотеку, то нашел, что и там все было взято. С предводителем обошелся он с большим хладнокровием, но отказал в подписке, что впредь людей бить не будет, и отвечал: «Может ли вам князь дать подписку, что не будет наказывать своих подчиненных? Это не от него, а от них зависит. Все, что могу вам обещать на словах, это то, что ежели люди не будут того заслуживать, то я их наказывать не стану. Я желаю ехать в Москву сам объясниться». – «Вы под арестом, и мы вас

туда пустить не можем». Тогда написал он к князю [Д.В.Голицыну] письмо. Говорят, что имение взято под опеку, и это мне кажется несправедливо. Мужики Мамонова счастливы, ибо, верно, нет в русском царстве помещика, который брал бы оброку с мужиков то, что они платили за 60 лет деду. Мамонов берет по 10 рублей, а мог бы легко получать по 80 рублей оброка в год. Запретить въезд в столицы может, кажется, один только государь; а нужно было только взять меры, чтобы помешать Мамонову слишком жестоко наказывать окружающих людей. Это так; увидим, что будет впоследствии. Адъютант Толстой [Василий Сергеевич] остался у Мамонова в Дубровицах до новых приказаний князя Дмитрия Владимировича.

Вчера был у меня Петр Львович Давыдов; спасибо ему, оставил мне билет на годовые свои кресла в Итальянской опере, на все лето. Стану даром слушать, чем платить всякий раз по 10 рублей. Он сказывал, что брат его Василий, после смерти матери, объявил свадьбу свою с какой-то женщиной, от которой имеет детей. Дело похвальное: исполнил долг свой, а между тем не огорчил мать свою при жизни ее.

Василий Львович Пушкин поехал хоронить тетку, после коей получил 300 душ; а теперь ему еще наследство: умер у него холостой брат, оставил также более 500 душ, на раздел с Сергеем Львовичем. Того и гляжу теперь, что нет ни тетки, ни сестры Анны Львовны, – укатит наш подагрик-поэт в чужие края.

Александр. Москва, 2 июня 1825 года

Я писал тебе о беспорядках в Пензе и побеге мужиков к новой земле; им вбили в головы, что там есть дома, хлеб, соль, все даром, что нет подушных и проч. Добрались до источника: выходит, что какой-то плут присяжный ходил по деревне и подбивал мужиков. Все стали проситься; он подал им шнуровую книгу, данную ему будто правительством, и где за целковый вписывались имена всех мужиков, желающих идти на новую землю и быть там принятыми и призренными. Вообще он более 8000 душ дураков поддел и с 8000 целковых собрался уже бежать, но его схватили и уверяют, что он имеет сообщников в других губерниях.

Александр. Москва, 8 июня 1825 года

Воронцов приехал! Ты можешь представить себе, как я ему обрадовался, мой милый и любезный друг. В субботу заехал я к нему в дом около полудня; еще не бывал. Побывал я у своих больных, поехал домой, где и обедал; после обеда лежу у Лельки на постели и курю. Она прибежала: «Папенька, граф Воронцов

прислал вам сказать, что он приехал!» Поскорее в дрожки и скакать к нему. Я нахожу, что он скоро приехал, а не видно, чтобы устал; глазом во время дороги был доволен, едва можно приметить какую-то красноту и слабость, в лице не нахожу никакой перемены. Я вручил ему тотчас портфель, пакеты и сверток. Тотчас пошла болтовня о тебе. Как он тебя любит! «Ах, ваш брат редкостный человек, он стал для меня вторым провидением в Петербурге. Несмотря на все дорожные развлечения, я не могу привыкнуть к его отсутствию. Невозможно понять, как его на все хватает; он всем доступен, не отказывается принимать никого, и дела от того не страдают, а напротив, все идет чудесно; никогда у него не бывает рассеянного, занятого или сердитого вида, как у стольких наших служащих. Он успевал со мною видеться постоянно; это поистине уникальный человек».

Только недолго продолжалось наше временное удовольствие, стали наезжать: обер-полицмейстер, Меншиков, родные, знакомые, Голицыны, и так затормошили, что он спросил карету. «Если вы свободны, мой милый Булгаков, поедемте кататься по городу. Пошли!» Сели в карету. «Мы поедем, куда вы захотите, я только хотел иметь возможность поболтать с вами в свое удовольствие». Возил я его мимо Кремлевского сада, нового Большого театра, экзерциргауза, монумента Минина и Пожарского, бульваров, Кузнецкого моста и проч. Приехали домой и проболтали до полуночи почти. Ему нужен был покой, я уехал. Вчера в 9 часов был я уже у него, со вторым пакетом от тебя, а в половине одиннадцатого поехали мы к обер-полицмейстеру, к Юсупову, который потчевал его картинами и попугаями. Там были у Наташи, нашел, что Ольга очень выросла, а Катеньку не мог видеть; были мы еще у Бальмен (по старой привычке). Как она растолстела! Потом у Меншикова, ох, далеко за Москвой-рекою. Воронцов завез меня к Орлову, где я обедал с Чернышевыми, а сам поехал диетничать дома.

К вечеру опять явился я к нему. Тут были Меншиков, Постников, Арсеньев. Вчера жаловался немного на глаз и надел ширмы из предосторожности. «Если опять почувствую его уставшим, поставлю, может быть, пиявки; но надобно мне поговорить с каким-нибудь врачом-окулистом». Я рекомендовал ему Гааза: он тогда и Нессельроде здесь вылечил от глаза. Увидим сегодня, как найду его; а я еду туда скоро, и там письмо это допишу и запечатаю вместе с письмами Воронцова. Он хотел сегодня пуститься на Воробьевы горы, осмотрел Большой театр внутри; а в Итальянскую оперу я его не зову, да и он сам не просится, боясь сделать вред глазу. Ужо будет у нас чай пить. Я эти два дня почти не видал жену и детей. Воронцов хочет

непременно выехать послезавтра. Бог с ним: не держу, чтобы не привыкнуть слишком к нему, лишь бы отдохнул довольно с дороги, и не стал бы шалить глаз. Для того и хотел он консультации Гааза.

Александр. Москва, 9 июня 1825 года

Воронцов хочет непременно ехать на Воробьевы горы, кой-куда еще, а обедать будем мы на прощанье вдвоем у него. Корсаков был вчера в восхищении. Воронцов, узнав от меня, что Корсаков был очень дружен с графом Семеном Романовичем, захотел старика навестить; тот так обрадовался, что болезнь прошла, не знал уже как угостить.

То-то защеголяет Ферроне в голубой своей ленте. А у вас давятся да вешаются; жаль мне бедного Дубровина, но сие можно было предвидеть. Помнишь его странности? Полетику поздравляю с табакеркой, английские подарки полновесны, и 10 тысяч, право, годятся.

Александр. Москва, 10 июня 1825 года

Вчера вечером, как обыкновенно, собрались мы к Чернышевым, и все отъезжающие: они сами, Виельгорский, Шварценберг, Альфьери (два последние едут завтра), Вяземский. Этот берет с собою четырехлетнего сына своего Павлушу, – странная мысль! От вас поедет он в Ревель брать морские ванны.

Здесь нашел я совершенную ярмарку: приезжают, уезжают, прощаются, болтают, укладываются, пишут и проч. Воронцов вдруг вспомнил, что есть тетка его жены Шепелева, у которой он забыл быть. Садится в карету и скачет к ней. Все это хлынуло вон, остался я один со стариком Рагозиным; он ходит по комнате, а я принимаюсь к тебе писать. Ну, пропасть же объездили мы с Воронцовым домов; увижу, вспомню ли всех: Юсупов, Меншиков, Зинаида Волконская, Небольсина, Постников, Шаховской,

Омельяненко, Шульгин, Орлов, Щербинина, Клаузен, Яковлев, Корсаков и множество, коих еще не припомню. Были мы также вчера у Лухманова в магазине, магазине Свирловской фабрики, где купил он себе черного сукна на фрак и зеленого на мундир, коими хочет хвастать в Англии; и подлинно, сукно прекрасное, только очень дорого; все-таки лучше, чтобы денежки оставались дома, нежели шли в чужие края. Я не знаю, как Постников пойдет в Сенат, так он напробовался превосходного вина «Аликанте», которое Воронцов раскопал в своем здешнем погребе; он стал красный, но не как петух, у которого есть и белое, а красный, как петушиный гребень.

Александр. Москва, 12 июня 1825 года

Что-то, право, опустело с отъезда Воронцова! Так и тащит меня на Никитскую [дом на Большой Никитской, унаследованный графом М.С.Воронцовым от его тетки, княгини Дашковой, ныне – Московская консерватория]. Из Киева обещался мне писать. Как, должно быть, приятно жить неразлучно с таким человеком! Я его еще более люблю за любовь его к тебе. «Ну как, есть ли у вас известия от Али-паши? Каков гордец, мерзавец!» Меншиков слушал с удивлением: «Известия от Али-паши? Так мне разве приснилось, что он умер уже много лет назад?!» Воронцов ну хохотать: «Я называю Али-пашой его брата, ибо это злодей, коему я не знаю равных».

Завтра едут к вам Виельгорский, Щербатов, князь Николай Григорьевич и Вяземский. Кстати, для твоего сведения. Воронцов просил меня доставить письмо от графини к Вяземской; я это исполнил, и княгиня, которая все выболтает, удивлялась церемонному тону письма графини: «Она мне писала всегда «моя милая княгиня», а теперь называет меня «госпожой княгинею»; ничего не понимаю, это все из-за сплетен. Вам ничего не известно?» – «Ничего»; а очень знаю, что Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземскою прекратились у графини: он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна-поэта, да и поделом. Воронцова пожелала помочь его бегству из Одессы, искала для него денег, лодку. Есть ли в том здравый смысл?

В последнее утро Вяземский посылает спросить, когда может графа застать; но этот отвечал, что его не будет целое утро дома. Тот понял и больше шагов не делал; а жена, видно, понимать не хочет, что она куролесница.

Пришел человек сказать, что Князев (тестя) любимый лакей Абрам – помнишь, что очень походил на князя Дашкова, – да еще конторщик княгини Елены В., оба вдруг и в ту же минуту упали мертвыми от удара. То-то князь перетрусит! Кроме того, брат княгинин Сергей Васильевич Толстой был вчера опрокинут в дрожках, и ему вывихнули руку и плечо, весь в лубки связан. Сын его Василий, адъютант князя Дмитрия Владимировича, все еще живет в Дубровицах, играя роль Хадсона Лоу и ожидая дальнейших приказаний. Он ходит всякое утро к Мамонову – увериться в его существовании, а этот ему говорит всякий раз: «Убирайтесь вон! Вы мне с вашим князем надоели».

Александр. Москва, 15 июня 1825 года

Письмо твое очень меня обрадовало, во-первых, за старика Варлама. Он и так обожал государя всегда, но теперь милость сия новая должна его совершенно воскресить. Пенсион этот нешуточный для такого чина, да притом долго ли он послужил

России? Слава Богу, государю, Воронцову, а особенно тебе. Надобно всегда идти к источнику всего, а источник всего хорошего в этой семье – это ты. Им должно всем молиться на портрет твой. Ты счастие дочери взял на свои руки, ты пристроил сына к бесценному человеку, ты другого сына воспитываешь, ты слепому отцу доставляешь безнуждное содержание! Как не жить в Кишиневе десятью тысячами рублей! Я очень рад за старика, поцелуй и поздравь за меня Марицу.

Превосходительство Северина очень меня порадовало, буду ему писать. Скоро вышел очень, но хорошему хорошее и подобает. Я, получив письмо твое, вспомнил, что суббота, что папа его в клубе всегда обедает; я поскорее ему записку намарал с поздравлением; старик был в восхищении от известия, брался то за перо – мне записку писать, то за шляпу – ехать ко мне. Велел насказать множество приветствий, но все это не может сравниться с сыном генерал-майорского ранга, звал в клуб на шампанское, но я обедать дал слово милым соседкам Чернышевым. Поздравляю душевно Северина, теперь дай Бог скорее соединиться ему с ее превосходительством невестою своею.

Александр. Москва, 16 июня 1825 года

По милостям, последовавшим в Варшаве, видно, что государь был доволен своим там пребыванием.

Так Северин и камергер еще? Это славное отличие, ибо даст ему входы во дворцы. Не скоро же его выпишете вы из Павловского. Состояние жениха самое счастливейшее, одно звание *отца* еще приятнее; надеюсь видеть его и в этом, и скоро[140]. Очень его благодарю за память обо мне.

Счастлив же Шульгин у вас при самом вступлении: все его предместники жаловались на тесноту обер-полицеймейстерского дома, но все жили в нем кое-как, а этому дали тотчас новую квартиру. Напрасно уморили у вас Шаховского: он живехонек. Я встретил его еще вчера, очень здорового, и ужо будет он читать у Чернышевых какую-то новую свою комедию, а чем самому умирать, верно, нас всех будет морить со смеху.

Мамонов точно, в свой период бешенства, хотел прибить Толстого; этот требовал помощи офицера, который в Дубровицах (деревня Мамонова) с командою, но получил отказ, не имея на то письменного приказания от князя Дмитрия Владимировича. Толстой адресовался к дивизионному командиру Потемкину, но этот не дал; а так Толстой приехал сюда взять от князя Дмитрия Владимировича приказание на письме действовать силою. Толстой жизни не рад, что имеет эту комиссию, и все это должно кончиться нехорошо.

Александр. Москва, 17 июня 1825 года

Вот и Волков [почтальон] возвратился. Проводил благополучно Ростопчиных до орловских деревень, привез мне письмо от графа и гостинцы, разные тульские стальные вещицы для всех нас. Волкову дал 100 рублей, хвалит урожай нынешнего года; 30-тысячную недоимку, которая была на мужиках за хлеб, данный им взаймы, граф им простил. Приятно быть богатым: можно делать добро тем, которые нас кормят! Очень на дороги жалуется. От Ефремова, бывало, отрада ездить, не дороги были, а луга твердые; теперь все перековерканы по новой дорожной системе. Граф в восхищении, что попал в свои деревни, и чрезвычайно их хвалит, как за изобилие, так и за местоположение.

Воронцов – человек необыкновенный. Жаль, что мало ему подобных встречаем. В обществе таких людей делаемся мы лучше. Ненадобно долго быть с ним, чтобы увериться, что он тебя любит, ибо часто очень о тебе говорит.

Мы очень смеялись вчера. Толстый Шаховской читал у графини Чернышевой комедию свою новую «Аристофан» (очаровательная картина афинских нравов); после второго акта стал он отдыхать, пить воду с сахаром, а я распечатал принесенное от тебя письмо и читаю: «Ты говоришь, что толстый, плешивый Шаховской явился к Воронцову. Да разве он не умер? Здесь его уморили совсем, – видно, ему долго жить». «Уверьте, чрез братца, Петербург, – сказал Шаховской, вынимая часы, – что во вторник 16 июля в 9 часов и 7 минут вечера я был еще жив и даже не болен».

Александр. Москва, 19 июня 1825 года

Граф Ростопчин жалуется на дороги, но очень доволен деревней и урожаем. Жатва будет обильная, кроме того, имеет в магазинах на продажу 33 тысячи четвертей разного хлеба; прибавляет, что цены низки, на что я отвечал ему давеча, что можно ходить без сапог, спать без постели, но обедать без хлеба нельзя: эта старинная мода не пройдет. Граф простил своим мужикам с лишком 30 тысяч разных недоимок, за хлеб, лес, данные им заимообразно. «Видите ли, – сказал он, – я не менее милостив, чем Карл X при его коронации». На что я ему отвечал, что с удовольствием вижу в нем кардинальные перемены, ибо в двенадцатом году его объявляли русским Маратом, а теперь он русский Тит.

Теперь у него много времени; я его уговариваю писать мемуары. Они, верно, не увидят свет, покуда он жив; да и не

надобно бы ему их издавать: он не довольно хладнокровен, чтобы обо всем говорить беспристрастно. Пылкий его нрав и охота к шуткам всегда увлекут его за нужные пределы. Надобно другому за это взяться, но все главное будет сделано, то есть материалы накоплены. В царствование Павла были эпохи весьма любопытные и обстоятельства, кои с государем и с графом бы остались вечно в неизвестности; он многое мне рассказывал и показывал даже документы.

Также получил я письмо от Палена: едет в Белую Церковь соединиться с Воронцовым; спрашивает, не знаю ли чего-нибудь об отце. Если все, что мне сказывали, правда, я не колебался бы и минуты и отправился бы в Курляндию, вместо того чтобы ехать в Крым. Ты не знаешь ли чего о старике-отце его? Он ожидал писем от родных, чтобы взять по оным свои меры. Вчера послал я тебе пакет от княгини Зинаиды к ее золовке Софье Григорьевне; она сказала мне в записке своей: «Скажите, прошу вас, вашему брату, что я еще не сумела воспользоваться его добрым к нам расположением по причине того, что имущество моего шурина еще опечатано».

Слава Богу, что государь благополучно возвратился и что почты были везде исправны. Здесь все одно говорят, что двор будет сюда на житье; однако же ты сего не говоришь, да и Юсупов ничего о сем еще не знал третьего дня; а ему первому должно бы это знать, кажется.

Вчера Корсаков угощал Чернышевых на даче. Было молоко и проч. такого же рода под одной старой ужасной липою. «Момка! – говорит вдруг Корсаков. – Вели этому дереву повеселить нас музыкой». – «Дерево-дерево! Иван Никитич велит тебе нас веселить!» В эту минуту заиграли прекрасно духовые инструменты. Дерево так густо, так огромно, что никто не приметил спрятанных на дереве музыкантов. Это было восхитительно. Там мамзели катались с гор, там качались на качелях, гуляли, в доме ели фрукты и пирожные. Слушали Шоберлехнера и пение Софьи. Миранда играл на скрипке. Оттуда пустились все в тверской его дом, где пили чай. Чернышевы были очень довольны, а хозяин – в восхищении.

Александр. Москва, 22 июня 1825 года

Чернышевы всякий день просят меня приехать к ним в Тагин, и чтобы я не забыл это исполнить, они подарили мне большое кольцо, на коем вырезано слово «Тагин». «Нося его, вы будете вспоминать о нашей просьбе»; все это хорошо, но ежели уже ехать куда-нибудь, то скорее в Петербург. Какая разница: в Петербург – 700 верст, а к нам – 300. Какая разница (думаю про себя):

в Петербурге брат, а в Тагине милые, добрые приятели. Чернышевы ищут дом на зиму; многие смотрели мы, но или дорого, или беспокойно, а в Мамоновском жить зимою – так надобно 1000 сажен дров, чтобы его отапливать. В городе говорят уже, что Григорий Владимирович Орлов женится на одной из Чернышевых, потому что тот бывает, как и я, всякий Божий день, давал им обед, дарит фруктами и проч. И подлинно, Лиза очень ему нравится. Давно графиня очень откровенно говорила со мною о слухе этом. «Я помешаю дочерям моим выйти за того, кто не сумел бы сделать их счастливыми; но никогда я не заставлю их выходить за кого-нибудь против их желания, а вы знаете, как Лиза увлечена Орловым, который немолод и не соблазнителен, хотя и добрейшее дитя, да к тому же он мой кузен». – «О, если так, – сказал я ей, – то я берусь это устроить, он был кузеном лишь через жену, которая умерла бездетной. Когда имеешь целью 50 тысяч крестьян, преодолеваешь любые препятствия». Шутку эту ни я, ни она, верно, никому не передавали, а между тем, говорят, и фамилия Паниных в тревоге, чтобы не ушло от них имение Орловское. Для этого одного рад бы я помогать Орлову всеми силами; а надобно признаться, что эта Лиза для сердца, чувств своих и ума совершенный ангел.

Вчера Юсупов меня атаковал: «Скажите мне, прошу вас, знаете ли вы что-нибудь о московском путешествии?» – «Ничего, князь, дело еще не решенное, хотя и возможное». – «Но вы отвечаете, будто Сивилла или какой оракул, будет дело или нет». – «Это потому, что на самом деле никто о сем ничего не знает, даже князь Голицын». – «Но я написал еще графу Аракчееву, чтобы знать, да или нет. Мне надобно сто дел устроить». А здесь уверяют, что назначены уже полки, что пехоты не будет, одна конница.

Пожалей о бедном князе Иване Ивановиче Барятинском. Он умер почти на руках у графини Потемкиной, приехавшей на днях из Курска. Долго был болен расслаблением в желудке, не ел ничего, был поражен смертью живописца Бруни, страдавшего одною с ним болью, наконец подагра основалась в желудке. Доктор князя прислал сюда эстафету, князь Дмитрий Владимирович приехал сию минуту в Москву к Гаазу делать *заочно* консилиум, а больной между тем умер. Вот тебе и славные проекты! Князь поселился в деревне и не хотел выехать, не прибавя себе *миллион дохода*; говорят, что и успел в этом, да какая польза? Живя в городе, с советами других докторов, был бы он, может быть, и спасен. Видно, было так Богом определено. Вот и молодая, прекрасная, богатая вдова!

Здесь пронесся слух о смерти Петра Ивановича Юшкова. Я

надеюсь, что эта смерть вроде смерти толстого Шаховского, который не думал умирать. Графиня Потемкина, ежели не уехала, едет к вам хлопотать по мужниным делам. Ему опека назначила только 6000 рублей в год, а ей – 30 тысяч; он ездит себе на извозчиках в одну лошадь, как будто век было так. От 400 тысяч дохода съехать на 6000 рублей! Ужасный переход.

Вот и Метакса с торжествующей рожей. Победа! 22 мая у острова Сиры был совершенно разбит адмиралами Канарисом и Сактури капитан-паша Топал-паша, у коего взято 33 судна, остатки рассеяны, 4 фрегата и 3 брига сожжены. Это известие получено здесь прямо из Царьграда. Пасхали имеет подробности из самой Сиры, и ему говорят: дело еще продолжится и, верно, кончится совершенным разорением флота турецкого, ветр будучи ему противен. На турецкой эскадре найдены многие европейские офицеры, большая часть итальянцы, подданные Австрии, кои отправляются в Сенат, чтобы быть судимыми военным судом. Множество найдено военных снарядов и материалов, коими турки хотели построить укрепление против Мисолунги. Бубе пишут, что после сего известия имение капитан-паши было описано правительством, а другая часть разграблена народом. Английский адмирал Гамильтон примирить успел Колокотрония и Одиссея; первый набрал уже 15 тысяч войска и пошел к Наполиди-Романи.

Александр. Москва, 24 июня 1825 года

Странный, подлинно, это человек [Самарин, у которого братья Булгаковы брали деньги взаймы]! Вообрази, что у него еще открывается драгоценный камень, пожалованный за 150 лет предку его, какому-то Юшкову, царем Алексеем Михайловичем и хранившийся все в фамилии; это рубин неграненый, в 136 карат весу. Он его показывал какому-то жиду; этот вспрыгнул на аршин и сказал, что никто не в состоянии это купить, что цена выходит уже из всякой меры, но что менее 400 тысяч червонных нельзя оценить. Я удивляюсь, что он это показывает и не делает секрета; право, в глуши, где он живет почти один, могут собраться молодцы и ограбить его. У него мысль послать Ипполита в Англию продать это сокровище. «Но сухим путем, – говорит, – далеко, дорого, а водой боюсь несчастия, а то бы продать, да тысяч на 500 купить бы лошадей для нашего завода. Ежели эту вещицу и лес продам, то тогда два миллиона отложу на постройку здесь, на этом месте (оно велико, и много строения), больницы Самаринской, наподобие Голицынской».

Эту мысль я опять похвалил, и она, право, немало меня удивила от такого скряги. В нем странная смесь в нраве, а уж

какой живет свиньею, в двух конурках с собаками, кошками, голубями, бутылями, кульками – это надобно видеть! Года три, я думаю, не мыли и не мели эти комнаты. Жаловался, что последний табак французский у него выходит. Советую тебе написать ему несколько ласковых строк и прислать ему фунта два табаку нюхательного; он, право, очень тебя любит. Я покажу себя щедрее его и подарю ему новую колоду карт; те, коими делает он пасьянс, так ветхи и замараны, что червей не распознаешь от пик.

Александр. Москва, 25 июня 1825 года

Вот и от графа Федора Васильевича письмо; очень доволен своим деревенским житьем. Он говорит, между прочим, что у него сделали этой весной прививки 432 детям и что он замечает, что население сильно увеличивается после введения у него вакцины, поскольку за 8 лет имеется уже 380 человек приросту на 2100 жителей: это почти седьмая часть.

Александр. Москва, 26 июня 1825 года

Я понимаю, что парад тебя восхищал. Он всякий год становится превосходнее. Может быть, англичане будут приезжать на это смотреть, как на коронацию в Реймсе, скачки в Англии и проч.

Я всегда любил читать старые свои письма. Тут видишь перемену во многих мыслях, умножившуюся опытность; в ином видишь их умнее, а в другом глупее. Видишь, как иных обстоятельства переменили, и проч. Ты нашел свой журнал, ибо все есть почти поденно, то есть все то, что можно вверить бумаге.

Здесь ни у кого не выбьешь из головы, что двор будет в Москву. Вчера Орлов, граф Григорий Владимирович, уверял, что это решено, что приехавший от вас Кочубей сказывал, что нет уже сомнения, что принц Оранский сказывал, что знает это от самого государя, – и, верно, все вздор. И какая нужда знать все прежде времени московским тунеядцам; добро Юсупову, Голицыну и должностным.

Александр. Москва, 30 июня 1825 года

Хотя новокоронованное величество могло бы расшибиться для доброго нашего и небогатого князя Петра Михайловича [князь П.М.Волконский выехал в Реймс на коронование французского короля Карла X], но и это хорошо. Он сохранит о короновании приятное воспоминание, которое перейдет к его детям.

Давно ли Щербатов был у вас? Вчера гляжу – кто это играет в клубе в вист? Щербатов! Велел тебе кланяться и, разговорясь о

дороге, жаловался, что дилижансы не так уже хорошо идут, что ямщики не слушаются и грубят кондукторам, что вместо 3 $^{1}/_{2}$ суток ездят пять и что кондуктор будто ему сказал, что это для того, чтобы не портить экипажи скорой ездою. Не очень веря всему этому, тебе, однако же, передаю.

Александр. Москва, 3 июля 1825 года

Вчера был у нас граф Григорий Орлов; ему пишет простой Орлов из Парижа, что Александра Львовича Нарышкина [обергофмаршал в царствование Павла I. «Левушка» – его сын, женатый на графине Потоцкой] совсем было потащили в Святую Пелагею [тюрьма Сент-Пелажи] за долги, но выкупила его Левушкина жена Ольга, отдав все свои брильянты. Это тем похвальнее, что расстройство Александра Львовича не есть последствие каких-либо несчастий, но просто мотовство глупое, которое рано или поздно должно было его поставить в крайность эту. Весь город полон этим, и какой же город? Париж! Какой срам для человека этих лет, чина и фортуны – не уметь распорядиться. Был один, без забот, без долгов, получал чистый доход, и весьма достаточный, вздумал скупить весь Париж. Я, право, и не жалею о нем. Какое бесславие! Что делать после этого молодым шалунам?

Александр. Москва, 6 июля 1825 года

Явился Орлов с Петром Львовичем Давыдовым. Они вручили мне прилагаемый при сем пакет, прося весьма убедительно доставить его верно тебе, а тебя просят велеть вручить в собственные руки г-ну Шкляревскому и взять от него расписку, ибо тут идет речь о важном фамильном деле. Я обещал, что все это исполню по их желанию. Давыдов сказал мне под секретом, что это касается еще того проклятого дела о браке молодого Новосильцева. Тот во что бы то ни стало хотел жениться на какой-то девице Смирновой, и думаю я, против желания всех родственников. Ну а те сговорились, и брат девицы явился требовать от Новосильцева с угрозами исполнения обещания. Новосильцев объявил, что поскольку с ним обращаются в таком тоне, то он будет драться, а сестры его не хочет. Была ужасная история, в которую вступился князь Дмитрий Владимирович. Долго это продолжалось, и наконец стало на том, что не будет ничего и что мать Новосильцева даст богатое приданое девушке и 200 тысяч. Потом опять стало клеиться, и Новосильцев сказал: «Я на ней женюсь, но не скажу, когда. Я это сделаю, когда захочу, через полгода, быть может». Теперь приступают, чтобы дело кончилось, и началась опять между всеми переписка. Прилагаемый пакет заключает последнюю волю родных

Новосильцева. Вот и вся история. Не знаю, почему очень нужно, чтобы бумаги сии дошли прежде 12-го числа. Хотел Орлов послать эстафету, но я уверил, что была бы напрасная издержка и пакет верно дойдет, и гораздо прежде показанного срока. Пришли мне тотчас расписку этого Шкляревского.

Вчера была свадьба княжны Голицыной, дочери княгини Натальи Николаевны Лизы. Она вышла за лейб-гусарского офицера Рахманова.

Александр. Москва, 7 июля 1825 года

Сегодня пятнадцать лет, что мы лишились батюшки, мой милый и любезный друг. Я сию минуту возвратился из Покровского монастыря, где служил панихиду. Ездил я туда с добрым, никогда не изменявшимся в дружбе своей Фавстом. Оттуда поехали мы в Андрониев монастырь, поклониться праху его отца; тут положена и бедная его София. Много родилось во мне печальных размышлений, к тому же зной ужасный, пекло нас и там, и дорогою в дрожках. Устал я, и тяжело на душе. Как хорошенько подумаешь, то таким ничтожным найдешь все наше существование, а хлопочем, суетимся, как будто век пользоваться трудами нашими и никогда не умирать; а иной еще и совесть свою губит, обременяет себя ужасной ответственностью перед Богом. Вольтер называет кладбище полем равенства. Врет он, с умом своим. У иного монумент в полмиллиона, а у другого камень просто или деревянный крест, но камень заливается искренними слезами, а на монумент смотрят с презрением, поносят покойного! Где же тут равенство? Тут-то только воздают по заслугам. Жаль мне было не найти тут покойную тетушку, о коей не раз я вспоминал. Отец-строитель звал было нас к себе на чай, но мы уехали, поблагодарив доброго старика. Слушали мы обедню наверху, в новой церкви, которая очень хорошо отделана.

Александр. Москва, 18 июля 1825 года

Видел я Негри, возвратившегося от Мамонова, который так ему обрадовался, что плакал, обняв его. Бедный не спит, все ночи просиживает, думая, что его хотят убить ночью. Опасаются, как бы эта мысль, став навязчивой, и вовсе не лишила бы его рассудка. Я хочу завтра писать его сестре и сказать ей все как есть. Его в конце концов сделают сумасшедшим, но сумасшедшим буйным, потому что с ним начинают случаться припадки бешенства. Он заперт в единственной комнате, у каждой двери стоят солдаты, ему не дают ни вилки, ни ножа, и он говорит Негри: «Видите, до чего меня довели? У меня в моем доме всего одна только комната, где меня держат под наблюдением; как

поступили бы с убийцей?» За обедом Негри не дают ножа, а как граф его спросил, то ему отвечали, что ему надобно только обедать в другой комнате, и тогда он получит нож. Напрасно граф говорил, что никогда не убьет Негри, единственного во всем белом свете, кто его не покинул, а что если бы он и захотел убить сам себя, то Негри, конечно уж, помешал бы. Негри, видя, что он никак не спит, сказал ему: «Ложитесь, господин граф, я довольно поспал, я вас посторожу»; он его упросил, и тот лег спать. Но когда он один, он не спит никогда, боясь все, что его убьют по приказанию Голицына. Жаль мне его, бедного. Он писал еще государю, прося позволения объясниться, и в случае вины подвергая себя самому строгому наказанию, испрашивает как благодеяния – не зависеть от Голицына. При хорошем уходе можно было бы вылечить этого бедного молодого человека.

Александр. Москва, 20 июля 1825 года

Поздравляю Жуковского с Владимиром на шее. Это очень лестно в его чине. Карамзин некогда тот же крест получил в том же чине. Да, брат, кажется, мы должны лишиться надежды иметь счастие видеть двор в Москве! И здесь говорят, что государь изволит пожаловать один, и то проездом. Как скоро дело затянулось, то можно было предвидеть, что кончится ничем. Жаль! Город был приведен в лучшее положение, дома выкрашены и исправлены, мостовые также. Квартиры сделаются, верно, дешевле.

Был я наконец в Братцеве у Ивана Николаевича с Фавстом в субботу. Восхитительное местоположение! На горе огромный луг перед домом, отлого спускающийся к реке, которая мимо струится змеею; с другой же стороны большой парк. «Ну, что Братцево?» – спрашивает у меня старик на балконе. «Жалею, – отвечал я ему, – что брат не может сказать: это братцево!» – «Зато вы можете сказать: это братцево; а вы такие братья, что это все равно», – добавил Иван Николаевич, и был прав. Множество было тут актеров и актрис итальянских, и они делали всякие фарсы после обеда, а за обедом ели и пили, что любо. Тут была и мамзель Данжвиль со своим князем Волконским. Очень весело провели день, погода была прекрасная. Мы воротились в Москву (которая видна с верхнего балкона, хотя и в двенадцати верстах) в восьми экипажах и часто выходили из повозок пешком для гулянья.

Александр. Москва, 24 июля 1825 года

От графа Федора Васильевича имею письмо; там нехорошо: градом побило 350 десятин одного господского хлеба, а у

мужиков более. Он богат, но все жаль. Сердит, говорит: «Уезжаю в свое имение Битюг, буду там окружен лошадьми, коровами и овцами; свиней там недостает, но этих найду я во множестве в Москве, когда туда ворочусь. Вспоминайте иногда о старом коне, который перешел на подножный корм, несколько поздновато, по правде говоря; но уж лучше подохнуть в вольном поле, чем в дышле».

Александр. Москва, 25 июля 1825 года

Вчера привезли в город Мамонова, но связанного. Князь хотел посадить его в дом сумасшедших, на хлеб и на воду, но отменил; ему отделают две комнаты в его доме, будут одни диваны и более ничего, а то он сломал большие кресла, сделал себе из ручки булаву и оною чуть не убил бедного Негри, того, коему говорил: «Вы единственный на свете меня не оставили». Дело вышло от того, что Негри старался развязать Мамонову казацкие панталоны, кои, завязанные узлом, резали ему брюхо, долго не мог развязать; тот сердился, просил ножа, коего ему и за обедом не дают; однако же Негри побежал и выпросил с трудом у Толстого ножницы, обещая их принести назад. Разрезав узлы, хочет идти вон. «Куда вы пошли?» – «Я тотчас вернусь». – «Оставьте мне ножницы». – «Я тотчас их снова принесу». Долго мешкал нарочно, чтобы граф забыл о них, возвращается – первый вопрос: ножницы? «Я забыл их у Толстого». – «А, так и вы тоже обманщик, вы против меня», – кинулся на свою булаву. «Во имя неба, господин граф, разве вы меня уже не узнаете, что вы делаете, я Негри». Мамонов размахнулся. К счастью, Негри отскочил, и удар был сделан по столу, но так сильно, что ручка-булава переломилась надвое, второй обломок сделался менее еще; им не мог он сделать столько зла Негри, к коему опять подбежал с дубиною, метя в лицо. Негри хотел отклонить удар рукою, граф на оную нанес сильную рану. В эту минуту свалились его неподвязанные панталоны. Покуда стал он их поднимать, Негри, видя, что тут дело идет о его жизни, ударил графа кулаком в брюхо, повалил его, и ну бежать просить помощи; ударили тревогу, вошли солдаты и связали молодца.

Долго он ругал всех, наконец начал приходить в себя, потребовал Негри – нет его; просил Толстого, этот пришел, стал за стеклянною дверью с солдатами. «Чего вы хотите?» – «Пришлите ко мне Негри». – «Он едет в Москву; вы его прогнали, он больше не хочет вас видеть». – «Дайте мне Негри или смерти, скажите ему, что я связан по рукам и ногам, пусть придет, я должен с ним говорить». Решился Негри (это все сам он мне рассказывал), пошел к графу с завязанной рукою. «Вот так

награда за интерес, который я к вам выказываю: видите мою руку, вы мне ее покалечили, а что я вам сделал?» Мамонов заплакал, задумался, послал взять у Толстого шкатулку свою, тот было не дал. «Подите сказать этому мошеннику Толстому, что это мое имущество, что он может меня связывать, но не может грабить». Негри уговорил Толстого принести шкатулку. «Откройте ее». Негри ее открывает. «Вот, Негри, что у меня есть самого ценного, – это портреты императрицы и другие подарки, которые она сделала отцу моему… Моя сестра меня оставила, у меня нет родственников, нет друзей. Вы самое дорогое, что есть у моего сердца, возьмите все это; я передаю это вам, доверяюсь вашему доброму отношению; если я выйду из нынешнего своего состояния, вы мне все возвратите; ну а если умру, то возьмите это себе, на память обо мне. Вы можете даже продать эти вещицы, но только после того, как их изуродуете: это не должно принадлежать никому на свете, потому что у меня нет детей. Я прошу у вас прощения за то, что дурно с вами обошелся, я всегда буду делать для вас все, что в моих силах, обращайтесь ко мне, прощайте; прошу вас не оставлять меня».

Жаль бедного молодого человека. Говорят, что крестьяне Дубровиц рыдали при его отъезде. Что-то здесь будет, а, конечно, кончится это совершенным сумасшествием и бешенством. Хочется мне написать к сестре; не знаю, успею ли сегодня. Меня заверили вчера, что император писал князю Дмитрию Владимировичу, приказывая ему постараться смягчить участь Мамонова, но без опасности для окружающих его.

Александр. Москва, 27 июля 1825 года

Мамонова привезли сюда и заперли в одной комнате дома его. Князь Дмитрий Владимирович, по приказанию государя, выбрал четырех медиков для пользования его; тут и наш старик Пфеллер, бывший доктором и отца его. Филипп Иванович был у него вчера в первый раз, обошлось довольно хорошо; он Филиппа посадил, тогда как Шульгин тут стоял. Филипп Иванович несколько раз его насмешил, он-то и есть тот человек, какого ему надобно, ибо начал с «вашего превосходительства» и «господина графа», да «ваш ум, ваши познания и ваш патриотизм»; а иной раз и прикрикивал: «Вы много едите, пьете да спите, а совсем не двигаетесь, смотрите, как вы растолстели. Ваше превосходительство должны ездить верхом». – «Но у меня нет лошади». Пфеллер ну хохотать и прибавляет: «Ежели такой бедняк, как я, не имеет лошадей, то должен ходить пешком; но как граф Мамонов остался без лошадей, так пусть гикнет или свистнет, и ему тотчас приведут 100 лошадей вместо одной. Нет

же, вам нравится быть домоседом. Ваше превосходительство прожили три года в Дубровицах, этом прекрасном имении, мне хорошо известном, и ни разу даже в саду не бывали; это все капризы, а капризы простительны барышням, а не человеку такого высокого ума, как ваше превосходительство». Расспрашивал об еде и проч., не хотел долго у него быть и сказал: «Не хочу затягивать свой визит, вам надобно отдохнуть после путешествия, в другой раз мы побеседуем подробнее. Поскольку на то воля вашего государя, и ваше превосходительство, кажется, хочет почтить меня своим доверием, то прошу дозволения вновь вас посетить». – «Вы всегда будете желанным гостем».

Маркуса также принял на минуту, потому что брат его служил у Мамонова в полку, а Мудров и Скюдери допущены не были. Филипп Иванович сказал, что у Мамонова психическое и физическое расстройство, что будет очень трудно его вылечить, что надобно будет его ослабить, уменьшить массу крови, и Филипп Иванович говорит, что это совершенный Мамай или атаман – головою выше его, длинная черная борода, волосы в живописном беспорядке, красная русская рубашка с золотым галуном, казацкие шаровары, сверху всего армяк, цветные сапоги, глаза сверкают, руки в беспрестанном движении, а лицо багровое, – все вместе очень красиво. Имущество будет управляться черед опеку. Ночи он проводит, ругаясь на Голицына, а особливо на Толстого, расточая им самые грубые уличные прозвища, а также на князя Петра Волконского и еще некоторых лиц. В Москве теперь только о нем и судачат, и ты можешь себе вообразить, сколько басен сочиняют. Употребление крепких напитков ему положительно вредит, а он так свыкся с ними и с ленью, что сие вынудило его оставить общество; и тогда непомерное честолюбие ожесточило его и взволновало желчь в его теле. Негри мне сказывал, что утром он кроток как агнец, но после обеда к вечеру начинаются у него подергивания, и он уж не господин своему гневу; вот в одно-то из таких мгновений он Негри и поколотил. По четвергам ввечеру у него регулярно случается более сильный приступ бешенства, что совершенно необыкновенно и очень положительно. Толстой сие подметил за те два месяца, кои провел возле него.

Александр. Москва, 1 августа 1825 года

Сию минуту от меня граф Ростопчин. Скорое его возвращение очень меня удивило. Соскучился в деревне, и ему показалось, что его здоровье требует возвращения в Москву и лечения; но я не нашел никакой перемены в лице, а телом похудел. Он сидел часа полтора у меня и много отнял у меня времени, а там пошли записки от Обресковых, от Корсакова, приехала княгиня Елена Васильевна Хованская, Фавст больной приехал. Я небритый третий день и не могу найти на это полчаса свободных. Не знаю ничего нового, кроме смерти Аркадия Михайловича Рахманова; в городе говорят, что он себя отравил. Он женат на Демидовой [Наталье Петровне, внучке Григория Акинфиевича Демидова].

Александр. Москва, 3 августа 1825 года

Я, кажется, писал тебе, что Мамонов, увидев второй раз собрание медиков у себя, стал смеяться и говорить: «Ну что ж, давайте играть Мольерову пьесу! Вот Диафуарус старший (наш

Пфеллер), а вот Диафуарус младший (Маркус), я чувствую себя прекрасно, вас мне не надобно, а ежели будет нужда, так довольно мне Мудрова». Филипп Иванович считает, что у него еще и сифилис, то есть недолеченные остаточные явления.

Вчера Мамонов писал к Шульгину письмо официальное, в коем просит его предписать всем генералам, здесь живущим, явиться к нему в 6 часов вечера, имея, что с ними говорить. С час после того получает Шульгин другое письмо от него, в коем Мамонов просит его дать знать всем сенаторам, чтобы они явились к нему вечером в 7 часов, что он имеет до них весьма крайнюю нужду. Надеюсь, все сие сумасбродство. Полагают, что хочет он пред генералами и сенаторами протестовать, будто не болен и не нуждается в лечении, коему хотят его подвергнуть. Человек сей уверен, что вся Европа только им и занята. Надобно рассеять его заблуждения. Я бы ему сказал напрямик: «Так как все ваши поступки доказывают, что вы помешались в уме, то готовьтесь явиться в Сенат, где вас освидетельствуют; ежели вы в полном рассудке, то получите свободу, а ежели Сенат найдет, что нет, то вас запрут в дом сумасшедших или в монастырь, а имение ваше возьмут в опеку». Тогда перестал бы, может быть, блажить, а то его трактуют как коронованного принца. Шульгин перед ним не садится, все его величают, чтобы его не раздражить, а он берет это за наличные деньги. Он всех величает канальями, ворами. Князя Дмитрия Владимировича ругает при всех. Просил ножей и вилок за обедом, Шульгин отвечал: «Это не дают вам, граф, для вашего же добра; ваше сиятельство можете себя ушибить, изувечить». Знаешь, что он отвечал? «Я не так глуп, чтобы себя увечить, а ежели нож употреблю, то разве против тебя, Голицына и вам подобных». Экий сахар!

Александр. Москва, 11 августа 1825 года

Сюда приехал Клейнмихель; говорят, что это для разобрания мамоновских проказ. Ежели так, то будет же ему работа. Мамонов ругает и ненавидит всех немцев, здесь служащих.

Тесть был вчера и сказывал, что фрейлина княжна Волконская пишет сестре своей Греесерше, что решено, что императрица изволит ехать на житье в Таганрог. «Правда ли?» – спросил князь. «Может быть, но мой брат ничего мне о том не сказывает», – и она добавляет еще, что назначают князя Петра Волконского гофмаршалом и сопровождать его величество.

Александр. Москва, 18 августа 1825 года

Здесь все сожалеют о важной потере, которую сделал Ермолов. Лезгинцы убили изменнически двух лучших генералов

той армии: Лисаневича и Грекова или Власова (не помню хорошо). Они смотрели приведенных пленных, как вдруг двое из них выхватили спрятанные за пазухой кинжалы и положили двух генералов наших замертво. Также кончили Цицианов и Клебер. Смерть тем более ужасная, что бесславная; другое дело – пасть в сражении, но быть убитым изменниками – горькая участь… Все сожалеют о генералах сих.

Кажется, не нужно было Энгельгардту выиграть в гамбургской лотерее. Ох, досадно бы было, ежели бы Воротынец достался тогда богачу. Я все радуюсь, что этот лакомый кусочек сделал фортуну четырех бедняков.

У Корсакова славная красавица донна Пепина… Корсаков точно как султан между ними, они его тешут и забавляют, а меня слушают, как главнокомандующего, знающего их обычаи, привычки и язык. Корсаков, однако же, слабеет; я всегда ему говорю о завещании, что век его не окоротеет. Вчера начал он его писать, просил меня и Фавста быть после свидетелями. Я человек с пять выпросил уже на волю, а главному фавориту своему, всюду с ним ездящему, по прозванию Князек, обещал сделать состояние.

Славная была у тебя мысль – учредить почту экстренную до Таганрога, распространяя ее на все по дороге лежащие города; это придаст большую деятельность переписке с Таганрогом, и все заинтересованные в том будут тебя прославлять.

Александр. Москва, 21 августа 1825 года

Желаю тебе скорее совершить дело покупки дома Безбородки: это славное, полезное приобретение для департамента, улица ваша будет подлинно почтовая. На перекрестке только один угол будет не ваш. С удовольствием и любопытством прочту записку твою князю, касательно покупки этой. Не удивляюсь, что князь уважает представления твои: они всегда основаны на пользе службы.

Александр. Москва, 24 августа 1825 года

Вчера был я с Фавстом и тестем на обыкновенном воскресном празднике, на даче Корсакова. Фейерверк очень хорош. Кончилось все взятием крепости турецкой, построенной на берегу пруда, со множеством полумесяцев. На пруду являлись два брандера греческих (надобно думать), кои начали кидать бомбы и ядра прямехонько в крепость, и наконец оную зажгли и взорвали, а там и сами (для полноты зрелища) взлетели на воздух, обратясь в бураки. Очень было хорошо. После сели мы в вист, а прочие начали танцевать и петь. Я уехал до ужина, думал было в клуб, но вместо того повернул оглобли домой.

Ну же обед задал Лазарев! Сакен был очень мил и весел, взял меня тотчас за руку, пенял, что я у него, старого приятеля, не был. «Но ежели б все, кто вас любит и ценит, стали бы вас навещать, то когда бы вы занимались делами, господин граф?» – «Так ведь я уж не хорохорюсь, как прежде, я в четыре часа утра на ногах, а в восемь вечера уж и в постели. Есть ли у вас новости от вашего брата?» – «Почти всякий день», – и проч. Старик бодр и свеж, не видно и следов последней его болезни. Тут обедали Юсупов, Орлов, Панины, Сипягин, Потемкин, Храповицкий, Розен, Шульгин, комендант, все большие начальники. Зато Лазарев был в восхищении; все нападает на меня, чтобы тебя оседлать, но я ему сказал откровенно, что невероятно, чтобы граф Нессельроде сделал бы для тебя то, в чем отказал письменно князю Дмитрию Владимировичу, о чем и этот письменно относился к Лазареву, коему остается подать в отставку из коллегии, и потом уже определиться к князю. Ему хочется все коллежский мундир, а еще более чина превосходительного при отставке.

Обед весь провели мы в весьма приятном разговоре и шутках. Только как долго сидели! Я удивляюсь, что старику было это не в тягость. Я как отобедал, так и марш домой, посмотрел на своих, да отправился к Корсакову.

Александр. Москва, 25 августа 1825 года

Вчера видел я приехавшего с женой (которую я знал девицею в Карлсбаде) Михаила Орлова. Кажется, женитьба пошла ему на пользу; он хорошо выглядит, думает пробыть здесь некоторое время и поджидает брата Алексея. Он желал бы, сказал он мне, повидать Мамонова, с коим был всегда очень близок. Я сказал, что сие легко устроить, что я поговорю об этом с Шульгиным; этот пришел в театр позднее, я с ним говорил, и он назначил встречу с Орловым на нынешнее утро, чтобы вместе пойти к Мамонову. Только Шульгин не ожидает ничего хорошего. Он сказал Мамонову, что Орлов приехал. «Тем лучше, – отвечал Мамонов, – кстати! – И потом, взяв на себя вид начальника, прибавил: – Извольте завтра приковать к позорному столбу Ивана Ивановича Дмитриева, графа Ростопчина и Михаила Орлова!» – «Как, и Орлова, с которым вы так дружны?» – «Да, Орлова; он карбонар, давно пора его проучить». Такой отзыв не обещает хороший прием[141]. Увидим, что-то будет. Только видно, что блажь все более и более умножается, а все один пункт: все хочет командовать всеми. Теперь и Шульгина начал ругать ужасно, всякий день пишет ему бранные письма. «А вы, – говорит Шульгину, – сдайте мое имение, деньги. Я не хочу, чтобы вы ими

управляли», – а у Шульгина никогда и не было ничего на руках. Он становится очень зол, особенно за то, что не дают ему водки, вина, щей и ветчины.

Александр. Москва, 29 августа 1825 года

Хороши Вяземского похождения! Не удалось им полавировать, я сожалею о тех, которые никогда не бывали на море. Надобно это всякому знать. Княгиня не только не собирается в Петербург, но ищет везде комедию «Роман на час», которую собирается играть; вероятно, сюрприз хочет сделать мужу.

И впредь уведомляй меня о Тургеневых, а то не буду знать, в которой они даже части света.

То, что пишет тебе Киселев о здоровье Воронцова, и меня тревожит. Нет сомнения, что есть какое-то расстройство и слабость во всей махине. Ему нужен большой отдых и лечение серьезное. Как бы все это не оборотилось вялой лихорадкой или легочною болезнью. Боже сохрани! Боюсь я и лондонских докторов, меры их слишком решительны, а лучше посоветоваться бы со славными германскими врачами. Всякий добрый человек должен желать здоровья и всех благ этому бесценному человеку.

Александр. Москва, 31 августа 1825 года

Вчера обедал я у князя Дмитрия Владимировича; славный был пир, музыка и пение за столом. Только Филис не отличалась, – брюхо мешает, а оно очень уже видно. Сказывают, что это дело некоего господина Булдакова. Я сидел между Жихаревым и Михаилом Орловым, и мы все спорили о музыке: мы за Моцарта, а Орлов за Россини. Мамонова он еще не видал, а собирается ехать к нему. «Я сего человека знаю, – сказал он, – и ежели вам объявлю, что он сумасшедший, так можете тому поверить».

Сенатор Дурасов просил меня дать ему прочесть брошюрку о поселениях военных; я не только дал прочесть, но и подарил ему совсем, зная, сколь он привержен графу Аракчееву.

Александр. Москва, 5 сентября 1825 года

Я тотчас написал брату Киселева о звезде Павла Дмитриевича, и вся семья очень меня благодарила. Выходит все так, что они всегда от меня первого узнают о милостях, получаемых Павлом Дмитриевичем. Так как нет стариков здесь, то я написал Шафонскому о молодом Пфеллере. Вот его ответ. То-то обрадуется Филипп Иванович!

Лучшего преемника Воронцову[142] нельзя было выбрать; по

крайней мере, будет он покоен, живя с отцом, что все в его стороне идет хорошо. Фрейлинство Ко кошкиной весьма здесь всех удивляет. Думают, что князь Дмитрий Владимирович это выпросил, и все его ругают. Как будто можно ругать за добро!

Александр. Москва, 7 сентября 1825 года

Все говорят, что новый Михайловский дворец превеликолепная игрушка, а здесь Юсупов бесится: он отделал богато дом главнокомандующих на Тверской, который прочился великому князю Михаилу Павловичу на случай переезда двора в Москву, а теперь Юсупов получил повеление отдать дом в ведомство Голицына, для его в нем житья. Князь Дмитрий заживет подлинно по-царски.

Александр. Москва, 8 сентября 1825 года

Теперь, видно, экономнее строят. Замок Михайловский стоил 17 миллионов, а как сравнить его с новым Михайловским дворцом, стоящим только 7 миллионов! Вчера в ложе князя говорили о падении Аполлона [директора петербургских императорских театров Майкова] не с Парнаса, а с театра. «Разве сделали его сенатором?» – спросил у меня Башилов. «Ничего о сем не знаю, – отвечал я. – А впрочем, – прибавил я, не заметив рядом с собою сенатора Кашкина, – разве не могут уж и отослать кого, не сделав его прежде сенатором?» Князь захохотал, да и сам Кашкин туда же сгоряча. Тут говорили, что Шаховской на его место, а не Остолопов.

Александр. Москва, 9 сентября 1825 года

Пришел сын Савельича в слезах. «Что такое?» – «Князь Юсупов говорит, что батюшка скончался». – «Пустяки, не верь. Князь неловко сшутил. Как бы мне не знать: брат пишет мне почти всякий день, верно бы, это написал». Скажи ты мне, что там на самом деле; а я слышал, напротив, что Савельич в моде большой и шутил даже у великого князя Михаила Павловича.

Александр. Москва, 10 сентября 1825 года

В «Дон Жуане» видел в креслах Сергея Уварова. Сел было очень спесиво предо мной, но, видя, что я на него не обращаю внимания и начал говорить с Шульгиным, он ко мне: «Ах, здравствуйте, мой милый, могу сообщить вам известия о вашем брате. У него все превосходно», – а, верно, тебя не видал полгода.

Александр. Москва, 14 сентября 1825 года

Я, по Фавста милости, потерял все утро; просил он меня

сочинить ему письмо к Карнееву, касательно предполагаемого строения в Горном правлении, и которое надобно будет показать министру. Они все алтынничают, тогда как здание должно стоять прямо против окон государева кабинета. Теперь очень смотрят на это, и князь Дмитрий Владимирович сломал три дома на бульваре, рядом с Корсаковым, оттого, что они безобразят улицу, а дома долго могли бы простоять и принадлежали дьякону и дьячкам церкви Димитрия Солунского. Послали команду полицейскую, и в одно утро все было сломано. Князь сказал именно, что государь удивлялся, что терпят такое безобразие, что хозяевам, ежели они бедны, можно помочь, но что надобно поставить новые дома, каменные; один дом уже и выстроен. А министр хочет поставить дрянные корпусишки из старых кирпичей и бранит за смету, за обширность сараев и проч. Я советовал Фавсту исполнить волю министра, а Карнееву партикулярно-таки объяснить все; сверх того, советую ему сделать, как ты, и предоставить постройку всего строительной комиссии, чтобы не думали, что он затевает большое строение для своих каких-либо выгод.

Александр. Москва, 15 сентября 1825 года

Очень умно делают, что дают женам и дочерям духовенства особенные отличительные одеяния; а то, право, было неприлично видеть попа, ведущего под руку молодую девушку, разряженную, как девку на содержании. Всех поражало щегольство попадей наших. Сколько нарядов, шляп будут продаваться за безделицу! Этой меры нельзя не одобрить.

Александр. Москва, 18 сентября 1825 года

Вяземский, видно, заживется у вас, ежели не приехал сюда вчера к именинам жены; я эту уверял, что он принят в Иностранную коллегию и что его услали курьером в Стокгольм. Сперва было поверила, а там, по обыкновению, расхохоталась. Она вчера отличалась на балу у князя Дмитрия Владимировича, а в котильоне первенствовал князь Владимир, бывший флигель-адъютант, толстый Голицын. Я сел играть в вист с Жихаревым, Дегаем и Полуэктовым и приобрел тридцать рублей; после долго очень говорил с графиней Строгановой, которая много о тебе расспрашивала; потом подсел я к княгине Зинаиде, болтал с нею. Она все подговаривает меня играть с ней комедию; в Вильне было хорошо. Князь Дмитрий Владимирович спрашивал, не знаю ли чего о раненных на дуэли в Петербурге. Я сказал, что ты пишешь. Отец бедный [Новосильцев] здесь в большом сокрушении. Граф Федор Васильевич с ним дружен, но два дня сказывался больным,

чтобы не иметь несчастной комиссии ему объявлять происшествие; а здесь сказали было, что Чернов умер; однако, видно, ему нехорошо. Нельзя об обоих не сожалеть.

Не знаю, как с вашим Майковым, но Кокошкина отставка всех бы порадовала, ибо все его ненавидят, и актеры, и публика; а последняя его история – то есть завещание покойной девицы Офросимовой, умершей недавно, и которое точно подложное, – очень его замарала в глазах всех.

Александр. Москва, 21 сентября 1825 года

Только и говорят у нас, что о бедном Новосильцеве. Вчера все уверяли, что и Чернова не стало; очень может быть, но я еще не верю, ибо ты не пишешь ничего, мой милый и любезнейший друг. Вчера отец Новосильцева еще не знал ничего, и камердинер ко всем приезжающим прибегал, чтобы предупредить, что он не знает еще о несчастий; но граф говорит, что он на это готов. Жалкая история! И мать, конечно, тем виновата, что нечистосердечно действовала. Позволив уже сыну жениться, зачем было под рукою действовать через старика Сакена, чтобы испортить дело? Все теперь в горести: мать лишается единственного сына, а бедная невеста – жениха, коего любила, а может быть, и брата. Всякий себя будет почитать причиною смерти двух молодых людей. Граф говорит, что напрасно Новосильцева крестят богачом: у матери только 2000 душ и миллион восемьсот тысяч долгу, а у отца сорок тысяч доходу; но правда и то, что старик Орлов по завещанию оставляет всякой дочери по 4000 душ из благоприобретенного своего имения. Поэтому не знает граф, где взяла бы Новосильцева 1000 душ, кои обещала Арндту [уже тогда известному военному врачу] за спасение сына.

Старуха Голицына и Строганова вчера уехали к вам; обедав в Черной Грязи, ночуют в Подсолнечном. Князь Дмитрий Владимирович их провожает и хотел оттуда проехать в подмосковную, но ему шепнут, чтобы он заехал, как будто нечаянно, в Петровское, к Апраксину, где ему готовят разные сюрпризы и спектакли. Звали и меня, но слуга покорный по этой погоде за город.

В остроге здесь сидит некто Зубов с сыном, генерал-майор. Они сделали фальшивый билет ломбардный и хотели тяпнуть шестьсот тысяч из ломбарда, но все открылось. Они было бежали, их схватили в Орле, и все доказано. Теперь этот сын пишет государю, прося позволения вступить в законный брак с дочерью тюремного священника. Князю пишут от имени государя замечание: как заключенные пользуются такой свободою, что

могут его утруждать своими письмами и иметь с женщинами сношения без ведома начальства.

Княгиня Наталья Петровна Голицына прислала имениннику-сыну с Подсолнечной горы пакет с 25 000 рублей. Чудный подарок! Ай да старуха!

Происшествие, случившееся у графа Аракчеева, не грузинское, а турецкое, калабрийское. Ужасно! Способ, каким эта женщина была убита, и другие обстоятельства доказывают, что целью было причинить горе хозяину, и сделано сие было с утонченной жестокостью. Ежели это та Матрена [Булгаков ошибается, называя Матреною Настасью Минкину], коей граф так дорожил, не представляю себе, какой шум это у вас наделает. Но у Голицына никто ничего об этом не знал. Какой новостью стало это для моего тестя! Хотя он и привез меня на бал, я имел неблагодарность не сообщить ее ему. Пусть узнает от других! Удивительно мне, что даже сенатор Дурасов ничего об этом не узнал, а может быть, и он по-моему молчал. Ты прав, и я уверен, что здесь составят презапутанную и страшную из этого историю, да она-таки и не забавна.

Вчера говорили, что в полдень проехал курьер. – Откуда? – К государю, с известием, что Англия взяла греков под свою защиту, на том же основании, как греков Ионических островов, и что, заметь, и Каннинг, министр, Кохран, адмирал, и Конгрев с ракетами своими отправились уже в Морею. Сию новость сообщил я графине Строгановой, и она сильно над нею посмеялась.

Александр. Москва, 22 сентября 1825 года

Благодарю тебя за подробности о путешествии государыни; мы читали их с величайшим удовольствием. Право, нельзя не быть тронутым, видя, что императрица, по ангельской своей доброте, благодарит тебя за то, чего бы должна просто требовать от усердия твоего. Как этому усердию не удваиваться и не идти от истинной души, когда оно так ценится и принимается, и кем же еще! Дай Бог хорошей погоде продержаться до самого Таганрога и после.

Вчера было ужаснейшее происшествие вечером, а именно пожар в доме какого-то купца возле острога, только что вновь выстроенном. Нянька, чтобы дети не выбегали из комнаты, заперла их в оной ключом, а сама ушла куда-то. Только в той же комнате загорелось, все объялось пламенем, и четыре ребенка сгорели живые, прежде нежели могли дать им помощь. Какой ужасный удар для матери, теряющей состояние, лишиться еще и детей! Муж очень умно поступил в горестном этом случае. Детей

всех семь; старшие трое были спасены. Он велел сказать ей, что все дети сгорели. Ты можешь себе представить отчаяние ее! Она все спрашивала мужа; он нарочно к ней не шел, занимаясь пожаром, покуда ее отнесли в ближайший дом. Ей все отвечали, что муж никак на пожаре не отыскивает тела детей. «Что мне в их телах, я их потеряла навсегда, ах, отдайте мне хоть мужа, дом мой пусть сгорит, позовите мужа, не мучьте меня, верно, не стало его!» В эту минуту величайшего отчаяния входит муж, держа за руки трех детей. Она в такой пришла восторг радости, что совершенно забыла потерю свою. Выдумка мужа удалась; но мне кажется, что могла бы обратиться и во вред, ибо мать могла бы помешаться в уме от радости. Какое ужасное несчастие! У меня, право, мороз был по коже, когда слушал вчера этот рассказ.

Вчера обедал я у Митеньки: Фавстова и моего сынка праздновали именины. Пропасть назвал. Я отказался от виста и попал в другую беду: генерал Алексеев прижал меня к стене и начал мне рассказывать свои походы финляндские, французские, Лютценское дело, которое, верно, менее продолжалось, нежели словесная эта реляция. Жена, как будто что почувствовав, прислала за мной дрожки, желая меня видеть до Итальянского театра. В самую ту минуту, когда Алексеев говорил: «Вот приезжает ко мне Балашов Александр Дмитриевич с приказанием…» – человек провозглашает: «Наталья Васильевна прислала за вами дрожки». Я откланялся и пустился домой отдыхать после Лютценской победы. Уф! Вспомнился мне анекдот о том, как князь де Линь сказал одному зануде, который вечно рассказывал ему истории о Семилетней войне: «Уж не знаю отчего, да только как начинаете вы мне говорить о Семилетней войне, так мне все кажется, что она длилась не менее лет тридцати». Никто уж теперь у меня из головы не выбьет, что Лютценское дело, как и Лейпцигская битва, три дня продолжалось. Надобно было видеть восхищение Митеньки, коему подарил я дрожки беговые для комнат. Они крошечные, но так хорошо сделаны, что даже большого можно катать. Он обедал, бросил салфетку и не захотел более есть; посадили силою, а он, евши, глаз с дрожек не спускал.

Александр. Москва, 26 сентября 1825 года

Вчера видел я Петра Львовича Давыдова в Английском клубе, с коим много говорил о Новосильцеве. Непонятно, как Чернов с такой раною может быть еще жив. Сказывал, что приехал Алексей Орлов и опять уехал в Остров к графине Орловой, которая дала ему еще деревню, так что он теперь в 130 тысячах дохода. Важно!

Долго я засиделся у князя, а еще долее – у княгини, которая

меня усиленно просила принять на себя дирекцию Итальянского театра, чего совсем не желаю. Я учтиво отказывался тем, что поеду в деревню, что, кроме того, имею желание и у тебя погостить этот год. «Это ничему не повредит», – говорит она. После долгого прения стали мы на том, что я подумаю. Признаюсь, кроме многих резонов, принимаю во внимание и то, что беспрестанные сношения с итальянскими актрисами могут наделать комеражи, неприятные для меня, а еще более для жены, сколько бы ни был я осторожен и удалялся от покушений, кои, впрочем, право, очень ничтожны и неопасны.

Москва, 2 октября 1825 года

Похороны Чернова доказывают, что он был в полку любим, да и вообще хвалят его все, а о сестре слышал я, что она идет в монастырь; а я бы желал лучше, чтобы представился вдруг неожиданно хороший жених: она бы этого стоила [Чернова позднее вышла за некоего Лемана].

Александр. Москва, 5 октября 1825 года

Жаль мне очень Гурьева, любезнейший друг! Он, конечно, очень тебя любил и часто это доказывал разными одолжениями. Для общества дом его – большая потеря. Так как это всегда водится, о нем сожалеют здесь, тогда как бранили его немилосердно, когда он был министром; теперь достается его преемнику, да еще более, нежели тому доставалось. Граф Федор Васильевич очень жалеет о покойном: «Это, – говорит он, – мой знакомец сорокатрехлетней давности».

Жаль Бортнянского – и для него, и для того также, что с ним придут в совершенный упадок церковная наша музыка и придворная капелла. Кто будет уметь, да и так старательно, заниматься певчими, как он? Он их беспрестанно занимал и учил, сочинял прекрасно и знал свое дело. Старик был крепкий, свежий; казалось, что долго проживет, но Бог иначе распорядился. Я слышал в Неаполе, что он был некогда любовником старухи-графини Скавронской.

Я знаю, что она часто ему писала, и один раз мы ездили с нею к славному живописцу Дени заказывать для Бортнянского два пейзажа, сбор винограда.

Вчера был я у княгини Татьяны Васильевны, которая опять подослала князя Василия меня уговорить взять итальянскую дирекцию. Вот был бы настоящий директор – Виельгорский; но его здесь нет, и он собирается на два года в чужие края.

В субботу выхожу я из Английского клуба, чтобы ехать домой, – на крыльце Риччи и Шот. – «Пройдемся немного пешком;

такая прекрасная погода!» – «Пошли!» Только, идя по Дмитровке к бульвару, видим зарево, пожар. Горит трактир у самой-таки заставы Тверской; весь дом был в пламени. Тут слушал я разговоры народа. Один мне сказал: «Вот, батюшка, часа полтора как горит, а только трубы Мещанской части здесь; вот бывало при Александре Сергеевиче, так он давно был бы сам тут!» И подлинно, мы успели прийти шагом из клуба пешком, а Обресков приехал полчаса после нас, а обер-полицеймейстер – полчаса после Обрескова. Увидев этого, я к нему подошел тихонько. Он начал кричать: «Воды! Подайте воды!» – «С вином прикажете или без вина?» – сказал я ему, подделав голос. Только он оборачивается очень сердит, никак не ожидая, что это мог быть я. А как я сказал в другой раз: «Дайте воды Обрескову, он пить просит!» – то он подлинно надулся, уверяя, что на пожарах никогда шутить не должно, особливо при пожарной команде.

Весь дом сгорел. Это был трактир общественный всех ямщиков. Надобно, однако, признаться, что славно отстояли домик прелестный, стоявший в трех саженях от трактира; крыша была уже в огне, но ее сломали, чем прекратили огонь, а то бы загорелись дрова, тут лежавшие, и пошло бы драть далее. В этом отдал я похвалу Обрескову, проспавшему начало пожара.

Граф Ефимовский, отец Муравьевой, сошел вдруг с ума, но сумасшествие его тихое: ездит в карете, останавливается у всех ворот и велит сказать хозяевам, что будет к ним обедать. Люди, наскуча разными отговорками, что нет барина дома, что уехали в деревню, что дома не кушают, сказали: «Приказано просить ваше сиятельство». Тогда граф отвечал: «Скажи, что теперь я не хочу, а пусть приедет сам меня звать». Сказывают, что свою дочь от второго брака принимает он за Муравьеву и все говорит с тою как бы с этою. Однако врачи не поручаются, что сие не окончится буйным умопомешательством.

Александр. Москва, 6 октября 1825 года

Вообрази мое удивление: вчера получаю я до обеда письмо из Таганрога от 1 октября от Воронцова. Вот какова твоя экстра-почта! Он пишет, что по воле отца отлагает до весны поездку свою в Англию и зиму проведет между Одессою и Таганрогом; но вот и письмо его: читай! Он много о тебе говорит.

Митюша Нарышкин пишет также графу Федору Васильевичу, что Воронцова очень поправило двухнедельное пребывание на Крымском берегу, что он стал свежее и здоровее гораздо. Дай-то Бог! Я очень рад, что отлагается путешествие в Англию: это для его здоровья лучше, да и прилично по обстоятельствам [граф М.С.Воронцов готовился тогда показать государю Крымский

берег, где, благодаря ему, начиналось уже строительство каменных дорог]. Только не говорит он, вступит ли он опять в отправление должности своей или оставит дела у Грейга на руках? Меня очень радует все то, что говорит тебе Лонгинов о благоволении государыни; я очень понимаю, что исправное получение писем от родных и людей, коих любим, весьма способствует нашему здоровью и утешению, а ты все это устроил прекрасно; только уж эта таганрогская экстра-почта меня удивила, право.

Говорят, что Степан Степанович Апраксин взялся за директорство итальянской труппы, с чем не поздравляю ни труппу, ни публику. Этот найдет средство и тут накуролесить.

Здесь была эстафета из Астрахани в 5 суток. Государь будет там 10-го числа. Александр Петрович Ермолов ожидает уже там государя. Сказывают, что императрица оттуда изволит ехать в Саратов. Отсюда отправлено множество припасов и в Астрахань, и в Саратов.

Александр. Семердино, 10 октября 1825 года

Забыл было важное происшествие, случившееся немного до нас в Больших Мытищах, селе, 18 верст от Москвы, по нашей дороге. Лучший тут дом крестьянский принадлежит Настасье, кормилице великого князя Александра Николаевича.

Ее муж большой пьяница, только он взял ночью да и повесился на своем кушаке. Мать его ругала и сказала ему: «Ах ты проклятый, полно тебе пить!» Он сказал матери: «Ты меня проклинаешь, так не хочу же жить после этого». Думали, что это сказано спьяну, но он слово сдержал. Поп не хотел его хоронить, и поделом. Старуха-мать ослепла. Какое действие может произвести страх или горе! Как, однако же, в мужиках сильно материнское нарекание.

Александр. Семердино, 14 октября 1825 года

Видно, надо ждать смерти человека, чтобы узнать ему истинную цену. Так-то с графом Гурьевым. Подчиненным грех было бы его не полюбить: он большую часть своего кредита истощал на выпрашивание им милостей царских. Похороны его доказывают уважение к его памяти, но я вижу также тут маленькое косвенное мщение против преемника Гурьева; графа Дмитрия Александровича не очень любили, а этого все ненавидят. Разбирать, кто прав и кто виноват, – не мое дело.

Александр. Семердино, 21 октября 1825 года

Благодарю за благоприятные известия из Таганрога. Это

царское путешествие будет, точно, очень полезно для тамошнего края, который авось-либо государю понравится.

Наше горе, видно, наследственное. Разбирая бумаги, я вижу, что дедушка и батюшка мучились, охали от долгов; по крайней мере, нажили они их сами, а мы платим за отца. В тот век и фортуны делались скоро. При твоих неусыпных трудах в то время не ты был бы озабочен со стороны состояния, а теперь век эгоистов: ни один начальник не входит в кожу других и не умеет принять душевного участия в чужом горе.

Тесть пишет, что графу Федору Васильевичу лучше, у него случился желчный и геморроидальный приступ, он в унынии и пишет мне: «Хочу окончить дела мои с дочерями прежде, чем умру и покину вскоре этот *проклятый город».* Жалею, что нет меня в Москве; я умею с ним ладить.

Александр. Семердино, 27 октября 1825 года

Граф Федор Васильевич выздоровел и опять за шуточки принялся; вот что говорит во вчерашнем письме: «Посоветуйте госпоже поберечь себя, ибо я предполагаю, что она забеременела [enceinte]; это естественно, ибо она живет как святая [en sainte]. Моя дочь Наталья родила сына, коего назвали Анатолем (мудреное имя!)». Также пишет он, что Кокошкин едет в Париж за французскою труппой, что Башилов назначен директором Итальянского театра. Это уж во всяком случае лучше, чем Апраксин, – а тот ничего не сделает стоящего в Париже: он невежествен и ограничен.

Александр. Семердино, 2 ноября 1825 года

Тесть пишет мне, что опекунами к Мамонову назначены наш бывший архивский Фонвизин, Сергей Павлович, и сенатор Арсеньев, о чем узнав, Мамонов сказал о них: «Один – старый мошенник, другой – мартинист; удивляюсь, что Булгаков пошел в это общество; я во время Ростопчина знал его за честного человека»; видно, думает, что речь обо мне. Это, впрочем, все одно, к тебе он приложил бы тот же комплимент. Ты и к Тамарше попал в душеприказчики. Можно бы ей и тебе отказать что-нибудь, хоть жемчуг Марице; а говорят, что, когда муж ее покойный был турками поколочен, султан ему и жене его сделал с извинениями славные подарки, кои даны были вместо целительной мази. Однако же наш приятель Фонтон остался без зубов и, вероятно, без подарков.

Александр. Москва, 21 ноября 1825 года

Наконец, ехав двое суток, измучившись, я дотащился до

Москвы, мой милый и любезный друг. Наташа дала мне хороший ответ – отправить с вечера в четверг коляску тихонько наперед, велеть ей ночевать в Пушкине, 25 верст от Москвы, ждать меня там, а так как зима становилась, то самому встать рано поутру, пуститься в пошевнях тройкою, в два часа приехать в Пушкино и, сев в коляску, продолжать путь в Москву. Ложусь рано, чтобы рано встать; просыпаюсь, а уже и следов нет снегу, весь растаял: всю ночь шел проливной дождь. Экая беда! Коляска была уже послана. Я решился сесть в телегу и поехал с Богом. Где не проедешь с телегою? Однако же я в Пушкино прибыл не прежде полудня ради дороги: дурна, но сносная, ибо проселочная, люди ее не чинят, то есть не портят. Только выехал на большую столбовую – ад! В Пушкине я только что съел яичницу; коляска была готова, поехал далее, бились мы, несчастные, насилу в два часа доехали до Мытищ, а только 10 верст.

Стало темнеть, пошла метель. Боясь несчастия (да и куда спешить!), я решился ночевать в Мытищах, где всегда останавливаюсь у моей приятельницы, кормилицы великого князя Александра Николаевича, выпил чаю, поболтал с нею, слушал трагическое происшествие ее мужа, покурил, почитал, лег спать. Еще было темно, как я поехал далее. Вот тут началась адская дорога. Право, сражение ничего: тут в минуту заслужишь Георгиевский крест или смерть славную; но в продолжение 15 верст бороться всякую минуту со смертью – это ужасно. Что сделали с дорогами, это уму непостижимо, все перекопано, на новую недоделанную не пускают, а старые так отделаны (ибо большей частью пашни), что представить себе нельзя. Наконец-таки не спаслись мы: у самых Малых Мытищ лошади вдруг увязли по шею в лужу. Видя, что коляска на боку, я выскочил и попал по колено в грязь, вытащил кое-как одну ногу, оставив в бездне одну, а там другую калошу; кучер скорее отрезывать постромки, чтобы лошади не удушились от грязи. Яшка бедный под коляскою.

Пришлось мне дотащиться до первой избы, зову мужиков на помощь: «Братцы, я вам дам на водку, вытащите коляску». Не идут, говоря: «Да тут смерть, и 100 рублей не возьмем!» Тогда я рассердился и, вспомнив, что я по милости Фердинанда IV со звездою, сбросил с себя шинель, показал знак, и первого моего соседа в зубы. Все побежали вон. Я думал – спрячутся, а они к коляске. Правду сказать, ужасная была работа, и 21 человек насилу срядили, ибо грязь по пояс, где? На столбовом тракте и в самой деревне! Два часа тут бились. Я покуда, скинув измокшие сапоги и штаны, мыл себе ноги простым вином и точно тем избавился от болезни, может быть, нешуточной. Как я ни

бесстрашен в дороге, но признаюсь, что не решился сесть в коляску (она же и высока), а взял мужицкие сани, в коих доехал шагом до Москвы. Перекрестился, как был у заставы. Ай да офенбахская коляска, выдержала-таки! Благодарю Бога, что вынес меня живого, ибо в среду мужик и баба и лошадь их найдены были мертвыми в грязи, три версты от того места, где меня повалили. А мертвых лошадей на дороге я сам насчитал три. Бог сжалился над Москвою, и падающие с неба инженеры (снег) лучше все сделают на дорогах, нежели губернатор наш и Манычарова принц, Христос с ними!

Александр. Москва, 22 ноября 1825 года

Скажу, что знаю о Москве. Собирались давать бал у Остермана третьего дня; но отменилось из-за молодой Фифки Апраксиной, которая заболела.

В театре намедни давали какой-то водевиль, переведенный Писаревым, который включил там эпиграмму в куплетах на издателя Московского театра, некоего Полевого:

Померанцевый хорош цветок,
Надоел всем Полевой[143].

Начали кто хлопать, кто свистать и шикать. После водевиля закричали автора, другие ну шикать; однако же Писарев показался и кланялся из ложи Кокошкина; иные хвалили, другие шикали, повторяя: «Автор в Париже, это переводчик», – что и правда. Охота же Писареву давать себя в позорище как бы мальчишка: в его лета и при ученом посте лучше ходил бы, как Вейс, по классам, куда сроду ни один попечитель носу не показывал, а уж ежели такая страсть к стихам, то пиши, да не называй себя. Нет, все хочется парнасской славы!

Александр. Семердино, 25 ноября 1825 года

Государь теперь не только повелитель и обладатель, но и помещик Крыма. Ох, много это путешествие пользы принесет краю тому. Журналы только и говорят, что о Крыме. Я радуюсь все, что здоровье Михаила Семеновича так скоро поправилось; в Москве не показалось оно мне весьма цветущим.

Слава Богу, что государево здоровье ничего и что он согласился поберечься и не выходить из комнаты несколько дней. Странно, что вот дней с десять, как слышно это было в Москве.

Александр. Москва, 28 ноября 1825 года

Графиня Анна Алексеевна Орлова здесь. Тесть у нее обедал, и

она много спрашивала о Наташе, о детях и особенно о женихе своем Костюшке.

24-го был здесь бал у Апраксиной, на оном было неприятное происшествие. У Башилова началась ссора с Владимиром Степановичем, сыном хозяина дома, и он так стал кричать, что все бросили танцы, чтобы смотреть на это позорище. «Вы ничтожество, – сказал Башилов, – я вижу, вам надобен хороший урок, и я собираюсь вам его преподать». – «Прежде, нежели вы его мне дадите, – отвечает Апраксин, – я вас выкину в окошко». Приходит Степан Степанович. «Я удивляюсь, Александр Александрович, что вы в моем доме завели такой шум и что вы для этого выбрали именно 24 ноября». – «Ваш сын, – отвечает Башилов, – дурно воспитан, и вы, напротив, его должны призвать к порядку». Княгиня Наталья Николаевна Голицына дергает Апраксина за мундир: да перестань, полно, уступи; еще услышит мать; а в эту минуту и Катерина Владимировна, услышав шум и бросив карты, бежит к индейским петухам, которые при ней еще более начали горячиться. Является княгиня Зинаида и говорит: «Господа, такая ссора может кончиться кровопролитием; так сделайте доброе дело: поскольку у нас сегодня 24-е число, принесите ваше ожесточение в жертву нашей именинице, выпейте шампанского и обнимитесь в ее честь. Споем хором». Зинаида спела куплет, и оказалось, что все сие было фарсом, о коем уговорились заранее и на который все попались.

Но надобно тебе сказать, что я не нахожу идею его чересчур удачной, ибо пришлось пережить весьма неприятные полчаса отцу, матери и всему обществу. Фифке было бы неловко, а ее муж о том и не подумал; она, верно, сильно рассердилась бы, но не довольно хорошо себя чувствовала, чтобы прийти на бал. Смешно то, что в городе, верно, скажут, что у Башилова была дуэль с Апраксиным. Какая, батюшка, шутка? Дрались точно, и неизвестно кто, но один убит. Все это трагикомично, но вот новость, которую сообщает мне граф Чернышев от 17-го, в самом деле печальна: жену его, 13-го, разбил приступ паралича, она утратила дар речи и не может пользоваться всей правой стороной тела, однако сохранила ясность ума. Врачи трудятся вовсю и покуда не отчаиваются; несчастье в том, что в таком положении она может оставаться очень долго; она причастилась и благословила детей своих, которые все без исключения собрались в Тагине. Бедный граф в отчаянии.

Александр. Москва, 30 ноября 1825 года

Боже мой, Боже! До какого дожили мы дня, мой милый и любезный брат. Итак, свершилось величайшее несчастье, которое

могло постичь Россию! Не стало ангела нашего, блюстителя спокойствия целой Европы. Ах, милый друг, какой это удар для тебя; я знаю, как ты его боготворил. Как ты это перенес?! Ежели бы все мои были уже здесь, я все бы бросил, кинулся в сани и поскакал бы к тебе. По своей горести измеряю твою; гляжу на твой портрет, плачу, и мне кажется, что и портрет плачет, но точно вижу в нем что-то печальное. Не знали, не чувствовали мы своего счастия, Бог нас наказал. Гляжу не нарадуюсь на своего Павлушу; но перед Богом говорю, что принес бы его тотчас в жертву, чтобы воскресить государя. Неужели нет его? Не могу привыкнуть к этой мысли. Больно мне, что нет Наташи, не с кем от души поплакать; она чрезмерно его любила, он был любимый ее разговор.

Приезжаю к Обрескову, нет его дома; пошел к его жене; только что сел, входит человек: «Василий Александрович сейчас приехали, пожалуйте к нему одни в кабинет». Вхожу, не подозревая ничего, и говорю: «Что, толстяк?» – «Смейся-смейся, – отвечал он мне с ужасным лицом. – Сейчас получено известие, что государь скончался в Таганроге 19-го числа». Меня как громом убило. Что во мне произошло, не могу тебе описать. Я выбежал вон, сел в сани и поехал к Рушковскому. Как вышел он ко мне, я кинулся к нему на шею и ну плакать. «Что с вами такое?» – «Уж не время притворяться, я все знаю; так вот почему вы тогда плакали, вы были совершенно потрясены!» Тут и он, бедный, начал плакать и подтвердил мне о всеобщем несчастий.

Один Рушковский поступил при сем случае с обыкновенной своею скромностью, зато князь Дмитрий Владимирович совершенно голову потерял и бог знает что делает. Надобно было ему и Юсупову вовсе скрыть письма, кои получили из Таганрога; а то с одной стороны секретничают, с другой – вдруг, не дав никакого резона, все театры, сборища велено закрыть впредь до разрешения. «Да что же князю делать?» – говорит мне Жихарев. Как что! Зачем бы ему, получив письмо, не сказать, войдя в гостиную: «Я получил весьма дурные известия о здоровье императрицы, за государем послали, он приехал встревожен, испуган и даже нездоров очень сам; не время теперь заниматься театрами и весельями, приличнее бывать в церквах и Богу молиться», – и проч. Слова сии все бы развезли по городу, всякий бы понял, что театрам быть нельзя, умы бы приготовились к ужасной вести, и князь ожидал бы приказаний дальнейших; а то теперь он как на булавках сидит: все к нему, а он никого к себе не пускает, а всем сию минуту приносят объявление: являться в Успенский собор в 11 часов для принесения присяги государю Константину Павловичу. Еду туда с Фавстом. Своим окружающим

сказал ясно о несчастной России. Юсупов тоже показывал письмо с черной каймою, закупал требованную в Таганроге парчу, так что и купцы тотчас догадались, но сперва подозрение падало на императрицу. Как ее положение теперь ужасно, совершенно одна там!

По слухам, государь изволил исповедоваться и причащаться, сохранив до конца память, и, наконец, еще подписал несколько бумаг. Государыня ему закрыла глаза. За сутки до кончины своей изволил послать в Варшаву за наследником, но когда его не стало, то отправили туда с печальным объявлением Чернышева. Болезнь произошла, говорят иные, от простуды, другие – от волнения крови и желчи, образовавшего гнилую горячку. Говорят также, что Вилье сначала не попал на болезнь. Как бы ни было, мы его лишились! Мы это несчастие должны были узнать вчера. Бог нас наказывал и пожарами, и наводнениями, и неурожаями; но последнее несчастие довершает все. Это потеря для всего мира. Кротостью, правосудием, добродетелью своей и всемогуществом, которые имел он в руках своих, государь укрощал, предупреждал беспокойства, восстановлял всюду тишину. Мы видели это в Москве, Испании и Пьемонте.

Кроме князя Дмитрия Владимировича и Юсупова (которому тоже предписано отправить регалии в Таганрог), были письма только к княгине Волконской от князя Петра Михайловича и к Лонгиновой. Первая, увидев бумагу с каймою черною, распечатав письмо, упала без чувств, при чиновнике почтамтском. Уверяют, будто Лонгиновой пишет муж, что Константин Павлович прибыл в Таганрог за сутки до несчастья. Кажется, быть не может.

В городе здесь ужасное уныние, и все страдают, что не могут свободно плакать при всякой встрече со знакомым. Это положение может продолжиться еще дней с пять и более. Князь Дмитрий Владимирович сегодня впустил к себе только Филарета, Обольянинова [губернского предводителя московского дворянства] и князя Сергея Михайловича Голицына. Он ужасно, говорят, убит, а бедная княгиня в постели. Во мне Обресков такое произвел волнение, что у меня вышла сыпь; особенно на левой руке зуд ужасный. Да подаст тебе Бог силы и крепости при таком горе быть в состоянии работать, а дела будет у тебя теперь бездна. Я помню милости цесаревича к тебе, когда он был в Петербурге в последний раз; но так ли знает он тебя, так ли испытал, как покойный император? Боже мой, это слово «покойный» раздирает мое сердце.

Бедный Воронцов! Недолго продолжалось его благополучие. Как все приятно ему являлось в будущем. Все исчезло навсегда. Здесь говорят, что он так болен, что не мог ехать в Таганрог.

Есть люди, к коим я со вчерашнего дня чувствую омерзение; но, к счастью, число их столь незначаще, что теряется во множестве убитых горем. Сердце мое никогда к ним не воротится. Завтра хочу ехать к своим.

Давеча был я в соборе с Фавстом; читали отношение Милорадовича, была молитва с коленопреклонением, Филарет читал клятвенное обещание, а подписывать будем присягу, когда прибудет император в Петербург и получим манифест. Не одного видел я и в соборе, и на площади со слезами на глазах. Все тут напоминало ангела, коего мы лишились. Я ожидаю с нетерпением известий от тебя, мой друг любезный. Прощай, обнимаю тебя душевно. Скоро надеюсь жену и детей привезти сюда. Молю Бога, чтобы дал тебе сил и бодрости.

Александр. Семердино, 6 декабря 1825 года

Я совершенно разделяю твои мысли насчет нашего императора. Я жил десять дней в Варшаве; все утверждают, что он умен, трудолюбив, строг, но справедлив, щедр и милосерд. Ежели горяч, то и это доказывает доброе сердце. Дай Боже, чтобы так же к тебе был милостив, как и покойный государь; но надобно ему время, чтобы тебя узнать. Кто служил хорошо Александру Павловичу, тот и брату его будет угоден.

Много уже прошло дней, а как ни заговорим с Наташей о покойном государе, все плачем. Он особенно к ней был милостив; бывало, на балах, где бы она ни сидела, изволит ее отыскать и танцевать с нею польский. Дай Бог, чтобы твердость императрицы не имела последствий. Как, кажется, не потерять голову в такую ужасную минуту! Я так и думал, что император отправится в Таганрог, как скоро узнает о состоянии больного. Все ожидают с нетерпением манифеста о восшествии на престол; он покажет некоторым образом чувства и мысли нового государя. Нельзя не быть многим переменам. Москва, которая вечно будет Москвою, то есть болтушкою, назначила в министры юстиции Дурасова, а как я выехал сюда, то провозглашали Озерова; этому, конечно, будет хорошо, да и дай Бог: добрый, честный человек.

Александр. Москва, 11 декабря 1825 года

Рассуждая о кончине императора, многие сожалеют, что она воспоследовала не в столице; а я нахожу, что тогда добродетельная, безутешная императрица не имела бы утешения ходить за больным и принять последнее его лобзание и вздох. Кто знает, умер ли бы он столь христиански в Петербурге, где, может быть, страх его испугать не позволил бы сказать ему об опасности. Бог все к лучшему устраивает.

Здесь слышно, что государю Константину Павловичу два раза кровь пускали из предосторожности и что от этого его величество не мог с братом своим ехать в Петербург. Манифест ожидается с большим интересом. Здесь было страшно подняли купцы цену на все черное, но умное распоряжение министра финансов [Егора Францевича Канкрина], коим позволяется до будущего марта ввоз всего этого из-за границы, остановило жадность монополистов.

Пожар в Невском монастыре во всякое другое время был бы происшествие, но теперь, что ни слышишь нового, особенно о смерти чьей, совсем не трогает после таганрогского несчастия. Сердце как-то притупилось.

Опоздал я, задержали меня в Архиве долго: не было священника. Я учинил присягу. Завтра буду более писать.

Отсюда отправлен князем Дмитрием Владимировичем в Варшаву адъютант его Демидов Павел Николаевич с рапортом, повергающим к стопам его величества присягу древней русской столицы. Купец, приехавший из Варшавы, сказывал, что встретил Демидова под Оршею, дорога очень дурна. В Варшаве печальная весть была получена 24-го, купец выехал 28-го, государь был еще там, и не говорили ничего об отъезде его величества.

Александр. Москва, 12 декабря 1825 года

Я читал твое письмо три раза: один, с женою и с Фавстом. Предчувствования государя подлинно удивительны, и есть какие-то сближения, тоже удивительные. Как твой князь [Александр Николаевич Голицын] бедный должен быть убит! Прощание государево теперь еще более должно его трогать, нежели тогда; слова вышли пророческие. Сведения, тобою собранные, весьма любопытны. Начитавшись хорошенько, я тебе возвращу. Знаешь ли, что у меня была точно та же мысль, а говоря правду, внушил мне ее Фавст. Едучи в деревню, я купил переплетенную книгу, в которую вписываю все, что узнаю достоверного касательно болезни и всего происходившего с государем и окружавшими его; треть книги уже наполнена, также много тут о происходящем в Москве. Государево царствование было столь славно для России и благодетельно для всей Европы, что малейшая о нем подробность драгоценна будет для потомства. Когда Костя мой вырастет велик, то ему доставит это чтение великое удовольствие; а кто знает, не послужат ли когда наши записки материалами историографу сей эпохи. Я теперь многое еще могу прибавить. То, что сделала Екатерина для Петра, и то, чего не успел сделать Александр для Екатерины, то есть монумент публичного признания, – я уверен, что Константин соорудит для своего брата, а нашего отца. Поставить его надобно против Казанского собора,

на Невском проспекте. Смерть всякого теперь есть смерть мухи; в сем числе и Баратов наш, и Ивелич, столь нам надоедавший на концертах князя Салтыкова.

Я пишу тебе с вечера. Завтра еду в собор слушать панихиду; множество всегда бывает народу, и князь Дмитрий Владимирович ни одной не пропускает. Я, право, питаю к нему почтение за горячую его любовь к покойному императору и грусть, которую он скрыть не в силах; как увидит новое лицо, то говорит: «А, это вы», – и не может удержаться от слез. Зато есть люди, к коим сильно мое сердце охладело; слишком их презираю, чтобы их назвать. Что бы тебе отсюда сказать? Князь Дмитрий Владимирович разослал почти всех адъютантов своих: Демидова в Варшаву, Новосильцева к вам, а Талызина в Таганрог. Здешнее дворянство приготовило в подарок тому, который привезет манифест о восшествии на престол Константина Павловича, табакерку в 15 тысяч рублей, а купцы – бокал золотой.

Я был у графа Ростопчина и нашел ужасную перемену в нем: болен, было два консилиума. Он-таки вспомнил мой совет, позвал Пфеллера. «Пфеллер, – как я ему постоянно твердил, – это врач, прямо для вас созданный: он в одно время и врач, и друг, и тиран своих больных; он вас быстро вылечит, вы и не вспомните про Рамиха, а ежели будете исполнять предписания Пфеллера, то и вовсе с ним распрощаетесь». Старик тем уже сделал пользу, что доказал графу, что у него нет водяной в груди, а начало астмы, геморроиды и желчь испорченная. Старик ручается, что пройдет все; только больной желт, слаб и изнурен.

Москва, 13 декабря 1825 года

Ну было же слез в соборе, любезный друг. Всякого поражало, что чем праздновать рождение государя, мы съехались оплакивать его кончину. Князь приехал очень рано, как и я, стал возле меня, и мы все говорили до прибытия Филарета. О чем? – угадаешь. Как провозгласили: «И учини ему вечную память», – никто не имел довольно власти над собою, чтобы не заплакать, а женщины рыдали. Добрый князь Дмитрий Владимирович залился слезами, равно как и граф Петр Александрович Толстой. Видел я тут Мансурова, который тебе очень кланяется. Ох, грустна была эта церемония. После панихиды началась обедня; слышно было, что Филарет будет говорить слово, но как узнал я, что не будет оного, то в половину обедни поехал с Фавстом домой.

Князь Дмитрий Владимирович мне сказывал, что Демидов возвратился. Он оставил Варшаву 6-го; император был еще там. Полагали, что государь дождется Михаила Павловича, оставит его на своем месте в Варшаве, и тогда отправится в Петербург. Курута

болен отчаянно горячкою, что очень его величество тревожило. Нет, воля Ланского, а я тебя беру в свидетели, что он у меня отнял мысль монумента для государя. Счастливец Ланской! Его имя сделается историческим по одной этой черте. Тесть случись здесь и тотчас увез мнение Ланского с собой, чтобы списать. Как мы тебя благодарим оба за кольца; всякому пришлось оно по пальцу. Мне досталось «Ангел на небе», и я буду это кольцо так же носить и беречь, как обручальное. Князь Дмитрий Владимирович заказал наделать таких же; говорят, и я уверен, что купец этот множество распродаст. Мы первые их имеем. Князю тоже присланы только третьего дня.

Александр. Москва, 14 декабря 1825 года

Фавст приехал ко мне в большой радости. Что такое? «Да я был очень неожиданно обрадован: министр дозволяет мне по представлению, которое я полагал было оставленным без внимания, раздать 6000 рублей между бедными моими чиновниками, заслуживающими таковое вознаграждение усердием к службе и хорошим поведением. Была, видишь, какая-то, все лежавшая в казне сумма; я, вступив в должность Соймонова, отдал ее на рост и сохранение в Воспитательный дом. От процентов наросло 11 000 рублей. Я представил министру, что есть у нас чиновники столь нуждающиеся, что не имеют даже сапог (именно сими словами), а потому часто целые десятки дней не ходят в присутствие, что не позволит ли министр уделить из суммы сей, совершенно мною составленной, что-либо в пользу бедных сих чиновников? Теперь получаю из департамента, что могу взять 6000 рублей из суммы, и что касательно остальных денег, могу то же сделать в будущем году, списавшись предварительно с департаментом», – и проч. То-то будет праздник: иному, получающему сорок рублей жалованья, Фавст даст рублей триста! Это целая фортуна.

Озеров мне сказывал, что император изволит прибыть в Петербург 17-го или 18-го. Все желают скорейшего прибытия. Когда подумаешь о привязанности к покойному государю, то нельзя не сознаться, что нынешний наш император вступает на престол под счастливыми признаками: все пылают чрезмерным усердием, и все преисполнены радостнейших надежд. Это чувство во всех сословиях и чрезвычайно заметно; все говорят одно, все думают одинаково. Очень нетрудно распознать лесть от правды. Возьми итоги всех чистосердечных дружеских разговоров, и выйдет, что Константин Павлович трудолюбив, деятелен, строг, справедлив, незлопамятен и чрезмерно щедр; он горяч, но и прибавляют: да не то, что было, с летами это уменьшается, а

притом доказывает уже доброе сердце. Я червяк здесь и, писавши к другу, как ты, и для твоего только сведения, верно, лгать бы не стал или молчал бы, но уверить тебя могу любовью моей к тебе, что вся Москва без изъятия ожидает мудрое царствование, и всякий доказывает это своим манером; только, как я уже писал тебе, некоторые гнусные души слишком рано забывают и благодеяния, и небесные качества покойного государя. Вот тебе самая верная картина нашей Москвы.

Смеялись много здесь Гагарину, князю Андрею Павловичу, который, в надежде встретить государя, из Таганрога едущего, скакал туда напудренный, в мундире, с лентою через плечо. Я чаю, выдумка это какого-нибудь фарсера.

Александр. Москва, 15 декабря 1825 года

Очень тебе буду благодарен за бюст государев. Дау публиковал о гравированном портрете государя, с оригинала его же работы, который я видел и который, право, только что не говорит. Когда он выйдет, то непременно такой куплю; первый отпечаток должен стоить 100 рублей.

Можно бы такую надпись сделать к бюсту или портрету государеву:

> Le Ciel, lui decernant sa sainte recompense,
> A commence trop tot son immortalite[144].

Говорят, что Кокошкин написал речь на его кончину. Такому ли перу браться за такой сюжет! О старике-канцлере можно пожалеть, ибо он стал полезен отечеству с тех пор, что в отставке. Здесь говорили было, что тело государево испортилось, а Гагарин сказывает, что неправда; ежели бальзамирован, как же ему испортиться, особенно зимою? Также сказывал он, что по выезде тела из Таганрога императрица намерена ехать в Харьков, до выбора другого города для своего местопребывания. Полагают, что Москва будет осчастливлена выбором таким. Сомневаюсь, а полагаю – Петербург (или Германия).

Александр. Москва, 16 декабря 1825 года

Меня спрашивают, отчего не едет государь? Очень натурально: в верности России и обеих столиц он уверен, а в Польше не то. Как оставит он Варшаву без главы? Любя порядок, государь хочет сдать землю, как ее принял, и ожидает встретить Михаила Павловича, чтобы его оставить на своем месте. Да зачем же это не публикуют? Да что тут публиковать? Это мои догадки; не наше дело – мешаться в это. Мы присягали, все покойно, чего

же вы еще хотите?

Ростопчин очень слаб, имеет нервические припадки, кои отнимают у него дыхание, но Пфеллер доволен ходом болезни: желчь разводится и идет низом и плеванием в большом количестве. В болезни он мнителен, малодушен, недоверчив, и с ним трудно очень ладить. Я говорю ему всех смелее еще. Вчера он сказал: «Ах, милый мой, все кончено, я ухожу». – «Ну, – отвечаю я ему, – ежели вопреки моей уверенности и уверенности врача вы так считаете, так отчего же не зовете священника и не примете причастие?» Замолчал.

Александр. Москва, 18 декабря 1825 года

Поздравляю тебя с новым государем. Обещание его сделать царствование продолжением Александрова всех радует. Все обошлось нельзя лучше. Все присяги учинены, Толстой их везет. Филарет прекрасно говорил перед открытием ковчега, где лежат акты.

Александр. Москва, 22 декабря 1825 года

Не имею иной заботы, как бывать всякое утро и всякий вечер и обедать у больного графа. Совестно его оставлять, видя, что присутствие мое ему приятно и облегчает тоску его. Вчера было ему видимо лучше: ночью спал 5 часов, завтракал и обедал с довольным аппетитом. Покуда мы обедали, он к нам вышел, взял со стола винограду и съел оного изрядную порцию. Ну, Пфеллер заслужит себе славу большую, ежели вылечит графа.

Хорошо очень сделало правительство, что напечатало все, как было: этим затыкается горло всем вральманам. Новосильцев тоже подтвердил мне, что поведение Николая Павловича превыше всех похвал. Слава Богу, что все утихло; но, право, пора приняться за строгость, и я спорил очень против Жихарева: надобно казнить убийц и бунтовщиков. Как, братец, проливать кровь русскую! – Да разве из Милорадовича текло французское вино? Надобно сделать пример: никто не будет жалеть о бездельниках, искавших вовлечь Россию в несчастие, подобное Французской революции.

Москва себя показала Москвою: врет-врет, а как дойдет дело до нужд или защиты отечества, то развязывает кошельки или проливает кровь свою безусловно. У нас все тихо, и усердие не изменяется ни на минуту.

Ежели б я был на месте Обольянинова, я бы устроил от дворянства и купечества депутацию к государю с просьбой в знак благоволения его к Москве позволить положить тело покойного государя в Успенском соборе. Для Москвы, спасшей Россию и Европу в 1812 году, было бы это поводом гордиться. Пусть

государь, столь славно царствовавший, будет один положен в соборе древней столицы. Ожидать позволения нельзя, но желание Москвы будет известно потомству.

Заметил ли ты, что теперь в одно и то же воскресенье в России упоминают в отдаленных губерниях Александра, в средних – Константина, а в столицах – Николая? Я говорил вчера Новосильцеву: «Ваша дочь, коей лишь шесть недель от роду, пережила уже три царствования».

Вчера с дамой одною, а именно с графиней Риччи, был у меня спор. Она называет Милорадовичеву смерть позорной смертью, а я нахожу, что напротив, это прекрасная смерть для военного в мирное время. Он пал за отечество, ради спасения своего государя и своей страны. Что может быть прекраснее? Позорной смерть была для тех, кого гвардейские пушки расстреливали как бунтовщиков. Бабы мешаются говорить о том, чего не понимают. Такой глупости Зинаида или княгиня Голицына верно бы не сказали.

Отсюда попался тоже к негодяям петербургским молодой Пущин, служащий при князе, коего уверили, что отец его болен, при смерти, а потому князь и не мог ему отказать ехать в Петербург. За делом поехал! У этого Пущина есть здесь приятели. Они составили так называемое Братское общество Семиугольной Звезды, – глупости, кои теперь всех их могут компрометировать. Тут Данзас, Колошин, князь Черкасский, Кашкин, Зубков, Пущин, не помню седьмого. Эти молодцы все занимают здесь места при князе, коего могут компрометировать.

Александр. Москва, 23 декабря 1825 года

Я послал тебе вчера две речи преосвященного Филарета. Ванюшка искал, не мог достать. Не знаю, как узнал преосвященный, что я ищу речь его, только вдруг от него пакет на мое имя с речами сими. Это очень любезно. Поеду его благодарить в праздники. Только не нахожу ничего особенного, сюжет был прекрасный. Можно было сказать что-нибудь лучше.

Александр. Москва, 25 декабря 1825 года

Я тебе вчера не писал, потому что поехал с утра к графу Федору Васильевичу, остался у него до вечера и не жалею, ибо сделал доброе дело – заставил его причаститься. Филипп Иванович сказал мне накануне, что больной нехорош и что он боится воспаления, а там и антонова огня в кишках. Меня очень это встревожило, особенно потому, что графом не был выполнен долг всякого христианина. Когда я графине это внушал, она все отвечала: «Боюсь, как бы такое предложение его не напугало».

Вчера поутру Филипп Иванович нашел больного лучше, лекарства произвели свое действие и на время зло отвратили. Граф, лежа на постели, сказал мне: «Мне плохо, мой милый!» Я подошел и сел возле него на постели. «Я силен, – продолжал он, – и еще несколько дней буду бороться с болезнью, а после разом паду от нее». Я не хотел упустить столь удобного случая и отвечал ему: «Послушайте, граф, коль скоро вы сего опасаетесь, хотя врачи и не видят опасности, успокойте вашу душу и причаститесь». – «Кто поручил вам предложить мне это: жена моя или врач?» – «Клянусь, никто; эта мысль беспокоит меня уже несколько дней. Нынче вам лучше, чем вчера, но болезнь может повернуть и к худшему; зачем ожидать подлинной опасности для совершения таинства?»

Графиня в эту минуту вошла в комнату, и больной сказал ей: «Катерина Петровна, пошли за попом приходским». Священник пришел час спустя. Исповедь и причастие продолжались почти час. Когда мы после вошли к графу, то он сказал мне, взяв за руку: «Мой милый друг, благодарю вас за совет, вы доказали мне вашу любовь», – «Не утомило ли это вас?» – «Нет, хотя я и много говорил, я очень доволен и собою, и священником; он умный человек!» Потом, оборотясь к Брокеру, сказал: «Адам Фомич, вот крест с мощами, хранящийся более ста лет в нашем роде; сбереги его для Андрея». Видно, что хотел еще говорить, но был тронут и замолчал со слезами на глазах. Ввечеру был консилиум, и Филипп Иванович решительно объявил, что лучше. Император с великим участием спрашивал о нем у Новосильцева. Граф хотел писать к государю и поздравить его с восшествием на престол, но не смог.

Александр. Москва, 26 декабря 1825 года

Граф очень часто говорит о смерти, вчера вечером сказал мне: «Понимаю, что я жить недостоин, но прошу Бога избавить меня от этой болезни». – «Напротив, – отвечал я ему, – покоритесь болезни со смирением; быть может, это испытание, и тогда ваше терпение заслужит милосердие Божие». Он вчера меня благословил. Я замечаю, что через день ему лучше и хуже; видно, от лихорадки.

Александр. Москва, 28 декабря 1825 года

Пишу тебе, мой милый друг, возле комнаты умирающего графа Федора Васильевича Ростопчина. Я приехал сюда вчера поутру и с того времени почти не отходил от больного, возле него провел всю ночь, меняясь с доктором и Брокером. Прошу Бога – умереть таким христианином и так твердо, как он. В сочельник

исповедовался и причащался, а вчера соборовался маслом, со всеми нами прощался, и хотя видел перед собою восемь рыдавших людей, твердость его не изменилась. Весь дом наградил царски; хотя Пфеллер и Рамих не могли его спасти, но граф благодарил их за старания, назначил первому 3000 рублей, а второму 2000 рублей; меня просил остаться другом графини и сына маленького, зятьям своим, дочерям, мне назначил в память и подарок вещи, ему принадлежавшие. Я сказал ему: «Не забудьте бедного Метаксу». – «Да, мой друг, я о нем подумал». Священнику дал 1000 рублей за исповедь и сказал при всех: «Похоронить меня вам одному, батюшка, в простом гробе, положить меня возле дочери Лизы, на могиле быть простой доске мраморной с надписью: “Здесь прах Федора Ростопчина”, – без всяких титулов».

Наставления, данные им сыну, можно бы затвердить всякому отцу для своих детей. Часто благодарил Бога, что умирает в семье, в Москве и среди друзей, а когда страдания увеличивались, то говорил: «Господи, сжалься надо мною, грешником, окончи мое страдание!» Я сказал ему: «Это страдания временные, зато блаженство будет вечное». – «Нет, – отвечал он, – недостоин я царства небесного». Графиня его утешала, говоря: «Кто пред Богом себя унижает, тот возвысится, вспомни, милый, о разбойнике, и не сомневайся в милосердии Божием». Когда перестал говорить о детях, то я ему сказал: «Граф! Ваш старший сын под гневом; не умрите, не простивши его». – «Ах, милый мой друг, как я вам благодарен; давеча вы мне напомнили, что я христианин, а нынче – что я отец». Пожал мне руку и сказал графине: «Я благословляю и прощаю Сережу; ежели долги его превышают состояние, которое я ему оставляю, дайте ему годовую пенсию в 20 тысяч рублей». Быв растроган и уставши, он повалился на спину и стал отдыхать.

Хотя случившийся в 9 часов утра нервический паралич и тронул несколько язык, но все же можно понимать, что говорит. В вечеру, почувствовав приближение смерти, он опять прощался и людей призывал, прося у всякого прощения, велел подать ящик с табакерками и назначил, выбирая сам и приказывая Брокеру: «Эту, когда умру, Сегюру, эту Наташе, князю Масальскому, Муромцеву, князю Александру Петровичу Оболенскому, Кампорезию старому», – и проч., потом делал разные распоряжения фамильные. «Прощайте! Егор Павлович (обращаясь к Метаксе), благодарю тебя за дружбу; Адам, помни, когда умру, то из доходов Андрея Федоровича производить Метаксе по смерть его по 2000 рублей в год пенсиона». А когда Метакса стал на колени, зарыдал и благодарил, то граф сказал: «Счастлив я, что

могу делать добро доброму семейству». «Леблан и Феликс, – сказал граф, – друзья мои, вы служили мне с усердием семь лет; у вас есть выбор: остаться возле моей жены, которая никогда вас не отошлет, но ежели захотите возвратиться в Париж, то каждому из вас дадут после моей смерти по 3000 франков; не забывайте меня». Людей своих отпустил на волю, награди всякого. Не знают еще, что сделал граф для Брокера; это, верно, в завещании, положенном в Воспитательном доме и к коему он недавно сделал прибавление.

Когда выйду только на минуту, то все спрашивает: «Где Александр Яковлевич?» Я ему тер спину, грудь, ноги. Ежели он имел неприятелей, я бы их привел посмотреть на его славную смерть. «Я напишу, – сказал я ему, – вашу историю». – «Зачем?» – «Это будет для меня утешением». – «Это другое дело; но, мой друг, говорите только правду». – «Вы не должны ее страшиться».

Пфеллер говорит, что болезнь может и еще протянуться, хотя легкие уже парализованы.

Видя, как врачи выходят для совещания, больной сказал мне: «Мой милый друг, ради Бога, заставьте Пфеллера не давать мне лекарств, которые продлевают мое существование; я мучаюсь сам и жену свою мучаю, и всех вас».

Как мне больно, что не вижу Серапина. Это меня мучает, хочу и с ним быть, и графу глаза закрыть; жену и детей 30 часов не видал. Сию минуту меня спрашивал опять; узнав, что к тебе пишу, сказал: «Пишите-пишите, скажите вашему брату, что ваш умирающий друг его помнит. Все ли спокойно в Петербурге?» – «Совершенно спокойно». – «Слава Богу», – добавил он, перекрестясь. Велел мне писать о смерти его к старику Сегюру и к Воронцову. «Этот добрый, достойный граф Симон, этот мой друг сорокалетней давности будет сожалеть обо мне; пусть он еще долго проживет!»

Александр. Москва, 29 декабря 1825 года

Ларион Васильевич Васильчиков приехал вчера и привез Андреевскую ленту князю Дмитрию Владимировичу, также графу Петру Александровичу Толстому. Узнав, что доброму князю Петру Михайловичу послан потрет, я княгиню Катерину Алексеевну поздравлял письменно. Эту ночь спал я только два часа с половиною.

Александр. Москва, 30 декабря 1825 года

Богу не угодно было, чтобы я провел с тобою этот истекающий и новый 1826 год. Поздравляю тебя с последним, а тот несчастный пусть скорее проходит! Покуда я тебе это начинал

писать, графу так было дурно, что думали, что конец. Я прибежал в его комнату и нашел его очень ослабевшего, однако же с твердым еще голосом. Удивительная в нем крепость; ежели бы не нервическое расстройство, граф очень бы долго жил.

Приехал сюда штаб-офицер главного штаба с поручением, остановился у Брокера, с коим он приятель; это было в понедельник вечером, был он в дороге 52 часа, дает он Брокеру рапорт Потапова о происшествии 14-го числа. «Я это читал», – сказал Брокер. «Быть не может, – отвечает тот, – потому что в ту минуту, что я ехал, мне из нашей типографии прислали это еще мокрое». – «А я вас уверяю, что я это читал еще до обеда у Александра Яковлевича Булгакова, с коим мы все дежурим у больного графа моего». Тот не мог это понять. Наташа приезжала меня навестить здесь, я ей это отдал, чтобы провезти Фавсту; только не знаю, как это узнали, но ее замучили присылками и просьбами ссудить на минуту. Вчера еще никто этого не имел.

Все любопытны знать имена гнусных бунтовщиков; всякий крестится, не найдя тут родного, приятеля или знакомого; все желают наказания примерного, я первый, а ты знаешь, зол ли я. Когда стреляли в злодеев, не может быть, чтобы и невинные совсем не погибли тут, их кровь вопиет. Надобно, право, надобно казнить главных. Но мне ли давать советы тому, который вступление свое на престол ознаменовывает умом, твердостью и правосудием? Меня восхищает все, что слышу от Серапина. Князь наш в восхищении от своей голубой [ленты]. Одно только графство Татищева удивляет меня и всех: не графская он фигура. Здесь говорят, что и Филарету Андреевская.

Графиня меня высылала к Лариону Васильевичу Васильчикову говорить с ним, а этот воин плакал, слыша все подробности о твердости больного и графини. Меня мучают все записками. Новая беда: Брокер занемог. Как сляжет, так и пропадем. Когда последует несчастие, то разбредемся по домам плакать и вздыхать; а для Брокера тут-то и начнется работа. Душевно соболезную о потере, угрожающей нам, но и радуюсь, что граф так примерно умирает. Только что он мне еще сказал очень отчетливо: «Милый мой», – и сделал «прощай!», приблизя руку ко рту. Я заплакал, а он взял и пожал мне руку.

Александр. Москва, 31 декабря 1825 года

…Опухоль опадает в левой руке, язык свободнее, не чувствует удушья. Все так вдруг хорошо повернуло, что графиня, сдав мне больного, пошла в свои комнаты спать, чего не делала она с понедельника. Граф по моей просьбе убедил ее на это согласиться. Я от одиннадцати до четырех дежурил с Рамихом.

Мы болтали с ним, и больной несколько раз вмешивался в разговор. Один раз сказал я Рамиху тихонько: «Вот увидите, вместо того, чтобы скончаться вместе с 25-м годом, наш больной возродится с 1826-м!» Граф вдруг приподнялся и сказал: «Мой милый друг, вы думаете, что я впадаю в детство, и угощаете меня небылицами; вы увидите, что я испущу дух в ту самую минуту, когда вы меньше всего того ожидаете». Твердость его голоса нас поразила. Филипп Иванович не может надивиться сложению больного, борющегося с водяною в груди, с нарывом на левом легком, с громадою желчи, давящей печень, не говоря уже о нервическом расстройстве, о геморроидах и ревматизме. Это непостижимо! Есть опять луч надежды. Дай-то Бог!

Обрадовал ты меня известием о ленте Закревского. Пишу к нему и поздравляю. Жаль, что не он в Петербурге на место Милорадовича. Лучшего выбора нельзя бы сделать, и я не мнения тех, кои говорят, что это было бы из попов в дьяконы.

Графство Татищева мне не по душе. Другое дело Орлов; этот лучше брата Михаила обрабатывает дела свои. Как бы не вышло из него настоящего чесменского победителя: имя Алексея имеет, графство имеет, меч чесменский ему достался от Милорадовича; того и гляди, что сожжет турецкий флот под Чесмою. Желаю ему всякого добра! А в Москве все порадовались отличию, ему данному.

Здесь, в год французов, носился один раз слух, что государя покойного убили; вышло, что Моро; другой раз – что он умер, вышло – Кутузов умер. Тогда монах один сказал своим товарищам: «Будьте покойны, государь еще поживет, но все умрет молод; зачем присуждено мне пережить его тремя днями?» И подлинно, монах умер 22 ноября. В бумагах его нашли следующую записку и странное расчисление:

«Сложим руки и умрем все!
Сложит Царь Белый свое бремя.
Сложит наследник старший престол!
Сложите цифры и увидите:

1777 (1.7.7.7) – рождение государя, 1801 (1.8.0.1) – вступление на престол, 1825 (1.8.2.5) – кончина государя. 48 – Богом положено благословенному Александру столько жить, а не более».

Списываю с записки, мне данной.

«Монах Анастасий Грек, а писал это в Царьграде, в день убиения патриарха Григория».

1826 год

Александр. Москва, 2 января 1826 года

Графу [Ростопчину] было очень нехорошо; мы думали, что мокрота его задавит. Мучения были ужасны, так что он один раз сказал: «Ах, мой милый друг, уговорите врачей прекратить мои страдания! Я смерти хочу». – «Было бы преступлением, – сказал я ему, – торопить ее; испейте чашу до дна, как наш Спаситель». В эту ночь, которую я также провел возле него, мучения его были столь велики, что я предложил, чтобы его успокоить, опиум, на что больной с восхищением согласился. Рамих тоже одобрил, и после 10 капель он успокоился и заснул, положа голову свою на мои колени.

Когда я с ним, он очень покоен; намедни пошел я в третью комнату поспать и кашлянул. Графиня сделала движение, как бы говоря: что это такое? «Это Булгаков», – сказал граф. «Он тебя не беспокоит?» – «Нет, я свыкся с его кашлем; я его люблю, он меня успокаивает».

Ответ Дау сообщу Беннеру. Понимаю, что не хочет тот давать портрета государева, чтобы не потерять барыша. На это англичане молодцы: нигде своих выгод не уронят.

Ты меня несказанно обрадовал Сенявиным [адмирал Д.Н.Сенявин, подвергшийся опале в предыдущее царствование, был возвращен к деятельности новым государем]. Видя минуту покойную, я и больному своему сказал о Дмитрии Николаевиче и о Закревского ленте. Он отвечал: «Такие люди особливо нужны теперь».

Я давно знал о Муравьеве, то есть, что он взят. Сын Чернышева меня удивляет. С его именем, состоянием, он всегда мог надеяться играть роль при законном своем государе; чего же хотел он? Бунтовать – дело бродяг, все выигрывающих и ничего не теряющих от беспорядков. Такие люди могут думать, что сделают свою фортуну, как Ней, Даву, Массена и проч., и то пустяки: Россия не Франция. Я все твержу: надобно наказывать. Здесь взяли многих; но надобно прибавить, для славы Москвы, что все почти иногородние, приезжие. Я вчера княгиню Елену Васильевну нашел в слезах: Толстой, ее племянник, посланный в Петербург, там арестован, а здесь – его брат, мальчишка восемнадцати лет. Того, признаться, я никогда не любил и не знаю, откуда ты нашел у него приятную фигуру. Я старался утешить княгиню тем, что это неправда, или невероятно; все свое красноречие истощил, но она в отчаянии и слышала от Обрескова [тогдашнего полицмейстера в Москве], а этому охота сказывать

такие новости: ужасный болтун! Жалка наша полиция: пора посадить людей, как Брокер; у этого – смотри, как бы пошло. Он мастер этого дела, а уж бескорыстие и честность такие, что редко подобного найдешь; я вижу это ясно по делам его с графом. Всякий другой, прослыв даже честнейшим человеком, имел бы фортуну. Смело скажу, что он графу всыпал миллион и более в карман, а сам копейкой не попользовался, кроме квартиры, дров и подобных выгод.

Я восхищаюсь тем, что ты пишешь о государе. И здесь рассказывают многие черты в его славу. Поверь мне, что сие кровавое, несчастное начало и испытание обратятся в великую пользу государя и России. Дай-то только Бог, чтобы он окружил себя не льстецами, а людьми, пользующимися общим мнением и уважением. По-моему, государю одно только и нужно: уметь людей выбирать. Как не быть у нас умницам и патриотам в пятидесяти миллионах русских!

Александр. Москва, 4 января 1826 года

Эту ночь граф провел довольно покойно, что приписываю данному ему опиуму. Щупая часто у него пульс, нахожу оный часто без движения, и тогда больной говорит: «Милый мой, я ухожу, это конец! Прощайте, добрый мой друг», – а там опять в себя приходит. Вчера была неделя, что его маслом соборовали. Кто мог ожидать, что он проживет еще восемь дней?! Мне подали письмо, он сказал: «Это от вашего брата?» – «Нет, граф, это газета». – «Говорите меж собой о том, что там, меня это не беспокоит».

Кому ни рассказываю прием Сенявина у государя, все в восхищении. Дай Бог государю окружить себя все такими людьми. Сколько печатают глупостей господа журналисты; зачем бы не сообщать публике подобные черты?

Это делается во многих землях. Во Франции король не может посмотреть милостиво на подданного и дать десять франков милостыни, чтобы все того не знали. Мало вижу я здесь деятельности, и признаться, не умеют браться за это. Как вспомню 12-й год, столь критический и подлинно ужасный, как наш Ростопчин был деятелен, как все у него способствовало к составлению хорошего общего мнения, а все видели, что беда на носу, тогда как теперь все нам благоприятствует.

Вчера скончалась Настасья Дмитриевна Офросимова; с большой твердостью диктовала дочери последнюю свою волю, даже в каком положить ее чепце; множество раздала денег и награждений. Хотя было ей 74 года, но могла бы еще пожить; ухлопала себя невоздержанностью в пище.

Александр. Москва, 5 января 1826 года

Вчера приехал сюда Вилье, едет к вам и чуть ли не уехал уже. Говорят, похудел ужасно и грустен; не удивляюсь этому.

Граф сию минуту призывал сына, коего уже четыре дня не впускали к нему; после попросил кофею и выпил полчашки. Ежели этот встанет, то будет второе Лазарево Воскресение.

Здесь все тихо и благополучно, хотя Голицын спустя рукава живет. Нет, это не Ростопчин. Не умеет он управлять общественным мнением, а ведь так легко добиться еще большей его благосклонности при столь мудром государе. Надобно наполнить трактиры, рынки и т.п. людьми, кои разносили бы молву обо всех благодеяниях императора; а вместо того там одни болтуны, распускающие нелепые слухи. Уверяю тебя, что письма твои делают в этом смысле добра более, чем князь со своей кликой бездельников. Я передаю тестю все то, о чем ты мне сообщаешь, а он разносит известия всему свету, и уверяю тебя, что это производит наилучшее действие в городе. Благомыслящие люди жадны до того, о чем ты пишешь, ибо прежде всего это правда, да к тому же ободряющая и приятная.

Александр. Москва, 6 января 1826 года

Ох, жаль бедную старушку Офросимову. Ее добрые люди напугали сыном ее, как будто и он попался между шалунами своего полка; старушка была больна, а грусть ускорила ее кончину. Проживи она еще до твоего письма, то узнала бы, что все ложь и что, напротив того, сын ее пожалован генерал-майором. Жаль! Я тотчас написал печальному семейству, и они все были в восхищении от приятной весточки. Манифесты милостивые я также раздал в разные стороны.

Ты говоришь о графе Федоре Васильевиче как бы о покойнике. Не удивляюсь: и мы не могли подумать, что 10 дней после соборования маслом будет он еще жив. Доктора сами этого не постигают: по тогдашнему его состоянию надобно было ожидать всякий час его кончины. Эту ночь был он даже лучше, так что я приехал домой спать.

Александр. Москва, 7 января 1826 года

Покуда ездил я к жене на минуту, он [Ростопчин] меня два раза спрашивал, а как я пришел, ничего не говорил; после сказал только: «Поставьте мне пиявок». – «Зачем? Воспаления нет; а ежели нужно бы было, то Рамих так и сделал бы», – на что он прибавил: «А почему же их поставили императору?» [Он вспоминал про Александра Павловича.] Кажется мне, что надо

ожидать скоро удара нервического.

Александр. Москва, 8 января 1826 года

Вчера разговаривал при умирающем о приказах Трубецкого и гнусных его товарищей. Рамих сказал: «Кажется, что план князя Трубецкого состоял в том, чтобы сделать революцию, как во Франции». Граф Федор Васильевич вслушался и сказал примечательные сии слова: «Совершенно наоборот. Во Франции повара пожелали стать князьями, а здесь князья захотели стать поварами». Раза три вмешивался он в разговоры наши, но часто мы его не понимали. Когда мы молчали, то он говорил: «Говорите меж собою». Рамих того не желает, ибо это сообщает больному вредное умственное напряжение, а ему надобно совершенное спокойствие. Ох! Как жаль, что эта умница в таком положении; он и в отставке был бы очень полезен Москве.

Александр. Москва, 11 января 1826 года

Радуюсь, что Меншиков вступает в службу. Я знал это с приезда сюда Лариона Васильевича Васильчикова. Последний имел поручение императора сообщить ему, что от него самого зависит возвратиться к деятельной службе. Он тотчас и поехал в Петербург, а в Москве натурально сказали, что его увезли. Статья петербургских газет о составлении следственной комиссии и разделении бунтовщиков на три разряда очень всем благомыслящим была приятна. Из служащих при князе Дмитрии Владимировиче взяты еще Кашкин молодой, Зубков и Данзас; этот последний был при князе как сын, и еще третьего дня княгиня Татьяна Васильевна [жена московского главнокомандующего князя Голицына] говорила Марье Аполлоновне [Волковой]: «Посудите, хотят даже бедного Данзаса впутать во все это, в то время как я отвечаю за него как за самое себя. Чего только не вообразят болтуны?» Князя и княгиню это очень тронуло.

Странно, что княгиня Н.И. [мать князя Голицына] никогда не терпела этого Данзаса, так что лишь недавно позволила, чтобы он ей показывался на глаза. Говорят, что он – сын покойного князя Бориса Владимировича; не знаю, правда ли и за это ли старуха его и не любит. Средства оправдаться даны всем; невинных отпустят, но дай Бог, чтобы очистили Москву от бездельников. Премудро делает государь, что прямо к себе первому их допускает. Польза та, что его самого обойти нельзя, а виновные имеют (стоя перед лицом своего государя) все способы лично все открыть государю и себя оправдать. Вот что пишет мне граф Чернышев, посылая также копию с весьма милостивого рескрипта,

полученного им в одно время от императрицы Марии Федоровны, что доказывает, что вины детей не падают на родителей: «Вновь открываю письмо мое тебе, чтобы сообщить о получении письма на одиннадцати страницах от сына моего, писанного в кабинете императора. Он с умилением говорит о милосердии его величества; он идет в крепость. Не знаю, сколько времени он там останется, я покоряюсь. Таков мой удел. Зять мой [то есть зять графа Г.И.Чернышева Никита Михайлович Муравьев] уже там. Оба они сделались членами тайного общества без моего ведома. Уж подлинно от жиру бесятся. Чего еще хотелось лучшего?»

Дай Бог доброму Арсению [Закревскому] хорошего назначения по его способностям. Всех радует, что принимаются за таких людей: к хорошим льнут хорошие. Посмотри, сколько отставных моряков поднимет Сенявин!

Александр. Москва, 12 января 1826 года

Мороз жестокий. Граф сказал давеча своему камердинеру: «Какова, Алексей, зима эта?» – «Да на все!» – То уж подлинно – на все.

Шалунов берут помаленечку. Дай Бог, чтобы они оказались только шалунами. Это будет им наука.

Графиня Катерина Алексеевна Пушкина больна рожею; ее испугало, когда узнала, что … ее, сахар этот Володя, взят тоже. Чего хотелось … этому? Никакой не чувствую жалости к подобным уродам. Еще взяли сына Н.Н.Муравьева, его свояка (имя не помню, кажется, Ягушский) [Ивана Дмитриевича Якушкина], генерала Фонвизина и Нарышкина, что женат на Коновницыной. Здесь раскупили все экземпляры стихотворений Александра Пушкина. Пришли мне экземпляр; хочется посмотреть, что это за хваленые стихи.

Александр. Москва, 13 января 1826 года

Канцлер умер, а у него засел наш ватиканский манускрипт, касающийся до Российской империи, тогда взял его у нас Александр. Тургенев.

Александр. Москва, 16 января 1826 года

Вчера Рамих говорил мне: «Пощупайте пульс и увидите сами, каков пульс человека, коему жить остается не более трех часов; однако же с графом я не осмелюсь ничего утверждать». И подлинно, казалось, что нет жизни совсем, а сегодня еще жив и мучается несчастный друг мой. Он говорит беспрестанно, но нельзя понять – что; его тем труднее понять, что не знаем, по-французски ли или по-русски изъясняется, быв в обыкновении

менять сии языки. Вчера вечером он все твердил: «Канкрин!» – «Но, милый мой, – говорила графиня, – тебе нечего делать с Канкриным»; а больной все: Канкрин да Канкрин! Только он, привстав, рукою показал грудь, повторяя: «Канкрин!» Мне сглуху показалось, что «гангрена». Как я это слово назвал, то граф, кивнув головою, повторил несколько раз: «Да! Да!» Но Рамих антонова огня еще не полагает. В эту ночь большие перемены сделались к худшему. На лбу и руках замечаю синие пятна, и глаз один совсем ввалился. Ужасная борьба со смертью, а сложение необыкновенное. Мучительно на него смотреть. Куда девались эта сила, приятность, улыбка милая, разум, веселость?

Вчера в седьмом часу вечера спросил он вдруг Алексея: «Алексей Яковлевич?» Я в кабинете через комнату, где и теперь тебе пишу, показывал Метаксе последние письма Броневского, вышедшие в печать и государю покойному посвященные. Алексей входит: пожалуйте к графу! Побежали мы оба туда; больной протянул обоим руку и сказал еще внятно: «Прощайте, прощайте! Умираю!» Я взял руку и, поцеловав оную, не мог не заплакать; он мою пожал крепко; все, тут бывшие, – графиня, Метакса, Алексей и Тимоша, – тоже заплакали. С этого времени я не понимаю, да и никто, что он говорит.

Ох, часто я думал, и больно, право, что на столь важную часть, каково воспитание юношества, не обращают должного внимания, а вот тут готовится целое поколение добродетельных или развращенных людей. Можно ли, чтобы заявленным мерзавцам, каковы Павел Иванович Кутузов, Магницкий, Рунич, Гауеншильд и проч., препоручали образование юношества? Некоторые выбыли, а другие тут еще. Как делать слегка такие важные выборы! Начальники отдадут и Богу, и государю отчет. Это режет сердца всех отцов и матерей. Пора принять за честных людей: тогда все пойдет хорошо. Бесценный мой Ростопчин в 1812 году писал к государю сии достопримечательные слова: «Государь, заклинаю вас, окружите себя теми, кто на вас походит, а не на тех, кто вам льстит и вам лжет». Граф имел пороки (и он человек), но имел великую, возвышенную душу. Узнают все, что это за человек, когда его не станет.

Александр. Москва, 19 января 1826 года

Вчера в семь часов и двадцать минут скончался граф Федор Васильевич. Я закрыл ему глаза; в эту минуту были в комнате только я и Брокер. Последние его слова были: «Боже! Боже! Возьми меня!» Это было в 5 часов; после того он не говорил более, был покоен, не охал и не жаловался, как прежде. Я сидел возле Брокера рядом, на вольтеровских креслах, и болтали мы все

о больном. Брокер утверждал, что он память уже потерял, что Рамих ожидал всякую минуту паралича в голову. В эту минуту вижу я, что граф берет себя правой рукою за пульс и щупает. «Вот вам, Адам Фомич, доказательство, что больной в памяти; посмотрите, он щупает у себя пульс». – «Быть не может», – отвечает Брокер и подошел ближе к графу, чтоб увериться, и точно, уверился. Сели мы опять болтать. Я по глухоте своей не слыхал, но Брокер слышал шум в груди больного, то же самое еще раз повторилось; полагать надобно, что накопившаяся в груди и горле мокрота, кою больной никак выплюнуть не мог, рухнулась вниз. Спокойствие больного нас тревожило, мы встали посмотреть поближе. «Да уж не умер ли он?» – сказал Брокер. Я, взяв свечку, поднес ближе к больному; он был уже без дыхания. Адам Фомич держал голову, а я закрыл ему глаза. Царство ему небесное! Он перестал мучиться. Графини тут не было; ужасная головная боль заставила ее с самого обеда идти в свои комнаты, из коих она уже не выходила до сегодняшнего утра. Всякий любит по-своему, и я не так люблю, как графиня. Я очень растроган, мой милый друг, и в первую минуту сделалась у меня дрожь, но со слезами все это прошло. Не стало моего друга! Отдав ему последний долг, запрусь дома: надобно поберечься, побыть со своими, коих не вижу вовсе более месяца, и выспаться за все это время.

Воля покойников должна быть священна. При всей моей скорби написал я письмо к Сегюру [замужем за французским графом Сегюром была вторая дочь графа Ростопчина, Софья], по воле графа покойного. Вот оно, прочти, запечатай и, пожалуй, отправь как можно скорее в Париж через милого Шредера или как заблагорассудишь. Я не суеверен; но странно, что в день, как граф занемог, Наташа меня к нему завозила в карете, и она мне заметила, что на воротах графского дома поставлено прекрупными вызолоченными литерами «графа Ростопчина»; одна литера упала с места на улицу, так и пропала. Это бы ничего, но которая из литер? Не А, не Р или другая, а именно Ф, начальная имени Федора. В следующие дни так это все заметили и стали говорить, что дошло до Брокера; чтобы все прекратить, он велел Кампорезию вставить новый Ф; но вышло, что и мастер, делавший эту надпись, в тот же день умер. Так это и осталось, и теперь на воротах «гра а» вместо «графа».

Александр. Москва, 20 января 1826 года

Я сию минуту из церкви. Вынос был в 9 часов. По воле графа хотя никого даже из родных не приглашали, но было множество народа.

Граф как живой: совсем не изменились черты, и тело не испортилось. Завтра будет он предан земле на Пятницком кладбище, где по воле его положен он будет рядом с покойной его дочерью Лизой. К крайнему всех, но не моему, удивлению, графиня не выходила не токмо в церковь (она католичка), но даже в доме, к молитве, когда тело навсегда оставляло земное жилище свое. Я никогда ее не любил, но она все потеряла в моих глазах и, конечно, сократила жизнь его переходом в другую веру и своими беспрестанными противоречиями, капризами и странностями. Граф никому в мире того не показывал; но завещание его покажет, как сердце его к ней охолодело. Первым, писанным в 1811 году, он все ей отдавал, что имел; теперь всего лишил. Когда-нибудь тебе это расскажу.

Я не ходил к ней; но давеча швейцар мне сказал, что графиня просит меня к себе через девичью. Я пошел, и вышло одно простое поздорованье и желание узнать о последних минутах графа. Зачем не была она тут? Кажется, могла бы она мне сказать хоть сухое «спасибо» за то, что я месяц не знал, что у меня есть дети и жена, и ходил за графом как бы за отцом родным. Меня к тому побуждала любовь к графу, более ничего; но она доказывает, что имеет сердце холодное и неблагодарное, несмотря на свою католическую набожность. Ворочала она и меня, но я ей сказал, что будут и католики в аду, и греки в раю: спастись можно во всех исповедованиях. Боюсь я за Андрюшу. Она старается давно его обратить и для того страшно его балует, так что совсем его испортила. Будет нам тут работа. Ссор не миновать. Брокер намерен ее атаковать сильно, а я поддержу, ибо воля графа мне известна на этот счет. Я отклонил опекунство от себя, чем избавлюсь от великих хлопот с обоими детьми; один должен более, нежели наследует, а другой по милости матери над пропастью и не обещает ничего хорошего. Опекунами Дмитрий Нарышкин [Дмитрий Васильевич, женатый на старшей дочери графа Ростопчина, Наталье] и Брокер. Знаю от Новосильцева, как император Николай Павлович подробно расспрашивал у него о графе, о здоровье его и проч. Придет время, что и государыня Мария Федоровна узнает, какую важнейшую услугу граф ей оказал во время Павла.

Александр. Москва, 21 января 1826 года

Я сию минуту с похорон графа Федора Васильевича, мой друг любезный. Часы, обедня, отпевание, следование за гробом пешком до Пятницкого кладбища меня утомили. Я лягу и постараюсь спать. Теперь будь воля Божия! Я воздал праху бесценного друга должную ему честь и долг. Царство ему

небесное! Не будет другого Ростопчина. Никого не звали, а были на похоронах и князь Дмитрий Владимирович, и граф Петр Александрович Толстой, обер-полицмейстер, сенаторы и бездна народа. Множество провожало гроб в могилу. Можно мстить живому, но умершему воздается то, что он заслуживает.

Александр. Москва, 22 января 1826 года

Благодарю за стихотворения повесы Пушкина. Как жаль, что он свой талант не употребляет на дело, а стихи его прелестны. Прочти послание Вяземскому. Какая живая картина Москвы!

Княгиня Меншикова на похоронах сказывала мне, что она всякую минуту ожидает мужа. В Москве новостей нет, так и занялись все похоронами и смертью графа. Всякий ее рассказывает с разными прикрасами, но все в его пользу и к его славе. Говорят, будто он, умирая, диктовал мне письмо к государю и проч. Правда, что он хотел писать к императору, поздравить его с восшествием на престол, но не был в силах. Говорят по Москве, что твой князь Александр Николаевич [Голицын] будет обер-камергером на место умерших Нарышкина и Ростопчина.

Александр. Москва, 23 января 1826 года

Мне грустно, как вспомню о покойном графе, но это чувство никогда не изгладится из сердца моего. Его нельзя было не любить и не уважать, зная его коротко; не было дня, чтобы я его не видал, и всякий раз новую находил отраду в пленительном его разговоре. Всякий раз, бывало, узнаешь что-нибудь новое, любопытное, историческое. Ужасно долго боролся он со смертью; натура была прекрепкая, и нет сомнения, что он жил бы очень долго, ежели бы огорчения разные не сократили его жизнь. Началось 1812 годом, потом поведение и шалости сына его старшего, а там смерть прелестной этой Лизы довершили все. Между нами сказано, и графиня отняла у него много здоровья переходом своим в католическую веру и вовлечением туда же двух дочерей. Надобно было сделать позор; граф решился все скрыть в сердце своем, но зато и не стало его. Он не показывал ничего наружно, но завещание его докажет, что он жену не уважал, удаляя ее даже от попечительства и опекунства Андрюши, сына ее родного, и сделал хорошо. Она почти явно изъявляет волю свою воспитывать его в вере католической, но Брокер представит ей непреодолимый оплот. Граф знал, кого выбрать. Другой опекун – Д.В.Нарышкин.

Когда граф 27-го числа, после соборования маслом, думая совсем умирать, простился с нами всеми, то, взяв со стола ключ

своей шкатулки с деньгами, брильянтами, бумагами и завещанием, он при жене подал оный Брокеру и сказал: «Прощайте! Я умираю, друзья мои; помните меня! Адам Фомич, возьми ключ этот; ты знаешь, что тебе делать. Бумаги мои с Булгаковым разбери, приведи в порядок; когда Андрюша придет в совершеннолетие, ему их отдадите». Графиня с того начала на другой день смерти, что потребовала ключ этот у Брокера. «Ежели бы ключу быть у вас, граф его вам, а не мне бы отдал; вы были тут же, в комнате, с нами». – «Есть некоторые бумаги, которые я хочу сжечь». – «Я до этого не допущу вас. Граф был так умен и так долго готовился к смерти, что он знал сам, чему надобно оставаться и чему нет. Волю его я выполню, все будет сбережено для Андрея Федоровича». – «Да тут есть множество французских бумаг, кои вы не понимаете, и брани на французов». – «Французские бумаги разберет Александр Яковлевич, а ежели граф бранил французов, то делал хорошо: они были тогда наши злодеи, они сократили жизнь его, пустив *яд* в его семью». – «На свете одна только есть вера: католическая, нет спасения без нее!» – «И вы смеете, графиня, это утверждать? Разве вы не видели, с какой твердостью, с каким умилением, с каким спокойствием умирал граф? Дай Бог вам так умереть в вашей вере». – «В Андрюшино воспитание не должен никто мешаться». – «Это решит духовная графа». – «Она мне известна». – «Не может быть, графиня! Граф Федор Васильевич недавно прежнюю духовную уничтожил и сделал новую (это очень ее удивило); что же касается до Андрея Федоровича, к нему будет ходить графский духовник, учить его закону Божию, а по воскресеньям он будет, как при покойном графе, ходить всякий раз к обедне с Метаксою». – «Все, что вы говорите, очень для меня неприятно». – «Сожалею, графиня, но эти неприятности буду я вам повторять всякий день. Покуда ноги мои двигаются и я дышу, воля графа будет исполнена; она и за пределами гроба есть мой закон. Я оправдаю его доверенность, праха его не оскорблю». – «Вы меня не знаете; я воспитала одна всех наших детей». – «Чем же вы хвастаетесь? Из Сергея Федоровича сделали вы развращенного негодяя, посрамившего имя Ростопчина; вы воспользовались слабостью и неопытностью двух дочерей, чтобы обратить их в другую веру, вы заставили их нарушить первую обязанность христианина – верность к своей религии; вы из Андрюши сделали повесу, баловня, исполняя во всем волю его, чтобы к себе привязать и скорее его обратить в католичество. Что же вышло? Он ставит вас ни во что, не слушает». – «Дочери мои сами обратились, про это знал и муж мой, я не неволила. Наташа осталась в греческой вере». – «Кому вы это говорите, графиня?

Граф молчал для избежания ссор, явного разрыва с вами. Наталья Федоровна своей твердостью все ваши усилия сделала тщетными, и вы знаете, что она именно для этого и была всегда любимой дочерью своего отца; вы знаете также, что перемена веры заставила графа отдать Софью Федоровну за француза; что же касается до Лизаветы Федоровны, то вы ее перед смертью причастили тихонько от графа; это узнал он после, от этого он теперь в гробу. Не заставьте меня говорить вам другие правды, не заставьте меня забыть, чья вы супруга». Она поклонилась, прибавя: «Я буду говорить с Александром Яковлевичем».

Я готов на это неприятное свидание и буду говорить с величайшей откровенностью графине. Брокер поступил яко самый честный человек и с большой твердостью. Я уверен, что Митюша его поддержит в сем праведном деле. Надобно спасти Андрюшу, вырвать его из ее когтей. Он скоро будет мать бить, а она от христианского умиления будет подставлять другую щеку. Все они только и ищут, что славы и мученического венца!

Я нахожу отраду заниматься графом. Я послал статью для «Северной Пчелы», а вчера и для «Санкт-Петербургской газеты», и Северину, коему писал через тебя. Не забудьте мне тотчас статью возвратить в случае затруднения. Здесь журналисты мне в ноги поклонятся за нее. Я писал правду по самой чистой совести и показывал статью строгим судьям прежде. Все отвечали одно и то же: *правда*!

Александр. Москва, 27 января 1826 года

Как время-то летит! Сегодня девять дней уже, как граф Федор Васильевич скончался. Я сию минуту с кладбища, мой милый и любезнейший друг, и, признаюсь тебе, не в духе; ездил туда с Андрюшей, Метаксою и Брокером. Мы отпели праху покойника панихиду.

Как не хочется, а надобно ехать к Ивану Николаевичу Корсакову обедать: он сегодня именинник, пущусь туда с Фавстом. Кстати. Не забудь, пожалуйста, просьбу старика, о коей я забывал сам все тебе написать. Его дом бесподобный на бульваре велик, щеголеват, поместителен, на самом на гульбище; он хочет отдать его внаймы на время предстоящей вскоре коронации, спроворь это: не возьмется ли Блоом или Ферроне? Ежели послу какому, то Корсаков отдаст, как есть, с мебелью, картинами, бронзами, мраморами, коврами и проч., и цену даже назначит не бешеную. Ты обяжешь старика, а я твой ответ ему прочту. Планы дома можешь получить из конторы князя Петра Васильевича Лопухина: он было нанимал его; Корсаков, не знаю почему, тогда не хотел отдавать внаймы, да и теперь, кроме

посланника, никому отдать не хочет.

Не поверишь, что за вздорные слухи распускают кумушки и пустословы по городу. Жаль, право, что князь Дмитрий Владимирович удостаивает их внимания, что много говорят о мерах, кои возьмутся для прекращения или предупреждения беспорядков. Говорят, что подписками обязывают фабрикантов не выпускать фабричных в день процессии, что кабаки будут заперты, и множество других подобных мер. И на что это? Запереть кабаки – это родить желание пить и силою в них войти; как фабриканту удержать 40 и более человек мастеровых, да и какая нужда? Вчера много об этом толковали, хвалили предусмотрительность Князеву; а я, право, напротив, сделал бы публикацию, объявил бы, что 4-го последует прибытие тела императора, что по неограниченной любви к покойному государю и желанию поклониться праху его, конечно, все жители выйдут на встретение тела, что начальство не может не похвалить сей ревности, что, с одной стороны, оно надеется, что такое великое стечение народа не даст поводов к беспорядкам, что более, чем когда-либо, глас полиции будет уважен, но что, со своей стороны, правительство, имея попечение о спокойствии жителей и предвидя, что дома будут пусты и без нужного надзора, оно не оставит удвоить бдение свое всеми мерами, от него зависящими, а потому и просит всех быть покойными и не верить всем нелепостям, праздностью распускаемым, и проч. Это все бы прекратило. А то князь поставит себя в неприятное положение и заслужит нарекание справедливое всех тех, коих не допустит принять участие в отдании последнего долга, – кому? Обожаемому государю! Я, может быть, ужо заверну к князю, чтобы сообщить ему мои мысли.

Александр. Москва, 28 января 1826 года

Князь Дмитрий Владимирович желал меня видеть, я был у него, но не застал; а так как я сам желал с ним о многом переговорить, то заехал к Новосильцеву, его адъютанту, коему все передал. Он очень одобрил мои мысли и уверен, что князь со мною согласится. Я вчера этого коснулся слегка в письме моем к тебе; жаль, что не имею копии с бумаги, которую отдал в оригинале, черновую – Новосильцеву. Ежели состоится, пришлю тебе, может быть, завтра. С Новосильцевым о тебе речь была: он, старуха-мать, сюда прибывшая, и вся их семья тебя любят без ума, за что и я их также люблю. Надобно признаться, что этот Новосильцев один из лучших чиновников, окружающих князя Дмитрия Владимировича, у коего, по несчастью, множество сволочи.

Александр. Москва, 29 января 1826 года

Цесаревич изволит извещать князя Дмитрия Владимировича официально, что Кюхельбекер схвачен в Варшаве унтер-офицером, с коим он начал говорить на улице и коему показался подозрительным. Он был в нагольном тулупе.

Вчера был большой обед у предводителя можайского, Камынина; только вдруг падает на стол ужасный кусок штукатурки, коим многие были переранены, между прочими Рахманов, Павел Александрович, Жихарев, а более всех – генерал-майор Толстой и Протасов, коему ушибло очень больно плечо и нос.

Благодарю очень за отправление письма к Сегюру; желание покойного графа исполнится, а графиня, которая все иначе видит и делает, чем мы, три дня, ежели не два, после смерти мужа писала сама к дочерям, возвещая им просто о смерти отца по почте, прямо на их имя. Ежели Сегюр и Воронцов, коим я тотчас писал, не предупредят графиню, то наварит же кашу эта женщина, которая судит обо всех по себе. Я удивляюсь, что ты не знал о ее католичестве. Она сделала это в 1816 году, во время отсутствия графа, находившегося в чужих краях, и написала ему, что он, возвратясь в Россию, найдет ее твердою уже в сем исповедании. Ты можешь себе представить, какой это был удар для него. В самом деле, как мало было в ней к нему доверия, что скрыла от него даже свои планы; будучи человеком умным, он скрыл свои мысли, но не мог более ни помешать свершившемуся факту, ни вернуть графиню.

Бедный граф был совершенный мученик этой капризницы. Всякий день она причащается, что даже и грешно, мне кажется (а аббат Мальзерб говорил: «Невозможно отказать в сем графине, ибо она благодетельница нашей церкви»), всякий день дает она кирке 25 рублей. Христианка, а не любима ни мужем, ни детьми, ни родными, ни знакомыми. Лучше делать счастье всех, нас окружающих, нежели ругать всех, учить, проповедовать, все хулить, все порочить. Я, право, уверен, что она помешана: целый век утверждает софизмы и парадоксы. Заметь, что все наши католички таковы.

Вчера был я у княгини Катерины Алексеевны Волконской; она отозвала меня в спальню и читала мне письмо князя Петра Михайловича. Он было предложил Суханово, но государыня деликатно отклонила, боясь беспокойства для хозяев. Велено было отпустить деньги на отделку Царицына. Княгиня жалуется, что Юсупов привносит туда злую волю, что ей не дали денег, что место это влажно и он рекомендует Коломенское. Кажется, что

императрица, прежде чем прибыть сюда, остановится где-нибудь надолго и проведет время коронации в Харькове, Туле и Калуге, и тогда княгиня поедет навстречу своему племяннику. Вот что сказывала она мне также под секретом.

У княгини читал я прекрасные стихи Дмитриева [Михаила Александровича] на кончину государя покойного. Послал взять, – не дают; говорят, что переплетают, а так не продают. Досадно, хотел тебе послать, а мысли, стихи и чувства преславные!

Еду в Кремлевскую экспедицию, где узнаю жилище Багреева, да и посмотрю на свою подушку и ношу в день процессии. Вчера встретил я колесницу; ее объезжали в 8 лошадей, и пустую впору везти, а с гробом 70 пудов весу, да 12 человек будут стоять на колеснице. Палили около лошадей, чтобы их приучить к стрельбе и шуму: смирны.

Александр. Москва, 2 февраля 1826 года

Ну, сударь мой, вчера были мы с женою, по протекции шталмейстера Юшкова, в экзерциргаузе, где видели, как запрягали к печальной колеснице лошадей и как возили ее по огромной сей зале. Не могу скрыть от тебя, что Юсупов осрамился. Говорят, что колесница эта стоит 1500 рублей. Да здешнее дворянство охотно сто тысяч пожертвовало бы на это употребление своих денег. Ужели Юсупов так скуп на казенные? Прискорбная скаредность! Мишурные украшения теперь уже почернели. Все это очень бедно; вверху, вместо страусовых перьев, какие-то букеты из желтого пуху. Наши дамы охотно пожертвовали бы всеми своими белыми перьями. На черных попонах, чем бы вышить гербы императорские золотом, нашиты бляхи из позолоченного картона. Не знаю, как покажется всем, но нас это не восхитило нимало.

Говорят, что в Курске колесница пылала златом и парчами, а стоила только 16 000 рублей; стыдно, что губернский город перещеголял столицу. Экий этот Юсупов кащей. В подобных случаях нечего жалеть денег; да сверх того, золото и серебро остаются и цены своей не теряют. Желаю, чтобы другим показалось иначе, нежели мне. Я слышу, что в Экспедиции говорят (уж не от стыда ли?), что каретник Алексей Евдокимов жертвует колесницу сию из усердия; но что же это за жертва в 1500 рублей, и идет ли казне – принять подобное пожертвование? Увидим, что скажут те, кои умнее меня. Но в церемониале колесница названа великолепною. Сказывают, будто Юсупов имел стычку с архиепископом из-за помоста в соборе[145], и там тоже бумажный бархат и трип.

Шествие, вместо 4-го, как было объявлено, последует 3-го.

Нам надобно являться очень рано. Многие – Обольянинов, Кутайсов и др. = ночуют у заставы Серпуховской, чтобы рано быть на месте. Гроб весит 70 пудов; 14 человек, кои стоят на колеснице, тоже пудов 70, вот 140, да колесница столько же; мудрено восьми лошадям тащить это на пространстве пяти верст, да еще и на гору, к лобному месту; на колесах же тяжелее. Отчего не на полозьях, также не знаю я. Получил я повестку, завтра к шести часам утра быть в Даниловской слободе, дабы там обще с другими приготовиться к церемонии, а поэтому намерен я сегодня лечь спать в 8 часов и сделать репетицию моему костюму, ибо 19 градусов мороза, а завтра может холод и усилиться. Благо есть этот большой плащ, под коим надевай себе что хочешь. До головы мне нужды нет; многие надевают парики, коим возвысилась цена до ста рублей. Теперь сказывали мне, что у графа Орлова-Денисова[146] была ссора с нашим пьяным губернатором Безобразовым. Очень может быть; он и не пьяный-то не знает, что делает и говорит. Сказывают, что Орлов в Серпухове нашел все в беспорядке.

Александр. Москва, 3 февраля 1826 года

Поутру было 18 градусов холода, почему и приходил сказывать квартальный, что, вместо назначенного часу шестого, собираться в десять. Я мог поспать два часа лишних, что совсем не худо. Теперь только 11 градусов, и это порядочно. Еду я с тестем. Только тугой мне день: ибо, придя в собор с процессией, назначен я еще и остаться тут на три часа на дежурство с графом Никитой Петровичем Паниным[147], с Иваном Ивановичем Дмитриевым, с князем Сергеем Михайловичем Голицыным, с Ланским, а шестого не помню. С такими товарищами не скучно будет. Сказывала Обрескова, что множество идет и едет в Коломенское навстречу тела государева, и она была в числе оных.

Александр. Москва, 4 февраля 1826 года

Устал я очень, мой милый и любезный друг, но опишу тебе хоть вкратце печальную процессию вшествия тела государева в Москву. Ты удивишься, что я только что проснулся. Но тотчас по постановлении тела покойного государя в Архангельском соборе, должен я был тут остаться до шести часов утра. Приехал домой разбит от ходьбы, а там от стояния на ногах, но исполнил с душевным удовольствием священный долг. В Даниловской слободе. Съехались мы в трактире одном, где было набито битком всеми чиновниками 9-го отделения. Множество нашел я тут знакомых. Шепелев сделал славный завтрак и всех нас накормил. Ждали-ждали; наконец провезли из Москвы печальную колесницу

(кажется, ей бы должно быть тут с вечера), которая и остановилась недалеко от нашего сборного места; провезли потом в каретах четырехместных регалии; началась рассортировка. К нам принесли множество ящиков с подушками орденскими. Началась перекличка. Кто-то не явился, а потому и сделалась перемена; все подвинулись по старшинству вперед, а мне вместо Серафимов досталось нести Сардинскую Анунсиаду. Наконец в 12 часов стали мы тянуться и входить в заставу; все шло довольно дурно. У многих, несших подушки, недоставало одного, а у иного и двух ассистентов; расстояния между орденами не были ровны, не одним все шли шагом и проч. Гедеонов, обер-церемониймейстер, и нашего отделения церемониймейстер Горяйнов только что парадировали взад да вперед верхом. Однако же я решился на них напасть. Из запасных чиновников дополнили ассистентов, дали всякому расстояние, и стали наблюдать, чтобы оно всегда было ровно.

Не доходя до Калужских ворот, процессия стала, и мы стояли более часу гораздо. Я узнал после, что была большая перебранка у Орлова-Денисова с Юсуповым. Как поставили тело на новую колесницу здешнюю, то вышло множество недостатков. Первое – была она не на рессорах, Орлов жаловался, что тело растрясет; думали наскоро пособить тюфяком. Второе – как тело поставили, то Соломка и Илья заметили, что на первом ухабе гроб может свалиться. «Да как же вы везли, – спросил князь Юсупов, – до сих пор?» – «Да у нас там 12 винтов, кои держали гроб». Надобно все это отвинчивать от старой и приделывать к новой колеснице, отчего была великая остановка и много перебранок, так что Орлов чуть не велел поставить гроб опять на старую колесницу. С Юсуповым все перебранились, так что он сел наконец в карету и уехал в Кремль, где у Спасских ворот встретил процессию. В церемониале забыли безделицу: означить места генералов и флигель-адъютантов. Только граф Остерман, встав за гробом, сказал: «Я здесь пойду, и мои товарищи, конечно, последуют моему примеру». – «Где же я пойду?» – спросил Юсупов. «А мне какое дело до этого! Государя видали и без вас; а в сражениях, в обществах и на улицах государь всегда был сопровождаем *нами».* — «Я пойду с вами рядом». – «А я повторяю вам, что мне до вас дела нет; ступайте, где хотите, а мы пойдем здесь». Так и сделалось. В духовной процессии тоже была перемена. Филарет просил как милость следовать за гробом, на что согласились для него собственно; но большая духовная процессия была на назначенном ей месте по церемониалу.

От Калужских ворот вдоль по Пятницкой улице все пошло уже гораздо порядочнее. Я не могу тебе описать, как прелестна

была картина, ибо видел только происходящее около меня, но знаю то, что время было прекраснейшее, при летнем солнце шесть градусов мороза. По левую сторону стояло в два ряда войско, сделавшее «на погребение», а с правой поставлены каждые пять сажен столбики с веревкою, оставляя для народа место пространством от домов к улице сажен двух; остальная часть улицы была вся открыта для процессии, усыпана песком и сглажена, как английская дорога. Описать нельзя бесчисленное множество зрителей: окна, заборы, крыши даже довольно отдаленных от улицы домов были усеяны народом и убраны черным сукном; но что меня особенно изумляло – это смертная тишина, уныние, которое я читал на всех лицах. А ты не забудь, что они смотрели на меня и на Анунсиаду. Что же было, когда показывалась колесница с телом? Говорят, что тишина эта была прерываема только слезами, рыданиями: все одною рукой крестились, а другой отирали слезы. Мансуров мне говорил вчера в Собрании: «Конечно же, колесница и все прочее могло и должно было быть гораздо величественнее; но спокойствие, тишина и скорбь, написанная на лицах бесчисленного населения, растрогали бы императора, ежели б покойный с неба мог увидеть Москву. Полиции не пришлось и слова сказать, ни одного «тише, молчать». Ежели б жители оставались спать по домам, и то не было б тише». И точно, это правда.

Когда я входил в Спасские ворота, на них было ровно половина четвертого, в пять с половиною тело привезено было к Архангельскому собору, где мы поставили всякий свою регалию на назначенное место. Я же не выходил из собора, яко дежурный у тела. 12 донцов и 8 солдат пресильных (кои это делают от самого Таганрога) внесли в церковь, по сделанному от колесницы до дверей пологому настилу, гроб, придерживаемый генерал-адъютантом Потаповым, на приуготовленный катафалк, коего рисунок очень хорош, но украшения всюду являют юсуповскую скупость (подбито тафтичкою по 1 р. 50 к. аршин и которая сквозила). Началась панихида; после Филарет с духовенством лобзали останки бесценные, а после все царевичи, князь Дмитрий Владимирович, генерал-адъютанты и так далее. У правой стороны гроба стоял генерал-адъютант, а у левой (в головах) – флигель-адъютант. Первым очередь досталась Ожаровскому и Алекс. Строганову; потом (все через три часа) Розену и Василию нашему, там Потемкину и Шкурину, там Сипягину и Герману, а там Бороздину и Мансурову. А я-то каков, все оставался в соборе, только в 6 часов приехал домой на минуту пообедать и своих посмотреть. Я, право, не видал, как время прошло; стоял я все у гроба, смотрел на поклонщиков и говорил с Васей, Мансуровым,

Германом; они мне рассказывали про вояж, ая = про Москву.

Как я буду теперь дурачить и смеяться над глупцами, кои трусили, уезжали из Москвы или просили часовых для себя на это время. Да я своей головою ручался моей жене и всем, что весь город будет покоен, что вид гроба Александра I заставит все на свете забыть и что в народе одно только будет чувство: *скорбь*. А, конечно, бездельники были деятельны и рассеивали разные глупые слухи, кои дураков пугали. Стыдно только для здешней полиции, что она не доберется до источников. Взяться бы за тех, кои повторяют такие нелепости, тогда дошли бы и до выдумщиков, до этого адского источника, откуда сеют ужас, недоверчивость. Благоговение народа было таково, что нельзя не быть тронуту; все в том согласны, кроме некоторых шалунов, кои, к сожалению, князя Дмитрия Владимировича окружают, а должны бы говорить совсем противное, ежели бы и не так было дело. Больно, право, видеть, какая дрянь его окружает, и сколько они делают вреда своему начальнику.

Надобно было видеть, с каким чувством все прикладывались, все почти в землю; иной не смеет почти коснуться гроба, а целует только ступеньку, обитую бархатом; тогда генерал или флигель-адъютант, или из нас кто-нибудь указывают на гроб и место, которое надобно поцеловать. Хотя и было объявлено, что собор запрется в 7 часов, и хотя все устали, быв на воздухе в ожидании от шести часов утра до шести вечера, но во всю ночь были поклонщики. Орлов говорил мне, что в других местах народ отбивал почти часовых, что здесь мало для такой столицы. «Погодите до завтра; будет все это, увидите, что повалят, – отвечал я ему, – теперь весь город думает, что собор заперт». Однако же ночь не была потеряна: дабы доставить всем удовольствие приложиться к бесценному праху, впускали солдат здешнего гарнизона. Наше дежурство состояло из действительного тайного советника графа Никиты Петровича Панина, Ивана Ивановича Дмитриева, князя Сергея Михайловича Голицына, Дениса Давыдова, Ланского и меня, да двух сенаторов, кои менялись всякие три часа, как генерал-адъютанты.

Вот, любезный друг, вкратце вчерашний день. Я не мог судить обо всем в целом, но сказывают, что сие было величественно и внушительно. Я знаю, что картина, которая представилась взорам моим, когда я вошел на Москворецкий мост, никогда не изгладится из моей памяти. Представь себе этот Кремль, сияющий от золотых верхов; пушки палят, все стены, крыши унизаны людьми, кои издали казались мухами, и это бесчисленное множество людей было как бы окаменелое. Нельзя описать тишину, которая царствовала всюду. Тело послезавтра

отправляется тем же порядком из собора к Тверской заставе в Петербург; как бы ни желал попользоваться зрелищем сим, а буду опять в процессии. Я очень доволен своими ассистентами, они мне очень помогли. Я сперва от Даниловой слободы до Калужских ворот дал подушку нести одному, а там до половины Пятницкой улицы – другому, а уж там взял я сам, отчего и не было мне тяжело. Я торжествую, что все прекрасно обошлось. Это можно было предвидеть; но дураки, вральманы, трусихи и злоумышленники в дураках все.

Александр. Москва, 5 февраля 1826 года

Вчера я не выезжал, кроме вечера, и очень сожалею, ибо все восхищены речью, говоренною Филаретом при отправлении панихиды в Архангельском соборе. Мне больно, что я не мог там быть и слышать; верно, будет напечатана, достану и тебе пришлю. Мои люди хотели было идти приложиться к гробу, но не было средства; вообрази, что от Спасских ворот до собора площадь была усеяна народом. Я, в свое дежурство, послал за детьми, и они прекрасно все могли видеть: ибо в первую ночь никого не пускали, так было очень просторно; а теперь тьма валит народу. В городе, как можно было предвидеть, все благополучно, ибо у всех на сердце *одно*: грусть, уныние! Мерзкие бездельники, распространявшие разные вздорные слухи, теперь в дураках. Есть прекрасное слово графа Петра Александровича Толстого, очень мне понравилось. Княгиня Татьяна Васильевна спрашивает у него: «Ну что же, как все было?» – «Превосходно, княгиня! Превосходно, и знаете ли, кто следил за порядком? Само тело императора Александра!»

Я нахожу это слово очень удачным и справедливым. При виде тела государева, право, одно только на уме: молчание, грусть и слезы. Я не могу вспомнить без восхищения тишину, которая царствовала при шествии церемонии, тогда как дома, улицы, крыши были унизаны народом, как бы мухами. Все безмолвствовало, а как поравнялось тело, то тут другая началась картина: окаменелые лица начали одушевляться, иные крестились, другие руки протягивали к гробу, закрывали лица платком, как бы для отдаления от себя горестного зрелища, все поклонялись драгоценному праху, все плакали. Описать этого нельзя, надобно было это видеть. Покуда буду жив, не забуду я 3 февраля 1826 года. Говорят, что купечество и мещане будут просить Орлова позволить везти тело на себе от заставы до первого ночлега. Князь Дмитрий Владимирович едет провожать тело до границы Московской губернии. Один купец положил все дни, что будет здесь тело государя, кормить 60 человек нищих и

отпускать их домой, давая всякому целковый.

Александр. Москва, 7 февраля 1826 года

Вчерашний вечер провел я самым приятным для меня образом. Обресков велел сказать, что приехал домой разбитый, проводив тело государя до Всесвятского, что не выедет никуда и просит приехать на вечер, о чем жалеть не буду. Поехали мы с Наташей и подлинно не жалели, любезнейший друг. Мы нашли тут старого твоего знакомого, ездившего с тобой в Аустерлицкую кампанию на одной телеге, почему тотчас и я с ним сблизился: это Александр. Сергеевич Маркович, фельдъегерь, бывший при государе во время его болезни, кончины и после оной. Он видел все, происходившее в горестное это время, обмывал драгоценное тело, дежурил четверо суток при оном не спавши; открытие тела, бальзамировка – все это происходило в его глазах. Я не мог от него оторваться, и он, видя наше любопытство, основанное на нежнейшем чувстве любви к покойному государю, удовлетворял оное в полной мере. Он рассказывал все и хорошо, и охотно, и с величайшею подробностью. Он очень неглупый человек и множество делал походов и поездок с государем покойным. Он очень тебя любит, и я просил его тебя навестить в Петербурге, что мне именно и обещал. Запрись с ним, любезнейший друг: ты увидишь, какую он доставит тебе отраду.

Мы узнали, что императрица взяла к себе постель, на коей скончался государь, и что она изволит теперь почивать на походной сей постели. Первый консилиум, на который государь очень неохотно согласился, говоря Вилье, что он в нем не сомневается и что все делается по воле Божьей, был 13-го числа. Кроме Вилье, были также Штоффреген и Ренгольд; сей, выйдя оттуда, сказал Марковичу на ухо: «Ничего более не поделаешь!» Золотое время было упущено. Государь не хотел слышать о лекарствах сначала, когда можно было разорвать болезнь. Крепкое его сложение столь оную преодолевало, что еще 11-го изволил сам бриться без всякой усталости, беспрестанно повторяя после: «Не мучьте меня! Дайте мне покой!» И когда императрица стала наиубедительнейше его уговаривать принять лекарство, то император, не имея, чем возразить, просил ее оставить его на некоторое время одного, дабы отдохнуть и воспользоваться наклонностью, которую чувствует ко сну. Когда приставили пиявки, то, как скоро чувствовал действие оных, государь срывал их сам руками и кидал на пол.

Марковича шпага висит на портупее, которую носил государь; мы все ее целовали (по оной можно видеть толщину покойника). Такое сокровище надобно бы беречь, что он и

намерен делать. Наташе обещал прислать из Петербурга батистовый носовой платок государев. Не могу тебе всего пересказать; ты увидишь его сам и будешь расспрашивать. Вчера, 6-го, исполнил я последний долг; однако же и сам видел я процессию, вот каким образом. Сборное место для первых чинов и для несших регалии была тронная зала в Кремлевском дворце. Как тронулись все с регалиями (это было часов в 10), то я попросил своих ассистентов нести подушку за меня, что я их скоро догоню. (Опять была перемена, и мне достался Железный крест прусский.) Процессия начала тянуться к Спасским воротам; а я, сойдя с Красного крыльца, взял вправо и остановился у колесницы, стоявшей перед дверьми Архангельского собора. Так как весь этот штат меня знает, то никому и в голову не приходило сказать мне, что я не на своем месте. Все готовилось уже к принятию тела. Орлов-Денисов и Соломка беспрестанно выбегали из собора учреждать, что нужно. Я покуда вступил в разговор с сидевшим на козлах Ильею; он правил лошадьми коренными. «Ах, Илья Иванович, как ты поседел и состарился!» – «Да есть, ваше превосходительство, отчего. Что моя жизнь теперь?» – «Не можем мы, – прибавил я, – смотреть на тебя без горести; все за тобою ищем государя». Как сказал он: «Ему лучше теперь, он в царстве небесном», – то так и залился слезами; все, около него стоявшие, прослезились. Князь Юсупов сказал было, что неприлично, кажется, кучеру с бородою править парадным экипажем. Илья отвечал: «Так прикажите мне выбрить сейчас бороду; я возил государя живого и теперь не оставлю тела его». Сии трогательные слова решили дело в его пользу.

Генералы и флигель-адъютанты вынесли покров, а там донцы, лейб-казаки и 10 отборных улан Борисоглебского полка вынесли гроб, который с удивительною ловкостью, без усилий и малейшего шуму, поставлен был на колесницу. Печальная музыка играла, огромный колокол Ивана Великого звонил всякие пять или десять секунд, пушки палили; народ, коим башни, колокольни, площадь были усеяны, безмолвствовал. Все плакали, это было точно последнее прощание, даже с телом неодушевленным. Я заметил, особенно в войске, необыкновенное уныние. Картина эта, право, производила мороз по коже.

Тронулась колесница, я поклонился в последний раз усопшему ангелу, сам сел на извозчика – как был, в плаще черном и траурной шляпе, и поскакал мимо Сената в Никольские ворота, чем перерезал прямою кратчайшей линией всю процессию. У Воскресенских ворот нашел я 3-е отделение; я остановился и стал смотреть, а как поравнялось со мной 9-е отделение, то я пошел занять свое место между двумя своими ассистентами и следовал

далее в процессии. Тверская, так же как и Пятницкая, точно была унизана народом, только в окнах был весь высший свет. Я сказал ассистентам в первый раз, что у меня брюхо болит и что оставался в Кремле за нуждою; дорогою жаловался я все тем же, а когда прошли мы дом графини Мамоновой, на балконе коего была Наташа с детьми, то я сказал: «Воля ваша, господа, возьмите подушку, а я пойду куда-нибудь за нуждою». Оба ассистента – архивские наши, то и мог я на них положиться. Я взял влево и за шеренгою солдат прошел к Мамоновой на двор. Очень обрадовал и удивил своих. Я надел на себя капот Ванюшкин, закрылся хорошенько и видел и вторую половину процессии.

Сказали было, что надобно нам идти до Петровского, тогда остался бы я в церемонии; но вместо того у заставы готовы были кареты – для принятия регалий; а как до заставы от дома Мамоновой не будет полуверсты, то я решился уже покривить душою, чтобы смотреть на единственное зрелище. Лучшего места для сего не было в Москве: с одной стороны глаз обнимает все пространство Тверской до дома Козицкой, а с другой видна не только застава, но и Петровское. Сверх того, у самого дома, графини церковь, против коей тело останавливалось и совершаема была лития.

Мне показалось, что светская процессия слишком шла скоро и без черного убранства не напоминала бы печальную церемонию. Надобно бы идти нога за ногу, расстояния не были соблюдены: где куча людей, а где большое пустое пространство. Духовенство шло прекрасно, ровно, тихо; но ему была дана особенная инструкция от Филарета. Преосвященный шел не за гробом, но на назначенном ему месте. Видно, что был замучен, едва передвигал ноги; два сильных дьякона вели его под руки, как бы ребенка. Ну, брат! Как поравнялся с нами гроб, не могу тебе описать, что происходило со мною и со всеми. Народ, бывший в безмолвии, начал креститься, плакать; но удивительная тишина, молчание все-таки не изменялись ни на минуту.

У гроба, на колеснице, стояли дежурные генералы и флигель-адъютанты. Я разглядел Бороздина, Ожаровского, Строганова и Герана. Князь Дмитрий Владимирович ехал по правую сторону верхом в одном мундире, а по левую – граф Петр Александрович Толстой так же. За гробом следовала дорожная коляска покойного государя цугом. В ней вез сердце покойного один из камердинеров, Федоров. После этого надобно было видеть бездну народа; все, что ни было на улицах от Кремля самого, все это пошло за гробом, как саранча; не видно было улицы. Все это хлынуло на Петербургскую дорогу. Тело повезли по новому шоссе, а с боков на пространстве, может быть, ста сажень все так

было унизано народом, что снегу не было вовсе видно.

После совершения у заставы литии народ кинулся в ноги Орлову-Денисову: «Батюшка, позволь, дай нам везти тело на себе!» – «На чем вам везти, ребята? Надобно умеючи, надобно канат!» – «У нас все приготовлено с утра, только позволь, отец, нам». Тогда граф Орлов-Денисов оборотился к князю Дмитрию Владимировичу, чтобы знать его мнение. Князь отвечал: «Я прошу вас также не лишать сего удовольствия жителей столицы здешней, позвольте!» Граф согласился. Лошади были выпряжены очень тихо, четыре каната привязаны к колеснице и опутаны около дышла, четыреста ямщиков московских и около ста человек с Хорошевского завода каретного впряглись и везли тело до Всесвятского; далее хотели следовать, но граф не позволил, боясь опоздать на назначенный по маршруту ночлег. У Петровского дворца гроб был снят с московской и поставлен на дорожную колесницу. Князь Дмитрий Владимирович, губернатор и все предводители провожают тело до границы Тверской губернии. Обресков, от коего я все это знаю, выехав за город, сказал князю Дмитрию Владимировичу: «Я, по долгу полицмейстера, проводил тело сюда, теперь прошу, по усердию своему к покойному государю, позволить мне следовать за гробом до Всесвятского». Князь похвалил его и охотно позволил. Вот, мой милый друг, вкратце вчерашний день.

Я встал в 6 часов утра, чтобы написаться досыта и не иметь помехи. Я достану и пришлю тебе маршрут. Нет, каково же! Наташа, боявшаяся всегда мертвых и похорон, была на панихиде, целовала гроб. Вчера не мог я ее оттащить от балкона, все смотрела вслед за колесницею, так расплакалась, что и меня туда же вовлекла. Сегодня воскресенье, она пятидесяти нищим дает обед на дворе нашем в память покойного государя; после отпустит их, дав всякому (что смогла) по рублю на человека, чтобы молились за преставившегося ангела. Я не могу не похвалить ее и более бы ее любил, ежели бы мог. «Ах, Боже мой, – повторяет она, – что могло со мною статься? И как была бы я прощена, ежели б не целовала гроба императора Александра?» Я тебя прошу убедительно, ежели графиня Софья [Софья Владимировна Строганова, сестра князя Дмитрия Владимировича Голицына, муж которой был приятелем покойного государя, ездила в Таганрог] прислала тебе драгоценных волос, то сделай колечко, черное все, с кружочком (как то, что ты ей уже прислал с портретиком государя); положи туда хоть несколько волосков императора, – ты доставишь ей несказанное удовольствие. Я буду молчать, и эта атенция от тебя очень ее тронет.

Кажется, все сказал; стану бриться. Князь Василий хотел

заехать ко мне утром, он после обеда едет догонять тело. На письмо твое буду отвечать завтра, а это хочется послать к Рушковскому. Кто знает? И в воскресенье может случиться эстафета. Ты исправляешь одно выражение, помещенное в объявлении князя Дмитрия Владимировича, и говоришь, что тебе кажется, что тело не было отпето. Ты прав, дело прошедшее: можно тебе сказать на ухо, что приятели злодеев 14 декабря распускали разные нелепые по Москве слухи. Все теперь видели, должно ли было оным верить, и сколь гнусна была клевета, выдуманная на верный, бого-боязливый и кроткий народ русский. Сказали, что, когда прибудет тело сюда, народ потребует вскрытия гроба, чтобы увериться в смерти государевой. Какая нелепость! Ужели все сии генералы, адъютанты и все, сопровождающие тело (назовем одного Илью, плачущего на козлах), ужели они и весь Таганрог в заговоре сем – обмануть Россию? Слухи сии, однако же, стали беспокоить князя Дмитрия Владимировича; он думал всему пособить, напечатав, что тело отпето, и напрасно: ибо правда все-таки узнается. Слухи подобные достойны презрения, а не внимания; единственная мера нужная было бы дознаться, откуда истекают подобные слухи.

Вот еще одно обстоятельство. Боялись, бог знает почему, волнения в народе. Командиру Каргопольского драгунского полка, полковнику Суковкину, предписано было опустить палаши. Он ни слова не сказал, отвечал, что будет исполнено, а между тем приказание оставил неисполненным. Он очень умно рассудил и говорил одному приятелю своему: «Я головой ручаюсь за народ; с пятью-шестью бездельниками сладит и полиция, а ежели, паче чаяния, будет их сто, то я усмирю их и палашами драгунскими; зачем подать солдатам подозрение, что мы в народе сомневаемся и подозреваем его верность?» Последствие показало, сколь он здраво и справедливо судил. Новосильцев одного мнения со мною; ежели бы и не было вовсе полиции, такой же бы царствовал порядок и тишина. Опять вспомнишь слова графа Толстого: «Тело императора Александра само и следило за порядком». Во всей Москве в этот день только шесть были взяты на съезжие, тогда как в другие дни среднее число сорок. Губернатор Безобразов сказал князю: «Делайте со мною, что хотите, а я не еду из города». Говорят, что Орлов его ругал, только что не по-матерну, и он боялся повторения.

Купцы собрали тридцать тысяч на раздачу войскам, бывшим под ружьем. Юсупов едет послезавтра к вам, чтобы отвести, по всей видимости, грозу. Эти господа все взбешены на него; в Петровском они не нашли ни чашки чая, ни завтрака. Остерман говорил Орлову: «Да чего ждать нам от татарина?» В первый день

перебывало в Кремле на поклонении тела 81 тысяча, а на другой – 114 тысяч народу. Вчера пир нищих славно обошелся; дети им служили. Наелись и пошли всякий с рублем, молясь Богу за государя покойного. Беда та только, что сегодня явилось еще множество. Они думали, что все повторится.

Боже мой, сколько я сломал копий из-за Киселева[148]; есть ослы, кои думают, что и он та особа неблагодарная, осыпанная милостями государя покойного. Да ежели это он, так как же он не арестован?

Александр. Москва, 9 февраля 1826 года

Багреев сегодня рано должен был выехать. Я тебе весьма подробно и достоверно описал печальную церемонию; он дополнит, ежели я забыл что-нибудь. И теперь все о том же говорят. Добрые люди в негодовании, что бездельники могли оклеветать благочестивый народ здешний. Скажу откровенно, что не худо бы нам, дворянам, перенимать у него. Право, в этих 200 тысячах жителей, сидевших на крышах, за заборами и на улицах, более было тишины, благоговения, скорби, нежели у иного из нас, бывшего в процессии. Мне многие рассказывали, что, когда Башилов поравнялся с балконом, на коем сидела певица Теглиш, он забыл, что несет подушку с регалиями, начал ей кричать с улицы: «Здравствуйте, госпожа Теглиш! Как поживаете?» Надобно быть такому скоту! Отчего же всякий мужик был умнее его? Юсупов сделал церемониймейстерами мальчишек, не имеющих самого понятия ни о порядке, ни о благопристойности. Все это шло слишком скоро, а не печальным шагом. Нет, брат, его дело – оперу итальянскую набирать, а тут надобно было иметь душу, сердце тронутое и преисполненное важности предмета предстоящего.

Слава Богу, что не было еще большего беспорядка и что этот не всех, а только строгих судей поразил. Губернатор объявил князю, что не едет без него на границу; а так как князь поехал туда, то и Безобразов поехал: видно, боялся, чтобы Орлов опять не принял его по-казацки. На Юсупова тут закричали все, что он боялся, видно, чтобы это не дошло до Петербурга: едет туда сам завтра. Пусть наши ошибки обратятся в пользу вам, но я все-таки буду утверждать, что у вас усердие, ревность, благоговение превзойти не могут того, что было здесь. Вот и теперь Беннер от меня. «Боже мой, – говорит он, – как сие трогательно, что наш добрый народ начинал плакать тотчас при появлении гроба императора!»

Можно было предвидеть, что Шульгин не продержится; а так как он здесь все проспал, то нечего было ожидать от него и в

Петербурге. Здесь говорят о Княжнине как о человеке жестоком; из двух крайностей, право, лучше эту, нежели вялая полиция. Здесь отдана князем благодарность большая полиции; канат умеет всякий протянуть по улице, осыпать ее песком – также, – нет, пусть найдет она бездельников, кои сеяли слухи вредные, тогда будет, за что благодарить. Князь Дмитрий Владимирович говорил и мне: «Это салонные слухи». – «Вовсе нет; сплетни, любовные интрижки, семейные ссоры – вот что такое салонные слухи; сии же вредные слухи разносят недоброжелатели». Слухи эти повезли даже в Тулу; сказали, что есть тайные сношения с тамошними оружейниками, что же вышло? Ты видел, как оружейники себя показали. Вот все-то этак выдумывают! Я читал печатное распоряжение здешнего Шульгина. Он говорит точно как человек, ожидающий неминуемое кораблекрушение. Не так поступал полковник Суковкин.

Александр. Москва, 10 февраля 1826 года

У Дмитриева, сочинителя стихов прекрасных покойному государю, была побранка с Вяземским, за которую Иван Иванович Дмитриев на племянника своего и прогневался. На дежурстве в соборе я ему хвалил стихи, а он отвечал: «Они так хороши, что я за них с племянником помирился». «Стало, покойный государь и после своей кончины продолжает делать добрые дела», – отвечал я Ивану Ивановичу. Ему это замечание полюбилось. Ох, часто будем вспоминать покойника! Ты уже знаешь, без сомнения, что императрица будет жить в Суханове, а княгине Екатерине Алексеевне предлагает свою деревню на это время Толбухина; это три версты от Суханова. Императрица рассматривала и довольна планом калужского дома; теперь такового же ожидает из Тулы, чтобы решиться, что избрать: Тулу или Калугу.

Александр. Москва, 16 февраля 1826 года

Смешно теперь видеть, как отпираются все от прошедшего страха; все возвращающиеся из деревень уверяют, что были у Троицы на богомолье, стыдясь сами себя. Слухи были точно, и они до того увеличились, что встревожили Тулу, и я знаю, что Орлов-Денисов, для всякого случая, принужденным нашелся писать князю Голицыну, не требует ли безопасность вверенного ему драгоценного тела, чтобы миновать Москву, и какой в таком случае ехать дорогой и проч. Признаться, на месте князя Голицына я из кожи бы вылез, а добрался бы до глупых этих источников. Все, что говоришь ты мне под секретом, останется всегда свято между нами; но я знал уже в воскресенье, что коронация назначена 29 мая. Не знаю, как поспеют к этому

времени все приготовления. Стало быть, скоро и гвардия будет выступать.

Обедал я намедни у Энгельгардта с Сергеем Львовичем Пушкиным; он мне сказывал, что сын его написал прекрасную трагедию «Борис Годунов»: это первый его опыт, сие много лучше, чем стишки.

Александр. Москва, 18 февраля 1826 года

Лазарев по записке своей звал обедать с двумя приятелями; вместо того нашел я человек 30, как то всегда у него бывает. Кажется, он довольно рассеян, но только и князь Дмитрий Владимирович не прочь от этого. Лазарев сказывал, что приехал к нему вчера. «Ах, здравствуйте, господин Лазарев, как поживаете, хотите ли от меня чего-нибудь?» – «Князь, я еду в Петербург и пришел просить у вас письмо, кое вы мне обещали». – «Какое письмо?» – «Письмо к графу Нессельроде, чтобы дал место при вас здесь, в Москве». – «Да как же так? – прервал князь. – Я было думал, что вы помещены при мне уж давно». Лазарев выпучил глаза и не знает, радоваться ли или печалиться такому комплименту. Ежели будет ждать экспедиции этой, то может дать еще другой прощальный обед. Я ему советовал просто оставить тебя и Нессельроде в покое и выйти в отставку, а там определяйся куда угодно. «Да чиночик (это, кажется, и целый чинище!) бы при отставке надобно получить». – «За что?» – «Четыре года в одном чине, 25 лет служу в коллегии». – «Вы в одно время эти 25 лет служили при всех коллегиях, кои в России; вы также были в Иностранной, как в Адмиралтейской». – «Ведь дают же другим, что же я так несчастлив буду один; ну а нельзя чин, так хоть бы крест Аннинский…» Видя, что я удивляюсь этой претензии, Лазарев тотчас прибавил: «Да ведь без бриллиантов, простой крест!» Смех и горе с этим человеком.

Жена его прехорошенькая штучка! Только, кажется, не дальнего ума; зато жена другого брата, дочь твоего бывшего приятеля Манук-бея, приятна и мила. Я возле нее сидел за столом. Сидели, что не было конца, а по прилагаемому армянскому рескрипту только двух думал я найти гостей.

Александр. Москва, 20 февраля 1826 года

Итак, Серапин нашего полку! Вчера был один два раза обвенчан, раз у Николы на Могильцах по нашему обряду, а другой – в английской кирке. Странно то, что пастор, прекрасный собою молодой человек, влюблен был и сам сватался за Софью Ивановну, а вместо того должен был ее вручить другому. Я приметил в нем большое смятение, но оно продолжалось только

до обеда; тут он так усердно пил за все предлагаемые здоровья, что с жаром рассказывал разные истории своему соседу Келембету, который ни слова не знает по-английски. Пили тут и за твое здоровье, и Марии Константиновны. Серапин был очень любезен и нежен, так что можно надеяться, что к концу года будем у него пить на крестинном обеде, как вчера пили на свадебном.

Александр. Москва, 26 февраля 1826 года

Тесть был у меня – сообщить под секретом, что Тургеневы оба с Бобринским дали тягу в Америку, что их нет уже во Франции, что знает это наверное от графини Вязмитиновой. «Что их нет уже во Франции, это достоверно, – отвечал я, – ибо они уехали в Англию, откуда вот и два письма, очень свежие, привезенные Веллингтоном в Петербург». – «Ежели еще не так, то скоро так будет», – отвечал князь. А спроси, на чем основывает свое мнение, – верно, не знает.

В среду задал нам славный обед Василий Львович, и мы беспрестанно его мистифицировали. Он потчевал «Бургонским», а Денис Давыдов уверял его решительно, что то было «Венгерское», и наш Василий Львович ну бранить Игнашку своего, что перемешал вина; а тот, самый отъявленный мошенник, коего свет видывал, играл дурака, чтобы еще более нас насмешить.

Александр. Москва, 1 марта 1826 года

Вчера поехали мы с Наташей на вечер, по зову Фавста, к Брокеру, а Фавста-то одного и не нашли там, а явился вдруг из Петербурга Алексеев, очень сожалеющий, что с тобой не столкнулся. Рассказывал много о Петербурге. Он тоже в восхищении от императора, коего несколько раз имел счастье видеть; также видел старого своего командира Вельяминова, говорит, что очень состарился и похудел. Сказал ли я тебе, что Брокер привез завещанные мне графом Федором Васильевичем часы брегетовы? Все восхищаются ими, а Саччи говорит: «Эти часы не для вас». – «Почему же?» – «Да ведь это классические часы, кабинетные». Хорош комплимент! Они с репетицией и бьют сами собою часы и четверть часа. Они были заказаны англичанином и не взяты. Граф имел случай купить их за 3000 франков. Алексеевский [то есть подаренный некогда сенатором Алексеевым] брегет буду беречь для Кости со временем, а эти стану носить и вспоминать покойного друга своего.

Александр. Москва, 9 марта 1826 года

Ты говоришь о Ростопчине, что мог бы он и более сделать для

меня; согласен, но я никогда и не касался этой струны, ты знаешь мои чувства, они одинаковы с твоими; а покойник имел эту черту, что дарами гнушался. Бывало, безделицу хочешь ему дать, так откажет шуткою, а часто и сухо, без шутки. Судя по себе о других, и сам ничего не давал. Я не забуду, что в 1813 году богатейший сибирский купец прислал ему при прекрасном, лестном, самом русском письме 10 фунтов чаю из Кяхты, выхваляя славу графскую, проникшую в Китай. Граф послал чай обратно, а купцу написал дружеское письмо. Это простирать уже слишком далеко бескорыстие.

Жаль мне: я послал один только чистый экземпляр, который имел, написанной мною биографии графской к Воронцову, который, как и я, большой обожатель покойного Ростопчина. Велю и для тебя списать, чтобы ты имел это прежде, нежели будет оно напечатано в журналах. Я говорю истинную правду по совести и даже недостатков графа не скрываю. Сколько раз спорились мы за ненависть его к людям, о коих имел он вообще невыгодное мнение. Правда его была колка; один Генрих IV мог бы долго с ним не ссориться.

Александр. Москва, 11 марта 1826 года

Я получил прекрасное письмо от старика Сегюра, пэра Франции, в ответ на мое, что ты ему доставил. Между прочим есть и такая фраза: «Благодарю вас за печальные и трогательные подробности, кои соблаговолили вы мне сообщить; они драгоценны мне, как и все, что напоминает о благородных чувствах, возвышенном характере и добродетелях друга, коего мы утратили. Со смертью графа Ростопчина Россия потеряла одно из блистательных своих украшений. Услуги его у нее отняты, но слава его останется ей навеки, а слава империи слагается из славы людей знаменитых, ее прославляющих». Вот что пишет умный и славный дипломат, и чужой, а у нас молчат и расхваливают каламбуры покойного Александра Львовича и заслуги пьяного Андрея Семеновича Кологривова.

Александр. Москва, 13 марта 1826 года

Вот и Жихарев явился звать к себе обедать с Иваном Ивановичем Дмитриевым, Василием Львовичем, Вяземским и проч. Поеду. Я покойнее теперь. Ему пишет Жуковский: «Увы, Николай Тургенев потерян для России!» Эти слова все объясняют; видно, сбылось, чего все мы боялись. Жаль и его, и брата Александра, коего это огорчит несказанно.

Александр. Москва, 19 марта 1826 года

Князь Дмитрий Владимирович очищает свой дом для великого князя Михаила Павловича, скоро сюда выезжающего с великой княжною; она здесь изволит родить. Князь нанял для себя дом Андрея Семеновича Кологривова на бульваре.

У Юсупова была большая контра намедни в концерте Собрания, и с кем же? С Бартеневым, который его в пух отшлепал, за какие-то места [вероятно, Александр Иванович, дядя известной позднее певицы Прасковьи Арсеньевны Бартеневой]. Юсупов говорит: «Извольте встать, это дамские места». Бартенев отвечает, что, приехав ранее, он садится, где хочет, что он довольно имеет воспитания, чтобы уступать место свое дамам, ежели не будет у которой где сесть, но что приказаний его, Юсупова, он слушать не намерен и что останется на своем месте. «Вы жить не умеете», – «Нет, я жить умею, а не умеет жить тот, который командовать хочет равному себе дворянину, там, где всякий входит за свои деньги». Юсупов с носом отошел. И охота связываться с мальчишками! Вот что выигрываешь от обедов в трактирах с шалунами. Только и слышно о подобных обедах трактирных, на кои и князь Дмитрий Владимирович тоже ездит. Меня Вяземский приглашал намедни, но я не поехал. Эти вещи хороши изредка, в самой маленькой приятельской компании.

Вчера был очень приятный обед у Пушкина. Иван Иванович Дмитриев, Вяземский, Денис Давыдов, Ланской, Голицын, что с тобою дежурил в соборе, Сонцов. После обеда долго болтали, балагурили. Иван Иванович очень развеселился и нас смешил. Только все очень сожалеют о Карамзине, любя его душевно; все желают, чтобы он поехал в Италию, но через Москву: здесь душа его нашли бы отдохновение, друзей и многие отрады. Карамзин принадлежит целой России и всем русским, яко наш историограф.

Я вчера послал тебе второй том «Писем морского офицера»; тут досталося графу Орлову, говоря о его «Записках о Неаполе», многое очень основательно. Поццо в Париже говорил мне почти то же самое. Орлов являлся более французом, нежели русским. Я вчера спорил с Дмитриевым и о том, что неловко русскому сенатору печатать книгу на французском языке, когда не касается его сюжет именно одной Франции. Иван Иванович кончил шуткою, что лучше знать французский язык, нежели никакой, как многие[149].

Александр. Москва, 3 апреля 1826 года

Я познакомился с Панкарре. Он нанял один только дом для Мармонта, а для графа Ферроне он еще не решился. А нанял он дом Александра Борисовича Куракина в Басманной. Он признался, что это несколько далековато, но сообразуется со

вкусами маршала, кои ему известны: то был единственный дом, который мог ему подойти; ибо он огромен, имеются при нем и конюшни на 30 лошадей, и каретный сарай на 18 карет, и все остальное соответственно.

Мне досадно, что виконт уже уезжает, чтобы возвратиться к вам, и я не смогу более быть ему полезен; я видел его у Корсаковой, так что он совершенно кинулся в свет. Москва ему необыкновенно понравилась. Он говорит то же, что все остальные: вот настоящая Россия! Сегодня, верно, его увижу у княгини Зинаиды на концерте. У нее поется кантата ее сочинения, на слова ее же сочинения, и которые я тебе тогда же доставил; сюжет – кончина покойного государя. Увидим, что такое; она поет сама главный голос, будут хоры и проч. Говорят, будет более ста человек.

Александр. Москва, 6 апреля 1826 года

Великая княгиня еще не бывала, ожидают ее высочество завтра; а давеча шел я мимо и видел, что еще работают, то есть красят деревянную, вновь строенную галерею, которая связывать будет большой дом с флигелем, где была канцелярия князя Дмитрия Владимировича. Шафонской очень будет рад этому гостинцу, а то ему приходилось все бегать к князю с бумагами через двор, иной раз по дождю и дурной погоде. Ваши знаменитые гости ехали к вам – хлопоты тебе; теперь уезжают – тебе опять-таки хлопоты. Приехал тесть; говорят, что он и товарищи его все в восхищении. Государь изволил сказать Кушникову, что очень доволен московскими сенаторами и Сенатом, и на вопрос Кушникова, может ли он это сообщить своим товарищам, государь изволил отвечать: «Не только можешь, но я даже это тебе приказываю».

Александр. Москва, 7 апреля 1826 года

Великая княгиня Елена Павловна изволила вчера прибыть сюда благополучно ввечеру. Народу была бездна, вся Тверская оным сперлась. Мы видели даже множество дам, которые стояли у крыльца, ожидая приезда. Как Москва любит своих государей! Видно было, что тут действовало не одно любопытство. Великая княгиня подходила несколько раз к окну, чтобы дать на себя налюбоваться. О представлениях ничего не слыхать еще; да я полагаю, что не станут беспокоить ее высочество. В ее положении нужен покой.

Вчера обедал я у Вяземского. Тут были Иван Иванович Дмитриев, Василий Львович, Сонцов, безногий Норов, с коим я все болтал об Италии и Сицилии особенно, Денис Давыдов. За

обедом пили за счастливое путешествие Карамзина, и все от искренней души пожелали ему добрый путь.

Я имел письмо твое № 56, но умолчал об оном, ибо известия тут насчет Карамзина неблагоприятны, а Вяземский и так очень тужит и вообще грустит о Николае Михайловиче и маленьком сыне, который болен безнадежно. Василий Львович, как и следовало ожидать, написал четыре стиха на отъезд Карамзина, очень недурные, только не упомню их. Тут же решили напечатать их в «Московском Телеграфе». Обед был и весел, и хорош. Не раз вспоминали мы Александра Тургенева: он бы отличился. Кажется, что и Вяземского очень забирает пробраться во Флоренцию, ежели Карамзины там поселятся.

Александр. Москва, 8 апреля 1826 года

Народ в восхищении от Елены Павловны. Очень всем было мило и приятно, что малютка великая княжна, сидя в карете, когда въезжали в город, всем делала ручкой своею, а великая княгиня кланялась на все стороны. Вчера изволила она быть у Иверской и в соборах, прикладывалась к образам и мощам. Говорят, что представляться ей будут только первые три класса, а вся публика была бы слишком для нее обременительна.

Пишет княгиня Горчакова Шмицу, доктору своему из Вены, что дочь ее, графиня Бобринская, в Ницце очень больна, ноги пухнут и харкает кровью; а об муже ее опять заговорили, что он улизнул в Америку, быв замешан в гнусном этом заговоре.

Печальные слухи таганрогские все еще продолжаются. Вчера получила княгиня Катерина Алекс, при мне письмо от князя Петра Михайловича, он ничего не говорит о здоровье государыни и пишет: «Ничего нового касательно отъезда».

Александр. Москва, 12 апреля 1826 года

Третьего дня умер старик-богач, князь Петр Иванович Одоевский. Молодому Ланскому, Сергею Степановичу, достается 5000 душ; видно, он не очень огорчен, что я в тот же день встретил его на улице, гуляющего с сыном. Иные говорят, что покойник завещал великие суммы на богоугодные дела. Заехал я к Вяземскому, говорят: нет. Не пешком ли ушел гулять? Нет, уехал в Остафьево, повез туда хоронить тело сына маленького. Полагали, что он проживет еще месяц и более. Надобно радоваться, что он умер: жить не мог, быв в злой чахотке, а только мучил окружавших его. Бедный Вяземский чрезвычайно смутен, – сказывал мне вчера Иван Иванович Дмитриев. Дай Бог ему этих трех сохранить, ибо четвертая, дочь, тоже очень хила, кажется; зато уж Павлуша его – богатырь.

Забывал я тебе все сказать, что отыскался в Лопасне молодой гений, мужик, который пишет картины, не учась никогда ни живописи, ни составлению красок. Нащокин, войдя в избу, тотчас узнал портреты старика и старушки хозяев, написанные хорошо очень, схожие и в прекрасных этюдах. «Кто это писал?» – «А вот сын мой». – «У кого и где он учился?» – «Ни у кого, нигде». Нащокин убедил отца отпустить сына в Москву. Когда показали ему царские портреты Дау, он остолбенел: тут понял, как можно и должно рисовать; но после первого восторга многое начал критиковать. Наконец, дома написал прекрасный портрет покойного государя, большой, во весь рост. «Как мог ты это написать наизусть?» – спросил его Нащокин. «Нет, ваше превосходительство, я ходил раза три в залу-то, где царские портреты, да долго всматривался; а то как же бы мне написать? Вот государя Николая Павловича я напишу получше, это еще более врезалось мне в голову». Почему не сделаться ему Рафаэлем? О гении сем писали, говорят, Шишкову. Это будет пара поэту Слепушкину.

Александр. Москва, 14 апреля 1826 года

Постное кушанье меня беспокоит, а нечего делать, да и жаловаться стыдно, правду сказать. 51 неделя посвящена на обжорство, можно одну посвятить на пост. Когда больные бываем от объедения, то не жалуемся, а в Страстную неделю охаем. Я, видно, славно проповедую; только лучше бы молчать да не жаловаться. Вчера иду я по бульвару в четвертом часу, никого уже не было, я пробирался домой обедать, встречаю двух дам в черном, – и платья, и шляпки, и вуали даже черные; одна постарее, другая молодая, белая, свежая, прекрасная собою. Что это за незнакомка, думаю себе, а только дама комильфо в полном смысле слова. Попадается мне тотчас Шот. «Вы внимательно рассмотрели эту даму?» – «Ну да, я как раз собирался спросить вас, кто это». – «Великая княгиня Елена!» Экая я скотина: не догадался по беременности, по двум нарядным лакеям в черной ливрее; пошел еще раз, но она изволила уже уехать. Она показалась мне очень красивой.

Мне всегда было прискорбно, что я никогда не видал почтенного Семена Романовича Воронцова. Я так много о нем наслышался хорошего от друга его покойного, графа Федора Васильевича, да и ото всех, что желал всегда его узнать лично. Граф нежно его любил. Уж его за то любить должно, что он дал бытие такому человеку, каков наш вицерой полуденной России. Пора бы этому быть уже у вас.

Александр. Москва, 15 апреля 1826 года

Великой княгине представлялся глава со знатнейшими купцами. «Не хотите ли видеть мою дочь?» – изволила она спросить. «Мы не смели, – отвечал Куманин, – о сем просить ваше императорское высочество, желаем удостоиться счастия сего». Все стали подходить к ручке. После первого купца с бородою она от непривычки, думая, что он ее замарает, начала поглядывать на ручку, вертеть ее и обтираться, потом привыкла и одного купца взяла за бороду. Великая княгиня покачала головой, говоря: «Это нехорошо, так не делают!» Тогда малютка нагнулась и поцеловала купца в лоб, как будто прося у него прощения. Купцы в восхищении от милостивого приема великой княгини. Один из них сказал громко в передней, выходя оттуда: «Против таких-то ангелов наши бояре и князья восставать осмелились! Тож, подлинно, князья отличились, нечего сказать!» Это передавал мне Девиер, которому рассказывал один из купцов, бывший на этой аудиенции.

Александр. Москва, 17 апреля 1826 года

Очень мы рады, что князь Сергей Иванович будет сюда; станем его встречать, как подобает встречать человека, везущего корону императорскую. Кажется, он чудно округлил свои дела: 7000 рублей жалованья в год – отличная вещь, по крайней мере у нас здесь, в Москве. Можно тянуться кое-как.

Вяземский приехал из Остафьева грустен и по сыне, и по Карамзине. Я ему сообщил, что ты пишешь о сем последнем, он его серьезно любит. Кстати, вот записка от Вяземского. Его неотступно просит генерал Кнорринг, служащий у цесаревича, о родственнике своем, прекрасном человеке, у коего большая семья. Я прочитал письмо генерала; он говорит: «Я бы обратился к господину Булгакову, о котором сказывают мне столько хорошего, но не имею чести его знать», – и проч. Нельзя ли дело это устроить? Вяземский говорит, что дело это тебе уже известно через Тургенева.

Александр. Москва, 21 апреля 1826 года

Вчера был я у Новосильцева; он сказал, что брат ему пишет, что имения, деньги и все, что было назначено на построение Воробьевского храма, отбирается от Витберга и отдается принцу Виртембергскому, для сооружения предположенного Петром Великим. Это можно было предвидеть, вещь была несбыточная. Покойному государю, начав, неловко было оставить предприятие, а Витберг напоминает армянина, который взялся любимого сына какого-то шаха выучить говорить, с тем, что ежели не выучит в 30

лет, то отрубят ему голову. Как можешь ты брать это на себя? – А вот как: через 30 лет умрет или шах, или сын, или я, а между тем плата идет мне большая. Я полагаю, что церковь, хотя и не колоссальную, все-таки выстроят, для исполнения обета императора покойного и в память незабвенного 1812 года.

Александр. Москва, 23 апреля 1826 года

Едем с женой к графине Вязмитиновой; звала обедать, да нельзя: отозваны мы к Хрущовым, богачам, на Пречистенку; вообрази, что у них готовят обед на 260 человек. Гулянье едет мимо их окон, а оттуда к тестю на вечер, тут же, на Пречистенке. Время у нас удивительное: 26 градусов жару на солнце, все распускаются на березках листья, все это преждевременно. Боюсь, как грянет снег или мороз (а это и в мае бывает), так все пропадет.

Александр. Москва, 24 апреля 1826 года

Весть о Карамзине очень нас всех обрадовала, особливо Вяземского. Ай да государь наш! Сохраня здоровье Карамзина, он заслужит благодарность всей России за 11-й, 12-й и все следующие тома российской истории, а фрегат этот соделается пером, коим историограф будет писать. Италия будет бумага, а Средиземное море, видно, чернилами. Не скоро же он их испишет! Вот какой вздор тебе пишу. Стало, что нечего говорить; да и подлинно так. Говорят, что Шепелева дом нанимают для Девоншира за 65 тысяч на время коронации. Ну, уж тут есть, где праздник дать.

Александр. Москва, 26 апреля 1826 года

Благодарю тебя за подарки, две медали и рисунок памятника, который имеет быть сооружен в Крыму для князя Потемкина. Полагаю, что все это для меня, ибо письма при посылке не было. Вот так-то вознаграждаются заслуги! Пожарскому поставлен монумент через 200 лет, а Потемкину – через 40; но они все-таки свое возьмут. Рисунок хорош, только схоже ли изображение князя? Он был благодетель батюшки, который помог ему заслужить памятник сей, особенно в отношении к приобретению Крыма. Поэтому должны мы с удовольствием смотреть на сооружение сие. Я чаю, старухе Браницкой очень будет это приятно. Где же будет он поставлен?

Александр. Москва, 28 апреля 1826 года

Здесь вдруг пошла тревога, что императрица Мария Федоровна изволила сутками прежде выехать в дорогу и будет сюда сегодня. Отчего такая перемена? А один сенатор очень важно и серьезно отвечал: оттого, чтобы поспеть к 1 мая на гулянье!.. Догадлив, нечего сказать. Здесь, что ни скажи, всему поверят. Я слышал, что Шепелева дом взят на время коронации для дюка Девонширского за 65 000 рублей! Ай да Вшивая горка!

А Марьи Ивановны Корсаковой взял Бомбель за 25 000 рублей, и выходит, что Блоом очень дешево нанял свой, да и то месячно.

Александр. Москва, 30 апреля 1826 года

И я тебе стану говорить о новости, всех здесь занимающей. Вчера в 7 часов вечера изволила сюда прибыть императрица Мария Федоровна. Не поверишь, что это было за стечение народа от заставы до самого дома тверского. Многие поехали даже во Всесвятское. Мне сказывал Иван Александрович Нарышкин, что и он там стоял в толпе народной и что государыня узнала его, подозвала к карете и пожаловала ему из-за окна руку поцеловать. К вечеру был концерт у Корсакова; спорили, приехала ли или нет государыня. «Я-то думаю, что ее величество приехала, – добавил Иван Александрович, – ибо я ей и ручку поцеловал». Чуть было не состоялось пари в 500 рублей с Евгением Марковым, который только что с Тверской, где видел бездну народа, ожидавшего императрицу. Только вышло, что государыня

точно прибыть изволила, но во Всесвятское, а не в Москву. Ввечеру город был иллюминован. Сказывают, что ее величество пробудет здесь до прибытия ожидаемой из Таганрога эстафеты. Дай-то Бог, чтобы известия были благоприятны; а Валуева писала к матери, что императрица столь слаба, что не в силах писать, должна довольствоваться подписывать имя в переписке своей с родными. Пишу тебе при ужасном звоне из всех кремлевских колоколов; верно, государыня изволит быть в соборах.

Александр. Москва, 1 мая 1826 года

Сегодня гулянье в Сокольниках. Время бесподобное, жена где-то достала палатку, и мы везем туда детей и звали кое-кого выпить с нами чаю. Кроме того, должен я обедать у Новосильцева; брат его, коему императрица позволила остаться в Москве на время ее отсутствия в Калугу, желает со мною познакомиться, а я еще более желаю с ним познакомиться, зная хорошие твои с ним отношения. Уварова брошюрку «Дань памяти императору Александру» я прочел. Я все того мнения, что покойному государю лучшую дань воздаст не стихотворец пламенный, а умный, чувствительный историк; однако же есть здесь счастливые изречения: «Истина была пищей души его, потребностью разума», – и проч. Известно, что поэт готов прославить всякое лицо, всякий случай, всякое событие. Я восхищался, но тронут не был. Зачем говорит он, что, ежели бы государь пожил еще, он занялся бы внутренним благоденствием России? Разве он это из виду упускал и разве надобно непременно царствовать полвека, чтобы вполне быть великим государем?

Вчера, гуляя пешком, случились мы на Тверской в четвертом часу, то есть в то время, как императрица Мария Федоровна изволила садиться в карету и отправляться в Калугу. Народу была бездна, от самой Тверской до Калужских ворот. Весь этот тракт был полит водою, ради пыли. Государыня очень милостиво кланялась на все стороны. Мило было видеть, как малютка Марья Михайловна была приветствуема в соборе краткой речью Филарета. Как стали ей рассказывать в Архангельском соборе, где и как стоял гроб покойного государя, то не могла она уже удержать слез своих, и все предстоявшие были тронуты и также плакали. Она делала по три земных поклона перед всяким образом в соборах. Говорят, что императрица Елизавета Алексеевна завтра должна прибыть в Калугу. Какое горестное свидание! Несмотря на приглашение Лонгинова, не поеду в Калугу, а разве, со временем, в Суханово. Дай Бог, чтобы все устроилось к спокойствию и здоровью для императрицы Елизаветы Алексеевны.

Вчера был я у Ростопчиной. Подарил я Андрюше экземпляр журнала с биографией отца его; он предоволен и начал переводить по-французски. Я удивлен, что графиня не нашла средства рассказать об этом; она поблагодарила меня за честь, отданную ее мужу. Ее друг и советник князь Масальский также сочинил напыщенную эклогу, но он говорит: «Это вышло слишком рано… я сам люблю графа (какое счастье для покойного!), но… нужно было подождать…» Этот дурак путает жизнеописание человека с биографической заметкой, которая, напротив того, сопровождать должна объявление о его кончине. Кстати, один француз уверял меня на днях, будто Масальский перешел в католичество; сие весьма возможно; не хватает ему только потерять жену, да и жениться на графине Ростопчиной.

Александр. Москва, 4 мая 1826 года

Вчера играл я в вист с князем Дмитрием Владимировичем у тестя. Он мне сказывал, что известия об императрице Елизавете Алексеевне довольно удовлетворительны. Она сутки отдыхала в Курске, вчера должна была ночевать в Козельске, а сегодня быть в Калуге. Другая императрица едет благополучно; ее проводил до границы здешний губернатор, который был сменен калужским. Говорили также о нанятых домах в добавку к прежним. Скажу тебе, что Гудовича на Тверской нанят для (не вспомню – кого), Небольсиной – для шведского, Огарева (бывший Каменского Дмитрия Николаевича) – для прусского, планы шереметевского дома посланы к Потоцкому для Девонширского. Теперь все главные дипломаты, кажется, с домами; даже и посол

бессарабский Балып, как скоро меня разрешит, заключит контракт и доставит задаток.

У тестя моего нельзя обойтись без сплетен. Намедни, у Корсакова на концерте, говорит он с Обольяниновым, у него один разговор: новости! Подходит Евгений Иванович Марков. «Что такое?» – «Да вот, рассказываю о награждениях», – отвечает тесть. «Кому и что?» – «Да вот, Владимирские звезды даны, а между прочим сенатору Куракину и Кутайсову». На это сделал Марков весьма дерзкий и неприличный ответ: «Видно, некому уже давать, что дают сенаторам». Тесть, встав, поклонился и сказал: «Благодарю вас очень; вы, видно, забыли, что и я также сенатор». К этому прибавить бы презрение и молчание. Вместо того князь поехал в Сенат с жалобами ко всем сенаторам и заставил написать в Петербург. Маркову, конечно, может быть нехорошо от этого, но охота и моему заваривать кашу. Его все будут бегать.

Сказали, что цесаревич нездоров. Вздор! Есть от его высочества эстафета к императрице Марии Федоровне; а другая, проехавшая к императрице Елизавете Алексеевне от императора, повезла к ней от государя 100 тысяч денег.

Александр. Москва, 7 мая 1826 года

Вчера мы сидим за столом дома. У нас обедали Метакса и Лоди, который преестественный буфон, ни на каком языке говорить не умеет, кричит и за все сердится, Метаксу вызывал на дуэль. Давно я так не смеялся, так что сказал жене: уж перед добром ли я так расхохотался? Она начала меня бранить за глупое это размышление, и поделом. Тотчас после сего входит Вейтбрехт. Вижу, что он не в себе; прошу его садиться. Он, видя, что до конца обеда еще далеко, просит меня на минуту в другую комнату. Это, признаться, меня встревожило. Он объявил мне горестную весть. Вейтбрехт живет у фельдмаршалыии графини Каменской; к ней была эстафета, с приглашением ехать в Калугу; видно, для церемонии. Государыня скончалась 4-го числа в Белеве. Воротясь к столу, я не мог скрыть своего замешательства, но уверил, что дело касается до одного Вейтбрехта. Я уверен, что коронация отложится. Тело провезут недели три в Петербург, ежели не месяц. Царская фамилия, верно, отдаст последний долг супруге и тридцатилетней подруге Александра Благословенного. Захочет ли государь делать радостное празднество миропомазания в одно время с печальными похоронами?

Я тебя увижу позже, нежели думал и желал. Ежели узнаю, что тело не повезут через Москву (что очень вероятно, ради великой княгини Елены Павловны, от которой это несчастье до родов, вероятно, и скроют), то поеду в Белев, или куда ни будет –

поклониться праху покойного ангела. Говорят, что императрица Мария Федоровна ожидается сегодня в Москву. Бедный князь Петр Михайлович и государю, и императрице должен был закрыть глаза!

Вот что знаю я от Петра Ивановича Озерова, коему было оно пересказано князем Сергеем Михайловичем Голицыным. Государыня Мария Федоровна получила в Калуге письмо от Елизаветы Алексеевны, которая извиняется, что будет днем позже в Калугу, принуждена быв ради слабости своей и для отдохновения пробыть двое суток в Курске. Мария Федоровна, получив письмо, поехала тотчас навстречу по дороге к Белеву. Она встретила эстафету с горестным известием о кончине государыни, продолжала путь и десятью часами не застала покойную императрицу. Она 3-го числа довольно хорошо себя чувствовала, так что кушала за столом со всеми, после почивала и день провела покойно. На другой день, 4-го, в четыре часа утра позвонила и вошедшей камер-юнгфере сказала: «Мне что-то нехорошо сегодня, прикажите позвать Штоффрегена. Который час?» – «Пятый». – «Нет, не надобно, я, может быть, засну». Та же камер-юнгфера вошла через четверть часа, опять нашла императрицу спящую (это было уже вечным сном), однако же Штоффрегена разбудили, он пришел и объявил всем несчастие. Императрица была уже холодна. Она точно погасла, как свеча, без страдания водяного в груди. Штоффреген писал к императрице Марии Федоровне перед выездом из Таганрога, что кончина, вероятно, последует в дороге, но что быть может, что государыня протянет свое бытие и до августа месяца. В Белев отправились фельдмаршальша графиня Каменская, обер-шталмейстер Муханов, князь Сергей Михайлович Голицын, камергеры князь Голицын, молодой Юсупов, камер-юнкеры Похвиснев и Базилевский, жених молодой Грейсерши (им должно было венчаться в воскресенье это, теперь отложено, не знают, на сколько времени).

Императрицу Марию Федоровну ожидают уже в седьмом часу в Москву. Она писала, чтобы объявили горестную весть великой княгине, которой пускали кровь. Это было нужно и без того, а потому и решилась императрица объявить о несчастий. Князь Дмитрий Владимирович, Алединский и Сутгоф исполнили это печальное препоручение. Великая княгиня вчера все плакала, имев какое-то печальное предчувствие; после, как узнала, также много плакала, однако же здоровье довольно хорошо.

Александр. Москва, 8 мая 1826 года

Право, не до того было, а надобно было праздновать

вчерашнюю новорожденную мою Наташу. Было у нас человек с дюжину: Лунина, Риччи, тесть, Офросимов, Фавст, Чумага, Кобылинский, Губарев, Соковнины, Обресковы, Попандопуло. Все были не в духе; один только разговор – о покойном ангеле. Иных подробностей я не знаю, кроме сообщенных тебе во вчерашнем моем письме, любезный брат. Вот тебе стихи, сочиненные княгиней Зинаидою, а французские, представляющие почти такой же смысл, говорят, Василия Львовича Пушкина сочинения. Немного простовато для такого поэта, как он. Наташа подарила мне драгоценность: это письмо премилостивое, писанное ей покойной императрицей в 1802 году; в то время Наташа с нею певала. Когда будем вместе, покажу тебе оригинал.

Александр. Москва, 10 мая 1826 года

Я еду в Белев ужо вечером поклониться телу покойной императрицы и отпеть памяти ее панихиду. Славный у меня товарищ путевой, а именно Фавст. Я не воображал, что можно ему отлучиться, оттого и не предложил ему, да и не говорил о своем намерении. Вчера вдруг говорит он мне: «Ах, будь у меня товарищ хороший, поехал бы в Белев». Мы тотчас в мир устроились и в одно утро собрались. Расходы пополам, нам будет это стоить безделицу, и все путешествие совершится, надеюсь, в 6 дней.

Очень радуюсь ордену Нарышкина, спасибо доброму Воронцову; надеюсь его благодарить за Бахметева также. Я получил письмо от Митюшиной жены, она едет сюда, уже в дороге, очень меня благодарит за хождение за отцом и проч. Ее письмо меня тронуло, это не матушка ее. Что эта делает – уму непостижимо. Взяла известного бездельника Изара [может быть, это шевалье д'Изарн, записка которого о 1812 годе напечатана в «Русском архиве» 1869 г., коего и свои братья называют шельмою; этой шельме препоручает сына и управление имением. Ежели граф это видит с того света, то должен мучиться. Знал он свою жену, недаром ее устранил завещанием; но она, сумасбродная католичка, сочиняет с аббатом Мальзербом письмо к государю. Она думает, что для ее капризов государь разрушит завещание такого человека, каков был покойный граф. И завещание, сделанное по всей форме! Она просит главное попечительство над всем (что и никогда не бывало) и отчуждение Брокера, избранного покойником и испытанного им 20 лет! Не сумасшедшая ли это мысль? Скажи это Воронцову.

Александр Белев, 13 мая 1826 года

Две ночи был я в дороге, да третью ночь вчерашнюю

продежурил у тела императрицы от полуночи до шести часов с половиною. Не мог я отказать доброму князю Петру, да и долгу своему, остаться здесь до воскресенья: это день выноса тела в собор, я должен нести одну из регалий. Я рад, что мой добрый Фавст тоже согласился со мной не разлучаться; три дня ничего не значат. Это ли заслуживала бы покойная? Надобно бы идти пешком за гробом ее до Петербурга.

Александр Белев, 14 мая 1826 года

Вот каково жить в почтовой конторе, занимать гостиную белевского Рушковского или даже и Булгакова, ибо этот Чижов – прекраснейший человек. Он вдруг входит: готовится эстафета в Петербург, не угодно ли туда писать вашему превосходительству? – Как угодно ли? Разумеется, что угодно; стану писать, а вы дайте мне писать до самого нельзя.

Ну, мой милый друг, вчера я долго сидел сперва у доброго князя Петра Михайловича, который очень меня ласкает; говорили о том, о другом, о покойных ангелах, муже и жене, и проч., входит с бумагою Лихачев. Когда опять ушел, то я спрашиваю у князя, доволен ли он им. Вот его ответ: «Как нельзя более; дня не бывает, чтобы я не благодарил вашего брата; он мне подарил *золотого* человека». У него есть еще Максимов, который хорош, но он не Лихачев: тот и дерется при случае, у этого все идет тихо и хорошо.

Потом князь показывал мне малахитовую дощечку с прекрасным камнем в середине, представляющим покойного государя в профиль; очень похож. Рассказывал князь, как ему досталось. Он был послан императрицей Марией Федоровной к покойной Елизавете Алексеевне, в это самое время она скончалась. Князь стал отдавать нераскрытую посылку императрице Марии Федоровне, которая ему сказала: «Знаете ли вы, князь, что это такое?» – «Нет, государыня!» – «Это очень похожая камея покойного императора, которую я посылала императрице. Она не могла попасть в лучшие руки, чем ваши; прошу вас сохранить ее как знак моей дружбы и в память о том, кого вы так любили!»

«Это подарок очень приятный, – сказал мне князь, – но я сам себе дарю другую драгоценность, уж это, как они хотят все, я не отдам». – «А что такое?» – спрашиваю я. «Покойница приказала мне отправить всю без изъятия мебель, бывшую у государя в той комнате, где он скончался в Таганроге, и приказала все это поставить в свою спальную будущую в Суханове; теперь все это должно уже быть исполнено, и эти драгоценные мебели я уже не отдам никому на свете». – «Я бы на вашем месте то же бы сделал;

об этом не справятся, а спросят, так тоже бы не отдал никому». – «Да, я так и сделаю», – отвечал князь. После пришла и княгиня Софья; я и ею не могу довольно нахвалиться.

Вообще я здесь как в раю: все меня ласкают, даже незнакомая женская свита, камер-юнгферы и фрау императрицы. Они прежде уже наслышались о моей душевной к ней преданности, и появление мое сюда без приглашения, бдение ночью – все это им приятно, и я целые часы провожу с ними в беседе самой приятной, как бы со старинными знакомыми. Вечером пью чай у Лонгинова. Со всеми один разговор; все, что слышу о покойном этом ангеле, еще более делает для меня память ее вечно драгоценною. Она тебя любила и отличала, всегда это твердила и дать тебе желала опыт незадолго до кончины своей.

Ну, не могу никак утерпеть, скажу тебе, хотя Лонгинову дал слово молчать, яко о деле, еще не состоявшемся. Вот оно вкратце. Государыня, получив один раз почту, сказала Лонгинову: «Этот Булгаков исполнен внимания и усердия ко мне, я же для него ничего не сделала; мне хотелось бы выразить ему всю мою признательность, он выдающийся слуга. Нет ли у вас в моих безделушках красивой шкатулки с моим шифром?» – «Есть две шкатулки, государыня, одна даже весьма богата; но из них можно устроить одну, ежели вы прикажете». – «Я желаю, чтобы это была ценная шкатулка, которая была бы ему приятна». На это он отвечал: «Мне известны, государыня, возвышенные чувства и бескорыстие Булгакова, и я могу заверить ваше императорское величество, что ежели подарок будет сопровождаться рескриптом, написанным вашей рукой, это сделает его воистину бесценным в глазах Булгакова». – «Ну так приготовьте, – отвечала ее величество, – все, что необходимо, чтобы мы могли отправить ее прямо из Калуги, коль скоро не можем сделать это теперь». Вместо того Бог ее взял к себе. Лонгинов составил записку из некоторых подобных распоряжений государыни, не приведенных в исполнение, и доведет это до сведения императора. Я уверен, что это устроится, но этот драгоценный лестный рескрипт не будет у тебя. Не выдай меня, смотри; меня всякая радость мучает, когда не могу ее с тобою разделить; скорее гораздо грусть в себе сокрою.

Посылаю тебе протокол вскрытия тела императрицы. Лонгинов дал мне это списать; я не имею другой копии, а потому прошу тебя, списав, ко мне тотчас возвратить в Москву. Увы, я без писем твоих! Нечего делать, я не думал быть здесь более суток, но не мог князю отказать остаться до вноса тела в собор; мне назначается одна из регалий. Труды Князевы меня удивляют: раза по четыре бегает сам в собор надзирать работы и приуготовления.

Все это прекрасно, богато, пристойно, и делается где? В таком городишке, каков Белев. Нет, это не Юсупов! Я и Фавст взапуски тебя обнимаем. У этого чудака своя забава: ходит на Оку смотреть, как мальчики удят рыбу и купаются.

Александр Белев, 16 мая 1826 года

Ну, мой милый друг, измучен я, признаюсь тебе; но в душе весело мне: исполнил долг последний против усопшего венчанного ангела. Две ночи напролет дежурил, ни единой панихиды не пропустил, а было их по две в день; по желанию князя Петра Михайловича был в церемонии, нес Александровский орден покойной государыни, в соборе отслушал обедню и панихиду, поцеловал обе ее руки в последний раз, теперь прибежал домой, чтобы не упустить почту и написать тебе хоть пару слов. Наташа тебе доставит маршрут тела, церемониал и проч. Я сам еду в Москву сегодня; только пойду проститься с князем Петром Михайловичем. Он меня так принял, так обласкал, что не знаю, как это воздать; тебе это препоручаю. Обедал я или во дворце, или у него, входил всегда прямо к нему в кабинет, пользовался приятной его беседою, один раз до полуночи; ему есть что рассказывать, а ты знаешь, какой я охотник слушать.

Ну, только этот Волконский колдун: я не понимаю, как он в столь короткое время в местечке, каков Белев, мог так все со вкусом и богато устроить. Катафалк был хоть куда; войска, народ, порядок, время даже – все было бесподобно. Народ тащил колесницу на себе, хотя были и лошади заложены. Я давеча еще видел лицо государыни; оно сберегается очень хорошо, среди лба есть только маленькое пятно, и правый глаз немного ввалился.

Дмитрий Львович [Нарышкин] прибыл сюда вчера и сказывал, что ты здоров. Церемониал получишь ты от Лихачева, мы так условились с ним. Фавст был ассистентом у Андреевского ордена и очень доволен. Ну, брат, житье мне было здесь: все, окружавшие государыню, меня ласкали и как будто хотели за нее возблагодарить за то, что я приехал сюда. Приехав в Москву, стану писать все подробности, мною узнанные касательно пребывания в Таганроге, путешествия, болезни и кончины императрицы, а какие источники? Князь Петр, Лонгинов, мадемуазель Валуева, княжна Варвара Волконская, камер-юнгфера Тиссау и Малишевский. Может ли что быть достовернее? Я имею множество вещей, принадлежавших императрице. Лонгинов едет сегодня в Москву, будет там два дня, а там поедет догонять тело императрицы. В четверг тело идет далее в путь.

Александр. Москва, 19 мая 1826 года

Все, что пишешь о покойной императрице, очень меня тронуло; я уверен был, что ты одобришь мое путешествие. Сожаление твое искренне и почерпнуто в сердце, а не в уме, как у иных. Таково-то произведение Уварова. Чтобы писать о таких вещах, надобно особенно душевное красноречие. Это напоминает мне, что в одну ночь на дежурстве при теле в Белеве сказала мне княгиня Софья Григорьевна, говоря о смерти государевой и о тебе. «Никто, – сказала она, – не говорил об этом несчастье (смерть государева) с таким простым и трогательным красноречием, как ваш брат; он написал одно или два письма моему мужу, столь прекрасных, что я упросила мужа подарить их мне, и надобно сказать, что он не тотчас согласился».

Путешествие мое доставило мне большую отраду, но и взволновало меня сильно. Все, что узнал я о покойной, умножив к ней любовь и почтение, должно было умножить и скорбь о ее кончине. Поди, сравни капризы многих наших дам с ангельским терпением, простотою, ласкою той, которая Россией могла повелевать, а вместо того о всем просила и всякую обыкновенную услугу принимала как бы особенным одолжением или вниманием к ней.

Нельзя было слушать равнодушно провозглашение диаконом императора покойного вместе с императрицею: как их живых поминали за здравие, так вместе и усопших. Как люди и разные обстоятельства их ни разделяли, а Бог все соединял их, и там будут они вместе.

Благодарю тебя за все приложения. Указ о крестьянах прекрасен и много сделает добра; я желал бы, чтобы государь в коронацию роздал тысяч двести душ верным своим слугам, а тех бездельников наказал по заслугам. Всякий получил бы свое: хорошим бы одобрение, а мошенникам пример. В манифесте о кончине императрицы поразила меня одна фраза. Я заметил это и князю Петру Михайловичу: сказано, что кончина последовала по *долговременной* телесной и *душевной* болезни. Только шесть месяцев, что государь скончался; что же разумеют долговременной душевной болезнью?

Князь Петр Михайлович сказывал мне, что когда он ей докладывал, что после покойного государя досталось ей из его личной собственности на миллион бриллиантов разных, то она изволила сказать: «Какая же нужда мне в бриллиантах и что вы хотите, чтобы я с ними делала? Я столько потеряла с императором! Простого платья мне довольно, у меня и без того такие большие расходы».

Все теперь в больших недоумениях: все ждут узнать, когда

будет коронация. Хорошо, что я Бальша избавил от убытков, не заключив контракта. Карета будет и у тебя, и у него в свое время. Желаю здоровья Жуковскому [в это время Василий Андреевич Жуковский тяжело заболел и еще до кончины Карамзина должен был уехать за границу]. Жаль, что Бог таким людям не дает здоровья многих ослов, ни к чему не способных.

Александр. Москва, 20 мая 1826 года

Фавст выходит от меня и две сообщил новости; одну передам тебе для смеху: будто Кушников поехал в Петербург занять место – Канкрина! Вторая весть гораздо вероятнее: что великий князь Михаил Павлович отправился вчера вечером в Белев, для поклонения телу. Я уверен был, что одно положение великой княгини, ожидавшей родов, могло ему мешать ранее исполнить долг сей. Императрица Мария Федоровна отправится 24-го в Можайск. Это, как и следовало ожидать, сигнал для многих сделать то же. Все наши классные и неклассные дамы едут туда же. Княгиня Татьяна Васильевна, Катерина Владимировна Апраксина и проч. и проч. Очень для нас любопытно знать о коронации; как скоро решится, извести меня, токмо для моих собственных соображений. И здесь слухи носились преждевременные, что великая княгиня разрешилась сыном Константином.

Александр. Москва, 21 мая 1826 года

Было вчера артиллерийское учение на Девичьем поле. Великий князь был всюду преследуем и сопровождаем бесчисленной толпой народа; но от этого учение было не лучше. Его высочество был оным недоволен, а музыкой столь был недоволен, что велел ей перестать играть, сказав: «Я думаю, что и качельные лучше вас играют». Он здесь изволит разъезжать в коляске, с четырьмя лошадьми в ряд; поэтому-то третьего дня разнесся слух, что он изволил отправиться в Белев. От большого Военного госпиталя он был в восхищении, повторяя несколько раз, что он никогда ничего подобного не видал нигде.

Заезжал ко мне вчера Виельгорский и сказывал, что Вяземский поскакал в Петербург со страхом, что не застанет Карамзина в живых. Рескрипт государев к сему почтенному человеку писан таким слогом, что должен бы его вылечить; да кроме того, вот награждение истинно царское, екатерининское! Все превозносят душу императора, а есть, конечно, завистники, коим это не нравится. В России всего много, но историограф один. Карамзин посвятил на этот славный, полезный труд половину своей жизни; он, может быть, от этого здоровье свое

потерял. Детей у него множество; быв столько времени любим, уважаем покойным государем, он никогда не пользовался случаем что-нибудь для себя выпрашивать. Со смертью государя все, казалось, рушилось для него; вместо того Николай доказал Карамзину любовь Александра. Дай Бог только бедному исцеления! Виельгорский сказывал, что Вяземский, читая рескрипт или указ (ибо я еще не видал его), плакал, как ребенок, рыдал. Тут сказано, говорят, все, что может только воскресить умирающего Карамзина.

Александр. Москва, 22 мая 1826 года

Андрюша [Ростопчин] препоручен Брокеру и Нарышкину завещанием графа Федора Васильевича; но как удалить мать от прав ее над сыном? Поэтому-то Брокер поставлен в весьма критическое положение. Графиня все пустяки делает: сперва взяла было Изара, но Брокер шепнул ему на ухо, что он может войти в дом по лестнице, но верно вылетит вон из окна; ибо бездельник, как он, не может не только воспитывать сына графа Ростопчина, но даже быть с ним в одной комнате. Храбрый француз тотчас написал графине письмо: «Непредвиденные обстоятельства препятствуют мне взять на себя воспитание вашего сына», – и проч. Графиня очень сожалела, а делать нечего. Она тогда выписала какого-то другого, господина Ружмона, все мимо Брокера; только через месяц оказалось, что и этот не годится, его отослали. Брокер поехал в деревню; этим временем аббат Мальзерб воспользовался, чтобы втереть опять Изара в дом. Графиня говорит, что она будет его испытывать, велела ему ходить всякое утро и быть с сыном по три часа, а между тем определила ему 10 тысяч рублей жалованья и отдает ему управление своего имения. Ее дела непостижимы, она точно пойдет по миру через год. Ее заставили продать задаром лес в Воронове. Право, больно все это видеть; даже Феликс и Терзан, французы, бывшие в доме при графе покойном, и те плачут, видя гибель, в которую влекут графиню.

Этот Мальзерб – самый развращенный человек, живет публично с одной содержательницей пансиона, от коей имеет детей; но ослепление графини таково, что она ему повинуется, как невольник своему хозяину. Ежели не отдадут Андрюшу в лицей или пансион царскосельский, мать его погубит, как и старшего сына, коего она воспитала. Мне так это больно, что я редко и бываю у графини; она холодна со всеми друзьями покойного графа. Андрюша умен и все видит. «Изару не должно при мне оставаться», – сказал он мне один раз. Графиня перебрала у Брокера 36 тысяч рублей с кончины графа, и все это

идет к аббату; стол дурен, на Андрюшу не издерживается почти ничего. Теперь просит она у Брокера деньги вперед до сентября, намереваясь ехать в Вороново.

Александр. Москва, 24 мая 1826 года

Были мы у Закревской, застали ее одну и долго с ней проболтали. Она изменилась к лучшему. Она уж не безрассудная безумица, как прежде, а говорит и рассуждает очень здраво. Сие мне доставило большое удовольствие. Наташа надавала ей советов насчет ее живота и проч. Завтра она едет в Три Горы. Это ближе от нас, и мы будем туда ездить с детьми, коим есть где побегать. Вот письмо к милому Арсению. Дай Бог ему сынка, чтобы только был не в дедушку, а в батюшку.

Вчера меня опечалили известием о графе Семене Романовиче, будто он вдруг очень опустился, и что Михаил Семенович, не дождавшись коронации, отправится в Англию. Дай Бог, чтобы все это неправда была. Впрочем, старику далеко за 80 лет. Надобно ожидать разлуки по естеству. Для бедного нежного сына будет это удар; но ежели примет последнее благословение и лобзание отцовское, то все это большое утешение.

Я себе много крови испортил у этой Ростопчиной. Мальчик не имеет к матери ни любви, ни страха, ни уважения. Намедни сказал он матери о мадемуазель Турнье (швейцарка, которую втер в дом аббат Мальзерб): «Это уличная оборванка, которая вас обманывает, льстит вам; я не хочу ни ее ласк, ни общества. Она достойна самое большее быть вашей прислугой, это лицемерка, у которой всегда Бог и религия на языке». Графиня только отмалчивается. Она Брокеру выговаривала, что он не допустил ее взять в бюро графском письма ее к мужу и сжечь кое-какие бумаги.

В этом Брокер исполнил волю покойного, который, умирая, при мне и при ней отдал ключ не ей, а Брокеру, сказав: «Сберечь мои бумаги до совершеннолетия Андрея». Как Брокеру нарушить волю покойного?

Все здесь едут в Можайск, куда отправляется завтра и императрица Мария Федоровна; к полуночи будет она уже назад. Старуха Голицына и графиня Строганова приехали вчера. Последняя, верно, отправится на поклонение телу.

Александр. Москва, 25 мая 1826 года

Все встают рано и ездят смотреть вступающие в Москву гвардейские полки; но как я этого и нагляделся, и нагляжусь еще после, то остаюсь покойно дома и верю хвалам любопытных. Не только в домах на Тверской, но и на самой улице за веревкою

бывает множество дам. Вчера вступал Измайловский полк.

Фавст получил известие, что заводы Шепелева взбунтовались. Он ему советовал доставить туда поскорее денег в уплату за заработку, которая очень неисправно им производится, а Шепелев вместо того просит послать войско для усмирения бунтовщиков. Войско будет на его же хлебах: двойной убыток. Фавстов совет благоразумнее; лучше пресечь это в начале и не дать двенадцати тысячам душ взбунтоваться, тогда труднее будет прекратить. При старике Баташеве лучше все это шло. Шепелев ввел себя в большие расходы, наняв за дорогие платы англичан и других иностранных мастеров; да и сам живет и здесь, и в деревне чрезвычайно шибко: у него обедают по 30 и 40 человек всякий день, покупает все, что ни увидит. Можно прожиться один раз, но я, право, не понимаю, как проживаются те, коим на нищету падает с неба неожиданное имение на поправление дел расстроенных. Вот так-то был и наш Чижик [князь Сергей Иванович Голицын].

Александр. Москва, 26 мая 1826 года

По поводу 21 мая. Кругликов сказывал также, что у вас в этот день была большая тревога, пушки палили для возвещения рождения великой княжны Елизаветы, и палили *ночью*; полиция не предупредила жителей, и все перепугались. Иной боялся наводнения, иной – нападения шведского флота, а иной – и хуже всего этого; а все кончилось, однако же, радостной вестью. Только я вру: это было не 21 мая, а 19-го: но все равно.

Плакали о бедном Карамзине, читая подробности о его кончине. Вяземский его уже не застал живого.

Ты прав: великий князь точно вместо Белева отправился вчера к вам, вдруг, хотя послезавтра крестины его новорожденной княжны.

Александр. Москва, 29 мая 1826 года

Вчера видел я у нашего Новосильцева (то есть у жены, ибо муж еще не возвращался из Волоколамска, куда поехал со своим князем) вашего Николая Петровича. Он сказывал мне, что был послан императрицею к Ивану Ивановичу Дмитриеву с визитом соболезнования. Дмитриев очень грустен, быв лет тридцать дружен с покойником [то есть Карамзиным. Надобно и мне будет заехать ужо к Дмитриеву. Новосильцев спрашивал меня, есть ли уже указ о назначении Палена. «Какого и куда?» – «Фрица, на Воронцова место, на время». – «Ко мне брат это не пишет. Стало быть, вам и новость». – «Так и я вам сообщу новость». – «Какую?» – «Станислав Потоцкий обер-церемониймейстером». –

«И очень хорошо: наши господа живут все на счет двора, а этот будет в двор проживать». Сказывал также, что великий князь уехал точно по делу содержащихся. Я заметил, что до воскресенья (день, назначенный для крещения) только два дня. «Зачем же и два дня лишних просидеть невинным в крепости?» – был его ответ[150]. Много велел тебе кланяться и хвалил тебя, по обыкновению.

Заезжал я к Вяземской, которая грустна по Карамзину; давала мне мужнино письмо, возвещающее о несчастий. Она завтра собирается со всеми детьми в подмосковную; в доме начались уже разные починки, он отдан внаймы на время коронации, кажется, принцу Гогенлойскому.

Вчера, гуляя пешком, встретил я Петра Львовича Давыдова, шедшего с братом своим Николаем Николаевичем Раевским; этот состарился и совсем глух.

Как же тебя не любить? Пришло ли бы другому почт-директору в голову доставлять целому обществу письма во время их странствования? Как они будут тебе все благодарны, начиная с князя Петра Михайловича и до… Юсупова! Мне рассказывал возвратившийся Вейтбрехт о всех заботах бедного князя Петра Михайловича. В Московской губернии мосты так были неисправны, что князь лазил сам под оные осматривать, боясь, чтоб под печальной колесницей они не рушились.

О коронации, кажется, и сама императрица ничего не знает, а крещение великой княжны отложено до 13-го.

Мне подтвердили, что графиня подала в Гр. Палату. И так хочет она нарушить волю своего мужа и благодетеля, человека, 33 года ее покоившего. Воля умерших всюду и всегда была вещью священною. Она не может уничтожить завещание, сделанное по всей форме графом, когда был он еще на ногах, здоров. Она себя осрамит. Меня мучает то, что она шевелит прах покойного графа. Тут есть обстоятельства столь важные, что нельзя будет Брокеру не прибегнуть к государю. Графиня требует быть опекуншею, требует ключа от бюро, говорит, что хочет сжечь некоторые бумаги; а я был тут, как граф на смертном одре ключ отдал *не ей* (она была тут, однако же), а Брокеру, говоря: «Ты хозяин здесь, бумаги сбереги до совершеннолетия Андрюши», – потом, положив руку жены в Брокерову, он прибавил: «Не оставь мою жену без меня». Верно, Брокер и это так же свято бы выполнил, как все прочие желания покойного. Начало ссоры было за ключ. «Прикажите, – сказала она Брокеру два дня после смерти графа, – принести ко мне бюро мужа моего и дать мне ключ». – «Зачем?» – «Мне надобно многие бумаги сжечь». – «Я вам ключа не дам и сжечь ничего не дам. Граф бумаги свои привел в порядок задолго

до кончины; он слишком был умен, чтобы не знать, что надобно сохранить и что сжечь; впрочем, вы сами слышали волю его, умирающего, я ее выполню. Он ключ отдал мне, а не вашему сиятельству». – «Он не хотел меня огорчать». – «А мне кажется, что, не оказав вам этой доверенности, он более вас огорчил».

Потом завязалась речь о религии. Графиня хотела порочить нашу веру; тут Брокер наговорил ей много жестких правд. Они расстались нехорошо, но вина не Брокера.

Графиня запретила Андрюше ходить к Брокеру, в одном доме живущему. Это не дать ли пощечину, и кому? Тому, кто именно избран мужем ее опекуном. На чем же основывалось это запрещение? Разве Брокер какой-нибудь мерзавец, разве он не сам отец семейства и самый нежный, попечительный? Разве воспитание его детей не делает ему чести? А что сделала графиня из своего сына старшего? Мерзавца, безбожника, игрока, а дочь перевела в другую веру. И Брокер все это сносил без ропота. Она перебрала у него 36 000 рублей, кои все не на Андрюшу, а на католическую кирку и аббата Мальзерба пошли; теперь взяла она вперед все доходы до октября. Там, где мог делать, что она хочет, Брокер делал; но как ему терпеть, чтобы графиня вселяла в сына презрение к религии, в коей он крещен? Она говорит: «Филарет свинья, а ваши попы пьяницы; на спасение можно надеяться только в католической религии», – и проч. Можно ли слушать такие речи равнодушно? Она теперь задрала формально. Брокер будет вынужден все выставить на свет. Она все одно говорит: «Графиня Толстая не только сама переменила религию, но даже обратила сына своего Эмануэля в католичество, и, однако ж, ни император, ни кто еще ей и слова не сказал». Я сказал об этом Нарышкиной, что это не было поводом, что могли не идти на перемену деликта, но коль скоро он указан, закон не может молчать, и особливо в такой важной материи, как религия.

Вижу я, что все сие кончится с треском и самым постыдным для нее образом. Она никогда не говорила со мною об этих делах, а я никогда не хотел начинать беседу о предмете столь неприятном; а может статься, я и смог бы помочь ей избежать неосмотрительных шагов, на кои она пустилась. А бумаг ей не видать! Я советовал Брокеру взять их к себе в деревню: это вернее. Я знаю, например, одну весьма важную, которую мне граф показывал. Надобно тебе знать, что Павел хотел заставить предать императрицу Марию Федоровну Сенату на суд по каким-то подозрениям, конечно, пустым. Графу велено было написать указ. Он больной, в желчи, в огорчении написал пресмелое письмо государю в оправдание императрицы, говоря, что государь себя обесславит таким поступком; на том же письме Павел

написал согласие свое на мнение графа, обременяя его всею ответственностью. Вот черта всем, даже, верно, самой императрице, неизвестная. Граф не любил хвастать своими благородными чувствами *русскими.* Как такую бумагу, русскую, историческую, отдать в католические французские руки графини?

Александр. Москва, 31 мая 1826 года

Княгиня Александра Николаевна Волконская [дочь фельдмаршала Репнина, тогда обер-гофмейстерина] пишет, что имеет нужду до меня, и просит приехать к ней в 12 часов. Надобно ехать, нельзя ослушаться; а может быть, за вздором. Ехать же в Разумовского дом не ближнее место. Она, говорят, вчера как-то упала, представляя дам императрице, и ушибла себе лицо.

Наш старичок Василий Андреевич Клеман имел удар. Мы поехали к нему с Фавстом: рот на стороне, весь багровый, опух. Еще много говорят в Москве о другом несчастном случае. В субботу застрелился молодой князь Голицын, сын князя Сергея Николаевича, племянник твоего князя Александра Николаевича. Вчера был он еще жив. По мнению Лодера, нельзя ему жить, а другие уверяют, что можно жить, но останется уродом: все лицо на стороне и сожжено; нужнейшие для пищи части горла и рта истреблены или попорчены.

Город теперь наводнен гвардии офицерами. Вчера ехал я мимо бульвара; только и видно, что дамы и офицеры. Много, я думаю, потаскают они у нас красоток. Что бы Шереметеву жениться на нашей Урусовой! Многие дамы, и среди прочих мадемуазель Риччи, вышили ковер для комнаты покойной императрицы в Суханове. Этот же самый ковер подносили они Марии Федоровне; на оном цветами вышито: «Наш ангел на небе».

Вчера графиня Риччи представлялась; на то, видно, была воля государыни, но почему имела она хвост в полтора аршина и плерезы в вершок, когда муж ее только что разве в 14-м классе записан Юсуповым в Кремлевской экспедиции? Вот что очень занимает и беспокоит барынь наших. Риччи твердит: «Императрица пожелала меня видеть, а на мне было матушкино платье». «Да этак, – сказал Обресков, – ежели меня станут представлять, я надену генеральские эполеты и красную ленту покойного моего батюшки». Эту Риччи все не любят и рады оказии ее допрашивать.

Александр. Москва, 3 июня 1826 года

Вчера был я у Виельгорского и нашел его в радости. Ты,

верно, знаешь, что ему нехорошо было у императрицы, что женитьба его почиталась противозаконною, и в случае смерти его дети остались бы без бытия и имени. Покойный государь начинал сближаться, но вдруг разными проказами все дело рушилось. Это положение мучило Виельгорского, любящего жену и детей страстно. Графиня писала письмо к императрице, от коей удостоилась получить очень милостивый рескрипт, в коем изволит говорить: «Я получила ваше письмо, сочла должным представить его моему сыну императору и спешу сообщить вам, что ответ, только что полученный мною от его величества, совершенно благоприятный. Приходите ко мне завтра к трем часам», – и проч. Слава Богу, что все это кончится теперь. Я полагаю, что Михаил Павлович помог Виельгорскому в сем случае, столь для него важном. Толковали, что дело никак устроить нельзя было, разве бы Виельгорский переменил веру и пошел в католическую. Но он никогда бы на это не согласился. Уж знаю, как графиня была принята императрицею, перед коей точно виновата, ибо дежурила у нее фрейлиной, тогда как была уже давно тайно обвенчана.

Александр. Москва, 8 июня 1826 года

Графиня Ростопчина провались в Вороново, где успела наделать множество глупостей. Быть ей через два года без куска хлеба. Граф был хозяин, и при Брокеровом управлении, я знаю, на одном масле выручалось 8000 в год; скот был удивительный. Граф заводил это очень долго, равно как и пашню, а она собрала мужиков, говорила им нравоучения, согласилась сделать их оброчными, обложила их в 20 тысяч в год, продала славный лес за ничто и на 12 лет сроку, прогнала старика Шрама, человека честного и лет двенадцать служившего покойному графу. Теперь славный этот скот продается за ничто. Куролесит, да и только! Это бы ничего, пусть себя разоряет, вспомнит когда-нибудь и графа, и Брокера; но зачем шевелить прах своего благодетеля и мужа? Дело, я слышу, идет нехорошо, да и не может быть иначе. Оставим эту иезуитскую воспитанницу.

Александр. Семердино, 25 июня 1826 года

Вы свое дежурство благополучно совершили и исполнили священный долг перед покойной царицей-ангелом. Очень ты меня обрадовал вестью о возвращении милого, доброго Каподистрии. Для чего бы он ни ехал, все рад буду его видеть, ибо нет сомнения, что приедет в Москву на коронацию.

Михайло Орлов приехал с фельдъегерем, жена его еще не родила; говорят, что после родин поедут в деревню, вольно или

невольно, не знаю, всякий толкует по-своему. Алексей, то есть граф Алексей Федорович, тоже в Москве.

Александр. Три Горы, 2 июля 1826 года

Я пишу тебе сии строки у Закревского. Не дают писать; входит то один, то другой, а Закревский в сад зовет. Вечер бесподобный, тихо. Этот сад точно Венеция, в сад превращенная; на одном острове есть славный монумент князю Волконскому с надписью: «Князю Петру Михайловичу Волконскому в знак моей дружбы и уважения». Ай да Закревский! Есть также монумент графу Николаю Михайловичу Каменскому [памятник своему начальнику, графу Каменскому, поставил граф Арсений Андреевич Закревский и в имении своей жены под Подольском, селе Ивановском, позже владении Бахрушиных], но я его еще не видал, не весь сад обходил.

Александр. Москва, 3 июля 1826 года

Закревский должен был выехать сегодня рано; но жена, верно, его удержит, ибо жаловалась вчера, что целый день его не видала и должна еще разлучиться с ним опять. «Завтра утром останусь для тебя нарочно подолее», – был ответ. Много мешкать ему также нельзя, имея письма к императору от государыни Марии Федоровны и Михаила Павловича. Императрица сама вызвалась и объявила Арсению, что она с императором изволит крестить новорожденную его Лидию Арсеньевну. Аграфена Федоровна бодра, как ни в чем не бывало, сидит и ходит.

Весьма сожалею о бедном Григории Орлове: мог бы пожить еще, жениться и иметь утешение, которое не дала ему покойница его жена, то есть видеть детей. Но Бог хотел, чтобы 86-летний его отец пережил его. Весть эта его поразила очень; но говорят, что на другой день уже утешился. Все это богатство пойдет к Паниным и Петра Львовича Давыдова детям, а бедную Новосильцеву нечего считать, ведь теперь и ее сын был бы богач. А Орлов умер, как Шатам, Питтов отец, в русском парламенте [граф Григорий Владимирович Орлов скончался внезапно от удара, в заседании правительствующего Сената: случай беспримерный. Граф Блудов видел в этом Божье наказание за жестокий приговор декабристам, а полученную им тогда Аннинскую ленту называл он *ценою крови]*.

Поздравляю Блудова со второй звездою. Работы было ему немало. Закревский сказывал, что Каподистрия приехал. Не без тревоги будет у вас, хотя и приехал он поклониться гробу своего благодетеля, как ты писал. Гроб этот найдут в крепости и правнуки наши, так что было Каподистрии спешить так? Не знаю,

все ли будут смотреть ему прямо в глаза [намек на графа Нессельроде]. Закревский очень рад его возвращению.

Александр. Москва, 7 июля 1826 года

Я получил также письмо очень дружеское от Воронцова, который рекомендует мне свою старушку и свояченицу Потоцкую-Артюр. То-то, я думаю, Браницкая стара; очень буду рад угождать, в чем могу, этому другу покойного батюшки.

Ну, сударь мой, с Потоцким все идет ладно. В Кремлевской экспедиции его слушают, и Юсупов не спорит. Граф требовал у Малиновского трех чиновников, покуда явятся петербургские; когда они приехали к нему, то он велел им явиться ко мне. Канцелярия еще не устроена, я все сам пишу покуда.

Вчера явился к Обрескову, где я обедал с Фавстом, доктор Попандопуло: «Я вам скажу, что сейчас приехал князь Сергей Иванович Голицын, в Кремле пропасть народу, окружили карету, и говорят, это корону привезли из Петербурга». Мы после обеда пустились к князю, а он было одевался ехать ко мне. То-то было целование! Фавста так прижал, что чуть было ему другую руку не вывихнул. Молодец Чижик! Право, стал моложе. Рассказывал свое прибытие, и я нахожу, что он славно поступил. Юсупов, обласкав его в присутствии своем, сказал: «Ну, ступайте кто-нибудь принять корону, сюда принести»; но наш отвечал: «Простите меня, князь Николай Борисович, я не для своего лица это говорю, оно пылинка перед короною государя, но этой первой регалии подобает высочайший почет. Не угодно ли вам самим сойтить вниз встретить ее и при себе препроводить вверх?» Так отправлялась корона из Петербурга. Юсупов натурально согласился, и вся экспедиция коронационная сошла вниз к четырехместной карете, где была корона.

Александр. Москва, 12 июля 1826 года

Поехал я к Потоцкому, – дома нет, а будет сейчас. Я думал, что делать, а человек говорит: тут только один граф Воронцов [Иван Илларионович Воронцов-Дашков]. Я вспрыгнул от радости, вбежал, и пошло целование, расспросы, рассказы. Между ним и Потоцким не видал, как время прошло. Я ехать, а Ваниша арестовал: «Нет, мой милый, поедем вместе к Юсупову, к князю Голицыну». Все это исполнил, не мог отказать, да сверх того, смотрели дома для него и для графа Ивана Илларионовича. У Юсупова видел я Завадовского; он сказал мне: «Что ты едешь с Нессельроде сюда; тем лучше обоим: к его услугам будет сам почт-директор, а у тебя – товарищ славный».

Александр. Москва, 13 июля 1826 года

Наконец Блоомово дело устроено. Вчера его секретарь Мейер явился рано ко мне, как снег на голову, чему я, однако же, был рад, не смея многое взять на себя. Я тотчас его запряг и повез показывать дома, кои у меня были заготовлены, и оба мы решились на дом генерала Николая Степановича Андреевского, брата лейб-уланского шефа. Славный дом, чистый, убран богато, бронзы, картины, ковры, штофы, даже славный рояль, все это остается, как было при хозяйке, и, по-моему, очень недорого: за 6500 рублей на три месяца. Он рядом с графом Петром Александровичем Толстым в Леонтьевском переулке, недалеко от графа Нессельроде. Нам обоим кажется, что Блоому будет тут прекрасно. Виртембергский за крошечный дом Вяземского платит 5000 рублей на это время, а это дом барский, можно 40 человек очень хорошо принять. Я сделал прежде последнее покушение с Корсаковым, сказал, что заключаю условие на другой дом, хочет ли он 12 тысяч за свой на три месяца, и очень обрадовался, получив опять отказ, после сего мы тотчас покончили с Мейером.

Хорошо, ежели бы граф выпросил ключ до отъезда в Москву. По чину моему – это не награждение, а дало бы мне вход во дворец, и я еще бы полезнее мог быть Потоцкому; а то он пойдет во внутренние комнаты дворца, а я должен в передней оставаться, что не очень приятно. Ваниша говорит, что надо лишь словечко замолвить. Буду просить о том графа Нессельроде, и уверен, что он не откажет мне в такой простой и доступной вещи.

Александр. Москва, 16 июля 1826 года

Вчера вечером явился ко мне Ваниша: поедем гулять на пруды! Поедем. Оделись и поехали. Ему очень понравилась любимая эта прогулка покойного государя; потом явился туда и Потоцкий, мы сделали еще лишний круг. Шло дело к отъезду, встречаем проезжающего Завадовского с прелестною его женой, с коей он меня познакомил. Какая прекрасная женщина! Тут видел я и Обресковых двух, Кушелева, Реада; все о тебе спрашивали. Оттуда потащили меня к Зинаиде в Петровское; не очень хотелось, признаться, но как хорошую компанию оставить? Только выходит, что я попал на большую ассамблею. Тут видел я Никиту, Пушкину, урожденную Урусову, пели разную музыку, особенно отличились Риччи с Барбиери в дуэте. Вижу двух измайловских красавцев высоких, подходят ко мне. «Вы нас не узнаете?» – «Нет!» А это Урусовы, коим я, кажется, три года назад драл уши еще. Как это все растет! Это ужасно.

И тут очень многие о тебе спрашивали, но не вспомню. Потоцкий сказывал, что вечером заезжал к Юсупову поговорить и

навестить его, но не был принят. Князь в состоянии продолжительного забытья, и болезнь оборачивается горячкою, что в таком возрасте не внушает надежд. Никита все тот же. Говорили мы о его несчастном брате [то есть о князе Сергее Григорьевиче Волконском, осужденном на ссылку в Сибирь]; кажется, должно предпочесть казнь продолжительной поносной жизни. Голицын, офицер гвардейского штаба, сказывал, что все уже кончено. Велико милосердие государево! Потоцкий поручил мне сбор прошений от тех, кто хочет присутствовать при церемонии.

Есть множество любителей и нескромных протекций, много рекомендаций от Апраксина и других покровителей того же рода. Я рассказывал Потоцкому, как иные были пьяны в день печальной церемонии въезда сюда тела покойного государя; а здесь коронация: от радости еще более перепьются. А я знаю весь здешний народ, как свой карман, и насчет всякого скажу ему сущую правду.

Вчера был у меня секретарь посольства граф Ревентло, все благодарят за мои старания о них. По крайней мере признательны; не жалею, что рыскал, по милости Корсакова, стараясь их успокоить. Дания поселилась в своем Копенгагене, и ей очень хорошо. Дом Блоома рядом с графом Петром Александровичем Толстым. Надобно пристроить и Бальша. Жаль мне той квартиры, а делать нечего. Вчера Машку [малолетняя дочь К.Я.Булгакова, которая гостила у графини Мамоновой] не видал; первый день это так случилось. Думал быть там вечером, но эти господа меня затащили в Петровское.

Александр. Москва, 19 июля 1826 года

Поджидаю Фавста, чтобы вместе идти на церемонию, которая будет на Кремлевской площади. В семь часов велено съезжаться придворным, а мы пойдем в толпу народную. Фавста я не дождался, а потому и пошел один. Славная церемония! Это была как будто репетиция для коронации, бездна народу. Я забрался на подмостки, сделанные вокруг Ивана Великого, и прекрасно все видел. Войско было расставлено вокруг, посреди площади построен был павильон, круглый, с колоннами. Императрица и Елена Павловна, отслушав в Чудове обедню, изволили идти пешком со всем духовенством и придворным штатом в павильон этот; тут была сперва панихида по невинно убиенным 14-го числа, потом войско сделало на молитву, сняло кивера, шапки; государыня, войско, народ – все стали на колени и благодарили Бога за спасение России от козней злоумышленников. Эта картина была очень трогательна. Филарет ходил по всем рядам

войск и кропил солдат. Время было хорошо и без солнца. Видел я издали Ванишу в его голубой ленте. Ну, брат, тут, на площади, только и речи, что о наказаниях злодеев. Всякий по-своему разумеет, но все рады, что это кончено.

Александр. Москва, 27 сентября 1826 года[151]

Слишком скоро прошло это счастливое время! Только что разлакомил ты нас, и все мы повесив нос.

Проводив тебя, поехали мы с Фавстом домой в твоей карете. Пошли рассуждения в его роде: нет справедливости на свете; чем бы мне выиграть в вист, выиграл богач Завадовский; чем бы Шварценбергу провалиться отсюда, брат твой уезжает! Не хотелось, а поневоле засмеешься. Я обедал у графа Нессельроде; только были домашние и Вилье, который тебе кланяется. Славная была баранина, и все тебя вспоминали. Только Северина не было; странно, что он сегодня крестит сестру свою, то есть дочь, родившуюся от мачехи его.

Великая княгиня не едет сегодня. Графиня Эльмпт писала Наташе, что завтра ее высочество ее примет поутру во втором часу. Не слышал я, возвратился ли государь из Троицы; ты это узнаешь от Рушковского подробнее.

Поутру приезжал Блоом прощаться, долго сидел. В восхищении от Тульской фабрики ружейной, но проклинает дорогу. Видя грусть Лельки [вторая дочь Булгакова, Ольга Александровна], предложил ей писать к тебе через него. «Да разве будете вы в Петербурге скорее почты?» – спросила она. «Дайте мне ваше письмо, мадемуазель: оно обеспечит мне хороший прием вашего дядюшки», – был ответ. Блоом очень зовет всех нас в Петербург. Он всю семью нашу обворожил.

Юсуповские представления очень помараны и уменьшены. Только Урусов, Цицианов и еще двое получили то, к чему были представлены. Гедеонову перстень, ни одного камер-юнкера, один камергер – Борхман. Сказывают, что Риччи вместо камер-юнкерства годовое жалованье; верно, выдумано на смех.

Поутру жена представлялась великой княгине, и были большие приключения. Все во дворце вверх дном по случаю отъезда; их водили-водили, наконец камердинер, указывая на дверь, говорит: «Извольте войти!» Наташа и княгиня Голицына, урожденная Кутайсова, входят – куда же? В кабинет великой княгини, и она удивилась, а наши еще более.

Хотели уйти, не видя ни графини Эльмпт, ни другой, кто бы их представить могла. Великая княгиня, догадываясь, что это жена, подошла и милостиво с нею говорила. Явилась и Эльмпт, очень встревожена и сердита на камердинера, который наделал

всю эту кашу. Великая княгиня приглашала Наташу быть в Петербурге. Все кончилось хорошо; но этого мало. Наташа выходит после аудиенции и находит тут Ланжерона. «Добрый день, госпожа Булгакова». – «Здравствуйте, господин граф». – «Я ищу жену свою». – «А я, – отвечает Наташа, – ищу лестницу». – «Позвольте, сударыня, я вас туда отведу». Дает ей руку, ведет и вводит – куда же? В кабинет Михаила Павловича! К счастью, на эту минуту не было его тут; только жена моя перебывала, незваная, в кабинетах их высочеств.

У Луниной сказывали, что Потоцкий Станислав получил 2-го Владимира, Чиполла – крест, кажется, Владимирский, и 3000 единовременно. Юсуповские награждения еще не объявлены; но точно, многое отказано. Майкову дана 2-я Анна на шею; только что не плачет.

Обресков был у своего князя, который ему сказал: «Вы желали ключа, я поговорю о том с императором». Обресков уверен, что это последствие твоих стараний, и тебя благодарит очень; только что ему пользы от этого ключа?

Вчера сломалась ось задняя у графини Строгановой, их перекувырнули, довольно, однако же, счастливо; одна только графиня С.В. ушибла себе немного лоб; поеду ее навестить завтра. Вот все наши новости; разве прибавить, что завтра, по требованию императрицы, дают твою «Итальянку в Алжире» [оперу Россини] в Большом театре, а после будет балет. Ежели нет ложи у Мамоновой, то возьмем ложу пополам с Обресковой.

Получил сейчас повестку, чтобы являться в Чудов монастырь для слушания благодарственного молебствия за победу над персами.

Сию минуту из дворца. Государь очень был весел. Дибич читал реляцию. Взято 1500 пленных и другие трофеи. Полагают, что сим кончится война эта. Паскевичу посылают 2-го Георгия. Князя Александра Николаевича видел я тут; он меня поцеловал, прощаясь, и приглашал в Петербург. Что за время! Народу была бездна, палили пушки. Филарет говорил речь государю, но я не слыхал ничего; народ, увидев государя, закричал «ура!». Все места, выстроенные для коронации, были наполнены зрителями. Отъезд государя точно послезавтра.

Александр. Москва, 28 сентября 1826 года

Ввечеру был я с женой и детьми в Большом театре смотрел твою «Итальянку в Алжире», после был балет «Зефир»; набито было народом. Императрица прибыла с графинею Орловой, а государь позже в дрожках в одну лошадь, так что полиция его не узнала. Он ввечеру работал с графом Нессельроде, который едет в

11 часов; поеду проститься с ним и Матушевичем. Не думаю, чтобы граф докладывал вчера обо мне, а то Матушевич, верно бы, написал мне. В городе совершенно ничего не слыхать нового; множество отъезжающих, и Москва пустеет.

Я был у графа Нессельроде прощаться, но ему государь приказал остаться еще сегодня. Я выждал Гааза, который тут был, и с графом поговорил. «Найдите во всей империи хоть одного служащего моего ранга, который получал бы 1000 рублей жалованья, да притом с 1802 года». – «Мне сие известно; но видите ли, ежели б вы заняли место Малиновского, к примеру, все вышло бы само собою», – «Но некогда бывало до пяти членов; от вас зависит, что их теперь двое, тем более, что Малиновский, будучи сенатором, едва ходит в Архив, и даже безо всего этого император найдет совершенно справедливым, чтобы я был не обижен и не остался в стороне от товарищей моих по службе». – «Вы знаете, милый мой, как я вас обоих люблю, и сделаю все, что в моих силах; но здесь не могу этого завершить, вы и сами это понимаете; у нас столько неотложных дел, но ведь вы же приедете в Петербург?» – «Да, господин граф». – «Ну что ж, мы устроим все сие между нами, рассчитывайте на меня». Карета была подана; поцеловав меня несколько раз, велел завтра забежать, чтобы проститься, и уехал. Матушевич говорил мне: «Я бы на месте Нессельроде покончил с этим теперь же; время благоприятствует, император в превосходном настроении, да тут еще эта случившаяся ныне победа; но ты сам знаешь графа». Тамбовские десятины в кармане уже, так будет тихо торопиться.

Говорят, что Фотий велел графине Орловой продать все, что осталось после бала ее, а деньги отдать в монастыри и церкви, чтобы выкупить грех свой.

Юсупов дает сыну 55 тысяч в год, а мать – 85 тысяч.

Государь проехал сию минуту на дрожках: изволил навещать бедного генерала Алексеева, Илью Ивановича. Младшего сына выпустили, а того – нет еще.

Александр. Москва, 30 сентября 1826 года

Государь изволил отправиться в путь в 11 часов, в коляске с императрицею, вероятно, для того, чтобы народ во время проезда через город мог их видеть хорошо. Дорожная карета следовала сзади. Вот и конец всем нашим празднествам, опять все утихнет по-прежнему. Наташа была у Алексеевых и приехала оттуда расплаканная. Бедный отец и мать в прежалком положении; я не понимаю упрямства сына старшего. Может ли быть, чтобы он не помнил, от кого получил стихи эти мерзкие? Отец, к коему был он приведен, угрожал ему проклятием; как ни был он тронут, как

ни плакал, а все утверждал, что не помнит. Кажется, это было не 10 лет назад! Все утверждают, что стихи Пушкина, однако же надобно это доказать и его изобличить. Когда-нибудь доберутся и до источника.

Государь во вторник явился вдруг нечаянно в Университет [то есть на Тверскую, в университетский Благородный пансион], застал всех врасплох, делал наставления Курбатову, который заменяет Антонского, ласкал детей и говорил им речь, что он надеется, что они вырастут для утешения родителей своих и для пользы отечества, что пример мерзавцев 14 декабря будет им полезен. «Ежели буду я доволен, – прибавил государь, – университетом, то стану вас навещать чаще, а ежели вести себя станете дурно, то это первый и последний раз, что я здесь». Вошедшему второпях Писареву сказал: «Я ожидаю от вашего превосходительства, что вы будете иметь строгий, хороший надзор; поведите меня, где дети спят». Все было осмотрено, и многое переменено государем. В зале читал он имена отличившихся учеников, написанные золотыми буквами на доске. Прочтя имя Жуковского, спросил, тот ли это, который при наследнике, и потом начал его хвалить и ставить в пример. Продолжая чтение, напал государь на имя Якубовича. «Этот и хорошо учился, – прибавил государь, – но дурно употребил знание свое». Это дало повод императору делать разные нравоучения воспитанникам. Так славно говорил, что все были тронуты. Двух самых маленьких он поднял на руки и целовал; одному сказал: «Учись хорошенько и будь добр, я тебя сделаю фельдмаршалом». Сколь был государь строг сначала, столь милостиво он со всеми расстался. Очень перепугался профессор греческого языка Барадука, к коему государь к первому взошел в комнату, не зная дороги. Тот только что успел надеть фрак на себя, ибо сидел в рубашке.

Вот еще новость: Метакса является впопыхах. Что такое? Греки разбили Решид-пашу, победа удивительная!

Александр. Москва, 1 октября 1826 года

Я писал тебе, что слышал во дворце, но так как это вышло неправда, то и уведомляю тебя, что Паскевичу послан не Георгий 2-й степени, а шпага, алмазами украшенная, с надписью. Ее и все награждения вообще повезет туда молодой князь Суворов, который и останется там служить.

Вчера сижу в кабинете, курю трубку, вдруг входит Павел Киселев; приезжал проститься, едет, по приказанию государеву, в Питер, но полагает, что его с дороги отправят домой, ежели получится ожидаемый с юга курьер, а жена его поехала уже в

Белую Церковь.

Заеду к бедному Алексееву, до мамоновского обеда. Его сын все сидит. Стихи точно Пушкина; он [то есть Пушкин, а не Алексеев. Стало быть, Пушкина приглашали к Бенкендорфу. Это известная в биографии Пушкина история со стихами «Андре Шенье»] не только сознался, но и прибавил, что они давно напечатаны в его сочинениях. Тут речь о французской революции, только многое кем-то украшено, с разными прибавлениями, и поставлено заглавие: «14 декабря». Кто этот труд взял на себя – неизвестно, а добираются. Бенкендорф сказывал Брокеру: «Эти стихи так мерзки, что вы, верно, выдали бы своего сына сами, ежели бы знали, что он сочинитель».

Александр. Москва, 2 октября 1826 года

Малиновскому шепнули оставить Шереметевскую больницу. Обольянинов сказывал тестю, что государь желает, чтобы избран был на его место человек известный и пользующийся здесь уважением всеобщим; предлагал князю [В.А.Хованскому] место, который отвечал, что принять не может, ежели надобно зависеть ему, сенатору, от молодого офицерчика, каков Шереметев.

Киселев Павел Дмитриевич купил за 32 тысячи дом А.Н.Николевой и подарил его матери своей. О государе слышно, что у Юсупова в Архангельском был очень весел, он и императрица все говорили о Москве с благоволением; перед отъездом государь пожаловал вторую Анну Бореньке [то есть князю Борису Николаевичу Юсупову]. На Павловской суконной фабрике, где было просили Путяту все наскоро ему показать, не имея лишнего времени, государь изволил пробыть три часа: так был всем доволен. Графиня Орлова (так сказывал вчера Обресков) получила при самом отъезде портрет императрицы, весьма крупными бриллиантами осыпанный, для ношения *на шее.* Стало быть, это новое отличие, кроме штат-дамского портрета, и которое она одна иметь будет до сих пор.

Сказывают, будто князь Дмитрий сказал, что если б не его мать, он немедля оставил бы место и даже службу; а мне кажется, что ему долго еще надобно бы послужить, чтобы заслужить голубую ленту; давно ли ее получил?

Александр. Москва, 4 октября 1826 года

Заехал я к Лазаревым; первая предстала красавица, а там полковник. «Давайте мне Ивана, – сказал я ему, – только не иначе, как в Аннинском кресте». – «О, не беспокойтесь, – отвечала жена его, – он снимает свой крест, только когда спать ложится». Выходит кавалер – и как доволен, весел, не поверишь. – «Вы

знаете, Александр Яковлевич, что я при князе Дмитрии Владимировиче?!» – «Как же не знать? Знаю и то, что вы уже и отличились, и представлены князем к бриллиантовой Аннинской». – «Ну что же! Князю это сделать – то же, что плюнуть», – отвечал ненасытный армянин.

Поехал на минуту к Павлу Киселеву, возвратившемуся из Твери. Там получено было государем через курьера известие о подписании турками всех наших условий [по так называемой Аккерманской конференции]. Через месяц имели быть разменены ратификации. Государь очень был доволен сими известиями. Киселев получил мимоходом 2-го Владимира, а Меншиков сделан

Генерал-адъютантом паки
И получил бриллиантовые знаки

(Анны 1-й). Хотел было Киселев тотчас ехать, но завтра, то есть сегодня, должен обедать у великого князя Михаила Павловича, а завтра – у императрицы. Сказывал он, что в Твери речь зашла у него с Нессельроде о нас двух и что граф ему сказывал о намерении своем сделать меня товарищем Малиновского.

Императрица купила известный мозаический стол, Барбериевой работы, за 19 тысяч. Прекрасная штука, которую, по словам Барбиери, ценили в Риме в двадцать тысяч скуди.

Александр. Москва, 5 октября 1826 года

Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая. Он читал у Вяземского свою трагедию «Борис Годунов», которая объемлет всю его жизнь; он шагает по-шекспировски, не соблюдая никакого единства и позволяя себе все. Не думаю, чтобы напечатали эту трагедию: он выставляет между актерами патриарха. Жаль, что писана белыми стихами. Хорошо, кабы бросил язвительные стихи, кои в двадцать лет лишатся и сего мнимого достоинства вовсе, и принялся бы за хорошие трагедии, оды и тому подобное. Сегодня у Василия Львовича вечер литературный; не поеду: далеко, да и лень.

Вот и повестка от полиции, которая не должна быть приятна Малиновскому[152]. Он говорит всем, что ему оставаться нельзя, что сенатору не идет рапортовать мальчишке Шереметеву. Ох, уж мне эти чванки! Как рапортовать, так он сенатор; а как пользоваться большим окладом и квартирою славной, то тут он Шереметева холоп. Дело в том, что им были недовольны: себя не забывал, да и ничем не заставил себя любить.

Теперь явился Офросимов меня душить. – «Воля твоя,

надобно, чтобы на место это выбрали тебя; поеду к Обольянинову, скажу ему: чего же вам лучше Булгакова? А от тебя только требую: явись ты на выбор; мы сделаем тебе партию, Иван Чертков со своими будет за тебя». Пристала жена также, как пьявка: поезжай! Ну, поеду, но все будет вздор. Я чаю, не один уже интригует о месте сем. Оно, видно, почетно, да и много можно делать добра бедным.

Александр. Москва, 7 октября 1826 года

Меня так все атаковали, что завтра еду на выбор нового директора на место Малиновского. Офросимов сейчас от меня; он ездил к Обольянинову, который его приглашал быть завтра в Собрание. «Зачем мне ехать?» – отвечал Обольянинов. «Как зачем? Выбирать директора». – «Мне некого выбирать; был бы у меня славный человек, да не пойдет». – «А кто?» – «А.Я.Булгаков, зять Хованского». – «Я очень его знаю, лучше бы не надобно никого; да ты уговори его только приехать в Собрание, а мы его атакуем, упроси его приехать», – и проч. Поеду; будет – так хорошо, а не будет – беда невелика. Не слыхать, чтобы были претендаторы. Жена говорила об этом Попандопуло, а этот поднял Трескина и всех почтамтских, чтобы прибавить мне шаров. Оттуда множество ехать собирается. Очень это место хвалят.

Я сию минуту из Собрания. «Кого угодно избирать?» – спросил Обольянинов. Василий Сергеевич Шереметев, коему должно бы быть в стороне, предложил Сергея Васильевича Шереметева, родственника своего. Л.А.Яковлев, оборотись к Обольянинову, сказал ему: «Чего нам лучше искать А.Я.Булгакова?» – «Угодно ли вам, Александр Яковлевич, – спросил меня Обольянинов, – баллотироваться?» – «Я свободен; нахожу очень лестным для меня, что обращается на меня внимание ваше, без всякого с моей стороны домогательства. Ежели буду удостоен дворянством выбора, то готов принять место сие».

Было еще трое кандидатов. Апраксин со своими записал Башилова; еще предложили Дьякова и Бахметева. По баллотировке Шереметев имел пять шаров более меня; но лестно для меня то, что я не сделал ни малейшего шагу, никого тут даже не просил о себе, тогда как старик Шереметев ловил всех в сенях, прося за свою родню. Теперь кандидаты будут посланы к государю на утверждение. Оказывается, что жалованья токмо 3000, а не 10 тысяч рублей; но квартира славная, свечи, дрова, сено, доктора, аптека бесплатно. Малиновского ужасно ругал старик Шереметев. Вот записка о баллах:

	Избир.шары	Неизбир.шары
Д. с. с. Булгаков	37	33
Ст. с. Ник. Ал. Дьяков	11	59
Кол. ассесор Серг. Вас. Шереметев	42	28
Кол. советник Вл. Петр. Бахметев	17	53
Д. с. с. Башилов	19	51

Александр. Москва, 9 октября 1826 года

По приглашению Малиновского явился я к нему за делом, которое (писал он мне) до меня касается. Долго говорил он о всякой всячине, наконец спрашивает у меня, буду ли я с ним откровенен, а когда я его в том обнадежил, то спросил, желаю ли я иметь место, которое он занимал в больнице графа Шереметева. Тогда я отвечал ему откровенно, рассказав, как все происходило, и что, ежели бы мне хотелось подлинно того места, то, конечно бы, я имел оное по баллотировке, приложа токмо маленькое старание: ибо я и без того имел только пять шаров менее против Шереметева, для избрания коего не было ничего упущено Василием Сергеевичем, но что нимало не жалею, что молодой Шереметев был избран, что, впрочем, дело уже кончено теперь, а я не думаю уже об этом месте. «Напрасно, – отвечал Малиновский, – место хорошо; кроме разных выгод, оно вам будет приятно по чувствам вашим: вы будете делать множество добра и благодеяний; что может быть приятнее, чем осушать слезы, помогать бедным и проч.?» Одним словом, сделал прекрасную картину оставляемого им места. «Все это хорошо, – отвечал я, – но, во-первых, дело уже решено в пользу Шереметева, да и я не могу вам дать ответа, не списавшись с братом, без совета и согласия коего я никакого места не приму». – «Кто же вам мешает братцу написать? Время еще терпит: я должность не скоро сдам. Государева утверждения еще нет, а оно необходимо, а я сомневаюсь, чтобы оно пало на выбор Шереметева. Я о сем пишу завтра князю Александру Николаевичу Голицыну, коему представляю, что Шереметев вступить в службу иначе не может, как переводчиком коллегии, ибо и чин коллежского асессора получил при отставке токмо; можно ли переводчику заступить место сенатора и иметь под командою своею коллежских советников? По-моему, его нельзя было и баллотировать. Право, не теряйте своих прав, спишитесь с братцем».

Долго продолжалась наша конференция. Я заметил Малиновскому, что он напрасно не дал мне тотчас мысли заступить его место, когда стал он только помышлять оное

оставить; что тогда мог бы я лучше все обдумать с тобою: ты был еще в Москве. Конечно, все это делает Малиновский не для моих прекрасных глаз, но в пику старику Шереметеву, с коим он в войне, и для того, чтобы отдалить меня от Архива, где носится молва, что я его будто сменю. Он очень хитро касается этой струны, говоря, что не нужно мне оставлять для этого Архива; но я отмалчивался. Я думаю, что ежели и буду иметь это место, то оно не помешает проектам графа Нессельроде и князя Петра Михайловича. Впрочем, могу я и отказаться от Странноприимного дома шереметевского, имея что-нибудь лучшее. Все это предоставляю на твою волю и мнение, любезнейший друг; а конечно, чин Шереметева может помешать государю его утвердить. Наташе очень хочется, чтобы я это место имел, оно и мне по сердцу: тут много можно делать добра и разбирать точно бедность, а не определять по протекциям, как делал Малиновский. Дом славный, дрова, свечи, сено, лекарства, лечение домашних и 3000 жалованья – не безделица. Поговори с добрым твоим князем, что скажет он? Он любит делать добро с размахом; я доволен буду то же делать в маленьком масштабе, радеть буду всеми силами о благе больницы, а красть не в нашей крови. Вот тебе целая реляция. Говорил он также, что Шульц [служил в Московском архиве иностранных дел] болен (а тот и в постели службою все занимается, как здоровый), что бог знает, выздоровеет ли он, что ему, Малиновскому, нужен помощник. Я смолчал; но он грубо ошибается, ежели думает, что я пойду к нему в помощники: иначе, верно, не захочу быть в Архиве, как таким же присутствующим, как и он. Лучше быть как теперь; ибо дорожу очень тем мундиром, который ношу с младенчества моего и с коим расстаться мне больно будет.

Александр. Москва, 10 октября 1826 года

Да, брат, юсуповские представления не совсем удались. Он и в Архангельском опять просил об Риччи, но государь отвечал: «Он служит менее года, рано дать ему 14-й класс, но через год я это сделаю, ежели будете им довольны». А о камер-юнкерстве и речи не было.

Королева Шведская так же точно умерла, как императрица Елизавета Алексеевна; какой бы это был для нее удар, ежели бы была жива! Бедная маркграфиня [маркграфиня Баденская, мать королевы Шведской и императрицы Елизаветы Алексеевны, которую она пережила на 13 лет]! Какие переживает она несчастия!

Беннигсен был уже стар. Князь Петр Михайлович сказывал, что он был уже слеп два года. Теперь выйдет, может быть, в свет

написанная им мемория военная.

Александр. Москва, 12 октября 1826 года

Вчера развозили карточки, объявляющие о помолвке сахарчика Бориски с фрейлиною Зинаидой Ивановной Нарышкиной. Надобно будет ехать поздравить старика и жениха. Невеста сидела вчера в «Отелло» в юсуповской ложе вся в бриллиантах, вероятно, женихом подаренных. В «Отелло» пела Терци, и довольно хорошо; видно, что была хорошая певица, но теперь это лишь прекрасные останки.

Слава Богу, что государь возвратился благополучно. Я эту весть приятную возвестил Юсупову и князю Дмитрию Владимировичу; первый не знал еще. Верно, что вашим иллюминациям за нашими не тягаться: другого Кремля нет на свете.

Донесения Меншикова очень любопытны. Хорош шах! Хорош наследник его! Хороши и министры! Никому не должно быть завидно. Поди, имей дело с такими дураками, уродами, варварами. Князь Петр Михайлович сказывал, что Меншиков должен быть сюда на днях. Посольство его было и славно, и любопытно, хотя коротко и безуспешно.

Александр. Село Дубровицы[153], 15 октября 1826 года

Начинаю письмо это здесь, мой милый и любезнейший друг, а кончу в Москве. Мы поужинали, я покурил и, поболтав с графинею, думал идти спать во флигеле с Фонвизиным, но хозяйка трусит спать одна в этом страшном доме, и я ложусь – не с нею, но через комнату от нее. Теперь расскажу тебе путешествие наше. Сели мы в четырехместную карету: графиня, Катерина Михайловна, Поля и я; в другой карете был Захар Васильевич, а третий экипаж был для людей. Два араба, бывшие на козлах, обращали внимание всех; иные снимали шляпу, думая, видно, что кто-нибудь из царской фамилии. Навьючили нам 9 лошадей с двумя форейторами. Графиня изречь изволила ямщику, что десять рублей на водку, ежели будет гнать, и сто палок, ежели дурно поедет; но по этой дороге не расскачешься, хотя только-то была исправлена для великого князя Михаила Павловича. Я вспомнил тебя на том месте, где мы оставили Нессельроде, ехавши в Суханове, чтобы воротиться в Москву плотно пообедать в трактире. В дороге мы смеялись и были очень веселы. В пятом часу прибыли сюда.

Это не дом, а дворец, перед коим соединяются Пахра и Десна; церковь в готическом вкусе с прекрасными, высеченными снаружи на камне украшениями; вся она из белого камня. Было уже

поздно, осмотреть я не мог всего хорошенько; но все мне кажется, что место скучно, уединенно. Из балкона главного глаза потупляются в лес, со двора то же самое; саду нет, кажется, или запущен. Фонвизин встретил нас тут с исправником и стряпчим уездным; но так как не было еще двух нужных особ из суда, то и нельзя было снять печатей и видеть верх; завтра это будет исполнено. А между тем поместились мы внизу, где чистые комнаты, но не великолепные, как я ожидал. Мы ужинали в той комнате, которая Толстым обращена была в караульню, и графиня спать будет там, где заключен был несчастный ее брат. Перебирала она только одну шкатулку, где нашла прекрасные портреты императрицы Екатерины, отца своего и деда; первый она тебе подарить хочет, а я было собирался выпросить его у нее для тебя, так что образованные люди встречаются и в Дубровицах, и в других местах. От безделья играли мы в экарте, в бильярд, читали старые номера покойной «Северной Почты», поужинали. Она теперь завивает волосы на ночь, а я тебе покуда пишу. Время изрядно, только холодно. Здесь хорошо и тепло; било, однако же, час; это в городе пора спать, а здесь кольми паче. Итак, прощай до завтра. Обнимаю тебя душевно. Я графиню все пугаю, что в полночь явятся призраки и увидит она Попандопуло в длинном белом платье, как Командора из «Дон Жуана». Она так и трясется и трусит серьезно. И подлинно, здесь мы как в необитаемом древнем замке, где духи живут.

Александр Дубровицы, 16 октября 1826 года

Весь комплект съехался, и мы сняли печати. Признаюсь, что не нашел тех славностей или богатства, коих ожидал; видно, потаскали многое, однако же, довольно еще осталось. Не понимаю, куда девались фаворита бумаги, которые должны быть очень любопытны. Негри рассказывал мне на месте подробно, как брали графа, как он защищался ручками изломанных им стульев. Дом огромный, но граф занимал всегда одну только конурку, обвешанную материями, картинами и закиданную откуренными сигарами. На окошке множество склянок с эссенциями, порошками, мазями; видно, что он сам себя лечил, приехав из Парижа. Большая зала с одной стороны заключает библиотеку, весьма отборную, и эстампы; но ежели останется это все еще год тут, то все испортится, ибо книги уже плесневеют от сырости. С другой стороны в такой же зале – минералогический и медальный кабинеты. Почти во всех комнатах портреты императрицы Екатерины, в разных видах, и силуэт ее с надписью руки графа Александра Матвеевича: «Снят силуэт с императрицы мною в таком году», – и число. Есть целый шкап с книгами и эстампами

соромскими [непристойными]. Подобной коллекции, верно, ни у кого нет. Даже бюсты все в том же роде, например, вместо носа можешь себе представить что, вместо щек… и так далее. Картин славных мало. В этом доме вообще странная смесь всего, что хочешь. Фонвизин с прочими делает опись, а я, встав из-за стола, курю приобретенные вверху сигарки и пишу тебе. Я взял несколько скабрезных штучек, кои пошлю тебе для пополнения коллекции друга Маницара.

Графиня зовет разбирать эстампы, а это моя страсть, как ты знаешь. Не найдутся ли бумаги в кладовой, которую ужо, после чаю, отопрут? Мне очень хотелось бумаги прибрать, многие из них должны быть любопытны. Есть здесь также примечательная коллекция портретов всех знаменитых людей последнего века, большая часть французов, и бюстов славных людей России.

В кладовой нашли мы большой сундук, а в нем шкатулку с разными драгоценностями: часы, подаренные императором Иосифом Александру Матвеевичу; с одной стороны часы окружены крупными бриллиантами, а с другой портрет императора; пребогатая цепочка была молодым графом продана. Множество табакерок и перстней, осыпанных бриллиантами, большая часть с портретами, рисованными, гравированными, императрицы Екатерины, и, вероятно, все, ею жалованные. Множество антиков, камей, инталиев и проч. Достопамятны также разные вещи, принадлежавшие Димитрию-царевичу и, по родству с Черкасскими, доставшиеся Мамоновой фамилии, например, рубашка, ложка, перстень помянутого царевича[154]. Особенно мне понравился розовый бриллиант формы груши, имеющий особенную красоту и блеск, прекрасный изумруд и сапфир, на коем вырезан портрет императрицы. Не стану подробнее говорить о сих вещах, ибо ты, вероятно, их увидишь, ежели графиня повезет с собою в Петербург, а все это отдано ей под сохранение. До бумаг не добрались мы. Завтра едем в Москву. Почти все кончено, а что осталось, то графиня препоручает принять Захару Васильевичу.

Александр. Москва, 19 октября 1826 года

В Дубровицах наткнулся я, искавши в библиотеке эстампы для графини, на рукописи брата ее, о коих никто понятия не имел и кои столь любопытны, что я почти целую вчерашнюю ночь провел в чтении «Записок» и «Разного». Имеются вещицы в высшей степени интересные, в стиле покойного, который был великим знатоком; он весьма хорошо судит о великих писателях прошлого века, рассуждает о стране своей как тонкий наблюдатель, но, к несчастью, не без некоторой язвительности и

не выбирает выражений. Он оплакивает потерю бумаг своего батюшки, которые сгорели все в двенадцатом году; а было там, как он сказывает, восемь пакетов писем и записок императрицы Екатерины, да еще письма, писанные ей Потемкиным, Орловыми, Румянцевым, Суворовым и другими замечательными людьми ее царствования, письма, кои рисовали их характеры и проч.

«Потерял я также избранные письма, писанные отцу моему, кои он сам отобрал из всего скопища посланий, к нему обращенных; а были там письма от все тех же личностей» (тут называет он и батюшку между прочими, и много известных иностранцев, яко Линь, Кобензель, Гримм и проч.). Жаль очень, что все это сгорело. Какое бы это было любопытное чтение! «Дабы восполнить эту потерю моими силами, я собираюсь рассказать, – говорит он, – анекдоты, кои известны мне от отца моего и деда, касательно тех же самых личностей». Много есть о Потемкине, Румянцеве, Орловых, Разумовских и других, но, по несчастью, он не довершил труд сей. Я списал несколько анекдотов, кои тебе сообщу, ибо как это теперь, ты не разберешь. Одна книга заключает в себе разбор графом «Наказа» Екатерины II, другая – разбор Вольтера, Руссо и других писателей, третья только начата – записки о Наполеоне, четвертая – замечания к труду Кастера о России. Я это пробежал только, и тут много любопытного. Тебе могу сказать, что нашел я также сочиненный им статут, по крайней мере им писанный и перемаранный, так называемого им Общества Рыцарей Смерти, из коих, по-видимому, хотел он составить тамплиеров; обряд, клятва, прием, обязанности те же, как у всех тайных обществ; некоторые листы, кои, видно, поважнее, им вырваны. Мы положили с графиней это сжечь и тем этому положить конец. На ее скромность можно положиться. Она сама почувствовала, сколь важно и необходимо истребить это, ибо при отобрании тогда его бумаг книга эта, лежавшая в библиотеке между книгами, не могла быть отыскана. В записках своих, в одном месте, он говорит: франкмасонство есть венец творения человеческого духа. Все эти книги советовал я графине взять к себе, что мы и сделали, показав Фонвизину, что это бумаги, до фамилии токмо касающиеся.

Александр. Москва, 20 октября 1826 года

Теперь Мамонова была в Дубровицах, остается ей только брата поместить в дом свой; хочет это сделать на днях, а там и к вам отправится. Покуда переезжает она жить в теткин дом, бывший Герарда, на Тверском бульваре. Будет ближе от нас; стану ее пилить и выгонять из Москвы.

Александр. Москва, 21 октября 1826 года

Что касается до министра просвещения Шишкова, то чего должно старику ожидать от полячки? Я забываю, однако же, что эта Лобаржевская из дома Нарбутовых, некогда славная певица и модная дама, сама теперь старуха должна быть. При сем вспоминаю, что от меня зависело младшую ее сестру Жюли из фрейлин произвести не в камер-фрейлины, а в целые мадамы, и все это без услуг греческой и католической церквей, но добродетель моя сему воспротивилась. Как удала была и третья их сестра, хотя и называлась Сусанной! Эта не спускала и старым судьям. Ты это помнишь ли? Помнишь ли, что любовником ее был некто Маньковский? Как это все давно прошло!

Удивительно, что о чиновниках коменданта есть уже в приказах, а о полиции ни слова. Тесть барабанит, что Обресков камергер, что ему сказывал Кашкин. Что за пророк или отгадчик! Как бы тебе это не знать от князя Александра Николаевича из первых рук?

Чумага боится турок, говорит, что султан – второй Наполеон, что через год у него будет 200 тысяч отборного войска. Сказывал он еще, что молодой N. привозил в Английский клуб показывать диадему в 150 тысяч, которую на другой день подарить хотел невесте, и такую вещь имел без футляра, пошел обедать, сел на нее – да и хлоп надвое. Несколько камней потерял. Экое животное!

Александр. Москва, 23 октября 1826 года

Вчера был у меня приехавший из чужих краев молодой граф Ростопчин, долго у меня сидел; много мы говорили о делах их, о раздорах матери его с Брокером. Он находит вину за обеими сторонами. Я тебе столько раз говорил обо всем этом, что уж не хочу к сему возвращаться; но он находит, что ежели брат его останется в руках матери их, то станет разбойником. Это очевидно, и все это видят.

Мать позволяет ему делать все, что угодно, и он покушается всякий день на права, кои она и дает ему. От оскорблений и непослушания перешел он к делу, ибо только что поколотил своего воспитателя, которому едва не выбил глаз. Этого надобно было ждать, ибо мать и слышать не хочет, чтобы дать воспитателям власть наказывать их ученика, когда он сего заслуживает. Вся эта снисходительность с ее стороны для того, чтобы привязать ребенка к себе и облегчить его обращение в католичество; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граф Сергей уверяет меня, будто все, что он говорил своей матери на этот счет, оказалось бесполезно: она не желает

русского священника. Напрасно старший сын представлял ей, что она не сумеет воспитать его брата в религии, коей сама не знает и от коей даже отреклась, что она действует против законов страны и подвергает себя неприятностям и проч., она осталась непоколебима. Я с горестью вижу Андрюшу на краю пропасти. Добрейший его дядька Феликс, который ходит за ним уже лет десять, сказал мне: «Сударь, вы были другом покойного графа, вы должны сжалиться над этим ребенком. Ежели его оставят так еще полгода, с ним будет кончено!» Я очень этому верю.

Я все это пересказывал тебе для того, что когда мы были у князя [Александра Николаевича Голицына, когда он приезжал в Москву на коронацию] и говорили о деле Ростопчиной, то он сказал: «Лучше всего бы отдать мальчика в какое-нибудь заведение», – напомни это князю в разговоре. Он бы оказал великое одолжение мальчику, сделав из него вместо негодяя путного человека. Можно отдать его в Лицей; добрый и честный Феликс может быть с ним вместо дядьки. При графе Андрюша Феликса слушался и боялся, ибо этот его сек путем. Можно ежегодно употреблять по 40 и 50 тысяч, сверх сметы положенной, на других еще учителей и сделать из этого мальчика полезного человека, ибо он умен, самолюбив, щедр. Дай-то Бог, чтобы это устроилось, а там графиня, пожалуй, себе поди к папе хоть в кухарки.

Александр. Москва, 25 октября 1826 года

Брокер определен к статским делам с чином действительного статского советника. Он очень доволен. По отношению князя Александра Николаевича к князю Дмитрию

Владимировичу этот приглашает Брокера, по воле государя, оставить дом Ростопчина, приложа к бумагам и вещам покойного графа свою печать.

Был я вчера у Вяземских. Она очень слаба. Муж в большом беспокойстве и уныл. Как она ни верчена, но в случае несчастия это будет потеря незаменимая для детей.

Александр. Москва, 26 октября 1826 года

Графиня [Мамонова] навязала-таки на меня доверенность подписывать и действовать вместо нее. Без ссор с Арсеньевым не обойдется. Больной граф терпит во всем недостатки, и бог знает, куда деваются доходы.

Брокер на днях выезжает из дома Ростопчина. Ежели сего просила графиня (что вероятно), не понимаю, какую найдет в этом выгоду, ибо вовсе не видится с Брокером, а только переписывается с ним. Я узнал с удовольствием, что графиня

Протасова ей показывала письмо от князя Александра Николаевича, или даже не рескрипт ли государев, коим ее предупреждают, что сын ее младший будет от нее взят и что государь, в ознаменование уважения своего к памяти покойного графа Федора Васильевича, берет на себя воспитание сына его. Дай бог только, чтобы скорее. Графиню сразило это извещение. Она сказала: «Мне нечего делать, разве что покориться, но я буду писать к императору и просить, чтобы оставили мне еще несколько времени». – «Что же вы от этого выиграете?» – спрашивает ее графиня Протасова. «Хочу завершить его воспитание». – «Да ведь для того-то и забирает его император».

Малютка с виду очень доволен, ибо уже не раз жаловался, что ему сверх всякой меры надоели жития святых, кои мать его велит читать ему по утрам. Вот что себе накутерьмила эта сумасбродная женщина! Ежели все осталось бы на прежней ноге, она имела бы своего собственного дохода 50 тысяч рублей в год. В Воронове она все хозяйство мужа и Брокера уничтожила, скот продала, с пашни посадила мужиков на оброк. Славную Орловскую пустошь не отдала вовремя внаймы; будет без гроша теперь, ибо, имея сына при себе, она беспрестанно требовала денег, будто для него, и Брокер отпускал все, что она требовала, под расписку, а теперь лишится она повода просить у него денег. Она сама чувствует это и говорит: «Я стану нищая.

Надобно мне нанять себе маленький домик и сократить все расходы», – и проч. А кто тому виноват? Сама же!

Александр. Москва, 30 октября 1826 года

Князь Дмитрий Владимирович очень невесел; в его доме все уверены, что место его заступит князь Петр Михайлович, о чем долго я спорил с Новосильцевым. Как же князю оставить вдруг новосоставленное для него министерство [то есть Министерство императорского двора, которым и управлял князь Петр Михайлович Волконский до своей кончины в 1852 году], где он сам глава независимый, чтобы принять место, где он от всех зависит? Пустяки.

Здесь город наполнен бунтом, бывшим в Царьграде и в коем перерезано было до 8000 человек. Очень сбыточное дело. Не поверю, чтобы все янычары и вся их партия были истреблены. Будет еще работа султану!

Александр. Москва, 2 ноября 1826 года

Много смеются здесь над Шишковым. Говорят, что молодой пострел, поэт Пушкин, сочинил какие-то смешные стихи на свадьбу эту. Сюжет для того весьма подходящий. Однако эту весть

оставили, а заговорили о новостях, привезенных сюда маленьким генералом Андреевским Степаном Степановичем. Он множество сообщил публике здешней новостей касательно перемен министров; так как он знаком с Закревским, часто у него бывает, то все и верят, что Арсений будет министром юстиции. Мне все это кажется небылицами. Перемены могут быть, но не те, которые называют.

Вчера Малиновский атаковал тестя в Сенате, коему говорил сладким своим голоском: «Как мне жаль, что Александр Яковлевич не объявил мне желания своего иметь место мое в больнице; *мы* бы это устроили». – «Да он и сам бы это устроил; ему самому накануне сделали предложение. Вам бы надобно было ему сказать, когда вы задумали оставить место это», – отвечал тесть. «Знаете ли, – прибавил Малиновский, – что вот и другое место было бы ему приятно?» – «Какое?» – «А в Архиве». – «А вы-то?» – «Да я не знаю, останусь ли я тут, по крайней мере долго». Слова Малиновского основываются, во-первых, на слухах, что сенаторам повелено будет только одним Сенатом заниматься, а во-вторых, слухи, также бог знает кем распускаемые, что я буду иметь место архивское. Так что он желает забежать вперед. Намедни приехал я в клуб, все меня обступили и стали поздравлять; я засмеялся и сказал: «Поговорят об этом дня два, да как увидят, что вздор, то и замолчат, чтобы заговорить о другом вздоре».

Александр. Москва, 3 ноября 1826 года

Как бы и я охотно отобедал с вами у доброго Арсения! Скажи ему, что над старухой-графиней Каменскою сбывается то, что ожидать должно было. По приказанию государя велено имение ее Гжатское взять в опеку. Она не слушала друзей своих и вверилась мерзавцу, разорявшему мужиков в свою пользу. Она, несмотря на все советы и Закревского даже, поддерживала этого сержанта-управителя. Мужики наконец взбунтовались; дошли до причины, сержанта удалили, а имение взяли в опеку.

Александр. Москва, 10 ноября 1826 года

У Брокера жена очень была больна, это замедлило его выезд из дома Ростопчина. Графиня жаловалась полиции, хотя и знала причину замедления. Брокерам объявила полиция, что ежели сегодня не очистят дом, то выставят обе рамы в их комнатах. Кое-как съехали они вчера, кажется к Шафонским, оставив все в доме. Ежели этому учит хваленая католическая вера, то Бог с нею! Наша учит нас терпению, снисхождению, отпущению обид, милосердию; а графиня гонит больную женщину, у коей 9

человек детей и коей муж ее покойному мужу положил 800 тысяч в карман: это я от графа покойного изустно слышал. Хороша благодарность, хорошо сердце, хороша святость графини! Она, говорят, собирается везти сына в Петербург. Эта женщина мужа уходила, из одного сына вместо иезуита сделала повесу и другого готовит в негодяи. Имев 50 тысяч дохода, умела себя в год расстроить, тогда как Брокер в этот же год маленькому Андрюше накопил 180 тысяч капиталу. И она хочет, чтобы у Брокера отняли, а ей отдали бы управление! Управит славно, так, как Вороновым, где теперь совершенная республика, и она хочет просить государя взять ее часть в казну, а ей выдавать 40 тысяч ежегодно на житье. С одной стороны, хочет она править состоянием сына, а с другой – объявляет себя неспособной править и собственным состоянием.

Александр. Москва, 18 ноября 1826 года

Письмо дочери Манзо я получил. Когда мы бежали из Неаполя, то все были без денег. Татищев велел всем выдать (и сам взял) деньги консулу Манзо и рапортовал Коллегии, которая, по своему обыкновению, молчала, да молчала. Этот долг казенный надобно разделить от собственного моего, что и сделано было мною и покойным Радди, секретарем дюка Серра-Каприоли. Эта дама все говорит об уплате, не проясняя долга. Манзо, который многим мне обязан, одалживал мне как другу; я долга не отрицаю (хотя дочь его и не имеет никакого права), но я был бы совсем глупец соглашаться с процентами. Я это раз уже писал этой барыне, которая тогда была Сусанночкой шестилетнею, а теперь сама завела маленьких Сусаннок.

Какова же наша школа? И ее государь удостоил своим посещением. Теперь везде будут стараться не бояться таковых посещений, у всех будет порядок, чистота и усердие. То-то, я чаю, тревога была между школьниками! Император! Император!

Брокеру прислала Сегюрша из Парижа печатную консультацию тамошнего какого-то адвоката, который доказывает, что за потерянные 380 тысяч у Ливио должно Сегюршу вознаградить из части малолетнего Андрюши. Очень сомневаюсь, чтоб такие законы были и в самой Франции. Когда Андрюше будет 21 год, то может он и все свое имение отдать сестре[155]; но опекуны его ни грошом не могут располагать. Вексель был Ливио отправлен в Париж; покойный граф имел от дочери известие, что она деньги получила, он с сею мыслью и умер. Кто же виноват, что Сегюрша захотела взять только 50 тысяч франков, а остальные, не подав к акцептации, оставила у банкира до тех пор, что Ливио обанкротился? Отчего же с

Андрюши взыскивать, а не с брата его старшего или с графини Ростопчиной? Нет тут никакого следа. Мы не входим в резоны, но адвокат взялся за такое дело. А что России, имеющей свои законы, до мнения парижского адвоката? Этот смеет говорить: «Во Франции это решительно так и должно быть таковым во всякой стране, где существуют справедливость и *добросовестность».* А я вот нахожу, что в смешных притязаниях госпожи Сегюр нет ни справедливости, ни добросовестности.

Александр. Москва, 19 ноября 1826 года

Поехали мы на Москву-реку, где много нашли мы зрителей. Тут нашел я и Ровинского. В ночь пошел вдруг лед, и с такой силою, что сломал живой мост Крымский, и обломками его, кои понесло по течению, разбило Москворецкий. Часть, однако, устояла. Он построен к коронации и, мне кажется, более красив, нежели прочен, и построен не из нового леса. Все почти садки разбило и унесло. Странная картина была – видеть бездну галок и ворон, кои, сидя на льдинах, подбирали и клевали убитую льдинами рыбу. Многие купцы разорились. Один знакомый тестя моего уверял его, что потерял на 40 тысяч. И теперь лед идет, но не так уже сильно. Вода очень высока. Инженеры стараются спасти уцелевшую часть Москворецкого моста.

Рассказывал Обресков о покраже странной, случившейся в одной церкви в Козельске. В оной был богатый образ Богородицы. Была всенощная; какая-то старуха, от слабости ли, или от дурноты, заснула в церкви. Никто ее не приметил в углу, пономарь ее запер в церкви. Слышит она шум ночью, проснулась, испугалась. Человек, поставив лестницу, разрезал алмазом стекла, подпилил раму и вошел в церковь. Старуха спряталась, чуть жива от страха. Человек этот стал на колени и говорил довольно громко: «Владычица, Богородица, попусти меня, грешного, содрать с тебя оклад; образа твоего я не трону, я обещаю тебе поставить рублевую свечку». Сказав это, он начал срывать оклад и все украшения, завязал это все в узел в платок и вышел опять в окошко. Поутру дьячок испугался, увидев, что на образе нет оклада. Немало он удивился, найдя тут и старушку. Он ее схватил как воровку и отвел к попу, который стал ее допрашивать. Она клялась в своей невиновности, которую доказывала тем, что ежели бы украла что-нибудь, то не осталась бы в церкви или имела бы покражу с собой, рассказала все слышанное, но лицо вора описать не могла, не смев от испугу на него даже посмотреть, боясь быть замеченной и убитой. Рассказывала про обещание его поставить рублевую свечу. Поп был догадлив. Он разослал людей по лавкам, где продают свечи,

чтобы караулить покупщиков. Поутру является мещанин, требует рублевую свечку. «Да тебе на что, в церковь, что ль?» – «Да, батюшка, мне свечку надобно к иконе, по обещанию». Молодца тотчас схватили. Он не сознавался; но, придя к нему на квартиру, отыскали и алмаз, и узел с оборванным серебром. Тогда нельзя ему было не признаться в преступлении своем. Вот как Бог попутал вора этого, да и всех вообще.

Я тебе, как Шахерезада, рассказывал на ночь историю, а теперь иду спать. Прощай до завтраго. Не прибавил я еще, что этот вор принадлежал к шайке, которая занималась покражею в церквах, и когда ему стали выговаривать, что он так скоро сознался во всем, то он отвечал: «Разве вы не видите, что тут чудо? Я был в церкви один ночью, а священник знает все, что я говорил и делал там».

Александр. Москва, 20 ноября 1826 года

Сюда ожидали вчера молодого Шереметева. Мужики его, здесь торгующие, купили блюдо золотое у Лухманова, сделали надпись пышную и собрали 100 тысяч бумажками, кои на этом блюде ему поднесут. Это пышнее еще всякой пышной надписи. Будет на что купить и хлеба, и соли.

Александр. Москва, 22 ноября 1826 года

К торжественному дню (то есть к 20-му) очень кстати прислали сюда отбитые у персиян знамена, кои выставлены были князем [то есть генерал-губернатором князем Дмитрием Владимировичем Голицыным] в гостиной, и все на них любовались. Вчера возили их по всему городу с большой помпою. Наверху каждого знамени есть распростертая рука серебряная. Всякий делал свои истолкования, но мысль преосвященного Филарета все ж кажется основательнее. Он думает, что сперва военачальники, не имея довольно силы, чтобы заставить слышать себя все войска, поднимали, вероятно, руку вверх, чтобы означать свое присутствие. Когда стечения умножились, то начальники стали делать изображения рук своих на шестах и знаменах. Может быть, сие и неверно, но изобретательно. Народ здесь иначе толковал. Купцы говорят, что серебряные руки означают перст

Божий, что русские победили персиян, заставили их принять веру нашу христианскую. Речь Филаретова была очень хороша в Успенском соборе в день восшествия на престол; говоря о государе, он сказал: «Буди благословен ты, Божиею десницею, волею двух старших братьев и любовию твоих подданных избранный Николай!..»

Александр. Москва, 29 ноября 1826 года

Вчера был прекрасный бал у князя Дмитрия Владимировича. Он принимать будет по вторникам и четвергам, а в воскресенье будут танцевать. Я танцевал только один польский с Лазаревой и болтал с ней долго. Она наговорила множество сладостей о тебе. Я отвечал, что ты все об ней мне пишешь. «Сие неправда, не верю; принесите мне письмо вашего брата, я хочу сама сие прочитать».

Так что прошу тебя ответить на вызов и написать мне тираду, каковую мог бы я ей показать. Она мне сказала также, что ты атакуешь ее всегда со словами: «Вас двое, вас трое». Она принялась хохотать и добавила: «Напишите о сем вашему брату, он знает, что сие означает; а что до меня, то я ничего не понимаю в том, что он вам пишет». Я же знаю только, что жандармский генералиссимус [граф А.Х.Бенкендорф, с ранних пор волокита] к тебе бы приревновал, ежели б слышал все сии любезности. Ох, уморил нас муж ее! Мы говорим с Новосильцевым, а он к нам подходит. Видим мы на нем Мальтийский крест бриллиантовый; вместо арматуры и короны, как ты думаешь, что велел он сделать над крестом? Умора, не угадаешь! Лучше сказать: турецкий полумесяц. Видал я на старинных церквах крест выше полумесяца, чтобы показать торжество русских над татарами и веры над язычеством, а это выходит противное.

Приехал Лунин, Николай Александрович, который очень тебе кланяется. Он теперь находится в странном положении. Брат его двоюродный, Михаил Лунин, приговоренный к каторжной работе, сделал еще в 1819 году завещание, по коему назначает сестре своей, что за УваровымЧерным, по 10 тысяч рублей в год доходу, да по 10 тысяч же на заведение и содержание богадельни в имении своем; остальное же все свое имение отдает (яко бездетный) брату своему, Николаю Александровичу, с некоторыми условиями. Уезжая в ссылку, он писал управляющему: все собираемые доходы взносить в Воспитательный дом, половину бумажками, половину золотом, впредь до какого-либо нового помещения; во всех особенных важных случаях требовать разрешения брата Николая Александровича. Как сослали Михайлу, Уваров поскакал в Тамбов и ввел себя по доверенности жены (а ссылаемого сестры) во владение всего имения, хотя управляющий объявил ему, что доходы имеют поступать в Воспитательный дом. По приказанию Михаила Лунина (прибегать в важных случаях к Николаю Александровичу), управляющий ему написал, требуя наставления, что ему делать. Теперь является духовная, о коей я тебе выше писал. Она послана к императрице Марии Федоровне. Между тем Уваров, которому надобно бы сердиться на шурина

своего, весь свой гнев обратил на нашего Николая Александровича. Я читал последнее письмо несчастного брата к нему; он именно говорит: «Уварову что ни дай, он все проживет; имение твое было в твоих руках, я спокоен и уверен, что благосостояние моих крестьян навсегда упрочится и что ты исполнишь мои предначертания», – и проч. Теперь у бедного Лунина процесс на руках. Я тебе это сообщаю для того, чтобы ты на всякий случай, ежели бы речь случилась в Петербурге, знал истинное положение дела сего. Уваров, верно, будет кричать и чернить Лунина, а он совершенно тут невинен.

Александр. Москва, 30 ноября 1826 года

Блудов славный был бы помощник Шишкову. Видно, Уварову не удалось. Здесь говорили, что он очень интриговал, чтобы иметь место Шишкова [через несколько лет Уварову это удалось благодаря графу А.Х.Бенкендорфу].

Итак, едет, наконец, Татищева в Вену. Как переменяются времена, положения, отношения! Верю, что подарки турок неважны. Признаться, не за что слишком дарить им, но все-таки должно. Я помню, что Жоли вырвал Наташе зуб, да она же еще и подарила ему за это 10 рублей. А турки наскочили на славного дантиста.

Вот и Брокер от меня; показывал странное письмо, полученное им вчера от графини Ростопчиной. Она объявляет ему, что должна везти в Петербург сына, коего государь берет к себе в пажи (слава Богу); потом, как другая Крюднерша, проповедует ему молиться о спасении его еретической души и оканчивает, как всегда, требованием денег. Жалуется она, что Брокер исполняет только те *словесные* приказания графа покойного, кои хочет: например, что Метаксе выдает пенсион по 2000 рублей, а дочери графа, Сегюрше, не посылает 20 тысяч рублей, также словесно завещанные. Тут графиня ошибается. Брокер всегда утверждал и теперь утверждает, что деньги эти следует послать Сегюрше; но он говорит, что так как теперь во все входит дворянская опека, по ее же, графини, настоянию, то надобно к ней обратиться, и он, Брокер, не смеет взять на себя выдачу сих денег, как делал то прежде, до учреждения дворянской опеки. Графиня ласкает Брокера в письме, но поздно. Кашу уже заварила, а свое имение разорила в пух. В Воронове мужики бунтуют и не хотят ей ни повиноваться, ни платить.

Александр. Москва, 1 декабря 1826 года

Бывало время свадеб, а теперь время разводов. Наша Москва наполнена двумя. Во-первых, Владимир Петрович Бахметев,

женатый на Нащокиной, и даже давно, выгнал жену из дома, не быв, говорят иные, в силах сносить нрава ее; другие говорят, что братья ее в том виноваты; третьи говорят, что муж виноват. Поди же разбирай, а, кажется, надобно быть причине нешуточной, чтобы прогнать жену, от коей имеешь двух детей и с коей живешь лет десять. Вот это раз. Другой развод еще курьезнее. Ты помнишь, что я тебе возвестил, что дочь княгини Натальи Николаевны Голицыной Наталья, высокая, плотная девка, вышла, ко всеобщему удивлению и против воли матери, за Фаминцына, старого, дурного и скупого вдовца, имеющего детей от двух жен. Они вчера, после двухнедельного брака, развелись.

Александр. Москва, 2 декабря 1826 года

Масальский сказывал, что князь Александр Николаевич писал графине Ростопчиной, что государь нимало не разделяет мнения ее, что из Лицея выходят все повесы; однако же, не желая ей противоречить, сына ее велит отдать в Пажеский корпус. Я очень рад, что Андрюша не будет с Костей. По дружбе между отцами, и между ними связь была бы очень у места; но этот Андрюша, по милости матушки своей, совершенный повеса. Будет с ним работа! Желательно, чтобы употребили при самом начале величайшую строгость.

Ты помнишь и видел, конечно, здесь несгораемого испанца Руджеро. Он, видно, точный шарлатан французов. Есть какая-то барыня Сафонова, мучившаяся геморроидами; все средства были ею истощены; наконец испанцу вверилась. Несгораемый ее вылечил и так умел убедить ее, что, ежели бы наблюдал ее ежедневно, она всегда была бы здорова, что эта Сафонова, имеющая 400 душ, дом и деньги, вышла за несгораемого замуж. Не знаю, будут ли они тонуть в воде, а гореть в огне не будет эта нежная чета. Такие фортуны делаются только в России!

Александр. Москва, 3 декабря 1826 года

В дело Лунина вступился, яко посредник, Кушников. Он советовал Уварову, прежде нежели тягаться, объясниться с Луниным, чтобы узнать все лучше и образ его мыслей; но тот довольно глупо отвечал: «У меня нет никаких сношений с Николаем Александровичем». – «Да, они могли не быть, но будут теперь, как скоро вы дело начали». – «Да, я начал, потому что честь моей жены компрометирована». – «Почему? Чем? Как же ввести себя во владение, не узнав, по крайней мере, в чем заключается завещание шурина? Ежели оно незаконно, то оспаривай его тогда; хуже же будет, как выведут из владения». Ох, уже тяжбы! Избави их Бог всякого.

Тесть был вчера на большом обеде у князя Андрея Ивановича Горчакова, где были князь Дмитрий Владимирович и Кушников. Зашла речь о комиссии построения Воробьевского храма, и князь Дмитрий Владимирович ужасно и беспощадно ругал Витберга, говоря: «Это самый бесстыдный и надутый мошенник, какого только свет видывал. Все знают мою чрезвычайную мягкость; уверяю вас, что набил бы ему физиономию собственными руками. Не знаю, как себя и удерживаю, когда хожу в эту комиссию; и архиепископ, и я сам, да и господин Кушников, который перед вами, – все мы одного мнения. Спасского за две тысячи рублей из Сената прогнали, а такого вора, как Витберг, терпим». Все это сказано было при тридцати человеках за столом.

Александр. Москва, 4 декабря 1826 года

Тесть сию минуту из Сената. Малиновский ему сказывал, что Шереметев утвержден в больницу и что он требует от него очистки квартиры. Должно было ожидать, что Шереметевы не дадут покоя Обольянинову, да и, говоря справедливо, нельзя было не утвердить того, который более имел баллов. Я, право, не в претензии. Какое было бы мне удовольствие иметь против себя всю семью Шереметева, и из-за чего? Из-за квартиры и 3400 рублей жалованья!

Я просил Обрескова [это не полицмейстер Обресков (свояк Булгакова), а, вероятно, бывший московский гражданский губернатор, дядя Д.Н.Свербеева] Дмитрия о Метаксе и жалею, не желая ему быть благодарным. Я слышал, что он обо мне мерзости говорит. За что, право, не знаю. Я иного зла ему не делаю, как только что кланяюсь, когда его раз в год встречаю. Он уверяет, что я принадлежу к верховной полиции. Что же такого сделал я в своей жизни, что позволяет ему счесть меня способным к подобному ремеслу? Благослови его Бог, никогда не унижусь до оправданий. Время все раскрывает; впрочем, оклеветали и Обрескова.

Александр. Москва, 6 декабря 1826 года

Благодарение Богу, милосердному государю, графу Нессельроде, тебе – участвовавшим в пенсии Шульцовой. Как ты меня обрадовал известием сим! Я к А.Д. поскакал, не нашел ее дома, написал записку; она прислала сказать, что сама едет ко мне благодарить. Приехала с дочерью, но меня не было дома, а Наташа спала. Жаль мне: я люблю любоваться на радостные лица. Завтра ее увижу, ежели сегодня не успею: собор, обед у князя Дмитрия Владимировича и ужо Собрание. Почти из мундира выходить не буду целый день. Теперь устроено это дело, которое

так было у меня на душе.

О себе я, право, не думаю. Не первая это будет неудача. Нессельроде из этого делает государственное дело, для которого надобно извещение чрезвычайное. Помощником Малиновского я точно быть не хочу: у него надменный нрав; станет важничать, а я хочу ему быть равным. Графу я сказывал тогда, что, верно, и государь не поверит, чтобы у него был чиновник, который, служа 26 лет в чине действительного статского советника, получал бы 1000 рублей жалованья. Никто себя ниже не ценит, как я сам; но, право, множество вижу я людей и неспособных, и неусердных, и даже нечестных, имеющих по 5, 8 и 10 тысяч рублей окладов. Меня Нессельроде с ключом надул. Я о себе не говорю; но, кажется, ты довольно важную оказал ему услугу в коронацию. Это никто не знает, но мы знаем, хотя и молчим. Я тебе божусь, что для меня все равно, но мне надоели всеобщие вопли всех родных, друзей и знакомых: «Вы не служите! Да как же вам не дадут какого-нибудь хорошего места; вы работаете за других, а сами остаетесь в стороне». – «Что же, коли меня не любят!..» – прерываю я с досадою. Всем до меня дело. Это странно. Как будто не о чем больше говорить! Полно же и об них толковать.

Желаю очень, чтобы доброго Арсения приковали к Петербургу. Он был бы и славный генерал-губернатор в коренной России. Он и в Финляндии умел найтись, а на его место бы Хованского, который полунемец, честный человек, только куда строг.

За все твои старания обо мне я не благодарю и не говорю ничего. У нас так все обще, что ты работаешь для себя, стараясь обо мне. Жена, как голову ни ломает, как ни кричит на содержание, но пища людей и наша менее 500 рублей в месяц не может обойтись, и без постороннего доходишка, право, жить нечем. Мы себе во всем отказываем.

Говорят, что сенаторам не позволено будет занимать других мест. Тогда и Малиновский милости просим вон.

Александр. Москва, 8 декабря 1826 года

Я получил твои два письма, № 52 и 53. Последнее требует обдуманного ответа. Очень оным спешить, кажется, нет нужды; а ежели бы граф, не дождавшись моего ответа, дал место другому, то я сетовать не буду. Как это ни верти, а все заключается в следующем предложении: Шульц умер, хочешь ли его место? Граф обязан это предложить всякому, кто бы ни был старший в Архиве; а я старший. Дав это место, нельзя отнять и окладов по штату. Так милость, которую делает граф, оставит при мне огромные 1000 рублей, кои получаю 25 лет. Мне не такие

места предлагали, ты сам знаешь: два раза вице-губернаторское и один раз губернаторское здесь, Рибопьер – банковское место, Воронцов – Бессарабию и проч., все места начальнические; а тут сделаюсь я Шульцем Малиновского, с надеждою, что Малиновский умрет и что я его заменю. Во-первых, кто велит Малиновскому оставить место, при коем получает награждения, тогда как другим сенаторам не дают ничего, а служат не хуже его? Почему же (чего Боже сохрани, однако же) Нессельроде не умереть прежде Малиновского? Тогда все переменится: новый начальник, новые протекции, новые креатуры. Вот тебе и подожданье, а Малиновский иначе не отойдет, как разве когда умрет. Давно ли дали ему Владимира; он почитает себя обязанным служить, получая поощрения. Поленова очень благодарю за дружбу его, а особенно за то, что берется приискать 200 рублей из каких-нибудь сумм; только боюсь, чтобы он этим не разорил коллежскую казну.

Малиновский слишком умен и хитер, чтобы представлять о ком-нибудь… Он говорил со мною много намедни, а о преемнике Шульца не заикнулся. Все это говорю я тебе как брату и другу. Твои советы мне еще нужнее, нежели мои рассуждения и обдумывания. Подумай ты сам; ежели ты иначе решишь, нежели я думаю, то я твоему мнению дам предпочтение. Я жил до сих пор кое-как, не обременяя казну, авось, Бог и впредь не оставит меня. Может быть, от того и оттуда получишь, от кого и откуда и не ожидаешь. Малиновский съехал; его Шереметевы очень гонят. Я было очень жалел, а теперь радуюсь, что туда не попал.

Александр. Москва, 11 декабря 1826 года

Рад я за Дашкова. Пустого места он не взял бы, да ему бы и не дали. Но что же выходят теперь директоры департаментов? Все хорошо, да Кикину за что ленту, да и какую? Вчера вечером был я у князя Дмитрия Владимировича (его день), сообщил ему милости 6-го числа, а он от этого числа и писем вовсе еще не имел. Я, кажется, давно тебе написал, что дело кончено, как должно было предвидеть. По законам следовало утвердить тогда же Шереметева; Обольянинов взял уже на себя представить государю, думая, что к чину Шереметева придерутся, но у вас законов нарушить не хотели. Молодой граф Шереметев здесь, другого Шереметева видел я вчера. Спрашивал я: «Ну что ваш граф?» – «Приехал, был вчера в больнице, очень меня благодарил». – «Да вас за что же? Вы три дня только у этого места, так хорошее, как дурное, должно относиться к Малиновскому».

Александр. Москва, 14 декабря 1826 года

До сих пор нет зимы, и Нева ваша не стала; этому не было еще примера по календарю; и у нас дурно, но можно-таки ездить в санях, хотя с нуждою. Все ехавшие в Петербург остановились. Балашов один пускается к вам храбро с семьей своей сегодня, взяв на себя дилижанс целый. Графа Аракчеева ожидают сюда. Его авангард, то есть Волынский, прибыл уже, а граф остался у брата в Киеве.

Полиция басманная хочет нанять наш дом слободский на несколько лет, я очень бы рад сбыть его. Спасибо Новосильцеву: он мне в этом помогает и хлопочет в полиции и Думе.

Александр. Москва, 15 декабря 1826 года

Вот и Лунин; велел его к жене просить: долго просидит. Ему этот черный Уваров делает каверзы. Я советую Лунину прямо писать к государю, все дело объяснить и сделать государя самого судьею в столь щекотливом деле. Уваров не может уничтожить завещание шурина своего и потому кричит, что свидетелем в завещании каторжник Никита Муравьев и что лишает он имения сестру, чтобы отдать Лунину, что завещание сделано в 1819 году. С того времени наш Лунин с тем ни разу не встречался даже. В завещании сказано сделать все с утверждения правительства; ежели вздор, то правительство не утверждай, да зачем марать невинного? Толкуют, что тут разумеют правительства возмутителей (в 1819 году!). Лунина все это мучает, да и неприятно.

Уваров подавал письмо Голицыну. Я советовал Лунину просить аудиенцию у князя, которую он и получит через Новосильцева послезавтра, может все объяснить князю и показать оригинальные бумаги. Лунин давно сказал уже Кушникову: «Я не хочу братнина имения, я имею свое состояние, но против совести моей было бы не исполнить волю несчастного; мне разные пансионы, учреждения, школы и проч., а с остальным пусть делают, что хотят: мне ничего не надобно». Уваров подсылает мириться на 200 тысяч, но подло бы было Лунину принять такие предложения. Я перечитывал все письма того Лунина к этому, но не нашел ни одной фразы, ни одного выражения, которые бы доказывали товарищество в политических видах, а все заключалось в том, что Михаил Лунин почитал Уварова (мужа своей сестры) весьма худым хозяином, угнетающим своих крестьян, а потому, в случае своей смерти, отдавал он имение свое Николаю Лунину с тем, чтобы он сделал мужиков вольными хлебопашцами. Точно то же по завещанию сделала наша княгиня Н.П.Куракина, которая не хотела, чтобы ее имение досталось

этим двум забиякам, детям П.П.Нарышкина. Кстати, я тебе писал ли, что Нарышкин, сахар этот, с которым ты и Серапин возились в Петербурге, теперь сидит здесь в яме?..

Александр. Москва, 16 декабря 1826 года

Вчера был концерт у княгини Зинаиды. Очень было много и долго продолжалось. Театр был славно устроен в большой зале, и пели на сцене. Вот программа, любезнейший друг; выбор по моему вкусу, на это был мастер Виельгорский, выбирал все шедевры музыкальные. Брат его играл так, что всех в восхищение привел, и это была моя любимая измененная тема сочинения его брата, который был на устах у всех и о чьем отсутствии все сожалели. Дуэт Аурелиано исполнили хорошо; только Риччи, по похвальной своей привычке, слишком громко кричит. Оркестр играл дурно, но состоял из любителей; были Иван Александрович Нарышкин, камергер Веревкин. Жаль, что не было Ивана Ал. Рушковского.

Вот тебе на! Какой-то несчастный, слетевший с Парнаса поэт принес мне прилагаемые стихи. Я велел сказать ему через Ванюшу, что стихов не заслуживаю, а потому и этих не принимаю. «Так пожалуйте же мне стихи назад», – возразил поэт. «Зачем?» – «Затем, что я имя переменю и другому их посвящу!» Вот это резон, и я так сим убедился и смеялся, что дал за стихи целковый.

Александр. Москва, 18 декабря 1826 года

Я забыл тебе писать о болезни старичка маленького, Александра Петровича Нечаева, а вчера вечером приехал я его навестить, но он меня уже не узнал и тут же, в 6 часов вечера, при мне скончался. Все окружавшие его люди рыдали. Он был благодетель их и всех-всех крестьян, с коих брал по 6 рублей оброка. Он сделал завещание, как сказывал мне его исполнитель Полуденский; неизвестно содержание. Иные говорят, что все имение отдал императрице Марии Федоровне, а другие – что сделал крестьян вольными хлебопашцами. Тесть мой почитает себя наследником Нечаева. Покойник его не любил; мать его была Хованская, но ежели и пойдет к Хованским, то тестю должна достаться пятая часть. В завещании есть приписка: «Я, умирая, не оставлял денег и потому прошу не подозревать моих людей, что они могли меня обокрасть, а Петра Семеновича Полуденского в особенности прошу их, бедных, защитить». Оставшиеся 14 перстней и табакерки жалованные велит раздать людям и проч. Этот старичок жил совершенно как святой. Крестьяне так его любили, что как скоро узнавали, что ему нужна новая карета,

сани, или дрожки, или что-нибудь другое подороже, то тотчас покупали, сложась, и дарили ему. В Ростове они слывут богатейшими и исправнейшими крестьянами.

Александр. Москва, 20 декабря 1826 года

Лунин был у князя Дмитрия Владимировича, все ему объяснил и жаловался на губернатора, который, бог знает почему, не дал завещанию законного хода, удержав у себя, когда свидетельство должен был препроводить в суд, который или утверждает, или не утверждает завещание. Князь сознался, что все завещание писано в духе самом благотворительном. «Зачем же мешают мне исполнить волю завещателя? – говорит Лунин. – Тем более, что я ничего не хочу для себя лично, но хочу, чтобы награждены были все лица, по воле завещателя? Ежели завещание незаконно, уничтожь оное; но ежели законно, то зачем мешать исполнению оного, и какое право имеет губернатор оное у себя удерживать, выводить дело из общего порядка законного и не препроводить завещания в суд?» Говорил князь Лунину, что Уваров ему подал письмо, что пусть и Лунин напишет ему свои резоны, что он все это препроводит к министру юстиции. Лунин очень меня просил извещать тебя обо всем; не равно будет об этом речь у вас, так чтобы не стали толковать, как и здесь иные толкуют, что Михаил Сергеевич Лунин бунтовщик, что он предоставляет дать крестьянам свободу на правилах, им, завещателем, ему, Николаю Лунину, внушенных, выпуская следующую фразу: *на законном основании, с одобрения правительства.* Бунтовщик, говорят, может внушать правила только бунтовщичьи; это так, положим, но тогда правительство не одобрит сих правил.

Александр. Москва, 21 декабря 1826 года

Итак, Чернышева едет к мужу. Это притягательность новизны, романтизма; а как поживет там год или два, так захочет и мать, и отца видеть [А.Я.Булгаков ошибался: Александра Григорьевна Муравьева (урожд. графиня Чернышева), женщина образцовая, не захотела покидать своего супруга в Сибири]. Я никогда не любил рожи этого Муравьева.

Сегодня похороны Нечаева. Надобно ехать отдать последний долг доброму этому старику.

Много было на похоронах; все ему воздали за честную его жизнь. Люди понесли тело до Симонова монастыря на себе. Викарий здешний им сказал: «Как вам идти в простых фраках с головою открытою в эдакую метель? Все сляжете!» – «Да что нам и жить, потерявши отца своего и благодетеля?» – отвечали люди и

крестьяне покойного. Последних множество наехало из деревень, как только узнали о болезни его. Князь Сергей Михайлович Голицын, возле коего я стоял, сказывал мне, что открыт пакет, бывший в Воспитательном доме, что Нечаев оставляет дом со всем, что в нем есть, людям своим; что же касается до имения, то пишет он об оном императрице Марии Федоровне, на имя коей есть пакет запечатанный. Пакет сей к ее императорскому величеству отправлен. «Могу вам сказать, – прибавил князь Сергей Михайлович, – что усопший оставил знак своей дружбы вашей жене». – «Что это?» – «А вот этого не знаю». Ежели и коклюшка какая, то все спасибо доброму человеку за внимание. Все претендаторы к имению были тут: Нащокин, Шереметев, Всеволожский Николай Сергеевич, князь Петр Алексеевич. Тестя не было. Он ездил к больному несколько раз, но не был им никогда принят. Княгиня Елена Васильевна, которая князя Петра Алексеевича едва признает роднею, вчера была у нас в большом трауре. – «Что это, княгиня?» – «Как, да ведь умер Нечаев, а он князю родня». Я думаю, что скинет тотчас траур, как узнает о завещании.

Заехал я к Шафонскому. Он того мнения, что духовную Лунина невозможно уничтожить, но что губернское правление, видя акт, сделанный человеком, который уже в 1819 году принадлежал к тайному обществу, взяло на себя остановить законный ход всех завещаний и испросить разрешения высшего начальства. Все послано к князю Лобанову, яко министру юстиции, куда князь Дмитрий Владимирович пошлет и письмо, которое Николай Александрович сегодня ему подаст. Сделай милость, повидайся с Журавлевым и попроси его замолвить слово Лобанову или кому надобно будет.

Александр. Москва, 23 декабря 1826 года

Горголи можешь уверить, что буду ему всячески угождать, а сенаторам всем я уже протрубил, что будут иметь славного товарища. Большая из них часть что спрашивает? Играет ли он в вист? И в вист, и даже бьется на рапирах, вольтижирует – что угодно. Дай Бог князю Дмитрию Николаевичу Салтыкову царства небесного, которого ему, кажется, не миновать. Ты жалеешь, что не в числе наследников Рахманова? Но что же вышло? Вышло, что он и теперь живехонек: его преждевременно уморили. Говорят также, что неуместная, преждевременная радость наследников заставила его поубавить их богатства. Он миллион чистогану отдает какому-то воспитаннику, да все-таки много остается еще.

Прочти, любезный друг, письмо, которое Лунин пишет князю Дмитрию Владимировичу. Последние два периода я прибавил к

этому письму. Надобно было Лунину показать гласно свои чувства и образ мыслей насчет брата, а то дружба их давала повод к толкам. Я перечитывал все оригинальные письма ссылочного к Николаю Александровичу, и ежели судить о человеке по этим письмам, то тот Лунин самый добродетельный человек. Везде говорит он, что желает не умножения доходов своих, но благосостояния своих крестьян; везде видно попечение об них. Право, непостижимо, как человек с таким сердцем мог участвовать в адском заговоре; но верно то, что он скрывал все от брата: во всех письмах нет слова сомнительного. Все они наполнены хозяйством и экономическими распоряжениями, и более ничем. Видно его усердие к службе и проч.

Пойду походить пешком с детьми, зайду посмотреть оптические виды. Говорят, что прекрасно.

Александр. Москва, 28 декабря 1826 года

Уф, отделался наконец от докучателей-поздравляльщиков и ото всех писем; добрался я до приятного для меня отдыха, мой милый и любезнейший друг. Давай болтать. Ну-с. Вчера был я наконец у Мамонова. Сперва вошел к нему Маркус с Арсеньевым, коего он, хотя и столь явно презирал, принял довольно хорошо. Арсеньев говорлив, но не занимателен (это не Ростопчин покойный); но Маркус, чтобы не надоесть графу, сократил аудиенцию. Меня думали было в другое время впустить, но быв уже тут, я желал видеть его, хотя и сказали, что он сел уже за стол и просил обедать. Увидев меня, он встал со стула, отвел меня к окну и начал делать вопросы, точно как государи, коим кого-нибудь представляют: «Где вы служите? Женат ли? Где семья? При какой были миссии?» – и проч., очень учтиво и очень сухо, и все по-русски, а как заговорю по-французски, то ответ все по-русски. Кажется, это было для того, чтобы Зандрарт не понимал и не участвовал в разговоре; он все меня далее от него отводил. Говорили о чужих краях, он сейчас речь о Царьграде, о батюшке. «Яков Иванович, – сказал он, – был полезен своему отечеству». Я, чтобы его насмешить, сказал, что я турчонок, родился в Царьграде; он улыбнулся, а как Зандрарт засмеялся, то граф принял серьезный вид. Этот сторож ему кисел, но он его слушает во всем.

Я придрался к похвале его о батюшке, чтобы сказать, что его имя, то есть его, Мамонова, будет жить в истории, что я никогда не забуду письма его к графу Ростопчину, коим он, видя смутные обстоятельства России, повергает всю свою фортуну к ногам императора. Граф кивнул головою и улыбнулся, не сказав ничего; все шло порядочно. Вдруг спросил он, с каким поеду я

паспортом. – «Князя Голицына». (Тут увидел я перемену в лице.) – «Какого Голицына?» – «Князя Дмитрия Владимировича». – «Вам надобно, – отвечал граф, качая головою, – паспорт от Нессельроде». – «Да, ежели бы я ехал в чужие края, а внутри государства и от Москвы до Петербурга надобно подорожную местного начальства». Он помолчал, поклонился и сказал: «Желаю вам счастливого пути!» Уходя, закричал: «Коляску!» Он любит кататься и не закрывает уже лица и откидывает коляску.

Я нашел большую в нем перемену. Видно, что он сумасшедший. Глаза впали, и худ в лице, огромные усы и бакенбарды дают ему страшный вид, говорит ужасным басом. Мне кажется, что ему не выздороветь. Он впадет в уныние, но это состояние может долго продлиться. Причина сумасшествия никогда не истребится. Неограниченное его честолюбие и гордость никогда не удовлетворятся, а потому и будет его съедать этот червяк. Я графине подробно описал мою аудиенцию у брата ее; а потому, чтобы не повторяться, посылаю тебе мое письмо к ней под открытою печатью. Прочти и, запечатав, отдай ей или отошли с Костей моим. Что же она не шлет доверенность? Я еще вчера говорил о Мальше. Нужно знать, какие он языки лучше знает, холостой ли он и такой ли он человек, чтобы слепо исполнять, что ему велят, простой ли, добрый ли человек или тонкий со сведениями; первое было бы предпочтительно, по словам Маркуса. Смешон ли он, весел ли, особенно играя в бильярд? Дай мне те и другие сведения о Мальше. Эти немцы – большие систематики. Лечение графа идет очень хорошо, но его не вылечат никогда. Стану к нему ездить. Увидим, что будет вперед.

Александр. Москва, 30 декабря 1826 года

Обрескову нельзя оставаться. На днях имел он еще большую неприятность, хотя и не совсем виноват. Князь отдал в приказе по Управе выговор ему за то, что пропущена была в город попорченная провизия; за это взяты были деньги мясницким частным приставом. Этот человек креатура, фаворит Шульгина, им посажен тут. Шульгин всегда за него ручался. Обресков на него положился, а он за деньги пропустил гнилые провизии. Говорят, что князь и Шульгину велел было подать в отставку, но помирились.

Слава Богу, что Лиденьке Чухонке [то есть дочери А.А.Закревского, которая и отца своего шутя называла чухонским графом (он имел графство княжества Финляндского)] лучше и что Арсений спокоен.

Иллюстрации

Цесаревич Константин Павлович

Великая княжна Мария Павловна

Великая княжна Александра Павловна

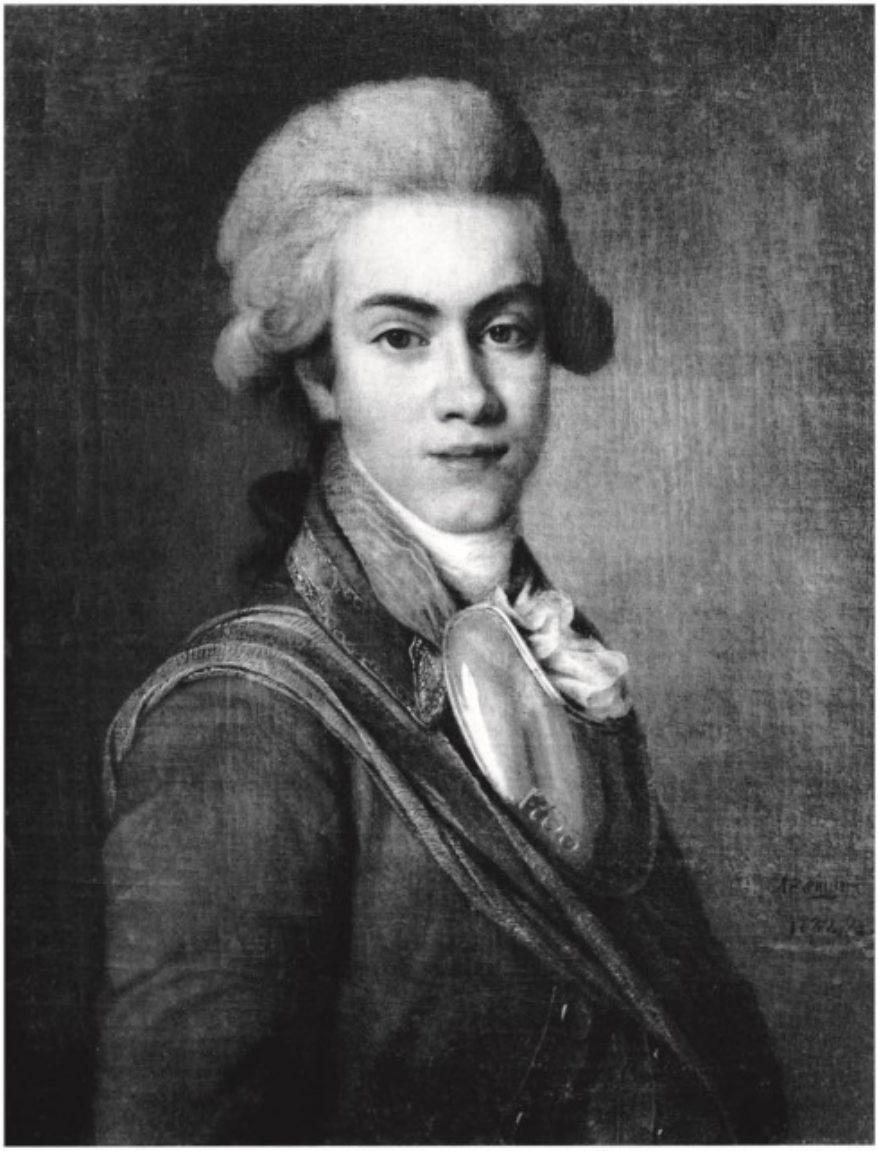
Великая княжна Елена Павловна

Великая княжна Екатерина Павловна

Амалия, принцесса Баденская

Граф Федор Васильевич Ростопчин

Графиня Екатерина Петровна Ростопчина



Князь Иван Михайлович Долгоруков

Граф Василий Васильевич Орлов-Денисов

Граф Матвей Юрьевич Виельгорский

Князь Николай Григорьевич Репнин-Волконский

Княгиня Варвара Алексеевна Репнина-Волконская

Князья Александр Михайлович Голицын и Сергей Михайлович Голицын

Князь Александр Николаевич Голицын

Граф Иоанн (Иван Антонович) Каподистрия

Князь Александр Константинович Ипсиланти

Николай Никитич Демидов

Графиня Анна Владимировна Бобринская

Юлия Александровна Татищева

Дмитрий Павлович Татищев

notes

Примечания

1

То есть А.И.Тургенева, директора канцелярии Св. Синода.

2

Николая Ивановича Тургенева.

3

А.Я.Булгаков близко знал короля Неаполитанского Фердинанда, служа в Неаполе при Татищеве.

4

Княгиня Анна Александровна Голицына, урожд. княжна Грузинская, супруга князя Бориса Андреевича.

5

Тогдашний московский почт-директор.

То есть о ежедневном приеме писем и посылок на почте.

То есть князя А.Н.Голицына, главного начальника всех почтовых учреждений.

8

То есть в Дворянском собрании в Охотном ряду.

9

Вдова первого графа Бобринского, графиня Анна Владимировна. В это время у нее была дочь-невеста, графиня Марья Алексеевна, вышедшая потом замуж за князя Н.С.Гагарина.

10

Да здравствует литография! Это всеобщая страсть; карандаш изобразит любого: и великого, и малого, и уродину, и красотку.

11

Княгиня Елизавета Сергеевна, урожд. графиня Головина, в то время вдова князя Александра Михайловича. У них было восемь дочерей.

То есть князя П.А.Вяземского. В то время судьбою его был озабочен и Н.М.Карамзин, как видно по его письмам к И.И.Дмитриеву. Выступая против аракчеевщины и цензуры, князь Петр Андреевич, как и Пушкин, писал против правительства.

13

Шафонский был директором канцелярии московского генерал-губернатора.

14

Это был Алексей Федорович Шереметев. Мать его – Екатерина Сергеевна Власова, во втором браке Ивашкина.

15

Этот Марко был тамошний православный священник.

16

Это свадьба Аделаиды Павловны Строгановой с князем Василием Сергеевичем Голицыным, отец которого (расстроивший дела свои) – князь Сергей Иванович, а мать – двоюродная сестра Булгаковых, дочь Марфы Ивановны Приклонской.

17

То есть за князя Александра Федоровича, служившего в Варшаве при великом князе Константине Павловиче, а позднее многие годы заведовавшего Комиссией прошений.

18

Арсений Андреевич Закревский был тогда дежурным генералом – должность, по которой имел он первенствующее значение в делах Военного министерства.

19

Сперанский возвращался из Сибири. В Москве, вероятно, полагали, что он снова войдет в силу, но ошиблись.

20

В то время и долго после плата за рассылку газет и журналов поступала в пользу почт-директоров, московского и петербургского. Отмена последовала много позднее, и поводом к тому было, что один экспедитор, получая деньги от подписчиков, стал задерживать выдачу их издателям, денег накопилось так много, что, имея их в руках в течение многих недель, он изволил отдавать их взаем или играть на бирже.

21

То есть княгиня Наталья Петровна Голицына, урожд. Чернышева, внучка (по матери) свирепого Андрея Ивановича Ушакова, деятеля эпохи императрицы Анны.

22

То есть к Сперанскому. Балашов был прежде министром полиции и 17 марта 1812 года распоряжался высылкой Сперанского из Петербурга в Нижний Новгород.

23

То есть княгиню Софью Алексеевну Шаховскую, урожд. Мусину-Пушкину. Хитрова была ее сестра. Володя и Ваня – ее братья. Малютка – князь Алексей Иванович Шаховской.

24

То есть на Почтамтской улице в Петербурге, где жил К.Я.Булгаков.

25

Из Варшавы, где князь П.А.Вяземский служил при Н.Н.Новосильцеве.

26

Проживавшая в Москве мать братьев Тургеневых, из которых средний, Сергей, был советником нашего посольства в Царьграде.

27

Французская газета, которую издавал в Петербурге воспитатель попечителя тогдашнего Петербургского учебного округа и президента Академии наук С.С.Уварова Мантен.

28

Так называет иногда Булгаков своего приятеля, коменданта А.А.Волкова.

29

Младший Тургенев и, по преданию, самый даровитый – Сергей Иванович – служил тогда при нашем посольстве в Константинополе.

30

То есть Лунин, отец графини Риччи.

31

Граф Александр Алексеевич Мусин-Пушкин был убит под Лейпцигом в 1813 году.

32

Младшая из графинь Мусиных-Пушкиных, или Разгуляевских графинь, как звал их князь П.А.Вяземский, потому что дом их был на Разгуляе.

33

Великую княгиню Елену Павловну.

Может, и неправда, но рассказано хорошо.

35

Князь Д.В.Голицын и Илларион Васильевич Васильчиков были женаты на родных сестрах Пашковых.

36

Князь П.А.Вяземский прожил в Петербурге до 14 июня 1826 года. Новосильцев писал ему, что за нескромные разговоры о политике не велено ему возвращаться в Варшаву. Государь сказал Карамзину, что он может иметь место в Петербурге, если хочет; но князь не захотел.

37

Reveillon – встреча Нового года.

38

В.Л.Пушкин славился крепостным своим поваром Василием, которого звал Блезом.

39

То есть князь Голицын. Тогда заключалось почтовое соглашение России с Австрией и Пруссией через Берлин. Гольдбек был мемельским почт-директором.

40

То есть князь Платон Александрович Зубов, перед тем женившийся на Фекле Игнатьевне Валентинович.

41

С.Т.Аксаков, по любви своей к сценическому искусству, действительно часто бывал у тогдашнего директора театров Ф.Ф.Кокошкина. Имя Аксакова тогда было еще так мало известно, что Булгаков мог повторять вздорный слух о его якобы подчиненном отношении к Кокошкину.

42

Сергею Николаевичу, у которого был пансион, где учились дети донских казаков.

43

Князю Александру Сергеевичу, впоследствии адмиралу. Перед тем он, будучи флигель-адъютантом, сопровождал государя в его поездки по Европе и по России, причем у него были тщательные приспособления для хранения возимых бумаг.

44

Сын придворного акушера.

45

Н.Н.Новосильцев, при котором служил в Варшаве князь П.А.Вяземский, воспретил ему возвращаться на службу из отпуска.

46

Известным петербургским книгопродавцем. Почтовые сношения были в то время так медленны, что А.Я.Булгаков в июне еще не знал о кончине Наполеона, последовавшей весною этого же года.

47

Поццоди-Борго (приятель Булгакова) – русский посол (прежде – посланник) в Париже; Ферроне – французский посол в Петербурге.

Князь Вяземский жил в этом доме до переезда в Петербург в 1831 году и был некоторое время старостой приходской церкви Малого Вознесения.

49

Алексей Федорович Орлов (позднее граф и к концу жизни князь) оставался неизменным другом графа А.А.Закревского, который, вероятно, благодаря ему сделался московским генерал-губернатором.

50

Записки капитана-лейтенанта Егора Метаксы, заключающие в себе повествование о плавании и военных подвигах соединенных российской и турецкой эскадр под начальством адмирала Ф.Ф.Ушакова с 1798 по 1803 год.

51

Броневский В.Б. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством Д.И.Сенявина, от 1805 по 1810 г.

52

Знаменитая Наталья Петровна Голицына (ум. 1837), говорят, так строго держала детей своих, что при ней они не смели садиться.

53

Сергей Алексеевич Всеволжский, один из участников возведения на престол Екатерины II. Его жена – Екатерина Алексеевна, урожденная Зиновьева. Сын их Николай Сергеевич был в Твери губернатором.

Елизаветы Петровны, сестры декабриста князя Трубецкого, жены графа Павла Сергеевича Потемкина. Позднее она вышла замуж за г-на Подчаского и до старости сохраняла красоту наружную и душевную.

Тогдашний московский комендант, приемник А.А.Волкова.

56

Знаменитый впоследствии своей даровитостью, остроумием и шалостями Костя Булгаков определялся в Лицейский Царскосельский пансион.

Оказалось, что князь П.А.Вяземский был прав. Нессельроде остался.

Паулуччи был рижским генерал-губернатором.

То есть по месту жительства государя, к которому князь Александр Николаевич Голицын тогда продолжал еще быть близок, оставаясь министром народного просвещения, обер-прокурором Св. Синода и начальником почтового ведомства.

60

После развода с первой своей женою, Теофилией Игнатьевной (урожд. Моравскою), вдовою князя Радзивилла.

61

То есть от графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова, ехавшего на должность нашего министра в Мюнхене.

62

То есть девице Шумлянской, сестре Булгаковых. Брак ее с П.И.Полетикой не состоялся.

63

Вдова графа Павла Александровича Строганова и сестра князя Дмитрия Владимировича Голицына, графиня Софья Владимировна жила в Петербурге, на Невском.

Михаил Сергеевич, возвратившийся из Англии от своего отца и, после командования нашими войсками во Франции будучи генерал-адъютантом, числившимся с 19 февраля 1820 г. командиром 3-го пехотного корпуса.

У А.Я.Булгакова родился тогда сын Яков (умерший в младенчестве).

Татьяна Александровна. Другая сестра была замужем за П.С.Полуденским. Это дети Александра Михайловича Лунина. Графиня Риччи – двоюродная их сестра.

67

Дубровка – рязанское имение князя С.И.Голицына, где жила и его теща, Мавра Ивановна Приклонская, урожд. Булгакова, тетка Александра Яковлевича.

68

Граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин при Екатерине заведовал училищем иностранных единоверцев, где были греки (а в Пажеском корпусе преподавался новогреческий язык, на случай водворения в Царьграде).

69

Багреев был родственник Кочубеев. Сперанский насильно выдал за него единственную дочь свою, чтобы породниться со знатью.

70

Адам Фомич Брокер, бывший московский полицмейстер.

71

Queue *(фр.)* – хвост и кий.

72

Лондондерри Чарльз Уильям – военный, затем дипломат, в ходе путешествия на Восток посетивший в 1837 году Петербург; его сводный брат Роберт Стюарт, более известный как виконт Кестльри (1769 – 1822) – английский политический деятель, министр иностранных дел; зарезался.

73

Говорится про графиню Елизавету Петровну Чернышеву, урожд. Квашнину-Самарину, и про ее сына графа Григория Ивановича.

Насколько нам известно, А.Я.Булгаков не исполнил своего намерения, и где упоминаемые им бумаги, не знаем.

Прасковья Владимировна, урожденная Долгорукова, вдова куратора Московского университета И.И.Мелиссино, воспитательница А. М. Пушкина.

Впоследствии председатель Государственного совета. Он в царствование Александра I командовал лейб-гусарами.

Александру Вюртембергскому.

77

Лабзин Александр Федорович – мистик и писатель, издатель «Сионского Вестника». Был обвинен в ереси и сослан в Сибирскую губернию.

Вторая дочь А.Я.Булгакова, впоследствии жена князя Александра Сергеевича Долгорукова.

79

Михаил Иванович Донауров был одним из опекунов Дмитрия Николаевича Шереметева.

80

Товарищ Пушкина по Лицею, Сергей Григорьевич Ломоносов служил при посольстве в Америке и впоследствии был посланником в Нидерландах.

81

Варлам, старший брат Марии Константиновны Булгаковой. Граф М.С.Воронцов, назначенный новороссийским генерал-губернатором, взял его на службу в Одессу.

То есть возвратившемуся из чужих краев А.А. Волкову.

83

Шумлянскую, сводную сестру братьев Булгаковых, дочь их матери.

Елизавете Михайловне Багреевой.

85

Проживавший в Москве в доме своем на Тверском бульваре бывший любимец Екатерины Великой. Он дожил до 1836 года.

То есть она и сестра ее Анна Петровна Колтовская вела некогда тяжбу с братьями Булгаковыми за наследство их отца, приходившегося ей дядей.

87

Деревня под Петербургом, там похоронена кормилица князя Воронцова и сестры его, леди Екатерины Семеновны Пемброк.

То есть императрице Екатерине.

Впоследствии австрийским послом в России.

90

Умирал в Москве брат княгини Е.П.Куракиной Петр Петрович Нарышкин (почетный опекун, управляющий Вдовьим домом).

91

Павел Дмитриевич Киселев (впоследствии граф), будучи начальником штаба 2-й армии, убил на поединке бригадного генерала Мордвинова.

92

Дочь генерал-адъютанта Петра Андреевича Шувалова (отвозившего Наполеона на остров Эльбу), жена прусского графа Карла Шлиффена.

93

Борец за независимость Мексики от Испании, провозгласивший себя мексиканским императором Итурбид, поехал из Европы на родину и был там расстрелян 19 июля 1824 года.

Младшая дочь А.Я.Булгакова, позднее княгиня Долгорукова.

В это время Александр Яковлевич Булгаков искал должность с хорошим окладом.

То есть в Горном правлении. Там жил Ф.П.Макеровский, берг-инспектор.

Император Александр Павлович был любителем садоводства, и многие сады в русских городах заведены при нем.

Князь Хованский назначен был генерал-губернатором Смоленским, Витебским и Могилевским.

99

Не понимаю, кто мог сказать государю! – *приписка А.Булгакова.*

100

Государь уехал из Москвы на свидание с австрийским императором и на Тульчинские маневры.

Это намерение не осуществилось, как и многие другие благие намерения Александра Павловича.

102

Князь Н.Б.Юсупов был начальником Кремлевской экспедиции.

103

Брак этот не состоялся. Позднее княжна вышла замуж за графа Василия Алексеевича Бобринского, став первой из трех его жен.

104

Дмитрий Васильевич Нарышкин, зять графа Ф.В.Ростопчина, получил место таврического губернатора.

105

На свидании двух императоров.

Нарышкина, деда княжны Варвары Аркадьевны Суворовой.

107

Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, тогдашний петербургский генерал-губернатор.

Нарышкина, в это время уже утратившая свое значение в петербургском обществе.

109

Так называли друзья Контантина Яковлевича. Князь Семен Михайлович Воронцов.

110

Д.П.Северин и Матусевич возвращались в Петербург с юга, где находились при графе Нессельроде во время свидания Александра Павловича с австрийским императором.

111

Дочери князя Н.Г.Репнина: Александра (графиня Кушелева-Безбородко), Варвара (девица) и Елизавета (Кривцова).

Егора Антоновича, который был директором Царскосельского лицея, состоявшего тогда под началом великого князя Константина Павловича.

113

Дмитрий Петрович, автор «Истории Смутного времени». Он был русским военным агентом во время похода герцога Ангулемского в Испанию для подавления произошедшей там революции.

114

Николай Иванович Кривцов был тогда тульским губернатором.

115

Граф Павел Андреевич, отвозивший Наполеона на остров Эльба. Позднее она вышла замуж за князя Бутера и скончалась в 1870 году.

Князя Николая Ивановича.

117

Говорится о том, что Закревский выхлопотал сенаторство тестю своему, графу Ф.А.Толстому.

118

Это вторая жена Александра Ивановича Чернышева (позднее графа, а потом князя), Елизавета Александровна, урожд. княжна Белосельская-Белозерская.

119

Князь Николай Григорьевич, тогдашний малороссийский генерал-губернатор, сын князя Григория Семеновича Волконского и княгини Александры Николаевны Репниной. Он получил имя своего деда-фельдмаршала.

120

То есть в Горенках, подмосковной скончавшегося незадолго перед тем графа Алексея Кирилловича Разумовского.

Много позднее страсть Киселевой (урожд. графини Потоцкой) к игре оставила по себе память в Гамбурге (под Франкфуртом-на-Майне), игорном гнезде былого времени; там целая улица носит название Киселевской.

122

Относится к денежным затруднениям из-за долгов, которых было много у братьев Булгаковых (они не делились).

123

М.А.Дмитриев – племянник И.И.Дмитриева, которого уважал и любил князь П.А.Вяземский, прозвавший тогда первого из них «Лже Дмитрием».

124

Княгиня Вера Федоровна ездила на морские купания в Одессу, где оставалась во время высылки оттуда А.С.Пушкина.

125

Мария Константиновна Булгакова навещала в Кишиневе престарелого отца своего Константина Дмитриевича Варлама.

126

Софья, внебрачная дочь императора Александра I и княгини Марьи Антоновны Нарышкиной, невеста графа Андрея Петровича Шувалова.

127

Граф Н.А.Самойлов женился на графине Юлии Павловне Пален, внучке и наследнице графини Литты (Скавронской): брак этот и действительно был несчастлив, и они не прожили вместе и года.

128

Вспомним письмо Пушкина из деревенской ссылки к А.И.Казначееву. Он сам признавался, что в России ни с кем легче нельзя служить, как с графом М.С.Воронцовым. Пушкин жалел о том, что сорвавшиеся у него стихи про графа Воронцова разнеслись повсюду. По кончине Пушкина граф Воронцов выразил почтение к нему, посетив его вдову.

129

Княгиня Екатерина Ильинична Кутузова-Смоленская, урожд. Бибикова. Ее хотели похоронить рядом с ее мужем в Казанском соборе, но государь не позволил.

130

«Mine» означает по-французски «выражение лица», но также и «рудники».

131

Город во Франции, точно так же звучит по-французски фраза: «Я отправляюсь туда».

132

Эта книга «Записки капитана-лейтенанта Егора Метаксы, заключающие в себе повествование о плавании и военных подвигах соединенных российской и турецкой эскадр под начальством адмирала Ф.Ф.Ушакова с 1798 по 1803 год».

133

То есть Александр Григорьевич. Отец их, барон Григорий Александрович, пожалован был графским титулом с нисходящим потомством уже в царствование Николая I, а до того графом был только старший из пяти сыновей его, Сергей Григорьевич, женатый на графине Наталье Павловне Строгановой. Умершая в Дрездене мать их – баронесса Анна Сергеевна, урожд. княжна Трубецкая.

Ф.П.Уваров жил и умер в Зимнем дворце.

135

Князю Алексею Григорьевичу Щербатову (впоследствии московскому генерал-губернатору).

136

Узнав за границей о наводнении, Николай Павлович на короткое время приезжал в Петербург.

137

Братья Тургеневы, Александр и Сергей, приезжали тогда в Москву по хозяйственным делам. Незадолго перед тем скончалась их мать. Третий брат, Николай Иванович, еще раньше отпущен был для выздоровления за границу.

Елены Григорьевны. Она с дочерьми была тогда в Дрездене.

139

Бездетная сестра князя Ю.В.Долгорукова, Прасковья Владимировна Мелиссино, будучи дружна с матерью А.М.Пушкина (которая уехала в Сибирь с сосланным туда за изготовление фальшивых ассигнаций своим супругом), взяла к себе на воспитание А.М.Пушкина.

От второго брака своего с девицею Мольтке Д.П.Северин детей не имел, как и от первого (со Стурдзою).

141

Князь П.А.Вяземский сообщал, в похвалу отваге М.Ф.Орлова, что он все-таки посетил приятеля своего, графа Мамонова, и даже не усомнился ночевать в одной с ним комнате.

142

Временным заместителем графа Воронцова, собиравшегося тогда к престарелому своему отцу в Лондон, по управлению Новороссийским краем, назначен был А.С.Грейг.

143

А.Я.Булгаков неверно передает двустишье. Надо:
Мил нам цвет оранжевый Всем наскучил Полевой.

Небо, пожаловав ему свою святую награду, слишком рано его обессмертило!

145

По преданию известно, что Филарет настаивал, чтобы деревянный высокий помост, на который поставили гроб государев для поклонения народного, не закрывал собой священных изображений на столбах Успенского собора.

146

Один из любимых генерал-адъютантов императора Александра граф Василий Васильевич Орлов-Денисов заведовал похоронным шествием от самого Таганрога.

147

Которому при жизни Александра I не позволялось быть в одном с ним городе.

П.Д.Киселев (позднее граф). Подозрение о содействии его заговорщикам доселе не вполне опровергнуто. Уверяют, что его спасло благородство Н.В.Басаргина, служившего у него под началом, не захотевшего обличить его и затем сосланного в Сибирь.

149

Сенатор граф Григорий Владимирович Орлов, долго проживавший в чужих краях из-за болезни супруги своей графини Анны Ивановны (урожд. гр. Салтыковой), перевел на французский язык басни Крылова.

То были роковые дни, когда новому государю (находившемуся тогда в Царском Селе) надлежало определять наказание участникам дела 14 декабря.

151

Переписка братьев прерывалась, так как Константин приезжал в Москву на коронацию Николая I.

152

К этому письму приклеен печатный листок. «По случаю высочайшей воли государя императора избрать на место г. сенатора Малиновского, уволенного от должности главного смотрителя над странноприимным домом графа Шереметьева, другого в сие звание, назначено для сего 7-го числа настоящего месяца в 12 часов поутру собрание московского дворянства. Посему, впоследствие предписания ко мне его сиятельства господина московского военного генерал-губернатора и кавалера князя Дмитрия Владимировича Голицына, имею честь известить через сие гг. дворян, дабы они прибыли в назначаемое выше сего время в Дворянское депутатское собрание. Октября 3-го дня 1826 года. Обер-полицмейстер Шульгин». Опала Малиновского последовала, может быть, за его сношения с Аракчеевым.

153

Село это, близ Подольска, бывшее дворцовое и подаренное Екатериной II графу А.М.Дмитриеву-Мамонову, унаследовано по кончине его сына князем С.М.Голицыным.

Графиня М.А.Дмитриева-Мамонова, много позднее, завещала передать вещи царевича Дмитрия в Святейший Синод. Бабка ее по матери была из рода князей Черкасских.

155

Покойный граф Андрей Федорович, сколько нам известно, по совершеннолетии своем уплатил сестре своей, графине Сегюр, эти деньги. Когда, много позднее, он обеднел и изнывал в Иркутске (где служил исправником), сестра, помня братнино великодушие, вызвала его к себе в Париж, но скончалась до его приезда туда.